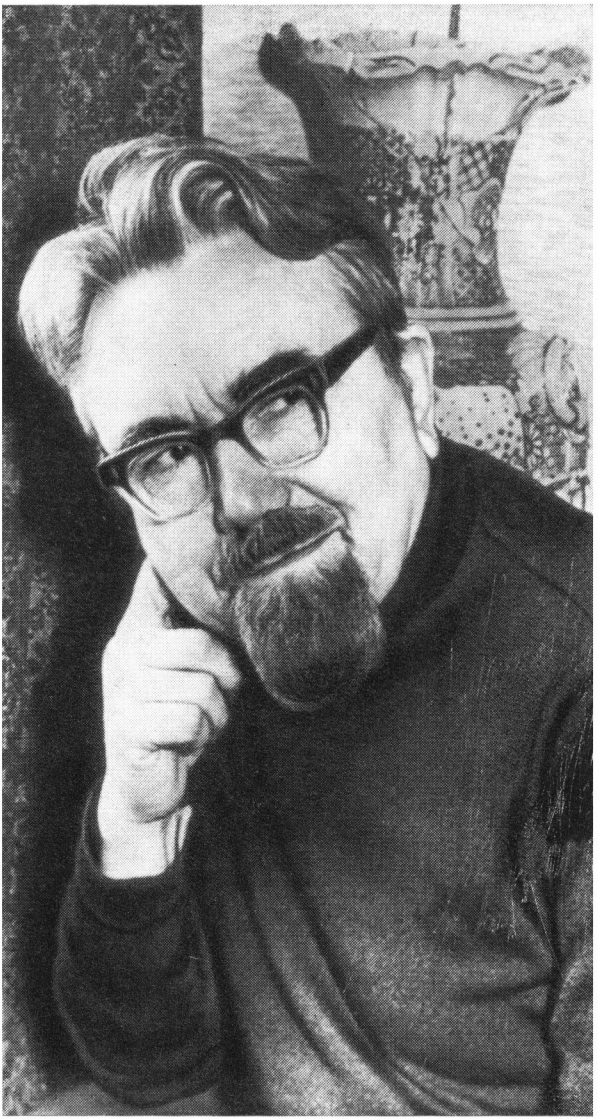
Анатолий Казанцев

# КЛОКОЧУЩАЯ ПУСТОТА

Анатолий Казанцев
КЛОКОЧУЩАЯ ПУСТОТА





Александр Казанцев

# КЛОКОЧУЩАЯ ПУСТОТА

ТРИ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ
РОМАНА-ГИПОТЕЗЫ
О НЕКОТОРЫХ ЗАГАДКАХ
СТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

(Дополненное издание)

*Она и плачет и хохочет,*
*Хоть пустота, а все ж клокочет.*

Сирано де Бержерак

*МОСКВА*
*«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»*
*1988*

ББК 84Р7
К 14

*Сыновьям моим и соратникам*
*Олегу и Никите посвящаю*

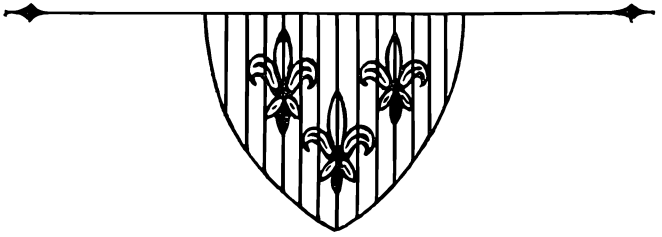
К $\frac{4702010200-148}{078(02)-88}$ 97—88

ISBN 5-235-00024-2

© Издательство
«Молодая гвардия»,
1986 г.

# *Книга первая*

# ОСТРЕЕ ШПАГИ



НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН-ГИПОТЕЗА
О МАГИСТРЕ ПРАВ, ЧИСЕЛ И ПОЭЗИИ
И ЕГО СОВРЕМЕННИКАХ В ТРЕХ ЧАСТЯХ,
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

*Искателей истин судьба нелегка,*
*Но тень их достанет в веках*
*облака.*

Пьер Ферма (?)



## ПРОЛОГ

*Ни куб на два куба,*
*ни квадрато-квадрат и*
*вообще никакая, кроме квадрата,*
*степень не*
*может быть разложена на сумму двух*
*таких же.*

Пьер Ферма

Мы с сыном, капитаном первого ранга, инженером, думали, что едем в купе вдвоем, но, когда в окне вагона замелькали трубы уральских заводов, с верхней полки вдруг спустился человек, назвавшийся Аркадием Николаевичем. Он оказался приятным собеседником, и я ему обязан всем, что дальше расскажу.

— А я думал, что вас нет, — простодушно признался я ему.

Аркадий Николаевич улыбнулся:

— Что ж, считайте меня «мнимой величиной», есть в математике такое понятие*. Величина существует, и в то же время она мнимая.

— Как это понять? «Мним»? — спросил мой Олег.

Наш попутчик рассмеялся:

— Вот не слышал такого слова. Впрочем, оно точно выражает суть явления, связанного с «машиной времени».

— Вы допускаете ее? — искренне удивился я.

— В свое время категорически отрицал, ибо она противоречит закону причинности. Не может следствие произойти раньше причины, ребенок появиться раньше матери. Но потом... потом нашел оправдание.

---

* $\sqrt{-1}$. *(Примеч. авт.)*

Мой Олег сочетал в себе эмоциональность с дотошностью:

— И допускаете, что можно перенестись в недавнее прошлое, встретиться с собственной бабушкой, когда она была хорошенькой, и жениться на ней, став самому себе дедом?

— Если бы это было возможно для мнима.

— То есть?

— У каждого есть своя «машина времени» — это его ВООБРАЖЕНИЕ. Оно способно перенести и в прошлое, и в будущее, и за тридевять земель. Можно «присутствовать» при исторических событиях, скажем, стоять рядом с сумрачным императором во время битвы при Ватерлоо, но лишь как мнимая величина.

— Как мним? А это здорово! — восхитился Олег. — И Наполеон, скрестив руки на груди, пройдет сквозь меня, как через облачко тумана!..

— Поскольку вы находитесь там как плод собственного воображения.

— Словом, «я тебя вижу, а ты меня нет»!

— Если хотите, то да.

— Но ведь вас-то мы видим, а вы назвали себя мнимой величиной.

— Я просто заметил на столике вашу книжку «Теорема Ферма» и вспомнил о своем недавнем путешествии на триста лет назад, когда я находился рядом с Ферма, как «мним».

— Что? — поразился я, косясь на попутчика.

Надо сказать, что у меня склонность к фантазии сочетается со скептицизмом. Мне доводилось встречаться с «марсианином», приходившим ко мне (как я четверть века назад описал в своем рассказе «Марсианин»), чтобы доказать свое неземное происхождение, и со свидетелями приземления из космоса «летающих тарелок», даже с Иисусом Христом, который явился ко мне сообщить об «открытии самого себя». Оказывается, любое желание одного техника по телевизорам из Львова телепатически передавалось окружающим и беспрекословно выполнялось. Видимо, я был исключением, а потому мне с немалым трудом, но все же удалось убедить его прислать (но уже из Львова) подробное описание его «прозрения». Каюсь, я терзался тем, что упустил, быть может, интересного для науки человека-экстрасенса, наделенного необыкновенными способностями.

Аркадий Николаевич не был телепатом, но, логически мысля, угадал мои опасения:

— Уверяю вас, я совершенно в своем уме. Мне просто потребовалось для теории насыпей, над которой работал, доказательство Великой теоремы Ферма.

— $x^n + y^n = z^n$ — не имеет целочисленных решений при $n > 2$, — вмешался Олег. — Но этого доказать ученые не смогли в течение трехсот лет, даже создав новую отрасль математики.

— Алгебраическую теорию чисел. Вы правы. Ферма не знал ее, написав на полях «Арифметики» Диофанта: *«Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще* (заметьте, «вообще» — обобщение!) *никакая кроме квадрата, степень не может быть разложена* (заметьте, «разложена»!) *на сумму двух таких же. Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить»,* — наизусть процитировал Аркадий Николаевич

— Приведено в этой книжке, — показал я брошюру, захваченную Олегом в дорогу, — но дальше сказано: «Следует со всей решительностью предостеречь читателя искать элементарное доказательство теоремы Ферма. Можно быть уверенным, что это будет лишь ненужная трата труда и времени. Во всяком случае, ни издательство, ни автор книги * «Теорема Ферма» М. М. Постников ни в какую переписку по поводу теоремы Ферма вступать не будут».

— Потому мне и нужен был сам Ферма.

— Зачем?

— Чтобы получить у него его доказательство.

— А было ли оно? — вступил Олег. — Ферма мог найти собственную ошибку, как находили впоследствии ошибки в несчетных доказательствах теоремы, а потому не записал и не опубликовал своего доказательства!

— Ферма вообще почти никогда не публиковал своих доказательств. Он сделал открытие в математике и как бы просил всех принять его вызов и повторить то, что удалось ему сделать.

— Кто же он? Шутник? «Принцесса Турандот от науки» или гордец с непомерным самомнением?

— Нет, нет! Просто скромный автор «математических этюдов», предлагаемых, подобно шахматным, для решения любителям математики.

---

* М., «Наука», 1978.

— И что же? Доказывали его выводы? Решали эти этюды?

— Только Эйлеру в следующем столетии удалось это сделать, исключая Великую теорему, которую доказал только сам Ферма.

— Почему вы в этом уверены?

— Потому что он подсказывал, как это сделать.

— И вы у него это узнали? С помощью спиритического сеанса? — иронизировал Олег.

— Нет, зачем же? С помощью анализа его намеков, изучения других сделанных им открытий и с помощью воображения, которое способно все это объединить, создав образ Ферма.

— Конечно, «бессмертного академика», как это принято во Франции.

— Он даже не слышал о таком звании. Бессмертного, но не по выбору старцев в мантиях или по королевскому указу, а по сделанному им вкладу в науку, ощутимому и в наши дни.

— И у вас, говорите вы, состоялась встреча с ним? — наседал Олег.

— Я вообразил ее. А «беседа» с ним вылилась в чтение его трудов, изданных полвека спустя его сыном Самуэлем, тоже ученым и поэтом, как отец.

— Так! И что же вам сказал «при свидании» Ферма?

— В его отказе публиковать свои доказательства, пожалуй, было больше скромности, чем желания возвыситься над всеми, кому он предлагал найти им найденное. Но вместе с этой его чертой в нем можно увидеть и кое-что поглубже. Например, не без скрытого лукавства пишет он на полях книги Диофанта замечания, неоднократно употребляя частицу «ни». И вовсе не для усиления отрицания, а для того, чтобы подчеркнуть существование единого, общего способа разложения степени на сумму слагаемых той же степени.

— И есть такая формула?

— Конечно, есть! Я отыскал бином Ферма, несправедливо забытый. Отталкиваясь от него, я прошел путем Ферма к доказательству его Великой теоремы.

— Кажется, вы докажете сейчас если не теорему, то реальность своего путешествия к Ферма, — пошутил я.

— Пожалуй, результат математического вывода может служить таким доказательством.

— Так вы же сможете получить знаменитую премию, обещанную за доказательство теоремы Ферма!

Аркадий Николаевич усмехнулся.

— Это немецкий любитель математики Вольфскель в 1908 году завещал сто тысяч марок тому, кто докажет теорему Ферма.

— Но, по вашим словам, вы это сделали!

— Нет. Я лишь нашел доказательство у Ферма.

— Значит, вы действительно побывали у него, перебирали его записи и смело можете рассказать, как он выглядел триста лет назад.

— Записи перебирал, это верно. Мне он представляется из моей «машины времени» (воображения!) веселым, толстым и многодетным человеком, который служил в суде, попутно занимался математикой для души, делая гениальные открытия, не придавая им особого значения. Что же касается получения премии, то она принадлежит его потомкам, а не мне. И вряд ли может их обрадовать.

— Ну что вы! Сто тысяч марок — это вещь! — заметил Олег.

Аркадий Николаевич расплылся в улыбке:

— Вам, конечно, известно, что одинокая и богатая почитательница Жюля Верна после его романа «Из пушки на Луну» завещала свое значительное состояние первому человеку, который ступит на Луну. Им оказался Армстронг. И не так давно в Париже ему вручили премию дамы XIX века. Но, увы, после двух мировых войн и многократных девальваций франка завещанной суммы хватило астронавту лишь на покупку легкого плаща на память о щедрой парижанке. Боюсь, что остатков премии Вольфскеля в марках хватит разве что на одни рукава.

— Но не можете же вы утаить от всего мира то, что нашли у Ферма, неважно, побывали у него или нет! — горячился Олег.

— Увы, вы сами прочитали в этой брошюре предупреждение. Кто согласится разделить со мной ответственность за найденное мной у Ферма его доказательство? Кто поверит в это?

— Но вы же не мнимая величина, а реальный человек?

Вместо ответа Аркадий Николаевич протянул визитную карточку, напечатанную на меловой бумаге машинописным шрифтом: Аркадий Николаевич КОЖЕВ-

НИКОВ, Главный специалист института Сибгипротранс. Новосибирск». На обороте от руки — адрес: «630076, Новосибирск, 76, Вокзальная магистраль, 17, кв. 23».

— Прекрасно, — сказал я. — Теперь математики вас найдут, не говоря уже обо мне! Если вы, конечно, не растворитесь сейчас в воздухе.

Аркадий Николаевич загадочно улыбнулся и в воздухе не растворился.

Поезд подошел к Свердловску. Мы с сыном направились к выходу, где нас встречали уральцы, с которыми я хотел познакомить идущего сзади Аркадия Николаевича. Но... когда я обернулся, то его уже не было. Он словно растворился в воздухе.

— Мним! — многозначительно произнес Олег без тени улыбки на лице.

Но все-таки он шутил! Мы оба не верили, не могли верить в «машину времени», которая вдруг забросила в купе идущего поезда путешественника во времени на пути из будущего в эпоху Ферма или обратно! Нет, это был самый реальный человек, передавший мне реальную карточку, по которой можно отыскать реальное доказательство теоремы трехсотлетней давности.

Я-то, конечно, это сделаю, не знаю, как математики, потому что эта встреча в пути задела во мне самое сокровенное, пробудила неутолимый интерес к удивительному человеку, гордецу или скромному гению, тень которого и поныне тревожит математические умы.

Если мой попутчик силой воображения мог перенестись в кабинет Ферма, то не пример ли это для меня, фантаста, быть может, способного вообразить и самого Ферма, и его время, проследить за его жизнью, о которой известен лишь скупой пунктир дат: родился, учился, женился, переписывался, скончался? Не обязан ли я, хоть в виде «мнима», оказаться с ним рядом, чтобы восполнить промежутки между равнодушно вбитыми колышками на его пути?

Однако то, что нарисует воображение, не может быть точным отображением ни подробностей жизни подлинного исторического лица, ни поэтических его произведений, не дошедших до нас, ни даже математических открытий, сформулированных, но намеренно не доказанных, словом, все это требует от автора, во избежание справедливых упреков уважаемых историков, осудивших в свое время самого Александра Дюма за вольное обра-

щение с историей (отчего, кстати сказать, популярность его романов не пострадала за счет отнесения их к авантюрному жанру!), словом, все это, быть может, требует от автора, претендующего на безукоризненность повествования, изменения имен персонажей в такой же мере, в какой нельзя точно отразить их исторический облик, располагая слишком скудными и малодостоверными сведениями о них.

Но форма научно-фантастического романа позволила автору преодолеть собственные сомнения и, уподобясь «мниму», решиться на фантастический экскурс в историю, в прошлые века, назвав все-таки героев своими именами.

Вместе с тем автор не берется утверждать (это дело математиков), что находка его спутника в фирменном поезде «Урал» А. Н. Кожевникова может удовлетворить строгих судей математических доказательств, ибо не Великая теорема Ферма привлекла внимание автора (и, надеюсь, читателей), а сам неповторимый образ непревзойденного математика.

Вперед, читатель, если и ты готов превратиться в «мнима»!

Вернее, назад! На сотни лет назад!

АЛЬПИЙСКИЙ СОНЕТ

У юности первый и легкий подъем.
До неба открылись просторы.
Мы песни признанья любимым поем,
Все в жизни — далекие горы.

Пусть там, в поднебесье, и холод и лед,
Под солнцем снега не согрелись.
На склоны и скалы нас властно зовет
Вершины манящая прелесть.

К высотам познанья! За кручей обрыв!
Дороги орлам незнакомы.
Пройдет человек лишь, но прежде открыв
Природы и Чисел законы.

Искателей истин судьба нелегка,
Но тень их достанет в веках облака.

Пьер Ферма

Из числа ненайденных стихотворений на французском, испанском и латинском языках периода 1625—1659 годов в «переводе» автора данного романа.

# Часть первая

# ЮНОСТИ ПЕРВЫЙ И ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ

*Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой лик.*

Гёте

## Глава первая

## В МУШКЕТЕРСКИЕ ДНИ

*В героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать своим читателям, нет ничего мифологического.*

Александр Дюма

Всему миру известно (благодаря ослепительному таланту Александра Дюма-отца), как в первый понедельник апреля 1625 года в маленький городишко Менг, не найденный мной на современных картах Франции, но тем не менее прославленный рождением в нем ныне малоизвестного автора «Романа о розе» Жана Колпенеля Менгского, въехал знаменитый литературный герой на кляче столь необыкновенной, кажется, поразительно желтой масти, что она вызвала смех и удивление толпы зевак у гостиницы «Вольный мельник», на всякий случай вооруженных чем придется, ибо происходило это событие в полное смут и разбоя время короля Людовика XVII, что величал себя Справедливым, хотя был просто капризным, а подлинно правил Францией коварный,

умный и жестокий кардинал Ришелье (герцог Арман Жан дю Плесси).

Но мало кто знает, что не у литературного героя, а у подлинного гасконского дворянина д'Артаньяна, впоследствии капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, чьи мемуары, опубликованные в 1701 году, блистательно и вольно использовал для своего романа несравненный Дюма, существовал сверстник, действительный современник, который на самом деле въехал в тот же первый понедельник апреля 1625 года, но не на кляче желтой масти, а в почтовой карете, забрызганной дорожной грязью, не с длинной и грозной шпагой, успешно заменявшей тому образование, а со степенью бакалавра, способной стать острее шпаги, и не с напутствием благородного отца, а в сопровождении почтенного родителя, второго консула городка на юге Франции, носящего название Бомон-де-Ломань, и въехал сей современник д'Артаньяна не в Менг, а в портовый город Тулон, где тоже встретил пеструю толпу людей, которые собрались, однако, не по поводу появления всадника на кляче редкой масти или прибытия грязноватой почтовой кареты, а просто, как обычно, толкались вблизи порта с его ящиками, тюками, корзинами, досками, бочками, шумного из-за разноязычного говора, ругани, скрипа и грохота телег, душного благодаря острым запахам ворвани, рыбы, жареных каштанов, фруктов и все же чем-то волнующего из-за дыхания моря, моря, не виданного прежде молодым бакалавром.

В толпе мелькали разноцветные платки на лохматых матросских головах, всевозможные береты, кепи, шляпы с перьями и без перьев, порой виднелись издали заметные чалмы правоверных мавров, побывавших в Мекке, а изредка над всей этой пестротой проплывал замысловатый женский головной убор, напоминая парусник, рассекающий морские волны.

Отец и сын из Бомон-де-Ломань не направились по примеру остальных пассажиров почтовой кареты к гостинице «Пьяный шкипер» с ржавым якорем над входом вместо вывески, а пошли прямо в порт, где у набережной сгрудилось несметное число лодок, шлюпок, фелюг и рыбачьих суденышек и в солидном отдалении от них на рейде стояли со спущенными парусами несколько каравелл и других парусников.

Почтенный второй консул Бомон-де-Ломань стал подыскивать суденышко, которое могло бы за недоро-

гую плату пересечь Средиземное море и доплыть до Египта, не перевернувшись в пути.

Такое желание толстого француза так заинтересовало нескольких владельцев фелюг и возбудило в них столь беспокойные чувства, что они окружили второго консула из Бомон-де-Ломань, галдя, толкаясь и наперебой предлагая свои услуги. Все эти люди в фесках, принесенных завоевателями из Османской империи, с дубленной всеми ветрами коричневой кожей и продувными физиономиями.

Почтенному второму консулу показалось, что это пираты устремились к нему, беря его на абордаж, и он отчаянно защищался, довольно беспомощно размахивая короткими руками.

Однако шумные предложения услуг продолжались до тех пор, пока метр Доминик Ферма, так звали второго консула, не остановил свой выбор на одном из египтян, который лучше других объяснялся по-французски и менее других походил на морского разбойника, хотя, несомненно, был им, заломив за доставку двух французов в Александрию тысячу пистолей — цену совершенно разбойничью.

— Да вся твоя грязная фелюга с тобой вместе в придачу не стоит этого мешка золота! И пусть сам святой Доминик подтвердит мою правоту, — воздев руки к небу, возгласил тучный француз.

Надо отдать должное возмущенному метру Доминику Ферма, он был расчетлив и скуп, не взяв с собой даже слуги.

Пока отец торговался с моряками, его сын вышел на берег, наслаждаясь дуновением ветра и любуясь морским простором, небесной синевой и белокрылыми чайками, срывающими пену с морской волны.

Молодой человек был поэтом, владел несколькими языками и писал стихи с одинаковым изяществом по-латыни и на древнегреческом, а также на французском и испанском языках, и, как с похвалой отзывались о нем знатоки светской поэзии, писал так, словно подолгу жил при дворе самого императора Августа или при дворах католических королей в Париже или Мадриде.

Теперь под шум прибоя и крики чаек он сочинял стихи о море. Ему вспомнилась строчка из восьмой песни «Илиады»:

*«Долго как длилося утро и день возрастал светоносный...»*

И сами собой стали слагаться гекзаметром размеренные строки гимна — ослепляющей красоте стихии и рождающей возвышенные чувства, стихи, сочиненные не на французском, а на древнегреческом языке, потому что наш поэт весь был полон мечты о путешествии в Александрию к могиле великого Диофанта, загадочную надпись на могильном камне которого он мечтал сам прочитать и перевести, ибо, по слухам, ее надо было решать как математическую задачу.

Длинные мягкие волосы волной ложились на плечи молодого человека, обрамляя задумчивое лицо, удлиненное тяжеловатым носом, но освеженное девичьими нежными губами с пробивающимися над ними усиками, а большие умные глаза смотрели как бы сквозь рассматриваемый предмет. Так, по крайней мере, показалось юркому французу с плутовским взглядом и притворной улыбкой, который подошел к юному бакалавру и не мог понять восторга поэта перед морем и чайками. Кивнув в сторону метра Доминика Ферма, окруженного владельцами фелюг, он произнес:

— Я слышу, почтенный господин подыскивает фелюгу для морского путешествия, быть может, совместно с вами, сударь?

Молодой бакалавр лишь проницательно посмотрел на говорившего, отчего юркий француз поежился и стал оправдываться приказом своего хозяина отыскать в порту возможных попутчиков.

Между тем спор на набережной не утихал, и хриплый голос моряка продолжал настаивать на тысяче пистолей, якобы названной им по велению самого аллаха, а срывающийся фальцет второго консула Бомон-де-Ломань выкрикивал, что морской разбойник пытается выманить у него в четыре раза больше, чем допустит сам господь бог!

Неожиданно к торгующимся подошел высокий стройный офицер в мундире королевской гвардии, с нарядной шпагой на боку и с изысканной вежливостью произнес:

— Почтенный метр, и ты, любезный, ваши достаточно громко произнесенные слова сделали участниками вашего спора многих, в том числе и меня, могущего предложить вам решить ваш спор так, чтобы каждый получил бы или отдал то, что желает.

Моряк и метр Доминик Ферма замолчали от изумления, а блестящий офицер продолжал:

— Нет ничего проще, почтенный метр, вам заплатить за доставку вас с сыном в Александрию двести пятьдесят пистолей, а тебе, любезный, получить свою тысячу пистолей.

Моряк и буржуа, только что так громко споривше, стараясь перекричать друг друга, теперь надолго смолкли, как бы состязаясь в разгадывании удивительной задачи, пока наконец моряк первым не обрел дар слова и не начал выражаться высоким стилем знатных господ, бог знает где научившись этому, притом жалостным, но по-прежнему хриплым голосом:

— Его светлости господину высокородному офицеру угодно посмеяться над бедным моряком, который слабее в искусстве счета, чем ученые господа, но он хорошо считает до трех, а потому знает, сколько у него сварливых жен, а уж кучу детей пересчитать не может, хотя знает, что их надо кормить, поить, одевать, наряжать и украшать серьгами и кольцами, что стоит никак не менее тысячи пистолей.

— Я же сказал, любезный, что ты получишь их, а вы, почтенный метр, не истратите больше того, что хотели.

— Но как?

— Как? — воззрились на офицера оба спорщика.

Внезапно в разговор вступил подошедший Пьер Ферма, бакалавр:

— Это не так трудно определить. Вероятно, господин офицер имеет в виду, что на фелюге отправимся не только мы с отцом, но и он со своим слугой, а шкипер не только переправит нас в Александрию, но и доставит обратно в Тулон. Половину же расходов, очевидно, господин офицер намерен принять на себя.

— Ах вот как! Слава святому Доминику! — обрадовался второй консул. — Как же, Пьер, ты додумался до решения, столь же неожиданно простого, как и удачного?

— Прежде всего потому, что оно принадлежит не мне, а господину офицеру, чей слуга признался мне, что отыскивает попутчиков своему господину. Остальное — дело арифметики.

— Я счастлив буду иметь такого попутчика, как его светлость! — обрадованно воскликнул метр Доминик Ферма.

— О нет, нет! — поморщился офицер. — Я не граф и уж тем более не герцог, чтобы обращаться ко мне как к светлости. — И, обернувшись к Пьеру Ферма, поклонился и неразборчиво назвал свое имя, потом снова обратился к Ферма-отцу: — Я служу его величеству королю и его высокопреосвященству кардиналу.

— Ниспошли господь успеха им во всех их мудрых делах, и его величеству и его преосвященству, а также и вам, сударь, за то, что вы так блистательно решили, казалось бы, неразрешимую задачу. Пусть кто-нибудь скажет, что я не прав.

— Однако ее с завидной легкостью решил и ваш сын, метр. Это делает ему честь.

Офицер был лет на десять старше Пьера Ферма и говорил о нем чуть свысока. Молодому бакалавру это не доставило удовольствия, но, обладая характером скорее добрым и веселым, чем заносчивым, он не придал этому особого значения, полагая, что ничто так не сближает людей, как совместное путешествие.

Все это время египтянин тщетно силился одолеть вопрос, как же он получит свое золото, если этот толстый скряга останется довольным? И он на всякий случай снова завел разговор о своих трех сварливых женах, детях, нарядах и украшениях для них.

Тогда метр Доминик Ферма, обретя отличное расположение духа, решил пошутить и, обращаясь к моряку, сказал:

— Вот что, милейший разбойник. Ты так много болтаешь о сварливых женах, что послушай теперь притчу о них. Святой Доминик учил, что в рай попадают не только праведники, но и глубоко несчастные люди. И следит за этим святой Петр, у которого ключи от рая. Однажды не совсем праведная душа умершего поведала, какие горести познала в жизни от сварливой жены. Долго взвешивал святой Петр грехи и несчастья бедного мужа и все-таки открыл ворота рая. Второго же горемыку, натерпевшегося от двух сварливых жен, он пропустил в рай без размышлений. Но тут, расталкивая локтями души умерших, к воротам рая стал пробиваться некто, отстранив даже самого святого Петра. «Куда ты?» — спросил тот его. «У меня было вдвое больше сварливых жен, чем у того, кого ты только что пропустил без раздумий, — четверо!» — «Э, нет! — ответствовал Петр. — Дураков в рай не пускают!» Так что, ми-

лейший, пока не поздно и у тебя только три сварливых жены, переходи скорей в истинную веру святой католической церкви! — И почтенный буржуа заколыхал в смехе всем своим грузным телом и затряс жирными подбородками.

— О несчастный неверный! Да замкнутся твои уста, пока всесильный аллах не услышал твои кощунственные речи! Как только можно выговорить такое! — Религиозный страх так обуял моряка, что он заколебался было, но желанный мешок золота предстал перед его мысленным взором и взял верх, а потому египтянин закончил смиренно: — Видно, аллах посылает испытание, и мне придется, высокородные господа, плыть с вами в Аль-Искандарию, лишь бы не настиг нас всех гнев великого аллаха.

— Ну вот и хорошо, — решил блестящий офицер и добавил, кладя руку на шпагу: — Но пусть моя шпага, любезный шкипер, будет гарантией твоего достойного поведения на фелюге. Имей в виду, что это оружие так же не терпит шуток, как и арифметика, в которой ты, по твоим словам, слабоват.

— Да спасет меня аллах и всех жен и всех детей моих! — только и мог вымолвить египтянин, снимая и надевая феску.

Следом за ним четыре француза двинулись к его фелюге, которая, имея на борту лишь одну каюту, ничем не отличалась от других фелюг, чьи хозяева оказались менее удачливыми, чем их собрат, мысленно уже держащий в руках обещанный французами мешок золота.

— И вы никогда прежде, юный друг мой, не плавали в море? — снисходительно поинтересовался у Пьера офицер.

— Только в мыслях, мечтах и стихах, которым я отдаю свой досуг, — простодушно признался Пьер Ферма.

— Я бы посоветовал вам, молодой мой друг, отдавать свой досуг более значительным занятиям, чем стихосложение, например философии или математике, к которой вы, возможно, расположены, если вам, конечно, чужды такие благородные занятия, как фехтование и верховая езда.

Пьер Ферма ничего не ответил своему новому спутнику, только чуть заметно улыбнулся. В отличие от него он знал, с кем имеет дело.

Глава вторая

## ШПАГА И ВЕТЕР

*Где мысль сильна — там дело полно силы.*

В. Шекспир

Долгие дни плавания по Средиземному морю могли быть скучными для кого угодно, но лишь не для нашего молодого бакалавра с душой поэта, ибо в это первое морское путешествие все восхищало его, и прежде всего удивительная переменчивость моря, которое он ни разу не видел одинаковым, то величественным в застывшем эмалевом спокойствии, словно заимствованном, как и цвет бесподобной синевы, у ясного неба, то искрящимся от горизонта к горизонту серебристой рыбьей чешуей с горящей золотом солнечной дорожкой, то мятущимся, с морщинами бегущих под хмурыми тучами валов, похожих на сорванные неведомой силой холмы родных апеннинских предгорий с вершинами, вздыбленными в неистовом беге пенными гривами, то мертвым, усталым, баюкающим певучей сказкой слепца о далекой, сотрясающей мир битве гороподобных великанов, которым по пояс облака.

— Не угодно ли будет моему молодому спутнику развлечься в сражении за шахматной доской? — услышал увлеченный мечтой поэт голос своего попутчика в офицерском мундире.

Как всегда, а это было уже не раз, бакалавр согласился и стал наблюдать, как юркий слуга офицера Огюст, выполняя приказ господина, принес из каюты клетчатую доску и поставил ее на бочонок между двумя вынесенными для партнеров подушками.

Почтенный Доминик Ферма, с трудом переносивший морское путешествие, увидев, что Огюст подготовляет шахматное сражение, тоже выбрался на палубу и с оханьем и причитаниями, вызванными тошнотой, занял место в стороне от доски, на которой офицер расставлял уже резные фигуры.

— Шахматная игра освящена самим его высокопреосвященством господином кардиналом, поскольку, как известно, его величество и его высокопреосвященство проводят немало времени за этой благородной игрой, что

отнюдь не вредит государственным делам, — назидательно заметил метр Ферма.

— Разыгрывая испанскую партию и всячески уклоняясь от столкновения с испанским королем, — весело отозвался молодой бакалавр.

— Солдату не дано судить о политике, если его высокопреосвященство и его величество в великой заботе своей о благе страны направят ее или по стезе мира, или по тропе войны, — заметил офицер, делая ход пешкой от своего короля.

— Могут ли войны приносить благо народам? — спросил Пьер Ферма, делая ответные ходы, кстати сказать, разыгрывая ту же испанскую партию, излюбленную шахматистами того времени.

— Если вы склонны к философии, сударь, — заметил офицер, — то это лишь может порадовать меня, поскольку философия, подобно математике, организующей числа, организует человеческое мышление, каковое следует считать неотъемлемым свойством человеческой души.

— А что мы знаем о ней, кроме обещанного церковью ее бессмертия? — не без некоторого юмора спросил Пьер Ферма.

— Я уже испытан вашей склонностью, юный друг мой, задавать окружающим загадки, но на этот раз должен заметить, что нет вопроса более трудного из всех могущих быть заданными, однако я все же попытаюсь дать ответ на него.

— Неужели? — с улыбкой спросил Пьер Ферма, жертвуя легкую фигуру для начала атаки.

Его партнер задумался, стараясь хоть на этот раз уйти от разгрома и не дать торжествовать над ним юнцу, столь же беспечно веселому, сколь и недостаточно почтительному к более старшему по возрасту спутнику дворянского звания. Но эта мысль не изменила снисходительного тона, избранного офицером в отношении Пьера Ферма, хоть тот и выигрывал у него одну за другой шахматные партии, которые все же скрашивали длительное морское путешествие.

— Если говорить философски, мой юный друг, то душу надо рассматривать как часть двуединого начала, соединяющего душу и тело.

— Извините за незрелые вопросы, сударь, — сказал Пьер Ферма, развивая атаку на шахматной доске, — но

как представляете вы себе эти двуединые части целого, душу и тело?

— Премудро, да согласится со мной святой Доминик! — воскликнул Ферма-старший. — Подобные рассуждения впору услышать от их преосвященств во время теологического спора, не говоря уже о самом их высокопреосвященстве господине кардинале!

— Мне приходилось выражать эти свои мысли именно его высокопреосвященству, который, уверяю вас, отнесся с большим вниманием к тому, что именно душа обладает мышлением, служа оживлением мертвого механизма человеческого тела и обладая к тому же и волей. И особенного внимания его высокопреосвященства заслужила формула «Я мыслю — следовательно, существую!».

— Как же так? Как же так? Осел не мыслит, а существует! — воскликнул Доминик Ферма.

Офицер усмехнулся:

— Возможно, вы, метр, согласитесь со мной в том, что человек может быть ослом, но осел не может быть человеком, ибо не обладает душой.

— Вы говорили о войне для блага страны. Но может ли быть война благом для людей? Не служит ли свидетельством обратному море, по которому мы плывем?

— Что именно мыслит ваша душа, юный мой друг? Что подразумеваете под морем, чуть ли не знаменующим войну?

— Если иметь в виду историю ее берегов, то это так.

— Историю? — удивился офицер. — Вы знаете историю его берегов?

— Конечно, недостаточно, но, изучая языки, а у меня к этому большое влечение, я неизменно сталкивался с тем, что ушедшие в прошлое классические языки — следы и завещания погибших в войнах культур. Хотя бы Египет, куда мы держим курс! Надо ли говорить о его древнем величии? А уничтоженный Римом Карфаген, на месте которого ныне, где Алжир, граница с новой Османской империей, процветает «государство пиратов»!

— Изучение языков, несомненно, пошло вам на пользу, мой юный друг, но я, признавая вашу начитанность в вопросах истории, не рекомендовал бы вам сейчас поминать государство пиратов, вдоль берегов которого мы плывем.

— О каких пиратах изволит говорить господин вы-

сокородный офицер? — раздался хриплый голос шкипера; он подошел к играющим, чтобы узнать, на какой заклад они бьются.

Партия закончилась в пользу Пьера Ферма, и он, положив золотую монету в карман, стал помогать офицеру складывать фигуры в коробку с инкрустациями.

Египтянин же, воздев глаза к небу, начал изрыгать хулу на неверных, проигрывающих презренное золото не в благородные кости, вверяясь счастью по воле аллаха, а в языческую игру ума, не упомянутую в коране. Все это египтянин, давая выход своим чувствам, для надежности произнес по-испански, не подозревая, что бакалавр поймет его.

Пьер же Ферма так возмутился, что решил проучить зарвавшегося хозяина фелюги.

— Что ж, любезный шкипер, — начал он, — вы правы, называя золото презренным, хотя и везете его на своей фелюге, в особенности если учесть близость государства алжирских пиратов, где их кровавое ремесло почитается за славное занятие, ничем не худшее, чем военные походы. И не пиратские ли берега можем мы сейчас разглядеть? А что, если пираты осведомлены о том, что в море плывет египетская фелюга с мешками золота, принадлежащего французам? Есть все основания подозревать, что кое-кто, слушая торг на набережной в порту, мог сообщить пиратам о такой доступной и лакомой добыче, как наша фелюга. Не так ли, любезнейший?

— Да запечатает аллах ваши уста, молодой господин! — взмолился шкипер. — Именно этого я боялся, выслушав богохульственные слова вашего почтенного отца, который хотел отнять у меня правую веру, предлагая из-за моих сварливых жен перейти в неверие. И аллах может наказать нас пиратским кораблем, лишив своего верного раба сна и покоя.

Подавленный словами Пьера Ферма, шкипер, опустив голову и свесив руки, пошел к рулю, где нес вахту один из двух чернокожих матросов, как узнал Пьер Ферма, невольников. И он даже остался доволен в душе тем, что «лишил египтянина-рабовладельца сна и покоя».

Шутка молодого бакалавра оказалась вещей, ибо не успел шкипер добраться до руля, как один из его невольников крикнул от борта, что видит корабль со стороны солнца.

Все вскочили, приложив руку к глазам, чтобы солнце не ослепляло. Но именно потому, что солнце светило со стороны страшного пиратского берега, распущенные паруса корабля казались черными, впрочем, может быть, они были действительно сшиты из черной парусины.

— Алла, алла! — завопил шкипер. — Я знал, что великий аллах накажет меня за то, что его правоверный решился якшаться с неверными французами, да будет проклято их золото и да будет проклята их неверная вера, о горе, горе мне, несчастному!

— Любезный, — строго прервал его офицер. — Я предупреждал тебя, что моя шпага не любит шуток.

— Но шутил не я, высокородный господин. Его светлость сами изволили слышать, как этот незрелый француз осмелился вспоминать о береге пиратского государства, о пиратах, которые могли узнать о французском золоте в мешках на моей несчастной фелюге! О горе, горе мне!

— Любезный, попридержи язык, иначе вмешается моя шпага. Если это пираты, то мы должны встретить их достойно. Что же касается моего молодого друга, то он был вправе предположить, что среди твоих приятелей с других фелюг, слышавших ваш торг с метром о тысяче пистолей, оказались предатели, которые вышли из порта вслед за твоей фелюгой, чтобы донести о ней пиратам. Так что не пытайся свалить вину с твоих приятелей на моих соотечественников, иначе... — И он выразительно коснулся рукой шпаги.

— О горе, горе мне! — причитал шкипер.

Меж тем корабль с черными или казавшимися черными парусами приближался. Горячий ветер дул с берега и при большой парусности корабля обеспечивал ему прекрасный ход. Несчастная фелюга со своим ничтожным прямоугольным и косым парусом, казалось, стояла на месте.

Передав руль чернокожему невольнику, шкипер направился к французам.

— Ваша светлость и другие почтенные господа. Не думайте, что я забочусь о своей жизни. Меня ждут в раю гурии, а здесь — сварливые жены. Я беспокоюсь за вас, кого я взялся доставить в Аль-Искандарию.

— Что ты хочешь сказать, любезный? — строго спросил офицер.

— Нужно договориться с отважными пиратами, да спасет нас от них аллах.

— То есть как это договориться? — забеспокоился и сразу обрел на некоторое время потерянный дар речи метр Доминик Ферма.

— Я имею в виду, досточтимый метр, откупиться от них вашим золотом, о котором они прослышали. Пусть они получат этот проклятый металл, вам оставят жизни, а мне — фелюгу с невольниками, если те не перебегут на корабль, чтобы тоже стать пиратами, будучи в душе разбойниками и всегда причиняя мне тем заботы и хлопоты.

— Не болтай, любезный, если не хочешь быть проткнутым, как каплун вертелом.

— Ваша светлость, пощадите, да простит мне аллах!

— Он хочет ограбить нас, клянусь святым Домиником! Ограбить раньше пиратов, недаром он показался мне морским разбойником еще в Тулоне, — вздыхал Ферма-старший.

Пьер Ферма тем временем вглядывался в приближающийся корабль:

— Паруса казались черными из-за находившегося позади них солнца, теперь корабль чуть изменил курс, чтобы пересечь нам дорогу, а паруса его, если заметите, стали кровавыми, отражая свет зари. Право, это прекрасное зрелище.

— Если бы не выброшенный ими флаг, который не заалел от зари, а стал еще чернее, — заметил офицер.

— Неужели это и впрямь пираты? Что нам делать, научи нас, святой Доминик.

— Что касается меня, господа, то вот мое слово офицера и вот вам моя шпага. Я сумею защитить своих соотечественников, пока я мыслю, то есть пока существую.

— Но ведь их десятки, сотни, — простонал метр Доминик Ферма.

— Эй, любезный шкипер, ко мне! — скомандовал офицер. — Я принимаю на себя команду во время абордажа, на который, несомненно, пойдут пираты.

Поведение египтянина могло показаться странным, он расстилал перед каютой молитвенный коврик и, неохотно повинуясь, направился к офицеру.

— Какое есть оружие на борту?

— Только старые турецкие сабли, ваша светлость, ятаганы.

— Сам станешь к рулю, твои черные матросы с саб-

лями будут возле меня по обе стороны, Огюст с двумя пистолетами прикроет нас сзади, мой юный друг, поэт и бакалавр, будет заряжать Огюсту пистолеты, а вы, метр, будете перевязывать раненых, заранее приготовив для этого бинты. Огюст сейчас принесет мои тонкие рубашки, чтобы разорвать их на бинты, а также пистолеты, пули и пороху.

— Поистине, ваша светлость, когда вы мыслите, то и мы существуем, да поддержит нас святой Доминик, — проговорил Ферма-старший.

Меж тем Пьер, не обращая внимания на отданные офицером распоряжения, стоял у борта и оценивающе рассматривал паруса приближающегося корабля, на борту которого уже виднелись вооруженные саблями люди в самых разнообразных одеждах. Они размахивали абордажными крючьями и что-то кричали. Голосов их пока слышно не было, но корабль, подгоняемый горячим береговым ветром, рвался к своей маленькой жертве.

Бакалавр стоял, и его губы шевелились, словно он читал стихи или молитву, однако он не делал ни того, ни другого, он считал.

Что-то вычислив, он решительно направился к шкиперу.

— Любезный моряк, — сказал он, — мне удалось сейчас высчитать, как ты можешь избежать на своей фелюге встречи с пиратским кораблем.

— О аллах! Зачем же еще издеваться над бедным мусульманином, почтенный человек? Как может фелюга уйти при таком ветре от многопарусного корабля? Лучше убедите своего уважаемого отца и его светлость пожертвовать золотом, и я, уверяю вас, смогу договориться с пиратами, среди которых найдутся правоверные.

— Ты не сможешь уйти на фелюге от корабля при таком ветре, но ты сможешь уйти от него на той же фелюге, идя против ветра.

— Против ветра? — опешил моряк. — Так может говорить лишь человек, впервые оказавшийся в море.

— Да, но я рассчитал сейчас, как надобно менять курс, двигаясь зигзагами *.

— О, почтенный господин, некоторые моряки умудряются ходить на парусах против ветра, но самому мне, видит аллах, не приходилось этого делать.

---

* Теперь говорят «галсами». *(Примеч. авт.)*

— Так придется! — раздался жесткий голос офицера. — Ты будешь повиноваться молодому господину. Я ведь еще не убедился в том, что ты сам не вызвал пиратов к своей несчастной фелюге в надежде, что и тебе кое-что достанется из нашего золота при дележе добычи с пиратами. — И он угрожающе обнажил шпагу.

— Я повинуюсь, ваша светлость, как можно не повиноваться такому высокородному господину!

— Мой юный друг, вы показываете недюжинные способности. Сможете ли вы давать указания этому предателю, если он действительно предал нас еще в порту, как надо менять курс, чтобы идти против ветра?

— Я попытаюсь, — скромно ответил Пьер Ферма.

— О святой Доминик, помоги моему сыну, и я выстрою тебе часовню в Бомон-де-Ломань! — воскликнул метр Доминик Ферма.

Огюст, потеряв свою юркость, словно окаменел и лишь дрожал от страха. Оба чернокожих матроса-невольника оставались невозмутимы.

Фелюга резко изменила курс и пошла шнырять по морю, казалось, сама приближаясь к пиратскому кораблю.

— Это не я, это не я, ваша светлость, так приказывает мне молодой господин! — хрипло кричал офицеру шкипер, видя, что тот не вкладывает шпагу в ножны.

На пиратском корабле, видимо, были изумлены поведением суденышка. Теперь уже были слышны торжествующие крики преследователей, которые решили, что жертва сдается и можно скоро поделить добычу.

Но фелюга опять резко изменила курс.

Чернокожие матросы невозмутимо выполняли приказания, перекидывая паруса, чтобы они оказались под нужным углом дующему с берега ветру.

Но как ни маневрировала фелюга, корабль пиратов неотступно надвигался на нее.

Мрачный офицер стоял с обнаженной шпагой, метр Доминик Ферма, обессиленный от дрожи в ногах, сел на бочонок, где стояла недавно шахматная доска, уронив голову на руки. Огюст забился под запасной парус. И он не видел, как фелюга буквально прошмыгнула под носом у пиратского корабля. Оттуда прозвучали несколько пистолетных выстрелов, но лишь единственная пуля достигла цели, попав в закутанного в парус Огюста и оцарапав ему ухо, чем он будет гордиться многие годы.

При полной парусности огромный и неуклюжий по

сравнению с верткой фелюгой корабль промчался мимо нее. Требовалось время, чтобы совершить маневр, поставив паруса так, чтобы идти зигзагом вслед за фелюгой против ветра.

Может быть, у пиратов не было столь опытного моряка, или вообще идти такому большому кораблю против ветра было куда сложнее из-за громоздкости при смене курса, но чем яростнее были крики на пиратской палубе, тем менее слышными они становились на фелюге.

— Поистине, мой юный друг, то, чего нельзя сделать при попутном ветре, можно сделать при встречном. Ваши действия убедили меня в правильности того, что человек — это связь без жизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. Мне не привелось применить шпагу, но я рад, что вы применили то, что сильнее ее.

### Глава третья

## МУДРОСТЬ ИСКУССТВА

*...Волей богов он шестую часть жизни*
*ребенком рос добрым.*
*Шестой половину бородку и знанья*
*растил человек.*
*Части седьмой был обязан и встречей с*
*подругой и счастьем...*

Из надмогильной надписи

В последний понедельник апреля 1629 года, вкусив все прелести морского путешествия, начиная с бесподобных закатов и восходов солнца, неизбежной качки и кончая столь близкой и возможной встречей с так жаждущими этой встречи пиратами, четыре наших француза увидели наконец Александрию (Аль-Искандарию).

Жадно всматривался молодой поэт и бакалавр в ослепительную панораму беломраморных, сверкающих на солнце строений и колоннад, лестниц террас, спускающихся с высокого берега к морю, воздвигнутых еще по повелению Александра Македонского его сатрапом и правителем Египта Птолемеем, а потом его наследниками в пору расцвета здесь эллинской культуры.

Здания эти выступали из зелени садов как память былого из глубины веков, и Пьер Ферма пожалел, что

не застал самого величественного из них, уходящего в облака великана древности, названного одним из семи чудес света, Александрийского маяка, разрушенного землетрясением.

Хозяин фелюги, вознося хвалу аллаху и суеверно благодарный французам за спасение своего суденышка, не без расчета получить вторую половину мешка с золотом после обратного рейса в Тулон, и, видимо, не слишком спеша к трем своим сварливым женам, взялся проводить приезжих к аль-искандарийскому звездочету арабу Мохаммеду эль Кашти, весьма почитаемому здесь даже турками за его удачные предсказания, основанные на знании звезд и тайн чисел.

Французские гости предусмотрительно запаслись письмами к ученому звездочету, написанными парижским аббатом Мерсенном, соучеником Рене Декарта по коллежу. В мрачную эпоху хитроумных интриг кардинала Ришелье и его помощника в плетении коварных сетей «серого кардинала» Мазарини скромный монах, тоже современник прославленного Александром Дюма д'Артаньяна, в пору Тридцатилетней войны, когда ни в одной из стран Европы не издавалось ни одного научного журнала и почитались лишь дела военные или придворные, скромный монах этот взял на себя многолетний подвижнический труд посредника, вступив в переписку с учеными людьми, среди которых окажутся: во Франции — Этьен и Блез Паскали, Декарт и де Бесси, в Италии — Торричелли, в Нидерландах — сам Гюйгенс и в Египте — арабские знатоки чисел, достигшие даже и под тяжелой пятой Османской империи успеха в науке о числах.

Но, прежде чем попасть к ученому звездочету, французам пришлось побывать у турецкого паши, представляющего здесь султана, чтобы получить соизволение на пребывание в Османской империи.

Разговор с пашой в окружении роскошных ковров и богато расшитых подушек был кратким, ибо начался с подношения ему того самого мешка с золотом, спасенного от алжирских пиратов. Паша в неизменной феске, с оплывшим лицом, превосходя толщиной даже метра Доминика Ферма, благосклонно принял дар и важно сказал:

— Враги врагов моих друзей — мои друзья. Неверные испанцы, да уничтожит их аллах, теснят правоверных, французы же готовятся к войне с испанцами и тем

самым становятся нашими друзьями. И пусть офицерский мундир одного из прибывших к нам будет свидетельством того, что другие французы в таких мундирах отомстят неверным испанцам за кровь правоверных мавров.

Переводчиком служил шкипер фелюги, снабжая слова паши ссылками на волю и милость аллаха и смотря на мешок с золотом так горестно, словно именно его ограбили тут у всех на глазах, а провожая дальше гостей к дому звездочета, непрестанно вздыхал, взывая к аллаху.

Почтенный Мохаммед эль Кашти оказался маленьким, сморщенным человечком с лицом, подобным высохшему и потемневшему апельсину, но с горящими умными глазами. Услышав при вручении писем, что они написаны господином Мерсенном, который особенно высоко, как и прибывшие, ставил арабские знания тайн магических чисел, он выразил свою радость по поводу прибытия таких почитаемых и ученых гостей. И эта радость его удвоилась, когда он услышал по-латыни, что переход христианских стран на арабские цифры взамен римских, оставленных лишь для воспроизведения дат, служит признанием высот арабской математики. Узнав же, что среди гостей прибыл и господин Картезиус, имя которого известно ему по высоконаучным латинским манускриптам, звездочет уже не знал, куда посадить гостей и чем им угодить.

В завязавшейся беседе, когда почтительные черные слуги со сверкающими белками глаз принесли дымящиеся чашки с кофе, а также всевозможные восточные лакомства, Мохаммед эль Кашти выразил высшую похвалу цели путешествия почтенных французов — ознакомление с достижениями арабской науки о числах и поклонение могиле великого математика древности Диофанта, ибо сочинения его, с которыми он познакомился, увы, не со всеми, но лишь найденными в Аль-Искандарии, заставили его трепетать от благоговения.

Метр Доминик Ферма мысленно взывал к святому Доминику, пораженный тем, что их спутник по морскому путешествию офицер де Карт (так Ферма произносил его дворянскую фамилию), который так отважно готов был защищать шпагой соотечественников, оказывается, известен даже здесь, на краю света, да еще под странным именем Картезиуса*. Пьера же Ферма это

* Теперь произносят Картезий. *(Примеч. авт.)*

обстоятельство нисколько не смутило, поскольку благодаря болтливости Огюста он прекрасно знал, с кем путешествует, к тому же латинские сочинения Картезиуса встречались Пьеру Ферма и даже подсказали ему теперь неожиданные выводы, сделанные им с привлечением математической логики.

Полезно проследить за ходом его рассуждений, учитывая при этом господство в его время предрассудков, насаждаемых церковью, военными и знатью с ее безраздельной властью. И все же. Известно: господин Декарт публикует свои труды под латинизированным именем Картезиуса, в которое входит корень «карт», частичка же «де», которая у офицера, следовательно, дворянина, должна предшествовать фамилии, отсутствует.

Для ясности вспомним, что частичка «де» во французском языке знаменует, что такое имя носит не просто «господин такой-то», а *«господин владений таких-то»,* точно так же, как в немецком языке приставка «фон», грамматическая, стала дворянской, означая *«господин чего-то»,* каких-то имений. А в Англии возведение в звание лорда связывалось с заменой прежней фамилии нового лорда названием дарованных ему поместий.

Для Пьера Ферма все это само собой разумелось, но тем смелее казалась его догадка о том, что первоначальное имя Декарта звучало как де Карт, последующее же включение дворянской приставки «де» в тусклую фамилию, присущую простолюдинам, Декарт, говорило о внутренней сущности и благородной скромности философа в офицерском мундире, не желающего выделяться среди обычных людей сословным именем своих владетельных предков. Метр Доминик Ферма мог бы рассказать сыну о случаях, когда простолюдин, желая показаться дворянином, выделял из своей начинающейся с «де» фамилии частичку «де» в виде приставки, говорящей о якобы присущей ему знатности.

Может быть, молодому поэту, узнавшему в пути глубину философских мыслей своего спутника, хотелось увидеть в нем отказ от спеси своего дворянского сословия, для доказательства чего Пьер и использовал математическую логику.

Звездочет сдержал свое слово и проводил французских гостей на запущенное древнее кладбище былого центра эллинской культуры. Старые, местами почернев-

шие, с проросшей в трещинах травой, мраморные плиты казались воплощением забвения, которому предали это место захоронения неверных правоверные властители Египта, сменяя друг друга, но истово чтя Магомета.

— Сделал все, что мог, больше сделают могущие, — сказал на скверном латинском языке маленький арабзвездочет. — Перед вами могила Диофанта с надписью на камне, которую я не могу вам прочитать, поскольку не знаю языческого наречия.

— Пусть не огорчает это нашего гостеприимного хозяина, — тоже на ужасном латинском языке, с которым он знаком был лишь по церковному богослужению, заявил метр Доминик Ферма. — Мой сын Пьер с помощью святого Доминика в числе других наук познал и древнегреческий язык, достигнув некоторого совершенства и в переводах стихосложением. — Тирада эта стоила метру Доминику Ферма немалых усилий, принимая еще во внимание непереносимую жару, и он вытер кружевным платком лицо, а потом подбородки, отдуваясь и от жары и от латыни.

Маленький звездочет был в белом бурнусе, видимо, хорошо предохранявшем его от жары.

Огюст стоял поодаль с кувшином воды, готовый утолять жажду господ, как те того пожелают.

— Можете ли вы, мой юный друг, действительно перевести эту древнюю надпись, слухи о которой дошли даже до Парижа? — спросил Декарт.

— Охотно, — отозвался молодой поэт. — Очевидно, полезнее перевести надпись сразу на латинский язык, дабы смысл ее стал понятен и нашему уважаемому ученому звездочету Мохаммеду эль Кашти.

— Ваше желание делает вам честь, ибо связано, надо думать, с дополнительными трудностями.

— Вы совершенно правы, господин Декарт. Сделать стихотворный перевод с языка Гомера на язык Вергилия, сохранив ритмику гекзаметра и введя дополнительно присущие латинским стихам рифмы, которых нет в древнегреческом тексте, несомненно, нелегко, однако выполнимо, — не без желания щегольнуть в красивой, отделанной фразе своим поэтическим искусством произнес Пьер Ферма.

Пока молодой поэт занялся стихами двух древних языков, остальные рассматривали мраморное надгробие.

— Сколько пистолей он теперь может стоить, этот древний мрамор? — глубокомысленно спросил метр Доминик Ферма. — Во Франции такой старины не найдешь.

— Уж не хотите ли вы перевезти это надгробье в Бомон-де-Ломань? — насмешливо спросил Декарт.

— Да спасет меня от этого святой Доминик. Я даже не знаю, христианское ли это захоронение?

— Могу вас уверить, и наш почтенный Мохаммед эль Кашти подтвердит это, надеюсь, — перешел на латынь Декарт, — что великий Диофант жил в третьем веке и дружил с самим епископом Александрийским.

— Хвала аллаху, что я могу подтвердить ваши слова, почтеннейший Картезиус. В введении в «Арифметику» Диофанта, которой я восхищался, упоминается о посвящении ее досточтимому Дионисию, дабы облегчить ему обучение учеников. Известно из сохранившихся здесь и переведенных для меня манускриптов, что Дионисий преподавал в школе для христианского юношества с 231 по 247 год по вашему христианскому летосчислению, после чего стал епископом Александрийским.

— Так что захоронение Диофанта нужно признать вполне христианским, тем более что другой епископ, Анатолий Лаодикийский, живший в Сирии в том же третьем веке, посвятил свой труд по математике Диофанту, — заключил Декарт.

— Тем не менее я осмелюсь высказать по этому поводу сомнения, — возразил Пьер Ферма.

— В надписи есть указание о том, когда жил Диофант? — раздраженно спросил Декарт.

— В надписи вообще нет никаких прямых указаний, но вся она представляет собой загадку, разгадывание которой может дать ответ на то, сколько лет прожил великий Диофант и даже когда он жил.

— Если надпись не подтвердит того, о чем мы сейчас говорили с почтенным Мохаммедом эль Кашти, то я предостерегаю вас от ошибочного перевода, который, к сожалению, я не могу пока проверить, но копию здесь написанного постараюсь доставить в Париж.

Все это господин Декарт произнес по-французски. Метр Доминик Ферма почтительно кивал, а маленький арабский ученый внимательно смотрел из-под своего белого капюшона.

— Я готов прочитать вам сделанный перевод, за несовершенство которого заранее готов принять ваши

упреки, однако оговариваясь, что сущность любой из этих строк не искажена переводом ни в какой степени.

И молодой поэт прочитал гекзаметром размеренные строки, которые он в отличие от древнегреческого подлинника даже зарифмовал:

Прах Диофанта — в гробнице, искусства же мудрость —
в надгробье.
Дивись, размышляй и откроешь, как долог усопшего век.
Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым.
Шестой половину бородку и знанья растил человек.
Части седьмой был обязан и встречей с подругой и счастьем.
Рожденья желанного сына почтенный мудрец ждал пять лет.

Сыну полжизни отцовской отмерил Рок мрачною властью.
И с холодом ранней могилы померк для отца жизни свет.
Дважды два года философ о сыне безмерно скорбел.
Но горю и жизни премудрой настал неизбежный предел.

Некоторое время Декарт и араб молчали, может быть, подавленные величием смысла надписи. Метр Доминик Ферма воспринял только безмерное горе отца, потерявшего сына, и, подняв глаза к небу, молча шевелил губами, поминая святого Доминика.

Наконец Декарт в изысканных выражениях похвалил искусство перевода и изящество латинского стиха, но, как обычно, с дружеским высокомерием произнес:

— Однако, юный мой друг, я не вижу никаких намеков на то, когда жил Диофант, хотя вы позволили себе заметить, будто такое указание есть. Что касается меня, то я вижу в этой надписи совсем другое — как вычислить возраст великого ученого древности.

— Вот именно, древности, — отозвался Пьер Ферма, — древности, а не третьего века от рождества Христова.

— Не говорите загадками, мой юный друг.

— Взгляните на третью строчку надписи. — И он протянул исписанный им листок.

Декарт прочел:

— «Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым». Не вижу никакой цифры, указывающей на эпоху, в которую он жил.

— Цифры необязательны, почтенный господин Картезиус. Здесь сказано — «Волей богов...».

— Разве это число?

— Множественное, господин Картезиус. Раз речь идет о многих богах, а не о всевышнем или господе боге едином, как надлежало выражаться христианам, то

надпись могла быть сделана лишь в дохристианское время. Дионисий же мог быть его современником, а не христианским епископом. Что же касается Анатолия, епископа Лаодикийского, то он мог посвятить свой математический трактат и давно умершему Диофанту, как готовы это сделать, скажем, вы, господин Картезиус, не говоря уже обо мне.

Декарт поморщился, взглянул на Мохаммеда эль Кашти. Тот кивнул, произнеся:

— Аллах един, веры разные. Но многим богам в своих капищах поклонялись только язычники. Нельзя не отдать должного остроумию нашего заморского поэта.

— Не будем спорить, опровергая установившееся уже в науке мнение, перейдем лучше к основному, к задаче, заключенной в десяти строках надписи.

— Клянусь святым Домиником, надпись, на мой взгляд, сообщает о печальной жизни и горе отца, потерявшего сына.

— О нет, не только это, — возразил Декарт. — Она предлагает определить возраст усопшего. Я напишу сейчас на песке своей шпагой уравнение, воспроизводимое строчками стихотворения, которое наш юный друг переводил, не подозревая об этом.

И Декарт, обнажив шпагу, начертал на песке:

$$\frac{x}{6}+\frac{x}{12}+\frac{x}{7}+5+\frac{x}{2}+4=x$$

И тут же вычислил *, объявив:

— x равен 84! Восемьдесят четыре года прожил великий Диофант! Но одно здесь странно... Верно ли вы перевели, юный мой друг, будто в надгробье, то есть в этом уравнении, заключена мудрость искусства Диофанта?

— Совершенно точно. Здесь прямое указание на мудрость искусства Диофанта, с помощью которого можно узнать, как долог усопшего век.

— Сомнительно. Я не хочу умалять ваши поэтические способности, юный мой друг, но решение подобных уравнений с одним неизвестным под силу было египетским писцам за тысячу лет до появления Александрии

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Приведя обе части уравнения к единому знаменателю, имеем: $14x + 1x + 12x + 5 \cdot 84 + 42x + 4 \cdot 84 = 84x$ и $9x = 9 \cdot 84$; $x = 84$.

и Диофанта. Вам нужно просто усовершенствовать свой древнегреческий язык, мой друг. И при переводе уделять больше внимания не рифмам, а глубокому смыслу переводимого.

Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:

— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.

Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:

— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!

И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.

Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.

— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.

— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.

— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.

— Паша отрубит мою старую голову, если я приму

участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.

— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.

— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.

— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.

— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!

— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!

— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.

Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:

— Огюст! Воды!

Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:

— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!

Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что, если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.

Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.

Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.

Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.

Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.

### Глава четвертая

## ОСКВЕРНИТЕЛИ ГРОБНИЦ

*Мужество делает ничтожными удары судьбы.*

Демокрит

Декарт не вернулся в гостеприимный дом арабского звездочета Мохаммеда эль Кашти, и тот был весьма встревожен появлением Огюста, который с непроницаемым видом и необычайной для него замкнутостью забрал вещи своего господина и удалился с таким видом, с каким парламентеры покидают перед штурмом осажденную крепость, считая ее обреченной.

Впрочем, отец и сын Ферма отнюдь не чувствовали себя осажденными и заинтересованно знакомились с помощью услужливого хозяина с красотами Аль-Искандарии и с глубинами арабской науки о числах.

Однако маленький звездочет не разделял беспечности своих гостей и однажды, снова увидев пронырливого Огюста, который не вошел в дом, а вертелся на углу базарной площади, словно выслеживая своих соотечественников, встревожился не на шутку, боясь, что разгневанный господин Картезиус не отказался от намерения убить молодого француза.

Маленький арабский звездочет проникся такой симпатией к своим французским гостям, что втайне изучил расположение звезд, каковое оказалось весьма для них неутешительным. И Мохаммед эль Кашти, стараясь не только уберечь гостей от кровопролитного поединка, но и спасти собственную голову от секиры палача османского паши, перед которым отвечал за заморских гостей, решил увезти французов из Аль-Искандарии, чтобы дать возможность господину Картезиусу остыть. И он предложил почтенным гостям ознакомиться с до-

стойными их внимания примечательностями Египта, с гороподобными пирамидами, искусственными сооружениями, которым нет равных в мире по величине, а также с некоторыми развалинами языческих капищ, конечно, не заслуживающих внимания ревнителей правой веры, но, может быть, любопытных для заморских господ.

Узнав о возможности подняться вверх по великой реке Нилу и увидеть своими глазами легендарные чудеса древней страны, Пьер Ферма пришел в восторг. Доминик же Ферма без конца сомневался, опасаясь воображаемых речных пиратов и разбойников пустыни, однако не устоял, узнав, что расходы по найму лодки для путешествия по Нилу берет на себя арабский звездочет, надежно вооружая при этом сопровождающих слуг.

И вскоре понурый Огюст хмуро наблюдал, как темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти переносили багаж путешественников в лодки, куда вскоре перебрались и господа Ферма вместе с этим маленьким арабом, который даже не счел нужным отыскать такого сиятельного господина, как Декарт, чтобы узнать, не пожелает ли тот тоже принять участие в плавании по местной речке.

Огюст, обретя былую подвижность, помчался к своему господину и, найдя Декарта на постоялом дворе, доложил, что их былые спутники бежали из Александрии. К его недоумению, Декарт не проявил по этому поводу никакого неудовольствия и лишь печально покачал своей головой, приказав Огюсту подыскать другой постоялый двор или корчму, поскольку в той, где они нашли приют, ему не давали сосредоточиться шумные моряки из слишком близкого порта.

Темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти оказались прекрасными гребцами, и лодка, даже в безветрие, ходко шла против течения мимо медленно проплывавших назад берегов, покрытых густой зеленью. Вдали пахари шагали за сохами, в которые были впряжены большерогие быки. Над полем прозрачной дымкой висела пелена тумана, а за нею угадывалась граница плодородной полосы и начинающейся пустыни.

— Все, что здесь цветет и живет по воле аллаха, обязано разливам Нила, почтенные господа. Потому наука древних в первую очередь изучала поведение реки.

— Как? Вода заливает всю эту зелень? — изумился Доминик Ферма.

— Да, река становится порой мореподобной, и мы с вами, окажись в ту пору здесь, плыли бы, почти не видя берегов.

— А как же крестьяне? Как спасаются они от наводнения? — расспрашивал второй консул Бомон-де-Ломань, думая о своих земляках во Франции, для которых наводнение всегда бедствие.

— Для здешних крестьян, феллахов, которых вы видите на берегу, ниспосланные аллахом наводнения не беда, а радость, ибо все, что растет, это подарок Нила, а также остающегося после наводнения плодородного ила на полях, правда, сами поля, вернее, границы между ними исчезают.

— Вот как? — заинтересовался Доминик Ферма. — Не возникают ли споры между землевладельцами? Если бы такое случилось у нас во Франции, то суды оказались бы заваленными тяжбами, можете мне поверить, я в родстве с юридической семьей де Лонгов, из которой происходит моя супруга, мать Пьера.

— Да продлит аллах ее дни, досточтимый гость мой! Древние египтяне посвящали свою науку решению задач предсказания наводнений Нила, а также размежеванию после наводнения земельных участков с помощью астрономии и геометрии.

— Это интересно, — вступил в разговор Пьер Ферма.

— Еще бы! Хотя здесь и полно тайн, хранимых в древности языческими жрецами, которые для своих календарей пользовались звездами, в особенности Сириусом, имея точное представление о его периоде обращения в пятьдесят лет.

— Почему Сириус?

— При случае я расскажу вам, почтенные гости, поскольку в числе моих слуг есть Оготомелли, мы зовем его Огото. Он из племени догонов, принадлежащего народу бамбара, который живет на плоскогорье, и жрецы там стали хранителями древних тайн, касающихся Сириуса, кое-что передали и Огото. Впрочем, для разделения участков земли, освобожденных после наводнения, древние египтяне пользовались своими тайными знаниями геометрии, достаточно вспомнить их священный треугольник со сторонами 3, 4, 5. Они делали на веревке узлы с расстояниями между ними в три, четыре

и пять мер и, натягивая веревку на колышках, получали очень точно прямой угол.

— Хозяин, — прервал арабского звездочета негр-гигант.

— Что тебе, Огото? — поинтересовался араб.

— Всадники скачут по берегу.

— Пусть себе скачут, моих гостей интересуют не всадники, а геометрические горы, которые уже хорошо видны отсюда. Это пирамиды, достопочтенные мои гости, эти горы удивят каждого, кто в состоянии мыслить и осознать, что созданы они поистине непосильным для простых смертных трудом, как памятники величайшего ума и забытых ныне знаний.

— Да услышат твои уши, хозяин! — снова обратился негр Огото, сверкая белками глаз. — Первый всадник в тюрбане приказывает тебе стоять.

— Как стоять? — изумился араб.

— Это не иначе как разбойники пустыни! — взволновался старший Ферма. — Недаром я их так страшился! Помоги нам, святой Доминик, спаси нас! — Он лишь видел вооруженный конный отряд, не понимая реплик араба и его слуги.

— Досточтимые господа, — обратился к гостям араб, — это непохоже на разбойников, с ними мы могли бы помериться силами. Один мой Огото стоит пятерых, но я вижу у всадников на пике конский хвост, похожий на язычок самого османского султана.

Неприятно прожужжала стрела, перелетела через лодку и упала в воду.

— Может быть, спастись у другого берега? — предложил Доминик Ферма.

— Там тоже отряд таких же всадников. Лучше пристать к берегу и выяснить, чего они хотят. Быть может, это к счастью, что они не разбойники, — сказал маленький араб.

По его указанию кормчий направил лодку к берегу, а через короткое время она ткнулась в отмель и к ней по воде, вздымая брызги фонтанами, влетели всадники, дико вопя и размахивая над головами ятаганами.

Араб-звездочет храбро вскочил на ноги и стал громко кричать им по-турецки, поминая аллаха через каждые два-три слова.

Все происходящее было достаточно непонятно французам. Араб обратился к ним:

— Досточтимые господа, это несомненное недораз-

умение, которое, я думаю, скоро разъяснится. Они именем султана требуют, чтобы мы высадились на берег, намереваясь обыскать лодку и отнять у нас якобы похищенные нами из какой-то гробницы сокровища.

— Мой бог! Пистоли, коими я обладаю, едва ли можно счесть за сокровище! — взмолился Доминик Ферма.

Путникам пришлось подчиниться.

Спешившиеся всадники переворошили в лодке все вещи, забрали у слуг их оружие. Араб же невозмутимо объяснял гостям, наблюдая за хозяйничаньем янычар:

— В пирамидах, я вам говорил, язычники хоронили своих султанов, или фараонов, как они их называли, окружая мертвецов ценностями, достойными того положения, которое они занимали при жизни. Безбожные грабители, да поразит их аллах, проникают в эти гробницы и, оскверняя их, похищают ценности. По-видимому, османский паша решил вести с ними борьбу, а в начале всякого дела возможны промахи и неудачи, извините его.

Бородатый, в тюрбане, всадник с крючковатым носом подскакал к спутникам и, осадив взмыленного коня так, что французов обдало запахом конского пота, громко закричал.

Маленький араб с неизменным спокойствием вежливо отвечал ему. Всадник в тюрбане выхватил ятаган и занес его над арабским звездочетом, но, услышав какое-то объяснение, вложил саблю в ножны.

— Почтенный начальник отряда, служащий султану и аллаху, счел нас грабителями гробниц и требует, чтобы мы открыли ему наш тайник, куда мы спрятали сокровища. Он обещает нам жизнь, если мы поделимся с ним и с пашой. Я ответил ему, что состою звездочетом при османском паше и предсказываю ему будущее, за что он ценит меня. Почтенный начальник отряда не поверил мне, но решил пока не убивать нас, а заключить в ту самую гробницу, которую мы, по его мнению, ограбили. Я объяснил ему, что чужестранцы — гости самого османского паши и его ждут серьезные неприятности, которые я ему, как прорицатель, могу предсказать, как только появятся звезды. Он не желает испытывать свою судьбу, требуя своей доли сокровищ.

— Откуда же мы возьмем ему фараоновы сокровища? — воскликнул Доминик Ферма. — Скажите ему,

что святой Доминик сообщит самому господу богу о греховности этого всадника в тюрбане.

— Я уже ссылался на аллаха, но это грубый, невежественный воин, он умеет орудовать ятаганом и едва ли знает коран.

Двух французов, араба и сопровождающих негров во главе с гигантом Оготомелли под конвоем всадников повели в направлении ближней пирамиды.

Маленький звездочет все время убеждал всадника в тюрбане. По-видимому, они о чем-то договорились. Звездочет перевел гостям:

— Он решил пока не отрубать нам головы, посылая гонца к османскому паше в Аль-Искандарию, но предупреждает, что не собирается кормить и поить нас до тех пор, пока мы не сознаемся, где спрятали сокровища.

— И как долго он будет ждать гонца? — спросил сохранявший спокойствие Пьер Ферма.

— Если благословенный паша, да умножит его силы аллах, находится в Аль-Искандарии, а не отправился куда-либо по его высоким делам, то гонец обернется дня в два, поскольку он, возможно, не будет слишком спешить и пожалеет коня, который ему, несомненно, дороже всех нас, вместе взятых, если же паши в городе нет, то нам поможет лишь один аллах.

— Весьма утешительны ваши речи, почтенный Мохаммед эль Кашти, — заметил Пьер Ферма.

Его отец всхлипнул и добавил:

— Не я ли колебался по поводу опасного путешествия в невежественную страну! О святой Доминик! Отчего же ты не удержал меня?

Всадники подвели пленников к основанию пирамиды, которая, поражая воображение, уходила ввысь, в эмалево-синее небо, солнце отражалось в полированных плитах, частично снятых, из-за чего солнечная дорожка местами прерывалась.

Турки спешились и грубыми окриками и размахиванием ятаганов заставили пленников обойти основание пирамиды, пока не обнаружилось отверстие тайного, теперь открытого хода. Оно было на высоте двухэтажного дома, и к нему нужно было подниматься, скользя по полированным, не снятым здесь плитам.

Доминик Ферма задыхался и спотыкался на каждом шагу, Пьер помогал ему, негры шли следом, покорные, ко всему готовые, маленький араб замыкал шествие.

Путников втолкнули в темный ход и за последним

из них закрыли ход хорошо пригнанной, очевидно, незаметной снаружи плитой.

Путешественники оказались во мраке, не имея ни факелов, ни других источников света. Воздух казался затхлым и душным.

Постепенно глаза привыкли к темноте, хотя различить друг друга никто из них не мог.

— Этот ход ведет, если он не ложный, к гробнице. Ложные специально устраивались жрецами, чтобы сбить грабителей с пути, лишив их добычи, — послышался невозмутимый голос арабского звездочета, как всегда говорившего с гостями на латинском языке.

— Жаль, что мы не можем осмотреть саму гробницу, — отозвался Пьер Ферма. — Ведь ради этой гробницы сооружалась вся искусственная гора.

— Так считают в ваших странах заморские гости, но арабские ученые еще четыреста-пятьсот лет назад пришли к другим выводам: по их убеждению, пирамиды эти построены задолго до царствования погребенных в них фараонов, их детей и матерей, за 12 тысяч лет до начала вашего христианского летосчисления, почти за 13 тысяч лет до начала ислама, в далекие времена царствования царя Сурида, когда люди здесь знали много больше нас с вами, молодой мой ученый и поэт *.

— Какие же знания подозреваете вы у них, почтенный Мохаммед эль Кашти?

— О всемогущий господь наш! Да как вы можете говорить о таких вещах, когда святой Доминик подсказывает мне покаянные молитвы, которые мы должны возносить к всевышнему!

— Уверяю тебя, отец, что твой святой Доминик простит нам беседу в темноте, поскольку она проливает свет на тайну сооружения, в котором мы заключены.

— Даже тысячелетние тайны приоткроются по воле аллаха, если, помня о нем, размышлять.

— Значит, не сами фараоны, почтенный Мохаммед эль Кашти, строили для себя гробницы, чтобы оставить о себе память на тысячелетия?

— Конечно, так, ибо человеческой натуре несвойственно готовить самому себе гроб и постоянно иметь его перед своими глазами, да еще такой величины! Ку-

---

* Арабские источники X—XII веков расходятся с современными представлениями о возрасте пирамид *(Примеч. авт.)*

да естественнее согласиться с тем, что горы были уже насыпаны с другой целью и впоследствии использовались как удобное место погребения знатных особ.

— С какой же целью они насыпались 13 600 лет назад?

— Чтобы заложить древние знания в неисчезающие размеры этих простейших по форме, но исполинских по величине и глубине сокрытых в них тайн фигур. По преданию, идущему еще от фараоновых писцов, хранителей письменности и познания, три главные пирамиды, названия которых выговариваются различно, но по-латыни звучат как пирамиды Хеопса, Хефрена и Маккарена, эти три пирамиды будто бы размерами своими знаменуют какие-то звезды-планеты, но острого зрения арабских звездочетов недостаточно, чтобы проверить ныне эту легенду. Небезынтересно и то, что сумма длин прямых, составляющих основание пирамиды Хеопса, можно представить длиной окружности с радиусом, равным высоте, которая, в свою очередь, как-то связана со звездным небом *.

— Как? 13 600 лет назад строители пирамид знали о звездах даже больше арабской науки, уважаемый Мохаммед эль Кашти?

— Почтенный мой гость, они знали священное число $\pi$, вычисленное тысячелетия спустя великим эллинским мудрецом Архимедом из Сицилии в городе Сиракузах **.

— Поистине страшна кара всевышнего, наказавшего древних за великие, видимо, грехи их, лишив обретенных ими знаний, — вставил дрожащим голосом Доминик Ферма. — И, как говорил святой Доминик, знания человеческие, не опирающиеся на чистую веру, заносит временем, как песком пустыни.

— Но человек все же снова обретает их, — добавил его сын.

---

* Сопоставление современных данных астрономии с размерами египетских пирамид устанавливает, что упомянутые три пирамиды по своим массам соответствуют массам планет Земля, Венера, Меркурий, высота же пирамиды Хеопса ровно в миллиард раз меньше (какими бы мерами ни пользоваться) среднегодового расстояния Земли от Солнца, причем ни это расстояние, ни массы планет древние астрономы без соответствующих астрономических приборов, казалось бы, измерить не могли. *(Примеч. авт.)*

** Величина «$\pi$» была известна древним египтянам как $\frac{22}{7}$, выражавшаяся просто в семеричной системе счисления. *(Примеч. авт.)*

— Считая их найденными впервые. Истинно так, ибо такова воля аллаха.

— Ох, темна история пирамид, как темно здесь, во чреве их, — горестно вздохнул Доминик Ферма.

Мрак угнетал пленников, духота давала себя чувствовать, пробуждая жажду, которую нечем было утолить.

Казалось, отчаяние охватило бодрившихся в разговоре ученых, умолкших теперь, отчего наступившая тишина стала невыносимой. И, нарушая ее, снова послышался голос Пьера Ферма:

— Кому же древние обязаны своими высокими познаниями, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Сохранились ли имена первых писцов, свидетелей закладки пирамид будто бы при царе Суриде?

Поняв состояние своего гостя, арабский звездочет охотно откликнулся:

— Известно только одно имя — Тота Носатого, языческого бога Луны, мудрости, письма и счета.

— Не его ли потом греки называли Прометеем, воспевая как титана, похитившего для людей огонь знания у небес?

— Ах, если бы этот греческий герой уделил нам здесь хоть небольшой светильник! — запричитал Доминик Ферма.

— Ваш сын, метр, вспомнил о сказочном Прометее как поэт, — успокаивающим тоном отозвался арабский звездочет. — А ведь о ложном боге Тоте древние египтяне вместе с тем говорили и как о существе, которое якобы прилетело на Землю со звезд, и изображали его с птичьей головой, приписывая ему покровительство наук, ученых писцов, священных книг и колдовства (то есть использование тайных знаний).

— Святой Доминик, услышав вас, почтенный Мохаммед эль Кашти, — строго возразил Доминик Ферма, — напомнил бы вам, что бог един и вездесущ, он создал и Землю и звезды, и нет среди его ангелов никакого Тота, которого он мог бы послать со звезд на грешную Землю. Так учит нас святая церковь, и не так ли учит вас коран?

— Аллах да благословит вас, почтенный метр!

— А все-таки, — упрямо вмешался Пьер Ферма. — Конечно, Тот не мог быть богом, к тому же древнегреческие мудрецы учили, что люди существуют и на других звездах.

— Они были язычниками, эти философы, да простит их аллах, и жили как бы в такой же темноте, как и мы здесь, в пирамиде.

— Но разве святая церковь не может допустить, что всевышний, создав звезды, населил их, как и Землю, разумными людьми «по образу и подобию» своему?

— Не знаю, как у вас, христиан, но в коране говорится не о людях, а о гуриях на небе.

— Гурии? Но ведь они ублажают там кого-то, не так ли? Какие же были основания у древних для их наивного верования в сошествие Тота с другой звезды? Может быть, они называли ее?

Вместо ответа арабский звездочет подозвал своего слугу Оготомелли:

— Огото! Подойди к нам.

Негра не было видно в темноте, но приближение его ощущалось как присутствие чего-то огромного, дышащего могуче и размеренно.

— Огото, ты был в своем племени среди посвященных, которому открывались тайные знания, переданные теми, кто прилетал когда-то на Землю с Сириуса.

— Так, хозяин. Огото знает про две звезды знания — Сиги доло и Фини доло. И еще одну звезду рядом. Те, кто прилетал оттуда, говорили, что она вспыхнет и все оставшиеся погибнут. И она вспыхнула, хозяин, через год, как те прилетели к нам. И потом двести сорок лет угасала, пока ее не стало видно. Так передают наши старцы. Истинно так, хозяин.

Арабский звездочет переводил рассказ Оготомелли, добавив, что посвященных догонов учили многим премудрым вещам, известным тем, кто прилетал со звезд *.

---

* Древние связи календарей и преданий со звездой Сириус известны не только у египтян или еще раньше у шумеров, но также и у некоторых африканских племен, в частности, у догонов, как свидетельствуют об этом французские этнографы Марсель Гриель и Жармена Дитерлен в журнале Общества африканистов (Париж, т. XX, 1950) и в монографии «Бледный лис» (т. 1, ч. 1, 1956), сообщившие, что догонам известно, будто Сириус двойная, даже тройная звезда (Сириус А и В, наблюдаемые в современные телескопы, и еще не открытый Сириус С!), кроме того, догоны, не имевшие никаких астрономических приборов, а тем более современных физических аппаратов, имели представление не только о параметрах Сириуса, его орбите и светимости, но и передавали из поколения в поколение посвященным некоторые совпадающие с современными взглядами на строение вещества, происхождение вселенной и подобные этому знания, якобы переданные их предкам людьми, прилетевшими от Сириуса. *(Примеч. авт.)*

Интересная сама по себе беседа происходила, однако, в необычайных условиях и не могла заглушить ни жажды, ни голода, ни угнетающей тьмы заключенных в пирамиде людей, у которых оставалось все меньше надежд на избавление.

О своем же гороскопе, раскинутом для гостей перед отъездом с неблагоприятным для них расположением Сириуса, астролог ничего не сказал, предвидя всяческие несчастья, которые уже дали о себе знать.

### Глава пятая

## ОРНАМЕНТ ХРАМА БОГА ТОТА

*Ум заключается не только в знании, но и в умении применить знание на деле.*

Аристотель

Гонец, побывавший у османского паши в Аль-Искандарии, вернулся не один, а в сопровождении посланного пашой десятника его личных янычаров, крепкого и ловкого турка с горбатым, крючковатым носом и хитрыми глазами. По велению паши он должен был сопровождать путешественников на случай, если те действительно проникнут в гробницу с сокровищами, на долю в которых претендовал паша, убежденный, что у заморских неверных не могло быть другой цели путешествия в Египет.

Все это с недвусмысленной ясностью сообщил от имени паши освобожденным путникам, вернее, Мохаммеду эль Кашти Айдын Ага Алигул-оглы, как он напыщенно назвал себя.

— Не скрою, уважаемый, — ответил ему Мохаммед эль Кашти, — мы рассчитываем увидеть сокровища древних, но едва ли они устроят благословенного пашу, ибо являются лишь сокровищами ума.

Посланный паши лишь усмехнулся. Насчет того, что есть сокровища, которые не интересуют османского пашу, у него было свое мнение.

Когда французы в сопровождении арабского звездочета и его слуг вышли из своего заточения на воздух, ослепленные солнечным светом и опьяненные свежим

воздухом, они долго не могли прийти в себя, хотя голод и жажда измучили их.

Однако пленивший их начальник янычар не собирался утолять их голод и жажду, пришлось рассерженному звездочету пригрозить ему таким гаданием по звездам на его имя, что не только он, но и его потомки до седьмого колена будут помнить своего несчастного предка, нарушившего предписания корана и закон гостеприимства, ибо с момента прибытия специально посланного паши, доблестного янычара Айдын Ага Алигула-оглы чужестранцы и сопровождающие их лица становятся уже не пленниками, а гостями янычар.

Бородатый сотник долго не мог уразуметь смысла сказанного астрологом, однако, заподозрив в нем колдуна, решил не навлекать на себя и потомство черных сил шайтанов, с которыми общается этот араб, и приказал накормить и напоить путников.

Вернувшись к вытащенной на берег лодке, арабский звездочет убедился, что, кроме весел, там ничего не оставлено. Он потребовал у бородатого начальника воинов, чтобы те вернули его слугам оружие, но тот наотрез отказался, уверяя, что не может разоружать своих всадников, добывших оружие в честном бою, хотя никакого боя, конечно, не было, но спорить с турком не стоило, и даже вмешательство посланника паши не помогло.

Но особенно плохо оказалось дело с похищенным продовольствием, без которого невозможно продолжать путь.

Араб истощил все свое красноречие, призывая и аллаха и грозя проклятием, всадник в тюрбане казался глухим.

Неожиданно на помощь Мохаммеду эль Кашти пришел метр Доминик Ферма. Проявив свою коммерческую сметку, он показал бородатому начальнику всадников свои золотые пистоли и предложил выкупить у него похищенное продовольствие.

Вид золота сделал свое дело, и за изрядную сумму, которую с причитаниями и взыванием к святому Доминику отсчитал второй консул Бомон-де-Ломань, путники получили обратно все, что у них было отнято (кроме оружия).

На жалобу Доминика Ферма посланнику паши тот с невозмутимым видом ответил:

— Паша, да благословит всемогущий аллах его дела, не платит жалованья янычарам, с которыми вы имеете здесь дело, господин, они должны сами прокормить себя, потому и стараются найти похитителей сокровищ из гробниц. Если готовишь собак для охоты, не надо их кормить.

Доминик Ферма, которому маленький араб перевел эти мудрые мысли, не нашелся что возразить. Пьер же Ферма напомнил отцу, что и во Франции есть отряды короля или какого-нибудь герцога, которые сами себя кормят.

Путешествие в лодке возобновилось. Весла мерно опускались в воду, а скоро удалось поставить и парус и воспользоваться попутным ветром.

— Куда направляет лодку твой ум, почтенный звездочет? — спросил Айдын Ага араба.

— Чужеземцы заинтересовались древним египетским богом Тотом, который не был богом, потому что аллах един, а скорее всего гостем Земли с чужой звезды.

— Великий султан да защитит меня от таких пагубных слов! Где же ты хочешь найти этого мерзостного Тота?

— Не Тота, который побывал на Земле много тысяч лет назад, уважаемый Айдын Ага, а лишь храм его.

— Боюсь, правоверный, что посещение таких мерзостных мест, как языческие капища, может не понравиться великому султану и благословенному паше.

— Благословенный паша, выражающий волю великого султана, уважает чужеземцев и их интерес к древней истории страны и ценит их щедрость, уважаемый Айдын Ага.

Айдын Ага замолчал, но глаза его сузились не то хитро, не то зловеще.

Что же касается французов, в особенности Пьера Ферма, то интерес после разговора в темноте о легендарном Тоте настолько обострился, что Пьер не раз спрашивал араба, как скоро доберутся они до обещанного храма бога Тота.

— Я бы мог показать гостям близкие полузасыпанные песком храмы, вернее, их руины с остатками статуй бога Тота Носатого, но рассудил, что вместо квадратных колонн и обвалившихся сводов куда интереснее увидеть то, что сохранилось в нетленности в глубине

земли в тайном храме бога Тота, тем более что Тот имел отношение к геометрии, судя по некоторым его орнаментам, к науке, так почитавшейся египетскими писцами. Потому гостям моим придется потерпеть еще до завтрашнего вечера, когда с помощью аллаха мы достигнем нужного нам места.

Пьер готов был ждать сколько угодно долго, тем более что теперь вместо внутреннего хода пирамиды с ее мраком перед ним открывались залитые солнцем живописные просторы когда-то столь богатой и могучей страны, что она держала в страхе и повиновении соседние народы.

Воображение Пьера рисовало ему сцены древней, давно исчезнувшей жизни, несчастных рабов, копошащихся в каменоломнях, вырубающих там или влекущих оттуда гигантские колонны и плиты для храмов или пирамид. Этих людей считали «живыми мертвыми», они перестали быть «живыми» на поле боя, где сражались как люди, но остались жить уже как рабы, на положении подневольных животных.

Представлял он себе и восстания рабов, не раз сотрясавшие древнее царство, смену династий, когда на трон фараонов всходили взбунтовавшиеся вожди рабов, которые продолжали во времена Древнего Царства египетскую историю на основе того же угнетения феллахов и рабов, которыми становились вчерашние господа, познавшие затем плеть надсмотрщика. Египет же оставался Египтом, и бессменные жрецы его по-прежнему властвовали, враждуя между собой в храмах богов Ра и Тота.

К вечеру обещанного дня «с помощью аллаха и попутного ветра» араб приказал завести лодку в камыши, объявив, что отсюда они пойдут пешком.

Айдын Ага отказался их сопровождать, заявив, что если чужеземцы найдут сокровища, то им придется принести их в лодку, а он, правоверный янычар великого султана, не осквернит себя посещением мерзостного языческого капища.

Маленький араб только пожал плечами, скрыв тревогу и неудовольствие.

Вереница путников растянулась по едва приметной тропинке.

Солнце нещадно палило, слышался звон цикад, сливающийся в назойливый, несущийся отовсюду треск.

Тропка поднималась и опускалась, извивалась, обходя выступающие из земли огромные камни.

Возбужденному воображению Пьера казалось, что это не просто камни, а остатки древних строений.

Но здесь были лишь заброшенные древние каменоломни.

Вход в подземелье под каменным обрывом холма мог бы найти лишь посвященный.

Метру Доминику Ферма было особенно трудно протиснуться в указанную ему щель между двумя почти вплотную примыкающими одна к другой гранитными плитами. Он решился на это лишь после того, как в щели вслед за маленьким арабом исчезли слуги с факелами, а Огото, при его гигантском росте, пролез с немалым трудом. Пропустив отца вперед, Пьер Ферма проник в подземный коридор последним.

Пахнуло сыростью и затхлым запахом пыли. Под ногами хрустел занесенный сюда ветром песок. К свету факелов глаза привыкли не сразу. Коридор вел круто вниз. Навстречу, трепыхая крыльями, вылетела стая летучих мышей. Пьер Ферма невольно пригнул голову, ощущая ветерок от проносящихся над его головой крылатых животных.

Сердце его учащенно билось. Он видел впереди в мерцании факелов фигурку арабского звездочета, уверенно сворачивающего в ответвления подземного хода.

Наконец все достигли круглого зала. Пьер Ферма оглядывался, слыша рядом тяжелое дыхание страдающего одышкой отца.

— Вот изображение Тота Носатого, языческого бога Луны и мудрости, что знаменуется диском луны над головой бога и змеей на этом диске.

Мохаммед эль Кашти указал на стену с гладко отполированной изумрудной мраморной плитой, отражающей пламя факелов.

На ней отчетливо выступало выполненное золотыми линиями изображение, поразительно свежее, чудесно сохранившееся на протяжении тысячелетий.

Бог Тот, как и принято во всех египетских рисунках, был представлен в профиль. Голова его напоминала и человеческую и птичью (птицу Ибиса), волосы-перья, подобно египетскому головному убору, спускались на спину. В одной руке он держал на золотой цепочке Т-образный предмет (какой-то символ), в другой — по-

сох, раздвоенный внизу *, с фигуркой птицы вверху. Изображение бога окружалось золотыми иероглифами с фигурками птиц, рыб, вперемешку с волнистыми линиями, черточками и причудливыми знаками.

— Да простит мне аллах неспособность познакомить гостей с тем, что написано язычниками, вполне возможно, что здесь отражены и тексты легендарных изумрудных табличек бога Тота с заключенными в них знаниями грядущих поколений **, хотя правоверному ясно, что почерпнуть что-либо в языческих ложных знаниях и верованиях нельзя, свидетелем чему сам аллах!

Пьер Ферма отлично понял некоторое смятение арабского ученого, в котором боролись интерес к древней мудрости и страх перед запретами ислама, а также он испытывал некоторый страх перед присланным пашой соглядатаем, оставшимся в лодке среди камышей.

Рассмотрев изображение бога Тота и непонятные письмена, молодой бакалавр огляделся, но ничего, кроме девяти дверей, ведущих в соседние помещения, не увидел.

Он попросил чернокожего гиганта с факелом посветить ему и вошел через ближнюю дверь в каменный каземат, послужив примером для всех остальных.

Пьер Ферма подумал, что груды трухи на каменном полу могли быть когда-то столами и стульями, и здесь ученые писцы передавали свои тайные знания вновь посвященным служителям бога Тота.

Арабский звездочет поморщился при виде тысячелетнего запустения.

— Увы, в отличие от зала, где мы только что побывали, тут не на чем остановить вашего благородного внимания, остается заглянуть в соседние помещения, где, к сожалению, тоже нет ничего примечательного, если не считать примитивного орнамента на стенах.

Пьер Ферма насторожился. Достаточно было выразить неприятие чего-нибудь, чтобы привлечь его при-

---

* Раздвоенный внизу посох напоминает палочки «лозоискателей» древности, указывающих с помощью лоз места для рытья колодцев. Современная наука, используя биотоки мозга, создала «психотронику», позволяющую находить в земных недрах полезные ископаемые Возможно, египтяне знали «лозоискательство», приписывая его появление богу Тоту. *(Примеч. авт.)*

** Легендарные «изумрудные таблицы бога Тота», расшифрованные в наше время, якобы содержат намеки на атомное строение вещества, относительность всяких измерений и другие современные знания. *(Примеч. авт.)*

стальное внимание. И не отзовись арабский ученый столь пренебрежительно о примитивном орнаменте, Пьер Ферма, возможно, не заинтересовался бы им, но теперь он старался увидеть в пересечении прямых линий нечто большее, чем просто узор.

В самом деле, зачем в тайном храме украшать стены бессмысленным пересечением линий? Если здесь действительно передавались тайные знания, то рисунки на стенах должны были как-то способствовать этому! И Пьер Ферма стал вглядываться в орнамент.

Поначалу увиденное не вдохновило его: ряд увеличивающихся в размерах квадратов, каждый из которых окружен как бы двойной линией, ограничивающей маленькие квадратики. Все эти геометрические фигуры вписывались одна в другую, доходя до потолка, и, видимо, могли бы выйти за его пределы. Это обстоятельство особенно насторожило Пьера Ферма, он стал пристально вглядываться в настенное изображение и вдруг задрожал от волнения. Озаренный, он угадал в малом квадрате, затем в более крупном, потом в самом крупном в левой нижней части орнамента графическое изображение математической формулы, хорошо ему известной, берущей начало от знаменитого открытия Пифагора.

Как пожалел Пьер Ферма, что с ним нет сейчас Декарта, именно ему мог бы рассказать он о своей догадке, позволившей на миг как бы ощутить дыхание самого легендарного бога Тота, хранителя тайны, готовой открыться Пьеру Ферма!

Маленький звездочет уловил в выражении лица молодого гостя нечто необычайное и осторожно спросил его, что удалось обнаружить ему в незатейливом орнаменте.

— Клянусь вечной истиной, почтенный Мохаммед эль Кашти, но мы находимся сейчас рядом с самой удивительной загадкой, которую можно задать всем знатокам чисел как Европы, так и других частей света, и прежде всего вам, уважаемый звездочет и знаток арабской науки о числах.

— Что можно увидеть в полутьме, гость мой?

— Я увидел здесь яркий луч солнца, сверкнувший в подземелье! Свет солнца, дающего жизнь всему живому, будящему мысль во всем разумном!

— Свет солнца в тайном храме бога Тота? Хорошо, что нас не слышат былые жрецы этого капища, которые смертельно враждовали со жрецами Ра — бога

Солнца, попеременно сажая на трон угодных им фараонов и пополняя в эти периоды казну храмов. Клянусь аллахом, они сочли бы ваши слова о луче солнца в их подземном капище кощунством, и вам дорого пришлось бы заплатить за свой поэтический пыл.

— Не поэтический, почтенный Мохаммед эль Кашти, а математический! Но если есть в математике поэзия, то она вскрывает себя именно здесь! Должно быть, всевышнему было угодно, чтобы именно так завершилась в этом подземелье тысячелетняя вражда поклонников солнца и служителей знания, которые, даже запрятанные в вечную тьму, сверкнули истинным солнцем! Рассмотрите малый квадрат в нижнем левом углу, окруженный прямоугольным узором из маленьких квадратиков! Их девять! Один в правом верхнем углу и два раза по четыре примыкающих к сторонам малого квадрата. Следовательно, сторона малого квадрата равна четырем единицам, сторона большого — пяти, а площадь всех девяти маленьких квадратов равна квадрату со стороной в три единицы. Так ведь это же священный египетский прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5!

— Поистине поэзия полезна математике, мой юный гость! Вот тот случай, когда воображение по воле аллаха становится мудростью.

— Но это не все, не все, почтеннейший звездочет и наш гостеприимный хозяин! Если бы я был язычником, то попросил бы отца занять у вас денег на покупку стада быков в сто голов.

— О святой Доминик! Зачем ему сто быков? — воздел руки к потолку метр Доминик Ферма. — Откуда я возьму такие деньги?

— Когда великий Пифагор сделал свое открытие о прямоугольном треугольнике, он принес в жертву греческому богу Зевсу сто быков.

— О горе мне видеть лишившегося разума сына!

— Не горе, а радость, мой почтенный родитель, должна обуять вас! Сам уважаемый Мохаммед эль Кашти подтвердит, что часть квадрата, похожая на лесенку, равна площади второго катета в три единицы. Их можно пересчитать, эти квадратики! Девять, как и дверей в зале бога Тота, что наверняка не случайно!

— Истинно так, — смущенно произнес арабский ученый. — Я все понял.

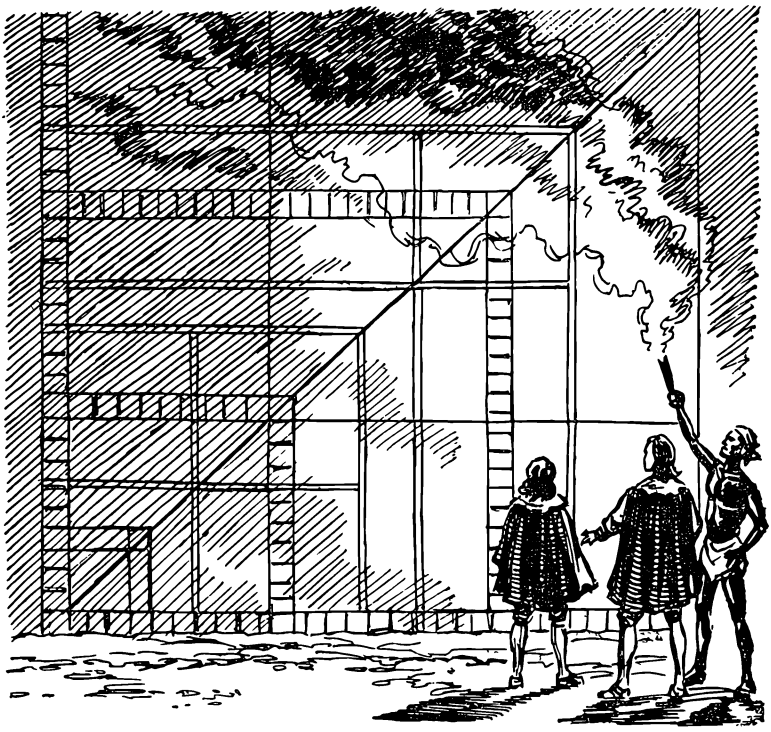
— О нет, не все! Не все! Чтобы все понять, надо уяснить связь между всеми квадратами, уместившимися на

стене, и теми, которые не уместились, а потому не изображены.

— Поистине, когда всевышний хочет наказать когонибудь, он лишает его рассудка. Несчастный сын мой видит уже ненарисованное, блуждая в мире призраков!

— Я имею в виду, — обращаясь уже не к отцу, а только к арабу, продолжал Пьер Ферма, — что мы имеем дело в этом орнаменте не только с теоремой Пифагора, не только с квадратом суммы двух величин, равной сумме их квадратов и удвоенному их произведению, но и со священным египетским треугольником, более того, со священными рядами таких треугольников, и я уверен, что вы, знаток арабской науки о числах, найдете и второй и третий треугольники первого ряда, а также треугольники второго и третьего рядов, изображенных с такой гениальной скупостью здесь, на стене.

— Да просветит меня аллах! Я действительно вижу квадраты, построенные на сторонах треугольника с ка-



тетами 5, 12 и гипотенузой 13! Достаточно лишь сосчитать число квадратиков, примыкающих к стороне первого квадрата.

— Как я и ожидал, почтенный Мохаммед эль Кашти, вы решили эту задачу так же быстро, как и на могиле Диофанта.

— Третий треугольник со сторонами 24, 7 и 25 найти так же просто, но аллах не умудрил меня отыскать ваш второй ряд.

— Его квадраты выполнены двойными линиями: если посчитать их размеры по квадратикам слева, то получится: малый катет 8, гипотенуза 17, а разность площадей дадут квадрат второго катета, равного 15! Ну а простой линией изображен всего один — первый квадрат треугольника третьего ряда со сторонами 35, 12, 37! Следующие же треугольники и их ряды на стене не уместились.

— Премудро, но точно, юный мой гость не только поэт, но и великий знаток чисел!

— Как блистательно заканчивается наше путешествие в загадочный мир языческого знания, да простит меня святой Доминик! — отдуваясь, как после тяжелого бега, заявил обрадованный метр Ферма.

— Не заканчивается, почтенный мой родитель, а только начинается!

— Как? Мы поедем еще куда-нибудь? — ужаснулся толстяк.

— Нет, нет! Я имею в виду мир чисел, дорогу куда прокладывает этот волшебный орнамент.

— Буду счастлив, почтенный поэт и знаток счета, идти по этому пути за вами следом! — с поклоном, торжественно произнес арабский ученый.

### Глава шестая

## ЦАРСКИЙ ДАР

*Великие люди бывают великими даже в мелочах.*

Виверанг Люк де Клапси,
французский писатель XVIII века

По возвращении в Александрию Пьер Ферма, заставив отца страдать от скуки, уединился в отведенной ему Мохаммедом эль Кашти комнате и несколько дней не

показывался оттуда. Гостеприимный хозяин напрасно посылал к нему слуг, вынужденных в конце концов приносить еду в его убежище, потому что одержимый бакалавр отказывался оторваться от стола.

Маленький звездочет втайне радовался такому поведению молодого гостя, избегавшего тем самым нежелательной встречи с господином Картезиусом и возможного повторного вызова на поединок, который стоил бы головы самому Мохаммеду эль Кашти.

Правда, из вежливости арабский ученый не делился с метром Домиником Ферма своими опасениями, а уверял гостя, что его сын занят важнейшим делом, и если не стихами, навеянными впечатлениями от путешествия в страну пирамид и языческих капищ, то математическими исследованиями прямоугольных треугольников, которыми он имел основания увлечься.

Метр Доминик Ферма, поминая своего святого, только вздыхал по поводу того, что пора возвращаться во Францию, и что неизвестно еще, как удастся избежать встречи с пиратами на обратном пути, и что напрасно сын его занят тем, что можно с успехом делать дома.

Тут арабский ученый восстал против уважаемого гостя:

— Как можно вымолвить такое, почтенный гость мой? Достойно ли лишить меня законной гордости по поводу того, что под крышей моего дома по воле аллаха разгадывается одна из примечательных находок угасшего мира древних!

Пьер Ферма действительно был занят завершением таблицы рядов простейших (не имеющих общего делителя) пифагоровых троек (сторон прямоугольных треугольников), когда в доме Мохаммеда эль Кашти начался такой переполох, что встревоженный бакалавр отложил в сторону законченную рукопись и наконец вышел из комнаты.

Первым на глаза ему попался Огюст, который, очевидно, подкарауливал его. Теперь, смущенно опустив лукавый взор, он уступил Пьеру дорогу.

За несколько минут до этого в дом арабского звездочета вошел в парадном мундире гвардейского офицера короля Франции со шпагой на бедре Рене Декарт, блестящий и грозный.

Маленький араб, сжавшись в комочек, с ужасом смотрел на него, словно видел впервые.

Он показался ему огромным, с львиной гривой волос, падающих на плечи, властным лицом с тяжелыми чертами и массивным носом. Все в его облике выражало горделивую силу и благородство.

С высокомерной изысканностью Декарт поздоровался с арабским ученым и метром Домиником Ферма, не обращая внимания на шум, поднятый слугами арабского дома и Огюстом, объясняющимися между собой на разных языках столь же громко, как и непонятно обеим сторонам.

— Не откажите в любезности, метр Ферма, пригласите для беседы со мной вашего сына.

Но почтенный заместитель мэра французского города потому и добился своего поста, что был человеком, искушенным в дипломатии, к тому же состоявшим в некотором родстве с юридической семьей де Лонг, поэтому он с предельной вежливостью ответил:

— Бесконечно рад видеть вас, высокочтимый соотечественник, доблестно служащий своему королю и его высокопреосвященству господину кардиналу, которые в великой мудрости своей и неиссякаемой заботе о подданных, в особенности же знатного рода, к вящему всех счастью, запретили дуэльные поединки во Франции.

— Остается в таком случае напомнить вам, что мы не во Франции, — хмуро ответил Декарт.

— Однако высокочтимому господину де Карту должно быть известно и совершенно ясно, что, запрещая пагубные поединки, его величество король и его высокопреосвященство господин кардинал имели в виду не столько Францию, сколько французов.

— Как я догадываюсь, не понимая благозвучного языка своих гостей, — вмешался на знакомой всем латыни хозяин дома, — почтенный господин Картезиус хотел бы говорить с моим молодым французским гостем о поединке?

— Вы правы, уважаемые господа, я намереваюсь говорить с бакалавром Пьером Ферма о нашем несостоявшемся поединке.

— Но это невозможно, да подтвердит это аллах! — воздел руки к небу маленький араб.

— Но я ничего не имею против этого, — послышался голос Пьера, — я сам хотел отыскать господина Декарта, если бы неожиданное математическое увлечение не помешало мне.

— И совершенно напрасно, — отрезал Декарт, — ибо право говорить об этом первому принадлежит мне, и я не намерен его уступать.

— Почему же? — искренне удивился Пьер Ферма.

Маленький араб понял, что он погиб, ибо сейчас этот свирепый офицер с наружностью льва вызовет на поединок беззащитного юношу, чтобы убить его, после чего не спастить от гнева османского паши и ему, Мохаммеду эль Кашти.

— Почему? — переспросил Декарт. — Да потому, милостивый государь, что право первому говорить о несостоявшемся поединке принадлежит мне, офицеру гвардии короля Франции, которому я служу, как и его высокопреосвященству господину кардиналу, и по этому праву я и явился к вам сюда, дабы принести извинение за свое недостойное поведение на кладбище у могилы великого Диофанта, и я, Рене Декарт, почтительно прошу извинить мою непростительную вспыльчивость, вызванную лишь преклонением перед прахом великого ученого древности.

Все это Декарт произнес на латинском языке, чтобы хозяин дома мог понять его. И Мохаммед эль Кашти, и метр Доминик Ферма оба не верили ушам, пораженные покаянными словами и одновременно грозным видом офицера.

— Нет большего воздаяния аллаху, чем прекращение вражды! — вымолвил наконец маленький араб. — Надо думать, господину Картезиусу удалось найти предложенное молодым Ферма решение уравнения по двум его членам вместо семи, что и привело его к столь благородному поступку?

— Вы ошибаетесь, почтенный Мохаммед эль Кашти. Рене Декарт, которого вы видите перед собой, никогда не нарушит данной им клятвы и не станет искать решения уравнения, о котором вы изволили вспомнить. Такой исход оказался бы самым простым, но недостойным той внутренней борьбы, которую мне привелось выдержать, чтобы победить недостойную мыслителя дворянскую спесь и решиться на этот визит с принесением извинений как господину Пьеру Ферма, так и его отцу метру Доминику Ферма и гостеприимному нашему хозяину на александрийской земле Мохаммеду эль Кашти. Я искренне сожалею не только о своей вспыльчивости, но также и о данной мной клятве, которую не

могу нарушить, хотя мне очень хотелось бы узнать блестящее решение уравнения по двум членам из семи, но, поверьте, этого я сделать не могу.

— То, что сделали вы, уважаемый Рене Декарт, значительно больше нахождения решения, на которое я случайно напал, переводя могильную надпись*. Не сомневаюсь, что вам не составило бы труда это сделать, если б не ваш собственный запрет, заслуживающий всяческого уважения, — произнес Пьер Ферма, восхищенно глядя на философа в офицерском мундире. Он вспомнил о прочитанных им трудах Картезиуса, о беседе с ним за шахматной доской во время плавания на фелюге и понял, какой внутренней борьбы стоило Декарту прийти сюда с извинениями. — Я понимаю вас и хотел бы отплатить вам тем же, признав легкомысленным свое предложение найти иное решение уравнения, написанного вашей шпагой на песке. Я сожалею об этом и признаю вас несоизмеримо сильнее себя, ибо нет победы большей, чем победа над самим собой.

— Вот вам моя рука, Пьер, мой друг, я всегда буду гордиться не только этой минутой торжества над тем, что надлежит неустанно искоренять, но и знакомством с вами и переходом теперь на обращение ко мне — просто Рене.

Мохаммед эль Кашти не воспринял этой прочувствованной французской речи, но прекрасно понял значение того рукопожатия, которым обменялись между собой Рене и Пьер.

— Слава аллаху, слава аллаху! — только и мог пробормотать он.

— Да возрадуется святой Доминик, чьи молитвы заступника дошли до всевышнего! — вторил ему метр Доминик Ферма.

---

* Решение это таково: если согласно четвертой и пятой строчкам надписи число прожитых Диофантом лет делится и на 12 и на 7, то возраст его будет равен $12 \times 7 = 84$ (или 168, что исключено). Возможно, надпись и предусматривала составление неопределенного Диофантова уравнения с тремя (а не с семью в определенном уравнении) членами: $\frac{x}{12} + \frac{x}{7} = y$; $x = \frac{7 \cdot 12}{19} \cdot y$, где «y» практически не может быть больше 19, чтобы «x» получился бы величиной целочисленной и реальной для человеческого возраста. Очевидно, в этом и подразумевалась мудрость искусства покойного математика. *(Примеч. авт.)*

— Если Рене, мой друг, почтит вниманием некоторые мои «математические этюды», как мне хочется их назвать, то я буду счастлив, хотя они касаются всего лишь прямоугольных треугольников, а не проблем души и тела.

— С охотой, Пьер, мой друг. Я всегда верил, что математика в конце концов привлечет вас к себе, ибо нет, кроме нее, более организующего начала.

— Представьте себе, Рене, — говорил Пьер Ферма, ведя Декарта в свою рабочую комнату, — я больше всего сожалел в последние дни, что не могу из-за нашей размолвки познакомить вас со своими этюдами.

По дороге Пьеру и Рене попался извивающийся из желания угодить Огюст, но он исчез, едва Декарт посмотрел на него.

Оба француза сели за стол у стрельчатого окна, защищенного от солнца пышной зеленью сада. Здесь жара не ощущалась такой невыносимой, как в другом месте.

— Итак, с чем же вы, мой друг, хотите познакомить меня? Из-за чего вы жалели о нашей размолвке?

— Прежде всего с тем, что формула Пифагора заключает в себе строго организованные ряды простейших пифагоровых троек, то есть значений сторон прямоугольных треугольников, не имеющих общего делителя.

— Любопытно. Как же вы это доказываете, мой друг?

— Позвольте и мне, уважаемые гости Аль-Искандарии, ознакомиться с выводами молодого ученого гостя, — попросил вошедший вслед за Пьером и Декартом хозяин дома.

— Охотно, уважаемый Мохаммед эль Каши, тем более что вы послужили толчком для всех находок, которые я могу показать, — живо отозвался Пьер Ферма.

— О, слава аллаху, моя помощь в этом высоком деле ничтожно мала, я обратил ваше внимание лишь на то, чего не видел сам.

— Я сожалею, что не пришел извиниться сразу, тогда мы смогли бы вместе повидать необычный орнамент, о котором я уже услышал через Огюста, но я надеюсь, что наш друг возместит упущенное, — произнес Декарт, поклонившись в сторону Пьера Ферма.

И тот стал увлеченно показывать сделанные им преобразования формулы Пифагора *.

Декарт внимательно выслушал Пьера Ферма, взял в руки составленную им таблицу, лицо его из грозного стало сосредоточенным, потом он горько усмехнулся:

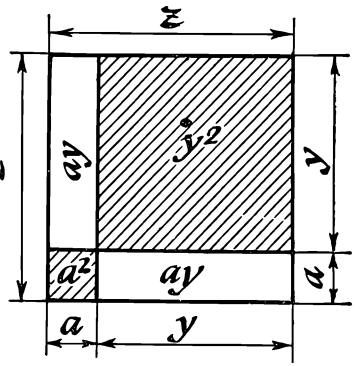
— Друг мой, боюсь разочаровать вас, но стоило ли вам вкладывать столько труда в «изобретение колесницы», известной еще при фараонах?

— Вы правы, Рене, очевидно, при фараонах жрецы бога Тота знали эти ряды, но разве не наш долг вернуть людям утраченные знания?

— Вы не поняли меня, друг мой. Я применил метафору о колеснице, имея в виду, что она известна была и древним римлянам, даже в наше время на ее основе созданы кареты. Просто вам нет надобности применять свой математический дар для вычисления сторон приевшихся всем прямоугольников, поскольку древние оставили нам изящные формулы, дающие значения всех возможных пифагоровых троек. — И он размашисто написал на листе несколько формул. — Их связывают

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Если, как следует из квадрата орнамента, $z = y + a$, то $z^2 = x^2 + y^2$ будет иметь вид $z^2 = y^2 + (a^2 + 2ay)$ и $x^2 = a(a + 2y)$. Если $a = \alpha^2$ и $(a + 2y) = \beta^2$, то $x = \alpha\beta$, $y = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2}$; $z = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2}$




Из выражения для «y», где в числителе разность квадратов $\alpha$ и $\beta$, ясно, что хотя бы одна из этих величин не может быть четной, иначе «y» не будет целым числом. Случай с иррациональными числами рассмотрен в последующем примечании.

Для возрастающих коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ можно составить таблицу, из которой вытекает ряд закономерностей, в частности формулировка новой теоремы. «Нечетный катет простейших пифагоровых троек в целых числах разлагается на два взаимно простых сомножителя, квадраты которых соответственно равны сумме или разности гипотенузы и второго катета, то есть в дополнение к теореме Пифагора: $\alpha^2 = z - y$; $\beta^2 = z + y$».

(В приводимой таблице цифры в скобках получены после сокращения намеченного в таблице значения на общий множитель и равны цифрам столбца при $\beta = 1$.)

чуть ли не с Платоном, их можно найти в X книге «Начал» Евклида *.

— Простите, что я вступаю в ваш высоконаучный разговор, почтенные знатоки чисел, — вмешался звездочет, — но арабской науке действительно известны эти древние формулы, правда, в несколько другом написании. Однако, к сожалению, до нас не дошел их вывод. Впрочем, в том, что они дают верный результат, я имел, по воле аллаха, возможность убедиться всякий раз, когда их применял, подобно тому, как это делал сам Диофант.

Пьер Ферма нахмурился, пристально глядя на свои и написанные Декартом формулы:

— Они выводятся очень просто, почтенные господа, из тех самых выражений, которые позволили мне составить таблицу. — И Пьер Ферма показал, как удивительно простым и изящным способом можно получить эти древние формулы **.

— Не могу отказать вам в математическом остро-

ТАБЛИЦА ПРОСТЕЙШИХ ПИФАГОРОВЫХ ТРОЕК

| $\beta$ | 1 | | | 3 | | | 5 | | | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z |
| 3 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | I2 | I3 | I5 | 8 | I7 | | | | | | |
| 7 | 7 | 24 | 25 | 2I | 20 | 29 | 35 | I2 | 37 | | | |
| 9 | 9 | 40 | 4I | (3) | (4) | (5) | 45 | 28 | 53 | 63 | I6 | 65 |
| II | II | 60 | 6I | 33 | 56 | 65 | 55 | 48 | 73 | 77 | 36 | 85 |
| I3 | I3 | 84 | 85 | 39 | 80 | 89 | 65 | 72 | 97 | 9I | 60 | I09 |
| I5 | I5 | II2 | II3 | (5) | (I2) | (I3) | (3) | (4) | (5) | I05 | 88 | I37 |
| I7 | I7 | I44 | I45 | 5I | I40 | I49 | 85 | I32 | I57 | II9 | I20 | I73 |
| I9 | I9 | I80 | I8I | 57 | I76 | I85 | 95 | I68 | I93 | I33 | I56 | 205 |
| 2I | 2I | 220 | 22I | (7) | (24) | (25) | I05 | 208 | 233 | (3) | (4) | (5) |

(Цифры в скобках получаются после сокращения на общий множитель и равны цифрам столбца при $\beta = 1$.)

* $x = m^2 - n^2$; $y = 2mn$; $z = m^2 + n^2$. *(Примеч. авт.)*

** *Примечание автора для особо интересующихся.* Если положить $\alpha = m+n$; $\beta = m-n$, то $x = \alpha\beta = (m+n)(m-n) = m^2 - n^2$; $y = 2mn$; $z = m^2 + n^2$, что и было записано Декартом.

умии, но, право же, нахождение вывода старых формул не может подняться до значения самих этих формул. Так что я не вижу, к сожалению, смысла в вашей умственной расточительности ради повторения давно человечеством пройденного.

Пьер Ферма покраснел, потом побледнел, пронизывающе смотря на составленную им таблицу рядов, которую в эту минуту изучал арабский звездочет.

— Простите мне во имя аллаха, мои высокочтимые гости, что я рискую обратить ваше внимание на то, что в составленной молодым гостем таблице я вижу весьма примечательные особенности, которые, надо думать, он подметил и обосновал. Кроме того, можно увидеть, что тройки, вычисленные по древним формулам, не окажутся, как в таблице господина Пьера Ферма, простейшими числами. Произвольно задаваясь величинами m и n, мы получим после вычислений хаотические, беспорядочные, как россыпь разноцветных камней, значения всевозможных прямоугольных треугольников, отнюдь не способствующих выявлению законов их построения.

— Вы правы, уважаемый Мохаммед эль Кашти, таблица троек действительно дает возможность установить некоторые зависимости как в вертикальных рядах, так и в рядах, соседствующих по горизонтали. — И он познакомил слушателей с тем, что открыл *.

По просьбе арабского ученого особенно остановился Пьер Ферма на выборе коэффициентов $\alpha$ и $\beta$ в своих формулах.

— Вас интересует, уважаемый Мохаммед эль Кашти, случай, когда коэффициенты $\alpha$ и $\beta$ содержат общий множитель $\sqrt{21}$? — И он показал с убедительной простотой, что в этом случае получающиеся тройки будут просто повторять все первые тройки соседних по горизонтали рядов **.

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Вертикальные ряды представляют собой арифметические прогрессии с показателем $= 2\beta$. Все значения сторон треугольников с возрастанием ряда изменяются по арифметической прогрессии, показатель которой для y — постоянен и равен 4, а для x и z увеличивается с порядковым номером ряда и порядкового номера тройки в вертикальном ряду и равен $4(\beta+i-1)$, где i — порядковый номер тройки в ряду.

** *Примечание автора для особо интересующихся.* Золотое сечение было известно древним зодчим, но сформулировано Леонардо да Винчи. Цифры 3, 5, 8, 13 совпадают с частью ряда Фибаначчи, помогающего современным ученым объяснять ряд явлений природы (1, 1, 2 | 3, 5, 8, 13, | 21, 34 и т. д.).

— Вы убедили меня, почтенный знаток и поэт чисел. Видит аллах, с каким благоговением я стараюсь вникнуть в найденные вами числа и мудро расставленные по клеткам таблицы, кажущейся мне поистине волшебной. Но я покажу почтенным господам, какие тайны хранит в себе эта простенькая таблица.

— Что же вы обнаружили в ней, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Разве я не все понял в собственной работе?

— Конечно, не все, ибо все понятно лишь одному всемогущему аллаху! Но достаточно прикоснуться к математическому сокровищу, чтобы обнаружить в нем...

— Что же? Что? — нетерпеливо торопил арабского звездочета Пьер Ферма.

— Благословенное аллахом золотое сечение! 8 единиц рассекаются на 5 и 3, 13 — на 8 и 5! А эти цифры стоят в таблице поблизости, как и в орнаменте! *

Декарт скептически пожал плечами и поморщился. Араб воскликнул:

— Видит аллах справедливый, что вы напрасно так холодны, господин Картезиус! В этой премудрой таблице египетских рядов, как в бездонном колодце, можно черпать сокровища знаний.

— Я не хочу отказывать древним в важных познаниях, но я не вижу причин искать закономерности построения треугольников, будучи не уверен в их практической ценности, поскольку величины сторон ограничены такой условностью, как целочисленность.

— О многочтимый господин Картезиус! Я с почтительным вниманием изучаю ваши латинские труды по философии, стараясь вникнуть в глубину ваших мыслей, но позвольте возразить вам, не оспаривая вашего права на высказанное мнение.

— Пожалуйста, прошу вас, почтенный Мохаммед эль Кашти.

— По вашему определению, господин Картезиус, человек начал существовать как человек, лишь обретя способность мыслить, а это произошло тогда, когда он стал считать по пальцам, определять, сколько плодов он со-

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Если $\alpha = p\sqrt{2e}$, $\beta = q\sqrt{2e}$, то p и q могут быть и четными и нечетными: $x = \alpha\beta = 2pqe$, $y = (p^2 - q^2)e$; $z = (p^2 + q^2)e$, то есть p и q тождественны m и n древних формул (см. пред. примеч.), x и y просто меняются местами, к тому же, помноженные на e, не являются простейшими.

рвал, сколько дичи принес, сколько членов его семьи или племени должны его добычу разделить между собой. По-латыни, как вы знаете, «вычисление — калькуляция» происходит от слова calculus, что означает «камешек», число камешков могло быть только целым. И в нашей жизни, начиная от числа людей, быков, кораблей, домов и окон в них, кончая числом звезд в созвездиях, — все это только целые числа. Природа по воле аллаха не знает дробей.

— Но при чем тут закон Природы, созданной всевышним, и прямоугольные треугольники? — с вызовом спросил французский философ.

— Величайшая тайна творения, уважаемый мною господин Картезиус, как я верю и убежден, заключена в том, что первородный закон Природы и ее творца до необычайности прост, не менее прост, чем открытый Пифагором закон прямоугольного треугольника. И неспроста древние египтяне после разлива Нила вновь разбивали поля с помощью веревки с узлами через три, четыре и пять мер, натягивая ее на три колышка и получая очень точно необходимый им прямой угол. А как такие прямые углы нужны морякам, определяющим свое местонахождение по звездам, или нам, звездочетам, эти звезды изучающим? И кто возьмется сказать сейчас, как еще послужат людям сведенные в эту таблицу прямоугольные треугольники?

Конечно, маленький арабский звездочет был только человеком своего времени, невежественным астрологом, пытающимся предсказывать будущее по расположению звезд, но в этой реплике, сказанной двум выдающимся ученым XVII века о простоте первородных законов Природы, он, сам того не подозревая, поднялся до поистине гениальных высот предвидения. Мог ли он даже предположить, что другой великий ученый, которому жить триста лет спустя, в XX веке, создаст теорию относительности, из которой последует*, что для летящего с

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* По теории Эйнштейна, масса тела m, летящего со скоростью v при массе покоя $m_0$ и скорости света C, меняются по формуле $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$.

Это выражение легко преобразуется в $m^2 = m_0^2 - \left(\frac{v}{c}m\right)^2$ или графически в △.

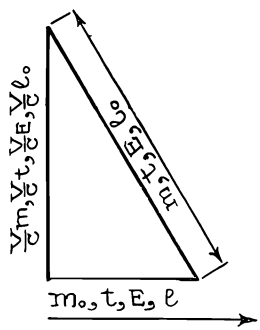
субсветовой скоростью тела гипотенуза прямоугольного треугольника представит увеличивающуюся массу тела, его энергию и собственное время, в то время как горизонтальный катет — массу, энергию и время покоя, а вертикальный катет будет отличаться от гипотенузы так же, как и скорость тела от скорости света, длина же тела сократится по тому же закону.

Никто из присутствующих не знал глубин характера Пьера Ферма, в котором сочеталась доброта и скромность с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Он считал, что ему доступно все на свете и в языкознании, и в поэзии, и в изучаемом праве, и в полюбившейся ему математике, никто не ожидал и не мог бы объяснить его неожиданный поступок. Пьеру Ферма было совершенно достаточно собственного признания того, что он не напрасно искал и нашел закономерности простейших пифагоровых троек, он был искренне восхищен увлеченностью его работой арабского ученого, чрезвычайно ему симпатичного, он хотел еще показать своему соотечественнику Рене Декарту, что он тоже способен на победу над самим собой. И Пьер Фер-

---

Тот же закон прямоугольного треугольника отражен и в парадоксе времени теории относительности (преобразования Лоренца) при $t_0$ — прошедшее время неподвижного наблюдателя, t — время, прошедшее на улетевшем от него объекте, и C — скорости света: $t_0 = \frac{t}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$

или: $t^2 = t_0^2 + \left(\frac{v}{c}t\right)^2$ — опять $\Delta$.




Сокращение наблюдаемой с неподвижной точки длины летящего тела l по сравнению с длиной его состояния покоя — $l_0$: $l - l^0\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}$, откуда $l^2 = l_0^2 - \left(\frac{v}{c}l_0\right)^2$; узнаем закон Пифагора.

И наконец, тот же закон скажется и на энергии летящего тела E при энергии его покоя $E_0$: $E^2 = E_0^2 + \left(\frac{v}{c}E\right)^2$. Таким образом, все парадоксальные эффекты теории относительности подчинены основному закону Пифагора.

ма сделал то, что стало обычным в его последующей научной деятельности, ему всегда казалось достаточным найти, открыть самому, а потом, не делая и не записывая даже выводов, предлагать своим современникам пройти его путем. Была ли это гордыня или скромность гения, но, как бы то ни было, Пьер Ферма и в последующие годы не оформлял своих трудов, не издавал собрания сочинений, не разыскал важных найденных им доказательств (или не записал их!).

А сейчас он поразил и маленького арабского звездочета, и Декарта обращенной к ним речью:

— Я глубоко признателен вам, уважаемый Рене, за заботу о полезном применении моих способностей. За один сегодняшний день вы дали мне два урока: как победить самого себя и как бережно расходовать свои силы. А вам, досточтимый Мохаммед эль Кашти, я благодарен за то, что своей оценкой моей скромной работы вы открыли мне глаза на мою слепоту, показали мне тайны, мимо которых я проходил. Вы усмотрели в восстановленной мной египетской таблице пифагоровых чисел такой сокровенный смысл, что я не могу больше считать ее своей, она — ваша! Только вы, истинный поэт чисел, сможете увидеть в ней то, что откроется будущим поколениям. В моей памяти останется лишь формула, стоившая Пифагору сотню быков, а мне — размышлений о величине в степени, которую можно разложить на два слагаемых в той же степени.

И с этими словами Пьер Ферма торжественно передал арабскому ученому свои вычисления, сведенные в таблицу.

Мохаммед эль Кашти застыл ошеломленный. Декарт же пытался разобраться в поступке молодого соотечественника: кто он? Гордец или скромник? Гений или воплощение беспечности?

— Клянусь аллахом, ни один султан на Земле не делал смертному такого царственного дара! — низко поклонился араб.

Хорошо, что метр Доминик Ферма не присутствовал при этом, он мог бы счесть поступок сына непростительным расточительством и едва ли перенес это.

Декарт же подумал: что бы ни руководило Пьером Ферма, но этим отказом от собственного открытия он, несомненно, поднялся в собственных глазах выше всех, кто его окружал. И тут Декарт подумал о себе: видимо, не полностью он еще одержал победу над самим собой.

Так сделан был «царский дар», поэтому истории науки ничего не известно об этой работе Ферма, с которой, быть может, и началась его дорога гениального математика, чьи работы на протяжении столетий будут волновать ученых всего мира.

Но будем справедливы к довольному и улыбающемуся Пьеру Ферма. Ему хотелось шутить, смеяться, пображничать за столом. И он сказал, обращаясь к арабу.

— Жаль, что коран запрещает вино, почтенный Мохаммед эль Кашти! Именно сейчас мне хотелось бы чокнуться с вами бокалом старого французского вина!

Маленький арабский звездочет смущенно улыбался, не зная, что сказать.

### Глава седьмая

## СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ

*Если б любовь была недостойна мудрецов, то пришлось бы пожалеть бедных красавиц, обреченных наслаждаться любовью одних глупцов.*

Зенон из Элеи,
древнегреческий философ

Любовь настигает человека, даже если он мудрец.

Пьер Ферма к двадцати семи годам был уже не только мудрецом, постигшим глубины математики (его увлечения, утехи и страсти), но и знатоком языков, античности, а также права, к тому же еще и поэтом. «Арифметика» Диофанта стала его настольной книгой.

В 1628 году, опять же в апреле, он сопровождал отца, который, переживая денежные затруднения, отправился с сыном в Тулузу, к дальнему родственнику жены, главе юридической семьи, господину Франсуа де Лонгу, в расчете на его покровительство юридически образованному Пьеру, поскольку ни его стихи, ни его знания дохода не приносили, а также помышляя с помощью святого Доминика получить денежную поддержку, ибо дела буржуа и второго консула Бомон-де-Ломань после дорого стоившей поездки в Египет пришли в полное расстройство.

Сухощавый и важный господин Франсуа де Лонг встретил дальних и запыленных в столь же дальней дороге родственников без особого жара души, и дом его

мог показаться южанам холодным, не согретым теплом радушия.

Господин Франсуа де Лонг прослыл в юридических кругах наиискуснейшим крючкотвором, о чем знал даже сам его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье, прибегая к услугам юриста-дворянина.

Если бы великому Сервантесу в его время понадобился натурщик для портрета Дон Кихота, он не нашел бы лучшей модели, чем Франсуа де Лонг (живи он тогда), правда, при условии, что он выпрямится, чтобы не походить своим тощим согнутым телом на крючок, оправдывая тем данное ему среди юристов прозвище, отражающее и его внешность, и ценные способности судейского. По человеческой сущности он был прямой противоположностью «рыцарю печального образа», будучи лишенным всякой мечтательности и отнюдь не витая в воображаемом мире, чтобы защищать в нем высокие идеалы, а с редкой прозорливостью постигая мир таким, каков он есть, и если признавал идеалы, то лишь связанные с выгодой.

Вот почему, прокалывающе глядя из-под бесцветных бровей и поглаживая полуседую бородку, скорее сгорбленный, чем поклонившийся гостям, он не почувствовал никакой выгоды от их приезда.

Когда же он узнал, что Пьер (о чем метр Доминик Ферма с наивной гордостью поспешил сообщить) не только «начинающий юрист без протекции», но еще и поэт и даже математик, то искушенный в секретах преуспеяния господин Франсуа де Лонг совсем разочаровался в приехавшем молодом человеке и даже выразил ему свое мнение о никчемности математических занятий, полезных разве что торговому люду для счета товаров и выручки, но уж никак не благородным людям или юристам.

Но дочь господина Франсуа де Лонга Луиза, не в пример отцу, мечтательная, романтическая девушка, воспитанная в монастырской строгости, но обожавшая рыцарские романы не меньше Дон Кихота, не разделяла отцовского отношения к гостям.

Потеряв еще год назад мать, она теперь на правах хозяйки дома смогла окружить приехавших родственников такой заботой и даже лаской, что, обладая к тому же в глазах Пьера неземной, поистине небесной внешностью, затмила даже восточное гостеприимство в Александрии.

Господа де Лонг жили в загородном доме предков, называя его «замком», хотя он меньше всего походил на «оборонительное сооружение», он был окружен не стеной со рвами, а густым садом, где и встречались порой случайно (а может быть, и не случайно!) молодые люди.

Словом, любовь настигла мудреца задолго до его старости, и древнегреческий философ Зенон из Элеи не стал бы жалеть такую красавицу, как Луиза де Лонг, поскольку ее новый обожатель отнюдь не был глупцом.

Впрочем, влюбленные глупеют, а уж о поэтах и говорить нечего — ведь настоящие стихи, как говорят, должны быть чуть-чуть глупыми, обращенные не к рассудку, а к чувствам. На беду свою, Пьер Ферма оказался и влюбленным и поэтом.

Сад де Лонгов благоухал.

На одной из его аллей солидно прогуливались почтенные родители: господин Франсуа де Лонг, как бы внимательно разглядывающий собственный пояс, и метр Доминик Ферма, то и дело вытирающий кружевным платком шею и подбородки.

Почтенные отцы вели многозначительный разговор, стараясь за учтивыми оборотами речи скрыть истинный ее смысл, который для метра Доминика Ферма означал столь же мучительную, как и унизительную просьбу о помощи деньгами отцу и протекцией сыну, а для господина Франсуа де Лонга — стремление не связать себя никакими обещаниями, сохранив в неприкосновенности свой «золотой запас», а также не затруднить никого из влиятельных людей в Тулузском парламенте (суде) просьбой о каком-то там безвестном родственнике.

— Как могли вы, почтенный метр, — назидательно отчитывал он пожилого гостя, — подвергнуть такой опасности свое бесценное здоровье, предприняв не сулившее вам никакой выгоды путешествие в Египет, которое, надо думать, привело в расстройство ваши денежные дела, на что вы, как мне кажется, намекнули. И я, право, не вижу при всем моем сострадании к родственникам покойной жены, как им удастся преодолеть эти неприятные, надеюсь, временные, затруднения, не прибегая к помощи этих отвратительных ростовщиков, которые ничем не лучше знакомых вам пиратов и, несомненно, окончательно разорят вас.

Метр Доминик Ферма ничего не мог возразить без-

жалостно красноречивому хозяину дома и, мысленно поминая святого Доминика, лишь горестно вздыхал, утираясь кружевным платком, ибо в тысячу раз с большей охотой обратился бы за помощью к хозяину другого дома невдалеке от мечети на базарной площади Александрии, увы, отделенной теперь непреодолимым для его нынешних средств Средиземным морем. Он ничего не знал о судьбе маленького звездочета и мысленно лишь сравнивал его со своим крючкообразным родственником.

На другой аллее, более глухой и тенистой, близ куста расцветших роз шел другой разговор между молодыми людьми, по-иному относящимися друг к другу, но так же старающимися не выдать ни своих мыслей, ни своих чувств.

— И по-вашему, мсье Пьер, поэзия существует для того, чтобы дать слово душе человека? — говорила Луиза. — Но математика всего лишь умение считать и никак не служит возвышенным чувствам души. Почему же она увлекает вас?

— Поэзия — это пение души, — горячо подхватил Пьер. — Математика же — песня ума.

— Как странно: пение и песня, — тихо повторила она.

Так беседовали они о душе и уме.

Но то, что не могли произнести уста, сказали руки, когда коснулись друг друга у розового куста. И ощущение от теплого прикосновения существа, вчера еще незнакомого, а сегодня такого близкого и желанного, было так пронзительно, что могло напомнить вопль восторга, крик радости, песню счастья, если бы непреодолимая сила условности не сковывала тех, кто уже мечтал сковать воедино свои жизни.

— Мне показалось, мсье Пьер, что вы оцарапались о противные шипы этого куста. Вам больно?

— Что вы, милая Луиза! Я не ощущаю никаких шипов, никакой боли! Позвольте мне сорвать для вас эту красную розу, она так украсит ваши чудесные волосы.

— Ой, что вы, мсье Пьер! Папенька ведет счет каждому бутончику и будет очень недоволен, обнаружив недостачу. И не дай бог, если он увидит сорванный цветок в моих волосах, как вы того пожелали.

— Я готов принять гнев вашего батюшки на себя, милая Луиза, лишь бы насладиться таким украшением ваших волос, как эта роза, цвет которой так оттеняет румянец вашего лица.

И с этими словами Пьер сорвал с куста великолепную розу с капельками росы на лепестках.

Луиза, прилаживая ее к гладко зачесанным темным волосам с колечками у висков, с улыбкой говорила:

— Ой, какая колючая! Я боюсь, что ради меня вы исцарапали себе руку. Дайте, я пожалею ее.

— В таком случае позвольте мне сунуть прежде руку в самую гущу куста.

И оба счастливо засмеялись, засмеялись, потому что так ловко (или неловко!) скрывали то, что им хотелось сказать.

А на другой аллее их отцы тоже рассмеялись, довольные тем, как ловко удалось им уколоть друг друга даже без помощи шипов!

Метр Доминик Ферма рассказал господину Франсуа де Лонгу (в пику ему!), каково восточное гостеприимство, оказанное отцу с сыном совсем чужим и даже некрещеным арабом в Египте.

В ответ господин Франсуа де Лонг справился, во сколько обошлась родственнику его жены из Бомон-де-Ломань возможность воспользоваться восточным гостеприимством нечестивого мавра. Подсчитав (оказывается, когда требовалось, он владел и математикой!), сколько пистолей заплачено за переезд через Средиземное море и во что обошлось подношение османскому паше в Александрии, и поделив полученную сумму на число проведенных у Мохаммеда эль Кашти дней, он самодовольно отметил, что не чем иным, как расточительством, трату мешка с золотом ради арабского гостеприимства назвать нельзя, и затрясся в желчном смехе, хихикая и задыхаясь от удовольствия.

Доминику Ферма тоже пришлось заколыхать тучным телом в натужном смехе, горьком и подобострастном, лишь бы смягчить суровую скупость почтенного родственника, на протекцию которого для Пьера он продолжал еще рассчитывать.

Между тем все, что не мог вслух произнести молодой гость, естественно вылилось у поэта Пьера Ферма в сочиненном им для Луизы сонете:

СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ

Ты приходишь ко мне по ночам,
Когда я непробудно усну.
По серебряным лунным лучам
Ты приносишь с собою весну.

Зажурчали по венам ручьи.
В сердце — ярких цветов хоровод.
От твоей чуть мерцавшей свечи
Полыхнул, засверкал небосвод.
Но зачем утром нового дня,
Долгим взглядом мне волю сковав,
Покидаешь ты тихо меня,
Ничего, ничего не сказав?

Сны пусть прежние видятся мне,
Но приди все ж ко мне... не во сне!

Написав этот сонет при неясном свете молодого месяца, но при яркой вспышке молодого пылающего сердца, Пьер утром после скудного (по воле «гостеприимного» хозяина) завтрака незаметно передал Луизе заветный листок, украшенный вензелями с изображением пронзенного стрелой сердца.

Луизе очень хотелось прочесть, что написал ей приезжий поэт, волнистые волосы которого так красиво падали на плечи, а глаза светились так многоречиво, но она боялась отца, держа письмецо на коленях, а потом перепрятав его за лиф.

Но эти тайные, чисто женские движения не ускользнули от ястребиного взгляда настороженного отца, он сразу догадался о секретном письме, которое дочь пытается прятать, чтобы прочесть в одиночестве.

Но он и виду не подал, что все заметил, и теперь не спускал с Луизы глаз. И когда она осталась одна на веранде и украдкой достала заветное письмо, а прочтя его, зарделась утренней зарей, из-за колонны вышел едва не пополам согнувшийся отец и молча протянул к ней руку. Луиза вскрикнула и спрятала листок у себя на груди. Но Франсуа де Лонг не отступил, и жест его лишь обрел повелительное значение.

Опустив глаза, Луиза, воспитанная в безропотном повиновении родителям, со вздохом отдала отцу злополучный сонет.

Франсуа де Лонг напялил на горбатый нос очки и стал изучать написанное, перечитывая и вникая в каждое слово с чисто профессиональной въедливостью. Потом поднял колючие глаза на дочь.

— Я хотел бы знать, каким поведением можно было вызвать подобное обращение к себе? — проскрипел он.

— Я, право, не знаю, — прошептала испуганная Луиза, расплакалась и убежала к себе в комнату на втором этаже.

Господин Франсуа де Лонг, пожалуй, впервые за много лет выпрямился во весь свой довольно высокий рост и стал похож на жердь, которую крестьяне втыкают на огороде.

Огромными шагами он вымерял веранду от колонны до колонны, пока не появился шаркающий ногами и глухой слуга.

Хозяин закричал на него, сжав кулаки, а потом приказал тотчас найти Пьера Ферма и привести к нему, причем произнес это так громко и несколько раз, что услуги старого слуги не потребовалось. Пьер, находясь неподалеку в саду (в надежде увидеть Луизу после прочтения его сонета), сам услышал приказ де Лонга и поспешил к нему, кстати говоря, не предвидя ничего хорошего.

— Что это значит, сударь? — грозно встретил его маститый юрист, потрясая в воздухе листком с сонетом.

— Это выражение моих чувств, — почтительно ответил Пьер, — чувств, которые вдохновили меня просить у вас, высокочтимый господин де Лонг, руки вашей дочери.

— Э нет, сударь! Мы оба, кажется, юристы! — произнес Франсуа де Лонг, сутулясь и превращаясь в зловещий крюк. — Так разберемся в сочиненном вами документе.

— Это не документ, сударь, это сонет с английской рифмой, как у Шекспира, — тихо произнес Пьер.

— Вам надлежало бы знать, молодой человек, что все написанное на бумаге являет собой до-ку-мент! И чему только учили вас в Бордо или Орлеане?

— Сонеты Шекспира или Петрарки прославляют чувства и предмет этих чувств, уважаемый господин де Лонг. Прославляет и мой сонет вашу дочь.

— Прославляет? А тут что? Так можно только ославить, а не прославить. — И выразительным жестом крючкотвора он ткнул согнутым пальцем в последние строчки сонета. — Звать девицу ночью к себе «когда я непробудно усну...», по юридической логике это «приглашать к себе в постель»... И это вы называете проявлением чувств? Такое пристало какому-нибудь бесшабашному мушкетеру, гордящемуся любовными связями, а не претендующему на юридическое образование человеку, с которым я имею несчастье состоять в родстве по женской линии.

— Почтенный господин де Лонг! Поэтические слова, обращенные к даме, нельзя рассматривать в буквальном смысле, тем более что поэт в данном случае глупо (в этом надо признаться!) увлекся выгодной концовкой: «Сны пусть... видятся мне... и приди все ж ко мне... нѐ во сне». Эту неловкость извиняет искренняя любовь к вашей дочери, и я, осмеливаясь мечтать о взаимности, почтительно прошу у вас ее руки.

— Руки моей дочери, которую вы пытались соблазнить?

— Побойтесь бога, господин де Лонг! Вы сами были молоды, сами любили и создали крепкую семью, которая могла бы стать примером для нас с Луизой.

— Крепкую семью, говорите, молодой человек? А какие у вас, смею спросить, есть возможности обеспечить такую крепкую семью? Может быть, вы владеете родовым поместьем или завидной рентой? Или у вашего батюшки все идет так гладко, что он берет вас компаньоном в свое «процветающее» дело?

— У меня есть только одна моя голова, сударь, начиненная некоторым запасом знаний, и надежда, что с такой могущественной поддержкой, как ваша, сударь, я смогу на посту советника парламента в Тулузе достойно обеспечить свою семью, и мы с Луизой будем счастливы.

— Вы с Луизой? — пронзительно захохотал Франсуа де Лонг. — Передайте вашему батюшке, что дрянной городишко Бомон-де-Ломань ждет не дождется своего проподконсула...

— Второго консула, — почтительно поправил Пьер.

— Ну пусть второго, третьего, пятого... во всяком случае, не первого. Ждет не дождется его возвращения вместе с неудачником сыном, которому надлежит быть возможно дальше от Тулузы, где будет жить до предстоящего замужества моя дочь, имеющая возможность выбирать среди почтенных жителей Тулузы достойного жениха, способного солидно обеспечить семью. Слуга проводил бы вас с батюшкой до почтовой кареты, если бы мог поспеть за вами, имея в виду спешность вашего отъезда.

Так печально кончилась история с злополучным сонетом Пьера Ферма, написанным в стиле Шекспира.

Пьеру очень хотелось проснуться, но, увы, он видел все это не во сне.

# ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

*Жизнь человеческая подобна железу. Если употреблять его в дело, оно истирается, если не употреблять, ржавчина его съедает.*

Катон-старший

Печально наше послесловие, хотя Пьер Ферма потерпел лишь первое поражение, почтенный метр Доминик Ферма не пережил своего разорения, ничего не оставив ни сыну, ни другим детям, которым Пьер уступил во владение отцовский дом в Бомон-де-Ломань, сам рассчитывая лишь на самого себя, на свои замыслы и силы.

Печально наше послесловие потому, что Пьер Ферма ничего не узнал о горькой судьбе маленького арабского звездочета, которого одарил таким царским подарком.

Лишь много лет спустя в Париже от былого своего сотоварища по коллежу аббата Мерсенна, добровольного посредника в переписке ученых, он услышал, что аббат уже давно перестал получать письма от арабского знатока чисел Мохаммеда эль Кашти.

Но ни аббат Мерсенн, ни тем более Пьер Ферма так и не узнали, что маленький арабский звездочет, поразительно сочетая в себе глубокие научные познания с суеверием, наивно убежденный в своей способности угадывать будущее по расположению звезд, осмелился предсказать османскому паше в Аль-Искандарии немилость султана, за что с согласия султана, уличенный к тому же в мерзостном посещении языческих капищ, был обезглавлен, и все книги его и рукописи, как колдовские, противоречащие корану, подлежали сожжению, и при стечении толпы правоверных в одну из звездных ночей (которые так ценил звездочет для наблюдений!) пламя костра вспыхнуло перед домом казненного и взметнулось от налетевшего вихря, пронесшегося над базарной площадью.

Так и не удалось бедняге спасти свою голову от секиры палача османского паши. Искры и огненные птицы взлетели в черное небо, почти до уровня минарета ближней мечети. Никто не видел, где падали эти птицы. Но не исключено, что в темноте ночи некий чернокожий гигант, посветив себе факелом, притушил тлеющую птицу и унес то, что осталось от нее (быть мо-

жет, таблицу?), на память о добром хозяине, иначе чем объяснить, что таблица, над которой работал французский математик, попала наконец в руки автора *.

Безрадостно складывалась и судьба философа в офицерском мундире Декарта. Видный мыслитель, последователи которого и в наше время называют себя картезианцами, утверждал, что все познается только опытом и наблюдением (как? А вера!!!), навлек на себя недовольство не только святой римско-католической церкви во главе с папой римским, специальной буллой осудившим и запретившим одно из главных сочинений Декарта, но также и лютых врагов католицизма — протестантов, боровшихся с католиками за власть и влияние на протяжении всей Тридцатилетней войны во многих странах Европы. Декарту пришлось принять в ней участие, но гонение вынудило его покинуть сначала Францию, а потом и Нидерланды и оказаться в Швеции под защитой своенравной королевы Христины, которая не смогла, однако, уберечь строптивого философа от губительного для него скандинавского климата.

Справедливости ради надо сказать, что он ни в чем не уступил гонителям, всегда оставался самим собой, хотя и допускал порой ошибки, одна из которых однажды снова столкнула его с Пьером Ферма в бескровной, но бурно разыгравшейся в научных кругах дуэли, о чем пойдет речь в последующих главах правдивого романа.

То, что не понял Декарт в работах Ферма, потом развили Ньютон и Лейбниц, кстати говоря, споря между собой о приоритете, создав дифференциальное и интегральное исчисление, гениально предвосхищенное скромным французским юристом.

*Конец первой части*

---

* Лет двадцать назад во времена египетского президента Насера, стремившегося к дружбе своего народа с СССР, в Каире и Александрии гастролировал наш Большой театр, и друг автора, артист балета С. А. Салов, приобрел на рынке фотографию обугленного музейного документа, который, как ему казалось, может заинтересовать фантаста. По сохранившейся части таблицы автору удалось благодаря ранней работе заслуженного деятеля науки и техники РСФСР профессора М. М. Протодьяконова ее восстановить. *(Примеч. авт.)*



# Часть вторая

# ВЕРШИНЫ МАНЯЩАЯ ПРЕЛЕСТЬ

*Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше.*

Ф. Бэкон

## Глава первая

## КОСТИ И ШПАГА

*Ни одно человеческое исследование не может назваться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство.*

Леонардо да Винчи

Два года прошло со времени знакомства Пьера Ферма с Луизой де Лонг.

Конечно, разгневанный «крючок» не оказал Пьеру никакой протекции в Тулузском парламенте, где играл известную роль. И можно понять его удивление, а потом ярость, когда он узнал, что этот выскочка Пьер Ферма все-таки умудрился получить заветное место советника суда и приезжает в Тулузу.

Искушенный крючкотвор, умеющий выискивать юридические зацепки в делах, которыми занимался в парламенте, оказывается, не обладал должной проницательностью, чтобы угадать за покорной кротостью дочери несгибаемое, а вернее, пружинное упорство и изо-

щренную находчивость (поистине женское чувство не знает преград!).

Сам господин Франсуа де Лонг был по-ослиному упрям, но если справедливы слова умного острослова, что «упрямство — вывеска дураков», то упорство, каким обладала Луиза, скорее всего напоминало гибкую кость дамского корсета, сгибающуюся от усилия и тотчас разгибающуюся, едва оно ослабнет, и Луизу меньше всего интересовала разница между «вывеской дураков» и «кольчугой мудрецов», как порой философы называли упорство. И вполне может быть, что ее упругая защита была непробиваемей кольчуги.

В день получения сонета Луиза, казалось бы, покорно уступила разгневанному отцу, но, едва униженные родственники покинули Тулузу и отец принялся подыскивать Луизе выгодного жениха, скромница дочь с потупленным взором приступила к действиям.

Нет у мужчин оружия против женской слабости, в особенности если она присуща любимой племяннице. Это в полной мере ощутил младший брат Франсуа де Лонга, тоже юрист с кое-какими связями в Тулузском парламенте, как и все в семье.

Вот через него-то, через Жоржа де Лонга, и решила добиться своего счастья наша одержимая влюбленная. И, заливаясь прожигающими мужское сердце слезами, рыдая на дядиной груди, перемежая горестные вздохи с поцелуями, она одержала полную победу над сердобольным Жоржем де Лонгом, румяным, рыхлым и добродушным, которого не наградил господь собственными детьми. Сам готовый расплакаться, суетливый по натуре, сейчас он был готов не без тайного (но беззлобного) торжества все сделать для дочери высокомерного Франсуа, который не упускал случая оттеснить младшего брата на задний план.

Протекцию Пьеру Ферма Жорж де Лонг оказать мог, но... дело осложнялось тем, что у Пьера не было нужных средств, чтобы отблагодарить благодетелей, которые предоставят ему желанное место. Это препятствие казалось неодолимым, но очаровательная племянница смотрела на дядю такими глазами газели и в их глубине теплились такие поистине тигриные искорки, что предложенная ею невероятная сделка (чего только не придумает влюбленная женщина!), по которой благодетели должны подождать первого дела Пьера, чтобы он лишь после него расплатился б с ними, под гарантию,

конечно, такого солидного поручителя, как любимый дядюшка Жорж де Лонг, показалась растроганному судейскому не лишенной смысла.

И, кряхтя, сам себе дивясь, толстый дяденька Жорж пошел на все, чего пожелала племянница, и даже на большее: выплатил, как поручитель, часть обусловленной благодетелями суммы впредь до выигрыша Пьером Ферма его первого юридического дела.

И ощутимый кошелек с пистолями, так приятно оттягивающий пояс, оказался ключом в Тулузский суд, позволив Пьеру Ферма вновь оказаться в желанном городе, где он рассчитывал увидеть свою возлюбленную, воспетую им за долгие два года (такие дела быстро не делаются, в особенности у судейских!) во множестве сонетов и в стиле Шекспира, и в стиле Петрарки. Надо заметить, что сонеты эти уже не попали в крючковатые пальцы почтенного родителя, ибо дочь его оказалась столь же предусмотрительной, как и покорной, сумев к тому же за эти два года с чисто отцовской придирчивостью найти убедительные доводы для отказа немалому числу выгодных женихов.

Франсуа де Лонг узнал о приезде нового советника парламента в Тулузу слишком поздно, чтобы добиться отмены назначения, но, кипя негодованием, постарался, чтобы первое же порученное новому советнику дело было для него непосильным и уронило бы Пьера Ферма в глазах влиятельных людей, которых не восхитить всякими там ухищрениями в области счета или сочиненными сонетами.

Таким безнадежным делом оказалось злонамеренное убийство молодым графом де Лейе маркиза де Вуазье, его соперника, домогавшегося, как и он, руки завидной невесты, ветреной красавицы Генриэтты, незаконной дочери самого герцога Анжуйского, торопящегося дать приданого за ней изрядный куш, поскольку ее заметил сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье, духовный сан которого не позволит ему возвысить до себя легкомысленную красавицу, но...

Тело пронзенного шпагой мертвого маркиза де Вуазье было найдено за монастырской стеной, в обычном месте запретных дуэлей. Ни у кого, в том числе и у судейских, ведших следствие, не вызывало сомнений, что маркиз был убит графом Раулем де Лейе во время поединка, на который маркиз сам вызвал графа в присутствии капитана кавалерийского полка, расквартиро-

ванного в Тулузе, господина де Мельвиля, пригласив его быть секундантом. Поединок не состоялся в день ссоры молодых людей из-за того, что граф де Лейе, ссылаясь на какие-то неотложные дела, отказался от встречи в предложенное время, не отвергая дуэли на будущее, однако капитан так и не получил сообщения, когда она состоится. Улики множились еще и потому, что в роковую ночь граф Рауль в замке отца, старого графа де Лейе, не ночевал и категорически отказался назвать, где и с кем он провел эту ночь. Словом, по настоянию сурового прокурора Массандра молодой граф Рауль был брошен в темницу, и ему по требованию того же неумолимого Массандра грозила виселица.

Пьер Ферма отлично понимал, что требование позорной казни дуэлянту, практически никогда не применяемой, обусловлено политическими соображениями, поскольку кардинал Ришелье искоренял привилегии, дарованные гугенотам королем Генрихом IV, чьим соратником в бытность короля еще вождем гугенотов был старый граф Эдмон де Лейе. Казнь сына нанесет старому графу непоправимый удар, прекратив существование его старинного рода.

Старый граф де Лейе был в отчаянии, готовый на любые траты, лишь бы спасти сына, но перед ним встало поистине неодолимое препятствие — заинтересованность самого его высокопреосвященства, который, помимо политических расчетов, был не прочь разом избавиться от двух молодых соперников, претендующих на готовое раскрыться сердце желанной для кардинала Генриэтты. И это незримое влияние его высокопреосвященства было ловко использовано господином Франсуа де Лонгом, всегда готовым угодить господину кардиналу, а кстати, и подставить ножку Пьеру Ферма. И дело с обвинением графа Рауля де Лейе было передано именно ему, неопытному юристу, которого ждал несомненный провал.

Пьер Ферма, ознакомившись с обстоятельствами дела и разгадав тайные силы, действующие вокруг него, прекрасно понимал всю безнадежность положения как графа Рауля де Лейе, так и его собственного. И, как это ни странно (а может быть, и понятно!), вместо того чтобы искать покровительства влиятельных господ вплоть до обращения к самому его высокопреосвященству господину кардиналу или даже к королю и поднесения (за счет старого графа де Лейе, конечно!) бога-

тых подарков судейским, начиная со свирепого прокурора Массандра, который мог же, в конце концов, в зависимости от предложенной суммы смягчиться, вместо того чтобы делать все это, как поступил бы любой другой юрист тех времен на его месте, Пьер Ферма, видимо, окончательно потеряв голову, не нашел ничего лучшего, как коротать время в трактирах, переходя от столика к столику, подолгу задерживаясь там, где играли в кости, однако не делая ставок сам.

Впрочем, может быть, этот новый советник парламента был и не так уж глуп, зная слабости прокурора Массандра, и не случайно оказался у столика, где господин Массандр азартно играл в кости с известным уже нам капитаном де Мельвилем.

Гороподобный Массандр попеременно то выигрывал, то проигрывал. Играли они в шесть костей, то есть выбрасывали сразу шесть костяшек, из которых каждая могла показать на верхней своей грани от единицы до шести очков. Такая игра считалась особенно крупной, сводила на нет некачественность отдельных костяшек и отличалась обычно крупными ставками.

Прокурор Массандр, потный от волнения, выкрикивал сумму выпавших очков хриплым голосом и страшно сердился, когда его партнер вежливо поправлял его, уличая в неважном знании арифметики. Сложить шесть цифр и не ошибиться, оказывается, дело нелегкое!

Прокурор Массандр в азарте, как и при требовании смертной казни осужденным, был страшен. Его спутанные длинные волосы закрывали часть лица, которое отнюдь не отличалось привлекательностью, обладая тяжелыми чертами и огромным мясистым носом. Пожалуй, он напоминал собой некоего хищного зверя, вырвавшегося из клетки и грозящего всем, кто попадется на пути.

И своим свирепым видом грозил он теперь и обходительному, учтивому капитану де Мельвилю, которого с его бравой профессией мирили лишь пышные, лихо закрученные усы, никак не вязавшиеся с невинными голубыми глазами и почти отсутствующим подбородком.

А угрожал прокурор капитану потому, что ему стало везти. И напрасно понадеялся бы наш молодой советник Пьер Ферма начать игру с прокурором самому, чтобы заставить его проиграться и стать сговорчивее. Напротив, яростно сопя, тот удваивал ставки, размашисто

высыпáл из кубка костяшки, бросался на них ястребом и выкрикивал подсчитанную сумму.

Бедный, изысканный в своих манерах капитан выкладывал содержимое своего кошелька, которое пропадало в бездонном кармане прокурора. Наконец ставка пошла на сам шитый золотом кошелек. Он тоже был проигран. Капитан уже готов был капитулировать и удалиться, но прокурор удержал его, предложив отыграться, если тот поставит свое великолепное седло, которое прокурор оценил в сто пистолей. Седло было выиграно неумолимым Массандром. Несчастный капитан сидел перед ним бледный, закусив губу. Как вернется он в свои кавалерийские казармы? Алчный же прокурор приглашающе перемешивал в кубке шесть костяшек, налил в кубок вина, не вынимая из него кости, залпом выпил и предложил последнюю ставку — лошадь капитана взамен седла и его же кошелька с пистолями, которые в нем были до игры. Капитан колебался, а Массандр искушал его, тряся костяшками в кубке.

Пьер Ферма бесстрастно наблюдал за игрой, забыв про записи, которые всегда вел, наблюдая играющих.

И тут капитан де Мельвиль махнул рукой, предложив прокурору Массандру бросить кости на названную им ставку.

У капитана дергалась щека, а вместе с нею шевелился закрученный ус.

С торжествующим кряканьем прокурор склонился над столом, напоминая выползающее на сушу морское чудовище, и протянул кубок капитану:

— Делайте вашу игру, господин капитан. Я предложил ставку, — эрго, бросаю последним, — по привычке юриста вставил он латинское слово.

Руки капитана тряслись. Видимо, он владел шпагой лучше, чем кубком для игры в кости. Он долго тряс костяшки, воздев свои голубые глаза ввысь и неслышно что-то шепча губами, должно быть, молитвы. Потом зажмурился и бросил кости.

Пьер Ферма искренне волновался за него, и у него холод пробежал по спине, когда он увидел на столе пять единиц и одну двойку на рассыпанных костяшках.

Прокурор оглушительно захохотал:

— Прикажите вашему слуге, милейший, принести мне уздечку от моего коня, — нагло заявил он поникшему капитану, который ощутил весь позор, какой обрушится теперь на него.

Тогда капитан робко сказал:

— Может быть, господин Массандр кинет и в свою очередь кости?

— Что? — презрительно повернулся своим мощным телом от капитана к Пьеру Ферма Массандр. — Вам не хочется, сударь, поупражняться в арифметике? Вы достаточно бегло считаете до тридцати шести? Считайте! Помогите господину капитану!

И с этими словами Массандр, не размешивая кости, опрокинул кубок и даже не посмотрел на выпавшие кости. И только по выражению лиц окружающих понял, что дело неладно, обернулся к столу и ахнул. На нем лежало шесть костяшек, с одним очком на каждой.

— Такого не может быть! — воскликнул прокурор.

— Я молился, я просил чуда, господин прокурор, — тихо проговорил капитан.

С яростными проклятиями Массандр отдал капитану его кошелек, наполнил его бывшими в нем прежде деньгами, вернул седло, которое, после того как было выиграно, лежало рядом на полу, встал на слоноподобные ноги и, опрокидывая на пути стулья, вышел из трактира.

Пьер Ферма смотрел на счастливого капитана и прикидывал в уме, сколько же раз надо бросить кости, чтобы получить такой невероятный случай, который едва ли помнит кто-либо, играя в шесть костей?

Число бросаний, как ему удалось подсчитать, достигало совершенно невероятной цифры — в несколько миллиардов!

Если бы игроки играли в орел или решку, бросая монету, то при достаточном количестве (в несколько сот) бросков их шансы были бы равны. При игре в одну кость с шестью гранями число бросаний, уравнивающих шансы играющих, становилось уже непомерно высоким, при двух костяшках практически шансы играющих уже не были равными — кому как повезет. При шести же костяшках все это невероятно осложнялось.

Сам того не подозревая, Пьер Ферма закладывал основы новой отрасли математики, которая спустя столетия будет служить многим областям человеческого знания — теории вероятностей, без которой невозможны ни страховое дело, ни лотереи, и в особенности современная ядерная физика, имеющая дело с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями, когда нет абсолютных значений величин, а есть только вероятные.

Однако, как ни взволновала Пьера Ферма сцена с проигрышем прокурора, как ни удивительно было редчайшее совпадение, спасшее капитана, молившего о чуде, все же это отнюдь не спасало от виселицы обреченного графа Рауля де Лейе. Просто Пьер Ферма познал яростный нрав прокурора в непосредственной от него близости. Но он узнал также из трактирных разговоров и то, что молодой граф не дрался прежде на дуэли, в то время как маркиз де Вуазье зарекомендовал себя забиякой и бретером, уже не раз нарушая королевский запрет на поединки.

Это убедило Пьера Ферма в невиновности молодого графа. Не мог он, неопытный в фехтовании, убить заядлого дуэлянта! Но эта уверенность никак не могла повлиять на судей, уже затягивающих веревочную петлю на горле графа Рауля. Нужны неопровержимые доказательства его невиновности. Римское право учит, что виновного надо искать среди тех, кому выгодно преступление. И в смерти маркиза де Вуазье, принимая во внимание его притязание на руку Генриэтты, был заинтересован один только граф Рауль де Лейе. Так что судьям даже выбирать из числа подозреваемых не приходилось.

И все-таки...

Пьер Ферма преклонялся перед гением Леонардо да Винчи, высоко ставя все его удивительные сверхчеловеческие познания, открытия, изобретения. Такой человек, который, будучи подкидышем, не имел родителей, появись он в Древнем Египте, вполне мог бы быть провозглашен пришельцем со звезд и тем же богом Тотом. Не перечислить его открытий, изобретений, мудрых мыслей, не говоря уже о непостижимом даровании художника!

Вспомнил о нем Пьер Ферма в труднейшую минуту своей жизни совсем не зря. Он хорошо знал его высказывание о науках и математике: «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство». Такова гениальная мудрость Леонардо! «Ни одно человеческое исследование»? Он как бы говорит о человечестве, глядя на него со стороны. Но вместе с тем какая глубина! Только математическое доказательство, то есть непреложное, неизменное, делает науку наукой! А наука о праве — это наука? С точки зрения Леонардо, в таком случае она должна пользоваться математическими доказательствами! Так можно ли математически доказать, что неумелый противник в состоянии

убить шпагой опытного? Это столь же редкое явление, как и выпадение шести очков на шести костяшках вслед за выброшенными семью очками у партнера! И все-таки судей не убедит такая аналогия. Нужно неопровержимое математическое доказательство. Если у Пьера Ферма есть уверенность в невиновности графа Рауля, то кто же и как убил маркиза де Вуазье?

И молодой советник парламента, используя свое право, отправился в темницу к графу Раулю.

В темной камере с пучком соломы в углу, в которой содержали обычно уже приговоренных к смерти, бедный граф должен был ждать своего приговора.

— Ваше сиятельство, — начал Пьер Ферма. — Я совсем ненамного старше вас, мы могли бы быть друзьями, я уверен в вашей невиновности, ибо вы плохо владеете шпагой.

— Да, сударь, я всегда пренебрегал фехтованием, больше интересуясь сонетами.

— Сонетами! Тогда нас уже многое связывает. Так помогите мне спасти вас. Мне нужно только одно: установить, где вы провели роковую для несчастного маркиза ночь?

— Простите меня, сударь. Вы сказали, что могли бы дружить со мной, но навсегда отказались бы от этого, если бы я признался вам, где провел эту ночь. Никогда, слышите ли вы, никогда я не открою этой тайны, которая не принадлежит мне!

— Ваше сиятельство, я не рискую повторить своей просьбы, даже напомнив, что грозит вам.

— Пусть я умру, но уста мои не разомкнутся, чтобы ответить на ваш вопрос!

Пьер Ферма покинул сырую темницу, унося с собой не только уверенность в невиновности Рауля, но и восхищение его готовностью принести в жертву свою жизнь, но лишь не бросить тень, очевидно, на одну из знатных дам Тулузы.

Молодой граф Рауль де Лейе был строен, красив, обладал прекрасными манерами и, конечно, должен был нравиться дамам. А тогдашние нравы располагали Пьера Ферма к тем выводам, которые он сделал. Но если бы он даже узнал, у какой прекрасной дамы провел несчастный юноша ту роковую ночь, то ему едва ли удалось бы уговорить ее ценой своей репутации спасти мимолетного любовника. Нет! Не таковы эти знатные дамы! Нужно искать другие пути.

Прав великий Леонардо да Винчи — надо искать математическое обоснование возможного вывода!

И снова новый советник парламента зачастил в трактиры.

Там в духоте винного перегара и запахов кухни говорили о двух событиях: о предстоящей казни молодого графа Рауля де Лейе и удивительном проигрыше прокурора Массандра всего, что было им выиграно у капитана де Мельвиля.

— Игра в шесть костей — это самая благородная игра из всех азартных игр. Пусть кто-нибудь возразит мне, и я размозжу ему голову! — уверял беглый монах богатырского вида в грязной рваной сутане и со спутанными, как войлок, волосами.

— Что ж тут благородного, отец мой, — заметил Пьер Ферма, подливая монаху вина, — если на все воля господня. Я сам был свидетелем случая, о котором говорит сейчас вся Тулуза, когда после семи выброшенных на шести костях очков следующий бросок дал только шесть. Все говорят — чудо.

— Чудо? — наклонился к уху Пьера Ферма монах. — Чудо, сударь, не знаю, как вас величать, чудо — в вине! А такой случай, о котором вы говорите, не такая уж диковинка, если хотите знать.

— Ну, почтеннейший отец, с вами трудно согласиться. Я немало упражнялся в счете и пришел к выводу, что такое совпадение может повториться через столько бросаний, сколько песчинок на берегу моря, скажем, в Тулоне, где мне привелось бывать.

— Тулон, Тулон! При чем тут море? Кабы в нем были винные волны, вот это было бы море! А ваше чудо не такое уж и редкое.

— Ну что вы, отец мой! Математика не ошибается.

— Плевать мне на вашу математику. Мне достаточно считать до десяти, поскольку у меня десять пальцев на обеих руках, и я все эти десять пальцев готов прозакладывать, что видел именно десять дней назад вот в этом самом трактире совершенно такое же чудо. А вы говорите — камешки на морском берегу. — И он пьяно захохотал.

Пьер Ферма насторожился. О каком совпадении может говорить этот пьянчужка? И десять дней назад! Как раз тогда и случился роковой поединок маркиза де Вуазье с его противником.

Сам не замечая, Пьер Ферма последнюю фразу произнес не про себя, а вслух.

— Вот-вот! И я про то же говорю, почтеннейший! Про маркиза де Вуазье. Кто его здесь не знал? Не раз меня потчевал. Но в тот вечер он был трезв, трезв, как я в монастырском карцере, куда меня частенько запрятывал господин преподобный настоятель, изрядная гадина, скажу вам по секрету, сударь, хоть и в святые норовит пролезть нечестивый аббат.

— Вы сказали, что маркиз де Вуазье не был пьян? Может быть, потому, что ему предстояло драться на дуэли с графом Раулем де Лейе?

— Вот этого не знаю, сударь, хоть вы и поднесете мне еще стакан или два вина. Не знаю. Но видел, как он играл в кости. В шесть костяшек, понимаете? Серьезная была игра. Говорят, кому не везет в любви, а я, как монах, поверьте, не знаю, что это такое! — И он захихикал. — Когда не везет в любви, везет в азартные игры. А играли они азартно, смею вас уверить.

— С кем, отец мой?

— Как с кем? С мушкетером. Только мушкетер мог так играть.

— Как, отец мой?

— Ну играть, играть и проигрывать. Ведь при шести косточках отыграться трудненько, вы уж мне поверьте, сударь, до того, как я постригся, мне это было знакомо.

— Так мушкетер проиграл?

— Все проиграл: и кошелек с деньгами, и шляпу, и плащ с крестом, мушкетерский, и седло, и даже лошадь...

— Если это мушкетер, то ведь ему предстояло ехать на ней?

— Конечно, в том-то и дело. Маркиз — человек благородный, он предложил ему отыграться, поставив свою шпагу, мушкетерскую шпагу.

— И тот пошел на это?

— Конечно, а что ему оставалось делать? Вот тогда и произошел тот невероятный случай, о котором все сейчас болтают, будто он и повториться не может, а я сам видел.

— Что же вы видели, отец мой?

— Пять костяшек с одним очком и одну с двумя: семь очков! Меньше, как говорится, и выбросить невозможно.

— И кто же бросил шесть костей с семью очками?

— Как кто? Мушкетер. И он выиграл с этими семью очками! Вот и все! Выиграл, черт бы его побрал, грешника!

— И вы сами видели, отец мой, как на шести костяшках у маркиза выпало всего шесть очков?

— Чего не видел, того не видел. Я решил, что тут и бросать нечего, думал, мушкетер теперь штаны снимать станет, ну и отошел от греха, как духовное лицо, к другому столу, где предлагали еще стаканчик вина. Но все видели, как они вместе вышли из трактира. Значит, все было в порядке, мушкетер, прости господи его грехи, отыгрался.

— Так ведь вы же, отец мой, не видели этого!

— А зачем видеть такую срамоту? И так все ясно. Раз они вместе вышли, значит, выпало маркизу только шесть очков. И перед утром мушкетер, этот сын греха и блудницы, сел на лошадь и уехал в полном своем мушкетерском обмундировании. Грешникам всегда везет! Можете проверить у трактирщика, рассказал, как на исповеди.

Пьер Ферма проверил. Трактирщик в переднике с повязанной красным платком головой нашел еще по крайней мере трех своих посетителей, которые подтвердили слова беглого монаха.

Как математик, Пьер Ферма не мог допустить, чтобы происшедшее вчера в его присутствии невероятное совпадение могло всего за десять дней до проигрыша прокурора случиться в соседнем кабачке. Если повторное выпадение семи очков на шести костяшках можно представить себе как случай, то сочетание последовательных бросков этих шести костяшек сначала с семью, а потом с шестью очками, требующее по крайней мере десятка миллиардов бросаний, произошло дважды за десять дней, это было бы просто опровержением основ математики!

Нет, великий Леонардо прав! Наука о праве, чтобы стать истинной наукой, должна пользоваться и математическими доказательствами.

А из этого следует, что если мушкетер, ставя шпагу, отыгрался, то, очевидно, уже не в кости, а с ее помощью!

Что скажет на это господин прокурор?

Глава вторая

## ДОБЛЕСТЬ

*Что человек делает, таков он и есть.*

Гегель

Пьер Ферма хорошо изучил дорогу от старого в два обхвата корявого дуба с густой кроной, как у десятка сросшихся деревьев, до далекой калитки сада де Лонгов — более тысячи шагов по прямой через сочный луг. Пьер Ферма еще засветло несколько раз вымерил шагами это расстояние и мог бы идти теперь хоть с закрытыми глазами, и не только мог, но и решился на это, точно выйдя прямо к калитке, где в условленный час его будет ждать желанная Луиза.

Не раз уже после приезда Пьера в Тулузу молодые люди встречались так, втайне от грозного Франсуа де Лонга, в густом саду, где под покровом ночной темноты произносились самые нежные и сокровенные слова о вечной любви и грядущих радостях.

Но в этот раз Пьер Ферма шел знакомой дорогой, привычно не сбиваясь с прямой, глубоко задумавшись о предстоящем судебном процессе, где ему предстояло скрестить риторические шпаги с прокурором Массандром и где он мог рассчитывать лишь на помощь великого Леонардо да Винчи, подтолкнувшего его к математическим аргументам. Однако не было никакой уверенности, что мудрость великого Леонардо и найденные под его влиянием аргументы воспримутся досточтимыми судьями, когда им придется выносить решение о судьбе молодого графа Рауля де Лейе.

В темноте калитку и не различить, если бы не белое платье Луизы, которая выбежала из сада навстречу Пьеру и бросилась ему на шею.

— Почему мой метр такой грустный сегодня? — шепнула она.

— Чтобы выиграть дело, Луиза, моя нежная Луиза, и соединить не только наши сердца, но и жизни, мне необходима лошадь.

— Лошадь? — поразилась девушка. — Ты сказал, что наша жизнь зависит от какой-то лошади?

— Да, милая Луиза. От верхового коня, на котором мне необходимо совершить путешествие, чтобы выяс-

нить имя проезжего мушкетера, быть может и скорее всего убившего де Вуазье.

— Но где взять лошадь? Купить?

— Но у меня нет денег, ты же знаешь. Я совершенно не представляю, как в таких случаях поступить. Я в полной растерянности.

— Вот еще! Какой же непрактичный мой милый метр! А я зачем? Чтобы вздыхать вместе с тобой? Ну нет! Боже мой! Да разве для нашего счастья я не сумею достать верховой лошади? Я выпрошу ее у дядюшки Жоржа. Для нас!

Пьер покрыл поцелуями тонкие руки своей возлюбленной. Поистине он приобрел в ней на всю жизнь все понимающего друга!

И снова добродушный дядюшка Жорж де Лонг не смог отказать любимой племяннице в такой пустяковой просьбе, как его верховая лошадь с высокой холкой и упругой рысью.

И уже на следующий день Пьер Ферма довольно неумело сидел в жестком седле, страдая от тряски, когда лошадь переходила на свою упругую рысь. Перед выездом Пьер Ферма провел циркулем по карте окрестностей Тулузы дугу с радиусом, равным однодневному переходу. Отправляясь в сторону, противоположную Парижу, он намеревался отыскать трактир или постоялый двор, где мог остановиться перед Тулузой неизвестный мушкетер и где могли знать его имя.

Целый день трясся Пьер Ферма в седле по дороге на юг и еще один день — по дуге круга, чтобы добраться до трактира, где увалень-трактирщик припомнил, что действительно недели две назад у него останавливался какой-то мушкетер, который пил вино с гвардейцем кардинала, а потом повздорил с ним. Имена их ему неизвестны, но он покажет крестьянина, семья которого выхаживает гвардейца.

— Выхаживает? — удивился Пьер Ферма. — Разве он болен?

— Не без этого, сударь. Они ведь повздорили с мушкетером, а тот был доблестный малый.

Ферма отыскал указанный ему крестьянский дом и во дворе его встретил миловидную крестьянку, хозяйскую дочь, которую стал расспрашивать о больном гвардейце.

— Ах, сударь, — призналась крестьянка. — Это такой милый человек, и я так стараюсь облегчить его

страдания, достала лучший бальзам у заречной старухи (помогает от тяжелых ран!), делаю перевязки, изодрав на бинты лучшее наше полотно. Лишь бы он поправился. А какие у него усы!..

— При таких ловких руках и таком добром сердце, как у вас, моя дорогая, невозможно не поправиться.

— Бог да воздаст вам за ваши слова, сударь. Вы непременно хотите его видеть? А не расскажете его высокопреосвященству господину кардиналу, где он находится?

Пьер рассмеялся:

— Я отнюдь не на короткой ноге с его высокопреосвященством, моя дорогая. Но если бы я предстал перед ним, то, клянусь, сохранил бы вашу тайну, ибо догадываюсь, что она освящена любовью, чувством мне знакомым.

— Что вы, сударь! Как можно! — зарделась девушка и убежала.

А Ферма вошел в дом, где хмурый хозяин, припадая на левую ногу, проводил его к постели раненого гвардейца, ворча:

— Ох уж эти мне забияки-драчуны, не могут обойтись без ссор! Не все ли равно, кому служить: королю или кардиналу? На вилы их всех надо! Забыли, что французы.

Гвардеец лежал под лоскутным пестрым одеялом, натянутым до самых его торчащих закрученных усов.

Пьер Ферма наивно назвал себя и свое отношение к законности, спросив, не может ли он чем-нибудь помочь раненому.

— Что? — зашевелил усами гвардеец. — Какому такому раненому? Это не меня ли вы так обозвали, сударь? Я всего лишь подвернул колено, спрыгнув с лошади, вот и залег тут. А если хотите знать, сударь, то задерживаюсь я здесь из-за одной очень миленькой мордашки. Наверняка она повстречалась вам во дворе. Не вздумайте воспользоваться моим увечьем, не советую, — грозно добавил он.

Пьер Ферма понял свою оплошность. Конечно, гвардеец теперь ни за что не признается, что ранен в поединке с мушкетером, страшась гнева кардинала и виселицы судейских, наверняка подославших к нему этого советника парламента из самой Тулузы!

Так и оставил Пьер Ферма раненного мушкетером гвардейца, уехав ни с чем и пожелав ему выздоровле-

ния на руках миловидной крестьяночки, а сам отправился по дороге на юг, откуда, видимо, приехал мушкетер.

Еще один дневной переход верхом на лошади с упругой рысью помог Пьеру Ферма полностью познать все тяготы солдатской жизни, из которых самыми тяжкими, как ему казалось, были мучения от сбитых седлом частей тела во время непереносимой тряски при езде рысью.

В попадавшихся ему трактирах о мушкетере ничего не знали, но в одном из них посоветовали наведаться в расположенный поблизости замок местного дворянина, который мог принять у себя заезжего гостя.

К замку Ферма подъехал в самый неподходящий час и столкнулся с похоронной процессией.

За гробом шли все домочадцы и слуги умершего владельца замка. Спешившись, Пьер присоединился к процессии, стараясь выяснить, что произошло с дворянином.

Провожающие в последний путь усопшего не отличались разговорчивостью и хмуро поглядывали на примкнувшего к ним чужака.

Но совсем по-иному отнеслась к нему вдова покойного.

Высокая, стройная, еще молодая, жгуче-черная, с горящими глазами, вся в трауре, она, гордо выпрямившись, стояла у края свежей могилы и первая бросила в нее ком земли, кем-то протянутый ей, беззвучно шепча губами или молитву или клятву. И не горе, а скорее гнев воплощала в себе ее черная напряженная фигура на фоне вечернего неба.

Она заметила незнакомца, когда все возвращались в замок, и приказала седому слуге подозвать его к ней или привести.

Когда Пьер предстал перед нею, то почувствовал острый сверлящий взгляд.

— Сударь, я не знаю вас, но благодарна за ваше участие в нашей горестной процессии. Не угодно ли будет почтить память усопшего во время поминальной тризны? Не откажите в таком случае в любезности назвать свое имя.

Пьер Ферма после встречи с раненым гвардейцем решил больше не называть себя, но сейчас не мог солгать этой гордой и гневной вдове. Он признался ей, кто он есть.

Женщина оживилась, насколько это было возможно в ее состоянии:

— Вот кого больше всего в жизни я хотела бы видеть сейчас! — воскликнула она. — Сам господь бог привел вас ко мне в этот горестный час. Я клялась над могилой мужа отомстить за него этому проклятому гасконцу, которого мой муж приютил у себя.

— Чем я могу быть вам полезен, мадам?

— Вы представитель закона, и к вам я взываю о мести.

— За что и кому хотели бы вы мстить с помощью закона?

— Убийце моего мужа.

— Кто же этот злосчастный преступник?

— Мушкетер, гасконец, дворянин. То, что он мушкетер, было видно по его плащу с крестом, гасконца выдавало его произношение и склонность к грубым шуткам, и только дворянин мог быть противником моего благородного мужа в поединке, вызванном спором. Имя же преступника пусть установит закон!

— В чем же заключался спор, мадам?

— Мы, женщины, никогда не поймем мужчин до конца. То, что нам представляется незначительным, им кажется достаточным для того, чтобы рисковать жизнью.

— Сколь же важна была тема спора хозяина замка с его гостем?

— Ах, не спрашивайте, сударь. Мне горько повторять то, что я слышала своими ушами.

— Они спорили, смею спросить, о святой вере и гугенотах? О короле и кардинале? О королеве Анне и герцоге Букингемском? Или о нескончаемой войне за правую веру *, или о философе Декарте и папе римском?

— Ах нет, нет, сударь! Совсем иное. Они поссорились из-за того, с какого конца надо разбивать вареные яйца, которые я принесла им на завтрак! Муж разбивал их с тупого конца, а гость стал насмехаться над ним с чисто гасконской наглостью, уверяя, что истинно благородные люди разбивают яйца с острого конца и что так можно отличить выдуманное благородство рода от подлинного.

— Так из-за яиц и состоялась дуэль?

---

* Впоследствии она получила название Тридцатилетней. *(Примеч. авт.)*

— Из-за чести нашего рода, сударь. Оскорбленный муж был смертельно ранен, я выхаживала его все эти дни, но господу угодно было взять его к себе. Но он требует отмщения! Могу ли я рассчитывать на вас, сударь?

— Я обещаю вам лишь одно, мадам: выяснить имя этого гасконского дворянина, состоящего в мушкетерах его величества короля. Именно ради этого я и приехал в ваш замок, не подозревая, что разыскиваемый мной мушкетер успел проявить здесь свою доблесть.

— Доблесть? Доблесть, сударь, проявляют в сражении с врагом, а не в уплату за гостеприимство.

Уезжая из замка еще до начала поминальной трапезы, Пьер Ферма, не только юрист, но и поэт, уносил в душе гневный образ жаждущей мщения вдовы, демонически прекрасной в своей ненависти, рожденной любовью.

Возвращение в Тулузу было печальным для Ферма. Он почти ничего не узнал, потратил драгоценное время и чувствовал себя совершеннно разбитым и больным от непривычной верховой езды.

До дня суда остались считанные дни, а он не мог и думать о том, чтобы сесть в седло и начать поиски следов мушкетера по дороге в Париж.

И тогда он вспомнил о сотоварище Декарта по коллежу, ныне аббате Мерсенне, живущем в Париже, с которым он вел научную переписку, сообщая через него всем интересующимся математикой ученым о своих изысканиях и открытиях.

И Пьер Ферма сел за письмо.

Но всякий человек всего лишь человек со всеми присущими ему слабостями. Пьер Ферма не был бы самим собой, если б увлечение математикой не захватывало его всего целиком.

И письмо, обращенное через аббата Мерсенна к другим ученым, было прежде всего научным, с неизвестными до того выводами, не содержа, кстати говоря, по обычаю Пьера Ферма, найденных им доказательств, которые он предлагал своим современникам найти самим. Неизвестно, чего здесь было больше: гордости, ставящей его выше всех, кто не сумеет пройти его путем, лености, не позволяющей ему затрудниться обоснованием своих гениальных догадок, или «научного озорства», если эти два слова можно поставить рядом.

Но в этой манере общения ученого его времени сказывался своеобразный характер Пьера Ферма.

Так письмо о математическом определении вероятности событий, которое спустя столетия выльется в современную теорию вероятностей, было закончено, многократно переписано, чтобы достичь стилистической завершенности и такой увлекающей научной загадочности, которая побудила бы мыслящих читателей искать в открытом Ферма направлении. И только в самом конце, в постскриптуме, Пьер Ферма просил былого школьного товарища Мерсенна узнать у капитана королевских мушкетеров господина де Тревиля, каково имя мушкетера-гасконца, проезжавшего через Тулузу по пути в Париж две с лишним недели тому назад.

Письмо отнес на почтовую станцию трактирщик, поскольку Пьер Ферма после своего непривычного путешествия верхом отлеживался в каморке, снимаемой в трактире «Веселый висельник», где недавно проигрался прокурор Массандр.

Пьер Ферма с горя занимался математикой, написал стихи о гневной вдове, но страдал не только от боли, но и тоскуя по Луизе.

Что же касается болевых своих ощущений, то он вполне мог считать себя раненным в самые неподобающие места доблестным гасконцем, которому даже не понадобилось для этого вызывать его на поединок.

Несмотря на боль, Пьер вскакивал всякий раз, когда ему казалось, что кто-то подходит к его двери, быть может, неся долгожданное письмо.

Но письма все не было.

И тут Ферма понял, что опять совершил непростительную ошибку, соединив в одном письме и свое новое математическое открытие, и столь важную и так незаметно высказанную просьбу к аббату Мерсенну.

Конечно, аббат Мерсенн прежде всего, как ученый, обратит внимание на математическую часть письма, начнет копировать ее для рассылки другим ученым, в чем неоценима его заслуга добровольного посредника в научной переписке, а что касается просьбы (для Ферма главной в этом письме!), то он вполне мог придать ей такое же второстепенное значение, как и небрежно отведенное ей место в коротенькой приписке.

Пьер был в отчаянии, кляня себя за непредусмотрительность.

И когда в очередной раз он кинулся к двери, то, от-

крыв ее, увидел за порогом пышно одетого вельможу, появление которого в таком второразрядном трактире, как «Веселый висельник», казалось просто непостижимым.

Вельможа раскланялся в старомодном поклоне. У него было сухое, чем-то знакомое Пьеру лицо с благородными чертами, вышедший из моды парик, в руке он держал, как посох, дорогую трость с головкой из слоновой кости с золотой инкрустацией, такой же, как на шитом золотом камзоле.

Церемонно закончив приветствие, он произнес, гордо вскинув голову:

— Убитый горем граф Эдмон де Лейе перед вами, почтенный метр! Позвольте называть вас так, поскольку ваше положение советника Тулузского парламента дает вам на это право.

— Прошу вас, ваше сиятельство, но мне даже неловко принять такого высокого гостя в столь убогом месте.

— Пусть оно будет последним таким убежищем в вашей предстоящей жизни, молодой метр, жизни, полной удач и благоденствия. Я могу пока судить о вас лишь по вашей внешности, а она внушает мне надежду на спасение моего несчастного сына, дело с обвинением которого поручено вам парламентом.

— У нас общая надежда, ваше сиятельство, ибо, изучив дело, я пришел к заключению о безусловной невиновности вашего сына.

— Да благословит вас господь за эти ободряющие меня слова, но сумеете ли вы убедить в этом досточтимых судей?

— Я стремлюсь использовать для этого все доступные мне средства, включая даже такую непреложную науку, как математика.

— Непреложную, неподкупную, — вздохнул старый граф. — Если бы жив был прежний король, который знал и ценил меня, то, уверяю вас, не пришлось бы говорить или думать о неподкупности. Для меня, поверьте, жизнь моего сына ценнее всех сокровищ мира, и я готов сделать вас своим наследником наравне с ним, если вы спасете его от позорной для всего нашего старинного рода гибели.

— Я не посмею считаться вашим наследником, ваше сиятельство, хотя счел бы это для себя высшей честью. Прошу правильно понять меня: я посвящаю себя борь-

бе за справедливость и не усматриваю в своем простом происхождении препятствий к этому.

— Вы благородный молодой человек, пусть и не по рождению! Я хотел бы, чтобы у моего сына были подобные друзья.

— Я виделся с вашим сыном, ваше сиятельство, и сам предложил ему свою дружбу.

— Значит, вы верите, что он может ею воспользоваться?

— Я хочу в это верить. А высшей формой веры я считаю убеждение. А я убежден в оправдании графа Рауля де Лейе!

— Я благодарен вам, молодой метр, внушающий мне надежду и почтение! Извините старика, но я постараюсь, чтобы вы, спасши моего сына, ощутили бы мою благодарность не только на словах.

И с этим старый вельможа покинул комнатушку Пьера Ферма в трактире «Веселый висельник», около которого на улице, сверкая лаком, ждала карета с графским гербом, запряженная четверкой белоснежных лошадей с дугой согнутыми шеями.

Ферма из своего покосившегося окошка с туго открывающейся рамой наблюдал, как, окруженная толпой зевак, карета отъехала от трактира, и, глядя вслед ей, горестно вздохнул.

Письма от аббата Мерсенна все не было, день суда приближался, и, внушив малообоснованную надежду старому графу, Пьер Ферма должен был отправиться в парламент, по существу, почти безоружным.

Но не таков был Пьер Ферма, чтобы пасть духом, он готов был сражаться и одними лишь математическими аргументами, но если письмо подоспеет, его силы умножатся.

Об этом он и написал в записке Луизе, не в состоянии дольше откладывать свидания с ней. Он достал из заветного ящика позади кровати почтового голубя, врученного ему Луизой, и, привязав записку к его лапке, выпустил его в открытое окно. Посланец, как всегда, даст Луизе знать о назначенном на сегодня ночном свидании.

Морщась от боли на каждом шагу, добрался Пьер до заветного дуба, а с наступлением темноты и до заветной калитки.

Сознание, что письма Мерсенна все нет, терзало его, но, когда Луиза дуновением теплого ветра выпорхнула

из калитки и бросилась ему на шею, он словно обрел новые силы.

Но Луиза из записки, принесенной голубем, знала, что его волнует и угнетает.

— Не сокрушайся, мой милый, — прошептала она, припадая к его груди.

— Когда ты рядом, милая Луиза, я чувствую себя рыцарем на ристалище.

— Пусть всегда в трудную минуту твоей жизни я стану являться, чтобы встать с тобою рядом, взяв тебя за руку.

— Да, но суд завтра, уже завтра... — ответил Пьер.

— Ну и что же? Почтовая карета из Парижа тоже прибудет завтра.

— Но кто доставит мне письмо, если оно придет, а я буду в суде?

— Ты думаешь, мой милый метр, что существует одна только голубиная почта, служившая нам? — не без лукавства спросила Луиза.

Пьер привлек ее к себе. Все казалось теперь не таким уж мрачным, как час назад, он обрел новые силы, уверенность, а главное — жажду счастья. И не только себе, но и молодому и старому графу де Лейе, гневной вдове, всем людям!

### Глава третья

## КАЗУС ИРРАДИЦИБУЛЮС*

*Можно сломать шпагу, но нельзя истребить идею.*

В. Гюго

В зале суда в этот летний день было жарко, душно, но торжественно, хотя в отличие от помпезных процессов будущих столетий судейская процедура обходилась и без присяжных заседателей, и без зрителей, и даже без скамей для них.

Зато судьи в длинных черных мантиях и судейских шапочках, в седых завитых париках, с тяжелыми золотыми цепями на груди, восседая со строгими лицами в жестких креслах с высокими спинками, являли собой

* Трудный юридический случай. *(Примеч. авт.)*

всю полноту королевской власти Людовика XIII, повелевающего именовать себя Справедливым.

Все это не могло не внушить обвиняемому молодому графу Раулю де Лейе трепетного чувства, которое еще более усиливалось видом свирепого прокурора Массандра, чья огромная туша, тоже облаченная в мрачную мантию, похожую на покрытие стога сена в дождливую пору на крестьянском дворе, угрожающе возвышалась над кафедрой, потрясая завитым париком, прикрывающим спутанные неистовые прокурорские волосы.

Советник парламента Пьер Ферма в новенькой, впервые надетой и стесняющей его движения мантии сидел не напротив (что впоследствии станет принятым), а рядом с прокурором, как недавно за трактирным столом во время игры в кости, когда Массандр оглашал заведение победным рычанием.

С подобным же ревом или рыком обрушился сейчас прокурор и на обвиняемого графа Рауля де Лейе, уличая его в том, что он принял вызов маркиза де Вуазье на запрещенный королевским указом поединок, что он неизвестно где провел ночь убийства отважного маркиза, преступно пронзенного шпагой, очевидно, во время состоявшейся между ним и графом Раулем де Лейе незаконной дуэли, и что смерть аристократа — гордости Тулузы — выгодна одному лишь графу Раулю де Лейе, добивающемуся, как и покойный маркиз, руки очаровательной и богатой невесты. И поскольку преступление всем этим безусловно доказывается, дуэлянта, как злонамеренного убийцу, следует повесить.

Граф Рауль де Лейе бледный, как после опасной потери крови, выслушал прочтенное прокурором с яростными выкриками обвинительное заключение, стоя с поникшей головой. Его шелковистые длинные волосы ниспадали на точеное лицо с почти девичьими чертами, так высоко оцененными одной из местных знатных дам.

Судебная процедура тех времен не отличалась традициями правопорядка. Дискуссия между прокурором и советником парламента могла переходить в шумный спор на богословскую или иную тему, отличаясь не только различием мнений, но и резкостью выражений.

Спокойный голос нового советника парламента не обещал подобной ситуации, но заданный им метру Массандру вопрос озадачил и прокурора и судей. Но поскольку он касался интересных подробностей столь

занимательного предмета, как азартная игра в кости, а также неясных слухов о невиданном проигрыше метра Массандра, судьи с любопытством отнеслись к вопросу Пьера Ферма:

— Не помнит ли почтенный метр Массандр, сколько очков выбросил капитан де Мельвиль, выступающий свидетелем обвинения по рассматриваемому делу, во время последней ставки, играя с вами в кости в трактире «Веселый висельник»?

Массандр возмущенно напыжился, ибо одного воспоминания о досадном проигрыше было достаточно, чтобы вызвать у него приступ печени, а тут еще этот начинающий судейский щенок пытается представить его, прокурора, в невыгодном свете перед досточтимыми судьями! Он пыхтел, надувался, как бычий пузырь, и молчал.

Между тем на неумолимо строгих лицах досточтимых судей проявился проблеск интереса, вызванного у всех троих разными причинами.

Дряхлый председатель суда (главный уголовный судья) в седом парике, скрывающем лысину, с птичьим носом, бесконечно усталый от судебных передряг и прожитых лет, оживился, приподнимая набухшие веки, что делал лишь при мысли о денежных кушах. Если он не принял крупного подарка старого графа де Лейе, то лишь из опасения, что оправдание молодого графа будет неугодно его высокопреосвященству господину кардиналу, но упоминание о неприятной потере, постигшей метра Массандра, доставило судье истинное удовольствие.

Второй судья, с костяным лицом, обтянутым кожей, и с впалыми щеками, был страстным любителем игры в кости, и от предвкушения увлекательных подробностей азартного сражения у него под клочками бровей загорелись маленькие глазки.

Третий же из досточтимых судей, розовощекий и упитанный, славился как большой охотник до всяческих слухов и сплетен, и возможность позлословить после суда об этом зазнавшемся толстяке, непочтительно шумном да еще и коротающем время в трактире «Веселый висельник», заставило розовощекого судью обрадованно насторожиться.

Словом, досточтимые судьи с немалым интересом готовы были выслушать подробности события, казалось бы, не имеющего отношения к скучному и предопреде-

ленному судебному разбирательству такой обычной истории, как запрещенная дуэль.

— Суд интересует подробность, связанная со свидетелем обвинения, — прошамкал нашедший благовидный повод председатель суда и клюнул носом.

Массандру пришлось отвечать:

— Капитан де Мельвиль, играя со мной в шесть костяшек, последним своим броском выбросил семь очков.

— И вы проиграли, метр? — ужаснулся судья — любитель игры в кости. — С семью очками у партнера? Этого не может быть!

— Проиграл, ваша честь, — мрачно признался Массандр. — Видно, недремлющий враг человеческий подтолкнул меня под локоть, когда я опрокидывал кубок с костями, выбросив шесть очков.

— Поистине не без того, — покачал головой азартный судья, облизывая пересохшие губы и представляя себя на месте играющих.

— Как вы полагаете, почтенный метр, через сколько времени мог бы повториться этот приключившийся с вами прискорбный случай? — невинно спросил Ферма.

— Это не товары и не выручку купцам считать, но представить себе такой счет можно: если играть без сна, обеда, завтрака и ужина и во всех городах Франции, во всех ее трактирах, то лет так через сто, а то и через двести, может быть, и повторился бы такой невероятный случай.

— Совершенно с вами согласен, уважаемый метр, готов распространить игру хоть на все страны мира и даже удвоить названный вами срок. Но не кажется ли почтенному метру, что его сиятельство граф Рауль де Лейе, плохо владеющий шпагой, ни разу не вызванный на дуэль, не мог убить в поединке опытного дуэлянта маркиза де Вуазье? — по-прежнему ровным голосом спросил Пьер Ферма и добавил: — И что подобный случай мог быть столь же редким, как и причинившее вам неприятность сочетание костяшек.

Массандр почувствовал подвох и повысил голос:

— Какие у вас к тому доказательства, сударь?

— Прежде всего ваши собственные математические выводы, в известной мере интуитивные, но верные, уважаемый метр! Вы с глубоким проникновением в суть вещей блистательно определили период возможного по-

вторения необычайного сочетания выпадающих на костяшках очков.

Массандр побагровел и обратился к судьям:

— Тогда, досточтимые судьи, пусть советник парламента разъяснит суду, что общего между случайно удачным ударом шпаги и неудачным броском костяшек?

— Там и тут действует математическая вероятность, что, несомненно, поняли и без меня досточтимые судьи, — почтительно ответил Пьер Ферма.

— А почему бы вам не вспомнить, скажем, случайное падение с лошади с увечьем упавшего?

— Но за это не судят посторонних людей, не требуют им смертной казни, как делаете это вы, уважаемый метр, в рассматриваемом деле.

— Не хотите ли вы сказать, что ваша арифметика может опровергнуть юридические факты?

— Я лишь хочу сказать, что математика способна оказать следствию неоценимую услугу.

— Досточтимые судьи! — взмахивая мантией, как черным крылом, воскликнул Массандр. — Взываю к вашей мудрости и верноподданническим чувствам к королю и его высокопреосвященству господину кардиналу! Здесь, в этом священном зале Справедливости, нас хотят убедить в том, будто ловкость счета, полезная лишь в торговом деле, может рассматриваться как юридическое доказательство! Справедливость, которую воплощает собой король, а здесь его слуги, досточтимые судьи, — это высшее проявление разума человеческого, она подобна вере, истинной и нерушимой.

— Веровать можно в господа бога, а верить должно фактам и доказательствам, почтенный метр, — парировал ответ прокурора Пьер Ферма.

Поскольку спор перешел на теологическую тему, то по традиции судьи не решались его приостановить.

Массандр яростно ухватился за последние слова Пьера Ферма.

— Да позволено будет мне вспомнить в таком случае об утверждении некоего Картезиуса, который убеждал в своих сочинениях, будто все вокруг познается лишь опытом и исследованием, и, пренебрегая истинной слепой верой, то есть верованием в господа бога, пытался доказывать арифметически его существование. В тщетных попытках начинающего советника парламента я усматриваю такое же пренебрежение устоями свя-

той церкви, как в учении Картезиуса, и призываю досточтимых судей напомнить советнику парламента, что в зале суда нет приверженцев равно отвергнутого и святой католической церковью, и даже заблудшими гугенотами нечестивого Картезиуса.

Пьер Ферма внутренне поежился. Картезиус, опять Рене Декарт! Как неожиданно появилась теперь его тень перед ним! Массандр использует все приемы красноречия, чтобы отвратить судей от аргументов в пользу обвиняемого.

Но Пьер Ферма недаром владел математикой и тем, что мы называем в наше время математической логикой, он предвидел такой возможный поворот в судебной дискуссии. Судьям трудно провести аналогию между случаем при игре в кости и происшествием на дуэли, хотя и одинаково невероятных, но возможных. И поэтому он заготовил неожиданный для прокурора и досточтимых судей удар:

— Я ценю завидную начитанность уважаемого метра Массандра в латинских сочинениях Картезиуса, мне знакомых...

— Которые запрещены специальной буллой святого папы римского как богопротивные, — прервал Пьера Ферма Массандр.

— Я отнюдь не склоняю досточтимых судей к заблуждениям Картезиуса, но я уверен, что они, истые ревнители святой католической веры, не уподобятся языческой богине правосудия с завязанными глазами, и, хотя почтенный метр Массандр готов уравнять слепую веру со слепым правосудием, я, католик и француз, истово верую в бога, но так же истово верю и в Справедливость как в категорию, опирающуюся на знание, на науку, которой может и должна служить математика. Из сообщения досточтимым судьям уважаемого метра Массандра следует, что прискорбный его проигрыш в трактире «Веселый висельник» — явление чрезвычайно редкое, в чем, как мне представляется, сходимся даже мы с почтенным метром. И я позволю задать господину прокурору очень важный вопрос.

Председатель суда кивнул головой, вернее, клюнул носом и приоткрыл глаза.

— Можете ли вы допустить, метр Массандр, что несчастный случай с костяшками во время вашей игры с капитаном Мельвилем произошел до этого всего за десять дней, а не за двести лет, как вы предположили,

притом в том же городе Тулузе и даже в соседнем трактире, носящем название «Счастливый гуляка»?

— Нет! Решительно нет! Игра в кости такого не допускает, что касается чудес, то господь бог творит их вовсе не во время греховных игр.

— Значит, метр Массандр причисляет себя к грешникам?

— В этом я исповедуюсь настоятелю церкви святого Доминика, а не в зале суда, где произношу обвинительное заключение по бесспорному делу о преднамеренном убийстве, которое должно караться виселицей, — яростно зашипел метр Массандр.

— В таком случае я обращаюсь с просьбой к досточтимым судьям выслушать приглашенных мной свидетелей, ожидающих у дверей парламента.

— Каких еще свидетелей? Свидетелей убийства маркиза де Вуазье? — ощерился Массандр.

— Нет, почтенный метр, свидетелей игры маркиза де Вуазье в кости.

— Протестую, — зарычал Массандр. — Дело ясное и без азартных увлечений покойного маркиза.

Но поскольку опять всплыли кости и, видимо, еще один любопытный случай в этой игре переменного счастья, судьи снова насторожились и, уйдя тем самым от неясного им богословского спора о каком-то еретическом философе Картезиусе, чьи трактаты никто из них не читал (да еще и о папской булле!), не прочь были выслушать свидетелей, которые, очевидно, не будут затрагивать этих премудрых вопросов.

— Суд интересуют все обстоятельства, что предшествовали кончине покойного маркиза де Вуазье, — решил председатель суда.

И досточтимые судьи получили полную возможность смаковать подробности игры в шесть костей маркиза де Вуазье с проезжим мушкетером, о чем им под присягой поведали и облачившийся в чужую, готовую лопнуть на нем сутану, воздевающий к небу опухшие глаза грузный монах, и подобострастный трактирщик, и три его ничем не примечательных завсегдатая, горожане.

Точными вопросами к ним Пьер Ферма воссоздал картину необыкновенной ситуации, когда, пытаясь отыграться и поставив на свою шпагу, мушкетер выбросил, как и десять дней спустя прокурор Массандр, всего семь очков и как после этого маркиз и мушкетер

вышли вместе из трактира, а на рассвете мушкетер уехал на проигранной им до того лошади в возвращенном ему седле и в полном вернувшемся к нему мушкетерском обмундировании.

— Если уважаемый метр продолжает утверждать, что повторное сочетание семи очков с последующими шестью очками при игре в шесть костей не могло в столь короткий срок, как десять дней, повториться (а что оно недавно произошло, подтвердил здесь сам прокурор), то не допустит ли он, что для выигрыша мушкетеру не требовались кости?

— Это как же? Игра в кости без костей? — прервал Пьера Ферма сухощавый судья. — Монах целовал крест, что мушкетер прозакладывал свою шпагу и выбросил всего семь очков. Как же он выиграл?

— Вы совершенно правы, ваша честь. Никто не видел, сколько очков выбросил маркиз. Но, очевидно, не шесть, как справедливо считает почтенный метр прокурор, ибо не может повториться столь небывалое сочетание дважды подряд, чему свидетельством сама бесстрастная математика. Следовательно, азартная игра если продолжалась, то уже по-другому. Проигравшийся мушкетер мог оскорбить высокородного маркиза, который при свойственном ему благородстве и готовности защитить свою честь принял вызов или вызвал на поединок мушкетера, сам и погиб, пронзенный мушкетерской шпагой, после чего победитель счел себя законным наследником всего им перед тем проигранного и, как уже установлено, уехал восвояси *.

— Это вольное допущение, господа досточтимые судьи! Его можно рассматривать лишь при возбуждении судебного преследования против неизвестного мушкетера, что возможно после установления его имени! — громогласно заявил прокурор и победно опустился на стул, взмахнув перед тем мантией, как черным крылом.

Вот этого поворота в судебном разбирательстве больше всего боялся Пьер Ферма. Он знал, что в парламенте не принято откладывать решение по начатому делу из-за возможности возбудить другое дело, тем более что в данном случае его нельзя возбудить, так как

---

* Свои выводы по теории вероятностей Ферма опубликовал лишь по инициативе Паскаля в 1654 году, а применение этой теории в судебном деле нашло своих теоретиков лишь спустя более чем столетие в трудах маркиза Кондерса, а также Лапласа и Пуассона. *(Примеч. авт.)*

долгожданное письмо от аббата Мерсенна все еще не пришло.

Холодок пробежал по спине Пьера Ферма. Он мысленно увидел, как ведут на эшафот молодого графа Рауля де Лейе, как надевают на тонкую его шею смазанную ворванью вонючую веревочную петлю, как палач в маске готов выбить из-под него скамью, а он, Пьер Ферма, безусловно уверенный в его невиновности и наверняка знающий, кто убил на поединке маркиза де Вуазье, бессилен предотвратить гибель молодого человека, будучи тем самым виновен в его неотвратимой смерти.

— Суд может прекратить дело против одного обвиняемого, если будет назван по имени другой, — произнес как приговор молодому графу председатель суда, который подумал о том, что предстоящим решением угодит его высокопреосвященству господину кардиналу.

А Пьер Ферма клял себя, виновника собственного провала и горькой участи графа Рауля де Лейе; ведь разработанные Пьером Ферма зачатки теории вероятностей, к которой обратился он ради спасения графа Рауля, из-за вызванного к этим находкам интереса ученых могли теперь оказаться причиной гибели молодого человека, если аббат Мерсенн, увлеченный математикой, промедлит и не найдет следов мушкетера!

Пьер Ферма понял, что проиграл, поднял глаза на обвиняемого и встретился с умоляющим взглядом графа Рауля.

Снаружи от дверей парламента донесся шум.

Председатель суда недовольно приоткрыл веки и увидел вошедшего стражника.

— Ваша честь, — начал тот. — Девица де Лонг настоятельно требует, чтобы ее допустили предстать перед вами.

Граф Рауль вздрогнул. Пьер Ферма ободрительно кивнул ему.

— Протестую! — воскликнул прокурор, размахивая полами мантии. — Женщинам не место в зале Справедливости. Сам господь бог лишил их этого чувства.

— Ограничимся обвинением обвиняемого, а не всего прекрасного пола, метр, — внушительно заметил председатель. — Девица де Лонг настаивает на своем показании? Не дочь ли это нашего Франсуа де Лонга? Может быть, ее почтенный отец хочет внести через нее ясность в рассматриваемое нами дело? Лишь ради не-

го, не раз служившего Правосудию, разрешаю допустить девицу де Лонг в зал парламента.

Пьер Ферма весь напрягся, чтобы ничего не выразить на лице.

Вошла Луиза, и ему показалось, будто открылись сразу все окна, солнечный свет хлынул через них вместе с запахом цветущих деревьев. Трудно было сохранить каменное лицо.

Луиза присела в глубоком реверансе и, потупив глаза, сделала несколько шагов по направлению к досточтимым судьям.

— Подойдите, дитя мое. — Председатель перестал шамкать. — Вы явились сюда по поручению вашего почтенного отца, чтобы сделать какое-то сообщение по рассматриваемому делу?

— Нет, ваша честь, мой отец не знает, что я пошла сюда с письмом, которое может иметь важное значение для суда.

— Без разрешения отца? — воскликнул розовощекий судья. — Тогда по чьему же разрешению, дозвольте узнать, так поступает мадемуазель? Не связана ли она чем-нибудь с графом Раулем де Лейе? Не обманута ли она им?

— Я не имею чести знать его, ваша честь.

— Сомнительно, — покачал головой розовощекий судья.

— Если вы не можете назвать, чье поручение выполняете, то мне придется удалить вас из парламента, дитя мое, — заявил сразу охладевшим голосом председатель.

— Ваша честь, — обратился к нему сухощавый судья, — может быть, мадемуазель объяснит цель своего прихода? — Он ждал осложнений, которые обожал.

— Я принесла вам письмо, ваша честь.

— Письмо? Откуда? — допрашивал председатель.

— Из Парижа, ваша честь.

— Оно адресовано нам, членам парламента?

— Нет, ваша честь.

— Кому же?

— Советнику парламента господину Пьеру Ферма.

— Ах Пьеру Ферма! Я так и думал! — воскликнул розовощекий судья, с хитрецой посматривая на молодого советника, который сидел, опустив глаза.

— И вы не могли, дитя мое, подождать, пока совет-

ник парламента метр Ферма вернется домой, чтобы с глазу на глаз передать ему «секретное» письмо? — ворчливо произнес председатель.

— Я никогда не бывала у него дома, ваша честь. А письмо совсем не секретное, и я ждала его на почтовой станции, пока не прибыла карета из Парижа. И поспешила доставить письмо сюда.

— Для чего? — спросили разом все трое судей.

— Чтобы вы прочли его, ваша честь, и вы, и вы, ваша честь.

— Но ведь оно адресовано не нам, пусть советник и читает его, — начал сердиться председатель суда.

— Ваша честь, — поднялся со своего места Пьер Ферма, — если мне дозволено будет выразить свою просьбу, то в интересах рассматриваемого дела и Правосудия я прошу вас предложить уважаемому господину прокурору вслух прочитать адресованное мне письмо.

Досточтимые судьи были слишком заинтригованы, чтобы отказать советнику парламента.

### Глава четвертая

## СЛЕДЫ

*Никогда не знает меры счастье!*

Сенека

Прокурор Массандр гневно откашлялся, взломал печать, с хрустом вскрыл письмо и стал читать низким недовольным голосом, часто запинаясь, создавая впечатление, что он или плохо разбирает почерк, хотя каллиграфическим строчкам могли бы позавидовать судейские писцы, или вообще с трудом читает по писаному.

— «Многочтимый и дорогой друг! Ваше последнее письмо доставило мне огромное удовольствие, более того, наслаждение от сознания вашей плодотворной деятельности в различных областях математики, где вы продолжаете неустанно делать все новые открытия». Какое это имеет отношение к парламенту? — проворчал Массандр.

— Прошу вас, метр, — клюнул носом председатель.

— «Вероятность события, которая до сих пор считалась неисповедимым деянием господним, определяе-

мая вами математическим путем, отвергает отныне суеверия, связанные с гаданием и прочими проявлениями невежества». — Массандр оборвал себя и зарычал: — Не я ли говорил, досточтимые судьи, что метр Ферма покушается на основы веры, пытаясь арифметикой измерять веления всемогущего господа нашего.

— Аминь, — сказал председатель, — продолжайте, метр.

— Подчиняюсь, ваша честь, но кровь католика клокочет во мне. «Я усердно переписал ваше письмо, как и прежде, сожалея, что вы ограничились выводами из своих наблюдений, не приводя столь любопытных доказательств, предлагая найти их самостоятельно вашим читателям, кои интересуются математикой. Не отрицая заманчивости такого предложения, я все же осмеливаюсь еще раз посоветовать не затаивать вами найденного, а по-братски делиться со всеми, кто, как и вы, любит науку и служит ей. И еще прошу вас, друг мой, найти время, чтобы собрать все уже вами написанное в письмах и представить в виде рукописи, включающей доказательства, могущей стать первой книгой вашего собрания сочинений, изданию которой я мог бы содействовать, считая вас продолжателем дела таких великих умов, как Диофант».

Пьер слушал, не поднимая глаз. Когда же почтенный аббат дойдет до выполнения его просьбы, или он вообще игнорировал (или не заметил) ее?

— «Что же касается вашего постскриптума, дорогой друг, то я должен извиниться перед вами...»

«Ну вот! Все кончено! Аббат Мерсенн не побывал у де Тревиля, сочтя неудобным такое посещение для духовного лица!»

— «...извиниться за то, что, увлеченный вашей математической находкой, я попросту не сразу заметил приписку».

«Так и есть! Этот Мерсенн еще в коллеже отличался тем, что читал в книге только начало страниц!»

— «И лишь при снятии пятой копии с вашего письма я понял, что оно содержит не только математические мысли. Я думаю, большой беды не произойдет от того, что я отложил посещение Лувра до отправки всех копий вашего письма моим научным корреспондентам, которые, не сомневаюсь, отнесутся к вашим мыслям с заинтересованным вниманием».

«Ну же, ну! — мысленно торопил Ферма почтенного ученого посредника в переписке собратьев. — Что ты еще медлишь, монах?!»

— «Господин де Тревиль не сразу принял меня, занятый военными и мирскими делами своих головорезов, во что мне, скромному монаху, не надлежит вникать. Приняв же меня в промежутке между разносом провинившегося в чем-то воина и возлиянием вина, он очень удивился моей странной просьбе, лишь повторяющей вашу, изложенную в постскриптуме письма. Сам он, как известно, гасконец и состоял еще при прежнем короле, тоже гасконце, поэтому мое упоминание о вызывающем интерес путешествии гасконского дворянина, его мушкетера, не пробудило в нем готовности тотчас удовлетворить мое праздное, как ему казалось, любопытство, и только мой духовный сан смягчил разгоревшийся было в нем воинский гнев, ибо господин де Тревиль славится тем, что горой стоит за своих мушкетеров, что бы те ни натворили. Я ничего не мог сказать о проступке путешествующего гасконца и не солгал перед господом богом, заверив капитана, что не ведаю ни о каких проступках его подчиненного. Только после этого он вызвал к себе одного из своих лейтенантов и поручил ему узнать о гасконце, побывавшем в Тулузе, а через некоторое время, пригласив меня из соседней комнаты, где состязались в шумных криках необузданные и грубые мушкетеры, сообщил мне, что в указанное в вашем постскриптуме время, дорогой мой Пьер, через Тулузу, очевидно, проезжал господин...»

Массандр запнулся и закашлялся. Отложив в сторону письмо, он обратился к судьям:

— Приступ горловой болезни, досточтимые судьи, мешает мне дочитать этот странный документ, имеющий отношение более к знатокам арифметики, чем права. Я прошу о снисхождении и ознакомиться с заключительной частью письма самолично, без моего чтения вслух.

И с этими словами, отнюдь не свидетельствующими о некой горловой болезни, прокурор передал письмо председателю суда. Тот, напялив на свой птичий нос очки, посмотрел на развернутый лист, клюнул носом, отчего очки слетели, поймал их с неожиданной сноровкой и передал письмо по очереди сначала розовощекому, потом азартному судье.

Выражение лиц у прокурора и досточтимых судей было таким, словно прямо перед ними в зале суда дали залп из всех крепостных пушек Ла-Рошели.

Пьер восторженно смотрел на смущенную, не знающую, что ей делать, Луизу, потом подбадривающе кивнул графу Раулю, сидящему, опустив руки, между двумя стражниками и вопрошающе смотрящему на Пьера Ферма.

Писцы усердно скрипели гусиными перьями.

Наконец председатель суда пришел в себя и прошамкал:

— Суд удаляется для размышлений. А вы свободны, дитя мое, — последнее относилось к Луизе, но граф Рауль непроизвольно вздрогнул.

Прокурор Массандр не смотрел на сидящего с ним рядом Пьера, был раздражен и растерян. Пьер провожал глазами уходящую Луизу, дав ей тайный знак о том, что придет сегодня к заветной калитке. Этим знаком они обменивались при расставании, когда он уходил, а она смотрела ему вслед. Он складывал указательные пальцы крестом на уровне рта. Луиза понимала, что это означает. Поняла Пьера она и сейчас, хотя никто в зале не мог бы этого уловить, ибо уходила кроткая девушка, низко опустив глаза и прижимая к лицу кружевной платок.

Тучный пристав суда подошел к Пьеру Ферма:

— Досточтимые судьи приглашают советника парламента в камеру размышлений, — сиплым голосом проговорил он.

Пьер знал, что такое приглашение бывает лишь в исключительных случаях, и хотя ожидал его, но с трудом справился с волнением.

Камера раздумий с решетками на узких и высоких окнах могла бы служить камерой одиночного заключения, если бы в ней не было стола с почему-то зажженной днем свечой и трех занятых судьями стульев. Пьеру пришлось стоять.

— Почтенный метр, нам кажется, что вы не читали письма? — начал председатель.

— Ваша честь, я не мог этого сделать, господин прокурор вскрыл его, а потом передал вам.

— Конечно, конечно, — клюнул носом председатель. — Так вы не знаете его содержания?

— Могу только догадываться, ваша честь.

— По некоторым причинам нам не хотелось бы вру-

чать вам его, уважаемый метр, поскольку вы сами передали его судьям.

— Конечно, ваша честь.

— Ваша арифметика с игрой в кости и маловероятной удачей неопытного новичка против искусного дуэлянта убедила нас.

— Я рад слышать это еще здесь до вынесения вашего справедливого приговора, ваша честь.

— Приговора не будет, — отрезал председатель. — Графа де Лейе немедля освободят, и судебное разбирательство прекратится без продолжения, если...

— Если, ваша честь?

— Если ваши математические выводы о невозможности проезжему мушкетеру отыграться в кости не подтолкнут вас к возбуждению судебного преследования против неизвестного лица.

Пьер понял все! Слишком прославлено было, видимо, названное в письме Мерсенна имя мушкетера, скорее всего любимца короля и даже его высокопреосвященства господина кардинала, стремящегося переманить его в гвардейцы, ценя его заслуги (и услуги!), которых было не меньше, чем прощенных ему дуэлей.

Казалось бы, все складывалось так, как того добивался Пьер Ферма. Мушкетер оказался именно тем, кого он подозревал, отводя всякие подозрения от графа Рауля де Лейе, но... и Пьер Ферма невольно зажмурился. Перед его мысленным взором встала напряженная черная фигура гневной вдовы на фоне алеющего неба. Месть! Надежда на закон и справедливость! Что должен он ответить судьям?

Никогда в жизни не привелось Пьеру Ферма пережить подобную минуту, словно растянутую на часы терзаний! Сообщить суду о раскрытых им преступлениях, «доблестно» совершенных неуемным забиякой-гасконцем? Поставить перед судьями выбор: навлечь им на себя недовольство короля и кардинала преследованием их фаворита или не обратить внимания на слова молодого советника парламента, действующего без всякого ему поручения, и завершить дело с убийством маркиза де Ваузье так, как это уже намечалось до начала судебного заседания и как требовал прокурор? Недаром ни Массандр, ни судьи не назвали вслух, в присутствии все записывающих писцов имени мушкетера, а потом вызвали молодого советника парламента в камеру раздумий. Пьеру нужно было решать, что важнее: жизнь

невиновного или месть виновному, осуществление которой по меньшей мере сомнительно при царствовании короля, повелевающего именовать себя Справедливым и передавшего всю власть кардиналу Ришелье?

И Пьер Ферма, внутренне кляня себя, решился. В собственных глазах он как бы предал пылающую гневом и ненавистью безутешную вдову, предал ради счастья кроткой и настойчивой Луизы, жизни графа Рауля де Лейе и собственной победы.

И Пьер Ферма почтительно произнес:

— Возбуждение судебного преследования прерогатива прокурора, ваша честь, а не советника парламента.

— Ну вот и хорошо, — прошамкал председатель, поднося письмо аббата Мерсенна к пламени свечи. — А теперь пора обедать. Мы советовали бы вам, молодой метр, отобедать вместе с метром Массандром. А за сыном старый граф уже прислал карету. Надеюсь, он достаточно вознаградит вас за старания и поможет вам расплатиться с долгами?

Очевидно, старый судья прекрасно знал о долгах Пьера, а может быть, и ждал их уплаты.

Когда Пьер Ферма вышел из парламента, то покрытая лаком карета с графским гербом на дверцах продолжала стоять у подъезда. Из окна ее выглядывал счастливый Рауль, а открыв дверцу и тяжело опустившись на откинутую ступеньку, на землю сошел старый вельможа, издали делая знаки Пьеру.

Тот направился навстречу старому графу.

— Не откажите в милости, дорогой метр, осмотреть отныне принадлежащий вам дом. Там, в сундуке, ключи от которого я вам вручаю, вы найдете достаточно средств, чтобы начать достойную вашим способностям жизнь видного метра Тулузы.

Пьер должен был уступить старому графу.

Вслед уезжающим в карете счастливым людям смотрели судейские, в числе которых был розовощекий судья. Поскольку он слышал, выйдя вместе с Ферма из парламента, обращение к нему старого графа, слух о баснословной награде молодому советнику, применившему так удачно математику в судебном деле, мгновенно разнесся по городу

Во всяком случае, Луизу дома ждал уже все знающий отец.

В страхе стояла она перед ним, когда он потребовал, чтобы дочь спустилась к нему.

Расхаживая по веранде от колонны к колонне, как и в памятный день «первого сонета», он говорил:

— Я не знаю, осудила бы покойная мать твое дерзкое появление в зале парламента, но я, отец твой, служащий Справедливости, признаю твой поступок достойным, поскольку он содействовал спасению невиновного человека. Я не знаю, что заключалось в письме, но поведение молодого метра Пьера Ферма, нашего родственника по женской линии, показало, что мы имеем дело с человеком удачливым, может быть, имеющим где-то вверху солидную поддержку. Однако не следует из этого делать вывод, что он на правах родственника может снова появиться на пороге моего дома.

— Что вы, папа́! — опустив глаза, сказала Луиза. — Разве, так разбогатев, став сразу завидной фигурой, он посмотрит в нашу сторону?

Господин Франсуа де Лонг засопел и согнулся еще больше:

— Вот видишь, как я был прав, отстранив такого человека от твой чистоты. Да ты сама не захочешь на него взглянуть, несмотря на свалившееся ему богатство.

— Почему же? — робко спросила Луиза. — Ведь вы учили меня, что всегда надо взвешивать, что выгодно, а что нет.

— Какую же ты выгоду видишь?

— Говорят, старый граф предложил Пьеру Ферма стать его наследником, усыновить его.

— Откуда ты это знаешь? Об этом не болтают.

— Вы учили меня, папа́, узнавать то, что надобно.

— Это как же понимать? Не метишь ли ты в графини?

— А почему бы и нет? — подняла Луиза невинные глаза на отца. — Разве вы были бы против?

— Я? Против такого дела? Конечно, нет! И если он на правах нашего родственника по женской линии появится у нас, я встречу его даже лучше, чем когда он приезжал сюда со своим толстобрюхим отцом.

— Ах, папа́! Так не говорят об усопших!

— Не знаю, найдется ли ему место в раю, но из вежливости и из родственных чувств я готов пожелать ему этого.

— Значит, Пьер мог бы прийти к нам?

— Ах, лукавая! Неужели ты все рассчитала верно еще прежде меня?

— Вы меня учили этому.

Пьер Ферма был ослеплен осмотром отныне его собственного дома, который был обставлен дорогой мебелью с редким вкусом. Он переходил, сопровождаемый отцом и сыном де Лейе, из комнаты в комнату, из розовой спальни в голубую гостиную, в отделанный ливанским кедром кабинет, наполненный бодрящим смолистым запахом ценной древесины, в украшенную охотничьими трофеями столовую и даже в детскую с несколькими кроватками, ждущими своих новых обитателей.

Пьер Ферма не мог удержаться от счастливого смеха.

Старый граф сам открыл ему отделанный медью и привинченный к полу кабинета сундук с аккуратными столбиками золотых монет.

— Я не могу принять всего этого, ваше сиятельство, — вдруг заявил Пьер Ферма.

— Дорогой метр! — положил ему на плечо руку старый граф. — У вас впереди долгая жизнь. Не всякий раз вам удастся так удачно завершить дело. Вы не выиграли в кости все это, а честно заработали, отстояв жизнь человека, которая мне дороже всего, что я имею. Вы отказались быть моим наследником. Допускаю, что вам не нужны графские титулы, но у вас нет оснований нанести тяжкую рану сердцу, куда вы вошли как самый дорогой для меня человек.

Слова эти растрогали поэтическую натуру Пьера. Он не смог оказать стойкого сопротивления. К тому же и молодой Рауль присоединился к просьбам отца, напомнив о предложенной ему в тюрьме дружбе.

— Я найду вам, Пьер, такую невесту, такую невесту, что все, что вы видите, померкнет перед нею. Я имею в виду Генриэтту, дочь герцога Анжуйского!

— Позвольте, Рауль, но ведь вы сами добивались ее руки!

— Я уступлю ее вам в благодарность за спасение.

Но этого дара Пьеру уже было не нужно.

С трудом дождались наступления ночи и Пьер и Луиза, каждый сгорая от нетерпения сообщить свою собственную радостную весть — Пьер о свалившемся на него если не богатстве, то обеспеченности на первое время и о прекрасном доме, Луиза о готовности отца возобновить отношения с Пьером с довольно явными

намерениями, которые Луиза сумеет ему подсказать.

Пьеру пришлось задержаться в замке старого графа, где друзья отца и сына де Лейе праздновали возвращение Рауля. Поднимали бокалы и за Пьера, которого все охотно принимали в свой круг.

Рауль никак не хотел отпускать Пьера, но с наступлением темноты сам отправился вместе с ним. Пьер уже готов был признаться ему, куда он спешит, но Рауль сам вдруг попрощался с новым другом, уверяя, что вспомнил о своем верховом коне, которого забыл посетить сегодня, и должен тотчас вернуться.

Пьер внутренне улыбнулся. Ему-то было ясно, куда спешит «воскресший» для жизни Рауль, так охотно уступая своему спасителю завидную невесту, замеченную самим его высокопреосвященством господином кардиналом.

Дороги молодых людей разошлись, но стремления у них были одни и те же.

Пьер вышел к знакомому густолистому дубу, когда уже настолько стемнело, что лу́га перед калиткой сада де Лонгов нельзя было различить. Но Пьер Ферма не раз ходил здесь в полной темноте. Природная способность держать выбранное направление, усиленная частыми упражнениями, несла Пьера в полной темноте как на крыльях. Снизу почему-то стал подниматься туман, так что и собственных ног не различить. Но в безошибочности выбранного направления Пьер не сомневался. Ведь он проходил здесь в сходных условиях много раз. Скоро он услышит волнующий шорох платья, потом любимый голос.

Эти мысли делали шаг Пьера более упругим, размашистым. Он не шел как слепой, осторожно передвигая ноги, он двигался уверенно, печатая шаг. Но через какое-то время почувствовал, что движение его замедлилось, а привычная трава луга стала не просто мягкой, а податливой, однако разглядеть ее он не мог. Он продолжал идти, сделав уже положенные полторы тысячи шагов. А сада и калитки все не было.

Что такое? Почему и куда его занесло? Руками он ощутил впереди кустарник, который уж никак не мог попасться ему на пути.

Он представил себе Луизу, тщетно ждущую его, не зная, что он задержался в замке у старого графа.

В какую сторону он отклонился? И почему? Ведь в графском застолье он не выпил и кубка вина! У него

абсолютно ясная голова. Сейчас ему казалось самым важным выяснить причину потери им направления. Всякий другой человек на его месте, да еще и влюбленный, несущий любимой такую светлую весть, отправился бы искать калитку в стороне, но Пьер Ферма был, если хотите, человеком особенным. Он боялся сойти с места. Опустившись на колени и пощупав рукой, он убедился, что только что сошел с полосы вспаханной земли. Значит, ее перепахали, пока он тут не был со времени последнего свидания с Луизой. Следовательно, причина преломления (да, да, преломления!) его пути связана с переходом его в темноте с луга на пашню, а чтобы выяснить характер этого явления, он должен остаться на месте, хотя Луиза и ждет его. Нужно проследить свой собственный след на пашне! Если он двинется с места в поисках калитки, он потеряет этот след!

Так и стоял он на краю пашни, с которой поднимался туман (дышала земля!), до самого рассвета, болезненно представляя себе, как Луиза, заливаясь слезами, уходит домой, напрасно оборачиваясь к закрытой калитке.

Когда рассвело, Пьер прошел по собственному следу, оставленному на свежевспаханной земле, до противоположного края, где начинался луг. Теперь он мог установить, что по лугу он шел правильно, четко держа направление на калитку, а перейдя на пашню, встретив более сильное сопротивление почвы ходьбе, непроизвольно изменил направление, которое как бы переломилось. И тут его осенило, что всякое тело, движущееся по прямой (каким этой ночью был он сам!), при переходе из среды с одним сопротивлением в другую с иным сопротивлением под углом к ее границе, меняет свое направление, линия движения переламывается. И это действительно для всех видов движения, вплоть до луча света, который тоже должен «преломиться» при переходе под углом из одной среды в другую, скажем, из воздуха в жидкость или стекло.

Эксперимент блестяще подтвердил догадку Ферма, а его письма с утверждением, что свет преломляется при переходе из одной среды в другую, с обычным для него предложением собратьям-ученым найти тому доказательство, послужили самому́ великому Гюйгенсу толчком для создания волновой теории света. Ферма же сформулировал общий закон: «Природа всегда дей-

ствует наиболее короткими путями», объясняя прямолинейность всех природных сил.

У Пьера остался еще один почтовый голубь Луизы, и он отправил ей записку, в которой признался в своей оплошности, приведшей к открытию важнейшего закона Природы.

Луиза де Лонг была внешне кротка, внутренне вспыльчива, но умна. Она не обрушила на возлюбленного упреки, как сделала бы другая женщина. В назначенный час она снова была у калитки и, когда Пьер появился, взяла его за руку и провела на веранду к ожидающему их отцу.

Конечно, Пьер мог ждать чего угодно, но лишь не этого. Поистине не подозревал он, какое богатство обретает вместе с согласием господина Франсуа де Лонга на брак с его дочерью Луизой.

Свадьба состоялась в 1631 году, через два года с небольшим после сочинения первого посвященного будущей жене сонета.

Молодая чета Ферма переехала в заработанный спасением молодого графа де Лейе дом, и еще через год там родился их первенец Самуэль Ферма, будущий поэт и ученый, как и отец. Словом, как говорил Сенека: «Никогда не знает меры счастье!»

### Глава пятая

## «ДУЭЛЬ»

*Мудрость есть дочь разума.*

Леонардо да Винчи

К стене одного из парижских монастырей, близ которой обычно происходили запрещенные поединки, в ранний излюбленный дуэлянтами час в сопровождении вертлявого слуги на уставшем муле подъехал грузный всадник на боевом коне, в черном плаще и надвинутой на глаза шляпе.

Всадник завернул за угол, чтобы постучать в монастырские ворота, но внезапно трое пеших гвардейцев кардинала преградили ему путь. Всадник не внял грозному окрику и стал грудью доброго коня теснить гвардейца.

Тот обнажил шпагу:

— Не угодно ли спешиться, сударь?

— Зачем? — буркнул всадник, не осаживая коня.

— Чтобы следовать за нами, — ухватился за стремя гвардеец.

— По какому праву?

— Именем его высокопреосвященства господина кардинала.

— Кто это высоким именем останавливает проезжих путников, как разбойник на большой дороге?

Всадник увидел трех спешащих к нему мушкетеров.

— Что мы видим, господа гвардейцы? Трое против одного? Едва ли это можно счесть учтивым. Если вы немедленно не сочтете возможным принести извинения остановленному вами господину, мы предложим вам другое соотношение сил, трое против троих. Угодно будет вам?

— Вы опять затеваете запрещенные королем и его высокопреосвященством поединки! Мы находимся при исполнении служебных обязанностей, выполняя приказ, и вы не имеете права нам мешать.

— Полноте, господин гвардеец, — продолжал задиристый мушкетер с изящными манерами, завитыми усиками и пятном бородки, — разве можно помешать в чем-нибудь безнадежным бездельникам?

— Вы ответите за свои слова перед его высокопреосвященством!

— Простите, почтенный гвардеец, но не вижу здесь его высокопреосвященства, перед которым должен отвечать.

— Мы доставим вас к нему, не беспокойтесь.

— Очень интересно, какой способ вы выберете для этого?

— Если вам угодно, господин мушкетер, то носилки, на которых переносят раненых или убитых.

Всадник не стал ждать конца препирательствам и подъехал к воротам. Привратник, увидев его в щелеобразное окошко, потребовал назвать пароль. Доносились грубые ругательства и звон шпаг. Очевидно, гвардейцы продолжали, но уже менее изысканно, выяснять отношения с мушкетерами, которые помешали им задержать всадника, действуя, как всегда, против гвардейцев кардинала по принципу: «Что хорошо его высокопреосвященству, может не понравиться королю».

— Пароль! — потребовал еще раз привратник.

— «Мыслю — следовательно, существую», — произ-

нес по-латыни всадник и исчез за монастырскими воротами, крикнув слуге: — Огюст, жди меня здесь ближе к вечеру.

Слуга повернул своего измученного мула и поехал искать трактир мимо дерущихся на шпагах солдат, с удовлетворением отмечая, что гвардейцы вынуждены отступить. Мушкетеры не стали их преследовать, и один из них, великан с лихо закрученными усами, подмигнул Огюсту.

— Откуда? — низким басом спросил он.

— Из Амстердама, сударь, — с подчеркнутой готовностью ответил слуга и подобострастно улыбнулся.

— А мы думали, из Бордо, — добродушно заметил мушкетер, вкладывая шпагу в ножны. — Там, говорят, вино отменное.

Всадник, отдав поводья выбежавшему послушнику, скинул черный плащ и оказался в офицерском мундире нидерландской армии. Он вошел в мрачное монастырское здание вслед за встречавшим его аббатом со строгим аскетическим лицом.

Толстые, как в крепости, стены, низкие арки, темные коридоры и благоговейная тишина, подчеркиваемая отзвуком шагов под сводчатыми потолками, заставляли говорить вполголоса.

— Его преподобие благочестивый отец-настоятель отвел для моих гостей монастырскую трапезную, дорогой Декарт, — обернулся к офицеру аббат. — В ожидании тебя они восхищаются твоей отвагой.

— Надеюсь, дорогой Мерсенн, эти толстые стены — надежная защита от преследований?

— Монастырь — крепость духа и веры, ни один воин его величества или его высокопреосвященства не осмелится войти сюда.

— Да благословит бог совместные усилия правителей Франции во всех государственных делах, — с иронией произнес Декарт и другим уже тоном добавил: — С кем же встречаемся мы, дорогой аббат?

— С моими корреспондентами, с которыми ты поддерживал через меня почтовую связь. Ты узнаешь и Омара Торричелли, вынужденного преодолеть еще более дальний путь, чем ты. И Пьера Ферма, с которым встречались в Египте. Интересен будет и юный Блез Паскаль, изобретатель и естествоиспытатель, а также его отец Этьен Паскаль — математик, де Бесси и другие, с кем увидишься.

— Пьер Ферма? — задумчиво повторил Декарт. — Еще бы не помнить! Могила Диофанта! Но по поводу его последнего, пересланного вами письма у меня серьезные возражения.

— Для того мы и собрались здесь, чтобы всех выслушать, — сказал аббат, распахивая двери трапезной.

В этот день по указанию отца-настоятеля все монахи вкушали пищу по своим кельям.

При виде Декарта и аббата Мерсенна его гости, приветствуя философа, встали с лавок у длинных столов.

— Рене! Мы не виделись пятнадцать лет! — идя навстречу Декарту, протянул руку Ферма.

— Вы немало преуспели, почтенный метр! Потолстели! Обзавелись семьей?

— Да, пока трое детей. Старшего, Самуэля, привез в Париж учиться.

— Пусть учится, становится ученым и не допускает ошибок, подобных отцовским.

— Что вы имеете в виду, Рене?

— Я сообщу свои соображения не только вам, но и всем присутствующим.

Немного озадаченный такой встречей, Ферма отошел, но ему пришлось сразу же вернуться, потому что аббат Мерсенн попросил его поделиться с гостями монастыря своими новыми открытиями в области математики.

Декарт устроился на краю скамьи, отставив в сторону огромную ногу в ботфорте, и презрительно фыркал, покручивая свой офицерский ус.

Рядом с ним сидел бледный юноша лет девятнадцати — Блез Паскаль, странно выглядевший среди почтенных собратьев по науке, каждый из которых занимал заметное место в обществе — кто юрист, как Ферма, кто офицер, как Декарт, или монах, подобно Мерсенну.

Пьер Ферма говорил по-латыни изысканно и почтительно, но, касаясь математики, с неуловимым чувством превосходства, чего сам не замечал, будучи человеком скромным и добродушным:

— Мне привелось вести в Тулонском парламенте дело крестьян против герцога Анжуйского. Спор касался денежной компенсации за перешедшие к герцогу земли после спрямления им извилистой линии границ земельных угодий. Подсчитать утраченные крестьянами площади, ограниченные прежде неправильными кривыми, никто не умел, приблизительные же подсчеты герцог от-

вергал как заведомо неверные, в результате крестьяне остались и без земли, и без денег за нее, а судейское дело зашло в тупик. Я предложил любую извилистую линию разбивать на отрезки, которые практически точно являются кривыми второго порядка: либо частями эллипса, либо параболы, либо гиперболы, то есть сечениями двух соприкасающихся вершинами конусов, с раструбами, уходящими в бесконечность.

— Бесконечность! — воскликнул юный Блез Паскаль, длинные светлые волосы которого обрамляли узкое бледное лицо с горящими глазами. — Как это страшно!

— Не более страшно, чем любая другая величина, выраженная числом, — с улыбкой сказал Ферма.

— Но ее нельзя представить! — возразил Блез Паскаль.

— Нет, почему же? Эта величина вполне реальна. Она бесконечна, но не беспредельна. Пересеките один из конусов, о которых я говорил, плоскостью, перпендикулярной их оси.

— Будет круг! — нашелся Блез Паскаль.

— Теперь, если начать поворачивать эту плоскость, мой друг, что вы получите в сечении?

— Разумеется, эллипс.

— А если повернуть плоскость еще больше, приближаясь к положению, параллельному образующей? Останется ли эллипс эллипсом?

— Конечно! — откликнулось сразу несколько голосов.

— Только большая ось эллипса так удлинится, что ее конца и видно не будет, — заметил старший из Паскалей — Этьен.

— Она может стать сколь угодно длинной, не правда ли? А если плоскость станет параллельной образующей конусов и уже нигде не пересечет конуса, куда денется конец нашего удлиненного эллипса? — с присущей ему манерой задавать загадки спросил Ферма.

— Он превратится в параболу! — обрадованно воскликнул Блез Паскаль.

— Браво, юноша! — восхитился Ферма. — Эрго — эллипс с бесконечно длинной большой осью не что иное, как парабола. Теперь продолжим дальше поворот нашей секущей плоскости, чтобы она уже не стала параллельной образующей и снова пересекла, но теперь уже не только верхний, но и нижний конус. Что произойдет на

чертеже? Конец большой оси вместе с малым овалом эллипса вернется к нам, но уже с другой стороны, как бы обогнув немыслимо огромный шар вселенной, радиус которого равен бесконечности.

— Это же будет гипербола, сударь! — снова нашелся Блез Паскаль.

— Верно, юноша, гипербола, которая станет равнобокой, если секущая плоскость будет параллельна оси конусов.

— И вы считаете, метр, бесконечность реальной? — на великолепной латыни спросил Омар Торричелли.

— Безусловно, — не задумываясь, ответил Ферма.

— Вот вам еще одно доказательство существования господа бога! — вставил Декарт. — Не к этому ли я призывал и попов и ученых?

— Тссс! — замахал руками аббат Мерсенн. — Умоляю тебя, Рене Декарт, не ставить под сомнение слепую веру в господа бога, по крайней мере, в стенах монастыря, где она — основа нашего прибежища.

— Не буду, не буду! — буркнул Декарт. — Ведь не я доказываю реальность неисповедимой, как учит церковь, бесконечности, а Ферма!

— А во мне холодеет кровь при мысли о ней, — признался Блез Паскаль. — Как беспомощен человек, обретаясь между ничтожеством и бесконечностью!

— Полно, юный друг, — ласково обратился к нему Ферма. — Вам ли это говорить, который, несмотря на свою юность, подарил людям «суммирующую машину», способную выполнять некоторые обязанности нашего мозга. Предвижу, что когда-нибудь далекие потомки вашей машины станут состязаться с самим человеком в остроте мышления, не говоря уже о быстроте счета.

— Умоляю вас, почтенные искатели истин, — воздев руки к небу, прервал Ферма аббат Мерсенн, — не затрагивайте богословских тем, ибо приписывание мертвому механизму способностей человеческой души может быть превратно истолковано святыми отцами церкви.

— Мой учитель Галилео Галилей понял бы господина Ферма, но за тех, кто принудил Галилея отречься от своих верных мыслей, я не рискну поручиться, — заметил Торричелли.

— Во всяком случае, имея в виду, — вступил Декарт, — что человеческое тело подобно мертвому механизму и только душа делает его живым и способным к мышлению, надо сразу сказать, что и машина господи-

на Блеза Паскаля, как бы ее ни усовершенствовали потомки, никогда не сможет мыслить самостоятельно, а будет лишь выполнять предписанное человеком, обладающим душой.

— Но у нашего юного Паскаля есть и еще изобретения, которые отнюдь не говорят о его прозябании между ничтожеством и бесконечностью, — продолжал Ферма. — Достаточно вспомнить тачку, совмещающую в себе архимедов рычаг с колесом. Трудно ошибиться, представив себе несметное число подобных приспособлений, облегчающих труд людей на строительстве домов и дорог, храмов и крепостей не только во Франции, но и во всем мире! А предложение того же Блеза Паскаля учредить многоместный экипаж, следующий всегда по определенному маршруту и останавливающийся в условленных местах для высадки и приема пассажиров, не имеющий ни лошадей, ни карет! * Нет, дорогой Блез, даже в наш век «шпаги и знатности», как видим, есть умы, которые без бряцания оружием способствуют торжеству разума и благу людей.

— Такая оценка нашего молодого друга, — заметил Торричелли, — делает вам честь, господин Ферма, но ведь и вы, как начали нам рассказывать, хотели с помощью математики защитить интересы простых пейзан.

— Ах да! — подхватил Декарт. — Доскажите, что вы там намудрили, чтобы я мог вас опровергнуть.

Ферма вспыхнул:

— Я остановился на том, что разбил криволинейные участки на более мелкие, ограниченные кривыми второго порядка, а для них предложил метод отыскания точки их перегиба, то есть максимума и минимума. Определение же площади, ограниченной такой кривой, есть действие, обратное отысканию точки перегиба и проведению в ней касательной **.

Ферма написал на аспидной доске мелом несколько формул.

---

* Омнибус, предложенный Б. Паскалем. *(Примеч. авт.)*

** *Примечание автора для особо интересующихся.* Метод Ферма, в свое время несправедливо оспоренный Декартом, предвосхищал дифференциальное и интегральное исчисление, хотя задачу решал алгебраически, без анализа бесконечно малых величин. В задаче разбивки прямой с длиной «а» на две части, так, чтобы квадрат одной ($x^2$), помноженный на величину другой части = (а—х), был бы максимальным, он приравнивал $2ax—3x^2$ нулю и получал, что $x = 2/3a$, то есть заменял современное дифференцирование и взятие первой производной.

Поднялся Декарт во весь свой внушительный рост и взметнул гривой волос:

— Мысли метра Ферма совершенно непонятны. Мне ясно лишь то, что он натолкнулся на метод случайно, не зная его основания. В результате, как ни прискорбно мне это сказать, но метр Ферма приходит к паралогизму, то есть к противоречию, полностью уничтожающему его метод как некорректный.

Как известно, Ферма обычно не приводил обоснования предлагаемых им формул и методов. Однако старания современников получить по его методам ошибочный результат были тщетными, как и попытки доказать эти методы. За Ферма установилась слава математического волшебника, который знает нечто, людям не доступное, делясь с ними только выводами.

Однако сейчас, после резкого выпада Декарта, Ферма изменил своему обыкновению и стал методично, спокойно и дружелюбно разъяснять Декарту, как любимому ученику, суть его непонимания. Он старался ничем не унизить его, добиваясь лишь, чтобы тот понял его.

А понять Ферма его современникам было нелегко, ибо он, по существу, предвосхитил работы Исаака Ньютона и Г. Лейбница, независимо друг от друга открывших дифференциальное и интегральное исчисление, резко споря между собой, кто сделал это первым, забыв о методе Ферма, высказанном еще до их рождения. Метод, который позволял поистине волшебным путем (алгебраическим!) получать первую производную! (Скажем, скорость движения, имея кривую пройденного в отмечаемое время пути, то есть давая результат современного дифференцирования, а получение им площадей, ограниченных кривыми, представляло собой современное интегрирование, то есть суммирование бесконечно малых величин!)

Декарт слушал объяснения Ферма и краснел. Вспомнилась история с уравнением, заключенным в надгробной надписи Диофанта, которое Ферма решил диковинным способом, не используя всех членов уравнения, искать который Декарт клятвенно отказался. Тогда Декарт нашел в себе силы побороть самого себя, но сейчас он возражал, опровергал, почти оскорблял Ферма, ведя с ним в присутствии многих «ученых секундантов» бескровную дуэль.

Но даже такой прямой и честной натуре, как философ Декарт, гонимый церковью, нужно было время, что-

бы осознать свою неправоту и признать поражение в «дуэли».

Но поражение это было признано присутствующими учеными, принявшими сторону Ферма, что выразил от их имени Этьен Паскаль, математик, исследовавший интереснейшую фигуру «спираль Паскаля», витки которой, пересекаемые любым радиусом из ее центра, отстояли один от другого на равном расстоянии. Это исследование сделало его имя известным и спустя столетия. Именно он тогда в монастырской трапезной сказал:

— Ваше преподобие, господин аббат, дорогие ученые собратья! Мне кажется, что я выражу общее мнение, признав, что тот метод верен, который дает верные результаты. Но именно этой особенностью и отличаются все методы метра Ферма, включая и не понятый уважаемым господином Декартом, критику которого все же надо рассматривать как побуждающую метра Ферма к обнародованию основания своего метода, за что нельзя не поблагодарить и метра Ферма, и господина Декарта. Как видим, истина, даже и математическая, рождается в споре.

Но Декарт, не желая признать себя побежденным, вскочил:

— Никогда, слышите ли, никогда научная истина не будет устанавливаться голосованием! Метр Ферма, оперируя здесь с кривыми, предложил расплывчатую систему координат с осями, расположенными под любым углом. Это непродуманно и неудобно. И я предлагаю свою «Универсальную математику», где использованы лишь прямоугольные координаты и общий алгебраический метод для решения любых задач.

— В предложенных мною координатах допускались и прямоугольные, — робко заметил Пьер Ферма. — Но господин Декарт, конечно, вправе воспользоваться ими, поскольку они принадлежат всем.

Справедливости ради надо заметить, что спустя века в современной математике, немыслимой без прямоугольных координат, имя их первооткрывателя Ферма предано забвению, они именуются лишь «декартовыми».

Меж тем научная дискуссия в монастыре продолжалась. Ученые сообщили о своих планах и исканиях; в частности, Торричелли рассказал о своем намерении доказать, что две пары самых сильных лошадей не разорвут два ничем не скрепленных полушария, если из них будет выкачан воздух. И он пригласил научных коллег

посетить Италию, чтобы присутствовать при этом опыте *.

Юный Блез Паскаль признался в своем увлечении гидростатикой и мечте исследовать, как жидкость передает усилия. Спустя годы «закон Паскаля» станет общепринятым, ныне — основой многих гидравлических машин и аппаратов.

Рассказывали о своих исканиях и связанных с ними трудностях и другие ученые, сетуя на отсутствие научного журнала, который подменял пока неутомимый аббат Мерсенн, ведя научную переписку, которая стала для него смыслом жизни.

Незаметно день склонился к вечеру.

Заботами аббата Мерсенна и благодеяниями отца-настоятеля трапезная была использована учеными гостями по своему назначению. Послушники вносили блюда.

Рене Декарт ел с солдатским, как он признался, аппетитом, жалуясь на отсутствие у братьев-монахов хорошего вина.

С наступлением темноты гости решили расходиться. Первым привратник хотел выпустить Декарта в черном плаще и на коне, но, заглянув в щелевидное оконце, подозвал аббата Мерсенна.

Против монастырских ворот гвардейцы кардинала развели костер, не собираясь уходить отсюда без добычи.

Аббат Мерсенн предупредил Декарта. Тогда Ферма произнес:

— Рене, одолжите мне ваш плащ и шляпу, а также временно и коня. Вас там ждет Огюст? Я окликну его.

Декарт колебался:

— Они охотятся за мной, а схватят вас, Пьер. Хотите так?

— Конечно! — улыбнулся Ферма. — Когда выяснится, что они задержали советника Тулузского парламента, вы будете далеко, воспользовавшись мулом Огюста, за что он простит нас. Я шепну ему.

— Соглашайтесь, господин Декарт. Боюсь, у вас нет иного выхода, — убеждал аббат Мерсенн, потирая мокрую от волнения лысину.

* Правота Торричелли была подтверждена знаменитым опытом Герике, получившим название «Магдебургские полушария», проведенным в Магдебурге лишь в 1654 году и доказавшим существование атмосферного давления. Торричелли принадлежит изобретение ртутного барометра и создание над ртутным столбом «торричеллиевой пустоты». *(Примеч. авт.)*

— Но ведь я же, споря, дрался с вами как на дуэли, — протестовал Декарт. — Как же вы можете так поступать, Пьер?

— А разве вы не поступили бы так же, будь я на вашем месте?

Декарт помолчал и ответил:

— Благодарю, что вы так думаете обо мне. Но надеюсь, что нам не представится случая проверить меня.

И они обнялись — противники в недавнем споре.

Из монастырских ворот выехал всадник в черном плаще и в надвинутой на глаза шляпе.

— Эй, сударь! — грубо окликнул гвардеец, хватая под уздцы коня. — Мы не рассчитались еще с вами за утреннюю встречу. Проклятые, очевидно, нанятые вами мушкетеры ранили двух моих парней. Но теперь вам придется последовать за нами.

— Трое против одного? Я подчиняюсь, — ответил Пьер Ферма. — Но куда вы хотите отвести меня?

— К его высокопреосвященству господину кардиналу, а потом в Бастилию. Но до этого он примет вас с подобающей вежливостью.

— Огюст! — крикнул Ферма. — Дождешься хозяина здесь!

Окруженный гвардейцами всадник в черном плаще скрылся в темноте.

### Глава шестая

## ГОСТЬ БАСТИЛИИ

*Истинные политики лучше знают людей, чем присяжные философы.*

Люк де Клапсе Веверанг

Пьер Ферма неважно знал Париж, лошадь его вел под уздцы старший из гвардейцев, предварительно взяв с Ферма честное слово, что тот не использует для бегства преимущество верхового, и, получив такое заверение, оставил задержанного на коне. Они долго двигались по темным незнакомым улицам.

— Ну вот, сударь, и улица Сен-Оноре, — с облегчением заметил гвардеец. — Здесь на площади и стоит кардинальский дворец.

Ферма не мог рассмотреть фасада огромного зда-

ния, но хорошо разглядел промчавшуюся мимо карету, запряженную шестеркой вороных коней.

— Кажется, вам не повезло, сударь, — сказал гвардеец, — должно быть, его высокопреосвященство господин кардинал проехал в Лувр к королю.

Перед широкой, ведшей во дворец лестницей гвардейцы остановились, коня под уздцы взял другой гвардеец, а старший стал подниматься по мраморным ступеням, громыхая длинной шпагой.

Ему навстречу появилась плохо освещенная серая фигура в сутане. Гвардеец, о чем-то переговорив с вышедшим, начал спускаться.

Он молча взял коня под уздцы и повел его назад по улице Сен-Оноре.

— Куда мы отправляемся? — поинтересовался Ферма.

— Его высокопреосвященство поехал на вечернюю шахматную партию с его величеством королем и почтительно просил подождать его возвращения в Бастилии.

Гвардеец простодушно передал сказанные ему слова серым в сутане, но Ферма передернуло. Как юрист он знал, что его не могут бросить в Бастилию без прямого указания кардинала, однако он не стал противиться и препираться со своим конвоем, заинтересованный в том, чтобы дать уйти Декарту возможно дальше, позволить ему беспрепятственно пересечь границу с Нидерландами, прежде чем обнаружится, что схвачен не он.

Площадь Бастилии была так же незнакома Ферма, как и улица Сен-Оноре. В прошлые приезды в Париж он проходил близ Лувра, но теперь ему не встречалось знакомых мест.

У ворот Бастилии, мрачного замка, окруженного высокими стенами посреди города, гвардейцы остановились и вступили в переговоры со стражей, вызывая коменданта крепости.

Наконец из ворот показался тучный человек с оплывшим лицом и маленькими хитрыми глазками, которые поблескивали в свете тусклого фонаря стражника.

— Я протестую, господин комендант! — заявил Ферма. — Я отлично знаю французские законы. Никто не может быть брошен в Бастилию без приказа его высокопреосвященства господина кардинала. Покажите его приказ!

— Не извольте беспокоиться, сударь, — елейно отозвался комендант, тяжело дыша после каждой фра-

зы. — Вы проведете ночь как гость Бастилии, и я клянусь вам, что не переступите порога ни одной из камер, где содержатся важные государственные преступники, о вашем же коне позаботятся не в меньшей степени, чем о вас, сударь. — И он церемонно раскланялся.

Ферма спокойно вздохнул, подумав, что выиграет для Декарта целую ночь и ошибка выяснится лишь завтра. Он сошел с коня, которого принял один из стражников. Двое других повели Ферма в открытые ворота крепости.

Бастилия! Одно лишь это название вселяло ужас в людей, но Ферма, успокоенный учтивостью коменданта, не проявил никаких признаков волнения.

Стража предложила Ферма спуститься по стертым ступеням каменной лестницы. Пахнуло сыростью, они вошли в полутемный коридор с двумя рядами однообразных дверей в камеры.

— Куда вы ведете меня? Вы слышали слова коменданта? — обратился Ферма к стражникам.

Но те молчали, громыхая оружием по каменному полу.

Вдали открылась одна из дверей, и оттуда вышли двое тюремщиков, ведя под руки потерявшего силы заключенного.

С каждым шагом обе группы сближались. Они сошлись под светильником, и Ферма содрогнулся, встретясь взглядом со старым графом де Лейе, глаза которого сверкнули было радостью при виде Ферма, но, заметив, что советник парламента идет не на свидание с заключенным, а сам находится под стражей, сразу потухли.

Старый граф Эдмон де Лейе, соратник и любимец короля Генриха IV, служил ему, еще когда тот, защищая права гугенотов, был всего лишь Генрихом Наваррским, который, чтобы утвердиться на троне, вынужден был принять католичество, оговорив привилегии бывших единоверцев, но погиб от руки фанатика. Кардинал же Ришелье всячески укреплял абсолютную власть его наследника и объявил поход против не в меру самостоятельных вассалов, продолжающих претендовать на старые привилегии.

Но как постарел бедный старый граф! Ферма давно не видел его и не знал о немилости к нему кардинала. Теперь ничто не могло спасти старого вельможу. Ферма слишком хорошо знал беспощадность кардинала Ришелье, который с равной жестокостью расправлялся и с неугодными вассалами, и с взбунтовавшимися кре-

стьянами, и с непокорной чернью. В Бастилии, куда не попадали вожаки бушевавших во всей Франции восстаний, двери камер открывались для опальных вельмож, так же обреченных, как и безродные бунтовщики. Знатность рода не помогала.

Ферма подвели к оставшейся открытой двери, откуда выволокли графа де Лейе, этого несчастного старика.

Ферма запротестовал:

— Господин комендант дал слово, что я не переступлю порога ни одной камеры. Я не войду сюда и обжалую ваши действия!

Один из стражников усмехнулся:

— Господин комендант всегда знает, что говорит. — И с этими словами он прошел вперед, но тотчас вернулся, после чего Пьера грубо втолкнули в открытую тяжелую дверь, она тотчас захлопнулась за ним. Ферма остался в полной темноте, слыша, как щелкает позади него замок. Протянув вперед руки, он уперся ими еще в одну дверь, которая, очевидно, вела в камеру. Но она оказалась запертой, недаром тюремщик вошел сюда на мгновение раньше!

Ферма попробовал повернуться, но касался плечом преграды то с той, то с другой стороны и мог протиснуться только вбок, до притолоки и обратно. Он понял, что находится в тесном тамбуре, почему-то устроенном перед камерой. Ферма, как советник парламента, немало бывал в тюрьмах, но не встречал камер с таким входом.

Только сейчас понял Ферма зловещий смысл обещаний толстого коменданта, — «гость Бастилии» не переступит порога камеры. Он и не переступил его, находясь между двух дверей в нее, с обеих сторон сжимавших так, что он не в силах был ни сесть, ни лечь, ни повернуться. И еще одну их особенность установил он, не обнаружив на ощупь обычного смотрового окошечка, через которое тюремщик наблюдает за узником. Что бы это могло быть? Что за странная камера?

Догадка заставила волосы шевельнуться у Ферма на голове.

Очевидно, двойные двери тамбура нужны, чтоб ни один звук, ни один стон, ни один крик не донесся из камеры! Так вот откуда вынесли бедного старого графа де Лейе, соратника покойного короля. Недаром вспоминал старый граф о своем повелителе, который мог бы спасти его сына, а теперь и его самого от унижений и пыток! Да, пыток! Ибо не оставляло сомнений, что «гос-

тя Бастилии» заперли на ночь в тамбуре камеры пыток. Так вот какой участи мог бы подвергнуться упрямый философ Декарт, восставший против папы, противопоставляя разум человеческий бездумности, активное познание — невежественной покорности.

Ферма понял, что бесполезно требовать к себе коменданта и объявлять, что он не Декарт. Скорее всего и гвардейцы не знали, кого должны схватить, руководствуясь лишь внешним описанием Рене.

Пришлось прождать всю ночь, упершись спиной в одну дверь и коленями в другую, полусидя в воздухе.

Когда заскрежетал замок, Ферма думал, что ему не разогнуться. Лишь усилием воли заставил он себя выпрямиться.

Сам комендант, страдая одышкой, изволил прийти за ним.

— Господин кардинал узнает о вашей любезности, — мрачно пообещал ему Ферма.

— Простите, сударь, но у меня было переданное мне указание Мазарини, первого помощника его высокопреосвященства. Поверьте мне, что я тут ни при чем! Кроме того, вам, право же, не стоило настаивать на открытии внутренней двери в камеру откровенности. Надеюсь, вы понимаете меня?

— Вполне, господин достойный комендант. Надеюсь, теперь вы препроводите меня к его высокопреосвященству господину кардиналу?

— Ваш конь оседлан, трое гвардейских всадников сопроводят вас в виде почетного эскорта.

И комендант Бастилии проводил своего «гостя» до тюремных ворот, обеспокоенный тем, что не получил письменного подтверждения переданных ему устно слов.

Трое гвардейцев на конях ждали Ферма, держа огромного оседланного коня Декарта.

Из-за затекших мышц Ферма с трудом влез на него, вызвав грубые насмешки гвардейцев, но не счел нужным отвечать.

На площади, куда выходила улица Сен-Оноре, при солнечном свете Ферма мог рассмотреть все великолепие кардинальского дворца.

Пьер спешился у знакомой мраморной лестницы с широкими ступенями и в сопровождении вооруженных гвардейцев поднялся по ней.

Гвардейцы провожали его, гвардейцы толпились в анфиладе комнат и в приемной, куда Ферма привели.

Он проходил мимо них с независимым видом, стараясь усилием воли побороть усталость бессонной ночи.

Гвардейцы подвели доставленного к служителю в раззолоченном кафтане, который, пронзительно взглянув Пьеру в глаза, вышел в золоченую дверь.

Через минуту он вернулся, жестом пригласив Ферма идти за ним. Гвардейцы остались в приемной, шумно переговариваясь с однополчанами. Ферма следом за золоченым служителем миновал огромный зал официальных приемов и оказался в уютной библиотеке, где, кроме шкафов с книгами в роскошных переплетах, стояли рыцарские доспехи.

За столом, заваленным книгами и пергаментами, сидел в глубоком кресле тщедушный, очевидно, очень больной седоусый человек с белой остренькой бородкой, склонясь над какой-то рукописью. За спинкой кресла виднелась неприметная фигура в серой сутане.

— Господин Декарт? Философ, естествоиспытатель и математик? — не поднимая глаз, спросил человек за столом.

— Нет, ваше высокопреосвященство! Может быть, в какой-то мере я естествоиспытатель и математик, но я не философ Декарт. Очевидно, меня схватили по ошибке господа гвардейцы, ваша светлость.

— Как так? — только теперь поднял острые, ястребиные глаза, с которых как бы поднялась птичья пленка, кардинал де Ришелье, он же герцог Арман Жан дю Плесси. — Действительно, не господин Декарт, с которым мы когда-то беседовали и о его философских взглядах и рассчитывали теперь продолжить эту беседу, когда он, покинув Францию, вернулся в Париж без нашего разрешения. А кто вы, сударь?

— Я — советник парламента в Тулузе Пьер Ферма, ваше высокопреосвященство.

— Ах так! Знакомое имя. Пьер Ферма? Юрист и математик и, кажется, даже поэт? Который арифметически определял вероятность преступления, а потом способствовал разжиганию спора между грязными крестьянами и высокородным герцогом Анжуйским с помощью вычисления площадей спорных земельных участков, якобы отнятых у черни?

— Ваше высокопреосвященство проявляет восхищающую меня осведомленность о моих скромных попытках сделать юриспруденцию безукоризненной наукой.

— Безукоризненная наука, метр Ферма, это только

политика! Знаете ли вы, какую рукопись я сейчас читал, ожидая господина Декарта, видимо уклонившегося от нашего свидания? Ваше письмо, метр, переписанное аббатом Мерсенном для рассылки другим ученым. Один обязательный экземпляр, к вашему сведению, всегда предназначается мне. А латынь кардиналу знакома, как понимаете.

— Я преклоняюсь перед широтой вашей образованности, ваше высокопреосвященство!

— Кстати, почему же господин Декарт уклонился от нашего свидания, несмотря на то, что я послал за ним своих гвардейцев? И отчего вы явились ко мне вместо него только сегодня утром?

— Ваши доблестные гвардейцы (трое против меня одного!) силой привезли меня ко дворцу, когда вы, ваша светлость, изволили уехать для шахматной игры с его величеством королем.

— Как так? — полуобернулся Ришелье к стоящему за его спиной человеку в сутане. — Где же господин Декарт, дорогой Мазарини?

— Если перед вами, ваше высокопреосвященство, советник парламента из Тулузы, то господин Декарт, очевидно, уже пересекает нидерландскую границу, уехав не позднее вчерашнего вечера из известного вам монастыря. Я надеюсь получить от отца-настоятеля подтверждение.

— Я сожалею, метр, что вам пришлось со вчерашнего вечера ожидать, пока я наслаждался шахматами.

— Я разделяю ваше отношение к шахматам, ваша светлость.

— Что ж, это можно проверить, метр Ферма. Придется вам заменить господина Декарта в философской беседе, которая, если вы того пожелаете, будет происходить за шахматной доской. Дело в том, что мне не все ясно в ваших письмах, содержащих, я бы сказал, математические загадки, кроме, разумеется, общей вашей деятельности, метр, которую стоит обсудить.

— Буду счастлив, ваше высокопреосвященство, узнать ваше мнение о моих скромных работах и усердной службе и, разумеется, готов сыграть с вами.

— Берегитесь, метр Ферма. После проверки вашего искусства игра пойдет на ставку, не исключено, что на крупную.

— Я готов, ваша светлость.

— Вы очень богаты, метр?

— Если богат, ваша светлость, то только надеждами, по словам моей супруги.

— Мудрость женщины подобна жалу змеи, жалящей нас.

По сделанному кардиналом знаку Мазарини подкатил его кресло, оказавшееся на колесиках, к шахматному, богато инкрустированному столику и расставил на нем фигуры из слоновой кости.

— Попробуйте сразиться со мной, метр. Я не назначаю сразу ставки, ибо мое духовное звание обязывает к милосердию.

Первая, молниеносно проведенная партнерами партия закончилась в пользу Ферма прямой атакой на короля. Кардинал нахмурился, взгляд его стал злым и колючим. Ферма наблюдал за этим больным и беспомощным человеком, ум которого цепко держал в повиновении и страну, и ее короля, хотя тело с трудом могло покинуть мягкое, на колесиках кресло.

Высохшая рука, когда-то ловко владевшая шпагой, дрожала, передвигая фигурки:

— Вы опаснее, чем я думал. Я просто играл с вами как с его величеством, которому всегда надо предоставлять возможность атаковать.

Во второй партии Ферма не удалось развить атаку, и, оставшись без двух пешек, он вынужден был признать поражение. Кардинал Ришелье воодушевился:

— Прекрасно! Теперь — на ставку! Вы достаточно искушены в этой игре, но это лишь удваивает мой интерес. Мне всегда требуются побудительные причины, чтобы проявить себя в полной мере.

Ферма расставил фигуры и свои и кардинала, вспоминая, что герцог Арман Жан дю Плесси до принятия духовного сана славился своей азартностью и, видимо, не утратил этой страсти, став кардиналом.

Ришелье поднял с полу тершегося о его ноги кота.

— Итак, ставка, метр? Что у вас есть в Тулузе? Именье, рента, зáмок?

— Только дом и служба вашему высокопреосвященству.

— Прекрасно! Вы ставите свой дом, а я... Что бы вы хотели, сударь?

— Свободу узнику Бастилии, старому графу Эдмону де Лейе, давнему соратнику покойного короля.

— Откуда вы знаете об узнике Бастилии? — сердито спросил Ришелье, сбрасывая с колен кота.

— Я провел там ночь как «гость Бастилии», ваша светлость, зажатый между дверьми тамбура камеры пыток.

— Что такое? — обернулся Ришелье к Мазарини.

— Должно быть, господин комендант проявил свое обычное остроумие, ваше высокопреосвященство, не желая, чтобы гость переступил порог любой камеры.

— Прекрасно! — воспрянул Ришелье. — Тогда распорядитесь, чтобы господин комендант провел в этом же месте предстоящую ночь. — И кардинал сделал свой ход на доске.

— Но это невозможно, ваша светлость, — запротестовал Ферма.

— Почему? — удивился кардинал. — Я же сказал.

— Он слишком толст, ваша светлость, и двери просто не закроются, пока он не похудеет.

Кардинал Ришелье расхохотался:

— Я должен отдать вам должное, метр, и в легкой игре, и в легкой беседе. Но сейчас и игра и беседа примут серьезный характер.

— Я готов, ваша светлость.

— Готовы лишиться собственного дома?

— Если вы ставите против него свободу графу Эдмону де Лейе.

— Ставка сделана. Ваш ход, метр! Пеняйте на себя и не ждите от меня пощады, если ваша семья окажется без крыши над головой. Вы явно рискуете, предлагая в жертву легкую фигуру, я не вижу атаки.

— Шахматы, ваша светлость, единственное средство отгадывать мысли другого.

— Недурно сказано! Но я угадываю ваши мысли и без шахматной доски, хотя бы, например, в вашей судебной практике, что заставляет меня предостеречь вас от излишнего усердия в оказании помощи (даже математической!) простолюдинам в ущерб интересам высокородных господ. В вас не чувствуется, метр, дворянского подхода (впрочем, вы, кажется, ведь не дворянин!), и, может быть, потому не понимаете, что взятые вами под защиту люди слишком часто берутся за оружие против своих господ, причиняя нам с Мазарини немало хлопот.

— Я руководствуюсь в своей судебной практике только соображениями Справедливости, как учит наш король и вы, ваше высокопреосвященство.

— Гм! — задумался, глядя на доску, кардинал. —

А не находите ли вы свою активность излишней и неоправданной? Хотя бы вот в этой партии?

— В ней очень высокие ставки. Кроме того, шахматы в известной степени отражают жизнь, ваше высокопреосвященство.

— Тогда стоит ли ваш офицер трех моих пехотинцев, засевших в крепости покрепче Ла-Рошели? Боюсь, что штурм ее будет вам стоить дома в Тулузе, который я подарю прокурору Массандру, готовящему обвинение против графа Эдмона де Лейе.

— Массандр? Вы удивляете меня, ваша светлость! Неужели вам не найти кого-нибудь более достойного, чтобы не причинять мне в случае моего проигрыша ненужных огорчений?

— Не взывайте к моему милосердию, не разжалобите. Я не только кардинал, но и воин.

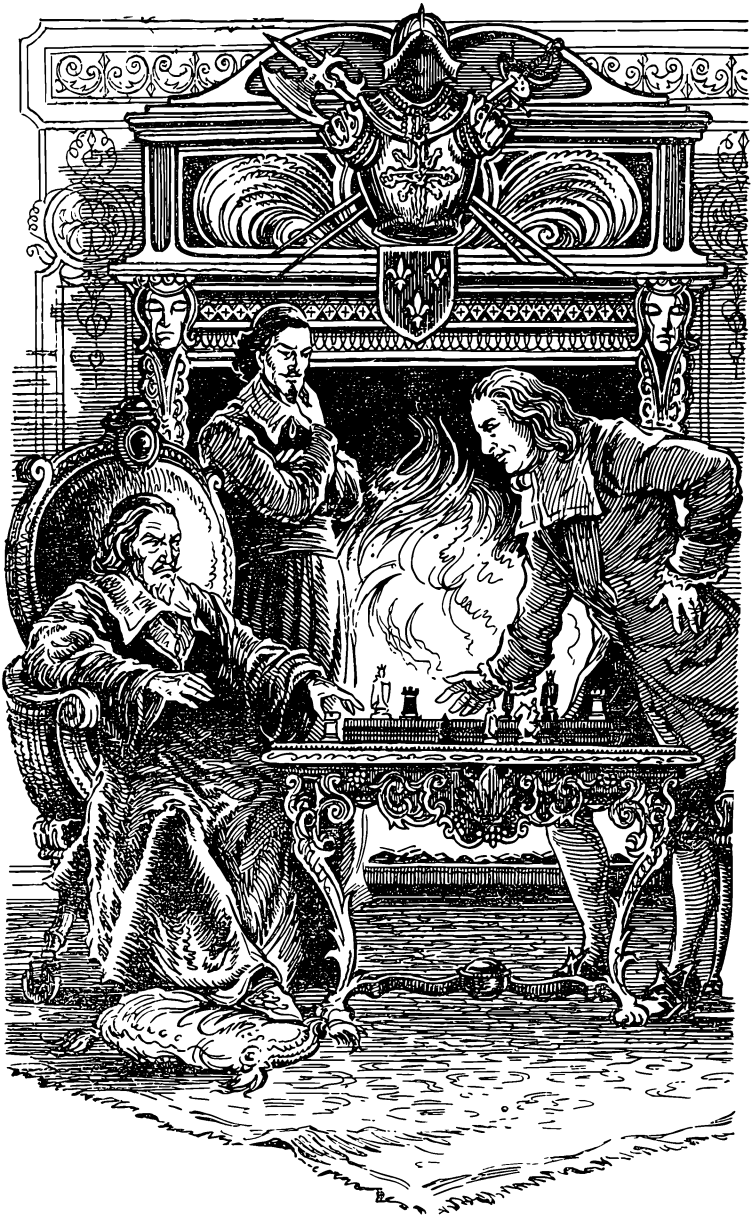
Меж тем могло показаться, что опасности на шахматной доске для кардинала позади и атакующий не прорвется через пешечный заслон. Однако Ферма был спокоен и неожиданно пожертвовал одну за другой две фигуры: слона и ладью, притом не для того, чтобы разрушить крепость, а как бы для еще большего ее укрепления.

— Что это? — насмешливо спросил кардинал. — Вы перешли в мой лагерь? Или надеетесь одолеть своей вновь появившейся королевой бастионы, которые не могли взять всеми фигурами?

— А я не буду брать этих укреплений, ваша светлость, а воспользуюсь тем, что вашему королю в них тесно, и вместо королевы поставлю коня, объявляя вам мат!

— Что? Что? — опешил Ришелье и непроизвольно воскликнул: — Боже правый! Мат в середине доски одним-единственным, притом превращенным конем! Короля позабавит эта позиция, а также и то, что я не заметил этого коварного превращения пешки в слабую фигуру, иначе... Да! Вы расчетливо отвлекли меня своей беседой! — И Ришелье взмахом руки смешал фигуры на доске. — Если бы не этот просмотр (не надо было брать предложенную вами туру), и Массандр жил бы в вашем доме *.

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Автору удалось восстановить позицию: 1. Лg1! (1.e7? fg 2. e8Ф Кf8 + 3. Крd8 Л : e8 + 4. Кр : e8∓) Л : g1 2. Се5 + ! de 3. e7Л : g5 4. Кd5 Кf6 5. К : f6 Кр : f6 6. e8К мат! Бел.: Крd7, Лg4, Сf4, Кb6, nn e6 и g5; Чер.: Крg7, Лe1, Кh7 nnd6, f5, f7, g6. Последовало: (Нельзя 7. e8Ф? f4 8. Фh8 + Крf4 9. Фh3 + Крf6 ничья).



— Но сейчас ему придется отказаться от обвинения графа Эдмона де Лейе.

— Разумеется. Я всегда плачу по своим обязательствам и всегда взыскиваю. Советую не допускать в жизни таких ошибок, как я в этой позиции.

— Вы не ошиблись, ваше высокопреосвященство, отказ от взятия вел к проигрышу.

— Вы умелый юрист и опасный человек, метр. Вот так. Мазарини, — властно обратился он к своему помощнику, — распорядитесь в Бастилии! Не забудьте проверить, уместится ли комендант в тамбуре камеры откровенности. Когда будете провожать метра Ферма, дайте ему отцовский совет. Учтите, метр Ферма, что мой Мазарини в ближайшее время станет кардиналом. Отнеситесь к нему по-сыновьи.

— Слова вашего высокопреосвященства звучат для меня как высшее отцовское наставление, — низко поклонился Ферма.

Мазарини услужливо откатил кресло Ришелье к столу, поймал кота и водрузил его на колени немощного повелителя Франции, затем сделал знак Ферма в направлении двери.

Выходя из библиотеки, Ферма бросил взгляд на кресло с тщедушным стариком и на военные доспехи, в которые тот облачался в дни осады Ла-Рошели.

Вместе с Мазарини он вышел в зал приемов, роскошный и холодный.

— Вы были очень неосторожны, метр, с его высокопреосвященством, — вкрадчиво начал Мазарини, — зачем вам возвращаться в Бастилию, проходить через известный вам тамбур? Не думайте, что вы выиграли в деревяшки свободу графу де Лейе, просто вы удачно напомнили справедливому кардиналу о заслугах графа перед покойным королем, память которого священна. У Франции слишком много врагов, — продолжал он доверительно, но с укором в голосе. — И нельзя, чтобы о них думали только мы с его высокопреосвященством, в то время как такие, как вы, светлые умы, будут упражняться в искусстве счета и способствовать брожению черни, переписываясь при этом с учеными враждебных нам стран вроде Англии!

— Готов принять совет ваш и его высокопреосвященства и найти способ проявить патриотизм и на научном поприще.

— Хотелось бы убедиться в этом, — смиренно ска-

зал Мазарини и, на миг сверкнув глазами, добавил: — Пока не поздно.

Ферма вместе со спутником в серой сутане прошел через комнаты, наполненные гвардейцами, пораженными гордым видом и проводами только что доставленного сюда под конвоем человека.

Мазарини проводил Ферма до мраморной лестницы. Гвардеец услужливо подвел ему коня.

Ферма хотел расспросить дорогу к монастырю, отъехав подальше от дворца, но уже на улице Сен-Оноре наткнулся на вихляющего на муле Огюста.

Оказывается, к величайшему изумлению Пьера, отважный Декарт не пожелал бежать из Парижа, ожидая возвращения Ферма, а в случае его задержки собирался сам явиться к кардиналу, чтобы выручить друга.

Ферма не стал испытывать судьбу, отдал коня Огюсту и отправился пешком во Дворец Правосудия на острове Ситэ, где у него были дела от Тулузского парламента.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

*В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой...*
Ф. Бэкон

В 1643 году, три года спустя после встречи Пьера Ферма с кардиналом Ришелье, герцог Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, скончался. Через год умер и передавший ему всю власть в стране слабый король Людовик XIII, оставив трон пятилетнему Людовику XIV, который, возмужав, стал воплощением абсолютной, ничем не ограниченной королевской власти, живя по двум принципам: «После нас хоть потоп!» и «Государство — это я!» Но подлинную власть во Франции прибрал к рукам наследник Ришелье, которого тот успел сделать кардиналом, Мазарини, «серым (как он, подобно Жозефу дю Перамбле, духовнику Ришелье, вошел в историю) кардиналом» в отличие от «красного кардинала» Ришелье, властно подчеркивающего свое могущество, «серый же кардинал» всегда оставался в тени, сплетая хитроумные интриги, при осуществлении которых коварством и жестокостью отнюдь не уступая, а порой и превосходя своего предшественника.

Тогда же скончался в почетной старости граф Эдмон де Лейе, а его наследник граф Рауль де Лейе, женатый

на удочеренной герцогом Анжуйским Генриэтте, стал одним из богатейших вельмож своего времени. Дружеские отношения его с Пьером Ферма не сложились. Согласитесь, не пристало же зятю самого герцога Анжуйского воздавать дворянской дружбой простому судейскому за оказанную им, но оплаченную услугу!

О том же, как граф Эдмон де Лейе был вызволен из Бастилии, знали только покойный Ришелье, кардинал Мазарини да молчавший об этом Пьер Ферма.

Он продолжал служить в Тулузском парламенте и делать открытия в математике, заложив основы таких ее областей, как аналитическая геометрия, теория алгебраических чисел и теория вероятностей.

У его жены Луизы, схоронившей одного за другим отца Франсуа де Лонга и добрейшего дядюшку Жоржа, на руках было уже пятеро детей. Поскольку у Пьера Ферма больше не встречалось таких ослепительных дел и вознаграждений, как дело Рауля де Лейе, и он добивался справедливости для небогатых людей, ей все труднее было сводить концы с концами, а Пьер, человек непрактичный, продолжал отдавать свое бесценное время таким неоплачиваемым занятиям, как математика или та же поэзия. Сонеты, которые когда-то восхищали мать пятерых детей, не могли бы их прокормить! Где-то в душе Луиза жалела, что из-за щепетильности мужа она так и не стала графиней де Лейе!

Декарт, выйдя в отставку с военной службы, продолжал жить в Нидерландах, но с каждым годом ощущал все больший гнет гонений всех ополчившихся на него церквей.

Тридцатилетняя война окончилась, но мира не было. Франция теснила границы Нидерландов, Испания угрожала Франции, не говоря уж о такой исконной, многовековой вражде, как англо-французская.

Не прекратилась борьба крестьян против владетельных господ. Начали поднимать голову буржуа, грозя властью денег. Но по-прежнему самым благородным (и прибыльным!) делом была война с ее высшей военной доблестью — родоначальником знатности и богатства.

И все-таки перо ученого уживалось рядом со шпагой. Наука развивалась!

Неоценимый вклад в нее наряду с Пьером Ферма и Рене Декартом внесли Блез и Этьен Паскали, Торричелли, Гюйгенс, Мерсенн и многие другие, без которых не было бы ее последующего развития во всем мире.



# Часть третья

# ИХ ТЕНЬ ДОСТАНЕТ ОБЛАКА

*Статую красит вид,*
*человека — его деяния.*

Пифагор

## Глава первая

## В АЛЬПАХ

*Умный человек может быть влюблен,*
*как безумец, но не как дурак.*

Ларошфуко

*(Из дневника г-жи Луизы Ферма, урожденной де Лонг.)*

«Даже в монастыре я не вела дневника, не прятала тетрадь в бархатном переплете под подушку, не читала своих тайных записей закадычным подругам, не вздыхала и не проливала слез над стихами, а вот теперь... теперь мне захотелось записать все, что чувствую, о чем думаю после двадцати пяти лет замужества.

Пьер сделал к этому нашему с ним дню самый лучший для меня подарок. Нет! Не драгоценный перстень, где «щурится камень кошачьим глазком», не ожерелье самоцветов, которым я однажды любовалась в лавке у ювелира, испанского еврея, не серьги, светящиеся, как звезды, не цыганские браслеты, гремящие при каждом

движении руки, хотя (чего скрывать!) мечтала обо всем этом! Он подарил мне поездку в Швейцарию! И я завела эту тетрадку, отправляясь в путь.

Пьеру удалось освободиться на время от дел в парламенте, а мне пришлось оставить вместо себя за хозяйку Сюзанну. В ее двадцать лет ей полезно почувствовать себя хоть на некоторое время старшей в доме, а не обращаться по всякому пустяку к матери, которая должна все делать, обо всем помнить, все знать!

Конечно, сердечная Жанна поможет ей, взяв на себя заботу о маленькой Эдит. Именно этой трехлетней крошки будет мне не хватать в далекой и прекрасной Швейцарии!

Я помню, ох помню, как проходили каждый по-своему через самый забавный, трехлетний возраст мои дети!

Самуэль, наш первенец, тогда удивительно любопытный, теперь в свои двадцать четыре года уже бакалавр, но так же непрактичен, как и отец, избрав своей деятельностью науку и поэзию, которые еще никого не кормили досыта.

А каким на редкость покорным ребенком росла Сюзанна, ныне болезненно мечтающая о замужестве, нуждаясь и в приданом. Только продажа нашего городского дома может помочь нам внести за Самуэля его долю в какое-нибудь дело в Париже, чтобы он смог заниматься наукой и поэзией, оставив кое-что и для Сюзанны.

Жанна в отличие от такой «распустившейся розы», как Сюзанна, из забавной девчушки с колечками золотистых волос превратилась в неуклюжего, неоперившегося гусенка с длинной тонкой шеей, но который еще станет лебедем! И в ней, судя по ее отношению к маленькой сестренке, зреет будущая заботливая мать не в пример слишком занятой собой, холодной Сюзанне.

Жорж же, названный так в память добрейшего дядюшки Жоржа, из смешного толстенького увальня превратился в десятилетнего шалопая и бездельника, рвущего панталоны на всех деревьях сада, доставшегося нам в наследство от его деда Франсуа, которого он никогда не видел.

Двадцать пять лет! Четверть века забот и лишений, присмотра за детьми, вороватыми слугами и нерасторопным, рассеянным мужем, равнодушным к домашним делам, витающим в своих никому не нужных формулах

или стихах, уместных лишь в давно прошедшей юности.

Нет! Я не против его стихов, когда-то они радовали меня, но я сама страшусь признаться себе в том, что все, что прежде привлекало меня в Пьере, теперь начинает раздражать в нем, и он порой кажется мне неудачником. Ведь всего только один раз выпало ему на долю счастье, и обязан он этим прежде всего моему отцу, который настоял в парламенте, где с ним считались, чтобы Пьеру поручили дело по обвинению гугенота графа Рауля де Лейе в преднамеренном убийстве католика маркиза де Вуазье. Только прозорливость отца могла предугадать, какое сказочное вознаграждение получит Пьер, спасши от позорной казни графа Рауля.

Пьер как-то цитировал: «Ни одно благодеяние не останется безнаказанным!» Что ж! Аристократы действительно охотно забывают тех, кому обязаны. Со времени женитьбы графа Рауля на Генриэтте, этой прижитой герцогом на стороне дочери, а потом после кончины старого графа Эдмона де Лейе его возвращенный Пьером к жизни сын ни разу не пригласил к себе в замок своего названого друга, который даже мог считаться его братом, как того желал старый граф, ни разу не пригласил его вместе с женой, принесшей в суд спасительное для него письмо аббата Мерсенна!

Впрочем, стоит ли горевать из-за этой черной неблагодарности? Все равно мы с Пьером отказались бы от «такой чести», хотя бы потому, что жене советника парламента нечего было надеть для такого светского приема, нет драгоценностей, чтобы украсить свой наряд.

Бог с ними, оставшимися в Тулузе, вспоминаю о них только для того, чтобы полнее почувствовать в этой свежей горной стране необыкновенную чистоту воздуха, чтобы острее любоваться поражающими воображение пейзажами, отдохновеннее наслаждаться предоставленным в пансионе, где мы остановились, комфортом. В нашей с Пьером комнате есть даже рукомойник с вделанным в мрамор зеркалом, пуховые перины на широкой кровати под балдахином, покойные кресла на белых, гнутых, отделанных золотом ножках. Услужливые горничные в кружевных наколках стараются угадать каждое желание! И никаких забот по дому!.. Все есть как в сказке!..

Любопытны обитатели нашего пансиона. Это и состоятельные люди буржуа из разных стран, и аристократы.

Сразу после приезда мы видели вереницу оживленных людей с альпенштоками и переброшенными через плечи мотками веревок, вышедшими следом за сухопарым и равнодушным проводником, чтобы отправиться в горы.

Я с ужасом подумала, что все эти люди без видимой причины и, конечно, без всякой выгоды для себя станут карабкаться на скалы, срываться с них, подвергаться опасностям снежного обвала, и все лишь ради того, чтобы почувствовать себя на головокружительной высоте. Поистине для того, чтобы решиться на это безрассудство, нужно ощутить головокружение и потерять голову еще внизу! Не могу понять этих людей, а Пьер одобрительно кивал им, незнакомым, провожая в опасный путь.

Мы вышли на вьющуюся змейкой дорогу, некоторое время идя вдали за ними по заросшей травами колее.

И за одним из поворотов были вознаграждены чудеснейшим видом на горный склон и снежную вершину.

Мне бы хотелось описать, что увидела перед собой, но у меня нет таких слов. В рыцарских романах, которыми я увлекалась в монастыре и после него, больше говорилось о красоте чувств, чем о красотах природы.

Но именно они, красоты природы, вызывают во мне самые сильные чувства.

Пьер решительно не умеет отдыхать! Вместо того чтобы бездумно созерцать эту красоту, он размышлял о жизни, связывал с нею увиденное и даже написал об этом сонет, который я переписываю в свою тетрадку, чтобы поразмыслить над ним.

Я в отчаянии оттого, что все труднее понимаю мужа, считая его стихи причудой, которую все меньше и меньше оправдываю.

Но сонет его все-таки переписала:

У юности первый и легкий подъем.
До неба открылись просторы.
Когда мы признанья любимым поем,
Все в жизни — далекие горы!

Пусть там, в поднебесье, и холод и лед,
Под солнцем снега не согрелись.
На склоны и скалы нас властно зовет
Вершины манящая прелесть.

К высотам познанья! За кручей — обрыв!
Дороги орлам незнакомы!

Пройдет человек там, но прежде открыв
Природы и Чисел законы!

Искателей истин судьба нелегка,
Но тень их достанет в веках облака!

Оказывается, сонеты можно писать не только о любви! Для меня это слишком непривычно, я не хотела бы сказать — чуждо, но попросту далеко! А вот тень «жены искателя истин», увы, никогда не достанет облака, хотя судьба у нее так же нелегка! Ой, совсем нелегка!

В этот же день за табльдотом нам предстояло встретиться и с другими обитателями пансиона.

В уютной, отделанной ореховым деревом столовой стояли столики, покрытые вышитыми скатертями, каждый на четверых постояльцев.

Хозяйка пансиона, очень важная седая поджарая дама с высоко вскинутым подбородком и в строгих очках, подвела нас к столику, где сидели двое учтивых англичан. Они вскочили при нашем приближении, а более молодой из них, статный и худощавый, с британскими усами, свисающими по углам рта, услужливо пододвинул мне стул, ожидая, когда я сяду.

Во время обеда, достаточно вкусного и разнообразного, молодой англичанин (я говорю «молодой», потому что он моложе меня, хотя, быть может, и не подозревает об этом!) всем своим поведением подчеркивал свое восхищение мною, своей соседкой, уверяя, что только французские женщины достойны истинного поклонения, и остроумно, а подчас и зло перечислял недостатки женщин всех стран (кроме Франции) — англичанки холодны, испанки несдержанны, итальянки слишком жестикулируют, немки скучно добродетельны, славянки грубы, негритянки слишком черны, а француженки, только француженки пополняют рать ангелов на небесах.

Я смеялась, а он старался еще больше.

После обеда молодой джентльмен галантно предложил нам всем прокатиться в горы на заказанной им коляске.

Пьер и старший англичанин, профессор, кажется, Оксфордского университета, отказались. Меня Пьер не удерживал, и получилось так, что мы с сэром Бигби, как называл его старший спутник, а значит, с лордом, поехали в горы вдвоем. Я впервые встретилась с настоящим лордом и только из любопытства согласилась поехать с ним.

Скажу откровенно, что подобное путешествие небезопасно для замужней женщины. Вечером, вспоминая прогулку, я рассматривала в зеркале свое лицо. Даже странно, что оно так сохранилось за годы семейных забот. Конечно, он не подозревает, что мне уже сорок пять лет, и надеется на легкую интрижку, на которую, как он думает, так падки мы, француженки, «не успевшие пополнить сонм ангелов на небесах»!

На следующее утро он уже ждал у лестницы, чтобы проводить меня в столовую.

Мне кажется, что Пьер был недоволен этим, хотя виду не подал, как всегда уравновешенный, спокойный, доброжелательный.

За столом шел общий разговор, из которого я поняла, что сэр Бигби помощник министра при самовластном Кромвеле, заменившем в Англии короля. Каюсь, это еще больше раззадорило меня, разожгло интерес к англичанину — лорд, да еще министр! Близок с грозой европейских корон! Как взволнуется Сюзанна, узнав о таком знакомстве матери. Клянусь Мадонной, она захотела бы оказаться на моем месте. А я?..

Потом была прогулка. Старший англичанин, с лысиной, которую он прикрывал шляпой с высоченной тульей, старящей его шкиперской бородкой и тяжелой тростью в руках, нашел что-то общее с Пьером. Горячо обсуждая скучную философскую тему, они отстали от нас с сэром Бигби, и он, пользуясь этим, сыпал изысканными комплиментами и старался увлечь меня с дорожной колеи, без устали предлагая руку, в расчете коснуться моей.

Отмечу одну особенность, характеризующую обоих представителей «передовой» Англии: сидя с нами за одним столом, совершая совместные прогулки, ведя беседы о высоких материях или ухаживая за мной, никто из них не поинтересовался, с кем имеет дело. В этом сквозила смесь равнодушия с превосходством над нами, какими-то там французами, скорее всего провинциальными буржуа, не доросшими до их революционных идей.

Что касается меня, то я отнюдь не старалась в беседе с лордом признаться в том, что всего лишь жена судейского из Тулузы, боясь вызвать снисходительное участие к моей незавидной судьбе, которая, конечно же, ни в какой мере его не интересовала, чего нельзя сказать обо мне самой, не утратившей еще женственности.

Я ловлю себя на том, что уподобляясь Сюзанне,

стала слишком много времени уделять своей внешности и даже порадовалась, что захватила с собой купленные к предстоящей ее свадьбе не очень дорогие, но прелестные украшения, которые оказались мне очень к лицу, о чем не преминул заметить мой лорд.

Сегодня за обедом, когда я надела эти украшения, я с ужасом почувствовала, что сэр Бигби как бы нечаянно задел под столом своим коленом мое.

Кровь бросилась мне в лицо, я сколько могла отодвинулась и низко нагнулась над тарелкой, чтобы скрыть свое замешательство.

Но он ничуть не смутился, продолжал ухаживать за мной со светской непринужденностью, предлагая мне то очередное блюдо, то сыр, то фрукты, и снова и снова касался моего колена.

Я не знаю, как высидела до конца обеда, отказалась идти гулять, сославшись на головную боль, и поднялась в свою комнату.

Пьер и английский профессор решили закончить свою беседу о каком-то Картезиусе во время прогулки, а лорд не выразил желания их сопровождать, уверяя, что у него от философии всегда зубы болят.

С бьющимся сердцем сидела я у себя в комнате и, когда раздался робкий стук в дверь, приняла его как нечто неотвратимое.

Это был он, мой английский лорд!

— Я принес вам нюхательной соли, сударыня, чтобы умерить вашу головную боль. Соблаговолите разрешить мне войти, чтобы передать вам ее.

— Нет, нет! — замахала я руками. — Ради всего святого нет! Боже вас сохрани!

— Пусть господь сохранит вас и вашу красоту, самая прекрасная из всех женщин, которые встречались мне и в Европе, и в заморских странах.

Он не уходил, стоя в дверях, уверенный, что сломит своей учтивой настойчивостью мое сопротивление, войдет и...

Сам господь бог послал в тот миг грозу в горах, а мне вернувшегося в ее предвидении мужа.

Он поднимался по лестнице впереди своего английского спутника и увидел в дверях нашей комнаты настойчивого английского лорда.

Тот обернулся к моему мужу и как ни в чем не бывало сказал:

— Я принес нюхательной соли вашей супруге, но не

решаюсь войти. Не откажите в любезности, мой друг, передать ей флакон, чтобы умерить ее страдания.

Пьер молча взял соль и, кажется, даже не произнеся слов благодарности, прошел мимо англичанина к нам в комнату, заперев перед незваным гостем дверь и произнеся по-английски:

— Я сожалею, сэр!

Теперь я ожидала бури, но Пьер ничего не сказал мне.

Однако я поняла, что при всей его отрешенности от происходящего вокруг, оказывается, от него не ускользало ничего из поведения английского лорда по отношению ко мне. И то, что Пьер не упрекнул меня, не предостерег хотя бы, означало лишь присущую ему сдержанность и удивительную доброту, которую он всегда проявлял к людям, в особенности ко мне.

Тем неожиданнее, ошеломительнее для меня было то, что затем произошло и что должно было произойти!

Английский лорд и соратник Кромвеля отнюдь не собирался сложить оружие, он, видимо, поставил себе целью во что бы то ни стало добиться в отношении меня поставленной цели, не видя разумной причины для соблюдения мной верности пожилому мужу, воображая, что я намного моложе его. Просто Пьер выглядел неважно, за последние годы после своего пятидесятилетия пополнел, и лицо его стало усталым. Еще бы! Ведь я-то знала, что украдкой от меня он просиживает ночи за своими вычислениями, которые потом теряет и не может найти, а я... только в этой тетрадке покаюсь, борясь с этим расточительным увлечением... почти с сатанинским ожесточением уничтожала все найденные мной арифметические упражнения, глубоко уверенная, что они решительно никому не нужны, потому что Пьер ни разу не удосужился хотя бы переписать начисто эти записи, не говоря уже о том, чтобы подготовить к печати оплачиваемую книгу, о которой еще четверть века назад писал ему аббат Мерсенн в письме, прочитанном на суде прокурором Массандром.

В горах разыгралась гроза, в окнах все исчезло за мутной пеленой. Прогулки отменились, и мы с англичанами сидели в голубой гостиной.

Озабоченная хозяйка сама проверила, хорошо ли заперты все окна, и удалилась, худая и прямая как жердь.

Мужчины развалились в глубоких креслах.

Сэр Бигби, на этот раз в генеральском мундире, явно красуясь передо мной, о чем то красноречиво вещал, а я так волновалась, чувствуя за каждой сказанной им фразой совсем другое значение, что сейчас даже не могу вспомнить, о чем он говорил с такой надменной важностью, что она не могла не вывести из себя даже Пьера.

Потому и случилось тогда нечто подобное громовому удару.

Собственно, громыхнуло действительно сразу за вспыхнувшей молнией, отчего я непроизвольно втянула голову в плечи и даже перекрестилась, поминая святую Мадонну.

Вспышка сверкнула за окном, так напугав меня, но ведь в гостиной произошло нечто более страшное!

Мгновенно преобразившийся, как от удара молнии, мой Пьер, почему-то обращаясь сразу к обоим англичанам, резко произнес:

— Я бросаю вам вызов!

Сердце у меня упало. Я никак не ожидала, что мой тихий Пьер, который всегда был против кровопролития, может вызвать на дуэль, да еще в чужой стране лорда! И все из-за меня, из-за моего непростительного легкомыслия, которое так осудила бы Сюзанна. Как же я, помня о Самуэле и Сюзанне, о других малых детях, не смогла отстоять свое достоинство жены и матери, не поставила на место не в меру осмелевшего мужчину?

И теперь Пьер погибнет! Погибнет, ибо никогда не держал даже шпаги в руке, а этот самоуверенный сэр Бигби хвастал мне о многих сражениях, в которых он участвовал, выходя победителем в неравных схватках со сторонниками казненного потом короля Карла I и с бунтовщиками в колониях.

Ужас сковал меня, и я не могла произнести ни слова. Нужно было вмешаться, потребовать у лорда извинений, наконец, умолять Пьера отказаться от своего вызова, уговорить обезумевшего мужа! Но я ничего не могла сделать, парализованная, словно взглядом кобры.

А кобра с усами британского генерала холодно произнесла:

— Мы принимаем ваш вызов, сударь.

Я залилась слезами и выбежала из гостиной».

*(На этом запись в дневнике г-жи Луизы Ферма обрывается.)*

Глава вторая

## МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВОЙНА

*Довольно почестей Александрам!*
*Да здравствуют Архимеды!*

А. Сен-Симон

Итак, как нам уже известно, во второй понедельник июля 1656 года магистр Права (и Чисел, поскольку ученые не пожелали отстать от юристов!) Пьер Ферма с женой Луизой, урожденной де Лонг, по случаю двадцатипятилетия их свадьбы впервые отправились на отдых в Швейцарию.

Страна легендарного Вильгельма Телля, уже два с половиной столетия независимая, избегая войн, а лишь отдавая за золото в наем отборные отряды своих воинов для охраны королей, представилась французской паре горным островом среди бушующего моря политических страстей, куда не доходят мрачные тучи с бьющими из них молниями то столетних, то тридцатилетних войн (вынудивших даже папу римского разрешить на какое-то время в истощенных странах многоженство, лишь бы рождались новые солдаты!), не говоря уже о войнах более мелких и менее продолжительных, но так же пожирающих жизнь и кровь людей, однако воспеваемых придворными поэтами и благословляемых отцами церкви, неся славу и богатство одним, нищету, смерть или тяготы другим; эта страна показалась Пьеру Ферма как бы заслоненной снежными хребтами и от интриг «серого кардинала» Мазарини, навязывающего Европе гегемонию Франции, и от тщеславных амбиций вождя английской революции Кромвеля, который сперва допустил пролитие царственной крови, а потом во имя права народа на справедливость узурпировал власть над ним, грозя тем же и соседним странам Европы (совмещая в себе, как блистательно определил впоследствии Карл Маркс, одновременно две такие фигуры грядущей истории, как Робеспьер и Наполеон, о чем, конечно, Ферма не мог иметь представления).

Он лишь, отрешившись от повседневности, любовался оазисом красоты, когда во время прогулки с женой по заросшему проселку увидел будто бы совсем близкий горный склон, волшебно приближенный прозрачным воздухом, хотя лес там выглядел постриженной трав-

кой, примыкая к скалистому обрыву «крепостной стены великанов», воздвигнутой здесь для охраны подступов к снежной вершине, сверкающей на солнце немыслимо огромным алмазом, причудливые грани которого делали небо более синим, более глубоким, даже твердым, где птицы застыли на распростертых крыльях, став его частью, подобно звездам на ночном небосводе.

Вот тогда непроизвольно слагался его «Альпийский сонет», дошедший до нас благодаря счастливо найденной страничке дневника Луизы Ферма, стремившейся понять мужа.

Только спустя столетие после Ферма напишет великий Гёте о том, что «пока поэт выражает свои личные ощущения, он еще не поэт. Но как скоро он усвоит мир и научится изображать его, он станет «поэтом». Не зная этих слов, Ферма все же не считал себя настоящим поэтом, а потому не стремился публиковать свои стихи, ограничиваясь чтением их близким людям, лишив тем самым последующие поколения знакомства со своей поэзией.

Однако сплав поэзии с математикой он считал естественным, преклоняясь и перед античными философами, ставившими стихи и математику рядом, и особенно перед исполинской фигурой Востока Омаром Хайямом, чья мудрость, выраженная в его певучих стихах, основывалась на обширных познаниях и плодотворно углубляемой им самим науке.

Под впечатлением величественного спокойствия и тишины гор Пьер Ферма натянуто принял общество двух англичан, с которыми вместе по укладу пансиона они с женой оказались за одним столиком.

В особенности пустым выглядел один из них с высокомерной светской болтовней и заготовленными комплиментами даме их стола, Луизе.

К счастью, второй англичанин оказался не кем иным, как хорошо известным Ферма по переписке через аббата Мерсенна Джоном Валлисом, профессором геометрии Оксфордского университета, с которым можно было говорить на математические темы. Правда, Ферма не назвался по имени, поскольку англичане не поинтересовались, с кем вместе сидят за одним столиком.

Ферма слишком уважал жену, чтобы лишить ее такого развлечения, как общество сэра Бигби, изощрявшегося в знаках внимания и ухаживании за нею.

Выяснилось (англичане охотно говорили о себе), что

сэр Бигби, в прошлом ученик Джона Валлиса, окончил Оксфордский университет и до сих пор считает себя математиком, хотя поддержка, в свое время оказанная им Кромвелю, возвысила его теперь до положения помощника военного министра.

В непогожий день обычные прогулки стали невозможными, и Ферма с Валлисом вернулись из-за грозы, едва не промокнув до нитки. Вечером Пьер Ферма с Луизой, жалующейся на головную боль, сидели с англичанами в голубой гостиной.

Сэр Бигби, видимо, перешел к штурму выбранной им жертвы и решил ослепить ее блеском своего генеральского мундира, придя в гостиную даже со шпагой на боку, что Ферма отметил про себя с внутренней усмешкой.

Но когда разошедшийся английский лорд и помощник военного министра стал вещать, потряхивая шпагой на дорогой перевязи, всякая усмешка, и внешняя и внутренняя, у Ферма исчезла.

Только привычная для юриста выдержка позволила ему не прервать английского лорда, сначала прославлявшего революцию и борьбу за справедливость, воплощаемую, по его словам, в великом Оливере Кромвеле, лорде-генерале, как он его называл, может быть, желая подчеркнуть, что он тоже лорд и тоже генерал. После подавления движения ловеллеров и диггеров, этих низших слоев общества, тянувших «грязные руки к власти», и установления единовластного протектората вождя, решающей для судеб мира теперь стала собранная им в один кулак сила.

— И он, ваш Кромвель, грозит войной Европе? — спросил Ферма.

— Не Европе, а угнетателям европейских народов. Да, если хотите, сударь, то войной.

— Как же сочетается война с ее узаконенными убийствами с представлением о справедливости, насаждаемым господином Оливером Кромвелем?

— Вопрос наивный, но заслуживающий разъясняющего ответа, сударь. Дело в том, что... (не знаю, насколько это будет близко вам для восприятия), но война — это та чудесная сила, которая двигает вперед человеческое общество.

— Вы не оговорились, сэр? Война — благо? — переспросил Ферма. — Война, а не мир, не благоденствие?

— Нет, нет! Сэр Бигби не оговорился, — поспешил

разъяснить Джон Валлис. — Мы часто с ним спорим, но я думаю, полезно будет попросить его обосновать свою мысль.

— Охотно, профессор! Я привык с давних лет давать вам объяснения еще на экзаменах в Оксфорде.

— Да, да, — кивнул Джон Валлис, — но там была математика.

— И здесь та же математика, если иметь в виду точность выводов, которые я берусь доказать, как любую из теорем Евклидовой геометрии. Вы говорили, сударь, о благоденствии и мире, но, должен вам сказать, что есть вещи поважнее мира *.

— Важнее мира? Что может быть ценнее сохранения жизни?

— Торжество силы! Только сила направляет разум человеческий, только опасность, в которую человек попадает благодаря благостным, пробуждающим его скрытые возможности войнам, заставляющим его собрать и напрячь все силы, думать, искать, изобретать. Даже великий Архимед делал свои изобретения ради военных успехов родных Сиракуз. Человеческий ум, джентльмены, ленив и неподвижен в своей сущности. Нужно загнать его в угол, дать ему встряску, чтобы пробудить его, заставить работать как бы под кнутом надсмотрщика, стегающего бездельников на плантациях в колониях. Только боль ран и потерь, стремление выжить, остаться живым, сохранить свои богатства, владения, самостоятельность, избежать рабства или чужой зависимости — вот рычаги, которые заставляют человека, как мечтал еще Архимед, говоря о точке опоры для своего рычага, поворачивать с его помощью мир. Нет занятия более достойного, сударь, более важного для развития человечества, чем возвеличивание нации и отстаивание ее достоинства, чем война!

— Ваша философия насилия как побудителя расцвета цивилизации не делает чести вашей нации, сударь, — возразил наконец Ферма.

— Что? Что вы осмелились сказать о достоинстве моей нации? — поднял великолепные брови, готовясь вскочить с кресла, сэр Бигби.

---

* Эта мысль была высказана британским генералом на три с четвертью столетия раньше, чем в наше время (когда она звучит уже угрозой самому существованию человечества) американским генералом Александром Хейгом в бытность его государственным секретарем в администрации президента Р. Рейгана. *(Примеч. авт.)*

— Джентльмены, джентльмены! Прошу вас! Не стоит так обострять вопрос, — пытался смягчить спор профессор Валлис.

— Нет, профессор, господин француз заставляет меня отнестись к затронутому вопросу о достоинстве нации со всей серьезностью, поскольку это граничит с вызовом нам, англичанам.

— Вы совершенно правильно поняли меня, сэр. Я делаю вам вызов! — раздельно произнес Ферма.

— Каков бы он ни был, мы принимаем его! — запальчиво произнес сэр Бигби, вскакивая с места.

Но тут произошло замешательство. Луиза, весь день жаловавшаяся на нездоровье, прижав платок к глазам, не в силах, очевидно, дальше сдерживать нестерпимую головную боль, выбежала из голубой гостиной.

Ферма проводил жену до лестницы и вернулся:

— Я делаю вам вызов, джентльмены, как представителям английской нации и как математикам.

— Математикам? — оторопело повторил сэр Бигби, снимая руку с рукояти шпаги, за которую перед тем ухватился.

— Да, я предлагаю вам защитить достоинство вашей нации без шпаг, в «математической войне», требующей не крови, а напряжения ума.

— Чего же вы хотите, сударь? — поинтересовался Джон Валлис.

— Пустое! Предлагаю вам решить коротенькое уравнение, которое исследовал еще Евклид в своих «Началах».

— Какое? Какое? — заинтересовался Валлис. — Я, кажется, неплохо знал «Начала» Евклида.

— Тогда вы легко вспомните такое простенькое выражение, как $y^2=ax^2+1$.

— Еще бы! Так что вы хотите от нас, наш французский друг и противник?

— Найти наименьшее значение неизвестных «x» и «y», имея в виду, что общее количество решений бесконечно.

— Вы смеетесь над нами, сударь. Что может быть проще? — продолжал Джон Валлис, в то время как сэр Бигби, надувшись, сидел молча. — Совершенно ясно, что наименьшее из всех возможных решений при $a=2$, $x=2$ и $y=3$! Не правда ли? Надеюсь, я защитил достоинство британской нации?

— Не полностью, дорогой профессор. У Диофанта в его «Арифметике» рассмотрены два случая, когда $a=26$ и $a=30$.

— Да, да, кажется, там есть такое. Вы этого не помните, сэр Бигби? — обратился профессор к своему бывшему ученику.

— Не помню. В последнее время я занимался в заморских странах другими древностями.

— Диофант дает наименьшие значения «х» и «у» для этих случаев, но если мы уже заинтересовались древней историей, то стоит вспомнить того же Архимеда. Великий сиракузец, желая проверить, имеют ли александрийские математики общий метод решения подобного уравнения, как известно, предложил им задачу «о быках», которая сводилась при решении к этому же уравнению, где коэффициент $a=4729494$, понимая, что решить такую задачу подбором, как это вы сделали, уважаемый профессор, для $a=2$, невозможно, ибо решение содержало 206 545 знаков.

— И что же? Вы предлагаете нам заняться архимедовыми быками? — насмешливо спросил сэр Бигби. — И выписывать сотни тысяч знаков?

— Я предлагаю вам решить уравнение при $a=109$, 149 и 433*, когда подбор так же невозможен, как и в задаче, заданной александрийским математикам, хотя цифры и не столь велики. Чтобы дать ответ, вам и вашим английским коллегам, к которым я через вас обращаюсь, придется найти общий (регулярный) метод решения, а если ни ученые Англии, ни ученые прилегающих к ней стран не смогут этого сделать, то это будет сделано во Франции, чем и будет доказано превосходство одной нации над другой, в частности французской или британской.

— Сэр Бигби поспешил ответить вам, что каков бы ни был ваш вызов, мы принимаем его, — произнес после раздумья Джон Валлис. — Мне остается только под-

* В своем знаменитом «втором вызове» английским математикам в феврале 1657 года Пьер Ферма, предложив им решить указанное уравнение с названными коэффициентами, писал: «Я жду решения этих вопросов: если оно не будет дано ни Англией, ни Бельгийской или Кельтской Галлией, то это будет сделано Нарбоннской Галлией...» Уравнение это, получив название уравнения Пелля (без достаточных исторических оснований), теперь охотнее именуется уравнением Ферма, исследованное впоследствии Эйлером и окончательно проанализированное Лагранжем. *(Примеч. авт.)*

твердить его слова, отнюдь не преуменьшая связанных с этим трудностей.

— Но эти трудности, уважаемый профессор, несопоставимы с теми тяготами и лишениями, которые несет нация, участвуя в якобы благостных, по мнению сэра Бигби, войнах.

— Вижу, вы недаром назвали свой вызов «математической войной». Однако, принимая ваш вызов от имени нас двоих, сударь, я должен ознакомить с ним математиков Англии.

— Можете познакомить с моим вызовом хоть самого лорда-генерала Оливера Кромвеля.

— Это будет рискованно сделать, сударь: с лордом-генералом общаются лишь руководители европейских государств.

— Передайте тогда, что я сделал вызов британской нации по совету кардинала Мазарини, данному мне еще при жизни его высокопреосвященства кардинала Ришелье, проявлять патриотизм француза и в науке.

— Тогда другое дело, сударь. Но позволительно все-таки узнать, о чьем именно вызове надлежит нам сообщить лорду-генералу, каково имя человека, рискнувшего вызвать целую нацию?

— Охотно назову себя, профессор. Я сожалею, что мне не представилось случая сделать это прежде, за отсутствием вашего любопытства, джентльмены.

— Поверьте, сударь, теперь оно крайне обострено и мы сожалеем о своей недостаточной учтивости к человеку, очевидно, обремененному научными знаниями и доктора наук, и профессора.

— Вы ошибаетесь, Я всего лишь любитель! Правда, мне присудили степень магистра Чисел, право, не знаю за что, поскольку я не опубликовал ни одной книги, а в своих письмах сообщал лишь выводы, к которым приходил, предлагая другим найти ведущие к ним пути. Во всяком случае, делая свой вызов английским ученым, сообщаю, что метр Пьер Ферма к их услугам.

Трудно передать то впечатление, которое произвело на англичан это скромное имя.

— Пьер Ферма! — воскликнул после затянувшегося молчания Джон Валлис. — Отчего же вы не назвались нам раньше?

— Мне показалось, что уважаемые джентльмены не проявляли интереса к именам своих собеседников.

Англичане смущенно переглянулись.

— Мы сожалеем, сударь. Теперь все будет по-иному. Мы принимаем ваш вызов...

Джон Валлис оборвал свою фразу, заметив, что в голубую гостиную, громыхая оружием, ворвались два рослых альпийских стражника в сопровождении поджарой, дышащей гневом хозяйки пансиона:

— Вот он, скорее вяжите его! Он в стенах моего заведения осмелился сделать вызов, вынуждая почтенных постояльцев принять его.

Стражники грубо схватили Ферма за руки.

— Вы с ума сошли! — запротестовал Ферма, глядя на растерявшихся англичан, которые не решались прийти к нему на помощь.

— Это мы с ума сошли? — переспросил капрал. — Не добавляйте к своей вине еще и оскорбление властей! — И старший из стражников угрожающе зашевелил пышными усами.

Англичане сделали попытку уговорить капрала, но тот никого не хотел слушать, ссылаясь на приказ офицера.

К счастью, Луиза, лежавшая в своей комнате, не видела позорной сцены, когда ее мужа повели под стражей по той самой заросшей колее, по которой они недавно гуляли вместе, любуясь видом на горы.

Сейчас Пьер Ферма не видел ничего. Опустив голову, он размышлял о нелепости своего положения, когда нет никакой возможности в чем-то убедить этих тупоумных альпийских стражей, вообразивших, будто он кого-то намеревался убить.

Горная вершина, сверкая снежным покровом, как и прежде, высилась, словно вырезанная в синем небе, но Пьер Ферма мыслями был в далеком Париже, где его вот так же вели под конвоем в Бастилию. Но тогда он даже радовался этому, стараясь уберечь Декарта, а сейчас... сейчас он всего лишь бросил вызов всей Англии во главе с самим Кромвелем!

Но как доказать этим, что он предлагал соревнование умов, а не кровопролитие, как доказать, что его напрасно тащат к альпийскому офицеру за попытку убийства «мирного» постояльца пансиона «Горная курочка»?

Поймет ли что-либо офицер?

Глава третья

## КОРЕНЬ КУБИЧЕСКИЙ

*Все жалуются на свою память,*
*но никто не жалуется на свой ум.*

Ф. Ларошфуко

Командир роты альпийских стражников (одно время в местном кантоне они представляли собой нечто среднее между жандармами, пограничной охраной и спасательной командой в горах) лейтенант Анри Бернард отнюдь не считал себя баловнем судьбы. Вся его жизнь казалась ему лестницей неудач, начиная с проклятой ступеньки экзаменов в колледже, где он провел последние годы, занимаясь игрой в мяч, скалолазанием и другими физическими упражнениями, ненавидя таблицу умножения, где почему-то $5\times5=25$, $6\times6=36$, а $7\times7=49$ (?), чего никак не удавалось ни понять, ни запомнить из-за «дырявой», как жаловался Анри Бернард, памяти.

Словом, диплома об окончании колледжа он не получил, не попав на выгодную службу к отцу, где непременно требовалось искусство счета.

Происходя из знатной семьи кантона, имея отца, державшего в Цюрихе заемную контору (прообраз будущих швейцарских банков), Анри Бернард мог бы надеяться на удачу, но крутой нрав родителя не допускал, чтобы человек, не умеющий считать, взялся бы за работу в его конторе или в любом торговом заведении. Он даже готов был лишить нерадивого сына наследства, но все же помог ему получить офицерский чин и пойти на военную службу, что в Швейцарии означало вступление в наемные войска с отправкой в другие страны, к чему Анри Бернард был совершенно не расположен, влюбленный в прелестную Женевьеву, дочь отцовского компаньона.

При решении вопроса о месте прохождения военной службы неожиданно сыграли роль его безрассудные, по мнению отца, восхождения на труднодоступные вершины, и вместо отъезда к иноземному королевскому двору лейтенант Бернард попал в высокогорную глушь командиром роты альпийских стражей, с которыми вместе карабкался по отвесным скалам, чтобы выручить незадачливых гостей кантона, так же безрассудно, как

и он когда-то, штурмующих вершины. В остальном жизнь в горной солдатской хижине была одуряюще скучна, не говоря уже о тоске по Женевьеве.

Обычно тихий, задумчивый, высокий, как отец, но нескладный и на редкость бесцветный, с плоским лицом и пшеничного цвета растительностью, бровями, ресницами, усами, волосами, Анри Бернард к вечеру обычно пребывал в самом скверном расположении духа, когда являл сам себе полную противоположность, становясь подозрительным, злым, несправедливым, готовым выместить на других свои неудачи. Солдаты старались в такие минуты не попадаться ему на глаза.

Но у конвоиров, доставлявших в расположение роты задержанного толстеющего француза, уже в возрасте, с длинными, по плечи волосами и чуть одутловатым лицом, выбора не было, в каком бы настроении лейтенант ни оказался.

И Пьер Ферма предстал перед развалившимся на скамье у грубо сколоченного дощатого стола лейтенантом, смерившим его недружелюбным взглядом.

— По требованию хозяйки пансиона «Горная курочка» этот ее постоялец был взят под стражу, господин лейтенант, за то, что сделал вызов другим двум постояльцам в нарушение конституции кантона, — бойко доложил капрал, бравый и усатый.

— Так, так! Правильно скручено, капрал. Вы отрицаете, сударь... э-э... что сделали вызов?

— Нет, не отрицаю, господин лейтенант, но...

— Какое еще «но»! Признаетесь, значит, виновны. И все тут!

— Не совсем так, господин лейтенант. Дело в том, что я Пьер Ферма, математик, сделал вызов англичанам, объявляя им математическую войну.

Анри Бернард наморщил лоб, сопоставляя несопоставимое:

— Еще того лучше! Он на территории кантона... э-э... объявляет войну! Вина тем усугубляется. Каждый въезжающий в нашу страну чужеземец должен знать ее законы.

— Ваши справедливые законы, господин лейтенант, запрещают кровопролитие, что позволяет Швейцарии так процветать, но я ведь вызвал англичан на математическую войну.

— Какую еще там... э-э... математическую войну?

Это когда математики подсчитывают число убитых и раненых?

— Никаких убийств, господин лейтенант! Только состязание в способности к математическому мышлению.

— Математика?.. Э-э... То, что вы нарушитель законов кантона, ясно, а вот... э-э... насчет математики...

— Я легко докажу, что это моя область.

— Интересно, как это вы мне... э-э... докажете?

— Я сделаю самое трудное математическое вычисление в вашем присутствии с молниеносной быстротой.

— А как я вас проверю?

— Очень просто. Я не говорю о таких доступных задачах, как сложение, вычитание, умножение или деление, даже возведение в степень...

— Ну-ну! И что еще придумаете?

— Скажем, извлечение корня. И не квадратного, а посложнее, кубического корня, хоть из шестизначного числа. Согласитесь, что это выглядит не таким простым делом.

— Извлечение кубического корня? Что-то слышал об этом, как о самом заковыристом деле. А шестизначное... э-э... это очень большое число...

— Возведите в третью степень любое двузначное число, господин лейтенант, и произнесите вслух полученное пятизначное или шестизначное число. Пока вы его объявляете, я назову вам ответ.

— Что-то очень хитро... э-э... и, конечно, невозможно.

— Но это самый простой способ убедиться в том, что вы имеете дело с математиком.

— Да... но нужно перемножать двузначные числа — это целая чертовщина.

— Поручите это господину капралу или еще двум-трем из ваших стражников.

— А ну! — скомандовал лейтенант капралу. — Вызовите мне интенданта роты. — И он обернулся к Ферма: — Сейчас, сударь, этот парень выведет вас на чистую воду. Меня еще можно одурачить вашими фокусами, но не его! Он ведет в нашей роте... э-э... весь счет, платит за провиант, амуницию, офицерское жалованье и... э-э... ну да это неважно. Считать он умеет. И за себя, и за других.

— Мне только это и надо, господин лейтенант.

Вошел еще один капрал, низенький и юркий, с бегающими маленькими глазками и хитроватой усмешкой под солдатскими усами.

— Капрал! Этот правонарушитель утверждает, что извлечет кубический корень... э-э... как это... из шестизначного числа раньше, чем вы успеете его произнести. Как? Возможно это?

— Никак нет, господин лейтенант, невозможно, клянусь господом богом.

— Всегда считал вас добрым христианином, когда вы клялись так при сложных... э-э... расчетах. Тогда... как это называется?.. Ну, возведите в третью степень, что ли, двузначное число. Садитесь вот здесь и пишите. А ты, капрал, — обратился он к старшему конвоиру, — делай то же самое на другом конце стола. Это, чтобы не переврали... э... покажите один другому начальные цифры.

Капралы обменялись взглядами, и, что-то шепнув друг другу, сели на разных концах стола, и, сопя и кряхтя, принялись перемножать двузначные числа, чтобы получить их куб.

Интендант закончил вычисление раньше и, прижимая к груди аспидную доску, на которой писал мелом, долго с сожалением и превосходством смотрел на своего соратника, трудившегося с гусиным пером и листком бумаги, высунув кончик языка.

Наконец и тот закончил, но, видимо, ошибся, потому что интендант заставил его пересчитать. И только после этого, сверив полученные результаты, интендант передал аспидную доску командиру.

Ферма чуть искрящимися от внутреннего смеха глазами наблюдал за этой забавной процедурой.

Лейтенант же торжественно с отчетливой раздельностью произнес:

— Пятьдесят тысяч...

— Тридцать... — тихо вставил Ферма.

— ...шестьсот пятьдесят три, — закончил лейтенант и услышал конец фразы Ферма:

— ...семь. Тридцать семь, с вашего позволения.

— Чертовщина! — всполошился лейтенант. — Э-э! Мошенничество! Еще одна ваша вина! Вы, сударь, обладая... э-э... завидным слухом, подслушивали, как капралы обменивались начальными цифрами, и назвали их теперь, будто вычислили!

Ферма пожал плечами:

— Ваши подчиненные могут выйти из помещения и вернуться с готовым результатом, господин лейтенант.

— И правда! Капралы! Марш из казармы! И помножьте мне там... э-э... что-нибудь побольше.

Капралы послушно ушли и вернулись через несколько минут, многозначительно передав командиру аспидную доску.

Лейтенант зловеще провозгласил:

— Шестьсот восемьдесят одна тысяча...

— Восемьдесят, — без промедления вставил Ферма.

— ...четыреста семьдесят два! — закончил лейтенант и услышал, сам себе не веря, конец ответа Ферма:

— ...восемь. Восемьдесят восемь, сударь!

— Вы — колдун! Вас надо было бы в прежние времена передать инквизиции и сжечь на костре.

— Здесь нет ни колдовства, ни секрета, господин лейтенант! Через полчаса вы будете проделывать то же самое.

— Я? Э-э!.. Как это так?

— Нет ничего проще, надо только запомнить восемь цифр.

Два капрала, шевеля усами, уставились на колдуна.

— А ну... э-э... Выйти всем! — скомандовал лейтенант.

Стражники покорно исчезли из хижины.

— Так вы хотите сделать из меня... э-э... математического волшебника, что ли?

— Нет, просто ознакомить вас с некоторыми приемами теории чисел, очень простыми. Вы заметили, что я назвал первую цифру ответа, едва вы произнесли первые две, три цифры многозначного числа, говоря мне, сколько тысяч в нем. Мне этого достаточно, чтобы уже знать, сколько десятков двузначного числа надобно возвести в третью степень, чтобы получить чуть меньшее число тысяч. А когда вы заканчивали произнесение всего числа, то меня интересовала лишь последняя цифра, ибо каждому числу в кубе соответствует лишь определенная цифра извлеченного из него кубического корня.

— Э-э... — наморщил лоб лейтенант. — Как же в этом разобраться?

— Запишите себе восемь цифр.

— Сейчас, сейчас, сударь, — заторопился лейтенант. — Только очиню перо. Этот капрал так... э-э... им царапал, что и писать теперь нельзя.

— Запишите, потом запомните.

— А вы их наизусть знаете?

— Конечно. И вы так же знать будете, если хотите показать людям свое необычайное уменье счета.

— Э-э! Вы попали в самую точку, сударь. Вы даже не представляете, как мне это надобно.

— Тогда пишите: единица всегда единица. $2^3=8$, $3^3=27$, $4^3=64$, $5^3=125$. Эти цифры нет ничего проще запомнить. И еще $6^3=216$.

— А как их выучить? — горестно спросил лейтенант.

— Хотя бы так: двойка в кубе — это сколько клеток в ряду на шахматной доске.

— Восемь.

— Ну вот видите! Вам этого уже не забыть! Простите, сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Как удачно! Тройка в кубе! Запомнили? А четверка в кубе — 64. Как раз столько клеток на всей шахматной доске.

— Верно, сударь.

— Пятерка в кубе — сто двадцать пять. Первые две цифры 1, 2 в сумме дают куб, а третья — вашу пятерку. Ясно? Теперь шестерка в кубе — 216. Опять первые две цифры в сумме дают куб, только расположены в обратном порядке, а последняя цифра — шестерка, которую мы возводили в куб.

— А ведь, пожалуй, так можно и запомнить. Что-то нас... э-э... не так учили...

— Зазубривать вас учили. Один мой друг, великий философ Рене Декарт, пишет, что «для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать».

— Это верно, сударь. Мудрый у вас друг.

— Это не мешает нам с ним спорить порой.

— Вот и мне теперь хочется поспорить с вашими цифрами в кармане.

— С кем поспорить?

— С отцом, ох как надо поспорить с ним!

— Итак, остались только три числа $7^3=343$. Это число начинается (или кончается) тройкой, то есть кубом. А сумма оставшихся цифр дает первоначальное число — семерку. Чувствуете общую закономерность? Не зазубривать, а размышлять!

— Конечно, чувствую, размышляю, даже вижу! — обрадовался лейтенант. — До чего интересно!

— Я рад, что это вас заинтересовало.

— У меня тут... э-э... не просто любопытство, если бы вы знали, сударь. Кажется, от ваших цифр будет зависеть... э-э... мое счастье.

— От души вам его желаю. Итак, еще два числа: $8^3=512$. Как видите, последние цифры опять единица и двойка — в сумме куб, а все вместе цифры дают в сумме восьмерку! И наконец, последнее: $9^3=729$. Вглядитесь в это число. Последняя цифра наша девятка, а две первые, как и $3^3$, читаются как 27 (только в обратном порядке) — ваш возраст.

— Ну, в прямом чтении это возраст моего отца. Тоже запоминается. Теперь, будьте уверены... э-э... научусь запоминать!

— Вернемся к нашим недавним вычислениям и разоблачим чудо. Помните, когда капралы нашли число 50 тысяч, я уже знал, что это меньше 64 и больше 27, едва вы это произнесли, значит, первая цифра ответа будет 3 (десятка). Когда вы закончили чтение всего числа 50 653, то оно кончалось на тройку, а тройку в третьей степени может дать лишь семерка. Вот и ответ — 37!

— До чего просто, — восхитился лейтенант.

— А в последнем случае 681 тысяча была меньше 729, но больше 512. Значит, десятков будет 8, а последняя цифра 2 требовала только цифру 8. Вот и ответ — 88!

— Вот это то, что мне надо, сударь! Э-э!.. Теперь я им покажу, как надо уметь считать!

Ферма с улыбкой наблюдал за происшедшей в лейтенанте переменой. Его бесцветность как бы исчезла, так он оживился, выпрямился, засверкал глазами.

Командир вызвал капралов и, глядя в бумажку с девятью числами (единицу он тоже записал), заявил, что это лишь на первое время, пока не запомнит накрепко, заставил подчиненных упражняться в арифметике, возводя в куб различные числа и с восторгом извлекая из шестизначных нагромождений кубические корни за считанные секунды, чем ввергал капралов в полное изумление и даже панический ужас, ибо им вполне могло показаться, что приведенный из пансиона чернокнижник познакомил их лейтенанта с нечистой силой.

Лейтенант приказал оседлать двух лошадей и при лунном свете самолично проводил Пьера Ферма до пансиона «Горная курочка».

Несмотря на поздний час и бережливость хозяйки, в гостиной все же горели свечи.

Англичане обрадовались появлению Ферма, хотя у сэра Бигби был измученный вид:

— Я рад, что вы вернулись, сударь, но в ваше отсутствие, да еще и ночью, я не рискнул беспокоить вашу супругу. Вы крайне обяжете меня, если вернете мне флакон нюхательной соли, так как у меня нещадно разболелась голова от всех перенесенных здесь волнений.

Ферма, поднявшись по лестнице, через некоторое время принес скисшему генералу его флакон, а Луиза ждала возвращенного ей мужа на лестничной площадке, чтобы повиснуть у него на шее с заглушенными рыданиями.

Лейтенант Анри Бернард все последующие дни мучил своих капралов до полного изнеможения, заставляя их умножать и умножать двузначные числа до получения их куба, а потом с наслаждением извлекал из полученных результатов кубические корни. И к тому времени, когда он от частого употребления вызубрил наконец названные ему Пьером Ферма числа, то невольные его помощники уже назубок знали все кубы чисел от единицы до ста, хотя и не имели представления о теории чисел, с которой ознакомил их лейтенанта французский математик. Все достигается упражнениями, вольными или невольными!

Ко дню возвращения супругов Ферма из Швейцарии лейтенант Анри Бернард, получив кратковременный отпуск, прибыл в Цюрих.

Уединившись с отцом в его узком, как коридор, кабинете, Анри признался, что в нем проснулся необыкновенный математик, способный творить чудеса. Отец не поверил, но, когда сын стал безошибочно извлекать кубические корни из шестизначных чисел, уверился в сошествии на сына необыкновенного дара благодаря услышанным господом богом отцовским молитвам.

И по особому приглашению в дом Вильгельма Бернарда собрались: его компаньон Питер Бержье, два профессора математики лучших колледжей страны господа Штейн и Маркштейн, лысый доктор Фролистер, прославленный целитель и несомненный ученый, а также епископ местной епархии его преосвященство господин Мариане со своим секретарем аббатом Виньвьетом, человеком всезнающим и сугубо полезным.

Перед этим почтенным собранием и выступил храбрый лейтенант, прежде всего принеся молитву всевышнему, а потом предложив присутствующим возвести в куб любое двузначное число, из которого он якобы может извлечь кубический корень с немыслимой быстротой.

Пока профессора математики Штейн и Маркштейн занимались арифметическими вычислениями, его преосвященство епископ Мариане по-отечески вел беседу с Анри о душе, святой вере и спасении, его же секретарь аббат Виньвьет с видом ищейки осмотрел обширную гостиную с грубой альпийской мебелью, чтобы выявить приспособления, пригодные для обмана, сигнальные карты и прочие атрибуты фокусников, однако ничего не обнаружил. Доктор же Фролистер, смерив пульс Анри и приложившись ухом к выпуклой его груди, установил, что тот находится в полном здравии.

Тогда по знаку Вильгельма Бернарда профессора стали поочередно называть самые трудные, на их взгляд, шестизначные числа, извлечение кубического корня из которых даже у них потребовало бы до получаса времени, а то и больше!

И десятки раз ответ Анри звучал раньше, чем Штейн или Маркштейн заканчивали провозглашение исходного числа, притом абсолютно без всякой задержки, без необходимого для вычислений времени, словно читая в мозгу математиков верные ответы.

Профессора Штейн и Маркштейн признали все ответы правильными, а быстроту счета не поддающейся осмыслению.

Епископ с аббатом должны были решить, не причастен ли к этому враг человеческий. Но оснований не нашли, поскольку Анри начал свой сеанс с молитвы, а произнося ответы, крестился.

Доктор же Флорист подтвердил, что Анри называл ответы, не находясь в припадочном состоянии.

Словом, признание сошедшего на Анри свыше дара было всеобщим и безусловным.

Вильгельм Бернард праздновал полную победу, словно сбил стрелой яблоко с головы любимого сына *.

Облобызав Анри, он объявил, что тот может выхо-

---

* Швейцарская легенда повествует о необычайно метком стрелке, народном герое Вильгельме Телле, которого враги принудили сбить стрелой яблоко с головы любимого сына. *(Примеч. авт.)*

дить в отставку и приступать к работе в семейной заемной конторе.

Однако всеобщим разочарованием могла бы стать, безусловно, неуместная шутка Анри, будто никакого дара к быстрому счету у него нет, а что он просто усвоил некоторые правила теории чисел.

Шутка молодого Бернарда вызвала лютую бурю возмущения и негодования почтенных зрителей проведенного математического сеанса и совсем не шутивших, Анри понял, что ему никто не желает верить, обвиняя его в неуважении к собравшимся и даже к святой церкви.

Пришлось Анри, потупив глаза, «признаться», что он всего-навсего хотел этим неуместным заявлением проверить, как глубоко впечатление от знакомства с его обретенным по воле господа даром.

Все закончилось ко всеобщему удовольствию, Анри пожурили за присущее молодости неразумие и даже озорство, прочитали ему нотации, как хранить дарованную ему способность творить чудеса, в чем приняли участие все, начиная с отца и господина Бержье и кончая профессорами, врачом и епископом с аббатом. Анри выслушал всех с опущенной головой и потупленным взором, думая о Женевьеве, ожидавшей своей судьбы в соседней комнате и, быть может, заглядывающей в замочную скважину.

Вскоре Анри вышел в отставку и занял место в отцовской конторе, с ужасом убедившись, что там вовсе не требуется извлекать кубические корни и надо делать вид, что совершаешь чудеса, едва справляясь с черновой работой.

Через год, списавшись с Пьером Ферма, он приехал с молодой женой в Тулузу, чтобы одолеть при его помощи и другие приемы быстрого счета.

Спустя десять лет, уже после кончины отца, он стал видным банкиром Цюриха, с достоинством неся бремя признанного «математического чуда века», а мысленно благодаря военную службу, занесшую его в солдатскую хижину вблизи пансиона «Горная курочка».

Между тем математическая война между Англией и Францией разгоралась до необычного накала, привлекая к себе внимание не только ученых, но и государственных деятелей обеих стран.

Профессор Оксфордского университета Джон Валлис собрал всю связанную с «вызовом» французского математика переписку, изобилующую и яркими находками, и острыми выпадами, и издал ее отдельной книгой *.

### Глава четвертая

## БИНОМ ФЕРМА

*Делай великое, не обещая великого.*

Пифагор

Старинный запущенный сад де Лонгов благоухал.

Жадный запах полонивших все трав спорил с робким и печальным ароматом все-таки распустившихся в зеленой чаше, когда-то ухоженных, а теперь одичавших цветов.

Яркое солнце наполняло сад такой жизненной силой, что, поднимая стебли, множа листья, расцвечивая лепестки, она превращала остаток своей мощи в дурманящий аромат, способный воскресить давно забытое, ушедшее, минувшее тридцать лет назад, когда двое молодых людей, вчера еще незнакомых, разговаривали друг с другом, прикрываясь ничего не значащими словами, но передавая тревожно бьющимся сердцам нечто особенно важное, безмерно тайное и самое для них главное, что определит их грядущую судьбу.

И вот те же люди, став на три десятилетия старше, вновь брели по той же самой, теперь грустной аллее, снова передавая друг другу невысказанные мысли, но уже не с помощью загадочных способов, доступных лишь влюбленным, а благодаря тому, что изучили за четверть века друг друга настолько, что знали, кто о чем подумает и что скажет.

— Хотелось бы сорвать тебе розу, да ведь обдерешься весь о шипы, — заметил Пьер Ферма, протягивая руку к старому разросшемуся кусту.

— Побереги камзол, — остановила его жена и до-

---

* Переписка ученых, собранная Джоном Валлисом, вошла приложением к третьему тому сочинений Пьера Ферма на французском языке в 1679 году, выпущенным его сыном Самуэлем. *(Примеч. авт.)*

бавила с горечью: — На случай, если граф Рауль де Лейе пригласит нас к себе в замок.

Когда проживешь вместе жизнь, поймешь горькую мысль, что по его, Пьера, милости они не настолько богаты, чтобы бросаться пистолями или гинеями, и он не может купить себе новый камзол. Но услышал Пьер только упоминание о Рауле.

— Боже мой! Сколько можно о нем говорить! — раздраженно сказал он. — Граф давно забыл о моем существовании.

— Вы оба забыли друг друга, — с обидой за мужа сказала Луиза. — И совершенно напрасно забыли!

«И нельзя теперь обратиться к нему за помощью, чтобы не переезжать, — подумал про себя Пьер, — в это запустение, доставшееся Луизе в наследство от де Лонгов, и не продавать городского дома!»

— Что делать! — вздохнул Пьер Ферма. — Надо привести все в порядок.

— Чьими руками? — только и спросила Луиза, но в словах ее слышались слезы.

Конечно, они не могут нанять садовника, слуг, плотников, могущих исправить перекосившиеся окна и косяки дверей. Это знал Пьер и, защищаясь от несносных забот, воскликнул:

— Боже мой! Но как-нибудь это можно сделать? Ты же все можешь!

— Ах эти «могущие все руки»! — с усмешкой произнесла Луиза, поднося руки к глазам. — Если бы сэр Бигби знал, что на них ложится!

— Все вспоминаешь английского лорда?

— Уж я-то с ним не переписываюсь!

— Наша переписка касается только моего «вызова» английским математикам!

Уж лучше бы Пьер не упоминал о математиках! Он знал, как действует слово «математика» на жену, которая вполне справедливо считала, что это занятие мужа, как и его поэзия, не принесло ему никакого дохода. И еще знала, что такое растущие долги, знала и как хозяйка, и как мать подрастающих дочерей! И она с горечью сказала:

— Математика! Мне кажется, что я усвоила теперь и что такое нуль, и что такое отрицательные числа.

Пьер понял ее намек на пустой карман и на долги, которые, конечно же, измотали ее, бедную. Стараясь

отвлечь жену от невеселых мыслей, он попробовал пошутить:

— Ты делаешь несомненные успехи в математике, хотя и недолюбливаешь ее, однако оперируешь такими понятиями, как нуль и отрицательные величины.

— Еще бы! Я устала и от того и от другого!

— Так не посидеть ли нам на скамеечке, — с улыбкой предложил Пьер.

Она посмотрела на него своими глубокими, когда-то синими, а теперь начинающими выцветать глазами и сказала:

— А ты не боишься, что нам придется сидеть в долговой яме?

— Ну почему же? Я ведь все-таки работаю.

— Ах, если бы работать и зарабатывать было бы одно и то же!

— Что ты имеешь в виду?

Пьер спросил, хотя хорошо знал, что у него нет больше таких ярких дел, как «спасение графа Рауля де Лейе», поставившее их когда-то на ноги. Казалось, вне всякой связи с предыдущим разговором Луиза сказала:

— Сюзанна вне себя из-за нашего переезда за город.

— Почему же? — удивился Пьер.

— Она говорит, что ей не с кем видеться здесь. И правда, даже до церкви нам добраться — целое событие.

— Что? Массандры приглашали? — догадался Пьер.

Она кивнула и поднесла платок к глазам, что означало невозможность бедной девушке воспользоваться этим приглашением, потому что нет ни кареты, ни выезда и она не может идти пешком по пыльной дороге в своем перешитом из материнского платье!

— Ну, у нее, по крайней мере, есть теперь хоть какое-то приданое, — растерянно напомнил Пьер.

— Кто же об этом узнает, когда мы загнаны сюда?

— Ну нельзя же так! — поморщился Пьер. — Ты жила с отцом в этом доме, и тебе это не помешало выйти за меня замуж.

— Не тронь этого! Не тронь! — простонала Луиза и зарыдала, уткнувшись лицом в платок. — Меня находили здесь женихи, а я...

«Отказывала им, чтобы теперь страдать со мной», — добавил про себя Пьер.

— Это все из-за того, — сквозь слезы улыбнулась

Луиза, — что моя тень никогда не достанет облака, а волочится по земле... за тобой, — добавила она совсем тихо и пошла, не оборачиваясь, по дорожке.

Пьеру было бесконечно жаль ее — он не сумел дать ей всего, что она заслужила. Весь поникнув, опустился он на скамейку, слушая шуршание удаляющегося платья.

Свесив на грудь голову, он задумался. Длинные седеющие волосы прикрыли ему лицо.

Из глубокого раздумья его вывел звук приближающихся шагов.

Он подумал, что это возвращается Луиза или послала за ним кого-нибудь из детей, но, подняв глаза, увидел, что по аллее идет статный и элегантный молодой человек с тросточкой, в светлой шляпе с высокой тульей (прообраз будущего цилиндра), в белых перчатках, в панталонах с изящными бантами, в чулках и модных ботинках.

— Самуэль! — воскликнул Пьер Ферма, вскакивая навстречу сыну. — Как я рад твоему приезду!

— Не более меня, видящего тебя! — с улыбкой произнес щеголь, целуя отцу руку и обнимаясь с ним.

— Ну как? Что ты? Каковы твои дела? — обрадованно спрашивал счастливый отец.

— Благодаря тебе все великолепно, отец! Перед тобой — компаньон книготорговца! Переданные тобой деньги я поместил в это дело, чтобы быть независимым и вместе с тем содействовать процветанию французской культуры.

— Ты сделал правильно, мой мальчик. Я рад, что тебе удастся заниматься наукой без помех.

— Конечно, проданные книги будут кормить меня и одевать, и, как видишь, неплохо.

— Да, ты выглядишь франтом.

— У нас в Париже иначе нельзя! Ведь я вращаюсь среди художников и поэтов, иногда попадаю и в светское общество, где даже знают некоторые мои стихи.

— А ученые?

— Они тоже знакомы со мной и, представь, уважают, однако не за мои скромные успехи, а за то, что я твой сын.

— Ну, это ты напрасно!

— Вовсе нет! Я воспринимаю это с удовлетворением, более того, с гордостью!

— Перестань, пожалуйста! Я ведь не люблю славословия.

— Это я знаю. Ты даже гнушаешься изображением слов на бумаге. Продавая сейчас книги, я мечтаю видеть среди них и твое собрание сочинений. — Говоря это, Самуэль смахнул белоснежным платком пыль со скамейки, опустился рядом с отцом и оперся подбородком о слоновой кости набалдашник трости. — Я приехал, отец, настоять на завершении твоей работы над собранием сочинений. Сколько можно еще тянуть? У меня есть знакомые издатели, которые с радостью издадут твои книги, сочтут это патриотическим долгом!

— Ах, Самуэль! Эта черновая работа, переписывание давно сделанного, без поиска нового не по мне, не по мне!

— Вот ты всегда так, отец! Не могу же я учить тебя! Я лишь забочусь о том, чтобы великое, сделанное тобой, стало достоянием многих людей.

— Я всегда следовал Пифагору, говорившему: «Делай великое, не обещая великого». Что я могу сказать о мною сделанном? Что оно недостаточно! Разве только: «Потомство будет признательно мне за то, что я показал ему, что древние не всё знали, и это может проникнуть в сознание тех, которые придут после меня для передачи факела сыновьям...»

— Подожди, отец, я запишу эти слова.

— Я уже написал их в письме к Каркави *, а закончил его словами: «Многие будут приходить и уходить, а наука обогащаться».

— Но ты, отец, как никто другой, обогатил ее.

— О нет! Крайне мало! Я рад поговорить с тобой об этом. Наша с тобой дружба, я не ошибусь, говоря это, зиждется на понимании тобой того, что я делаю.

— Конечно! Ради этого я избрал стезю ученого.

— Только тебе здесь могу я рассказать о самом для меня важном. Еще один мой друг, немногим старше тебя, Блез Паскаль, которого ты знаешь, постоянно побуждает меня и к поискам и к публикациям. Это он буквально принудил меня опубликовать вместе с ним (я не мог обречь на забвение сделанную им часть работы!) былые мои находки в области теории вероятностей, которым, кстати говоря, ты обязан своим участием в книготорговле.

* Это письмо к Каркави получило название «Завещание Ферма». *(Примеч. авт.)*

— Я понял и не забыл. Что же Паскаль, отец?

— Он знал мое давнишнее увлечение суммой двух величин, возведенной в какую-то степень: $(x+y)^n$, где n любое целое число. И он прислал мне замечательную таблицу коэффициентов для членов многочлена, получающегося при возведении в степень бинома при всевозрастающих степенях. Ты только вглядись, какой непостижимой красоты эти расположенные в виде треугольника числа. Я назвал их «треугольник Паскаля»! * Эта таблица напомнила мне мою давнюю работу в Египте, подаренную замечательному арабскому ученому Мохаммеду эль Кашти, который, оказывается, трагически погиб от руки невежд. В треугольнике Паскаля, как и в моей таблице пифагоровых чисел, можно заметить математические закономерности, прогрессии рядов. Смотри: первый косой ряд, состоящий из одних единиц, имеет показатель арифметической прогрессии, равный нулю, второй — последовательный ряд чисел — единице. Третий — величине степени «n». Четвертый сложнее: каждый последующий член больше предыдущего на сумму степеней от нуля до рассматриваемой степени. Дальше еще сложнее.

— Это действительно увлекает.

— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Рассмотренный Паскалем «бином», впоследствии названный «биномом Ньютона», известен ныне как: $(x+y)^0 = 1$; $(x+y)^1 = z$; $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$; $(x+y)^3 = x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$; $(x+y)^4 = x^4+4x^3y^2+6x^2y^2+4xy^3+$ $+y^4$ и т. д.

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ для порядковых членов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 1 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 1 | | 4 | | 6 | | 4 | | 1 | | | | | |
| 5 | | | | | | | 1 | | 5 | | 10 | | 10 | | 5 | | 1 | | | | |
| 6 | | | | | | 1 | | 6 | | 15 | | 20 | | 15 | | 6 | | 1 | | | |
| 7 | | | | | 1 | | 7 | | 21 | | 35 | | 35 | | 21 | | 7 | | 1 | | |
| 8 | | | | 1 | | 8 | | 28 | | 56 | | 70 | | 56 | | 28 | | 8 | | 1 | |
| 9 | | | 1 | | 9 | | 36 | | 84 | | 126 | | 126 | | 84 | | 36 | | 9 | | 1 |
| 10 | | 1 | | 10 | | 45 | | 120 | | 210 | | 252 | | 210 | | 120 | | 45 | | 10 | |

зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!

Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.

— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!

— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем *.

— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.

— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.

— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.

— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?

— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?

— Именно эту задачу я и поставил перед собой.

— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!

— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.

— Неужели ты нашел ее, отец?

— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу

---

* В своем 42-м замечании на полях книги «Арифметика» Диофанта Пьер Ферма записал по-латыни: «...наука о целых числах, которая, без сомнения, является прекраснейшей и наиболее изящной, не была до сих пор известна ни Боше, ни кому-либо другому, чьи труды дошли до меня (Боше де Мазариак — математик, издавший в переводе на латынь с древнегреческого «Арифметику» Диофанта, снабдив ее своими комментариями и дополнениями, ставшую настольной книгой Ферма). *(Примеч. авт.)*

аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.

— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.

— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.

— Так покажи мне формулу и вывод ее.

— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ, пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.

— Но я не решусь соперничать с тобой.

— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.

— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.

— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: $(x+y)=(Mx+y)^n+(x+My)^n$! — Он написал ее тростью сына на песке.

— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?

— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.

— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.

— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.

— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?

— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.

— Очень интересно! Но как это понять?

И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода, снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке*.

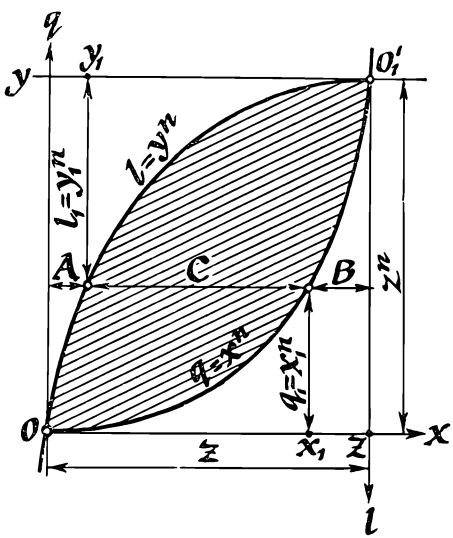
Ферма закончил формулой $x_1^n + y_1^n = z_1^n$, и вернул сыну трость.

— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.

— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».

— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.

---




* *Примечание автора для особо интересующихся.* Метод совмещенных парабол Пьера Ферма сводится к тому, что в системе прямоугольных координат (декартовых!) с горизонтальной осью x и вертикальной q — ($xO_1q$) — вычерчивается парабола по уравнению $q = x^n$. Чертеж поворачивается на 180°, и на нем наносится (см. рис.) еще одна система прямоугольных координат ($yO_1l$) с горизонтальной осью «y» и вертикальной «l». Вертикальные оси двух систем координат отстоят одна от другой на величину z, а горизонтальные на $z^n$. В перевернутой системе координат тоже вычерчивается точно такая же парабола по уравнению $l = y^n$. Две совмещенные таким способом параболы образуют полусимметричную геометрическую фигуру, ограниченную ими. Выбирая точку $x_1$ на оси x, строим от нее вертикальный отрезок (до пересечения с первой построенной параболой) с длиной $g_1 = x^n_1$. Проведя теперь горизонтальную линию от пересечения вертикального отрезка с параболой через фигуру до второй параболы, получим точку, вертикальный отрезок от которой до оси y перевернутой координатной системы отметим на оси y точку $y^n_1$ Длина же этого отрезка, равная ординате перевернутой параболы, будет $l = y$. Из построения следует: $q + l_1 = x^n_1 + y^n_1 = z^n_1$. Диофантово уравнение, положенное Ферма в основу его Великой теоремы. Все это восстановлено А. Н. Кожевниковым.

— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.

— Сестричка! — воскликнул Самуэль.

На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.

— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.

Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.

За столом собралась вся семья, все семеро Ферма. Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.

— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!

— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.

— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!

— А что мне стыдится? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.

Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.

— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.

— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.

А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.

Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.

Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!

Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.

Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.

Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.

После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.

Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.

— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!

Пьер Ферма отвел сына в кабинет.

— Ну, показывай, — предложил он.

Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.

— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.

Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы и обнял сына *.

---

* *Примечания автора для особо интересующихся.* По просьбе автора вывод «бинома Ферма» выполнен заслуженным деятелем науки и техники РСФСР доктором технических наук профессором М. М. Протодьяконовым следующим образом. Из основной формулы $x^n+y^n=z^n$ и рис. на стр. 182 следует: $(A+B+C)^n=(A+C)^n+(B+C)^n$. После умножения обеих частей уравнения на множитель меньше единицы $\frac{(A+B)^n}{(A+B+C)^n}$, после объединения одинаковых степеней, раскрытия малых скобок, очевидных сокращений и преобразований:

$$(A+B)^n=\left[\frac{A(A+B+C)+CB}{A+B+C}\right]^n+\left[\frac{AC+(A+B+C)B}{A+B+C}\right]^n,$$

после сокр. прав. части $(A+B)^n=\left[A+\frac{C}{A+B+C}B\right]^n+$

$+\left[\frac{C}{A+B+C}A+B\right]^n$. Обозначив через $M=\frac{C}{A+B+C}$, получаем «БИНОМ ФЕРМА»:

$(A+B)^n=(A+MB)^n+(MA+B)^n$, может быть, несправедливо забытый современными математиками, но восстановленный А. Н. Кожевниковым.

— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».

— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?

— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.

Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.

### Глава пятая

## «СЕРЫЙ КАРДИНАЛ»

*Те, кто не испытывает стыда, уже не люди.*

Китайское изречение

Кардинал Мазарини был вне себя от ярости, но это никак не отразилось на его узком, красивом и аскетическом лице с тонкой полоской губ и всегда опущенными, по-итальянски жгучими, но смиренными глазами.

Он перечитывал изысканно-оскорбительное письмо лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля, надменно подчеркивающего, что он переписывается лишь с кардиналом Мазарини, а не с французским монархом Людовиком XIV, с прошлого года изволящим праздновать свое совершеннолетие в безудержном веселии и беспутстве двора, олицетворяя тем всю полноту своей абсолютной королевской власти (после достигнутой Мазарини победы над Фрондой). В своем письме Кромвель не оставлял никаких надежд на совместные военные действия Англии и Франции (чего так усердно добивался Мазарини), поскольку во Франции находятся люди, ставящие своей целью унижение британской нации и возвеличивание французской. И в качестве примера Кромвель многозначительно сослался на прилагаемую им к письму книгу профессора математики Оксфордского университета Джона Валлиса с полемической перепиской, возникшей в результате дерзкого вызова Пьера Ферма всей Англии, дабы доказать неспособность англичан подняться до его «французского» уровня!

Мазарини, закусив узкие губы, тщательно изучил переписку, убедившись, что англичане действительно не

смогли найти регулярного метода решения предложенного Пьером Ферма уравнения, — ни сам Джон Валлис, ни сэр Бигби, ни другие математики.

Лишь лорду Броункеру удалось прийти к мысли, что $\sqrt{a}$ следует разложить в непрерывную дробь и рассмотреть подходящие дроби к ней *. Но и это оказалось далеким от требуемого Ферма общего решения.

Итальянцу Мазарини было безразлично торжество французской нации. Ему требовалось лишь торжество его власти!

Поморщившись, он отложил в сторону книгу Валлиса и, перебирая тонкими пальцами четки из драгоценных камней, задумался.

Мазарини не умел прощать. И этот юрист из Тулузы, злоупотребляющий арифметикой, заслуживает пристального к себе внимания. Так бесцеремонно и бездумно вторгаться в высокую политику и путать расчетливо разложенные карты может или глупец, каким Ферма не признаешь, или дерзостный и опасный враг королевской власти, олицетворяемой в Мазарини. И этот враг заслуживает возмездия!

Еще никому не сходило с рук встать поперек дороги «серому кардиналу», хотя бы тот и оставался, как всегда, в тени. Но из этой тени могли протянуться нити зловещих паутин, способных опутать самых могучих владетельных вассалов, а не то что какого-то судейского из Тулузы!

Однако кардинал Мазарини никогда не действовал неосмотрительно и тем более открыто. Чтобы обезвредить и наказать (или уничтожить) врага, требовалось все узнать о нем и его окружении, найти самые уязвимые места противника, не дав ему ничего заподозрить, и только после этого нанести решающий удар.

И тайные сыщики кардинала, получив задание, стали разнюхивать старые записи, расспрашивать пожилых людей, шныряя по Тулузе и ее округе. И вот теперь их секретные донесения лежали на столе рядом с злополучным письмом Оливера Кромвеля перед кардиналом в его скромном кабинете, где не красовались, как у его предшественника Ришелье, ни шкафы с бесценными книгами, ни былые боевые доспехи.

У «серого кардинала» в отличие от «красного кар-

* Лишь Эйлер в следующем веке показал, что эта дробь, если «а» целое и неквадратное число, будет периодической. *(Примеч. авт.)*

динала» Ришелье был иной стиль жизни — не герцога в прошлом, а простого выходца из Италии, сумевшего благодаря своим способностям (и беспринципности!) стать незаменимым помощником Ришелье, а потом наследовать его власть, и у Мазарини выработались иные методы правления, менее блестящие, но не менее действенные.

Мазарини внимательно изучил все, что касалось жизни и деятельности метра Ферма на протяжении тридцати лет, с которым (Мазарини никогда не изменяла память!) он встречался еще при жизни кардинала Ришелье и даже по его поручению давал Ферма отеческое наставление.

И «серый кардинал» острым твердым почерком составил список предосудительных деяний магистра Прав и Чисел Пьера Ферма. Начинался он со срыва вынесения смертного приговора убийце маркиза де Вуазье графу Раулю де Лейе, сыну одного из вождей гугенотов, конечно, примыкавшего к Фронде. Затем освобождение из Бастилии его отца графа Эдмона де Лейе, старого гугенота, соратника короля Генриха IV. И тогда же содействие лжефилософу Рене Декарту в бегстве того из Парижа, где его ждало справедливое возмездие за богопротивные сочинения, осужденные самим папой римским! Затем шел нанесенный ущерб земельным владениям герцога Анжуйского с выигрышем судебного дела против него в пользу крестьянской черни. И позже Ферма постоянно использовал свои возможности в суде, становясь на сторону низших сословий, противопоставляя их интересы дворянству с его привилегиями.

И вот теперь чашу переполнял этот неуместный, вредный «вызов», спутавший все планы первого министра Франции! Срыв не какого-то там смертного приговора молодому графу, а военного союза с англичанами, который был так нужен и так возможен! Срыв из-за каких-то арифметических задач, что поистине надо рассматривать как злодеяние и государственное преступление против Франции!

Однако, поскольку нельзя решение или нерешение математических задач подвести под наказуемое законом деяние, придется искать кару, не менее действенную, чем вынесение судом смертного приговора.

В нахождении таких средств кардинал Мазарини был непревзойденным выдумщиком, и сам Ришелье мог бы склониться перед ним.

Мазарини изучал лежащие перед ним документы, как изучает шахматист позицию, прежде чем начать атаку.

Что ж, Пьер Ферма когда-то прямой атакой на короля выиграл шахматную партию у кардинала Ришелье, теперь он может сам послужить объектом атаки.

Рядом с донесениями сыщиков, описавших всю жизнь Ферма в Тулузе на протяжении трех десятилетий, а также всех, кто с ним так или иначе общался, лежали еще две жалобы, адресованные королю.

Одна из них принадлежала графу Раулю де Лейе, который всячески поносил советника парламента в Тулузе Пьера Ферма, «убежденного защитника бунтующих низших сословий, противника верного королю дворянства, который нанес материальный ущерб его жене Генриэтте, дочери герцога Анжуйского, отсудив в пользу грязных крестьян принадлежащие ей по праву земельные угодья». И граф де Лейе просил об отмене этого решения, навязанного суду советником парламента Ферма.

Об этом Мазарини знал и раньше, но сейчас жалоба Рауля де Лейе обретала для него особое значение.

Вторая жалоба была уже не от графа Рауля де Лейе, а от некой госпожи Орлетты де Гранжери, умоляющей короля отторгнуть от владений графа Рауля де Лейе земли, дарованные королем Генрихом IV отцу Рауля, графу Эдмону де Лейе, за заслуги в борьбе гугенотов с католиками. Эти земли, как утверждала Орлетта де Гранжери, по праву должны принадлежать не потомку безбожных гугенотов, в свое время едва не попавшему на эшафот, а древнему католическому роду де Гранжери, представляемому ныне ее сыном Симоном.

Эта жалоба побудила Мазарини поручить своим ищейкам узнать все о семействе де Гранжери и в особенности в части отношений этого семейства с графами де Лейе.

Результат сыска оказался на редкость удачным и дал в руки кардинала незримые козыри, и он пригласил к себе на аудиенцию госпожу Орлетту де Гранжери, которая и ожидала сейчас приема, находясь в соседнем зале.

Мазарини возлагал на эту встречу определенные надежды, тщательно продумав, как вести разговор. Важ-

но выяснить: стоит ли привлечь просительницу из Тулузы к выполнению своих планов?

Он дал молчаливый сигнал служителю в серой сутане, и через минуту тот ввел в кабинет ослепительную даму.

Если бы кардинал не держал всегда глаза опущенными, ему пришлось бы зажмуриться, так сверкала нарядом, драгоценностями и сохранившейся красотой черноволосая и черноокая красавица, присевшая перед поднявшимся ей навстречу кардиналом в глубоком реверансе, подойдя потом под благословение кардинала и благоговейно коснувшись влажными, упругими губами холеной кардинальской руки.

На ее склоненной голове под бриллиантовой диадемой кардинал успел заметить похожую на драгоценное украшение седую прядь, подобную Млечному Пути на ночном небе, единственную отметину тридцати лет, прошедших со времени, названного в донесении сыщиков.

Кардинал, не садясь и не поднимая век, внимательно изучал посетительницу.

Можно ли довериться ей? Впрочем, слепое доверие никогда не признавалось «серым кардиналом». Куда более надежно сочетание страха и выгоды, более глубоко действующих на человеческую натуру. И ничто так не объединяет людей, как ненависть, общая ненависть!

Мазарини считал себя (и не без оснований!) знатоком человеческих душ и человеческих лиц, их отражающих.

Подметив еще сохранившуюся у Орлетты де Гранжери былую демоническую красоту и затаенную страсть, «серый кардинал» решил, что может приступить к выполнению задуманного плана.

Первый министр Франции галантно усадил посетительницу, склонясь над ней и наслаждаясь пьянящим ароматом ее волос, наряда, шелестом ее юбок, близостью ее роскошного тела, но, безжалостно смирив свою плотскую сущность, перешел к делу, весьма и весьма сложному и запутанному, о чем посетительница и представления не имела. Он сел за стол, перебирая четки, и вкрадчиво начал:

— Так вы хотите, мадам, чтобы его величество передал вашему славному роду де Гранжери земельные

угодья, когда-то отторгнутые у вас королем Генрихом IV и переданные гугеноту де Лейе?

— Ваше высокопреосвященство, видит бог, что вашими устами глаголет сама истина, требующая справедливости!

Мазарини с удовлетворением отметил, как сверкнули черные глаза Орлетты при этих смиренных словах.

— Дочь моя, своей просьбой вы заставляете самого господа бога через его недостойного служителя заглянуть в глубь времен.

— Наш род гордится этой глубиной, ваше высокопреосвященство! — надменно вскинула голову Орлетта де Гранжери.

Кардинал уставился на перебираемые четки.

— Во всем ли можно гордиться, сударыня? — И елейным голосом добавил: — Вам придется напрячь память и помочь ради правды господней восстановить некоторые события.

— Я готова, отец мой, как если бы была в исповедальне.

— Да будет так! — чуть торжественно произнес «серый кардинал». — Пусть мое духовное звание позволит мне стать отныне вашим духовником.

— Я так счастлива, ваше высокопреосвященство! — воскликнула Орлетта, пряча в глазах тревожные искорки.

— Рад быть тому причиной, сударыня. — Кардинал тяжело поднялся из-за стола и, обойдя его, остановился перед смиренно поникшей женщиной. — Итак, в 1631 году вас постигло несчастье, в чем я соболезную вам всей душой.

— Да, ваше высокопреосвященство, мой муж, господин де Гранжери, был подло убит на поединке с проезжим мушкетером, имени которого не удалось установить, несмотря на мою просьбу к посетившему меня в день похорон мужа советнику парламента в Тулузе.

— Каково было его имя, сударыня?

— Пьер Ферма, отец мой. Я взывала о мести, да простит меня господь, но слова мои остались не услышанными черствым сердцем судейского.

— Запомним это. — Кардинал сделал два шага от стола и вернулся с опущенной головой. — В какой день, дочь моя, состоялась дуэль вашего мужа с мушкетером?

— Во второй понедельник июля того несчастного для меня года, святой отец мой.

— 1631-го, не так ли? А когда произошли похороны?

— Ровно через две недели, отец мой, в третий вторник.

— И ваш муж, смертельно раненный, так долго страдал? — И кардинал участливо нагнулся к своей гостье.

— Я делала все, чтобы облегчить его страдания, ухаживая за ним как жена и сиделка.

— Допустим. — Кардинал резко выпрямился. — А в какую ночь был убит в Тулузе маркиз де Вуазье?

— Право, не знаю, я не была с ним знакома.

— Но с ним был знаком, молодой тогда, граф Рауль де Лейе? Не так ли? — вкрадчиво спросил кардинал.

— Возможно, сударь, но я не знаю...

— Но не встречались ли вы с кем-либо в ночь гибели маркиза?

— Что вы, ваше высокопреосвященство! Мой муж был в таком состоянии. Его нельзя было оставить ни на минуту!

Голос кардинала стал жестким:

— А почему, как вы думаете, приехал к вам в замок этот советник парламента в Тулузе, Пьер Ферма? Не хотел ли он спасти с вашей помощью графа Рауля де Лейе?

— Право, отец мой, я не знала причины его приезда.

Кардинал снова нагнулся к Орлетте:

— А если я вам, как ваш духовник, подскажу эту причину?

— Я вам поверю всей душой, — отозвалась она, поникнув головой.

Мазарини заговорил задумчиво и вкрадчиво:

— Но надо, чтобы и я поверил вам, как на вашей исповеди, дочь моя. Раулю де Лейе грозила тогда смертная казнь за убийство маркиза де Вуазье, оправдать его перед судом могла лишь одна знатная дама, с которой он провел ночь убийства маркиза. Только эта дама, — внушительно добавил он, — могла ценой своей репутации спасти любовника.

— О боже! Отец мой! Но господин Ферма не спрашивал меня об этом.

— Не спросил? Это не делает ему чести как проникновенному советнику суда. — И Мазарини снова прошелся по кабинету.

— Но разве я... разве я тогда могла бы помочь графу Раулю де Лейе? — пролепетала Орлетта де Гранжери.

Кардинал остановился в обличающей позе с протянутой рукой:

— Ну, вот видите, как неискренни вы на исповеди перед своим духовником, дочь моя! Именно вы могли бы спасти его, но ваше молчание заставило метра Ферма найти другие пути, чтобы выгородить вашего любовника, к которому вы примчались в Тулузу, оставив ради этого греховного свидания умирающего мужа без так необходимого ему ухода. Не так ли?

— Ваше высокопреосвященство! — Орлетта сползла с кресла и упала на колени перед своим «духовником». — Вашими святыми устами говорит сам всевышний господь бог, изобличая грехи мои, об отпущении которых молю вас. — И она спрятала лицо в ладонях.

— Иначе и быть не могло, — заверил Мазарини. — Но продолжим исповедь. Сколько лет, дочь моя, вашему сыну Симону?

— Он родился в мае следующего за смертью мужа года, отец мой.

Мазарини стал перебирать тонкие, украшенные перстнями пальцы:

— Какое же это время прошло со дня зачатия?

— Это время установлено самим господом богом, — краснея от смущения, произнесла Орлетта, отняв ладони от лица.

— А не кажется ли вам, мадам, что ваш ребенок, как мне показалось сейчас, родился на месяц позже, чем предусмотрено всемогущим господом нашим?

Орлетта вздрогнула всем телом, приложила кружевной платок к глазам и разрыдалась.

Кардинал положил ей руку на голову:

— Я только хочу установить необходимые связи, дочь моя, ничего не замышляя против вас, а стремясь лишь помочь вам объяснить мне и господу богу в моем лице, почему вы подаете теперь королю жалобу на графа Рауля де Лейе в пользу своего сына Симона. Не хотите ли вы просить короля, моля о том же всевышнего, чтобы земли подлинного отца вашего сына перешли к нему, Симону?

— Это так! Ах, это так! — рыдая, говорила Орлетта де Гранжери. — Ничто не укроется от ваших глаз! Но молю вас, как духовника, сохранить эту тайну исповеди.

Кардинал ласково поднял ее с пола и усадил в кресло.

— Вы все знаете, как сам господь бог. Вам надо было бы быть папой римским, — сквозь слезы лепетала Орлетта.

— Но уверены ли вы, что я один, как ваш духовник, владею этой тайной?

— Кто же еще? Ах боже мой! Мое сердце не выдержит!

— О таких тайнах знают всегда двое: вы и ваш избранник. Но в минуту смертельной опасности он мог раскрыться ради спасения жизни советнику парламента, чтобы тот взялся доказать, что обвиняемый провел ночь с вами, а не дрался на дуэли с маркизом.

— Боже мой! Этот Пьер Ферма?

— Именно так, дочь моя. Ради этого он и приезжал к вам.

— Но за тридцать лет он не открыл тайны!

— В этом не было нужды, дочь моя. Но теперь, когда вы поднимаете руку на графа Рауля де Лейе, претендуя на его земли, Пьер Ферма, как его старый друг, который, как следует вот из этого документа, — и кардинал показал издали жалобу Рауля против Ферма, — готов на любые разоблачения ради выигрыша дела!

— Это ужасно! Спасите меня и моего сына Симона от этого изверга, ваше высокопреосвященство!

— Успокойтесь, сударыня, я лишь хотел открыть вам глаза на вашего истинного и самого опасного врага.

— Ах боже мой! Я слабая женщина! Что же мне делать, ваше высокопреосвященство?

Кардинал обошел стол и вернулся в свое кресло.

— Защищаться, баронесса, защищаться, как волчица, когда нападают на ее волчонка.

— Бог мой! Но я не волчица и тем более не баронесса, — насторожилась Орлетта.

— Вы не были баронессой, входя в этот кабинет, но... если окажетесь волчицей, то уйдете баронессой. Король по моей просьбе дарует вам этот титул, и ваш сын, барон Симон де Гранжери, будет достойным продолжателем знаменитого рода верных католиков.

— Боже мой, у меня кругом идет голова! Что же надо сделать, чтобы быть волчицей? — усаживаясь поудобнее в кресло, спросила Орлетта.

— Кусать, сударыня, кусать, обороняясь, помня, что ваш самый опасный враг — это метр Пьер Ферма, которого в свое время вам следует привлечь в тяжбе с графом Раулем де Лейе на свою сторону.

— Зачем же привлекать врага?

— Чтобы обезвредить, сударыня. Наша святая католическая церковь учит нас обузданию врагов любовью. Я подарю вам сейчас, баронесса, перстень из Ватикана. Это перстень любви и смерти. Его носил на пальце один из святых римских пап. Я вывез его из Италии, и он ждал своего часа. Если этот перстень опустить в бокал вина, то тот, кто выпьет его залпом, познает радость, тот же, кто промедлит пять-десять минут и осушит его не сразу, уже не узнает никаких горестей, уготовленных ему в жизни. В том и другом случае святой перстень несет благо господне. — И «серый кардинал», сняв с пальца богатый перстень, передал его Орлетте де Гранжери.

Бледная, едва передвигая ноги, поднялась она с места, снова присела в глубоком реверансе и поцеловала руку благословляющего ее столь высокого духовника.

Она прошла через приемную, наполненную раззолоченными мундирами генералов и иностранных послов, сопровождаемая служителем в серой сутане, который, выйдя на мраморное крыльцо, зычно гаркнул, от чего у Орлетты замерло сердце:

— Карету баронессе де Гранжери!

Она вертела на пальце кольцо «серого кардинала», подумав, что у него такие же длинные и тонкие пальцы, как у нее.

Потирая эти свои чуткие пальцы, «серый кардинал» расхаживал по кабинету, старательно запахивая полы серой сутаны, чтобы не виднелась ее красная кардинальская подкладка.

Меж его тонких губ блеснула полоска стертых желтоватых зубов. Он улыбался, неплохо начав игру против Пьера Ферма, лучше, чем вел ее на шахматной доске сам Ришелье!

Но «серому кардиналу» не привелось увидеть результат завязанной им интриги. Шел 1660 год, а через год Мазарини не стало.

Глава шестая

## ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА

*Посев взойдет для жатвы народной.*

Д. И. Менделеев

Робкое появление Луизы в кабинете, куда она избегала входить из-за угнетающих ее математических рукописей мужа, удивила Пьера Ферма, и он поднял на нее вопрошающие глаза.

— Я принесла тебе поручение председателя парламента метра Массандра заняться тяжбой баронессы де Гранжери с графом Раулем де Лейе.

Пьер Ферма слышал об этом тянущемся годы деле, знал, что баронесса Орлетта де Гранжери обещала Массандру не пожалеть средств. Но почему Массандр поручает дело ему? Конечно, здесь не обошлось без Луизы!

Виновато опустив глаза, она догадалась о мыслях мужа:

— Ну, да, я просила метра Массандра помочь нашей семье.

Пьер отодвинул от себя свою настольную книгу «Арифметика» Диофанта, где наконец решился записать свое замечание к 8-й задаче II книги *, которое принято считать 11-м, привлекшим внимание математиков всего мира, и с иронией сказал:

— Так ведь добрейшего дядюшки Жоржа нет.

— Зато есть трехлетний Жорж! Это самый интересный детский возраст. Ты бы видел, как млеет Массандр, держа внука на руках, а тот лопочет уморительные вещи!

— И просит деда Массандра подбросить выгодное дельце другому деду — Ферма?

— Ну зачем ты так? Ты знаешь, что родственникам не принято отказывать. Сюзанна тоже просила свекра помочь нам.

Ферма откинулся на спинку кресла.

— И Сюзанна тоже? Как они все угадывают! Род католиков против рода гугенотов — верное дело! Сам кардинал Мазарини обещал помочь баронессе, и если бы не его кончина, она получила бы все, чего добивалась. А граф Рауль де Лейе лишился высокого покрови-

* Задача эта сводится к выражению $x^n + y^n = z^n$. *(Примеч. авт.)*

теля после смерти герцога Анжуйского! А его величество король Людовик XIV не любит споров между вассалами и после долгих раздумий повелел парламенту в Тулузе рассмотреть тяжбу. Почему же мне надо выступать против Рауля? Потому что он не проявлял своей дружбы?

— Ну что ты, Пьер! Кто об этом говорит? Это совсем не сведение счетов. Наша семья просто заинтересована в щедрости баронессы. Я умоляю тебя не вспоминать о своей былой дружбе с графом Раулем де Лейе. Своим пренебрежением к нам... Мне просто больно говорить. Ты же понимаешь, все понимаешь!

— Еще бы! Требуется приданое нашей второй дочери Жанне, превратившейся из утенка в лебедя! Все понимаю, но могу я дописать теорему, которую так долго обдумывал?

— Пьер, милый, ты прости меня. Я рискнула пообещать метру Массандру, что ты немедленно выедешь в Гранжери, к баронессе. Метр Массандр уже назначил срочное слушание дела.

— Несколько лет волокиты, а теперь спешка?

— Разве ты не знаешь, всегда так бывает! Но мы не можем... понимаешь, не можем упустить этой возможности. И я прошу... ради всего прежнего прошу тебя... не отказывайся.

— Ну конечно! Все решено без меня... и ты, наверное, даже велела Жоржу оседлать иноходца?

— А как же! Я забочусь о тебе, Пьер. В январе темнеет рано. Два дня пути, надо успеть найти ночлег. Но зима нынче мягкая. Ты наденешь дорожный костюм, который я принесла, и теплый плащ.

— Ах боже мой! Что они со мной делают! Но ты позволишь мне хотя бы дописать теорему?

— Если обещаешь сразу сесть на коня.

— Я ограничусь только тем, что уместится на полях, заранее зная, что я «непрактичен и что запись моя, которую никто и не прочтет, ничего не принесет семье!»

Под собственную воркотню Пьер Ферма торопливо писал:

*«Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат, и вообще никакая степень, кроме квадрата, не может быть разложена на сумму двух таких же»* *.

— Или я не прав? — поднял глаза от книги Пьер Ферма.

* Великая теорема Ферма. *(Примеч. авт.)*

— Я докажу это тебе простейшим способом, — отозвалась Луиза, глядя в окно. — Вот Жан ведет оседланную лошадь, которая принесет тебе и всем нам доход. И что может быть убедительнее?

— У тебя поистине удивительное доказательство! — произнес Пьер Ферма и дописал свое одиннадцатое замечание к книге Диофанта:

*«Я нашел удивительное доказательство тому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить».*

Надо заметить, что в своих сорока пяти замечаниях, написанных на полях этой книги, Ферма не раз умудрялся уместить куда больше, несмотря на узость полей, но Луиза тогда не стояла над душой.

Ферма посыпал сухим мелким песком свежую запись, ссыпал его обратно в песочницу, захлопнул книгу и стал переодеваться.

Закутавшись в теплый плащ, сопровождаемый женой, он вышел из дома в сад, дойдя до той самой калитки, где некогда встречался с Луизой тайком по ночам.

Долговязый младший сын Жорж с озабоченным выражением на веснушчатом лице, стоя на краю вспаханного осенью под пары поля, держал смирного низенького иноходца, верного спутника всех деловых поездок Пьера Ферма по окрестным крестьянским домам.

К удивлению жены и сына, Пьер, тяжело сев в седло, направил коня не вдоль ограды к южной дороге, а через стоявшее под парами поле к старому дубу, от которого он когда-то шел к калитке, но отклонился, попав на свежую пашню, и ушел в темноте далеко в сторону, что позволило ему ценой несостоявшегося свидания открыть закон преломления света.

У двухсотлетнего дуба, которому и сорок лет не срок, он обернулся, рассмотрев вдали у калитки две фигурки, и помахал им рукой с горьким, щемящим чувством, будто не увидит их больше никогда...

Подавив это нелепое ощущение, он пустил коня спокойной иноходью, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а не подпрыгивая в седле, как от уколов, при каждом шаге упругой рыси былого доброго коня дядюшки Жоржа, после чего в свое время Пьеру пришлось долго приходить в себя.

А вот и то место, где молодой тогда граф Рауль де Лейе распрощался с ним после освобождения из тюрьмы, спеша на любовное свидание и меньше всего забо-

тясь о сохранении верности своей будущей невесте Генриэтте, готовый уступить ее хоть Пьеру Ферма.

Трудно представить себе более спокойную лошадь, чем иноходец Пьера Ферма, и пусть фатовый мушкетер презрительно окинул его наглым насмешливым взглядом с высокого седла своего боевого приплясывающего коня. Пьеру Ферма, в его шестьдесят три года, требовалось не гарцевать, как на параде, а засветло добраться до знакомого трактира, где еще начинающим советником парламента разыскивал следы проезжего мушкетера.

Холодными и однообразно унылыми казались в пути зимние пейзажи с хмурым, затянутым беспросветными тучами небом, с обессилевшими, осевшими на голых сучьях придорожных деревьев птицами, словно уже отлетавшими свое. Опасно скользкой была чмокающая под копытами дорога, покрытая мутными лужами, рябыми от капель начинающегося холодного дождя или снежной крупы, и над всем этим — злой, леденящий, пронизывающий до костей ветер, с диким воем мятущийся по мертвым, безлюдным полям.

Было от чего почувствовать гнетущую тяжесть на сердце, ощутить неосознанную тревогу, даже страх неведомого или вообразить себя в хвосте печального шествия с завываниями невидимых плакальщиц.

Ферма встряхнулся, призывая на помощь любимую свою математику, только она могла вырвать его из этого угнетающего окружения и перенести в знакомый ему мир строгих чисел и ясных законов, где нет места ни мистике, ни суеверию.

Дыхание призрачных похорон, коснувшееся было Ферма, обернулось воспоминанием о далеком и древнем кладбище с надгробной надписью, таившей изящную прелесть лаконизма скрытого в ней «неопределенного диофантова уравнения», заслоненного грубым, лежащим как бы на поверхности многочленом с одним неизвестным, доступным для решения неискушенным умам. Затем возникло в памяти подземелье храма бога Тота с изображением квадратов, расшифрованных им как ряды прямоугольных треугольников. И стоящий над всем этим строгий пифагоров закон, известный за тысячи лет до Пифагора, действительный только для прямоугольных треугольников, относящихся к «плоским местам», как называл их Ферма! А «пространственные места», подчиняются ли фигуры на них подобным зако-

номерностям, начиная с куба, квадрато-квадрата, который представляет собой первую из «надпространственных фигур», требующих более трех измерений *.

Необходимо рассмотреть эти свойства с пером и бумагой в руках, что можно достать лишь в трактире.

Наконец за поворотом показались покосившиеся домишки, которые не стали лучше с того давнего времени, когда он проезжал мимо них, наткнувшись тогда на красующееся над трактиром деревянное колесо с телеги, зазывающее всех, кто едет, остановиться здесь на постоялом дворе.

Колесо висело на старом месте с прежним названием под ним: *«Ось в колесе»*.

Ферма спешился, и выскочивший парень с туповатым лицом и бегающими глазами принял у него лошадь, чтобы отвести на конюшню.

Войдя в трактир, Ферма увидел возвышающегося за стойкой грузного мужчину внушительного роста, совсем седого, но с лихо закрученными еще темными усами, сразу напомнившими ему гвардейца, которого, как сказали тогда в этом кабачке, выхаживала после ранения на поединке с мушкетером миловидная крестьяночка.

Пьер заказал себе ужин и вина. Трактирщик услужливо принес бутылку (предварительно намотав на нее паутину, свидетельницу старины) и, поставив ее на стол, подсел к гостю.

— Куда изволите путь держать, сударь?

— В замок баронессы де Гранжери, дружище. Не укажете ли, как туда проехать? Кажется, я бывал там, но давно, забыл дорогу. Да и не помню таких баронов, де Гранжери.

— А как же! Ха-ха! — оживился трактирщик. — Года четыре назад король пожаловал им такое звание, не знаю, за какие такие заслуги? Может быть, за то, что сын у нее родился после смерти мужа. — И он громко расхохотался.

— Значит, в былое время не было таких баронов?

---

* В 45-м замечании к книге Диофанта Ферма дает развернутое доказательство нерешаемости для четвертой степени уравнения: $x^4 + y^4 = z^4$ в целых числах, к чему мы еще вернемся. Еще раньше, в 33-м замечании, говоря о Диофанте, Ферма написал: «Почему же он не ищет *двух биквадратов, сумма которых равна квадрату?* Конечно, потому, что эта задача невозможна, как это с несомненностью показывает наш метод доказательства». *(Примеч. авт.)*

— Не было, не было! Эх, годы, годы! Время былое, — вздохнул трактирщик, наливая стакан вина. — Память-то сдает, сударь! Что вчера было, как ветром выдувает из головы, а вот давно прошедшее держится, колом не вышибешь. Да и вышибать не хочется. Славное было время, сударь, при его высокопреосвященстве господине кардинале Ришелье, не правда ли? Вам не приходилось его видеть? Какой он молодец был, хоть ростом и не вышел! А как на коне скакал, даром что духовного звания! Ха-ха! Впрочем, генералиссимус!

— Мне пришлось раз с ним встретиться. А вам, дружище?

— Мне? Ха-ха! Мне-то приводилось — и не раз — видеть, как он мчался мимо нашего строя на боевом коне, в доспехах, словно остался герцогом, а не посвящен папой в кардиналы. Выпьем в его память!

— Мне бы хотелось выпить в память! Смотрю я на вас, дружище, и вспоминаю, кого я видел тридцать с лишком лет назад лежащим в постели после ранения в поединке с неким мушкетером.

— Придержите язык, сударь! И я что-то припоминаю. Ха-ха! Уж не вы ли были тем шпионом, которого подослал ко мне его высокопреосвященство, запретивший дуэли и среди своих гвардейцев? Я ведь не зря вас про него спросил.

— Я рад, что вы меня припоминаете. Но я был не шпионом его высокопреосвященства, а лишь советником парламента в Тулузе, стараясь выяснить имя проезжего мушкетера, который дрался на поединке с вами.

— А зачем вам было его имя?

— Чтобы спасти невинного человека, обвиненного в убийстве дворянина на поединке.

— Кто ж там кого убил?

— Убил маркиза тот самый мушкетер, который ранил и вас, дружище.

— Черт возьми! Ха-ха! — вскричал трактирщик. — Дело прошлое! Но не в правилах гвардейцев его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье прощать своих врагов!

— Так вы действительно тот гвардеец?

— Конечно, я, сударь! Ха-ха! Ваше счастье, что я тогда шевельнуться не мог, так отделал меня этот проклятый мушкетер, не то я, заподозрив шпиона, проткнул бы его шпагой, как каплуна. Ха-ха! Но с тех пор, сударь, как я женился на своей женушке, выходившей

меня после ранения, и купил на ее приданое этот трактир, не поднимаю больше руки ни на кого, разве что на кур и поросят для господ проезжающих.

— Рад снова с вами встретиться.

— Выпьем, сударь, по такому поводу.

Трактирщик приободрился, приосанился, привычным движением опрокинул в себя стакан вина и наклонился к Ферма:

— Вы мой гость, сударь. У нас с вами давнее знакомство, так не назовете ли вы имя того мушкетера? Честное слово, я готов тряхнуть стариной, шпага у меня еще хранится в кладовке. Ха-ха!

— Мне бы не хотелось, дружище, называть имени этого мушкетера по некоторым соображениям, могу лишь сказать вам, что он сейчас стал одним из маршалов Франции.

Трактирщик-гвардеец многозначительно свистнул и налил снова вина и себе и гостю.

— Тогда выпьем за его здоровье! — предложил он.

Жена трактирщика в высоком белом чепце со сморщенным, но румяным лицом, принесла поднос с горячим ужином: жареного кролика с картофелем и сыр.

— Я вас сразу узнала, сударь, и велела мужу подсесть к вам. Не верила я, что вас тогда к нему подослали, уж больно сердечно вы со мной поговорили.

— Тогда присаживайтесь к нам, хозяюшка, — предложил Ферма, — а потом отведете меня в какую-нибудь комнатушку, где я могу провести время до утра, воспользовавшись пером, бумагой и чернилами, которые вы мне принесете.

— Чего нет, того нет, сударь! — отрезал трактирщик. — Хоть мы с вами и хорошо вспомнили старое-былое, но записывать это, как я разумею, не стоит! Да и где нам найти эдакую редкость? Перо, бумагу, чернила? Ха-ха! Да за тридцать лет, что мы здесь стоим за стойкой, у нас впервые такое попросили. И хорошо делали, что не просили. Не люблю я писанины!

— Очень жаль, — вздохнул Ферма. — А шпагу своего мужа, сударыня, советую вам перепрятать подальше.

— Шпага? Что шпага? Ха-ха! Захочу и буду на ней дичь жарить, как на вертеле!

— Не слушайте вы его, сударь! Беда с ним, как напьется! Лучше кушайте, приготовлено по-нашему, по-крестьянски. А я пойду постелю вам постель. Небось устали с дороги.

Пьер Ферма закончил ужин и, оставив задремавшего у стола трактирщика, поднялся вслед за хозяйкой наверх в отведенную ему каморку.

Оставшись один, он снова вернулся к мыслям о пространственных и надпространственных местах, как он называл теперь невообразимые фигуры многих измерений.

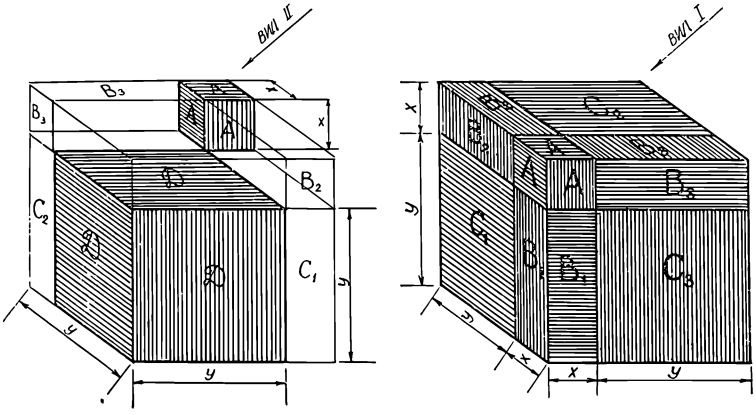
Итак, жрецы бога Тота изображали, по существу, решение бинома в квадрате, получая ряды наименьших прямоугольных треугольников. А если не квадрат, а куб, фигура вполне реальная? Можно ли графически, как делали древние жрецы, решить бином в кубе?

Понадобились мучительные раздумья, прежде чем лишенный пера и бумаги Ферма все-таки силой своего пространственного воображения представил себе куб, составив из отдельных частей, с шестью гранями, каждая из которых представляла собой тот самый составной квадрат, который изобразили на стене подземного храма египетские жрецы *.

Но как ни старался Ферма представить себе надпро-

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Графическое решение «бинома Ньютона в третьей степени» представлено на рисунке, выполненном заслуженным деятелем науки и техники РСФСР доктором технических наук профессором М. М. Протодьяконовым. Куб у него складывается из среднего со стороной y и малого со стороной x кубов, расположенных по диагонали большого куба, со стороной x+y, трех пластин объемом $x^2y$ и трех брусков объемом $xy^2$, точно заполняющих оставшиеся в большом кубе места от двух первых кубов. Объемы всех этих фигур соответствуют: $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.



странственное место с четырьмя и больше измерениями, это не удавалось, пока он не забылся наконец сном. А во сне эти «невоображаемые фигуры» возникали перед ним с удивительной простотой и ясностью, но едва он проснулся поутру — они исчезли, но сознание того, что он их видел, представлял, рассматривал, осталось вместе с представлением, что они принадлежат к другой области, чем «плоские места», а потому закономерность «плоских мест» для «пространственных и надпространственных» не может иметь решений в целых числах!

И доказать это во сне не составляло никакого труда, недаром он в присутствии Луизы, подчиняясь своему математическому чутью, написал, что уже имеет удивительное доказательство, и вот оно пришло к нему! Осталось только дописать это его замечание на полях книги Диофанта! Или в замке Гранжери, где найдется, несомненно, и перо и бумага!

Утром парень с туповатым выражением лица и сонными глазами вывел для Ферма его оседланного иноходца. Трактирщик с женой провожали его как давнего знакомого.

Распрощавшись с ними, Пьер Ферма отправился по обстоятельно указанному трактирщиком пути.

Тучи рассеялись, выглянуло январское солнце, у Пьера повеселело на душе, но главным образом потому, что он *знал теперь свое «удивительное доказательство»*, которое вчера только нащупывал, ночью «увидел во сне»!

Ехать пришлось, как предупреждал гвардеец, довольно долго.

Изредка встречались крестьянские повозки, один раз промчалась карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой белых лошадей, но, конечно, не из Гранжери. Баронесса увидела бы одинокого всадника на дороге, который мог оказаться советником парламента, встречи с которым ждала.

И если во время вчерашней непогоды ему лишь чудилась похоронная процессия, то сейчас, при солнечном свете, он сначала услышал далекий погребальный звон, а потом увидел наяву траурное шествие, растянувшееся по дороге к уже видимому кладбищу.

Впереди шествовал аббат в нарядном облачении с церковными служками, за ними гроб несли четверо крестьян, а следом тянулись одетые в черное простолюдины, мужчины и женщины, вдова и нанятые плакальщицы горько плакали, их стоны разносились в холод-

ном воздухе, сливаясь с далеким и грустным погребальным звоном.

Пьер Ферма придержал коня и, сняв шляпу, пропустил печальную процессию мимо себя.

В прошлый раз, едва ли не на этом месте, он присоединился к провожающим в последний путь дворянина де Гранжери, которому не привелось при жизни стать бароном, каким стал его сын. Какова игра судьбы!

Пьер Ферма хотел было и сейчас пройти вместе со всеми на кладбище, найти могилу де Гранжери, близ которой видел фигуру женщины в черном, безутешную вдову, как олицетворение любви, горя и ненависти, посвятив потом ей стихи, которые ей неизвестны. Но он раздумал, поскольку солнце близилось к закату, дни в январе коротки, и нужно было еще добраться до замка Гранжери.

Пьер Ферма направил лошадь бодрой иноходью к видневшемуся на холме строению, ни разу не ударив коня, а лишь сжимая и разжимая колени, заставляя тем чуткого друга выполнять желание всадника.

Замок оказался типичным загородным домом с мезонином и балконом, на котором на фоне угасающей зимней зари вырисовывался силуэт прекрасной женщины, какой запомнился Пьеру Ферма здесь тридцать с лишним лет назад.

Пьер даже зажмурился, чтобы видение исчезло. Ведь не могла же безутешная вдова остаться неизменной с того далекого времени! Может быть, это ее дочь? Но трактирщик говорил только о сыне, и то родившемся уже после смерти отца.

Кто же она, явившаяся из прошлого демонической тенью дамы, пылавшей любовью, горем и местью?

### Глава седьмая

## ПЕРСТЕНЬ КАРДИНАЛА

*Человек хуже зверя, когда он зверь.*

Рабиндранат Тагор

У баронессы Орлетты де Гранжери никогда не было дочери, на балконе своего замка, поджидая приезда советника парламента из Тулузы, стояла она сама, спустившись потом при виде подъезжающего всадника.

Ферма был поражен необычайной ее внешностью. Седая прядь в ее волосах цвета вороньего крыла, восхитившая кардинала Мазарини, теперь, подобно речке от осенних дождей, разлилась, сделав серебристой всю левую часть головы, оставив остальное нетронутым. Орлетта искусно пользовалась этой своей особенностью и, оборачиваясь то одной, то другой стороной, как бы меняла свой возраст чуть ли не вдвое.

Некую сверхъестественность ее обаяния ощутил и Пьер Ферма: в профиль справа она казалась ему знакомой безутешной вдовой, требующей мести за горячо любимого мужа, а повернувшись лицом в другую сторону, превращалась в любящую заботливую мать взрослого барона.

Орлетта провела Ферма в дом, в просторную столовую, украшенную деревянными имитациями охотничьих трофеев, подлинными рогами оленей и клыкастыми кабаньими головами, усадила на стул с высокой резной спинкой и оказывала ему всяческие знаки внимания, без умолку говоря о дошедшей до нее славе Ферма как советника парламента.

Она украдкой вглядывалась в его усталое лицо, стараясь разгадать, кем он был для нее: возможным помощником или врагом, как уверял ее Мазарини? Открыл ли ему слабый мужчина Рауль де Лейе в страхе перед казнью ее семейную тайну?

— Я знаю, что у вас, блюстителей закона, — вкрадчиво начала она, — все основывается на бумагах, касающихся спорных земельных угодий. Я сейчас прикажу их принести.

— Распорядитесь, сударыня, если это вас не затруднит, принести и чистой бумаги, а также перо и чернила.

— Зачем вам бумага? Зачем перо и чернила? — насторожилась Орлетта.

— Вы думаете, сударыня, мне нечего будет записать?

— Нет, что вы! Я просто такая непрактичная, неумелая и... беззащитная. Все будет исполнено, как вы пожелаете! Мне очень жаль, — грустным голосом добавила она, отдав распоряжение вызванному слуге, — что вам ради меня, оставшейся в жизни безутешной, придется выступать в суде против графа Рауля де Лейе, с которым вы, кажется, связаны дружбой или былой услугой? Не так ли?

— Я служу закону, сударыня, а не отдельным ли-

цам, интересы которых защищаю в том случае, когда они совпадают с моим представлением о законности и справедливости.

— Как это украшает мужчину! Но как трудно понять вашу сокровенную сущность, дорогой метр! Почему, например, вы, несомненно, рыцарь в душе, не сообщили мне имени убийцы моего мужа, о чем я вас просила в горестное мне время?

— Это имя, сударыня, спасло тогда графа Рауля де Лейе от позорной смерти, но вас поставило бы лишь в затруднительное положение, поскольку принадлежит сейчас маршалу Франции.

— Мой сын — воплощение дворянской чести — мог бы вызвать его на дуэль и отомстить за смерть отца.

— Я не знаю более искусного дуэлянта, чем этот маршал Франции, и, право, не хотел бы, чтобы вы испытали горечь еще одной утраты.

Орлетта вздрогнула.

«Еще одной утраты? На что намекает этот судейский? На роковую семейную тайну, известную ему? На былую потерю Орлеттой Рауля, который вместо того, чтобы жениться на ней, ждущей его ребенка, вероломно предпочел эту кривляку Генриэтту с приданым, несмотря на то, что той было все равно, на ком остановиться: на кардинале Ришелье, на маркизе де Вуазье, на графе Рауле де Лейе или на всех вместе, если бы это удалось!»

Последний год был ужасным для Орлетты после неизвестно как полученной записки: «Призванный к себе Всемогущим Господом нашим кардинал Святой католической церкви молит бога, чтобы творящий чудо перстень защитил бы его духовную дочь от враждебных происков».

Подписи не было, но вкрадчивый голос «серого кардинала» звучал в ушах баронессы зловещим предупреждением, ибо кто-то и после его кончины наблюдал за выполнением его воли.

Орлетта, будучи когда-то рабой своей страсти к Раулю, а теперь слепой материнской любви к великовозрастному сыну, беспечному и пустому, чувствовала себя загнанной в угол, готовая превратиться, как требовал «серый кардинал», в «волчицу, защищающую своего детеныша».

— Ах, метр Ферма, — доверительно заговорила она. — Мой сын вырос без отца, и мой долг матери,

давшей ему жизнь, найти и средства для его достойного существования, а он так расточителен и так красив! Почему я нуждаюсь в вашей неоценимой помощи, талантливый метр? Чтобы добиться отторжения у графа Рауля де Лейе земельных угодий, примыкающих к нашим владениям, как поручил суду это сделать его величество король Людовик XIV, да продлятся его дни!

— Его величество передал парламенту вашу тяжбу с графом де Лейе на рассмотрение, — уточнил Ферма.

Орлетта нахмурилась, оценивая ответ Ферма как свидетельство его враждебного отношения к ней.

Слуга принес пачку бумаг, перевязанных зеленой лентой.

— Ну вот и наши доказательства, — сказала баронесса, развязывая ленту. — Найти юридическое обоснование для удовлетворения моих притязаний — долг вашего юридического таланта, о котором все говорят, дорогой метр.

— Благодарю вас, баронесса, — поклонился Ферма и углубился в изучение принесенных бумаг.

Через некоторое время, заметив, что Ферма ознакомился с последним листком, баронесса с обворожительной улыбкой спросила:

— Ну как, дорогой мой метр, которому я доверяю счастье своего сына? Вы, кажется, еще ничего не записали, как хотели? Все ли ясно?

— Боюсь вас огорчить, баронесса, но из принесенных мне бумаг явствует, что земли, на которые вы претендуете, никогда не принадлежали роду де Гранжери. Король Генрих IV даровал их графу Эдмону де Лейе, отняв у мелких землевладельцев — крестьян.

— Что я слышу, досточтимый метр! — вспыхнула баронесса. — Уж не хотите ли вы сказать, что при отмене старого указа Генриха IV право на эти земли обретут не представители католического рода де Гранжери, владения коих к ним прилегают, а эти грязные крестьяне?

— Я не мог бы более точно выразить правовую основу этого дела, если исключить слово «грязные», применительно к землевладельцам, оставленным Генрихом IV без земель.

— Ну, знаете ли, метр Ферма! — с горечью воскликнула баронесса. — Я однажды уже разочаровывалась в вас как представителе закона, а вы заставляете меня сделать это еще раз! Я надеюсь на вашу

помощь, а вы уже пророчите враждебное мне решение парламента!

— Ни в коей мере, баронесса! Высказали возможное решение парламента в Тулузе вы, а не я. Мне лишь пришлось отметить четкость вашего мышления.

— Тогда другое дело, дорогой метр, — с облегчением вздохнула Орлетта и продолжала уже ласково: — Мы с вами найдем иные слова, не правда ли? Парламент может и должен удовлетворить мои претензии, коль скоро господь смотрит с небес! Дарованные безбожному гугеноту земли должны быть отняты. И я хотела бы познакомить вас с владетельным бароном, кому эти земли должны принадлежать, с моим сыном Симоном, который, к счастью, вернулся, как я вижу в окно, с охоты. С этими мужчинами так трудно, поверите ли, метр! Несмотря на зимний месяц, он все-таки умчался со своими сворами гончих. Вот он! Знакомьтесь.

В столовую с шумом ворвались пять или шесть собак с грязными лапами, оставляя следы на полу, а за ними вбежал возбужденный охотник в короткополой шляпе с пером и воскликнул:

— Виват, мадам! Виват, мсье! Полюбуйтесь на мои охотничьи трофеи. Три зайца на отличный ужин! А как они удирали, вы бы знали! Дух захватывало от скачки! И еще лиса. А на волка придется устроить облаву.

Ферма смотрел на барона Симона де Гранжери и не верил глазам. Перед ним стоял молодой граф Рауль де Лейе, правда, чуть старше, чем был он, когда его обвиняли в дуэли, но раскрасневшийся от скачки на холодном воздухе Симон выглядел моложе своих тридцати трех лет, отчего сходство его с молодым когда-то графом Раулем де Лейе усиливалось.

Еще одно видение из прошлого вывело Ферма из равновесия, и он не удержался от возгласа:

— Право, мне почудилось, сударыня, что к вам в дом вошел ваш противник, тяжбу с которым вы хотели доверить мне.

— Ба! — глупо рассмеялся Симон. — И этот господин попался на мое сходство с враждебным нам графом де Лейе! Как бы мне получше это использовать? Явиться куда-нибудь вместо него?

Мать испепелила взглядом сына за его неуместное замечание, видя, какое впечатление произвело оно на Ферма. У нее уже не оставалось сомнений, что Пьеру

все известно, что он обладает страшной тайной рождения Симона. Теперь она была права, ибо Ферма, с присущей ему проницательностью, сделал выводы из обнаруженного сходства. Звенья нанизывались в стройную цепь событий тридцатичетырехлетней давности.

«Так вот кто она, «знатная дама», которая не поступилась своей репутацией для спасения любовника! Так вот какова безутешная вдова, жаждущая мести, но покинувшая смертельно раненного мужа, чтобы увидеться с молодым графом! Так вот к кому спешил на свидание Рауль сразу после освобождения из тюрьмы! И вот чей сын только что вышел из комнаты!» — промелькнуло в мыслях у Ферма.

Баронесса уже уверилась, что у нее нет иного выхода, как подчиниться воле покойного кардинала. Стараясь не выдать себя, она расспрашивала Ферма:

— У вас ведь тоже есть взрослый сын, мой метр?

— Да, сударыня, он ученый.

— Как это мило! Хочется пожелать, чтобы король пожаловал ему за его заслуги хотя бы титул барона.

— Благодарю, сударыня, но ученым пока не принято жаловать титулы аристократов, у них своя иерархия.

— Ах вот как? Их звания передаются по наследству?

— Не столько звания, сколько знания, сударыня.

— Я хочу, чтобы вы поняли меня как отец, дорогой метр. Для меня весь смысл жизни, вся сила моей нерастраченной любви — в Симоне! Конечно, вы, мужчины, осуждаете меня за это?

— Вы вынуждаете меня опровергнуть вас, сударыня.

— А вы умеете быть учтивым! Или я вынудила вас к этому?

— Нисколько, баронесса! Я вполне искренен.

«Кто из нас может быть искренним?» — с отчаянием подумала баронесса и с улыбкой предложила:

— Не кажется ли вам, дорогой мой метр, милый мой метр, что нам с вами в соблюдение традиций нужно выпить хорошего старого вина за успех нашего дела?

Она предложила и ужаснулась, втайне надеясь, что он откажется. А он сказал:

— Я не уверен в вашем деле, баронесса. Мне не хотелось бы питать вас призрачными надеждами. У крестьян больше прав на эти земли, чем у вас, если отнять их у графа де Лейе.

Эти с присущей Ферма честностью сказанные слова были тем толчком, который помог Орлетте пробудить в себе демона зла: «Он выдал себя с головой! Рассчитывает, что граф де Лейе снова заплатит ему теперь за то, чтобы лишить его истинного сына части своих владений! Значит, Ферма несомненный враг, который не заслуживает ничего другого, кроме «уготовленного ему кардиналом». О боже, боже! Дай мне силы!» — думала она, вся дрожа, но улыбаясь:

— И все-таки, милый мой метр, ставший почти родным для меня человеком, я не могу отказать себе в удовольствии выпить вместе с вами старого французского вина с виноградников благословенного юга Франции! Выпить за исполнение сокровенных желаний каждого из нас. Мое желание вы знаете, ужель у вас нет его?

— У меня есть такое сокровенное желание, оно владело мной, когда я ехал к вам.

— Если так, то как же нам обойтись без вина? Я пойду распоряжусь, поскучайте две минуты. — И она вышла, шурша шелками.

Старый слуга в новой ливрее раньше, чем она вернулась, принес бутылку вина и два бокала тонкого хрусталя. Затем появилась и баронесса, странно бледная, покусывающая губу, неся для чего-то песочные часы и при виде Ферма превратясь в светскую даму:

— Вот перстень, милый метр. Он достался мне по наследству от матери. В нем — волшебная сила, способная выполнить заветные желания, и мое и ваше, если мы поочередно опустим перстень в свои бокалы и осушим их. Согласны?

— С моей стороны было бы верхом неучтивости не согласиться с вами, баронесса.

— Я опускаю перстень в свой бокал и, загадав желание, выпиваю вино первой, чтобы вы не подумали, будто оно отравлено.

— Баронесса! Как можно!

— Полно, полно! Теперь я перекладываю перстень в ваш бокал. Вы должны выпить вино раньше, чем пересыплется песок в песочных часах, загадав за это время свое желание.

— Если это игра, сударыня, то она не лишена романтичности, а я — поэт. Пока пересыпается песок в ваших часах, я успею, воспользовавшись вашим пером и бумагой, о чем мечтал по дороге к вам, написать свое сокровенное желание.

«Сам господь видит, что я не заставляла его ждать, пока перстень пролежит в его бокале пять минут, — старалась выгородить сама себя Орлетта. — Господь своей всемогущей десницей снимает с меня грех».

И она взглянула на первую написанную Ферма строчку, ощутив леденящий ужас, но не оттого, на что решилась, а от сознания последствий, если эта бумага будет кем-то прочитана, ибо на ней значилось: *«Тайна разложения степеней»*. Какая наглость — писать донос в ее присутствии, пользуясь иносказаниями! Тайна есть тайна. Степени — высшее сословие. Разложение — распущенность нравов! Он пишет свою последнюю кляузу, пока пересыпается песок!

А Пьер Ферма увлеченно писал:

«Для доказательства нерешаемости в целых числах уравнения с разложением степени на два слагаемых в той же степени мы предлагаем метод, противоположный ранее предложенному нами методу спуска, с помощью которого нам удалось обогатить математику целых чисел *. Предлагаемое же доказательство сформулированной нами теоремы разложения степеней основывается на методе ** подъема».

Закончив описание своего «метода подъема», Пьер Ферма дописал:

«Если предложенное доказательство, основанное на противопоставлении свойств «плоских» и «пространственных» и «надпространственных» мест, покажется тем, кто прочтет эти строки, удивительным, то это отра-

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* «Метод спуска» Ферма изложен в его 45-м примечании к «Арифметике» Диофанта и в его письме к Каркави, где для доказательства того, что площадь прямоугольного треугольника не может быть равна квадрату целого числа, говорилось: «Если бы существовал некоторый прямоугольный треугольник в целых числах, который имел бы площадь, равную квадрату, то существовал бы другой треугольник, меньший этого, который обладал бы тем же свойством. Если бы существовал второй, меньший первого, который имел бы то же свойство, то существовал бы, в силу подобного рассуждения, третий, меньший второго, который имел бы то же свойство, и, наконец четвертый, пятый, спускаясь до бесконечности. Но если задано число, то не существует бесконечности по спуску меньших его (я все время подразумеваю целые числа). Откуда заключаю, что не существует никакого прямоугольного треугольника с квадратной площадью».

Этим методом доказаны частные случаи для степеней = 3 и 4.

** *Примечание автора для особо интересующихся.* «Метод подъема» гипотетически мог бы быть изложен так: «Если прямоуголь-

зит и мое собственное отношение к найденному доказательству, суть которых в «вероятностных кривых» *.

Пока Пьер Ферма писал, песок в песочных часах успел пересыпаться. Баронесса куталась в принесенный платок, хотя от горевшего камина несло жаром. Ничего не поняв в появляющихся под гусиным пером строчках, она отвернулась, что избавило ее от того, чтобы видеть глаза гостя. А он, аккуратно сложив написанную бумагу, спрятал ее в карман камзола:

— Итак, сударыня, исполнив свое заветное желание, как вы того пожелали, я искренне благодарю вас за перо и бумагу.

— И за вино, — хрипло напомнила Орлетта, одержимая теперь лишь желанием овладеть «страшным», как ей казалось, документом.

---

ный треугольник можно построить только на плоскости, имеющей два измерения, и свойством такого «плоского места» будет пифагоров закон о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то нет оснований полагать, что подобные «законы» отражают свойства «пространственных» и «субпространственных мест» с тремя и более измерениями, что при переходе (подъеме) от плоскости к объему (кубу, параллелепипеду или другой пространственной фигуре) диагональ, скажем куба, возведенная в третью степень, будет равна сумме других отрезков, укладывающихся в эту фигуру (сторон куба) в третьей степени. И еще меньше оснований полагать, что при переходе к «невообразимым фигурам» четырех и больше измерений можно найти целочисленное решение для четвертой степени одного отрезка, равного сумме двух других отрезков в четвертых степенях каждый. Для необоснованности подобных предположений достаточно доказать, что целочисленных решений нет, скажем, для биквадратов, что и будет *общим доказательством* отсутствия целочисленных решений для «пространственных» и «субпространственных» фигур вообще.

Нерешаемость в целых числах уравнения с разложением числа в четвертой степени на два слагаемых в той же степени безупречно доказана Пьером Ферма с помощью его «метода спуска», а для третьей степени спустя столетие Эйлером. В наше время с помощью электронно-вычислительных машин доказана подобная нерешаемость для всех чисел до многих миллионов с показателями от 3 до 100 000, что, по мнению Ферма, доказывать уже не требовалось, поскольку для четвертой степени это доказано и для третьей степени тоже удалось доказать, подтвердив тем, что «вероятностные кривые Ферма» расходятся.

* Математики, предполагающие, что Ферма ошибся в своем доказательстве Великой теоремы и она простыми средствами якобы недоказуема, могут отыскать «ошибку» и в приведенном здесь «ГИПОТЕТИЧЕСКОМ» «методе подъема», учтя, однако, при этом как его «литературную условность», так и математическое значение упомянутых «вероятностных кривых», которые, очевидно, должны отражать поддающуюся экстраполяции закономерность. И не забыть при этом корректность практической проверки доказательства.

— И за вино! — подхватил Ферма, залпом выпивая бокал.

Перстень звякнул, когда Ферма поставил бокал на стол. Ферма вынул его и передал баронессе:

— Теперь, если позволите, сударыня, я предпочел бы отдохнуть в комнате, которую вы мне укажете.

— О боже, что я сделала! — не удержалась от возгласа Орлетта и, спохватившись, добавила: — Ах, нет, нет, метр! Я до сих пор не позаботилась о вашем отдыхе. Камердинер заменит меня и проводит вас. — И она с таким отчаянием позвонила в колокольчик, словно это должно было спасти и ее и гостя.

Все тот же шаркающий ногами слуга в парадной ливрее появился в дверях и, поняв знак госпожи, сделал Ферма жест следовать за собой.

Ферма невольно зевнул, упрекнув себя в неучтивости. В голове у него шумело (какое крепкое вино, сразу бьет в голову!), и он, нетвердо ступая, пошел следом за слугой, отвесив готовой разрыдаться, смертельно бледной баронессе прощальный поклон.

Это был последний поклон великого математика XVII века Пьера Ферма!

Через час его не стало...

Орлетта с гулко бьющимся сердцем, со свечой в руках на цыпочках подошла к двери отведенной Ферма комнаты и некоторое время прислушивалась. Потом вошла в нее, готовая объяснить свое появление заботой о госте, а в глубине души надеясь, что перстень за годы «выдохся» и Ферма просто спит. Но он лежал плашмя на кровати, не раздевшись, уткнувшись лицом в подушку. Орлетта потрогала его руку и отдернула свою, ощутив мертвящий холод.

Он был мертв, как и предрекал «серый кардинал», в «святости своей и христианской любви» убеждая, что «он не узнает уже горестей, уготовленных ему в жизни...».

Дрожащими руками Орлетта стала обшаривать карманы гостя, пока не нашла недавно написанную «Тайну разложения степеней» — доказательство Великой теоремы, которое в течение столетий будут тщетно стараться воспроизвести множество ученых. Но для Орлетты этот листок был разоблачением, грозящим низложением ее сына Симона из баронов в незаконнорожденного и бесправного человека. «Скорее, скорее

уничтожить проклятую тайнопись, в которой ничего нельзя понять!»

И Орлетта, шепча клятву постричься в монахини, чтобы замолить свои великие грехи, поднесла бесценный для науки документ к пламени свечи — и через минуту доказательство Ферма его великой теоремы перестало существовать, от него не осталось даже пепла, растоптанного ногой будущей игуменьи монастыря кармелиток в Бетюне, превратившейся по воле умершего «серого кардинала» в «волчицу», а «человек хуже зверя, когда он зверь», как скажет впоследствии, размышляя о человеческой сущности, Рабиндранат Тагор.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

*От человека остаются только дела его.*

М. Горький

9 февраля 1665 года в «Журнале ученых» («Journal des Savants»), который начал выходить во Франции взамен подвижнической переписки, которую вел до конца жизни аббат Мерсенн, а вслед за ним Каркави, помещен некролог Пьеру Ферма.

В этом некрологе говорилось:

«Это был один из наиболее замечательных умов нашего века, такой универсальный гений и такой разносторонний, что если бы все ученые не воздали должное его необыкновенным заслугам, то трудно было бы поверить всем вещам, которые нужно о нем сказать, чтобы ничего не упустить в нашем «ПОХВАЛЬНОМ СЛОВЕ».

И хотя уже при жизни Пьер Ферма был признан первым математиком своего времени, о его юридической деятельности говорится в том же «Похвальном слове», как о выполняемой им «с большой добросовестностью и таким умением, что он славился как один из лучших юристов своего времени». А о его поэтическом творчестве на латинском, французском и испанском языках говорилось, что «он писал стихи с таким изяществом, как если бы он жил во времена Августа и провел большую часть своей жизни при дворе Франции или Мадрида». После же его смерти, последовавшей «во время одной из служебных поездок» (как сказано, видимо, без каких-либо расследований обстоятельств его кончины),

слава его не только умножилась, но поставленные им перед ученым миром, решенные им самим, задачи были столь значительны, что на протяжении более чем трех столетий вызывали не только фундаментальные работы таких корифеев науки, как Эйлер, Лейбниц, Гюйгенс, Ньютон, Лагранж и другие, но и создание новых отраслей математики: теория вероятностей, теория алгебраических чисел, с помощью остроумнейших приемов которой ученые пытались доказать великую теорему Ферма, остающуюся и поныне маяком для искателей математических истин.

## ЭПИЛОГ

*Мечты придают миру интерес и смысл.*

А. Франс

Закрываем последнюю страницу романа, где действует Мним.

С кем же мы прощаемся? С автором, превратившимся на время в Мнима, чтобы, мечтая о своем герое XVII века, оказаться рядом с ним? Или прощаемся с самим великим математиком, каким он представлен в романе, рожденный своей славой и открытиями.

Но, быть может, Мнима надо отнести все-таки к моему былому попутчику, неведомо как появившемуся в пустом купе движущегося поезда, «путешественнику во времени из прошлого в будущее»?

И наконец, не следует ли отнести доказательство великой теоремы, записанное перед кончиной Пьером Ферма, к «мнимым доказательствам», не удовлетворяющим дотошных математиков?

Все эти вопросы в первую очередь мучили автора, и требовалось установить, существует ли на самом деле Аркадий Николаевич Кожевников?

Найти его взялся мой сын Олег Александрович, если помните, военный моряк, капитан 1-го ранга.

Связанный по службе наряду с другими флотами также и с Тихоокеанским, он во время полета на Камчатку с разрешения командования задержался на сутки в Новосибирске. И представьте, нашел нашего МНИМА!

Он побывал и у него на службе в Сибгипротрансе, и даже дома, убедившись в полной реальности его существования. Более того, он познакомил Аркадия Ни-

колаевича с уже начатым к тому времени мной романом. Аркадий Николаевич был настолько любезен, что прислал с моим сыном письмо, которое считал возможным включить в эпилог романа о Пьере Ферма, перед которым он преклонялся.

Письмо Аркадия Николаевича представляет, на мой взгляд, несомненный интерес для чистых математиков, поскольку гипотетически воспроизводит возможное доказательство великой теоремы, сделанное самим Пьером Ферма.

После долгих раздумий я все же не решился затруднить читателя путешествием в математические дебри, оставляя возможность для тех, кто не побоится этого, связаться с самим Аркадием Николаевичем Кожевниковым по адресу, который он вручил мне, как описано в прологе романа.

Однако строго математически обоснованный вывод А. Н. Кожевникова о том, что для полного доказательства нерешаемости в целых числах выражения $x^n + y^n = z^n$ при $n > 2$ достаточно убедиться в этом на любом примере с показателем степени больше 2 (что сделано самим Пьером Ферма для биквадратов!), совпадает с результатом того образного доказательства, которое записал герой романа Пьер Ферма в замке баронессы де Гранжери перед своей кончиной и которое, уничтоженное баронессой, не дошло до нас!

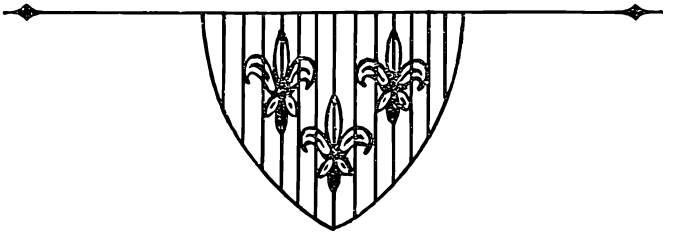
Для автора главное не столько в этом «доказательстве», сколько в образе великого математика, каким он ему представился, дела которого продолжают волновать ученых и в наше время.

И примечательно — честное слово! — что Пьер Ферма жил именно в то «мушкетерское время», которое так красочно описал неувядающий Александр Дюма, но которое было не только эпохой острых шпаг и коварных интриг, но и острого ума гениальных ученых, знакомство с которыми может быть интересно читателю.

*Москва, Переделкино*
*1981—1982 гг.*

*Книга вторая*

# КОЛОКОЛ СОЛНЦА



НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН-ГИПОТЕЗА
В ТРЕХ ЧАСТЯХ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ
ОБ УМЕ, ШПАГЕ, ФИЛОСОФИИ И КОВАРСТВЕ

*Человек должен верить, что непонятное можно понять, иначе он не стал бы размышлять об этом.*

Гёте



## ПРОЛОГ

*Мир — добродетель цивилизации,*
*война — ее преступление.*

В. Гюго

Летом 1958 года мне привелось посетить Париж почти двадцать лет спустя, после того как перед войной я проезжал через него по пути в Нью-Йорк на Всемирную выставку «Мир будущего». Я был тогда ошеломлен красавцем городом, утопавшим в цветущих каштанах, где каждый камень мостовой казался страницей истории.

Теперь советские туристы совершали круиз вокруг Европы на теплоходе «Победа», и я возглавлял одну из групп своих спутников. В их числе был известный поэт и мой друг Владимир Лифшиц и переводчица французских романов Евгения Калашникова, которой мы обязаны «свободным плаванием» по улицам Парижа.

Впрочем, мне повезло еще и в том, что нашим добровольным гидом оказался парижанин Виталий Гальберштадт, которому я позвонил по телефону, известный шахматный композитор. Мы с ним ежегодно встречались на шахматных конгрессах (незадолго до того я был избран вице-президентом Постоянной комиссии по шахматной композиции ФИДЕ).

Виталий всегда выручал меня там, на заседаниях, значительно лучше владея русским языком, чем я немецким, бывшим в ходу между композиторами.

Гальберштадт и знакомил нас с достопримечательностями Парижа, начав с кладбища Пер-Лашез, со Стеной коммунаров, перед которой мы молча стояли с обнаженными головами, смотря на немые, но столь многоречивые выщербленные камни старинной кладки.

И конечно, Лувр! Еще в первое посещение его меня потрясла Венера Милосская, с тысячелетними отметинами на мраморе, в гордом одиночестве она красовалась в отделанном черным бархатом зале.

Казалось, что рядом с шедевром ничему нет места! Но, увы, после войны Венеру Милосскую почему-то потеснили, и очарование исключительности потускнело.

А вот потускневшие краски «Джоконды» Леонардо да Винчи, на которую тогда еще не было совершено покушение похитителей и которую старательно срисовывал бородатый художник с гривой волнистых волос, — эти потускневшие краски выглядели значительнее и благороднее свежих на копии.

Эйфелева башня, этот дерзостный всплеск в небо ажурного металла, несмотря на протесты в прошлом веке парижской элиты, включая даже Ги де Мопассана, ныне служит символом Парижа. Ее высь тянет к себе туристов, и мы, чтобы увидеть Париж с высоты птичьего полета, поднимались туда в открытом лифте.

Потом я поднимался в лифте и выше, на 102-й этаж Эмпайр-Стейтс-Билдинг, но там, окруженный тесными стенками кабины, я ничего не ощущал, кроме уходящего из-под ног пола при спуске, а здесь, когда стоишь у невысоких перил и видишь уходящую вниз землю с домами, превращающимися в домики, захватывает дух, и вспоминаются детские сны с волшебным полетом.

Не прошли мы мимо и Нотр-Дам де Пари (собора Парижской богоматери), где монашка проворно взяла с нас плату за право ощутить над собой мрачные, словно уходящие в темное небо своды собора, опиравшиеся на исполинские четырехгранные колонны.

Знаменитым местом Парижа был тогда еще существовавший Центральный рынок, «чрево Парижа», куда мы пришли на рассвете, чтобы застать заполнение его всей привозимой туда в несметном количестве снедью.

Казалось, ничто не может сравниться с тем шумом, гамом темпераментных французов, грохотом грузовиков, толкотней и ароматом свежих овощей, фруктов, расхваливаемых с завидным убеждением продавцами и продавщицами, да и прочей крестьянской продукцией, которую уже спозаранок раскупали заботливые парижанки с цветастыми сумками, быть может утратившие было тонкий стан, но никак не парижский стиль.

Вместе с Лифшицем и Калашниковой я побывал в редакции газеты «Юманите», которая незадолго до того печатала мой роман «Пылающий остров»: изо дня в день, фельетонами, как говорят об «отрывках с продолжением», по традиции, заложенной еще Дюма-отцом.

Издатель газеты товарищ Фажон сказал, что с автором «Пылающего острова» и его друзьями хотели бы встретиться некоторые французы, участники Сопротивления, в их числе писатели и издатели. Свидание назначили по французскому обычаю в ресторане. Я надеялся на Калашникову как на переводчицу.

Но, когда мы появились в назначенном месте, обходя выставленные на тротуар столики и направляясь в глубь помещения, нам навстречу (русских туристов узнают неведомым образом на расстоянии!) поднялся невысокого роста француз с улыбающимся лицом и на превосходном русском языке пригласил нас сесть за занятый им столик, отрекомендовавшись Жаком Бержье, родом из Одессы.

Я знал этого писателя и редактора по его смелым статьям о самых острых вопросах науки, где он не боялся защищать порой экстравагантные гипотезы. Позже он был издателем одного из популярных журналов.

Он познакомил меня с молодым человеком, который переводил на французский язык мой «Пылающий остров» для «Юманите». Словом, недостатка в французах, владеющих русским языком, не было.

Вскоре подошел, слегка прихрамывая, еще один участник нашей встречи, которому я обязан всем тем, что предложу дальше читателям.

Это был диктор Парижского радио Эме Мишель.

По-французски через переводчиков он стал рассказывать о книге, над которой работал.

Впоследствии он прислал ее мне в Москву.

Это был скрупулезный труд, опирающийся на статистические данные и строго проверенные наблюдения свидетелей полета неопознанных летающих объектов — НЛО, или УФО (по зарубежной терминологии).

Эме Мишель ни словом не обмолвился об инопланетных кораблях или зондах, какими могли оказаться «летающие тарелки», основное внимание сосредоточивая на фактах их появления, траекторий полета с изменением движения под острыми углами при скоростях до 70 тысяч километров в час, словно они не подчинялись законам инерции!

Разговор вскоре перешел на другую тему, на воспоминания о временах Сопротивления.

Эме Мишель, знаком потребовав особого внимания, достал из внутреннего кармана пиджака завернутый в старую газету сверток и положил его на стол.

— Мы хотели бы, — торжественно начал Жак Бержье, — чтобы русские товарищи передали этот пакет в Москву, в Кремль. Здесь документы русского участника французского Сопротивления, бойца Красной Армии, бежавшего из гитлеровского концлагеря и героически отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом здесь, во Франции. — Жак Бержье осторожно развернул пакет.

В нем были красноармейская книжка и партийный билет погибшего в бою с нацистами во Франции Иванова Сергея Петровича. Сержем звали его французы.

Мы засыпали наших французских друзей вопросами о советском герое, сражавшемся во Франции, но, к нашему сожалению, Жак Бержье сказал:

— Я должен огорчить наших советских товарищей, но нам почти ничего не известно об этом замечательном Серже, нам передали его документы с кратким добавлением, что они принадлежат подлинному герою. Нам не привелось воевать в маки, хотя каждый из нас посильно помогал Сопротивлению. Что касается меня, то мне удавалось чисто математически, зная количество отправляющихся в разные стороны поездов, устанавливать направление гитлеровских военных перевозок, сообщая об этом через подпольную радиостанцию в Россию.

Благоговейно из рук в руки передавали мы бесценные документы с застывшей на них кровью бойца.

И тут мой взгляд упал на газетный заголовок. Я поразился: «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»!

Я поднял недоуменный взгляд на Жака Бержье.

— Да, да! — улыбнулся он. — Сирано де Бержерак! Не удивляйтесь. Символ отваги и чести для многих участников Сопротивления. Подпольная газета называлась его именем.

— Сирано де Бержерак, — повторил я, вспоминая блистательную комедию Ростана, поставленную у нас в театре имени Вахтангова с Рубеном Симоновым в главной роли. Романтический герой, поэт с уродливым лицом, передававший слова любви той, которую любил, но не от себя, а от избранника, ставшего его другом. Она полюбила автора этих пламенных строк, но слишком поздно узнала, кто он!..

Словно угадав мои мысли, Эме Мишель сказал:

— Если вы думаете о пьесе нашего Ростана, то не его персонаж вдохновлял бойцов Сопротивления, а совсем иной Сирано де Бержерак, легендарный человек, полный загадок, философ, ученый и поэт, виртуозно вла-

девший шпагой. Я хотел бы собрать о нем безупречные сведения, как собираю о неопознанных летающих объектах. Ведь у меня уже есть документы о том, что он действительно одержал победу сразу над ста противниками. Но главное в тех тайных знаниях, которыми он обладал и которые подтверждаются лишь в наше время *. И это современник кардинала Ришелье и д'Артаньяна, прославленного романами Дюма.

— Следовательно, и Пьера Ферма, — вставил я.

— Конечно. И Рене Декарта тоже.

— Как бы хотелось узнать все, что нам удастся выяснить об этом человеке, имя которого как воплощение французского патриотизма взяла подпольная газета.

— Я пришлю вам все, что мне удастся узнать о нем, — пообещал Эме Мишель (и пусть четверть века спустя, но выполнил свое обещание!), Особенно примечательной оказалась меняющаяся внешность Сирано. Дошедшие до нас портреты сделаны лишь после его военной службы, во время которой он получил при осаде Арраса сабельный удар в лицо, изменивший очертания его знаменитого носа, бывшего до ранения еще крупнее, о чем можно лишь догадываться, но что, однако, имело большое значение в его жизни.

Но тогда в ресторане вмешался в наш разговор Жак Бержье:

— Да, конечно, Сирано де Бержерак — фигура столь же примечательная, как и загадочная. Но XVII век богат и другими занимательными загадками. Взять хотя бы того же всесильного правителя Франции, коварного и жестокого кардинала Ришелье. Казалось бы, трудно себе представить более мрачную фигуру. Все силы и недюжинный талант он отдал укреплению абсолютизма, самодержавия, как говорят у вас в России, правда, во-

* В 1967 году Эме Мишель опубликовал в журнале «Сьянс э ви» («Наука и жизнь») статью, где сообщил, что Сирано де Бержерак 350 лет тому назад писал о многоступенчатых ракетах для межпланетных сообщений, о явлении невесомости, о законе тяготения (открытом Ньютоном сто лет спустя), о парашютирующем спуске, описал устройства, напоминающие радио- и телевизионную аппаратуру, звукозапись (в виде сережек, закрепляемых на ухе и включающих в нужном месте чтение требуемой главы мысленным (биотоки мозга!) приказом). Более того, в опровержение существовавших при нем представлений он утверждал, что живые организмы состоят из клеток, что вокруг нас мир невидимых существ, микробов (открытых Пастером через двести лет), что в крови находятся антитела (обнаруженные лишь в наше время). *(Примеч. авт.)*

площая всю власть в своем лице. Король Людовик XIII был слаб и циничен. Я сейчас прочту вам его подлинное письмо к губернатору Арраса. — И Бержье достал из кармана блокнот с записанной там цитатой. — «Извольте изворачиваться, — пишет король. — Грабьте, умея хоронить концы, поступайте так же, как другие в своих губерниях, вы можете все в нашей империи, вам все дозволено» *.

— Не этот ли французский король именовал себя Справедливым? — спросил я.

— Вот именно! — рассмеялся Жак Бержье. — Можете поверить, что кардинал Ришелье не во имя «справедливости» забрал у короля всю власть. Так вот, представьте себе, что меня, французского коммуниста, заинтересовал и мучает один необъяснимый поступок кардинала Ришелье, заклятого врага всех противников угнетения, и, живи он в наше время, не было бы злейшего врага коммунизма, и вместе с тем...

— Вместе с тем?

— Мрачный кардинал Ришелье, правитель Франции времен Людовика XIII и угнетатель французского народа, добился освобождения приговоренного к пожизненному заключению итальянского монаха Томмазо Кампанеллы, автора утопии «Город Солнца», первого коммуниста-утописта Европы, предоставив ему во Франции убежище и назначив правительственную пенсию.

— Непостижимо! — ахнули мы.

— Очень странно, — согласился и Эме Мишель. — В этом стоило бы разобраться, как и в загадках Сирано де Бержерака.

Мы сердечно распрощались с новыми французскими друзьями, чувствуя себя и обогащенными и заинтригованными.

Как величайшее сокровище взяли мы документы погибшего советского героя, передав их в Москве по назначению.

Но газету, старую газету времен французского Сопротивления я заменил новым конвертом, оставив себе газетный листок с именем Сирано де Бержерака.

Я тогда еще не знал, что этот легендарный герой, считавшийся непревзойденным по храбрости гасконцем,

* Прочитанная Бержье цитата встретилась мне и в статье академика В. И. Невского, предварявшей трактат Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны», изд. Академии, 1931. *(Примеч. авт.)*

но он не был гасконцем, станет мне близок и посвящу ему романы спустя много лет после парижской встречи, романы, названные научно-фантастическими только потому, что слишком фантастичны знания Сирано трехсотлетней давности, слишком невероятными кажутся события из жизни, столь же бурной, как и короткой, поэта, философа, бойца, страстно протестовавшего против клокочущей вокруг него пустоты.

И вместе с тем человека, обойденного Природой, но страстно жаждущего простого человеческого счастья.

Автор должен предупредить читателя, что, поскольку его герои, и Сирано де Бержерак, и Томмазо Кампанелла, были поэтами, то стихотворные произведения их даны в романе в переводе автора (сонеты Кампанеллы) с латинских оригиналов, а Сирано де Бержерака — как сонеты, так и стихотворения, также и стихи его противников — даны в условном «переводе» автора с несуществующих, не дошедших до нас оригиналов, как это делал, в частности, и Э. Ростан.

Я предваряю роман сонетом Сирано де Бержерака, наиболее характерным для раннего периода его жизни, когда он прославился как первый дуэлянт Парижа.

### ЖЕЛАННЫЙ ЯД

Сонет *

Как я хотел бы для дуэли
Противника себе найти
И звездной ночью (без дуэньи!)
С ним вместе шпаг скрестить пути.

И пусть в мучениях до встречи
Волненьем жгучим буду жить.
Змеиный яд болезни лечит,
Желанный яд кровь освежит.

Придет, как гром, мое мгновенье,
Смогу счастливцем страстным стать
И за одно прикосновенье
Полжизни радостно отдать!

Хочу сраженным быть не сталью,
А приоткрытою вуалью.

* Из числа ненайденных стихотворений Сирано де Бержерака, быть может, написанных в пору, когда он прославился как первый дуэлянт Парижа, тщетно пробивая себе дорогу к счастью.



# Часть первая

# ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ

*Самое трудное для человека — узнать себя.*

Грузинская пословица

## Глава первая

## «ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ СЕНЬОР»

*В ревности больше себялюбия, чем любви.*

Ф. Ларошфуко

Шато Мовьер, небольшой деревянный домик с мезонином, стоял невдалеке от Парижа, на взгорье, откуда открывался прелестный вид на как бы затянутую утренним туманом, чуть всхолмленную равнину, где между купами деревьев простирались отнюдь не бесконечные, а ограниченные извилистой Сеной поля «имения» господина Абеля де Сирано-де-Мовьера. До приобретения этих земель он именовался просто господином Сирано, происходя, кстати сказать, из рода старинного и даже прославленного несколько необычным образом.

По легенде королевский егерь Карла VI случайно спас на охоте жизнь королю, вошедшему в историю как Безумный. Перепуганный больной король, не зная, чем отблагодарить спасителя, якобы даровал ему на английский манер привилегию для всего их рода не снимать

шляпу в присутствии короля. Незадолго перед тем Карл VI подписал с англичанами договор в Труа, признав французским престолонаследником английского короля Генриха V. Бурные события последующих лет, подвиг Жанны д'Арк, изгнание англичан из Орлеана и с большей части Франции, воцарение при содействии Орлеанской девы нового (предавшего ее потом!) короля Карла VII стерли память об этой проанглийской прихоти безумного монарха, однако привилегия эта, по некоторым непроверенным слухам, формально не была отменена, имели ее в королевстве не более трех человек, в том числе и потомок удачливого егеря Жан-Жака господина Абеля де Сирано, который поставил себе целью жизни воспользоваться этой неотмененной привилегией, возвысясь над всеми, кто свысока относился к нему, провинциальному нотариусу, какому-то королевскому писцу, ибо некогда славный род Сирано за два столетия захудал.

Ради выполнения задуманного плана господин Абель де Сирано решил во что бы то ни стало пробиться к королевскому двору, куда господ Сирано уже сто лет не приглашали и где ныне воцарился король Генрих IV, еще недавно Генрих Наваррский, опиравшийся в борьбе за власть на гугенотов и гасконцев, даруя им особые права. Чтобы получить такие права, одновременно обратив на себя всеобщее внимание, Абель де Сирано решил «слыть гасконцем», с каковой целью выгодно женился на приглянувшейся ему девушке из буржуазной семьи, родственной самим Беранже, приобретя на ее приданое поместье Мовьер вблизи столицы, поближе к Лувру, которое, впрочем, больше походило на хутор, но тем не менее новый его владелец мог считаться «владетельным сеньором», именуясь господином поместий Мовьер, то есть господином де Мовьер.

Однако для честолюбивых замыслов господина Абеля главное было в том, что прежде имение это принадлежало гасконцам де Бержеракам, а потому он вправе был присовокупить к своему удлинившемуся имени гасконскую фамилию, став господином Абелем де Сирано-де-Мовьер-де-Бержераком, в расчете, что это впечатляющее сочетание слов наряду с полузабытой английской «шляпной привилегией», дарованной их роду по прихоти хоть и безумца, но короля, откроет ему доступ ко двору и поможет, как «гасконцу», добиться милости властвующего короля-гасконца Генриха IV.

Но на честолюбивом пути владетельного сеньора непреодолимым препятствием встала нужда.

Сеньор постоянно пребывал в дурном расположении духа. Две глубочайшие складки на лбу как бы продолжали линию носа, сидящего на словно вырубленном из песчаника квадратном лице с тяжелым подбородком, с седеющей бородкой и вислыми серыми усами. Доски пола дряхлеющего дома стонали под его тяжестью, когда он расхаживал из угла в угол тесной комнаты, именуемой залом замка, в ожидании, когда его жена Мадлен разрешится от бремени вторым своим ребенком.

Чем больше ожидал Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак свершения предначертанного богом акта, тем нетерпеливее становился.

И когда из спальни жены раздался наконец какой-то странный звук, похожий на скрип половицы, который не сразу был воспринят Абелем как детский крик, он облегченно вздохнул.

В залу вбежала миниатюрная черноволосая кузина его жены, баронесса де Невильет, получившая свой титул не столько за миловидное личико, сколько за весомое приданое (тоже родственница семейства Беранже), и воскликнула, охватив свою хорошенькую головку руками:

— Ах, Абель! Поздравляю, мальчик, мальчик! Ну что за прелесть! Идите смотреть.

Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак направился к двери спальни без особого энтузиазма, ибо вид новорожденных не вызывал в нем восторгов.

Повитуха, старая, прижившаяся здесь испанка, вместе с толстой, подвыпившей по такому важному поводу кухаркой, хлопотавшая около роженицы, ахнула при виде хозяина дома. Она закудахтала, и ее сморщенное, как залежалое яблоко, лицо расплылось в улыбку, став похожим на карнавальную маску.

— О, сеньор! Позвольте поздравить вас с сыном! Замечательный мальчик, вы только посмотрите! Весь в отца! Гидальго!

— Покажите, — неохотно приказал Абель.

Та, откинув кружева платочка, прикрывавшего личико ребенка, с торжеством поднесла его к отцу.

Тот, брезгливо морщась, пристально посмотрел на крохотного малютку и в ярости отпрянул.

По его искаженному лицу повитуха поняла, что господин разгневан.

— Я тоже думала, что девочка, а оказался мальчик, — словно оправдываясь, пролепетала она.

— Это не мальчик! Это урод! — вне себя от гнева произнес, вернее, прокричал господин Абель де Сиранде-Мовьер-де-Бержерак.

В полуоткрытой двери показалась испуганная баронесса.

— Савиньон, непременно назовите его Савиньон, — невпопад заговорила она. — Я буду на его крещении второй матерью.

Господин Абель отмахнулся от родственницы и тяжелым шагом подошел к кровати, на которой лежала в полном изнеможении, стараясь улыбнуться, Мадлен.

— Признайтесь, сударыня, — громовым голосом начал Абель, — где вы нашли такого носатого любовника, чтобы неведомо чьим отродьем осквернить мой славный род?

Баронесса вскрикнула.

Мадлен залилась слезами, бормоча:

— Абель, что с тобой! Клянусь...

— Не богохульствуй, несчастная! Не усугубляй своей вины! У меня не было в роду предков с носом, разделяющим лоб пополам.

— Что вы, владетельный сеньор! — бросилась между супругами повитуха, в то время как окаменевшая от испуга баронесса застыла в дверях. — Это же родовая опухоль, опухоль на личике. Она проходит, вот увидите, да просветит вас Мадонна! И все пройдет, и он будет, как две капли росы на лепестке розы, походить на вас, владетельный сеньор! Вы уж поверьте!

— Я верю только в господа бога и собственным глазам, а не старым цыганским или испанским ведьмам или французским распутным бабам, которые за деньги отцов втираются в старинные дворянские роды.

При этих словах баронесса Женевьева де Невильет, приняв это на свой счет, грохнулась на пол в глубоком обмороке. Сразу протрезвевшая кухарка Сюзанна суетливо склонилась над ней, а грозный ревнивец равнодушно перешагнул через груду надушенного шелка и вышел из комнаты, не слыша, как ему вслед кричала перепуганная испанка:

— Опухоль это! Провалиться мне на этом месте, опухоль!

Вообще-то говоря, ей, даже при ее добрых намерениях, следовало бы провалиться сквозь старый пол зам-

ка, потому что нос младенца оказался не опухолью, а странной игрой природы, отнюдь не уменьшившись до самых крестин.

Баронесса, несмотря на нанесенное ей оскорбление, все же не уехала и самоотверженно ухаживала за кузиной и присутствовала на крестинах, куда господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, как примерный католик, все же явился в последнюю минуту.

Крестил Савиньона новый деревенский кюре, который был прислан старому в помощники и преемники. Абель смотрел на него мрачно и неодобрительно. И священнику, у которого были нежные голубые, но проницательные глаза, он показался предвещающей град грозовой тучей, повисшей над равниной Сены.

После крещения, когда ревнивый и гневный отец все еще ждал спадания безобразной опухоли с лица новорожденного, мать по совету кузины тайком выбралась на улицу, чтобы добежать в темноте до кюре.

Деревенский священник жил в доме своего предшественника, по которому он недавно справил заупокойную мессу. Домишко этот почти ничем не отличался от остальных крестьянских хижин, разве что очагом, который имел вытяжную трубу, и дым не выходил, как у других жителей деревни, через отверстие в крыше.

Мадлен, смертельно боясь, что муж настигнет ее, добралась до домика кюре и постучала в дверь.

Молодой кюре в деревянных сабо, стуча ими по крыльцу, вышел, недоуменно вглядываясь в позднюю гостью проницательными глазами. Из открывшейся двери пахнуло хлевом, ибо старый кюре держал там вместе с собой козу, оставив ее в наследство своему преемнику, как и кур, почему-то не смастерив для них курятник. А новый жилец, по-видимому, еще не успел ничего сделать.

— Отец мой, — испуганным шепотом начала Мадлен, — я должна исповедаться.

Кюре вздрогнул. Меньше всего он хотел бы стать обладателем какой-нибудь тайны, да еще и связанной с хозяевами поместья.

— Но это можно сделать только в храме, — попытался возразить он. — Нельзя ли подождать до утра?

— Отец мой, я не могу при свете. У всех на глазах. Я боюсь страшных последствий и умоляю вас пройти сейчас со мною в церковь.

В словах несчастной женщины слышались такие нотки, что молодому священнику не осталось ничего другого, как пойти за ключами от церкви.

И пока он отыскивал их, ворча на козу и барахтающихся кур, Мадлен стояла на крыльце и дрожала не столько от вечерней сырости, сколько от волнения. Она боялась, что яростный Абель появится сейчас здесь и даже приревнует к молодому кюре, несмотря на обет того остаться в безбрачии до конца дней.

— Пойдемте, мадам, — пригласил наконец кюре.

С церковной дверью, когда они дошли до нее, ему пришлось повозиться в темноте. Потом — зажигать внутри храма свечи. На вид ему не больше тридцати лет, длинные волосы локонами спадали на плечи, и, не будь на нем сутаны, его можно было бы принять за завсегдатая Латинского квартала, населенного студентами, поэтами и художниками.

Молодой служитель бога вошел в исповедальню, предложив Мадлен встать на колени подле нее так, чтобы их разделяла лишь невысокая перегородка, имитирующая полное одиночество исповедуемой.

— Итак, дочь моя, что привело вас в столь поздний час в храм господний? — ласково начал невидимый исповедник, и Мадлен в ее отчаянном положении показалось, что это сам бог на небесах спрашивает ее.

— Отец мой, — трепетно начала она, — я пришла за спасением. Клянусь господом единым, я не имею за собой вины. — Священник вздохнул облегченно, но она не услышала это, продолжая: — А у меня родился ребенок, нос которого начинается выше бровей, и мой муж, владетельный сеньор Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, грозит убить и его и меня, якобы нарушившую супружескую верность. Но здесь, на исповеди, перед лицом самого господа бога, я клянусь жизнью своего несчастного ребенка, что господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак его отец.

— Верю вам, бедная женщина. Слова ваши звучат так искренне, словно подсказаны вам свыше. Чем же можно помочь вам?

— Я не знаю, отец мой, я взываю об этом к всевышнему. Я не страшусь за свою жизнь, но жизнь малютки, который ни в чем не повинен, впрочем, как и я... — И она залилась слезами.

— Успокойтесь, дочь моя, — произнес участливо кюре. — Господь сейчас вразумил меня, и я знаю, что де-

лать. Идите в замок и ощутите в себе то очищение, которое дает исповедь.

Они вышли из церкви, кюре повозился с ключами и пошел проводить Мадлен до шато, пообещав, что завтра поутру он повидается с владетельным сеньором.

Кюре же, вернувшись в свой полудом-полухлев, засветил свечу, чем на время обеспокоил сидящих на насесте кур, достал приготовленную для церкви гладкую доску и стал набрасывать углем чей-то портрет.

Надо сказать, что Анри Патри не сразу посвятил себя служению богу, а не так уж давно действительно жил в Латинском квартале, носил берет, блузу, бороду и занимался живописью, полный радужных надежд, как и другие завсегдатаи таверн, где он встречался с ними. Но произошла драма, потрясшая молодого художника до глубины души. Его подруга, «ослепительная Лаура», начисто обобрав его, исчезла, даже не простившись и ничего не объяснив ему. Страдания Анри Патри были так невыносимы, что он решил оставить греховную светскую жизнь, навеки отказаться от общения с прекрасным полом и посвятить себя служению единому господу.

Настоятель монастыря, к которому он обратился, взялся устроить его в духовную семинарию при условии, что он бесплатно распишет стены только что выстроенной монастырской часовни.

Годы, проведенные в семинарии, были тяжелым испытанием, в котором молитвы, нравоучения и наказания сменяли друг друга.

По окончании семинарии Анри Патри дал обет безбрачия и стал священником. Его сразу же направили помощником кюре в одну из ближайших к Парижу деревень, где он и получил теперь приход.

Всю ночь при свете свечи писал красками деревенский священник отнюдь не икону, а утром, сняв с насеста старую пеструшку и молоденького петуха, засунул их в корзину и отправился к владетельному сеньору в его замок Мовьер-Бержерак.

Владетельный сеньор принял его хмуро, с недоумением косясь на корзину, из которой торчала какая-то доска. Но господин Сирано помнил, что для того, чтобы приблизиться к королевскому двору, нужно слыть истовым католиком, и он провел бедного сельского священника, предвидя его просьбы в пользу церкви, в отдельную комнату, украшенную охотничьими трофея-

ми, унаследованными им еще от предков, занимавшихся в отличие от него охотой, имея на то привилегии.

— Владетельный сеньор, я обеспокоил вас, поскольку имел честь крестить вашего сына Савиньона и заметил на его лице некоторые особенности, о которых и хотел побеседовать с вами.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак покраснел от сдерживаемой ярости, ибо даже служителю церкви не следовало бы лезть в его семейные дела.

К счастью, кюре упомянул лишь о крестинах, а не о ночном посещении церкви женой Абеля де Сирано и пробудил в нем лишь недовольство при упоминании об уродстве сына, а не ярость против «неверной жены».

Меж тем странный кюре вынул из корзины сначала облезлую курицу-пеструшку, а вслед за ней бойкого петушка, который сразу замахал крыльями и вспорхнул на спинку дедовского кресла, красовавшегося в этой убогой комнате, будучи единственным ее украшением.

— Что это вы, отец мой, решили превратить мой замок в курятник? — осведомился пораженный хозяин.

— Я хочу обратить ваше внимание, сиятельный сеньор...

Это обращение польстило Абелю, хотя и не разгладило на его лбу двух резких и глубоких морщин над бровями.

— Вглядитесь в этих птиц, находящихся между собой в некотором родстве, но разделенных тридцатью пятью поколениями.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак тупо уставился на священника, по-бычьи нагнув голову.

— Я позволю себе уверить вас, сиятельный сеньор, что этой пеструшке, сохраненной покойным священником нашего прихода, помнящим еще давних владельцев этих земель господ де Бержерак, этой пеструшке, с вашего позволения, исполнилось нынче тридцать шесть лет.

— Что? — обалдело переспросил господин Абель де Сирано. — Никогда не слышал о такой долгой куриной жизни.

— Конечно, это так, сиятельный сеньор, поскольку кур никто не держит так долго, они много раньше та-

кого возраста попадают в суп, но, если бы их щадили, они жили бы не меньше этой пеструшки, с которой начал наш старый кюре свой опыт.

— Какой же опыт и какое мне до него дело, отец мой?

— Старый священник обратил внимание на пеструшку, когда она была еще цыпленком. Посмотрите, у нее на правой ноге не три, а четыре пальца.

— И вправду так, — подтвердил Абель де Сирано. — С чего бы это?

— Старый наш кюре тоже задумался над этим и решил выяснить, в каком поколении повторится этот уродливый признак у кур, которые произойдут от странной пеструшки, и ее он сохранил как живое доказательство в его научном исследовании, какие так поощряются у нас в монастырях, давших приют замечательным ученым вроде аббата Мерсенна.

— Слышал, слышал. Так наш кюре же умер.

— Скончался, сиятельный сеньор, так и не дождавшись результата начатого им опыта. И уже после его смерти из яйца вылупился вот этот петушок. Помня заветы старого кюре, я, давший ему слово продлить его опыт, храню теперь и пеструшку и петушка, для которого она тридцать четыре раза бабушка.

— Что-то не пойму, то тридцать шесть лет, то тридцать четыре раза бабушка.

— Так ведь цыплята выводятся и вырастают в течение года, годовалые куры кладут яйца и дают новый выводок. В первый год пеструшка была матерью первых своих цыплят, а в следующие годы — бабушкой, прабабушкой, прапрабабушкой и так тридцать четыре раза бабушкой.

— Мудрено, — покачал своей квадратной головой владетельный сеньор и погладил вислые усы.

— Вот и я хотел задать вопрос вашей светлости: можете ли вы представить себе облик своего предка в тридцать пятом поколении, что-то вроде тысячи лет назад, как бы в шестисотом году после рождения Христова?

— Не могу, — признался названный «вашей светлостью» Абель де Сирано.

— А я, вдохновленный господом богом, принес вам портрет этого вашего предка, — сказал священник, доставая из корзины доску, над которой работал всю ночь.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак в немом удивлении уставился на портрет неизвестного человека, очень похожего на него самого, но у которого вместо глубоких вертикальных морщин, продолжающих линии носа, красовался сам нос, разделяющий лоб почти доверху пополам.

— Теперь извольте посмотреть на петушка, владетельный сеньор. У него на правой лапке тоже четыре, а не три пальца, совсем как и у старой пеструшки. Я намерен продемонстрировать это чудо природы в монастыре в Париже, а может быть, и в Сорбонне.

— Уж не хотите ли вы продемонстрировать и моего сына Савиньона этим мудрецам?

Кюре скрыл улыбку. Владетельный сеньор назвал Савиньона своим сыном, одним этим выдав то впечатление, которое вызвало в нем появление странного кюре со своими курами и разрисованной доской.

— Я хочу, ваша светлость, чтобы ваш сын Савиньон отныне почитался вами как подлинное свидетельство древности и знатности вашего благородного рода, берущего, быть может, начало от изображенного мною по наитию свыше вот этого лица, портрет которого я с глубокой преданностью подношу вашей светлости.

И молодой кюре с поклоном передал доску хозяину замка.

«Возьмет или не возьмет?» — звучало у него в мозгу, ибо этим решалась судьба бедной женщины и ее сыночка.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак после некоторого колебания принял подношение, но не потому, что его убедил опыт старого священника, завершившийся уже при молодом кюре, ибо он ничего в нем не понял, а потому, что этот молодой кюре сказал о наитии свыше, повелевшем ему изобразить предка Абеля. Может быть, и в самом деле это был первый Сирано? Ведь наитие-то от бога!

Кюре, забрав своих кур, но оставив портрет, щелкая деревянными башмаками по половицам замка, ушел в надежде, что исповедовавшейся у него женщине будет легче.

И когда ему привелось в последующие годы крестить сначала ее дочь и потом еще одного сына, он понял, что совершил в свое время доброе, угодное господу богу дело.

А тогда, глядя ему вслед из окна замка, Абель де

Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак размышлял, насколько это было доступно ему, принадлежавшему к той части дворянства, о которой говорилось, что «грубость ее равняется невежеству. Нетерпимая и несносная, она тормозит общественную жизнь своими узкими претензиями, ссорами за первенство, ненавистным для всех злоупотреблением своим правом охоты и вымогательством у крестьян, к чему дворян понуждает все увеличивающаяся нищета, не дающая им покоя».

Не знал от нее покоя и Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, хотя и держал в руках портрет своего возможного предка, который отнюдь не сделал его богаче. И он не стал вешать его на стену, как подумал было при кюре, а запрятал в чулан.

Он решил не подавать виду, что изменил отношение к Савиньону, нос которого по-прежнему злил его, хотя, быть может, и отражал внешность далекого предка. Однако неизвестно, был ли тот галл близок к Цезарю, который властвовал над Галлией.

### Глава вторая

## ОБИЖЕННЫЙ ПРИРОДОЙ

*Поразителен факт, что у большинства гениальных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобретали у матерей, чем у отцов.*

Бокль,
английский историк XIX века

В первую пятницу апреля 1625 года одинокий всадник, прославленный впоследствии как баловень «отваги и шпаги», ехал вдоль берега Сены, направляясь в Париж, увы, без монет в кармане, но с отцовским благословением и твердым намерением покорить город своих честолюбивых надежд.

Перед последним перегоном до столицы он решил дать передохнуть своему ленивому коню до смешного редкой желтой масти, да и самому разлечься на траве у воды, течение которой доведет его теперь до самого Лувра, где он найдет старинного друга отца, ныне капитана мушкетеров короля.

Лежа в приятно пахнувшей траве, навевающей сладкие грезы, и наблюдая за полетом легких стрекоз, кото-

рым не нужны ни важные встречи, ни поединки, ни рекомендательные письма, наш честолюбивый юноша, ибо не было ему и двадцати лет, заметил на противоположном берегу в тени плакучей ивы, опустившей ветки к воде, толстенького мальчонку лет шести с удочкой. Тот неотрывно смотрел на обтекаемый струйками поплавок.

С присущей отдыхающему всаднику наблюдательностью он заметил и подошедшего к юному рыбаку другого мальчика тех же лет, внешность которого не могла не привлечь внимания, ибо обладал он носом непомерной величины, который походил одновременно и на складку лобной кости черепа, и на птичий клюв.

— А, дятел! — донесся с того берега приветливый голос рыболова, не содержащий, впрочем, и тени насмешки. — Садись, рыбачить будем.

И тут будущий маршал Франции, прославленный не только сверкающим талантом Александра Дюма, но мемуарами, изданными Куртилем де Сандра у Пьера Руже в Амстердаме в 1701 году, когда минула эпоха Ришелье, Мазарини, Людовика XIII с борьбой всех против всех, крестьян против феодалов, феодалов против короля, короля против кардинала Ришелье, Ришелье против Испании и всех непокорных, и шпага наряду с интригой, казалось, решала все, юноша, которого мы повстречали на берегу Сены, приподнялся на локте, увидев, как рыболов судорожно дернул удочку и над водой серебристой звездочкой в лучах солнца сверкнула взлетевшая в воздух рыбка.

— Кола́! Кола! Что ты делаешь! Ведь ей больно! — закричал подошедший.

Но рыболов, очевидно, был менее чувствителен и, ухватив добычу, стал осовобождать ее от крючка.

— Кола! Кола! — со слезами на глазах и в голосе умолял носатый мальчик. — Давай отпустим ее в воду. У нее, может, тоже есть детки!

При этих словах отдыхающий всадник даже сел на траву, изумленно глядя на тот берег.

— У нее, у нее! — передразнил рыболов. — А может, это не она, а он — отец. А какие отцы бывают, сам знаешь.

При упоминании об отце, которого наш всадник глубоко чтил, он встал, направляясь к пасущемуся коню.

— Ну, Кола, все равно отпусти ее, я подарю тебе нож.

— Нож? — живо отозвался толстенький. — С костяной ручкой?

— Конечно, подарю.

— Нет, не так! Я продам тебе рыбку за твой нож. А лучше сварить бы из нее суп. Давай поймаем еще и разведем костер.

Всадник, занеся ногу в стремя, ждал конца разговора ребят.

— Нет, ты обещал выпустить ее за нож. Смотри, как она дышит! Будто ей сдавили горло. Сам знаешь, каково это!

— Да уж знаю, — проворчал Кола, невольно потерев пальцами шею. — Ну ладно, бери, твоя взяла.

Отъезжая, всадник уже не видел, как мальчик с длинным носом, встав на колени, дотянулся до водной поверхности и опустил в прохладу руку. И там, почувствовав, как сильнее забилось скользкое тельце, он разжал пальцы.

С радостной улыбкой наблюдал мальчуган, как вильнула рыбка хвостиком и исчезла в уже непрозрачной глубине.

А до отъехавшего всадника донеслась последняя фраза:

— Ну, с тобой, Сави́, рыбьего супа не сваришь, пойдем сходим за моим ножиком.

«Однако, — презрительно подумал всадник, погоняя отнюдь не ретивого коня, — из такого мальчугана толку не выйдет ни для короля, ни для его высокопреосвященства. Не шпагу надобно дать в эти руки, а веретено!»

С таким глубокомысленным заключением он уехал навстречу небывалым приключениям, и пути двух героев столь разных книг, но одной эпохи разошлись.

Мальчуганы же шагали по улице деревни, если так можно назвать извилистую пыльную тропу вдоль неровного ряда бедных крестьянских хижин.

— Это все мать тебя учит так «добру», — досадливо ворчал толстенький Кола. — И кем только ты, Сави, вырастешь? — по-взрослому вздохнул он.

— Мою мать не тронь, — угрожающе предупредил Савиньон. — Она меня любит.

— Любит, любит, — заверил Кола и добавил: — Я-то знаю за что!

— И ты о том же, Кола! А еще друг!..

— Я всегда за тебя, — заверил Кола.

В следующий миг ему представилась возможность доказать это на деле, ибо ребят догнала ватага босоногих сорванцов, которые, приплясывая, стали петь дразнилку, сочиненную старшим братом Кола по матери, в прошлом госпожи Бриссайль, ныне жены лавочника Лебре.

Носолобый,
Носолобый!
Почему твой нос как кость?
Носом чтобы,
носом чтобы
Заменять в прогулке трость!

В то время как расчетливый рыбак замер на месте, оберегая свою рыболовную снасть, взбешенный нанесенной ему обидой «носолобый» мальчик, подобно вепрю, бесстрашно бросился на обидчиков. Вид его был так ужасен, что все они кинулись врассыпную, но Сави нагнал старшего из них, брата его друга Кола, с размаху налетел на него, сбил с ног и начал тузить с необычайной сноровкой.

Избиваемый не столько вертелся, защищаясь, сколько вопил благим матом, взывая о помощи.

Но никто из перепуганных сорванцов на помощь к нему не пришел, и «носолобый» продолжал свою жестокую расправу до тех пор, пока не ощутил, как кто-то клещами впился в его руку у плеча.

— А ну-ка, бесенок, прекрати молотьбу! Это тебе не ток и не зерно! — послышался тонкий мужской голос, принадлежавший толстому лавочнику Лебре, у которого под круглым румяным лицом с заплывшими глазками имелось по меньшей мере три подбородка. — Опять драка? Снова ты нарушаешь деревенский покой? Я сейчас сведу тебя к твоему отцу, господину Абелю де Сирано-де-Мовьер-де-Бержераку. Он тебя не погладит по головке, какой бы на ней ни красовался клюв.

Сави извернулся и укусил лавочника за руку.

— Ах так! Ты еще и кусаться, бешеный щенок! — взвыл Лебре и ухватил теперь уже обеими вытянутыми руками Сави за плечо, не давая ему дотянуться зубами.

Савиньон упирался, извивался, дергался, стараясь вырваться из цепких рук, но лавочник потащил его по направлению к замку.

Маленький Лебре, держа в одной руке удочку, в дру-

гой банку с червями, испуганно смотрел, как волочит отец его друга к шато. Потом он повернулся и помчался домой, чтобы гнев отца не перекинулся на него.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак услышал срывающийся фальцет лавочника и важно вышел на шаткое крыльцо замка, чтобы, как и подобало в прежние времена «владетельному сеньору», вершить суд и расправу.

Толстяк голосил, взывая к господу богу, королю и его высокопреосвященству господину кардиналу, а также к «владетельному сеньору», который должен оградить жителей деревни, арендующих его земли, от бесчинств своего отпрыска. Отмеченный чуть ли не самим дьяволом необычным знаком на лице, этот отпрыск неукротимым своим буйством держит в страхе не только детей, но и взрослых, кусаясь, как собака.

При этом пострадавший Лебре представил для обозрения свою руку с явными следами маленьких зубов.

Вслед за доказанной таким способом виной последовал суровый и справедливый приговор, а вслед за тем незамедлительное наказание, когда судья превратился в палача.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак тут же на крыльце снял с сына пояс, удерживающий панталоны, отчего те, естественно, спустились, оголив истязуемое место, и начал порку, ожесточаясь с каждым ударом.

Лебре, с удовлетворением наблюдая за экзекуцией, ожидал криков, слез и мольбы о пощаде, но услышал лишь скрежет зубовный и вызывающие возгласы:

— Ха-ха!

Почтенный лавочник, придя в полное замешательство, предпочел, пятясь, удалиться. Сын владетельного сеньора обладал несносным характером, о чем стоило рассказать всей деревне.

Того же мнения о характере Савиньона был и сам господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак.

Расправляясь сейчас с нелюбимым сыном, он как бы припоминал ему и вызывающее перенесение им в последнее время отцовских щелчков по слишком торчащему носу, от чего господин Абель де Сирано не желал воздерживаться, слыша в ответ вызывающий возглас:

— Ха-ха!

Несомненно, избалованный матерью мальчуган осмеливался таким образом выражать непочтительность к

отцу, словно бы гордясь своим уродством, вместо того чтобы стыдиться его.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, решив выбить из Савиньона дурь, заодно внушив ему уважение к отцу, поволок его в дальнюю охотничью комнату замка, где рассчитывал вдоволь наслушаться рыданий маленького стервеца.

Втащив сына, придерживающего спадающие панталоны, в комнату и бросив его на пол, Абель снова взялся за ремень, но опять услышал лишь возмутительное:

— Ха-ха!

Тогда, окончательно озверев, он бросился в соседний с комнатой чулан для охотничьих принадлежностей за палкой, какой добивают подстреленную дичь, чтобы сейчас обломать ее или несносный характер урода.

Однако сам господь бог помешал отцу изувечить сына, ибо в комнату вбежала всегда кроткая и покорная Мадлен, преобразившаяся сейчас в тигрицу, защищающую своего детеныша.

Когда господин Абель де Сирано занес для удара палку, между им и его жертвой возникла бесстрашная женщина, полубезумная в своей отваге мать, не только заслонив собою сына, но и дерзостно крикнув мужу:

— Вы скорее убьете меня, чем нанесете вред этому несчастному ребенку! И клянусь господом богом, вина за это ляжет на душу католика, о чем благодаря заботе баронессы де Невильет узнает двор его королевского величества.

Конечно, король уже был иной. Генрих IV был убит ударом кинжала фанатика, и воцарившийся после него Людовик XIII, передав власть кардиналу Ришелье, уже не жаловал былых соратников Генриха Наваррского из Гаскони, но все же Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак не оставлял надежды приблизиться ко двору католического монарха или его высокопреосвященства господина кардинала. Угроза жены подействовала на него еще и потому, что он все-таки обладал несомненным человеческим качеством — безгранично любил свою жену, и если тяжело воспринял появление на свет Савиньона, то лишь из-за вызванной этой любовью ревности.

И, проклиная все на свете, господин Абель де Сирано выбежал в чулан и стал громить палкой когда-то подаренную ему кюре доску с изображением носолобого предка, возродившегося в непокорном сыне.

Для шестилетнего Савиньона эта сцена запала на

всю жизнь и ожила десятилетия спустя в его саркастическом философском трактате об «Ином мире» (на Луне, где «все наоборот» и порой много лучше, чем на Земле, и где якобы не выжившие из ума старики отцы руководят семьями, а достигшие зрелости сыновья с умом ясным и живым и энергией действенной). Наказание же нерадивых и глупых отцов в семье из гуманных соображений предназначалось их «изображениям» — их и хлестали плетью разгневанные сыновья. Но эта «зеркальная картина» с переменой мест отцов и сыновей возникнет у Савиньона Сирано де Бержерака через много, много лет, а пока...

Пока шестилетний уродец вопросительно смотрел на мать, с которой у него были особые отношения.

Мадлен непроизвольно выделяла его из числа других своих детей, материнским сердцем жалея обделенного природой и обижаемого людьми малютку.

И все, что она могла передать своим чувством бедному мальчику, вылилось прежде всего в его любовь ко всему живому, в неприятие насилия и несправедливости.

Однажды она показала Савиньону в саду гнездо какой-то птички, неосторожно свившей его на земле, у столешницы упавшего из-за подгнившего стояка стола. День за днем ходили они, любуясь, как набирали силы птенцы, открывавшие клювики при виде пернатых родителей, которые прилетали накормить их. И вот в один печальный день в гнездышке не оказалось ни одного птенчика, очевидно, всех их до единого сожрал гадкий кот, любимец Абеля де Сирано. Сын и мать плакали оба. И это горе не только сблизило их, но и вложило в сердце Сирано какое-то свое понимание жизни: он возненавидел прожорливого кота, воплотившего в себе насилие, и не мог видеть, как тот ластится к отцу.

Мать учила Савиньона оберегать крохотную сестренку и быть всегда на стороне слабых в мире, где торжествует несправедливость. У мальчика представление о злых людях и хищниках слилось в единый образ, хотя много позже он сумел найти между ними различие, ибо любой хищник не выберет себе больше жертв, чем ему требуется для пропитания, человек же, подобно ненавистному коту (не знал Савиньон тогда, конечно, что по составу крови к человеку кошка ближе, чем обезьяна!), сытому по горло, но все же растерзавшему несчастных птенцов, человек же, злой человек ради славы, власти

и собственной выгоды готов уничтожить (или послать на смерть) тысячи, даже миллионы людей!

Конечно, религиозная Мадлен не могла все это объяснить своему сыночку, но сумела пробудить в нем такие чувства, которые впоследствии вылились в философские взгляды.

Обломав палку о портрет своего носолобого предка, задыхаясь от злобы и хватаясь за сердце, господин Абель де Сирано снова вошел в охотничью комнату, чтобы не только проучить непокорного сына, но и наставить восставшую против него жену.

— Сударыня, — мрачно начал он, — пользуясь моим любовным отношением к вам, которое я не скрывал и не скрываю, вы позволили себе только что поставить под сомнение мою преданность святой католической церкви, грозя довести это до сведения двора его величества! Да будет вам известно, что подобных необоснованных угроз я не потерплю, каково бы ни было мое чувство к вам! В роду моем, в который вы имели честь войти, не бывало женщин, которые повелевали бы своими мужьями, подобно вашей кузине баронессе де Невильет, с которой я не советовал бы брать вам пример.

— Достойный рыцарь! Позвольте мне назвать вас так, поскольку ваши предки-рыцари служили французским рыцарям-королям! — начала Мадлен в совершенно несвойственном ей тоне. — Насколько мне известно, одним из главных принципов и достоинств рыцарства было уважение и преданность женщинам, что я и осмеливаюсь напомнить вам сейчас. Шесть лет назад почтенный кюре смирил ваш неправый гнев, и я думаю...

Мадлен не успела договорить, поскольку в дверях появилась толстуха кухарка и сообщила, что господин преподобный кюре просит соизволения у владетельного сеньора побеседовать с ним.

Господин Абель де Сирано поморщился:

— Опять этот кюре! — И подумал, что церкви снова нужны пожертвования, однако он взял себя в руки и приказал Сюзанне: — Попроси господина кюре пройти в зал замка, а вас, сударыня, — обратился он к жене уже более умиротворенно, — попрошу увести сына и должным образом наказать его за непочтение к родителю.

Мадлен улыбнулась мужу и присела в глубоком реверансе. Потом, взяв за плечи Савиньона, увела его к себе.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак набрал в легкие воздух, выпятив при этом не столько грудь, сколько живот, и тяжелыми шагами направился по скрипучим половицам в тесный зал, где его ожидал деревенский священник в деревянных башмаках.

— Чем могу служить святой церкви, отец мой? — важно спросил господин Абель де Сирано, откидывая назад свою кубическую по форме голову.

— Речь пойдет не о церкви, которой вы неустанно помогаете, владетельный сеньор. Я хотел бы просить вас о несколько иной милости.

Господин Абель де Сирано поморщился, а священник продолжал:

— Дело в том, что меня посетила внушенная мне, очевидно, свыше мысль обучать отроков учению божьему и начальным знаниям.

— Благая мысль, отец мой, — с еще большей важностью подтвердил господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак.

— И вы чрезвычайно почтили бы меня и поддержали мое начинание, владетельный сеньор, если бы согласились, чтобы в числе моих учеников был бы ваш сын Савиньон, которого я имел честь крестить шесть лет назад.

Абель де Сирано нахмурился: «Просит сына, значит, попросит и денег».

— Я не собираюсь взимать с учеников сколько-нибудь заметную плату за обучение и содержание, — словно угадав его мысли, продолжал кюре. — Дети будут работать, тем содержа себя и оплачивая трудом учение, ибо лучший учитель — это труд.

— Что-то не пойму. Вам что, и денег не надо, святой отец?

— Плата за обучение не назначается. Жить мальчикам придется у меня, невдалеке от церкви, и петь во время богослужений, служа богу в истинной вере.

— Да будет так, — согласился Абель де Сирано, чувствуя благостное расслабление и в душе и в теле. «Пусть мальчишка поумнеет вблизи служителя церкви, и мир снова воцарится в доме».

Кюре ушел с легкой душой, думая по дороге, что веление свыше снизошло на него, как он сказал об этом Абелю де Сирано, пожалуй, в виде отрока Лебре, прибежавшего к кюре с выпученными глазами, умоляя свя-

щенника тотчас пойти в замок и спасти от истязаний маленького Савиньона.

И лишь близко к замку кюре осенила мысль взять к себе учеников, того же Кола Лебре и Савиньона Сирано де Бержерака, а там, может быть, и еще кого-нибудь. Козу придется выдворить из дома, благо начинается скоро лето, а к зиме для нее что-нибудь построить с помощью тех же ребят.

### Глава третья

## ПЛАМЯ ГНЕВА

*...поскольку есть у каждого чуткости к страданию за общественное бедствие, настолько он человек.*

И. Н. Крамской

Запах гари пробудил господина Сирано глубокой ночью. Он подумал было, что коптит свеча, но в комнате было темно. Ему не хотелось вставать, рядом, мирно дыша, спала его Мадлен, дети находились в другой комнате, Савиньон вот уже шесть лет как жил у кюре, набираясь ума, кухарка Сюзанна не справлялась со своей пагубной страстью и с вечера, злоупотребив вином, заваливалась спать на кухне.

Окончательно проснулся Абель де Сирано, когда сквозь прикрытые веки ощутил свет, хотя он недавно проверил, что свеча потушена.

Он сел на кровати, увидев в окне, что деревья будто озарены чем-то мерцающим. Абель Сирано вскочил, чтобы открыть окно и убедиться в причине столь странного освещения. Гарь или копоть, которые недавно почудились ему, превратились теперь в удушливый запах дыма. Абель де Сирано распахнул окно, и вместо струи свежего ночного воздуха к нему в комнату ворвалось пламя. Замок горел.

Прежде всего Абель подумал о Мадлен, которая, как бы то ни было, занимала в его жизни первое место.

Мадлен проснулась, почуяв недоброе. Когда же она поняла, что в доме пожар, то крикнула:

— Дети! — вскочила с постели и рванулась было к двери, но, открыв ее, невольно отпрянула. Пламя бушевало и за окном и за дверью.

Тогда Абель де Сирано схватил свою жену на руки и бросился в огонь, как прыгают в воду, его длинные седеющие волосы вспыхнули, но он, прижимая к груди Мадлен, проскочил сквозь пылающую преграду и выбежал на крыльцо.

Сильно запахло паленым волосом. Абель де Сирано замотал своей грузной головой и сбил пламя.

— Дети! — отчаянно кричала Мадлен, заламывая руки и стараясь броситься обратно в горящий дом.

Тут господин Абель де Сирано увидел подбегающего кюре в сопровождении его воспитанников Савиньона и Кола.

— Преподобный! — бросил Абель. — Вверяю вам госпожу Сирано!

С этими словами он снова кинулся в огонь, чтобы спасти детей. В наполненном дымом зале он увидел старшего сына Жозефа, который стоял на коленях, не решаясь пробежать сквозь пылающие двери, кашлял и молился.

Отец схватил юношу за руку, поставил на ноги и вытолкнул сквозь горящий вход наружу, сам же бросился в детскую комнату, где должны были быть семилетняя дочка и самый маленький сынок.

И тут он, к своему удивлению, увидел, что Савиньон ведет за руку кашляющую сестренку, которая, оказывается, с перепугу забилась в охотничий чулан. «Когда только мальчуган успел проникнуть в горящий дом и найти ее?»

Из детской комнаты доносился плач годовалого малыша. Отец вбежал туда, выхватил ребенка из кроватки и, прижимая к себе и сам задыхаясь от кашля, ринулся из дома. И снова встретился с Савиньоном, который успел вывести девочку и снова вернулся к отцу, находчиво воспользовавшись еще не захваченным огнем окном.

Обрушился потолок, горящая балка пролетела перед самым лицом Савиньона и, казалось, не могла не задеть хотя бы его выступающий нос. Сердце остановилось у отца, но, видно, господь миловал Савиньона, каким-то чудом он остался невредим.

Отец передал ему ребенка, чтобы тот выбрался в окно, из которого вслед за тем повалил дым с языками пламени, сам же Абель де Сирано, задыхаясь, ринулся в кабинет, чтобы захватить хранившийся там мешочек с

золотом, без чего нельзя было представить дальнейшее существование семейства Сирано.

Савиньон в дымящейся одежде вынес через окно младшего брата и передал ребенка рыдающей матери, которую безуспешно пытался утешить кюре.

Наконец, спалив половину своих волос на голове и бороде, из горящего замка прежним путем выскочил полубезумный его владелец.

Он упал на землю и корчился в судорожном кашле. Кюре поливал его водой.

Встав на колени, Абель де Сирано осмотрелся. Кюре снова утешал жену. Дети, включая, Савиньона, были с нею, заветный мешочек Абель вынес, замок пылал, войти в него теперь было уже невозможно, чердак обрушился, когда потолочной балкой едва не задело Савиньона.

А где же Сюзанна, толстуха кухарка? Ее нигде не видно!

Все знали, что к вечеру, когда семья накормлена, она обычно напивалась до такой степени, что для нее уже ничего не существовало, и заваливалась спать, храпя и стеная до утра. Должно быть, даже пожар не смог поднять несчастную, и привычно непробудный сон ее стал поистине непробудным...

Мадлен первая вспомнила о ней и умоляла спасти бедняжку. Кюре хотел броситься на кухню, тоже объятую пламенем, чтобы вывести свою прихожанку, но господин Абель де Сирано силой удержал его. Все равно поздно, стены рухнули вслед за потолком, слишком стар был деревянный, построенный, еще когда вокруг росли леса, дом, да может быть, Сюзанна и выбежала из него и трясется от страха где-нибудь в кустах.

Но ни под одним кустом ее не оказалось, впоследствии на пожарище нашли ее обугленные кости.

Мадлен рыдала, дети плакали. Даже Савиньон вытирал свой огромный нос, старший сын Сирано, Жозеф, стоя на коленях, молился, чего нельзя было сказать о кюре, который метался, не зная, чем помочь несчастью.

Всю эту сцену наблюдал вытаращенными глазами не только перепуганный Кола Лебре, но и стоящие поодаль, сбежавшиеся на пожар крестьяне, жалостливо смотря на происходящее и, кстати сказать, даже не пытаясь бороться с огнем, а лишь качая головами.

Это происходило в последний понедельник августа, после уборки урожая, а в предыдущую пятницу, кото-

рую крестьяне называли «черной пятницей», в деревушку Мовьер вступил отряд солдат во главе с лейтенантом на хромающем коне, следом за пыльной каретой, влекомой парой невзрачных лошадей, запряженных цугом.

Такое событие, отмеченное лаем немногих деревенских псов, так как в большинстве бедствующих домов из бережливости собак не держали, стало праздником для босоногих мальчишек. Увязавшись за солдатами, они шагали как они, держа палки, как копья и шпаги.

Савиньон с Кола выбежали из дома кюре, присоединившись к ребятам.

Офицер, приказав разбить палатки для ночлега, сам направился к деревенскому лавочнику, заботясь о расхованном коне. Господин Лебре выскочил ему навстречу, стараясь натянуть улыбку на круглое, подпертое тройным подбородком лицо, но на вопрос офицера о кузнице лишь развел руками.

Мрачный офицер помрачнел еще более и, сойдя с коня и бросив лавочнику поводья, по-хозяйски топая ботфортами, вошел в дом (который не был свободным от постоя), распорядясь, чтобы ему отвели одну комнату. Был он суров и имел шрам на бородатом лице — знак мужества и отваги.

Карета же подъехала к замку Мовьер-Бержерак.

Из нее вышел встреченный владельцем замка господином Абелем де Сирано-де-Мовьером-де-Бержераком маленький человечек в огромной шляпе, одетый во все черное, с гусиным пером за ухом и с чернильницей на золотой цепочке вместо украшения камзола. Вид у него, несмотря на малый рост, был строгий и важный, хотя движения порывисты, почтение же, которое ему оказывал местный землевладелец, говорило о высоком положении приехавшего.

Однако обладатель лисьей мордочки и писчих принадлежностей не был ни знатным гостем, ни графом, ни бароном, а просто сборщиком податей в пользу королевской казны.

Оставив карету и церемонно раскланявшись с «владетельным сеньором», освобожденным от всех поборов, сборщик податей немедленно направился дергающимся шагом в деревню, где его уже ждал мрачный офицер во главе своих угрожающе вооруженных солдат.

Мальчишки тоже построились в ряд, как это сделали солдаты, офицера перед ними изображал, гордо вскинув свой нос, Савиньон.

Глядя на него, солдаты косились на лейтенанта со шрамом, не решаясь вслух поиздеваться над «стенобитным снарядом» для взятия крепостей на лице мальчугана. Что же касается той «крепости», для «взятия» которой они прибыли сюда, то им никаких осадных орудий не потребовалось.

Вскоре деревня огласилась воплями, мольбами и плачем.

Сборщик податей порывисто заходил по очереди в крестьянские хижины, писал что-то неведомое крестьянам и приказывал солдатам грузить на подоспевшую телегу мешки обмолоченного зерна снятого урожая, круги козьего сыра, живых кур, уток, гусей, визжащих поросят. Свиней и блеющих овец сбили в кучу и погнали по улице вдоль очищаемых хижин.

Подати в пользу короля!

А перед тем были церковные, один перечень их чего стоит: в особенности лепта св. Петра (главный церковный побор), индульгенция (за отпущение грехов), аннат (единовременный годовой сбор в пользу папского двора), симония (плата за предоставленную церковную должность, которую за нищенствующего кюре вынуждены были вносить прихожане).

Словом, крестьянская жатва делилась между королем, придворными, церковью, судебными чиновниками и деревенским дворянством. Крестьянам же оставалось только то, что позволяло им при полуголодном существовании сеять и собирать вновь, дабы отдать жатву снова.

Домик кюре, на правах духовного лица освобожденного от сборов, стоял последним на улице, а в ближней к нему хижине разыгралась особенно мрачная драма. Больной крестьянин не смог собрать урожай, жене и старшим детям не удалось полностью заменить его, а сборщик податей ничего слышать не хотел. Имевшегося в доме зерна оказалось мало, и сборщик податей распорядился забрать у крестьянина единственную его козу, а она была главной кормилицей многодетной семьи.

Мать семейства рыдала и голосила, хватаясь за козу, которую уводили солдаты.

Кюре вышел из своего дома, Савиньон и Кола вертелись около него, наблюдая душераздирающую сцену.

Кюре сказал своим воспитанникам:

— Если хотите быть настоящими людьми, то испове-

дуйте главный принцип доброты: «Мне — ничего, а все, что есть, — другим». Приведите мою козу.

— Как, зачем? — запротестовал Кола. — Вы же, отец наш, освобождены от всех поборов!

— От всех, дитя мое, кроме веления сердца. Приведи козу, соседским детям надо чем-то питаться, она у нас дает достаточно молока.

Ребята бросились во двор кюре, где соорудили когда-то сарайчик для козы, и отвели ее к соседке.

Удивленная крестьянка не верила глазам. У нее снова будет коза! Она опустилась на колени перед кюре, уверяя, что это сам господь бог сжалился над ее горем.

А кюре, отведя мальчиков в сторону, чтобы избежать дальнейших изъявлений благодарности, сказал им:

— Я научил вас латыни, сколько знал сам, научил писать и считать, но все это пустяк, ибо храм знания надо строить на фундаменте слова, воспринимаемого сердцем. Вы думаете, что я вам дал пример доброго поступка? Я лишь выполнил завет, данный нам господом, и признаюсь вам, что вразумил меня на это один мудрый монах, вот уж скоро тридцать лет томящийся в темнице. Его светлый ум, не затемненный перенесенными страданиями, позволил ему написать в заключении трактат о стране Солнца, где нет у людей собственности, где все общее, где каждый трудится наравне с другими и где нет знати и священнослужители вроде меня занимаются науками для общей пользы.

Дети слушали, удивленные странной притчей их кюре.

Солдаты закончили свое жестокое дело, угнали отнятый скот, увезли отобранное зерно и другую крестьянскую снедь, чтобы отослать это сильным мира сего, не приложившим ни малейших усилий для получения этих даров земли.

Сборщик податей и офицер спешили в замок Мовьер, где их ждал обед, устроенный «владетельным сеньором», на землях которого трудились практически без вознаграждения нищие крестьяне.

По этому случаю даже Савиньону позволили сопровождать кюре в шато отца, и он стал свидетелем ведшейся за столом беседы.

— Не могу не восхищаться, — поднимал бокал вина его отец, — доблестью королевского отряда, проявленной при сборе податей с этих грязных лентяев. Прики-

дываясь бедняками, они стараются подальше запрятать и прикарманить выращенное на моих землях добро.

Офицер залпом выпил кубок вина и разгладил мокрые усы:

— Попробовали бы они у меня уклониться от своего долга! — И он грозно ударил кулаком по столу.

— Мы вынуждены, господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, — отрывисто начал сборщик податей, — взимать подати с помощью солдат. Это святое дело вызывает бунты, восстания невежественных людей. Не понимают, что такое священное право собственности на землю! Что такое право короля, властвующего не только над ними, но и над их господами.

Савиньон взглянул на кюре при слове «священное право собственности» и невольно подумал о сказочном крае Солнца, где почему-то нет такого права собственности и где люди счастливы.

Вскоре Мадлен увела детей, включая Савиньона, мужчины остались одни и продолжали бражничать, кроме кюре, конечно, который стойко воздерживался от назойливых угощений хозяина.

Когда винные пары дали себя достаточно знать и у сборщика податей, и у офицера, господин Абель де Сирано приступил к тому щекотливому вопросу, ради которого при своих денежных затруднениях он не пожалел устроить для гостей обед с вином.

— Почтенные служители короны, — начал господин Сирано, — я восхищаюсь слаженностью вашей работы, которую ведете с благословения его высокопреосвященства господина кардинала, и крайне опечален, что вы уже завтра перед воскресным днем покидаете наши места. Однако я все же надеюсь, что просьба верного слуги короля будет услышана такими же верными слугами его величества и его высокопреосвященства господина кардинала.

— Что бы вы хотели, господин Абель де Мовьер-де-Бержерак? — как бы пролаял сборщик податей.

— Задержаться вам назавтра и взыскать с помощью ваших доблестных солдат арендную плату с бессовестных крестьян, которые обогащаются на моих землях, не выплачивая мне уже который год установленной за пользование землей платы.

Сборщик податей и офицер переглянулись. Господин Абель понял их взгляды.

— Разумеется, что, получив с крестьян долг, я не

останусь в долгу перед теми, кто столь плодотворно поможет правому делу.

— В какой доле? — отрывисто спросил сборщик податей.

— В десятой! — с трудом выговорил землевладелец.

— В пятой! — выпалил сборщик податей и с присущей ему порывистостью вскочил из-за стола.

— Помилуйте, сударь... — начал было Абель де Сирано.

— Собираем с пятой доли, — тонко пролаял служитель короля и снова переглянулся с офицером, который молча кивнул.

Пришлось кивнуть и владетельному сеньору.

На следующий день солдаты снова прошли деревню от хижины к хижине, забирая то, что осталось от вчерашнего обхода.

У последней хижины, соседней с домом кюре, они задержались. Во дворе и в доме не было ничего, кроме козы, которую вчера отдал беднякам кюре.

Солдатам и сборщику податей, представлявшим сейчас интересы землевладельца, до этого не было никакого дела.

Так коза кюре была забрана в счет арендной платы крестьянина за землю, на которой он выращивал урожай, не принадлежащий ему.

Крестьяне мрачными взглядами провожали солдат с награбленными дарами земли. Многие думали, как будут они теперь жить и кормить детей.

Солдаты ушли вслед за вымытой каретой с парой запряженных в нее цугом лошадей и всадником на хромающем, потерявшем подкову коне.

А ночью в замке Мовьер-Бержерак случился пожар.

На рассвете, глядя на дымящееся пожарище, господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, проклиная крамольных крестьян, которые, несомненно, подожгли его замок в отместку за взимание с них арендной платы, поклялся, что продаст все эти зараженные бунтом земли и переедет с семьей жить в Париж.

— А как же Савиньон? — поинтересовался кюре. — Позволите ли вы ему продолжать учение у меня?

— Нет! — отрезал господин Абель. — Кроме ваших разумных наставлений, отец мой, он наслышится

здесь бунтарских мыслей у сверстников и их отцов-поджигателей.

— Хочу заметить вам, господин Абель, что, сочувствуя всем сердцем вашему горю, я бы горевал еще больше, если б такой способный ученик, как ваш Савиньон, не продолжил бы образование, скажем, в колледже де Бове при университете в Париже.

— Пусть готовится или в монастырь, или в армию какого-нибудь герцога или короля. Жозеф решил стать духовным лицом, это пример и Савиньону. А на колледж, преподобный кюре, у меня, увы, потерпевшего такие убытки, — он показал на пепелище, — денег нет.

— Тогда дозвольте мне, владетельный сеньор, использовать благодетельное отношение ко мне его преосвященства господина епископа, который изволил похвалить мою роспись церкви, чтобы обратиться к нему с нижайшей просьбой выхлопотать стипендию для вашего Савиньона в коллеже де Бове.

— Это ваше дело, преподобный отец. Я с епископом дел не имел, хотя с радостью приму от него любое благодеяние, а вы, надеюсь, доведете до него сведения о моем несчастье.

Кюре обещал.

### Глава четвертая

## РАНА ПЕДАНТА

*Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.*

Гёте

Аббат Гранже, заведующий коллежем де Бове при университете в Париже, мог быть образцом человека железной воли в слабом теле. Всю свою жизнь он боролся с собой, усердием и воздержанием приобретая те качества, которые стремился передать ученикам, будучи к ним так же требователен, как и к себе.

Худой, с провалившимися щеками и желтым цветом горбоносого аскетического лица, с тонкими губами и горящими глазами фанатика, всегда прямо держащий облаченный в сутану стан, аббат Гранже ястребиным

взором следил за образцовым порядком в доверенном ему коллеже, где основой учения ввел зубрежки, перемежающиеся с молитвами и неизбежными наказаниями за малейшие нарушения монастырского устава.

Аббат Гранже считался признанным ученым, уважаемым как среди богословов, так и светских людей. Покровительство его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье создало его коллежу де Бове солидную репутацию, и знатные люди наперебой стремились устроить именно в это заведение своих отпрысков, которым сразу же приходилось забыть мальчишеские повадки, баловство и прочие шалости, зная отныне только молитвы и учение. Наказания здесь были просты и строги — карцер и порка.

Надо заметить, что к порке аббат Гранже прибегал лишь в исключительных случаях, не потому, что считал такой способ воспитания несоответственным богобоязненному духу заведения, а из-за своей слабости, терзающей его, как незаживающая рана, ибо он не выносил любых страданий, а при виде крови даже лишался чувств, что считал для себя позорным и недостойным пастыря, долженствующего воспитать образованных дворян, исполненных как религиозного рвения, так и учености и благородства. Скрывать эту свою рану и оставаться строгим было аббату нелегко.

Аббат Гранже продолжал отечески следить за своими воспитанниками даже после окончания ими коллежа, попадали ли они в университет, посвящали ли себя духовной карьере или военной славе. С ними он держался так же приветливо и строго при встречах, как если бы они по-прежнему подчинялись уставу коллежа.

Ученики коллежа, однако, пользовались и некоторыми привилегиями, необходимыми, по мнению аббата Гранже, для усвоения норм дворянского поведения в жизни, а потому они могли общаться со студентами университета и с избранными из них даже посещать Латинский квартал для ознакомления с нравами парижской молодежи и в особенности с законами дворянской чести. Желающие же могли еще и брать книги из университетской библиотеки.

Если первые поблажки привлекали немало учеников, то библиотека представляла для них значительно меньший интерес, поскольку излишнее прилежание и любовь к знаниям в коллеже отнюдь не были распространены. Учителя, да и сам аббат Гранже пристально следили за

тем, с кем общаются и что читают воспитанники, помимо обязательных текстов, какие надлежало зазубривать, произнося их в случае надобности слово в слово.

Цитаты аббат Гранже считал основой образованности, но, конечно, цитаты из книг, одобренных им самим, отцами церкви или папой римским.

Савиньон Сирано де Бержерак, отличаясь феноменальными способностями, за годы, проведенные в колледже де Бове, сумел овладеть не только латынью, но и греческим языком, свободно читая античных авторов.

И он был в числе немногих, кто получал книги древних философов в библиотеке университета, чтобы изучать их, вместо изнурительных молитвенных бдений, которыми многие его сотоварищи старались снискать к себе благосклонность учителей и самого аббата Гранже.

В час, когда большинство учеников находилось на одном из таких бдений, аббат Гранже лично обходил коридоры и дортуары коллежа, чтобы убедиться, кто из учеников не проявляет долженствующего религиозного рвения. И в своей пастырской заботе он, слабый на ноги, с трудом все же забирался на чердак, где среди старой, покрытой пылью школьной рухляди, поломанных столов, кроватей и стульев обнаружил молодого Сирано.

Юноша так углубился у слухового окна в чтение старинного фолианта, что не заметил, как из-за полуразрушенного шкафа карающей тенью появился аббат Гранже.

Некоторое время слышался лишь шелест перелистываемых страниц. Наконец аббат Гранже, которому из-за слабеющего зрения трудно было рассмотреть, что за книгу с таким увлечением читает его ученик, нарушил тишину:

— Что постигает в таком неподобающем месте воспитанник коллежа де Бове, когда другие возносят в храме молитвы господу богу?

Савиньон вздрогнул, обернулся и увидел высокую фигуру в сутане, узнав самого аббата, Сушеного Педанта, как с его острого языка называли его ученики в коллеже.

Савиньон почтительно вскочил и с готовностью ответил:

— Изучаю философию древних, отец мой.

— Каково имя автора этой книги?

— Демокрит, ваше преподобие, — отвечал Сирано,

отнюдь не поникнув головой, а словно бы вскинув свой тяжелый нос.

— Демокрит? Разве кто-либо из воспитателей коллежа принуждал свою паству к подобному чтению?

— Нет, ваше преподобие. Я заинтересовался этим философом сам.

Надо сказать, что при всей учености аббата Гранже он Демокрита не читал, ибо заведомо знал, что взгляды этого грека из Абдеры не совпадали с жившим после него Аристотелем, учение которого для католической церкви использовалось схоластами как каноническое. Аббат Гранже спросил елейным голосом:

— Что же усвоил ты, сын мой, из этого лжеучения язычника?

— Аристотель тоже был язычником, отец мой, но учение его благословляют отцы нашей святой церкви.

— Так почему же ты, сын мой, читаешь не Аристотеля, а какого-то Демокрита?

— Потому что он очень убедительно показывает, как устроен мир, из чего состоят все сущие в нем тела.

— Из чего же, сын мой, создал их господь бог?

— Из атомов, неделимых частиц, находящихся в движении в пространстве, которые при соединении создают тела, а при распаде вызывают их уничтожение.

— Не хочешь ли ты сказать, сын мой, что господь бог создал в шестой день творения не землю, звезды, тварей живых и человека, а лишь неделимые частицы — атомы, а тела и все сущее получалось потом само собой?

— Именно так, ваше преподобие, утверждал греческий философ еще две тысячи лет тому назад.

— Зачем знакомиться с подобной ересью? Разве воспитатели твои не учили тебя находить ответ на любой вопрос в энциклопедическом своде таких ответов, не две тысячи, а двести лет назад составленном Альбертом Великим и учеником и продолжателем его Фомой Аквинским?

— Ответы упомянутого вами, ваше преподобие, энциклопедического свода вызывают сомнения в отношении строения тел.

— Дерзостны твои слова, юноша! Сомнение — первая язва еретической проказы, которой не должен заразиться ни один из воспитанников коллежа де Бове.

— Коллеж учит познанию, и я по мере своих сил, ваше преподобие господин аббат, стараюсь это познание умножить.

— Движение неделимых частиц в пространстве! — возмущенно воскликнул аббат. — Что же разумеет читающий Демокрита воспитанник моего коллежа под пространством? — ехидно спросил он.

— Я понимаю это пространство как пустоту, окружающую все сущее, которая сама по себе тоже суща.

Аббат Гранже схватился за голову:

— О какой пустоте! О какой пустоте глаголешь ты, младенец от ереси? Всем известно, что мир состоит из земли, воды, воздуха и огня!

— Я разумею так, отец мой, что ежели каждое тело состоит из Демокритовых атомов, а не из упомянутых вами элементов, названных, кстати сказать, тоже греками в древности, то и пространство или пустота тоже должны состоять из своих атомов, однако для вещественных тел, проникающих сквозь них, ПРОЗРАЧНЫХ, каковыми они становятся, когда обычные неделимые частицы сочетаются брачными узами, образуя пары, которые и суть атомы пустоты.

— Безумец! О каких браках между неодушевленными телами мелешь ты вслед за язычником своим беспутным языком!

— Но ведь обет безбрачия дается лишь святыми отцами вроде вас, ваше преподобие, и монахами, если они не беглые. Материальных частиц это не касается, они могут свободно соединяться друг с другом, не только образуя тела, но и пустоту, которая тоже есть тело*.

— Где ты мог прочитать у Фомы Аквинского столь

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Размышления юного Сирано де Бержерака, отраженные впоследствии в его философских трактатах, перекликаются с современными взглядами на космический вакуум. В теории фундаментального поля И. Л. Герловина он представлен состоящим из квантов соединившихся частиц вещества и антивещества. При этом все физические свойства их взаимно компенсируются (масса, электрический заряд, спин-механический момент). К таким же представлениям приходят ныне и западные физики. Эти «слипшиеся частички», не проявляя себя никакими физическими свойствами, обнаруживаются лишь своей способностью передавать со скоростью света возбуждения, воспринимаемые нами как электромагнитные излучения — радиоволны и свет. Сирано мог угадать материальность вакуума, лишь обладая острым критическим умом, способным видеть все окружающее «наоборот» (как в трактате о государствах Луны). И пустота, представленная им в юности КЛОКОЧУЩЕЙ, находила у поэта и философа образ для окружающего его общества, пустого в своей сущности, но «клокочущего» внешне, в особенности он относил это к церкви, всегда бесстрашно выступая против ее догм и не примирившись с нею даже на смертном одре.

богохульное представление о мире, созданном всемогущим творцом?

— Нигде, мой отец, только у Демокрита, толкнувшего меня к размышлениям, у Демокрита, который во многом не согласуется с Аристотелем, даже в упомянутом вами язычестве.

— Что же, твой Демокрит не был язычником?

— Какой же он язычник, отец мой, если он смотрел на греческие божества как на порождение фантазии и возникновение религии объяснял суеверными впечатлениями, которые должны были производить на человека некоторые явления природы.

— Умолкни, вольнодумец! Ты и о нашей святой религии осмелишься вымолвить подобное?

— Это не мои слова, ваше преподобие, а только ЦИТАТА. Вы всегда учили нас верно цитировать.

— Дело не в цитировании, а в смысле безбожной, зазубренной тобой фразы, которую осмелились произнести твои уста.

— Я лишь показал, отец мой, что Демокрит не язычник. Что же касается учения Аристотеля, вошедшего в догмы святой нашей церкви, то тот, кто ограничится этим учением, обречен оставаться в мрачном неведении о сути мира и вещей.

— Терпение мое иссякло, блудный сын мрака, забредший, к нашему несчастью, в стены коллежа де Бове! — воскликнул в гневе аббат Гранже. — Следуй за мной, отрок Сирано, дабы принять заслуженное твоей дерзостью наказание.

Аббат Гранже и Савиньон Сирано де Бержерак, который держал под мышкой старинный фолиант в кожаном переплете, спустились по скрипучей лестнице с чердака под сводчатый потолок коридора с выходившими в него дверями дортуаров и классов.

Савиньон в ожидании предстоящего грома с молниями, которые низринутся сейчас на него, по-особенному воспринял это знакомое место, где протекали его последние годы с тех пор, как он вошел сюда двенадцатилетним мальчуганом, который мог спорить с огнем во время пожара, но трепетал при одном лишь имени аббата Гранже.

Как же изменился он с тех пор!

Не сразу сошелся он с товарищами по коллежу, виной прежде всего был его несчастный нос, предмет насмешек и издевательств мальчишек-сверстников, кото-

рые, как известно, не обладают бережным отношением к ближнему, а тем более — милосердием.

Однако Савиньон сумел постоять за себя, и не столько с помощью кулаков, сколько острым своим языком и веселым нравом. Он так зло вышучивал своих обидчиков, что они не решались повторить насмешек, а шутки Савиньона, передаваемые по всему коллежу, постепенно сделали его любимцем многих, хотя не было недостатка и в тех, кто не прощал ему его язвительности, правда, ими же вызванной.

Савиньон не раз попадал в карцер, главным образом из-за метких его слов, когда доставалось не только ученикам, но и учителям. Он выдумывал им прозвища, с восторгом подхватываемые его товарищами.

Так, вслед за Сушеным Педантом вошли в обиход: Козел в рясе, Святой Бочонок, Змея в сутане и другие столь же колкие клички.

Как и обычно, в среде его товарищей находились ябеды-доносчики, которые, дабы выслужиться в глазах коллежского начальства, сообщали воспитателям, как зовут их за глаза воспитанники и кто эти прозвища выдумал.

Аббат Гранже с удовольствием избавился бы от этого юного острослова, если бы тот не был стипендиатом благодаря хлопотам его преосвященства влиятельного епископа одной из прилегающих к Парижу епархий. Так что Савиньона в коллеже только терпели.

Сам он, особенно вначале, скучал не столько по дому с неприязненно относящимся к нему отцом, сколько по матери и, конечно, о первом своем учителе, деревенском кюре, и о друге детства Коле Лебре. Не принадлежа к дворянскому сословию, тот не мог попасть в желанный коллеж де Бове.

Товарищи привыкли к Савиньону, перестали замечать его нос, который был куда менее опасен, чем его язык. И в конце концов они сблизились с юным Сирано, даже признав его верховодство, запоминая сочиненные им едкие стишки и эпиграммы.

Их совместные вылазки в Латинский квартал в сопровождении выбранных самим аббатом Гранже надежных студентов познакомили Савиньона с бытом студенческой, поэтической и художественной молодежи, с беседами на вольные темы, с тавернами, песнями, с первыми чтениями юношеских стихов и первыми услышанными восторгами в свой адрес.

И женщины! Один вид их смущал и приводил в трепет, прекрасные, созданные для сонетов и серенад, гордые, и недоступные на первый взгляд, и таинственные, загадочные при приближении, — о, их так легко оскорбить своим безобразием!

Но он видел и «веселых девиц», правда, издали, боясь, однако, подойти к ним. Его более смелые в этом деле товарищи потом отмаливали свою отвагу в церкви коллежа.

Привелось Савиньону присутствовать и при двух вызовах на дуэль, и он был околдован благородной, романтической процедурой, изысканной, пропитанной ядом вежливостью, неистовой решимостью только что обнимавшихся людей, возымевших вдруг желание убить друг друга, один раз из-за острого словца, употребленного молодым дворянином, в другой из-за пристального взгляда, направленного на подругу взбешенного этим ревнивца.

Савиньон мысленно представлял себя на месте этих ссорившихся молодых дворян, ставивших выше всего вопросы чести, и у него холодело сердце. Он хотел бы увидеть своими глазами развязку и ради этого хоть всю ночь просидеть на монастырской стене, о которой говорили дуэлянты, но не знал, где ее найти.

Словом, Латинский квартал обогащал Савиньона не меньше, чем античная философия.

Надо заметить, что произошло это в самый неблагоприятный для Савиньона день, ибо по всему коллежу пронесся зловещий слух о появлении у них крещеного индейца племени «майя», вывезенного из Америки испанцами и переданного молодым испанским королем (Габсбургом) своей кузине французской королеве Анне Австрийской, она же, напуганная раскрашенным лицом индейца и не зная, что с ним делать, направила его в коллеж де Бове в услужение, поскольку считалось, что она это заведение опекает.

Служба индейца, как шептались, будет связана с присущей ему природной жестокостью, ибо до завоевания Америки испанскими конкистадорами и распространения на полуострове Юкатан христианства там свирепствовала мрачная языческая религия с человеческими жертвоприношениями, когда у обреченного человека жрец вырывал из груди еще бьющееся сердце, а теплый труп сбрасывался с высокой пирамиды для пожирания внизу на священном пиру.

И вот обитатель тех мест, конечно, несмотря на обращение в христианство, несущий в себе дикарское изуверство отцов и дедов, должен был наказывать провинившихся учеников коллежа де Бове, став его экзекутором.

Когда аббат Гранже вошел с провинившимся Савиньоном в коридор, индеец в испанской одежде, огромный, краснокожий, с безобразным скуластым лицом без всякой растительности на нем, стоял, скрестив руки на груди, в проеме двери «камеры порок» (экзекуторной), сообщавшейся с темным карцером.

При виде юноши, ведомого за руку аббатом, индеец напрягся, вперив колющий взгляд в первую, быть может, свою жертву.

Толпа воспитанников, отстоявших в отличие от Савиньона молитвенное бдение, наполнила коридор и замерла при виде преобразившегося индейца, побледневшего аббата, даже утратившего желтизну лица, и упрямо нагнувшего голову Савиньона, не ждавшего для себя ничего хорошего.

Затаив дыхание, не сводя глаз с заокеанского истязателя, воспитанники коллежа услышали прерывающийся голос аббата, выкрикнувшего по-испански индейцу:

— Этот юный идальго приговаривается мной за богопротивные речи к двадцати пяти ударам плетью со свинчаткой и двум суткам карцера.

Услышав это, товарищи Савиньона, как и он, изучавшие здесь испанский язык, ахнули от ужаса. Двадцать пять ударов плетью со свинчаткой! Да после такого истязания, проведенного заморским палачом, Савиньон не встанет! Надо сказать, что воспитывались все они во времена, когда не забылись еще дела святой инквизиции.

Кто-то попробовал заикнуться о пощаде виновного Сирано, но аббат Гранже смерил смельчака таким взглядом, что тот быстро спрятался за спины других юношей. Даже те, кто неприязненно относился к Сирано, были потрясены таким бесчеловечным приказом аббата.

Индеец, не спускавший пристального взгляда с наказанного, молча поклонился аббату.

Савиньон крепко сжал губы, припомнив, как в детстве порол его отец, не услышав от него стона. И сейчас, к удивлению всех столпившихся учеников и ярости аббата Гранже, Савиньон вызывающе произнес:

— Ха-ха!

И тут аббат Гранже, забыв о своей незаживающей ране сострадания, повелительно махнул индейцу рукой. Тот неторопливо подошел к Савиньону, грубо схватил за руку и повлек за собой в «камеру порок». Аббат сам захлопнул за ним дверь.

Но что творилось в сердце аббата!

И когда за дверью раздался отчаянный крик истязуемого, аббат опустил глаза, молитвенно сложил руки на груди и медленно пошел прочь, он старался не слышать звонких ударов утяжеленной плети. Крики Сирано хлестали тощее тело аббата некой изуверской плетью. Аббату хотелось зажать уши и бежать, глуша в себе не только ужас перед истязанием живого существа, но и присущую ему в тайниках души нормальную человеческую жалость, которую он готов был воспринять как искушение дьявола, и он, не выдержав криков жертвы и собственных мучений, подобрал сутану и побежал, провожаемый враждебными взглядами учеников. Но если бы знал аббат, что творится за дверью камеры... он лишился бы чувств при виде открывшейся ему картины.

Зловещий дикарь с ярким перышком в черных волосах, испанская одежда которого из-за размалеванного краской лица не делала его более привлекательным, упал ниц перед провинившимся воспитанником коллежа де Бове и, распростершись на каменном полу, произнес шипящим голосом:

— О потомок богов! Мой просить — твой кричать, твой — когти ягуар кричать. Мой бить скамейка.

Савиньон с трудом понял исковерканную испанскую речь краснокожего. Впрочем, он сам не был силен в испанском языке, но, только что выкрикнув перед аббатом дерзостное «ха-ха!» и заподозрив теперь коварство нового экзекутора, он, сжав зубы и с трудом подбирая слова, процедил:

— Когда на скамейке окажусь я, не услышит твое ухо стона.

— Гордый слова! Говорить такой твой иметь знак богов на лицо. — И, поднявшись на колени, экзекутор снова земно поклонился, потом вскочил на ноги, взмахнул оказавшейся у него в руках плетью, хлестанул ею по пустой скамье и визгливо вскрикнул, как от нестерпимой боли.

— Кричать! Кричать визгом! Помогать мой! Такой нужно не твой. Такой нужно мой, — шипел он.

Савиньон Сирано обладал редкой остротой ума и столь же редкой быстротой реакции. После следующего удара плетью по скамье он завопил благим матом, и теперь за дверью его товарищи, да и аббат Гранже, еще не отошедший далеко, узнали голос первого насмешника коллежа, только что дерзившего его настоятелю.

И этот истошный крик не только преследовал аббата, обратив его в бегство, но и разогнал от «камеры пороК» перепуганных воспитанников, которые отныне будут всячески стремиться избежать этой ужасной комнаты и истязаний заморского изувера.

А после двадцати пяти ударов плетью по скамейке индеец, тяжело дыша, сказал Савиньону тем же свистящим шепотом:

— Теперь стонать! Горько стонать! Мой переносит твой в карцер. Снимать камзол, снимать рубаха. Спина голый. Надо показывать кровь и мясо.

Савиньон послушно оголил спину и ощутил кожей прикосновение влажных пальцев индейца, очевидно вымазанных краской. Тот раскрашивал спину «своей жертвы», как размалевывал перед тем для красоты собственное лицо.

— Мой уметь делать знак кровь щека. Теперь делать такой знак твой спина. Сеньор аббат, да хранит его господь, хорошо увидеть прийти проверяй.

### Глава пятая

## ЭКЗЕКУТОР

*Истинный друг познается в несчастье.*

Эзоп

Дон Диего Лопес, приговоренный в Андалузии за убийство во время пьяной драки к смертной казни, а до этого в Генуе за грабеж — к каторге, сумел избежать и того и другого, уплыв в третью пятницу марта месяца 1618 года в Новую Испанию на каравелле сеньора Базильо Родригеса, не интересовавшегося прошлым людей, стремящихся к подвигам.

Эти подвиги дона Диего Лопеса обратили на себя внимание самого губернатора Новой Испании, очередного преемника прославленного своей жестокостью и

коварством генерал-капитана Кортеса. Сто лет назад он с горсткой отчаянных конкистадоров, наивно принятых индейцами за вернувшихся к ним с неба белолицых богов, сумел вероломно без всякого сопротивления захватить и императора Монтесуму, его столицу Теночтитлан и всю его страну. И он успешно добывал там столь необходимое христианнейшим монархам золото (конечно, не из земли, а из дворцов и храмов, а также с запястий, с пальцев, с шей язычников, обращаемых в христианскую веру). Книги их сжигались епископом новой епархии перед построенным христианским собором, как богопротивные, написанные варварской письменностью.

Дон Диего приложил к этому свое усердие, показав готовность служить короне с присущим ему мужеством.

И через несколько лет, обретя смуглость кожи и седину в эспаньолке, произведенный в капитаны Диего Лопес был послан губернатором в недоступные дотоле места на розыски укрывающихся в тайных поселениях в сельве дикарей, чтобы изъять у них унесенное ими золото и обратить оставшихся в живых в истинную католическую веру.

Надо сказать, что дона Диего Лопеса нисколько не интересовало, что эти «дикари» до появления бледнолицых создали на полуострове Юкатан и прилегающих землях древнейшую цивилизацию, кое в чем превосходящую цивилизации Испании и других христианских стран и даже Древней Греции и Рима, и что, например, языческий календарь, вычисленный индейскими звездочетами на основе глубоких знаний движения небесных светил, был яснее и точнее христианского.

Впрочем, ничего этого капитан Диего Лопес по невежеству своему попросту не знал и, ведомый только истовой верой и неукротимой алчностью, стремился вперед за золотом, невзирая ни на какие препятствия.

Идти приходилось сквозь одуряюще пахнущую чащобу, где непреодолимой преградой стояли перевитые лианами разросшиеся деревья с яркими цветами и такими же яркими птицами, начиная с крикливых попугаев, крохотных сереньких колибри, превращающихся при взлете в сверкающие на солнце радужные пятнышки, кончая священной для индейцев птицей кетсаль, царственно восседающей в густой листве над зеленым буйством сельвы. Пройти здесь можно было, лишь пробив в ней туннель острыми изогнутыми индейскими ножами мачете.

Шедший впереди капрал Педро Корраско, на год раньше своего капитана приговоренный в Испании к смертной казни, не менее ловко, чем местные индейцы, орудовал мачете, расчетливыми ударами срезая лианы, которые мертвыми змеями падали к его ногам, прокладывал тем путь храбрым солдатам, таким же головорезам, как и он сам.

Никто из них не заметил в чуждой им сельве затаившейся опасности, и с ветки, нависшей над пробиваемым туннелем, метнулась пятнистая молния, свалив Педро Корраско с ног. Но недаром тот в свое время был тореадором, пока рога злосчастного быка не изменили круто его многогрешный жизненный путь, на котором навыки корриды верно служили ему, как и сейчас, когда, падая вместе с ягуаром, он успел вспороть ему кривым ножом живот, а три шедших следом солдата пронзили шпагами тело хищника.

Подошел сам Диего Лопес, посмотрел на убитого зверя, подкрутил лихие свои усы, погладил седеющую бородку и покачал головой, отчего его широкополая шляпа как бы помахала пером.

И отряд снова двинулся в глубь зарослей, однако путь к заветной цели оказался невыносимо долгим, и только клятва Лопеса «поделить желанную добычу между всеми» заставила солдат идти дальше.

Тяжело протекали знойные дни и непроглядно-черные ночи с таинственными, устрашающими звуками и влажной, удушливой жарой.

И так длилось до тех пор, пока заросли внезапно не оборвались и перед взором людей предстало видение залитого ослепительным солнцем белокаменного города дворцов, храмов и ступенчатых пирамид, о котором не знал никто в Новой Испании.

Целый день до заката солнца рыскали испанцы по всем каменным помещениям, роясь в вековой пыли, но не нашли ни единого слитка золота, ни одного драгоценного украшения и даже ни одного человеческого черепа, словно никто не умирал (или не был убит) в этом брошенном городе и все его жители будто разом покинули его, унося слабых и мертвых с собой.

Капитан Диего Лопес, размышляя о столь странном своем открытии, решил, что, видимо, какая-то болезнь вроде чумы ниспослана была всевышним на греховных язычников, заставив их спасаться бегством, сжигая тру-

пы и покидая жилища, и страх заразы преградил им путь обратно на века.

Из осторожности капитан приказал солдатам не оставаться на ночлег в помещениях и на другой же день, подняв всех на рассвете, отправился на поиски беглецов или потомков беглецов, которые, несомненно, унесли с собой столь желанные испанцам сокровища.

Через неделю отряд наткнулся на ручей. Капитан Диего Лопес приказал переводчику, которого они вели с собой, испить воды, чтобы убедиться в ее пригодности для питья.

А когда переводчик, невыразимо худой, в болтающейся на нем европейской одежде, но с ярким перышком в черных волосах, утолил жажду и остался жив, Диего Лопес решил идти вдоль ручья, ибо тайное селение индейцев могло оказаться на берегу этого ручья или речки, в которую тот впадает.

Расчет капитана Диего Лопеса оказался верным. Сколь это ни странно, но сотни лет отсиживавшиеся в запрятанном в сельве селении индейцы были все-таки обнаружены испанцами.

Хижины, даже отдаленно не напоминая великолепные каменные строения покинутого города, ютились вдоль берега речки, от которой несколько отступили заросли зеленого ада, как назвали уже свой пройденный путь испанцы. Очевидно, лес вдоль берега был выжжен, чтобы очистить поле для возделывания кукурузы.

Навстречу вступившим в поселок солдатам вышел старый вождь в сопровождении носатого жреца. Оба раскрашенные красной краской, делавшей их краснокожими, и в замысловатых головных уборах из птичьих перьев.

Испанцы грубо вытолкнули вперед переводчика, и дон Диего Лопес объявил индейцам, что великий верховный вождь белых — испанский король протянул свою длань через безбрежные воды, чтобы защитить народ отдаленной части своего королевства, обитающий здесь без веры христовой в глуши зарослей среди диких зверей.

Вождь внимательно выслушал заикающегося переводчика и спросил его, что это за люди, утратившие нормальный цвет кожи, побелев, как скалы на одном из обрывов речного берега, и о каком заморском великом вожде с очень длинной рукой говорит их предводитель?

Услышав тревожные слова переводчика, умолявшего вождя не оказывать никакого сопротивления, ибо жестокости белолицых нет предела, старик задумался.

— Что ты там еще болтаешь, кроме того, что я приказал тебе перевести? — гневно закричал на переводчика дон Диего Лопес.

— Вождь воздает тебе хвалу, о славный капитан! И спрашивает о твоих желаниях, — трясясь от страха, ответил переводчик.

— Прикажи им, чтобы принесли сюда все золото, которое они или их предки вынесли из покинутого города в сельве, — велел капитан.

Вождь и жрец, услышав переданный приказ, переглянулись.

— Люди этого поселения, о чужестранец, — сказал вождь, — никогда в жизни не жили в каменном городе, они ловят рыбу, сеют кукурузу и охотятся в сельве, и у них никогда не имелось желтого металла, который ты зовешь золотом, потому что такой металл здесь бесполезен.

— Я не спрашиваю, что есть у этих нищих рыбаков, кроме их грязи, — презрительно сказал капитан Лопес, указывая на собравшуюся толпу боязливо любопытных жителей деревни. — Я говорю о том золоте, которое прячешь ты, вождь, и ты, жрец, — обратился он к спутнику вождя, узнав от переводчика, кто он.

— У меня нет храма, — ответил спокойно жрец. — Ты бледнолицый. И я приветствую тебя. Все мои предки ждали возвращения бледнолицых богов.

— Ну ври, ври дальше! — скривил лицо дон Диего Лопес, картинно опираясь на шпагу.

— Я прожил, бледнолицый чужестранец, много тунов лет, но еще более тунов лет раньше белолицые боги правили нами...

— И мы правим, — перебил дон Диего Лопес. — И будем править.

— При их появлении были отменены насильственные смерти, — невозмутимо продолжал жрец, — даже во имя богов или при ведении войн между племенами.

— Не заговаривай мне клыки, старик! Где золото?

— Белые боги высказали презрение к золоту, требуя, чтобы даже те, у кого его много, трудились бы наравне со всеми, даже с воинами.

— Ну и дурак же ты, жрец! Чтобы воинам трудиться? Смешно!

— Я только говорю то, что слышал от своих дедов, почтенный бледнолицый. Боги ведь тоже были белолицыми и тоже носили бороды, которые не растут на наших лицах.

— Да будь у тебя борода, старикашка, я бы оттаскал тебя за нее, но я доберусь сейчас и до твоей прически. А это что еще за малый осмелился приблизиться к нам?

— Это сын вождя, славнейший капитан. Его зовут Кетсаль. По имени священной птицы сельвы, — объяснил переводчик.

— Вижу, какая это птица!

Рядом с вождем появился могучий краснокожий юноша, и солнечные блики играли на его темном мускулистом теле. На нем было только подобие домотканых штанов и перышко в черных волосах. Он чутко прислушивался к испанской речи, стараясь не только понять переводимые слова, но и почувствовать тон, каким они произнесены.

— Скажи этой дряхлой развалине, считающейся здесь вождем, — приказал капитан переводчику, — что если они со жрецом не отдадут нам золота, принадлежащего испанской короне, то мы казним их обоих, а этого малого заберем с собой как заложника, пока остальные индейцы не выкупят его золотом.

Кетсаль внимательно всматривался в лица испанцев, не находя в них божественного знака, который носили те, в чьих жилах текла кровь улетевших богов. Пришедшие из сельвы бледнолицые, требующие желтый металл, походили на Сынов Солнца только цветом кожи, но у богов нос начинался выше бровей, разделяя лоб на две части. За время своего правления, когда их благие начинания не были поняты глупыми людьми, в те давние времена Сыны Солнца брали себе в жены красивых женщин и оставили после себя сыновей с божественным знаком на лице. И когда боги, поняв неразумие людей, не ценивших собственного блага, улетели к другой звезде с огнем и громом без дождя в небе, пообещав вернуться через шесть тысяч лет, их сыновья стали отцами, потом дедами, и в народе Юкатана появились особо одаренные люди, которых легко было отличить от всех других. Их знака у теперешних пришельцев нет, как и у всех остальных людей Земли, значит, они не боги и не несут людям благо, как их носолобые предшественники.

Все это Кетсаль не произнес вслух, молча размышляя со скрещенными мускулистыми руками на широкой груди.

Жрец был далеким потомком белолицых богов, у него на лице был знак носолобых, он хранил их тайные знания, передаваемые из поколения в поколение, и, готовя Кетсаля себе в замену, успел кое-чему научить его, а главное, передать ему те внутренние качества человека, с какими он мог бы жить при устройстве жизни, которое пытались насадить на Земле Сыны Солнца и какое существует у них на небе у далекой звезды *.

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* В пятидесятых годах, лет тридцать назад, в Мексике, на полуострове Юкатан, в дремучей сельве был найден великолепный город дворцов и пирамид, возведенных древними майя, неизвестно почему покинутый ими. Он получил название Паленке, что означает по-испански — «крепость». Среди пирамид одна венчалась небольшим храмом с надписями, получив название «пирамиды храма надписей» Мексиканский археолог Альберто Рус-Луильи четыре года вел раскопки, стремясь проникнуть в эту пирамиду, и сделал уникальное открытие — захоронение, не встречавшееся прежде внутри американских пирамид. Добравшись до гробницы, Альберто Рус-Луильи обнаружил у ее порога скелеты шести юношей, видимо, предназначенных сопровождать усопшего в ином мире. Саркофаг был прикрыт каменной плитой с изображением человека в лежачей позе под деревом жизни (кукурузой), как первоначально думали. Однако позднее в рисунке нашли сходство со схематически изображенной ракетой, изрыгающей внизу пламя, а в лежачей позе человека — типичное положение космонавта при взлете корабля. Кроме того, ноги его лежали на педалях, а руки — на подобии пульта. Расшифрованные письмена по краям плиты оказались космическими символами.

Это обстоятельство настолько заинтересовало автора, знавшего по первоисточникам предание древних майя о якобы прилетевших к ним богах, что он обратился с письмом к Альберто Рус-Луильи с просьбой прислать слепок черепа захороненного в пирамиде, чтобы работавший тогда наш знаменитый ученый и скульптор Герасимов восстановил облик того, кто покоился под плитой, на которой, возможно, и изображен. Альберто Рус-Луильи вежливо ответил, что мексиканским ученым удалось по найденным в саркофаге нефритовым кусочкам воссоздать маску захороненного, и он любезно прислал фотографию этой маски с необычайного лица, у которого нос разделял лоб на две части, а также фотографии еще двух масок, обнаруженных в той же гробнице, — пожилого человека и молодого воина, таких же «носолобых». Все это вместе с изображением носолобого, как бы взлетающего в ракете, наводит на мысль об отражении в этих археологических находках древних контактов с инопланетными пришельцами, о которых прямо говорят предания американских индейцев. Во всяком случае, такой подход к поискам объяснения особенностей находок допустим как гипотеза, не менее доказательная, чем утверждения о лежащем

Жрец гордо произнес:

— Я стар, ты можешь убить меня, но ни в моей груди, которую ты рассечешь, ни в моей хижине ты не найдешь желанного для тебя золота, которое не ценится у нас. Будь оно здесь, мы с охотой, ничего не теряя, отдали бы его тебе, сильный начальник бледнолицых.

Расправа испанцев с индейцами была самой обычной для того времени и тех мест. Капрал по приказу капитана сам пронзил шпагой сердца обоих стариков, а сына вождя Кетсаля связал, конец веревки держа в руках. Солдаты же согнали пинками и ударами шпаг все население деревни в речку, что означало акт крещения.

Сопровождавший отряд испанцев капуцин в подоткнутой сутане, со шпагой на перевязи поверх опоясывающего сутану вервия, держал сейчас крест в высоко поднятой руке.

Он, как и большинство головорезов Лопеса, тоже удрал из Испании в Америку, чем-то провинившись перед грозными духовными пастырями, пригрозившими ему инквизицией, для которой языческие жрецы, вырывавшие из груди жертв трепещущие сердца, едва ли годились в подручные истязателям в рясах, не допускавших мгновенной, избавляющей от мучений смерти пытаемых еретиков.

И теперь избежавший подобной участи капуцин истово обращал в христианство краснокожих дикарей.

Стоя на берегу и произнося какие-то латинские слова, он называл по новому имени каждого выходящего из воды вновь обращенного христианина. Последним прошел эту процедуру Кетсаль со связанными руками, но гордо поднятой головой.

Капуцин дал ему имя Августин.

Золота в нищенских хижинах новообращенных христиан не оказалось, а потому капитан дон Диего Лопес, верный своему слову, сына вождя Кетсаля-Августина забрал с собой, почти уверенный, что он сбежит по дороге.

Но тот, смотря на испанцев мрачно, не сделал попытки освободиться от державшего его на привязи капрала Педро Корраско и скрыться в сельве. Напротив, он старался быть полезным испанцам в пути, обнару-

---

под кукурузой человеке, якобы размышляющем о жизни, который, кстати сказать, захоронен в саркофаге, почему-то напоминающем своей формой ракету.

живал затаившихся в листве ягуаров и чутко прислушивался к испанской речи, проявляя свою сметливость и находчивость.

Скорее всего Кетсаль-Августин понимал, что его бегство может стать причиной гибели многих близких ему людей, если испанцы вернутся в селение в поисках беглеца.

Вообще-то дон Диего Лопес толком не знал, что с ним делать. В пути он заставил его нести тяжести из награбленного имущества индейцев, у которых хоть и не было золота, но оказались дивные ковры из птичьих перьев и другие изделия искусных рук: шкуры ягуаров, ожерелья из их зубов, статуэтки носолобых, вырезанные из камня, который показался невежественному Диего Лопесу драгоценным, но был всего лишь вулканической породой, похожей на цветное стекло.

С такой не слишком богатой добычей вернулся капитан Диего Лопес к губернатору Новой Испании и, чтобы задобрить его, преподнес ему вместо золота Кетсаля-Августина, который уже немного понимал по-испански и даже сам произносил несколько фраз.

Губернатор рассвирепел на своего неудачливого капитана и приказал выпороть привезенного им индейца, дав тем выход своему благородному гневу. После чего Августин поступил в распоряжение капеллана церкви, а тот решил сделать из него проповедника и, помимо исполнявшейся им черной работы, заставлял его познавать Библию.

Смышленый по природе, Кетсаль-Августин не упускал ничего из того, чему могли научить его бледнолицые.

Вскоре он проявил такую сообразительность, что капеллан решил избавиться от него, рекомендовав губернатору отправить строптивого Августина подальше — «в подарок» испанскому королю.

Молодой испанский король, однако, не оценил этого и великодушно подарил заморского индейца французской королеве; Анна Австрийская, в свою очередь, поспешила передать его в качестве экзекутора в коллеж де Бове.

Новый экзекутор, «расправившись» со своей первой жертвой, грозно стоял в проеме двери «камеры порок», скрестив руки на груди. Свисающая плеть была вымазана «кровью».

Одинокие воспитанники, проходя мимо этой зловещей фигуры по коридору, боязливо втягивали головы в плечи, стараясь прошмыгнуть в свои дортуары.

Аббат Гранже, ни о чем не подозревая, достиг все-таки своего — нагнал на воспитанников коллежа де Бове такого страху, что в заведении воцарилась благостная тишина, покорность и усердие как в науках, так и в религиозном рвении.

Если два человека плохо говорят на чужом языке, они скорее и лучше понимают друг друга, чем чужестранец, с которым неумело общались бы на его наречии.

Потому, когда индеец пришел к Савиньону, трепетно ждавшему его на брошенной в углу карцера соломе, он догадался почти обо всем, что силился ему передать по-испански Кетсаль-Августин.

А главное, он понял заблуждение индейца по поводу его родства с легендарными Сынами Солнца, спускавшимися с неба на Американский материк.

Другой человек оставил бы индейца в неведении, использовав столь выгодное его отношение к нему, но только не Савиньон Сирано де Бержерак!

С наивной искренностью он сказал своему спасителю:

— Августин или Кетсаль! Ты ошибся, никто из моих предков не бывал за океаном, на мне не может быть «божественного знака».

— Знай, знай! — улыбнулся краснокожий. — Капеллан учил мой Библия. Читать нет. Сказать, где что написано, могу. Твой читай. Карцер есть книга.

И экзекутор принес из «камеры порок» в карцер латинскую Библию в кожаном переплете, открыл ее в начале Ветхого завета и показал пальцем. Савиньон без труда прочитал:

«Когда сыны неба сходили на землю, то увидели, что женщины там красивы, и входили к ним. С того пошло племя гигантов».

— Гигантов? Это носолобых? — спросил Сирано.

Индеец кивнул:

— ОНИ спускаться на землю не только там за Большой вода. Много-много время назад ОНИ спускаться здесь берег. Твой иметь их знак лицо. Такой люди осо-

бый, умный, добрый, гигант духа, давать благо всем. Такой люди Августин-Кетсаль друг. Мой учить твой наука носолобый.

— Конечно, друг, — подтвердил Савиньон, вспомнив слова Эзопа: «Истинный друг познается в несчастье».

### Глава шестая

## БОРЬБА БЕЗ ОРУЖИЯ

*Храни достоинство свое повсюду, человек!*

Бухорои,
таджикский поэт XIV века

В эту ночь в коллеже де Бове творилось нечто странное — вместо того чтобы спать в положенное время, воспитанники крались по коридору, исчезая не в своих спальнях, а в дортуаре самых старших, где ожидалось событие необыкновенное. Набилось туда народу столько, что все кровати были заняты сидящими вплотную воспитанниками, опоздавшие же, не успев занять места, толпились в дверях, не позволяя им закрыться. О сне никто не помышлял, а вечерний обход воспитателя, заставшего всех на своих местах под одеялами, закончился три часа назад.

Центром события был Савиньон Сирано де Бержерак, который собирался прочитать своим однокашникам сочиненную им комедию под названием «Проученный педант», чем сразу заинтересовал своих товарищей, поскольку данное Савиньоном аббату Гранже прозвище Сушеного Педанта позволяло догадываться, что речь в комедии пойдет именно о нем.

В этом очень скоро убедились не только ученики, но и монах, бывший экзекутор.

Взрыв хохота, донесшийся до его кельи, насторожил монаха.

Отставной экзекутор, заподозрив неладное, натянул на себя рясу и побежал к дортуарам. Он подкрался к столпившимся у открытой двери мальчикам и услышал хорошо знакомый ему голос Савиньона Сирано де Бержерака, которого не раз порол розгами и сажал в карцер еще до появления краснокожего.

Сирано читал какую-то комедию, необычайно веселившую слушателей. При имени аббата Гранже, над

которым издевался автор (монах еще не знал, что автором был сам Сирано!), его охватил трепет. А тут еще послышались крики:

— Браво, Сирано, браво! Здорово написал Бержерак! Читай следующий акт. Так ему и надо, твоему проученному Сушеному Педанту!

Монах понял, чью пьесу читает Сирано, и опрометью бросился к настоятелю.

Без стука ворвался он в опочивальню аббата.

— Вставайте, ваше преподобие! Он дерзнул поносить ваше святое имя, мстя вам за справедливые наказания!

— Кто он? За что мстит? Не чудится ли то мне во сне? — бормотал аббат Гранже.

— Скорее, ваше преподобие! Надо застать злодея на месте преступления! Сирано читает всем воспитанникам пасквиль на вас, ваше преподобие! И презлой притом! Воспитанники помирают со смеху. Я и сам едва удержался и спасся лишь крестным знамением, потому что от злого духа идет это глумление над вашим преподобием.

Аббат Гранже уже не слушал отставного экзекутора, который кричал ему вслед не в состоянии при своей тучности догнать сухопарого аббата:

— Плеть со свинчаткой пропишите ему, ваше преподобие! Сорок ударов, не меньше! И мне поручите его проучить! Мне!

Появление аббата Гранже в коридоре совпало с новым взрывом хохота под каменными сводами, так что даже окрик настоятеля не сразу был услышан.

— Индейца сюда! Немедля! — скомандовал аббат.

Но толстяк в рясе успел сделать лишь несколько шагов, столкнувшись с индейцем, который сам спешил на шум.

Перепуганные малыши тотчас исчезли, как маленькие привидения, а старшие воспитанники нырнули под одеяла, словно не они только что сидели рядом на кроватях.

Один Савиньон Сирано остался на своем месте у стола с разложенными на нем листками.

Изжелта-бледный аббат Гранже гневно приказал индейцу:

— Отними у него рукопись!

Индеец не шевелился, вперив в Сирано взгляд.

Савиньон очень хорошо понял состояние своего «тай-

ного друга» и сам протянул ему собранные листки рукописной комедии «Прославленный педант».

Поклонившись при этом аббату, он произнес:

— Я сожалею, ваше преподобие, что, зная все стихи своей комедии наизусть, не могу приложить к этой рукописи свой язык

Аббат позеленел от злости. В душе его было полное смятение. Гнев боролся в нем с тем чувством, которое охватило его, когда он с содроганием лишь издали увидел «изуродованную» после «экзекуции» спину Савиньона Сирано. О своем тайном и греховном осуждении жестокостей святой инквизиции он не рискнул бы говорить и на исповеди Но человеческая жалость к страданиям людей не позволила ему вынести автору злостной комедии приговор, о котором кричал ему вслед бывший экзекутор. И все же он был взбешен, оскорблен, уничижен выходкой своего воспитанника, так безбожно насмеявшегося над ним.

— Я уничтожу это грязное творение*, а тебя, сын греха, я заточу в карцер до самого выпускного акта. Но не думай, что я унижусь до наказания тебя плетью! — Тут аббат несколько кривил душой, не желая выдать своих истинных чувств. — Ты недостоин моей мести, хотя и подверг поруганию мое имя. За это ты сам ощутишь унижение и поругание, даже на выпускных экзаменах оставаясь в карцере!

— Как же я буду отвечать господам экзаменаторам? — не без сарказма спросил Сирано.

Аббата затрясло.

— Через зарешеченное окно, да просветит меня в том господь! — выпалил он.

Так Савиньон надолго попал в карцер «под крылышко» своего краснокожего друга, которому только это и нужно было, чтобы приступить к передаче ему тайных знаний богов, известных Кетсалю от убитого испанцами старого носолобого жреца.

Этими тайнами, к удивлению Савиньона, оказались не какие-нибудь заклятия или удивительные сведения о мире, а искусство борьбы без оружия, равняющее слабых с сильными. Носолобые были великими знатоками человеческого организма и передавали своим избранни-

* Комедия Сирано де Бержерака «Прославленный педант» была поставлена на парижской сцене несколько лет спустя и вызвала грандиозный скандал с обвинением автора в выступлении против церкви. *(Примеч. авт.)*

кам умение пользоваться такими физическими приемами, которые были эффективнее любого холодного оружия, что было так важно для всех угнетенных.

Природная реакция Савиньона порадовала индейца, но была совершенно недостаточна. Наступили изнурительные тренировки.

Только ему известными способами индеец добивался того, чтобы быстрота движений его ученика была молниеносной, даже невидимой обычному глазу. В наше время, сотни лет спустя, с немалым удивлением мы встречаемся, например, в цирке с отработанными фокусниками незаметными движениями, обнаружить которые удается лишь при рапидной киносъемке, с показом на экране снятого в замедленном темпе. Во времена Сирано таких средств не существовало, но он должен был выработать быстроту своих движений не ради их невидимости, а чтобы, увеличив скорость движения руки или ноги при выпаде в три-четыре раза, удесятерить тем силу удара, поскольку, как мы ныне знаем, энергия его пропорциональна квадрату скорости. Помимо этого, индеец знал от носолобых наиболее уязвимые места человеческого организма и способы выводить противника из строя, не нанося ему серьезных увечий и тем более не лишая жизни*.

Однажды Кетсаль-Августин принес в карцер обожженный кирпич, взяв его из актового зала, где каменщики по приказу аббата Гранже складывали в углу клетушку с зарешеченным окошком: по-видимому, в ней

---

* На замечание, что известные ныне приемы подобной борьбы пришли из Японии, можно ответить, что легенды и археологические находки на острове Хоккайдо говорят в пользу древнего посещения Японских островов, еще до появления там японцев, пришельцами из космоса. Японские ученые через советское посольство в Токио переслали автору статуэтки из обожженной глины «догу», возраст которых определен по методу радиоактивного углерода С-14 в 4500 лет. По свидетельству же американской организации по аэронавтике и космическому исследованию НАСА, присланному автору американским корреспондентом Куртом Зайсигом, эти древние статуэтки, сделанные людьми каменного века, в основных чертах воспроизводят современный космический костюм. И вполне правомерно предположить, что приемы борьбы без оружия для защиты угнетенных могли иметь те же истоки, что и у древних майя, не способных в былое время воспринять иных достижений более высокой технологической цивилизации, до которых люди в своем развитии доходили потом сами. Однако в силу сложившихся обстоятельств до нас эта форма борьбы дошла лишь в «восточном варианте». По документам они известны были в Японии и в Китае. *(Примеч. авт.)*

должен был находиться во время выпускных экзаменов провинившийся и непрощенный Савиньон Сирано.

Индеец предложил своему ученику проверить обретенную силу удара, показать, чему он у него научился.

Так, первым экзаменатором выпускника коллежа де Бове Савиньона Сирано де Бержерака стал краснокожий экзекутор, стоя перед экзаменуемым в привычной позе со скрещенными руками на груди.

Кирпич лежал на скамье для порки. Савиньон размахнулся правой рукой, она мелькнула в воздухе, на миг словно исчезнув, и окостеневшее от тренировок ребро ладони обрушилось на кирпич, разломив его как от удара кувалды.

Сирано даже не потер кисти руки, приученный к таким ударам, от которых, это было очевидно, не устоять на ногах никакому богатырю.

Индеец был доволен.

— Мой говорить, твой — помни. Ударять только защита. Убить нет.

Савиньон подошел к своему краснокожему другу, обнял и поцеловал его, потом сел за чтение книг, необходимых для сдачи выпускных экзаменов коллежа.

На торжественный акт в коллеж де Бове съехались не только титулованные родители заканчивающих коллеж воспитанников, но и знатные гости, придворные и сам епископ, недавно возглавивший местную епархию, кстати сказать, тот самый, который когда-то выхлопотал стипендию сыну дворянина, пострадавшего от поджога.

Гости расселись на жестких лавках. Для епископа и для ожидаемого особо почетного гостя перед лавками стояли два кресла.

Епископ и аббат Гранже встретили почтившего коллеж своим присутствием его высокопреосвященство господина кардинала де Ришелье.

Он вошел, сопровождаемый смиренным епископом и тощим аббатом Гранже, идя быстрой походкой, с развевающимися полами кардинальской мантии, когда пурпуром светилось одеяние прелата. Был он на щегольских особо высоких каблуках, скрадывающих его невысокий рост. Лихо закрученные усы и острая бородка скорее воина, чем духовного лица, оставленные герцогом Арманом Жаном дю Плюсси даже после посвя-

щения его папой в кардиналы, придавали ему действительно воинственный вид, и казалось, что под мантией должна скрываться шпага, обнажавшаяся не так уж давно, при осаде Ла-Рошели. Маленькая круглая шапочка скрывала тонзуру, и властитель Франции в любую минуту мог прикрыть ее боевым шлемом.

Ястребиным взглядом, оглядев привставших при его появлении знатных гостей, кардинал остановил его на нелепой кирпичной клетушке, сложенной в углу перед скамьями. Не лишенный юмора кардинал Ришелье позволил сострить, обращаясь к аббату Гранже:

— Я вижу, достойный аббат, крепость Бастилии, что так неуклюже выглядит среди парижских домов, не дала вам покоя и вы решили у себя в коллеже соорудить нечто подобное.

Аббат склонил в полупоклоне свое тощее тело, не зная, как принять слова всесильного правителя Франции: как насмешку или как одобрение.

Кардинал пришел к нему на помощь:

— Что ж, его величеству королю приходится терпеть Бастилию у себя под носом, давая тем пример таким верноподданным, как аббат Гранже. Очевидно, настоятель опекаемого королевой Анной коллежа нуждается в своем актовом зале равно и в украшении и в укрощении.

Довольный найденной игрой слов кардинал опустился в кресло, после чего с ним рядом занял место епископ, а заведующий коллежем сел за стол напротив, у которого экзаменаторы-воспитатели не решались сесть на стулья до того, как его высокопреосвященство епископ и его преподобие господин аббат займут свои места.

Теперь по одному стали входить воспитанники, сыновья герцогов, графов, маркизов, баронов и других дворян, удостоенных принятия их отпрысков в столь знаменитый коллеж.

Воспитанники отвечали экзаменаторам, которые очень ловко ставили свои вопросы, чтобы получить нужный, достойно звучащий для гостей ответ.

Аббат Гранже задал вопрос юному герцогу Анжуйскому, надменно поглядывающему на окружающих, топорща свой пушок на верхней губе:

— Не в Вифлееме ли родился господь наш Иисус Христос?

— В Вифлееме, ваше преподобие, — решительно ответил юноша.

— Не у святого ли Петра хранятся ключи от рая? — снова спросил аббат Гранже.

— У святого Петра, отец мой, наместником которого на святом престоле остался папа римский!

— Глубоки твои знания, сын мой! Коллеж де Бове будет гордиться таким выпускником.

Затем последовало несколько подобных же вопросов на латинском и греческом языках, на которые выпускник ответил с таким ужасным произношением, что кардинал Ришелье поморщился.

Аббат Гранже поторопился пригласить следующего выпускника.

Так, сменяя один другого, юноши демонстрировали перед гостями познания, обретенные в коллеже.

Наконец дошла очередь до последнего экзаменующегося.

Наступила заминка. Все насторожились, кардинал Ришелье посмотрел на дверь, которая слишком долго не открывалась.

И вот в ней показался безобразно разрисованный дикарь в испанской одежде, ведущий за руку юношу с уродливым лицом, которого и втолкнул в дверь кирпичной клетушки. Закрыв ее снаружи на засов, он встал рядом, скрестив руки на груди.

Знатные гости зашептались, смотря на кардинала, который ничем не проявил своего отношения к происходящему.

Аббат Гранже возвестил, что сейчас будет экзаменоваться провинившийся ученик — Савиньон Сирано де Бержерак, еще не освобожденный из карцера, а потому подвергаемый экзамену через зарешеченное окно.

Кардинал чуть оживился, епископ нахмурился, не скрывая своего недовольства, поскольку Савиньон был стипендиатом по его ходатайству.

— Что ты знаешь, Сирано де Бержерак, о древе добра и зла? — задал свой вопрос аббат Гранже.

— Оно было, ваше преподобие, и древом познания, росшим в раю, а потому, вкушая плоды познания во вверенном вам коллеже, я ощущаю здесь райские кущи, находясь даже в карцере.

Знатные гости зашушукались, аббат Гранже закусил тонкие губы, кардинал заинтересовался.

— Кто же из патриархов наших и как именно был

взят живым на небо? — снова спросил аббат Гранже.

— Енох ловил рыбу на берегу Иордана, отец мой, поддерживая тем свое праведное существование, и увидел плывущее по течению яблоко. Предположив, что оно упало с райского дерева познания, он съел плод и сразу узнал, где находится рай и как попасть в него, что он и сделал немедля, поскольку, как я сказал, всегда вел праведную жизнь и, кроме рыб, никого не обижал.

— Довольно, — раздраженно остановил Сирано аббат Гранже. — Кого ты знаешь еще?

— Еще пророк Илия, отец мой, который, обретая знания, понимал, что чем больше он узнает, тем меньше знает, ибо любые знания ничтожны по сравнению с истинной мудростью. И тогда во сне к нему явился ангел и научил, как подняться на небо в железной колеснице с помощью подбрасываемого магнита, который подтянет его железный экипаж. Пророк должен был снова и снова подбросить магнит, заставив тем притянутый экипаж подпрыгивать выше и выше*. Так он достиг неба, и, надо думать, потому, что ангелы являются во сне лишь праведникам и меня, грешного, пока не посещали, — смиренно закончил Сирано.

Знатные гости переглянулись, ничего не поняв, ибо понимание основ физики они считали ниже своего достоинства, а чудесный подъем колесницы Илии-пророка отнесли к тем знаниям, которые приобретались в колледже.

Аббат Гранже растерялся, не находя, как реагировать на столь вольные толкования вознесения Илии-пророка на небо, высказанные в присутствии его высокопреосвященства, который может иметь по этому поводу свое мнение. В другой раз аббат за такие вольности засадил бы воспитанника в карцер, но Сирано уже сидел в нем. Пришлось аббату Гранже для сохранения достоинства важно произнести:

— Боюсь, сын мой Бержерак, что твои не вполне ясные толкования не восприняты нашими почтенными гостями, хотя в вознесении Илии-пророка в колеснице

* Эту полную озорства и сарказма мысль, предвосхитив на сотни лет знаменитое вранье «барона Мюнхгаузена», якобы вытащившего себя за волосы вместе с конем из болота, Сирано де Бержерак использовал впоследствии в своем философском памфлете «Иной мир, или Государства и империи Луны» При жизни он лишь читал его близким друзьям. Издан же его трактат был после его смерти стараниями друга детства Лебре, выдержав множество изданий в течение трехсот лет. *(Примеч. авт.)*

на небо никто не сомневается. Однако рассуждения о магните...

— О, это очень просто показать, ваше преподобие господин аббат, если бы вы только разрешили мне воспроизвести гром колесницы и он не обеспокоил бы его высокопреосвященство и остальных сиятельных гостей.

Кардинал Ришелье кивнул в знак того, что он разрешает Сирано дать объяснение, пусть и в сопровождении шума.

И тут случилось невероятное: на глазах у изумленных гостей, к ужасу почтенного аббата Гранже и воспитателей, кирпичная стена наскоро построенной клетушки с грохотом рухнула. Никто не мог заметить, как Сирано, подпрыгнув, ударил изнутри в нее ногами с удесятеренной по методу носолобых Сынов Солнца силой. Через образовавшийся проем он спокойно шагнул в зал, поднял один из кирпичей развалившейся стенки и как ни в чем не бывало продолжал:

— Если почтенные гости представят себе, что в руке я держу не кирпич, вывалившийся из плохой кладки, а магнит, как известно, притягивающий по воле господней всякое железо, то станет понятно, что будь подо мной железная колесница вместо каменного пола, она подпрыгнула бы, приподняв меня на себе, а находившийся в ней пророк Илия успел бы ловко подбросить магнит еще выше, вызвав тем новый прыжок своей железной колесницы. Вполне вероятно, что колесница при этом громыхала, как все мы это знаем, а пророк Илия поднимался на небо по невидимым ступенькам, как научил его тому привидевшийся ему ангел.

Аббат Гранже не прочь был бы объявить случившееся колдовством, но не решался, не зная, может ли колдовство происходить в присутствии кардинала и епископа святой католической церкви и не впадет ли он при этом в наказуемую ересь, тем более что его высокопреосвященство кардинал Ришелье кивком головы дал разрешение на сопровождаемое шумом объяснение, то есть на то, что произошло.

Кардинал Ришелье думал о том же, заботясь, чтобы случившееся не отразилось на его высшем авторитете.

Выручил епископ, который вскочил с кресла, простерев к небу руки, и воскликнул:

— Чудо! Чудо господне! Только по воле господа человек мог пройти сквозь каменную стену!

Ришелье же, овладев собой и сделав вид, что ничего особенного не произошло и он все предвидел, посоветовал аббату выбирать впредь лучших каменщиков и обратился к Сирано с вопросами сначала по-латыни, а потом на греческом языке, как бы взяв на себя завершение выпускного экзамена в коллеже.

Сирано бойко отвечал кардиналу:

— После Сократа, прозванного оводом, не дающим покоя совести людей, самыми здравомыслящими философами, ваше высокопреосвященство, мне представляются Демокрит и Пиррон, однако здравый их смысл беспомощен против наших богословов, вооруженных энциклопедическим сводом ответов на все вопросы, составленным Альбертом Великим и Фомой Аквинским.

— Не могу отказать вашему ученику, аббат Гранже, в начитанности и хорошем произношении, — заключил кардинал Ришелье, поднимаясь с кресла и давая тем понять, что выпускной акт завершен.

Индеец Кетсаль-Августин ничего не понял из звучавшей латыни, но он твердо знал, что Савиньон — потомок Сынов Солнца.

Знатные гости тоже, как и «невежественный дикарь», ничего не поняли, кроме того, что произошел скандал и что Сирано де Бержерак скандально выпущен из колежа де Бове, пройдя сквозь каменную стену.

Аббат Гранже жестоко наказал каменщиков за плохую работу, заставив бесплатно разобрать разрушенную клетушку.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

*Так жизнь скучна, когда боренья нет!*

М. Ю Лермонтов

Власть кардинала Ришелье неуклонно возрастала. Лишь на ушко друг другу и оглянувшись вокруг шептали французы о том, как добился он, захудалый герцог Арман Жан дю Плесси, такого положения во Франции, вспоминая, что после короля Генриха IV, убитого фанатиком на улице Медников, малолетний Людовик XIII оказался на престоле, а страной правила регентша королева Мария Медичи, любовная связь которой с герцогом Арманом Жаном дю Плесси не могла остаться тайной. И с 1624 года, став уже кардиналом,

дерзкий и хитрый герцог занял (не без помощи, надо думать, королевы Марии Медичи) все высшие посты Франции: первого министра, председателя королевского совета, главнокомандующего армией с высоким военным званием генералиссимуса. Его друг и наставник монах отец Жозеф (де Трамбле) отнюдь не был кардиналом, но получил в народе прозвище «серого кардинала», имя которого не произносилось вслух, а замыслы его, редкие по коварству, выполнялись как бы без его участия. Недаром прозвище «серого кардинала» перешло затем к Мазарини, помощнику и преемнику Ришелье, перенявшему методы духовника Ришелье, который и в самом деле сделал его кардиналом. Их время было смутным, крестьянские бунты полыхали по всей Франции, как и пожары, спалившие дом господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака. Ришелье подавлял беспорядки с небывалой жестокостью. Усмирял он и беспокойных вассалов, особенно гугенотов, получивших от своего былого вождя, впоследствии ставшего католиком, короля Генриха IV всяческие привилегии. Тогда-то и стал известен Ришелье молодой юрист Тулузского парламента Пьер Ферма, склонный к математике. Он применил в судебном процессе математический метод, доказав, что его подзащитный граф Рауль де Лейе, сын одного из соратников Генриха IV, был непричастен к убийству на дуэли маркиза де Вуазье. Кардинала рассердил такой исход процесса, поскольку граф Рауль претендовал на руку незаконной дочери герцога Анжуйского красавицы Генриэтты, которой интересовался Ришелье, отнюдь не утративший из-за духовного звания тяги к прекрасному полу.

Кардинал Ришелье, не чуждый всему человеческому, сочетал в себе редкий ум, образованность, властолюбие с умением пользоваться липкой, парализующей лестью, обволакивая ею короля Людовика XIII, ко двору которого тщетно пытался попасть королевский писец, бывший провинциальный нотариус и несостоявшийся «владетельный сеньор» господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, мечтавший не обнажать перед королем головы по давней, забытой привилегии, дарованной сумасшедшим королем его предку.

Его нелюбимый сын Савиньон, учась на предоставленную ему стипендию в коллеже де Бове, доставлял мало хлопот, а главное, расходов, нести которые господин Абель очень не любил. Но по окончании сыном кол-

лежа отцу пришлось раскошелиться, содержа пока еще не нашедшего пути отпрыска, слоняющегося по тавернам Латинского квартала и не помышляющего о духовной карьере.

Мадлен не соглашалась с мужем, Савиньон вовсе не должен был идти вслед за старшим братом Жозефом. Она мечтала о его славе поэта, восхищаясь его стихами, и попросила свою кузину, крестную мать Савиньона, баронессу Женевьеву де Невильет ввести крестника через свою гостиную в высший свет Парижа.

*Конец первой части*



# Часть вторая

# ДВЕ ЖИЗНИ

*Параллели сходятся.*

Лобачевский

## Глава первая

## КОШМАРЫ УЗНИКА

*Пусть безоружен, слаб и даже гол,*
*Но против Мрака восстаю теперь я.*

Кампанелла

Тибр капризной извилистой чертой разделял Вечный город на две части. По одну сторону на холме Монте-Ватикано высились крепостные стены средоточия высшей церковной власти католицизма. От тяжелых ворот каменные дороги вели к переброшенным на другой берег мостам.

Из зарешеченного окошка в тюремной стене, сбрывающейся к реке, нельзя было рассмотреть стоявших на страже у ватиканских ворот, как и во многих королевских дворах Европы, наемников в пестрых костюмах разного цвета спереди и со спины, швейцарцев и граубинденцев *, к кому в свое время обращался узник со словами сонета:

* Жители одного из швейцарских кантонов. *(Примеч. авт.)*

Тиран заплатит, хоть народ без хлеба,
За кровь — вам золото, но честь бедна.
Копнешься в совести — она черна.

Вдалеке за мостами виднелся акведук со взлетающими под ним волнами арок древнего римского водопровода, рабами построенного и рабски скопированного римлянами с текущих открытых рек. И поднялось каменное русло водяного потока высоко над землей, без учета, что вода, как давно знали покоренные Римом народы, может течь и по подземным трубам, сама поднимаясь до уровня водоема, питающего водопровод. И просвещенные люди древней империи, оказывается, не имели представления о законе сообщающихся сосудов, обыватели тех времен пользовались отверстиями в ложе виадука, платя за их величину, чтобы получить живительные струйки.

Там у мостов и виадука, у крепостных стен и на дорогах, в домах, в лесах, в горах кипел под солнцем мир людей с их страстями и надеждами, горем и счастьем, не запертых в казематах чужой мрачной волей, хотя при всей их кажущейся свободе большая их часть изнемогала от нищеты и непосильного труда, а меньшая утопала в роскоши и пребывала в праздности. Однако все они ЖИЛИ, и ради них погружался узник в науки, размышляя о лучшей жизни и подлинной свободе для всех.

Он обладал впечатляющей внешностью и внутренней силой. Его лицо могло бы показаться хмурым, если не угадать в нем выражение пристального внимания. Пышные седеющие волосы острым «мефистофельским» мыском спускались на лоб мыслителя, увеличенный двумя высокими залысинами по обе стороны этого треугольника. Взгляд из-под темных, резко очерченных бровей был острым и пронизывающим, отражая ищущий пытливый ум. Прямой нос обрамляли две глубокие складки, вертикальными шрамами невзгод и воли оттеняя твердые линии губ. Бритый энергичный подбородок уходил в белый воротник грубой монашеской одежды.

Почти за тридцать лет, проведенных в этой одежде среди тюремных стен, казалось бы, можно привыкнуть к ним, забыть о солнце, звездах, бушующем за решеткой тревожном мире, но не таков был узник!

Насильно вырванный из окружения людей, он остался с ними сердцем и душой, а воображением своим не

только возвращался к ним, но и переносил их в созданный им мир Справедливости и Всеобщего счастья. Неотступно изучая в неволе науки, он писал в темнице трактат за трактатом, заинтересовав ими в конце концов и отцов-тюремщиков, и отцов церкви, качавших головами по поводу его стремления помогать страждущим и угнетенным с осуждением при этом сильных мира сего.

Но когда дело касалось звезд, интерес к трудам узника умножался, ему даже дозволяли выходить по ночам на тюремный двор, чтобы наблюдать пророчащие звезды, ибо никто, как он, не умел читать по ним судьбы людей, познав тайны движения небесных светил.

И узник наслаждался, видя звезды над головой, мысленно рисуя рожденные древним вымыслом созвездия и изучая петлеобразно метущиеся по небосводу планеты. Особую же радость он испытывал при виде красок рассвета, когда всходило могучее животворящее солнце, огонь которого он ощущал в себе для передачи людям.

Но вместе с восходом солнца запиралась и дверь его темницы.

Перед тем как приступить в глухой камере к своим трудам, он забывался тяжким тревожным сном, полным видений, от которых не могла его избавить даже непостижимая для былых его мучителей воля.

С беспощадной ясностью воскрешали сны то, что он хотел забыть, ибо, если он и жил, то лишь для будущего, а не для мрака минувшего.

Видел он себя и пятнадцатилетним Джованни Домиником, которого предназначал отец для юридической карьеры, собираясь отправить к родственнику в Неаполь.

Гневным вставал облик отца, узнавшего о намерении непокорного сына постричься в монахи. Взгляд, унаследованный сыном от отца, у сына был пристальным, а у отца неистово пылающим. Но непреклонным оказался Джованни. Однако ни отец и ни обвиненный им в пагубном влиянии на сына его первый учитель-доминиканец, отец Антонио, не догадывались о том, что руководило юношей.

И в монастыре под прохладным его сводчатым потолком, когда сам настоятель постригал его в монахи, нарекая в монашестве именем Томмазо, не подозревал он, почему тот взял себе это имя, почему ушел из мира суеты.

Ответом на это служили видения узника, бывшие отсветом того, что случилось в другой стране с совсем иным человеком, чье лишь имя он взял себе вместе с факелом, как бы зажженным у Солнца, чтобы освещать им путь людей.

И ощущал во сне узник, что не Томас Мор, а он сам всходит на эшафот и с улыбкой дружески обращается к палачу с секирой, которой тот отсечет сейчас ему голову:

— Любезный, а ведь погода нынче недурна! Не правда ли?

Так расстался с жизнью Томас Мор, друг Эразма Роттердамского, автор не умирающей и в наши дни книги «Утопия», что в переводе с древнегреческого языка означает «НИГДЕЙЯ», рассказывающей о «месте, какого нет на Земле», где живут люди, отказавшись от главного зла всех зол — от частной собственности, власти денег и неравноправия.

Однако не за это светоч мыслящих людей грядущих поколений, не за упорную борьбу против всех форм насильственной смерти, начиная с войн, кончая казнями, не за то, что недавний первый министр английского королевства отважно восстал против собственного короля Генриха VIII и разбойничьей политики «огораживания» с ограблением крестьян, а за то был признан Томас Мор святым, что отказался присягнуть этому королю как главе провозглашенной англиканской церкви, отколовшейся от католической. Но этот шаг был всего лишь каплей, переполнившей горькую чашу протеста несгибаемого философа против мрачного абсолютизма и грубого произвола.

Узник просыпался в холодном поту, словно именно его только что казнили на глазах у ревущей, жадной до таких зрелищ толпы.

Но другие его сны, еще более ранящие, воскрешали и то, что происходило десятилетия назад и с ним самим. Заточенный ум, не получая новых впечатлений, неумолимо воскрешал былое.

И вот он видит себя юным монахом, направленным завершить образование в Сан-Джорджо, но вынужденным заменить заболевшего старца, взойдя вместо него на кафедру собора в Козинце и приняв участие в высоком богословском диспуте доминиканцев с францисканцами.

Узник снова шептал на своей жесткой койке те крас-

норечивые слова и неопровержимые аргументы, которые повергли тогда в прах всех его оппонентов и сделали его признанным победителем-доминиканцем, чего ему не могли простить те, кто стал отныне его врагами.

Их мести ждать пришлось недолго. Святая инквизиция схватила слишком ретивого юного монаха, обвинив его по доносу в пользовании книгами, которые по велению папы были в монастыре под запретом. Ведь только эти книги, цитированные им, могли принести ему победу на диспуте!

Но как изобретательно защищался он, предназначенный отцом в юристы! Как поставил «святых» судей в тупик, приведя все «крамольные цитаты» из других дозволенных книг, доказав, что если кто видел эти цитаты в запрещенных книгах, то незаконно и пользовался ими!

Пришлось столь же начитанного, сколь и находчивого юнца отпустить.

Но неукротимый его нрав вскоре сказался. Томмазо обрушился на вышедшую книгу заметного итальянского юриста и философа Якова Антонио Марта «Крепость Аристотеля против принципов Бернардино Телезия». Томмазо был страстным последователем Телезия, непримиримого борца со схоластами, которые опирались на незыблемые устои учения Аристотеля. Пыл Томмазо оказался столь горяч, аргументация же столь неопровержима, сопровождаемая к тому же угрозой разгромить Марта еще сильнее, если тот рискнет продолжить спор, что Марта отступил перед одержимым противником, в которого «вселился дух Телезия», ибо почтенный философ не предвидел, что осужденный им автор может ответить из могилы.

Но на помощь Марта пришла инквизиция, схватив Томмазо по двойному обвинению: в оскорблении генерала ордена и в сочинении богопротивной книги «О трех обманщиках».

Узник вновь видел во сне вытянувшиеся лица судей в сутанах, когда он доказал им, что генерала ордена нельзя оскорбить, ибо в уставе ордена говорится, что его члены отрекаются от всего суетного и мирского, оскорбление же следует отнести к несомненной суетности, генерал же ордена в своей бесспорной святости нарушить устав не может. Что же касается книги «О трех обманщиках», то, как в этом легко убедиться по ее титульному листу, она издана до его рождения, ибо отцы-

судьи святой инквизиции не выразят сомнений в том, что он не достиг еще возраста старца, чтобы быть автором старой книги.

Нет, недаром отец метил его в юристы, немало смог бы он сделать на этом пути!

Но он избрал другой путь, где собственные заблуждения наряду со светлыми стремлениями сыграли в его жизни роковую роль.

Пробуждаясь от своих снов, узник брался за неизменные занятия. Трактаты чередовались с составлением гороскопов для суеверных лиц, которые за деньги проникали к нему через тюремщиков, чтобы узнать по лишь одному узнику известному расположению звезд свои судьбы. Узник был рад любому общению с людьми и никому не отказывал.

Но суеверие, которое в существе своем хуже любой религии, ибо не покоится на моральных кодексах, подобно христианской, мусульманской, даже буддийской, а служит лишь себялюбию людей, верящих ради мелких своих интересов в невежественные приметы, в случайное и якобы влияющее на событие расположение звезд или самообманным гаданиям, когда собственное благополучие даже для священнослужителей становилось более важным, чем каноны слепой веры в бога, так опекаемой церковью крестом и костром.

Но слишком честным воспитал себя узник, чтобы составлять гороскопы, которым не верил бы сам. В этом и была его давняя беда! При всей своей внутренней силе он оставался все же человеком, не лишенным слабостей и предрассудков. Однако в искренности ему никто не смог бы отказать ни теперь, при чтении по звездам судеб неизвестных ему людей, находясь в заточении, ни почти тридцать лет назад, когда коварное расположение звезд подсказало ему, что якобы пора действовать.

И это время оживало в его кошмарах.

Как живой виделся ему его боевой друг Маурицио де Ринальди, статный, смелый, увлеченный, весь бушующее пламя, рыцарь свободы! С ним вместе возглавляли они заговор против испанской короны, поработившей родную им Калабрию, а звезды подсказали Томмазо в этом дерзком деле успех!

Пламя восстания должно было вспыхнуть от факела, зажженного Томмазо, как он хотел думать, от Солнца, сливающегося у него с образом обожаемой матери.

Недаром написано им такое вступление к сонетам *:

Я к матери, что жизнь мне подарила,
Любви сыновней обращаю взор
Как в годы детства, так и до сих пор
Во мне живет ее родная сила

Со мной, с отцом держалась нежной, милой,
Уча добру, без ханжества, без ссор,
Теперь мудрец, со Злом затея спор,
Меняю мир, что мне она открыла.

Огромен он, но познаваем все ж
Когда изучишь его глубже, тоньше,
Дорогу к Истине моей найдешь

И зазвучит мой голос правдой звонче
Сгорит пусть спесь, невежество и ложь
В огне Добра, что мне отдало Солнце!

Эти зажигательные слова Томмазо вместе с ненавистью к поработителям вдохновили Маурицио де Ринальди на действия дерзкие и решительные.

Если Томмазо сумел через странствующих по всей Калабрии монахов зажигать жаждой восстания умы людей, то Маурицио де Ринальди готовил непримиримый кровавый бой, и, чтобы собрать для него силы, он не останавливался ни перед чем.

Монахи, во главе с первым соратником Томмазо Дионисием Понцио, подготовили крестьян, Маурицио де Ринальди привлек на свою сторону дворян. Не прошли мимо его внимания и отважные, хорошо вооруженные люди. Правда, они были разбойниками, став ими из-за бедственного и беспросветного существования. И они ненавидели испанцев не только за их господство на итальянской земле, но и за то, что те и толкнули былых тружеников на разбой. Маурицио договорился с вожаками шаек, как ни плакала по ним петля, обещая, что свержением испанского владычества они заработают себе прощение и сам папа выдаст им индульгенцию.

Но этого казалось де Ринальди мало. Испанцы держали связь с Испанией по морю и могли получить подкрепление. И тогда Маурицио пошел на сговор... с турками! Ведь Томмазо, его соратник и вдохновитель заговора, относился терпимо к любой религии, так почему же не воспользоваться силой турецкого флота, кото-

* Переводы сонетов Кампанеллы с латинского здесь и дальше сделаны автором романа.

рым командует перешедший в мусульманство итальянец Синан Цикала, не переставший любить свою родину и готовый помочь ей, выступив против враждебной Турции Испании.

Томмазо вынужден был согласиться с доводами друга.

Но, кроме Маурицио де Ринальди, были еще два друга по заговору, с которыми вместе они выбрали срок восстания — 10 сентября столь памятного Томмазо года!

Он видит во сне лица этих двух «друзей», если бы был он художником, то писал бы с них портрет Иуды.

Кошмарным видением встает трагический день, когда великолепный Маурицио де Ринальди, красавец, созданный для жизни и любви, певец, с редким по тембру тенором, был схвачен на глазах Томмазо, идя к условленному месту встречи с ним.

Испанские солдаты скрутили ему руки, сорвали шпагу, били его алебардами, не считаясь с тем, что он дворянин.

Потом Томмазо видит себя переодетым в крестьянское платье, чтобы пробраться к морю и бежать в Сицилию.

Уже из рыбачьей лодки вытащили его, цепляющегося за борта, грубые испанские солдаты и, избивая, поволокли к городу.

Жуткими вставали дни суда, сулившего Маурицио и Томмазо и всем другим участникам заговора немедленную казнь.

Сон воспроизводит чувство, которое тогда овладело Томмазо при виде крушения всех надежд. Турецкий флот паши Синана Цикала уже не найдет никого, с кем вместе должен был действовать против испанцев. Смерть неизбежна для всех преданных и захваченных.

Необычайный подъем ощущал в себе узник, когда понял, что сошел на него в тот памятный день огонь самого Солнца.

Ради того, чтобы не загасить зажженный светилом факел в его руках, Томмазо выбирает для себя вместо быстрой и легкой казни самые невероятные мучения, которые желает выстоять.

Снова сказался в нем недюжинный юрист, однако он действовал теперь против него самого.

Холодный кошмар воссоздает картину грозного суда испанской короны. Еще ни одному подсудимому не уда-

валось избежать уготованной ему кары... кроме Томмазо, который доказывает суду, что он ему неподсуден, ибо... еретик.

Да, еретик!

Томмазо неожиданно объяснил свои действия заговорщика так кощунственно, что у судей, верных католиков, волосы встали дыбом.

И греховного Томмазо тотчас выделяют из числа обвиняемых, как заклятого еретика, подлежащего папскому суду, неизмеримо более жестокому, чем военный суд испанской короны.

Лишь взглядом попрощался Томмазо с Маурицио де Ринальди, понявшим, что друг его идет на нечто более страшное, чем смерть.

Бодрствуя, узник никогда не решился бы вспомнить всего за тем последовавшего, но мозг безучастно воскрешал видения в новых кошмарах. Ринальдо уже не было в живых, как и других казненных заговорщиков, а Томмазо должен был вытерпеть нечеловеческие муки, поклявшись самому себе, что не произнесет ни слова. И эти муки, принятые от «святых отцов инквизиции», переживались им снова во сне.

С мрачной тьмой сливался тюремный застенок, оборудованный изуверскими приспособлениями, призванными причинять нестерпимые страдания. Снова и снова видел себя в этом застенке узник измученным и искалеченным, подвергнутым всем «христианским» способам мучений, включая дыбу, на которой вздергивали пытаемого, выворачивая ему руки, «испанский сапог», железное вместилище для ног, сжимаемое винтами, дробящими кости, плети со свинчаткой, иглы, загоняемые под ногти, колодки для выламывания суставов, раскаленные прутья, прожигающие живое мясо до костей, — словом, все, все, что даст возможность другому человеку в иной стране сказать:

Умом не поверить,
А сердцем вовек,
Но хуже нет зверя,
Чем зверь-человек!

Но мало показалось его мучителям всего испробованного. Решились они позаимствовать способ истязания у врагов христианской религии, у мусульман, у турок, кощунственно владеющих гробом господним, который столько раз пытались освободить рыцари в кресто-

вых походах. И не погнушались инквизиторы перенять варварскую выдумку противников святой католической церкви, чтобы запугать еретика.

Турки в своем изуверстве придумали самый отвратительный, самый гнусный и мучительный способ казни, по сравнению с которым даже варварское распятие на кресте выглядело гуманным, — сажать живого человека на кол, чтобы, проколотый им насквозь и поднятый наверх (когда орудие казни поставлено стоймя), казненный умирал бы медленно, беспомощно дергая обвисшими руками и ногами, и видел торчащее из собственной груди окровавленное острие, а внизу — ликующую толпу и палачей.

Инквизиторы, злорадно описывая узнику эту мерзкую картину, пытались запугать его позорной для христианина казнью, требуя признания, но не услышали ни слова.

Дальше кошмар был самым страшным. Под улюлюканье и смех специально собранной толпы его подвергли не только особо болезненному, но и унизительному глумлению.

Они подвели к несчастному заостренный кол, запрягли в кровавую упряжку двух мулов, самого же Томмазо крепко привязали к вкопанному в землю стояку, чтобы мулы не могли сдвинуть его с места, а лишь вонзали в его плоть орудие казни.

Покорных животных били бичами, они рвались вперед, а палачи кричали узнику, чтобы он отверз уста, признался бы в колдовстве, ереси. Но он молчал.

Кол инквизиторов все ж не пронзил тогда тело Томмазо, вмешался епископ Антонио, приехавший из Рима по велению папы познакомиться с показаниями еретика-доминиканца его епархии и не узревший в них деяний колдуна, ибо распространял еретик бога на всю природу, как бы растворяя его в ней, что не противоречило истинной вере, но, правда, расходилось с церковными канонами. А потому извлеченный из кровавой ямы, куда он был сброшен после незаконченной казни, Томмазо был приговорен не к сожжению, подобно другому мыслителю того времени — Джордано Бруно, а лишь «к пожизненному заключению».

Десятилетия понадобились, чтобы зажили инквизиторские раны и узник смог снова мыслить и писать трактаты, посвященные благу людей, так упомянув в одном из них свои страдания: «Они (солярии) дока-

зывали, что человек свободен, если даже сорокачасовой жесточайшей пыткой враги не смогли вырвать у почитаемого философа, решившего молчать, ни слова, то и звезды, действуя издалека неощутимо, не заставят нас поступать против собственной воли».

В пятидесяти тюрьмах, куда его из боязни побега перемещали, провел все эти годы Томмазо Кампанелла, чье имя стало именем первого коммуниста Европы, отрицающего первейшее из зол — «священное» право собственности, а фамилия КАМПАНЕЛЛА означала в переводе с его языка — КОЛОКОЛ.

И этот колокол был изображен на титульном листе первого прижизненного издания его знаменитого «Города Солнца», своим поистине колокольным набатом звавшем людей в коммунистическое завтра.

### Глава вторая

## ОТЕЦ ГОРОДА СОЛНЦА

*Только в общем счастье можно найти собственное счастье.*

Гоббс,
философ-материалист, Англия,
XVII век

Из тяжелых ватиканских ворот, открытых граубинденцами в двухцветной форме, сначала вырвался всадник в той же одежде, конь его простучал копытами по каменной дороге, а вслед выехала карета на огромных колесах с загнутыми выше ее крыши рессорами, к которым она была подвешена. Кардинальский знак украшал лакированные дверцы.

При виде кардинальского экипажа прохожие тотчас бросались к нему, и по дороге до моста по обочинам толпились люди, что объяснялось не только религиозным рвением жителей Вечного города, но и тем немаловажным обстоятельством, что монсиньор кардинал Антонио Спадавелли, состоящий при папском дворе, имел обыкновение выбрасывать в толпу из окошка кареты пригоршни звонких монет, которые благоговейно, хотя и не без свалок, подбирались верующими.

Проехав мост, карета резко свернула в сторону, направляясь вдоль берега Тибра. Горожан, приветствующих кардинала, здесь уже не оказалось, но особо ретивые католики, быть может рассчитывающие на поживу,

некоторое время бежали от моста вслед за каретой, крича хвалу кардиналу, но, к их огорчению, из-за отсутствия толпы кардинал больше не выбрасывал монет.

Карета минула развалины дворца Нерона, где тиран приказал философу-стоику Сенеке, воспитавшему его и презиравшему человеческие страсти и даже смерть, в доказательство этого вскрыть себе вены.

Глядя на руины, кардинал вздохнул при мысли о мудреце, всю жизнь боровшемся со страстями человеческими. Мысли Сенеки продолжают жить, несмотря на его бессмысленную смерть. И остался от тех языческих времен, кроме руин, лишь «мертвый язык», латынь, на котором говорят не народы, а ученые и священнослужители другой, истинной религии.

Карета приблизилась к тюремным стенам.

Ворота тюрьмы были предусмотрительно открыты, а взмыленный конь граубинденца стоял подле них.

Карета, гремя железными ободьями колес, въехала в тюремный двор, слегка покачиваясь на рессорах.

Сам начальник тюрьмы подобострастно бросился к ней открыть дверцу и спустить подножку.

Поддерживаемый юрким начальником тюрьмы и жирным тюремным священником, кардинал с трудом сошел на землю.

Он с посохом направился к входу, согбенный годами, с высушенным аскетическим лицом, на котором все же былым огнем горели черные глаза старого доминиканца отца Антонио.

С огромным усилием, несколько раз останавливаясь, чтобы отдышаться, поднялся кардинал Спадавелли по каменной лестнице.

Перед ним низкорослый начальник тюрьмы с остреньким лисьим лицом суетился так угодливо, что, казалось, он сейчас бросит под ноги кардиналу свой щегольской камзол, поскольку не успел постелить для монсиньора ковра.

Около нужной камеры процессия остановилась. Монах-тюремщик, гремя ключами, отпер замок.

Знаком руки кардинал отпустил всех.

Шум открываемой двери разбудил узника, прервав его сон, который на этот раз не повторял его мучения. Ему чудилось, что в призывном грохоте открылись ворота «Города Солнца», его воплощенной Мечты.

В этом Городе не должно быть собственности, все в нем общее. Никто не угнетает другого, не заставляет работать на себя. Каждый обязан трудиться по четыре часа в день, отдавая остальное время отдыху и самоусовершенствованию, наукам и искусствам. Все жители Города живут в регулярно сменяемых ими помещениях, едят общую пищу в общих трапезных. Они сами выбирают себе руководителей из числа ученых и священнослужителей. В Городе устранены причины, вызывающие зло, там нет денег, их нельзя накоплять, нет смысла иметь больше одежды, чем каждый может сносить, роскошь презирается так же, как почитается мудрость. В Городе нет прелюбодеяний и разврата потому, что люди там не связывают себя семьями на вечные времена. Детей же воспитывает государство, в которое входит не только Город Солнца, но и все города страны Солнца. Она общается с другими странами, никому не навязывая своего устройства, но и не допуская чужеземцев приносить с собой иные порядки, для соляриев непригодные, и солярии овладели военным искусством настолько, чтобы отразить любые набеги. У себя они допускают разные религии, не подвергая никого гонениям за то, что кто-то молится по-другому, чем его соседи. Солярии больше жизни любят свой Город Солнца и его порядки, черпая в том счастье, тех же, кто нарушает устои Города, они, не прибегая к казням, навечно изгоняют из страны.

Во сне открылись ворота чудесного Города, и Томмазо Кампанелла вскочил, чтобы войти в них. Но, открыв глаза, увидел перед собой кардинала в сутане с алой подкладкой, а шум «ворот», разбудивший его, был звуком захлопнувшейся двери в его камеру.

Что-то непостижимо знакомое почудилось узнику в сгорбленной фигуре, опирающейся на посох.

— Джованни, мальчик мой! — сквозь слезы произнес Антонио Спадавелли.

Томмазо упал на колени, стараясь поцеловать иссохшую старческую руку.

— Отец мой! Учитель! Монсиньор кардинал!

— Встань, сын мой. Годы почти сравняли нас с тобой, и каждый из нас стал другому и сыном и отцом. Лишь одному богу известно, как переживал я твои мученья, стараясь хоть молитвою помочь тебе.

Томмазо встал с колен.

— Быть может, потому я и могу говорить: «Мыслю,

следовательно, существую» *, — с горькой иронией произнес узник, потом пододвинул кардиналу табурет, сам присев на край тюремной койки, вместилища ночных кошмаров.

— Да, ты мыслишь, и, к счастью, существуешь. Воздаю должное твоей силе, которой ты отразил желание господа спасти тебя. О мыслях же твоих я и хотел поговорить с тобой.

— Боюсь быть плохим собеседником. Эти стены за десятилетия отучили меня от общения с людьми.

— Но ты и мыслил и писал для них. Чего же ты добивался, пытаясь доказать, что не напрасно получил имя «КОЛОКОЛ»?

— Учитель, вы услышали его звон, мой голос? Но мне вспоминать ваш голос — это воскрешать былое, переноситься в блаженные для меня дни детства, любви и свободы, в тепло семьи!

— Семья! Твой отец жестоко обвинил меня, — печально произнес кардинал, — из-за твоего решения покинуть светский мир я, поверь мне, безвозвратно потерял тогда семью, ставшую мне поистине родной. С тех пор уже около полувека я одинок среди людей. — И Спадавелли вздохнул.

— Я тоже одинок, учитель, но только в каземате, — ответил узник. — Семья! Как странно слышать! Хотя нет ничего для меня дороже образа моей матери, отец мой!

— Не только для тебя, — многозначительно произнес Спадавелли.

Томмазо поднял настороженный взгляд, представив себе, каков был его учитель-доминиканец пятьдесят лет назад.

Тот предостерегающе поднял руку.

— Да, да! Я относился к тебе как к сыну, боготворя твою мать, воплощавшую на земле ангела небесного. Но не смей подумать греховного! Память ее и для меня и для тебя священна! И не нарушен мой обет безбрачия, данный богу. Однако, угадав в тебе вулкан, готовый к извержению, невольно сам же пробудив в тебе готовность встать на бой с всеобщим злом, я, каюсь, испугался и хотел спасти тебя любой ценой, об этом же молила меня и твоя мать.

---

* «Мыслю, следовательно, существую». Это выражение, вытекающее из философских положений Декарта, еще раньше и взаимно независимо упоминалось и Кампанеллой. *(Примеч. авт.)*

— Спасти?

— Конечно, так! В своей наивности неискушенного доминиканца я слишком полагался на высоту монастырских стен, стремясь укрыть за ними твой мятущийся неистовый дух, ибо любил тебя, быть может, даже больше, чем твой собственный отец.

— Укрыть меня в монастыре? Но разве это получилось?

— Конечно, нет! Нельзя в темнице спрятать Солнце!

— Вы верите, учитель, в мой факел, зажженный светилом?

— В твой «Город Солнца»? Тогда скажи мне прежде, что ты хотел в нем сказать?

— Учитель, позвольте мне прочесть сонет о сущности всех зол. Он вам ответит лучше, чем я мог бы сам сейчас придумать.

— Твои стихи я ценил еще в твоем детстве. Я выслушаю их и сейчас со вниманием.

Томмазо встал, оперся рукой о стол, глядя на пробивающийся через зарешеченное окно солнечный луч, и прочел:

— Сонет VIII — «О сущности всех зол».

Я в мир пришел порок развеять в прах.
Яд себялюбья всех змеиных злее.
Я знаю край, где Зло ступить не смеет.
Где Мощь, Любовь и Разум сменят Страх.

Пусть зреет мысль философов в умах.
Пусть Истина людьми так овладеет,
Чтоб не осталось на Земле злодеев
И ждал их полный неизбежный крах.

Мор, голод, войны, алчность, суеверье,
Блуд, роскошь, подлость судей, произвол —
Невежества отвратные то перья.

Пусть безоружен, слаб и даже гол,
Но против мрака восстаю теперь я;
Власть Зла сразить Мечтой я в мир пришел!

Кардинал низко опустил голову, задумался, потом обратился к узнику:

— Стихи твои, Томмазо, умом и сердцем раскалены. Но разве святая католическая церковь не борется со злом?

— Бороться с ним, монсиньор, мало, замаливая и отпуская грехи. Надобно устранять причины зла.

— Не те ли, что ты изложил в твоем трактате «Город Солнца»?

— Я рад, учитель, что эти мои мысли знакомы вам.

— Тогда побеседуем о них. Начнем с мелочей.

— Истина не знает мелочей, учитель мой. Я с детства запомнил эти ваши слова.

— Джованни, мой Джованни! Твои воспоминания волнуют меня. Но «Город Солнца» написан уже не Джованни, а Томмазо.

— Томмазо Кампанеллой, помнящим заветы недавнего мученика Томаса Мора, монсиньор.

— Причислен он к святым и почитаем церковью. Итак, начнем хотя бы с места, где ты поместил свой Город Солнца. Оно ведь неудобное. У экватора еще ни один народ не достиг расцвета.

— Я думаю, учитель, что культура не расцветала там не оттого, что солнце в полдень жжет над головой, а потому, что неустраненные причины зла позволяли множиться порокам.

— Все это так, но разве не лучше поставить твой город у моря при впадении рек, чтобы удобнее было сообщаться со всем миром. Купцы, торговля издревле способствовали распространению знаний.

— Мой Город, учитель, строит свою жизнь, не отказываясь от общения с другими народами, но не по их правилам. Выкорчевывая причины всех зол, мои соляриии заинтересованы не столько в мореплавании и купле-продаже, не в обогащении при удачной торговле, сколько во всеобщем счастье, когда продаются не чужеземные товары, а каждый житель получает из городских богатств все потребное человеку, который по укоренившейся традиции презирает всякое излишество.

— Но кто же им предложит столько товаров?

— Никто, учитель! Они сделают все сами. Ведь трудиться будут все без исключения: ученый, жрец, ваятель, воин, все выйдут на поля или в мастерские для ремесел. Ведь если посчитать у нас богатства, которые создаются людьми низших сословий, но принадлежащие по праву собственности людям сильным, знатным и богатым, что тратят их на роскошь, пресыщение и войны, и если представить, что эти богатства распределены между всеми, то окажется, что бедных-то и нет совсем! И не от заморских купцов будет счастье у соляриев, а от их собственного труда.

— Труд труду рознь. Всегда найдется работа черная

и неприятная для всех, и для невежд и для мудрецов.

— Ее будут выполнять те, кто преступил устав.

— Устав? Ты хочешь всех согнать в единый монастырь?

— По монастырскому уставу жили общины первых христиан, учитель.

— Но как же ты хочешь создать Город с новым укладом, когда не было в истории человечества таких примеров? Безгрешной общины быть не может. Апостол Павел говорил: «Если мы думаем, что не имеем греха, то обманываем самих себя».

— Пусть не было таких уставов в жизни, но это не значит, что их не может быть! Люди не знали о существовании Америки, веря самому святому Августину, считали, что нет ее за океаном. Мореход Колумб из Генуи открыл и новые земли, и глаза людям. Точно так же нельзя отрицать возможность создания «Города Солнца», города без частной собственности.

— Томмазо, ты замахнулся на основу основ! Хочешь срубить сук, на коем зиждется всемирный распорядок. В своем стремлении победить бесправие ты готов лишить людей основных их прав.

— Каких прав, учитель? Права собственности? Но ведь она и есть причина главных зол, порождение богатства одних и бедности других, роскоши сильных и нищеты угнетенных, вынужденных трудиться не на себя!

— Не может существовать того, чего не было на свете!

— Почему же не было, учитель мой? Вернемся снова к первым христианам, у которых в общинах все было общим. И апостолы хранили и восхваляли эту общность имущества.

— Но общины исчезли.

— Однако устав их все же остался... в монастырях.

— Ты хочешь, чтобы весь мир стал одним монастырем?

— А почему бы и нет? Если устав хорош для братии, отчего же всем людям не стать братьями?

— В монастыре — обет безбрачия, а в Городе Солнца — кощунственная общность жен! Тому ли я учил тебя?

— Нет, нет, учитель! Мы привыкли во всем видеть собственность: на землю, дом, на корабли, на скот, на жен! Позорны гаремы, где женщина — рабыня, сред-

ство наслаждения, жертва похоти, и даже в наш век женщина, увы, становится рабой своего мужа-господина. А я хотел бы видеть женщин во всем равными мужчинам, и «общими» они там будут лишь для свободного выбора из их числа подруг, такими же «общими» для них станут и мужчины-мужья. Откинуть надо в слове «общее» всякое представление о собственности на женщин и мужчин при вступлении их в брак, когда он считается нерасторжимым до самой смерти, что противоестественно, ибо подобный пагубный обычай и порождает такие пороки, как измена, прелюбодеяние, ревность, ложь, коварство, блуд. Виной тому становится угаснувшее чувство любви, заменяемое принуждением, расчетом, выгодой или привычкой, когда жить вместе приходится под одной кровлей уже чужим, а порой и враждебным людям. Соединение пар должно быть свободным и ни в коем случае не быть «продажей тела», как на невольничьем рынке, к тому же скрепленной церковью!

Кардинал глубоко вздохнул.

— Какое заблуждение! Ты просто не знавал любви, несчастный! Не ведал страстного, бушующего чувства, когда из всех живущих на Земле тебе нужна всего одна, одна! Не знал щемящего томления, не вынужден был подавлять зов сердца!

И снова Кампанелла с тревогой взглянул на Спадавелли, слова которого звучали как стихи, и внезапно прервал его отчужденным голосом:

— Прошу вас, монсиньор, не трогайте памяти моей матери.

Кардинал вздрогнул и поднял глаза к небу.

— Клянусь тебе именем Христовым, что, говоря о сказанном, я вспоминал лишь горькие мученья, которые сам испытал, подавляя чувства и убивая плоть. Ты сын мне названый, сын по привязанности моей к юноше, которого учил. И все же мне жаль, что тебе не удалось испытать тех страданий, которые возвышают душу.

— Страданий я познал, учитель, больше, чем их можно испытать. Но я не знал любви к одной, ее мне заменяла любовь ко всем, учитель! Любовь прекрасна, я согласен, хоть ни в монастырских, ни в тюремных стенах мне не привелось к ней прикоснуться.

— В своем стремлении к счастью всех людей ты го-

тов лишить их той вершины, которой ни тебе, ни мне не привелось достигнуть.

— Нет, почему же! Разве в «Городе Солнца» наложен на любовь запрет?

— Запрет? Скорее замена любви распутством, похотью, развратом!

— Ах нет, нет, мой учитель! Как не были распутными первые христиане, чью святую стойкость мы с удивлением чтим, не будут распутными и солярии. Пусть по взаимному влечению соединятся они в любящие пары и так живут, пока жива любовь, без принуждения, без выгоды, не за деньги, не за знатность! О каком же распутстве здесь может идти речь?

— Но принужденье у тебя все-таки есть. В деторождении.

— Дети — долг каждой пары перед обществом и богом. Но дети, составляя будущее народа, принадлежат государству и воспитываются им.

— Насильно отнятые у родителей?

— Зачем же это так видеть? В древней Спарте детей больных и слабых, неспособных стать красивыми, сильными, мудрыми, жестоко сбрасывали со скалы. В «Городе Солнца» об их здоровье станут заботиться до их рождения, поощряя обещающие пары, как происходит то в природе, там отцом становится всегда сильнейший. И вовсе здесь не будет служить препятствием любовь, если она соединяет лиц, достойных иметь потомство для народа Солнца. Только такие пары и должны дарить стране детей.

— Но не воспитывают их? Не так ли?

— Их воспитывает государство.

— Разве здесь нет насилия?

— Позвольте спросить вас, монсиньор. Допустим, герцог, граф или любой крестьянин, горожанин узнает, что у его ребенка порча мозга, возьмется ли он долотом пробить ребячий череп и срезать опухоль — причину уродства?

— Конечно, нет! Здесь нужен лекарь с его искусством и умением.

— Вот видите! А мозг ребенка подвергать увечью неумелого воспитания любой родитель сочтет себя способным? Вы думаете, что сделать ребенка достойным человеком менее сложно и требует меньшего уменья, чем продолбить ему череп, коснувшись ножом его мозга? Не каждый, кто родить сумеет, способен воспитать.

Вот почему воспитывать детей должно лишь Государство, готовя для того столь же искусных ваятелей ума, как и врачей, способных ножом и долотом спасти от порчи мозга.

— Мир отнятых у матерей детей! Мир, где каждый мужчина вправе пожелать любую женщину! Гарем всеобщий! Содом! Гоморра! Нет, сын мой, не знаю, кто рассудит нас!

— Время, монсиньор, время! Чтобы узнать, нашли ли люди верный путь, готов проспать хоть тысячу лет.

— Бедняга, ты в забытье здесь прозябаешь тридцать лет!

— Я не терял времени, монсиньор, иначе не состоялась бы наша встреча! Наш разговор...

— Наш разговор? Он не коснулся еще твоей склонности к звездам.

— Вы хотите осудить меня за это?

— Нет. Ты сам писал, что влияние далеких звезд на нас неощутимо мягко и наша воля может им противостоять. За это церковь тебе многое прощает.

— И хочет знать, чему противопоставить волю?

— Ты почти угадал.

— Я понял вас, учитель! Как жаль, монсиньор, что вас привели ко мне звезды, а не Солнце!

— Напрасно ты противопоставляешь звезды Солнцу. Они все едины — небесные светила.

— Не рознь светил небесных я имел в виду, а лишь причину, заставившую вас найти меня.

— Пусть моя просьба составить гороскоп не оскорбит тебя, защищенного любовью к людям.

— Просьба — это просьба, не приказ. Она взывает к добру, от кого б ни исходила. Ее исполнить — долг. Мне нужно лишь узнать год, месяц и число рождения человека, судьбу которого должно угадать по звездам.

— Так запиши, сын мой.

И кардинал Спадавелли сообщил узнику все, что необходимо было знать астрологу для составления гороскопа.

Кампанелла побледнел, но старался овладеть собой. Он понял, что кардинал приехал, чтобы узнать, что уготовил Рок самому святейшему папе Урбану VIII, хотя имени его не произнес никто из них.

Кампанелла проницательно взглянул на кардинала. Пусть он согнут годами, но взгляд его горит. Неужели он пожелал узнать срок перемен на святом престоле и

не назовут ли его имени во время новых возможных выборов, когда всех кардиналов запрут в отдельных комнатах Ватикана и не выпустят до тех пор, пока не совпадут имена, названные кардиналами, в одном имени нового папы.

Кардинал Антонио Спадавелли опустил свои жгучие глаза. Но думал он о другом, о том страшном дне, когда ему, тогда еще епископу Антонио, удалось предотвратить жестокую и позорную казнь турецким колом, казнь мыслителя, чьи мысли он опровергал, не отказывая им в светлом стремлении к благу людей. Тогда несчастный, измученный Томмазо был почти без чувств и не узнал его среди инквизиторов и палачей, вынужденных подчиниться представителю папского престола, наложившего потом на них эпитимью за пользование нехристианскими способами дознания, и отбивших за эту провинность положенное число поклонов.

Но кардинал Антонио Спадавелли ничего не сказал об этом своему бывшему ученику, а ныне несгибаемому противнику в споре.

Благословив опального монаха, он оперся на посох, встал и отворил не запертую пока тюремную дверь.

Кампанелла проводил его до нее, ожидая, когда она закроется за ним и раздастся звон ключей тюремщика, который снова замкнет ее до конца его дней.

### Глава третья

## СКАНДАЛИСТ

*Если у человека безобразное лицо, он может закрыть его маской, но может ли он то же сделать с характером?*

Вольтер

Савиньон Сирано де Бержерак после окончания колледжа де Бове, обретя полную свободу и даже некоторую известность в связи с необычайными обстоятельствами выпускного акта, был приглашен в салон своей крестной матери баронессы Женевьевы де Невильет, которая намеревалась представить его светскому обществу.

Савиньон очень волновался, не зная, как удастся ему показать себя среди избранных? О чем придется

говорить: о Демокрите или Аристотеле, о Платоне и описанной им удивительно исчезнувшей стране Атлантиде или о Сократе, ищущем блага людей? Или речь пойдет в крестовых походах, о рыцарской чести и о гробе господнем, о втором Риме — Византии или, может быть, о римских цезарях или римском сенаторе Катоне-старшем, который не уставал требовать разрушения Карфагена, в конце концов разрушенного, или о поэзии Вергилия, Данте или Петрарки?

Он готовился к предстоящему выходу в свет усерднее, чем к выпускным экзаменам в коллеже.

Большое внимание он уделил туалету, истратив на это последние полученные от матери деньги, приобретя даже шпагу, знак дворянского достоинства, без которого, как ему казалось, не войти в круг аристократов, тонких и умных, изысканно говорящих или возвышенными стихами, или афоризмами.

Но больше всего его волновали предстоящие встречи с красавицами. Он готов был влюбиться в любую из них, лишь бы она улыбнулась ему в ответ. Он ждал, он жаждал таящихся и рвущихся наружу страстных чувств, однако и страшился их.

Он был в отчаянии, что у него не пробились усы и бородка, и, несмотря на свой мужественный наряд со шпагой, которую недоуменно вертел в руках, не зная, как с ней обращаться, он выглядел отнюдь не внушительно. И еще этот ужасный нос! Вся надежда на то, что в обществе воспитанных людей никто не позволит себе заметить этот природный недостаток.

Баронесса Женевьева де Невильет, казалось, ничуть не постарела со времени рождения своего крестника. Все такая же черноволосая, с миловидным личиком, миниатюрная и изящная. Она встретила Савиньона сердечно и, когда он церемонно приложился к крохотной, излучающей запах роз ручке, поцеловала его в лоб выше поднятой переносицы.

Она ввела его в гостиную, отделанную белым шелком и обставленную белой мебелью на гнутых ножках. Там уже находилось несколько знатных гостей, среди которых вполне мог оказаться и какой-нибудь герцог или герцогиня.

Савиньон отвесил почтительный поклон всем, но баронесса подводила его к каждому из гостей, представляя многообещающего юношу.

— Как я рад (или как я рада), — безразлично го-

ворили они, замечая, что сегодня на дворе теплее, чем вчера, и отворачивались, чтобы продолжать светскую беседу, а кое-кто, чтобы скрыть гримасу отвращения, вызванную безобразием нового гостя.

Сирано, раскланиваясь, неуклюже задел концом шпаги столик на тонких ножках, опрокинул его, и стоявшая на нем белая фарфоровая ваза с пастушками разбилась.

— Ах, это к счастью, к твоему счастью, дорогой Савиньон! — щебетала хозяйка дома, приказав слугам собрать обломки и шепнув, чтобы нашли мастера, который сумел бы все ловко склеить.

Смущенный Сирано опустился на стул. Шпага ужасно мешала ему, а дама, к которой он подсел, была так прелестна!

Молодой аристократ, с которым он так неудачно раскланялся, с усмешкой посмотрел на него и тихо-тихо произнес:

— Ах, эта шпага! Входишь в дом —
Она становится врагом!

Сирано все же услышал и закусил безусую губу.

Сидевшая рядом черноокая дама, которая так взволновала его, завела общий разговор:

— Не правда ли, мсье де Бержерак, у мужчин стали модными высокие каблуки. Это делает их выше и мужественнее, не так ли?

— Может быть, не выше, а длиннее? — не сдержал своей язвительности задетый стишком аристократа Сирано *.

Молодой аристократ, оказавшийся графом де Вальвером, вспыхнул, ибо, отличаясь малым ростом, явно злоупотреблял высотой каблуков. Он уже с нескрываемой злобой посмотрел на Сирано, которого, подняв с места, к счастью, баронесса отвела к другой группе гостей, где тоже были дамы, одна прекраснее другой.

— Нет, нет, сударыня! — вещал какой-то расфуфыренный старик в парике. — Королева обожает своих собачек. Нести за ней хоть одну из них — величайшая честь, которой удостаивается не каждый. Сам церемониймейстер двора разберется сначала во всех геральдических тонкостях, прежде чем назвать имя счастливца.

— Собачки — это прелестно! — сказала затянутая корсетом дама с кокетливой родинкой на щеке.

* Впоследствии, как известно, эти слова произнес Наполеон Бонапарт, обращаясь к одному из своих маршалов. *(Примеч. авт.)*

— В особенности, когда у некоторых дам собачки служат почтальонами, — вставил молодой хлыщ с крысиным лицом и вкрадчивыми манерами.

— Ах, вы опять хотите острить, невозможный маркиз! — кокетливо отозвалась дама с родинкой.

— Представьте, мадам, это очень удобно, конечно, речь идет лишь о приближенных королевы, ее фрейлинах, а никак не о ней самой, не о ее величестве! Но когда церемониймейстер двора к собачкам не имеет уже отношения, им в бантик легко засунуть записку, которую вместе с собачкой передать избраннику, жаждущему свидания, разумеется, чисто делового — для обсуждения религиозных тем.

— Вы ужасный сплетник, маркиз, даже когда не называете имен, — жеманно сказала дама, притворно ударяя маркиза по руке веером.

— Если вы хотите, графиня, поговорить об именах, я к вашим услугам. Есть уйма пикантных новинок! Если, конечно, наш новый молодой собеседник не будет иметь ничего против.

Чем больше слушал Сирано де Бержерак салонную болтовню, тем глубже ощущал вокруг себя пустоту. «Неужели у них нет ничего больше за душой?» — думал он.

На любом своем вечере баронесса де Невильет всегда припасала для гостей сюрприз, кого-то из новых гостей, очередную модную знаменитость или забавника, могущего посмешить общество. Сегодня она намеревалась показать Савиньона, чтобы о нем заговорили в салонах Парижа.

Еще перед ужином она вышла на середину гостиной и, хлопнув в свои маленькие ладошки, возвестила:

— Господа! Я уверена, что среди нас нет никого, кто не отдавал бы дань изяществу, и мне хотелось бы, чтобы наш юный гость, уже ставший поэтом, сочинив даже забавную комедию в стихах, порадовал бы нас каким-нибудь своим экспромтом.

Сирано был крайне раздражен проявленным к нему равнодушием присутствующих, надменным, оскорбительным отношением к себе и бессодержательной, выводящей его из себя болтовней, особенно горько ему было полное равнодушие к нему (если не брезгливость!) прекрасных дам, о которых он так пылко мечтал, ощутив теперь вместо красоты, ума и изящества пустоту.

И вместо жарких строк, посвященных «Прекрасной»,

совсем другие стихи сами собой сложились в его язвительном и уязвленном мозгу, и он, не отдавая себе отчета в последствиях, не подумав даже о баронессе, вышел на середину гостиной и запальчиво произнес, бросая вызов тем, кто выказал ему свое презрительное равнодушие:

ОДА ПУСТОТЕ

Конечно, это очень плохо,
Когда в кармане — пустота.
Но стоит ли стонать и охать?
Ведь пустота всегда свята!

Она меж звезд, светил небесных,
В пустообыденных словах,
В салонах дам пустопрелестных
И в пустознатных головах!

Она вещественна бы вроде,
Стоит со шпагою в руке
И по пустой последней моде
Приподнялась на каблуке.

Она и плачет и хохочет,
Хоть пустота, а все ж клокочет!

Гости принужденно захлопали в ладоши, недоуменно переглядываясь.

— Разве меж звезд пустота? — наивно спросила графиня с родинкой на щеке. — Ведь господь бог создал там небесную твердь.

И тут граф де Вальвер вскочил на свои высокие каблуки, приняв стихи Сирано на свой счет, встал рядом с ним и произнес, надменно обращаясь к нему:

Своею одой вы задели,
Как шпагой вазу, честь дворян,
Узнав, и то лишь еле-еле,
Кто тут барон, а кто баран!

Вам извинением послужит,
Пожалуй, ваша простота.
Вы все смешали, севши в лужу,
Где пустота, где высота!

Сирано, нимало не смутившись, отвесил графу поклон и ответил новым экспромтом:

Я вызов звонкий принимаю,
Удары будут пусть в стихах.

И сесть вас рядом приглашаю,
Жаль, панталоны в кружевах.

Но лужей вы не защитили
Всего, что мной осуждено,
Хотя стихи в победном стиле
У вас звучали все равно.

Граф вскипел, оружие своего остроумия он считал превосходным и готов был ответить сопернику. Баронесса же была в восторге. В ее салоне происходит столь модная ныне в высшем свете поэтическая дуэль!

Граф, напыжась, произнес:

Моя победа не в деревне,
А в грозном замке родилась
И гордой славой отлилась
Заветом наших предков древних,

Так говорили они сами:
«Я душу бога взять молю,
Дав жизнь и шпагу королю,
Но сердце — только даме!»

И он церемонно поклонился, снискав одобрение прежде всего дам.

Сирано не остался в долгу и остро парировал графу-поэту:

Старинное, скажу вам смело,
Не так старо, как устарело.
Нужна вам милость короля
Да жить беспечно «тру-ля-ля!».

Последние строчки Сирано прямо адресовал своему противнику, не оставляя в том сомнений у присутствующих. Оскорбленный граф затрясся от гнева и, оставив спор на высокие материи о дворянском долге и чести, перешел на личность Сирано, прикрывая это галантным поклоном перед ним:

Вас повстречав на берегу,
Не зная, как к вам перейду,
Я крикнул бы: «Вам очень просто
Нос перебросить вместо моста».

Савиньон, услышав смешки, почувствовал себя тем самым шестилетним мальчишкой, которого изводили «дразнилкой», вынуждая бросаться на обидчиков бешеным вепрем, и он дерзко ответил, смотря на гостей, но протягивая руку к графу:

Сложив стишок, он очень рад,
Хотя под шляпой носит зад.

Дамы, кстати сказать, в те времена привычные и к более крепким выражениям, притворно прикрыли свои улыбки веерами, а мужчины дали волю хохоту.

Граф был вне себя от ярости и обернулся к Савиньону:

— Я попрошу вас, господин Сирано де Бержерак, назвать своих секундантов, если обладаете дворянской честью, дабы они договорились с моими секундантами о месте нашей встречи.

— Я могу вам назвать лишь одного моего друга, студента Сорбонны и поэта Шапелля, которого разыщу сейчас в одной из таверн.

— Постарайтесь, чтобы он не был пьян, подобно вам, рискнувшему читать в обществе непристойные стишки.

— Я постараюсь набраться у вас трезвости и с вашей помощью вырасти.

Граф повернулся к Сирано спиной и, не отвечая ему, вышел из гостиной, задержавшись лишь около баронессы, чтобы поцеловать ей ручку.

Баронесса была смущена. Поэтическая дуэль перешла совсем в другой поединок, чего она отнюдь не хотела, тем более что дуэли запрещены королевским указом, за чем следит сам его высокопреосвященство господин кардинал. Правда, мужчины умудряются все же сводить свои счеты, и шпаги по-прежнему звенят у монастырских стен.

Баронесса подошла к своему крестнику и мягко пожурила его за злой язык:

— Но теперь, Сави́, тебе надо выдержать испытание дворянской чести, чтобы войти в свет.

Сирано прекрасно понимал это и, распрощавшись с баронессой и поклонившись всем гостям, отправился в Латинский квартал разыскивать Шапелля, чтобы тот связался с маркизом, знатоком сплетен и дамских собачек, названным графом своим секундантом.

Сирано нашел Шапелля в его любимой таверне за стаканом вина, а когда тот услышал, что друг его вызван на дуэль графом де Вальвером, ужаснулся, ибо у того была слава бретера, заядлого дуэлянта, и Сирано, надо думать, не имел против него никаких шансов.

— Я вижу, у тебя есть шпага, — сказал поэт, — но она тебе знакома не больше вязальной спицы.

— Ты прав, Шапелль, и я рассчитываю, что за остаток вечера ты научишь меня хоть одному приему.

— Ты сумасшедший, Савиньон! Фехтование — это наука, искусство, традиция! Первой шпагой Франции считает себя король! О каком приеме ты говоришь?

— Я слышал, что есть такой прием, которым выбивают шпагу противника. Ты знаешь его?

— Разумеется, знаю, но, чтобы он удался, надо ждать, пока противник зазевается, а он успеет до этого проткнуть тебя, и не раз!

— Неважно. Мне надо выучить твой прием.

— Изволь, пойдем ко мне домой, отец уехал в наше поместье, и нам будет где поупражняться, хоть в саду. Впрочем, там темно, лучше в зале, где я прикажу зажечь все светильники.

— Идем, — позвал Сирано.

Шапелль удивился, как быстро усваивает Бержерак первые уроки фехтования. Он очень скоро научился держать шпагу в своей железной кисти, овладел в замедленном темпе выкручивающим движением, когда переданное сталью усилие над эфесом шпаги противника направлено в сторону концов его пальцев, охватывающих рукоятку. Пальцам трудно удержать ее, когда она выскальзывает из них, и шпага может отлететь в сторону.

Сирано прилежно усваивал только один этот прием, хотя Шапелль уговаривал его изучить и выпады, когда можно пронзить грудь противника. Сирано этим не заинтересовался.

Ближе к полуночи в дом Шапелля явился маркиз де Шампань, секундант графа де Вальвера, и договорился с Шапеллем о месте встречи, как всегда, у стены одного из монастырей.

После ухода маркиза друзья сели за стол, но ужина им почему-то не подали. Сирано пришлось воспроизвести слово в слово всю стихотворную дуэль между Савиньоном и графом.

Шапелль был недурным поэтом и мог по достоинству оценить и того и другого противника.

— Мне остается пожелать, Сирано, чтобы завтра на рассвете твое владение шпагой равнялось бы твоему поэтическому искусству, а твои движения были бы такими же быстрыми, как и твоя реакция в гостиной.

Сирано остался ночевать у друга, а перед рассветом они оказались в назначенном месте.

Прошли гвардейцы кардинала, подозрительно оглядывая двоих слоняющихся на пустыре молодых людей. Капрал поинтересовался, чем они заняты здесь?

— Подружками, наш храбрый воин! — заверил Шапелль. — И у каждой из них есть по сварливому мужу, которые не рискуют в такую пору показаться в подобном месте, чтобы их не заподозрили в нарушении указа короля и его высокопреосвященства господина кардинала о запрете поединков.

Гвардеец продолжал подозрительно вглядываться, не появятся ли еще двое молодых людей, но Шапелль предусмотрительно передал ему небольшой кошелек с серебром со словами:

— Пожелайте успеха, господин капрал, в наших любовных делах.

Гвардейцы удалились.

Граф де Вальвер и маркиз де Шампань уже стояли наизготове.

— Достаточно ли света для противников? — вкрадчиво начал маркиз с крысиной мордой. — Солнце еще не взошло. Продолжают ли противники считать друг друга врагами?

— Света вполне достаточно, чтобы разглядеть, что носит господин граф под своей шляпой, — ответил Сирано.

Шапелль, отличавшийся веселым нравом и несдержанностью, поняв намек друга, прыснул со смеху.

— Защищайтесь, несчастный школяр, драный розгами! — завопил граф де Вальвер и обнажил шпагу.

Сирано отскочил и тоже вынул шпагу из ножен.

Секунданты отошли в сторону.

Шпаги скрестились со звоном один, другой раз, и тут произошло нечто странное. Противники сделали выпад друг к другу, приблизясь лицами, и шпаги их, казалось бы, должны были соприкоснуться рукоятками, но шпага Сирано на миг исчезла в воздухе, а шпага графа вылетела из его рук, словно от удара кувалдой, и отлетела далеко в сторону. Никто ведь не знал отработанной индейцем быстроты движений Сирано и потому ничего не понял.

Савиньон, опустив шпагу, дождался, пока граф подберет свою, лежавшую у ног Шапелля.

И снова со звоном скрестились шпаги, и снова неведомо как шпага графа де Вальвера вылетела из его кисти и отлетела теперь к ногам маркиза де Шампань.

— Должно быть, у меня судорога, — пробормотал граф, смотря на свои пальцы.

— У вас родовые судороги, граф, начинающиеся при выкидыше очередных стишков, которые вы имеете наглость сочинять.

Граф де Вальвер потерял над собой всякую власть и, пользуясь тем, что Сирано недвижно стоял на месте, подхватил свою злосчастную шпагу и опять бросился на противника.

На этот раз ему удалось уколоть его в левое плечо, но в следующее мгновение он снова был обезоружен, причем шпага его перелетела через головы секундантов и со звоном ударилась о монастырскую стену. Граф бросился за ней, но взбешенный раной Сирано настиг его, и когда тот, снова держа шпагу в руке, обернулся, то почувствовал стальное острие у своего горла.

— Бросьте шпагу, граф, иначе я проткну ваше горло и вам не придется пользоваться им для чтения стихов.

Граф колебался недолго и послушно выронил шпагу на землю.

— Теперь вы снова можете читать стихи. Повторяйте за мной: «Я, сочинив стишок, был очень рад...» Ну же! — понуждал Сирано, покалывая острием шпаги кожу графа.

— Я... сочинив стишок... был очень... рад... — почти шепотом повторял несчастный граф.

— «Что на плечах имею зад!» — требовательно закончил Сирано.

— Что... на плечах... имею... зад... — покорно повторил граф.

— Теперь можете взять свою шпагу, я удовлетворен, — заявил Сирано де Бержерак.

Граф не стал брать шпаги, а понуро удалился. Шпагу подхватил под мышку маркиз и, по-крысиному выянув вслед за графом голову, пустился догонять опозоренного дуэлянта.

— Это черт знает что! — воскликнул Шапелль. — Я бы никому не поверил, если бы не видел все своими глазами. И я готов был лопнуть от смеха, если бы не уважение к дворянской чести.

Друзья отправились домой к Шапеллю. Сирано было грустно. Победа не радовала его из-за сознания, что в парижском свете он терпит поражение, ибо такой урод там никому не нужен.

— Теперь, — заявил недавний секундант, — как го-

ворил английский поэт и драматург Вильям Шекспир, кстати, советую тебе его почитать, в особенности его сонеты с великолепной рифмовкой, когда-нибудь он будет признан великим, так вот, как говорил Шекспир: «Поужинаем утром!» Я намеренно не предложил тебе вечером подкрепиться, чтобы возможная рана в живот не была бы опасной.

— Да, я с удовольствием не только поужинаю, но и позавтракаю во славу твоего Шекспира.

— Надеюсь, твоя дуэль уже сегодня будет известна в парижском свете и за тобой установится очень важная для тебя слава скандалиста. Со скандалом закончил коллеж, со скандалом вошел в светское общество, скандально выиграл свой первый поединок.

— Почему же скандально?

— Да потому, что у графа в секундантах был самый первый злословец Парижа. Твоя победа будет объяснена судорогами в руке или еще чем-нибудь. Жди теперь вызова его друзей и родственников.

— Я готов.

— К чему ты готов, безумец? Сегодня же сведу тебя к учителю фехтования. Ты же полный невежда в этом деле!

— Что правда, то правда! Но приему ты меня научил отличному, именно тому, которым я хотел владеть.

Шапелль выполнил свое обещание, и с этого же вечера началось обучение Сирано всем премудростям фехтовального искусства. Он устроил его к знаменитому мастеру этого дела, который фехтовал с самим королем Людовиком XIII, вселив в того уверенность, будто нет ему равного во владении шпагой. Король действительно был ловок и удачлив, силен и выносли в.

Но то, с чем встретился учитель фехтования в лице нового ученика, не поддавалось уразумению. Обучение, длившееся изо дня в день, убеждало мастера, что он столкнулся с феноменом, ибо не подозревал, что имел предшественником неграмотного дикаря из Америки, обучившего Сирано «священной борьбе без оружия». А теперь, когда в руке его появилась шпага, он, употребляя ее, повторял любое преподанное ему движение, выпад, финты, парирование в три-четыре раза быстрее, чем мог это проделать сам мастер. Уследить за этим даже зорким взглядом было невозможно.

А ему еще хотелось верить, что он пробьет себе шпа-

гой путь в жизнь и даже к сердцу еще неизвестной ему возлюбленной, которая за красоту стихов и покоряющую доблесть простит ему его внешность.

### Глава четвертая

## КОНФУЗ

*Пояс нужен, чтобы не потерять панталоны, шпага — чтобы не потерять честь.*

Шапелль,
французский поэт XVII века

Маркиз де Шампань приехал с утренним визитом к своей любовнице, графине с родинкой, мадам де Ла Морлиер.

Она вышла к маркизу, благоухая цветущим садом, одетая в легкий невесомый пеньюар, позволяющий пылкому воображению обрисовать ее обольстительные формы.

— Ах, маркиз, — сказала она, протягивая руку для поцелуя, — я с утра скучаю. Смотрите, если вы не позаботитесь обо мне, то лишитесь моего расположения.

— Что вы, графиня! — ужаснулся маркиз. — Я лучше объявлю себя еретиком, чтобы меня сожгли на костре.

— Ну зачем же так! Я не люблю запах горелого мяса. И вы все-таки нужны мне.

— Нужен?! Вы заставляете меня задохнуться от счастья!

— Задыхаются от петли на виселице, маркиз, а вы ведь не нарушаете запретов короля и никого не вызываете на дуэль.

— Браво, мадам! Вы сами подсказали мне, чем развлечь вас! Помните того носатого птенца, который читал стишки у баронессы де Невильет?

— Ну конечно! Они поссорились с графом де Вальвером.

— И даже дрались на дуэли, а я был секундантом графа. Этот носатый Сирано ловко отделал графа, сразив его презрительным великодушием, заставив перед тем прочесть непристойные стишки про самого себя. Оскорбление неслыханное и безнаказанное!

— И вы решились наказать этого птенца? Ах, маркиз!..

— Устроить ему ловушку, и не где-нибудь, а у вас, мадам.

— У меня? В будуаре? — кокетливо подзадорила маркиза графиня, с улыбкой поднимая свои искусно подведенные брови.

— Что вы говорите, сударыня! Лучше убейте меня! Вот моя грудь и бьющееся ради вас сердце. — И маркиз сделал вид, что распахивает камзол, выставляя при этом вперед свою крысиную физиономию.

— Ну полно, полно! Сознавайтесь сразу, что вы придумали. Надеюсь, забавное?

— Граф де Вальвер должен быть отомщен. Для этого надо выбрать достойного противника Сирано де Бержераку. У меня есть такой на примете, капитан армии герцога Анжуйского, барон де Ловелет, первый дуэлянт и забияка. Правда, чуть постарел. Придется вам пригласить на очередной свой вечер этого солдафона. Ботфорты среди башмаков с бантиками! Это будет прелестно! Мы столкнем его с Сирано, и он сделает из этого мальчишки любое блюдо по вашему вкусу.

— Вы просто невозможный человек, маркиз! Я вовсе не людоедка, чтобы заказывать себе блюда из своих гостей. Кроме того, старый солдат и птенец! Фи!..

— Вовсе нет! Это будет пикантнейший бой петухов, или, если хотите, коррида! Уверяю вас, мадам, это развлечет вас.

— Ах, я готова на любое развлечение. Пусть будет по-вашему, я приглашу этих двух человек не нашего круга. Пусть позабавят других.

— Я мчусь в казармы, сударыня!

И маркиз, мелкими шажками прошмыгнув в дверь, почти выбежал из дома графини, приказав кучеру своей кареты везти его в казармы войска герцога Анжуйского.

Когда карета остановилась и маркиз, высунувшись из ее окна, обратился с просьбой к солдату найти капитана де Ловелет, тот, рассчитывая на награду важного господина, бегом помчался выполнять его поручение.

Вскоре бравый седоусый воин, идя вразвалку в огромных ботфортах и, придерживая на весу за рукоятку длиннейшую шпагу, подошел к карете.

— Чем могу служить? — хрипловатым голосом осведомился он.

— Не откажите в любезности, господин барон, по-

сетить вместе со мной отменный трактир в Латинском квартале, за мой счет, разумеется.

— О таких вещах солдата не спрашивают, — ответил капитан и, распахнув снаружи дверцу кареты, взгромоздился туда, ибо был весьма внушительного телосложения по сравнению с щуплым маркизом.

— Чем обязан? — имея в виду приглашение в трактир, коротко осведомился капитан.

— Одна прелестная особа знатного происхождения, господин капитан, просила меня похитить вас.

Капитан хмыкнул, погладил усы и расхохотался похожим на лай хохотом.

— Однако вы шутник, господин маркиз! Хотел бы посмотреть на интересующуюся мною знатную даму! Я, знаете ли, больше не по знатной части промышлял.

— Вы просто скромны, капитан. В трактире мы все выясним.

Выяснение обстоятельств приглашения капитана в салон графини де Ла Морлиер «вылилось», в буквальном смысле этого слова, потоком доброго вина, наполнившего до краев увесистые кружки, которые поднимали, разумеется, за счет маркиза не только капитан, но и чуткая к таким возможностям студенческая молодежь и неудачливые художники, рисующие на салфетках и скатертях. за неимением других заказов.

Изрядно подвыпив, капитан забыл, для какой цели его сюда привезли, и стал рассказывать о своих несчетных победах в поединках до их запрещения, а также и после.

— Я не проиграл ни одного боя, — хвастливо заявлял он, отхлебывая глоток вина. — У меня их было семьдесят семь! Семьдесят семь и один особый...

— О, расскажите нам о нем, расскажите, — попросили несколько голосов.

— Рассказывайте, — шепнул маркиз, — все это будет известно знатной даме, о которой я вам говорил.

— Какая знатная дама? — удивился капитан. — Ах да! — И он икнул. — Так вот. Дрались мы с полковником лихо, не буду называть его очень известной фамилии. Мне не понравилось, как он взглянул на мою очередную подружку, а у подружек я выиграл больше боев, чем у мужчин. Так вот. Генерал, о котором я сказал, схватился со мной и хотел резким ударом выбить у меня шпагу из рук и с размаху ударил мою шпагу своей сбоку, да так, что разрубил мою пополам, как де-

ревянную. Он хотел уже проткнуть меня, но сабельный удар занес его шпагу в сторону, и я успел особым, только мне известным выпадом проткнуть остатком моей шпаги его маршальский мундир на груди, притом так, что не задел его тела. Маршал прекратил бой, восхитившись моим ударом, и принес мне извинения.

— Не маршал, капитан, а генералиссимус, — на полном серьезе заметил один из молодых художников.

— Молокосос! — огрызнулся капитан. — Генералиссимус во Франции один, это его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье. С ним ссориться никому не советую, даже вооруженным кистью.

— Ваше вооружение, капитан, больше подходит для ссоры с менее заметным человеком, — зашептал маркиз де Шампань. — И моя знатная дама рассчитывает на это.

— С кем, с кем я должен поссориться? — удивился опять капитан.

— Может быть, вы боитесь скрестить с ним шпаги?

— А вы, маркиз, не хотите ли скрестить свою шпагу с моей?

— Упаси бог, капитан! У вас слава первого бойца войска герцога Анжуйского. А вызовет вас на дуэль молокосос, вроде того, которого вы сейчас отбрили.

— А с чего это он меня вызовет на поединок?

— Потому что вы прокатитесь по поводу его длинного носа, который, право же, годился бы для ножен хорошего кинжала, а скорей всего похож на птичий клюв.

Капитан лающе расхохотался.

— И вы думаете, что этот «клювоносец» полезет со мной драться? Со мной?

— Он не выносит насмешек над своим носом.

— Не выносит? Какие нежности! Так ему придется вынести, придется, черт меня возьми! Или я не капитан и не провел семьдесят семь поединков и еще один! И пусть еще один будет! — пьяно бормотал барон, силясь подняться из-за стола.

Маркиз отвез его обратно в казарму, обещая завтра прислать за ним карету, чтобы он приехал в салон графини де Ла Морлиер.

Сирано де Бержерак, живя в тесной комнатушке над трактиром «Давид и Голиаф», получил надушенное письмо с графским вензелем, содержащее приглашение

графини де Ла Морлиер посетить ее салон в ближайший четверг в вечерние часы, «чтобы провести время в непринужденной обстановке и простоте».

Сирано задумался. Не имеется ли здесь в виду одежда знатных мужчин и драгоценности, украшающие вместе с туалетами их дам? Одна мысль о светских красавицах заставляла его жаждущее сердце трепетать, он еще надеялся, что сила поэтического слова может затмить его внешнее безобразие, которое он так хотел бы забыть.

И он помчался к своему другу Шапеллю рассказать о необыкновенной удаче, об открывшейся ему двери в высший свет Парижа, ибо салон графини славился как один из самых блестящих, где собирались вельможи и люди особо знатные, а дамы дивно прелестные, утонченные и изысканные.

И теперь появлялась надежда быть представленным ко двору.

Что делает всего одна удачная дуэль! Даже дамы, ах, эти жестокосердные дамы, может быть, хоть теперь они заметят его!

Шапелль, завсегдатай дома графов де Ла Морлиер, приглашением графини Савиньона был несколько озадачен.

— Не думаю, Сави́, что за этой дверью тебе приоткроются ворота Лувра. Не нравится мне приближенный к очаровательной графине маркиз де Шампань, чье злоязычье соперничает только с его трусостью, мы с ним знакомы по твоей первой дуэли. Помнишь, как он по-крысиному удирал с чужой шпагой под мышкой? Неспроста все это.

— Ну почему же? — запротестовал Сирано, который не хотел упускать случай войти в высший свет, где ему грезились и удача, а может быть, и счастье. — Я не вижу в этом приглашении никакого подвоха.

— Разумеется, я пойду с тобой, но, бывая там часто, я плохо выношу этого сплетника, для которого шелковые юбки служат синим небом.

Сирано, принимая во внимание «непринужденную простоту», занял у Шапелля на один вечер самую нарядную его одежду, поскольку они одного роста и сложения, а он был безнадежно беден. Отец отказывал ему в деньгах, живя лишь на ренту от проданного имения и требуя, чтобы он зарабатывал сам, шел бы в священ-

ники, как его старший брат Жозеф, или на военную службу.

Сирано внутренне усмехался: уподобиться ханже Жозефу, дать обет безбрачия? Как бы ему не пришлось дать этот обет самому себе даже без духовной карьеры, если и дальше его внешность будет отталкивать от него всех представительниц прекрасного пола!

К счастью, хлопоты и сборы отвлекали Сирано от этих мыслей.

— Брать ли с собой шпагу? Не зацепиться бы ею опять за какую-нибудь вазу, — беспокоился Сирано.

— Пояс нужен, чтобы не потерять панталоны, шпага — чтобы не потерять честь, — заметил Шапелль, разрушив сразу все сомнения друга.

Собравшееся в салоне графини де Ла Морлиер общество было самым блестящим, предупреждение о «непринужденной простоте» сделало свое дело: как мужчины, так и особенно дамы старались превзойти и самих себя, и своих соперниц по блеску и роскоши. Драгоценные колье и кольца, ожерелья, серьги, диадемы горели в волосах и ушах, на лебединых шеях прекрасных дам, тяжелые золотые цепи, старинные перстни, красочные банты во всех возможных местах украшали кавалеров, старики же назидательно отдавали дань прежним модам, внося в салон дух славных традиций прошлого, заложенных во времена Екатерины Медичи, когда блеск, красота и коварство стали символами знатности.

Появление двух нарядных молодых людей, один из которых бывал здесь частым гостем, было встречено общим вниманием, тем более что только они двое не знали об очередном, обязательном для вечеров графини сюрпризе, связанном с одним из них, вернее, с забавным носом одного из них.

Среди всего выставленного здесь богатства, изящества и парящей скуки грубым пнем в пышном благоухающем саду выделялся армейский капитан в столь неуместных в шелках гостиной тяжелых ботфортах, неуклюжий со своими солдатскими манерами и мешающей ему же самому слишком длинной шпагой.

Капитан де Ловелет мучительно ждал сигнала от маркиза де Шампань, увивавшегося среди дам, рассказывая каждой какую-нибудь пикантную историю. Старый солдат чувствовал себя здесь неуютно и мечтал по-

скорее поссориться с каким-то носатым молокососом, чтобы «отработать» угощение в трактире и приглашение на этот уж слишком утонченный вечер, где не с кем перекинуться словом о славных походах, боях, лошадях и поединках.

Наконец, де Шампань, сделав капитану условный знак, направился к Сирано де Бержераку и с изысканно вежливым поклоном произнес:

— Почтенный господин поэт! Наши прелестные дамы поручили мне передать вам их просьбу прочитать какие-нибудь ваши стихи о красоте и любви.

Сирано, немного смущаясь, встал и, застенчиво оглянувшись, направился на середину гостиной, обдумывая, что бы прочесть столь избранному обществу.

Но дорогу ему внезапно преградил армейский капитан в ботфортах:

— Вы, сударь, намеревались толкнуть меня, торопясь, как юный петушок, прокукарекать свои стишки с помощью вашего носа, который заменил бы в полку призывную трубу, а еще лучше им пахать в поле, что делали, надо думать, не так уж давно, ваши близкие предки из числа грязных крестьян.

Сирано вспыхнул. Присутствующие с интересом следили за тем, что произойдет. Однако «поэтической дуэли», как у баронессы де Невильет, здесь не состоялось. Савиньон с непостижимой ни для капитана, ни для гостей графини ловкостью выбросил вперед руку и схватил барона за нос, притом так сжал его своими железными пальцами, что старый солдат не удержался от возгласа, получившегося, надо сказать, довольно гнусавым.

И Сирано стал водить капитана за нос по великосветской гостиной, уверяя блистательных гостей, что не отпустит почтенного барона до тех пор, пока нос того не сравняется с его собственным.

Дамы хихикали, многих мужчин разбирал хохот. Ведь смешным не сочувствуют!

Лишь один маркиз всполошился и вместе с хозяйкой дома бросился на выручку злосчастному капитану.

— Господин де Бержерак, умоляю, лишь ради меня и нашей будущей дружбы, отпустите моего гостя, — призывала очаровательная графиня с родинкой.

Маркиз же патетически восклицал:

— Господин де Бержерак! Взываю к вашей дворянской чести! — Де Шампань суетился вокруг, приседая и кланяясь и всем своим существом призывая выслу-

шать его. — Если вы считаете себя оскорбленным, то я к вашим услугам, как секундант.

— Не думаете ли вы, маркиз, что я унижусь до того, чтобы вызвать на поединок эту неуклюжую дубину? С него хватит и того урока, который я ему задаю на глазах у всех уважаемых мной гостей графини, искренне сожалея, что доставляю ей заботы.

— Боже! Де Бержерак! — завопил маркиз. — Вы унижаете не только его, но и себя этим ярмарочным зрелищем.

— Для ярмарки не хватает карусели, — огрызнулся Сирано.

— Милый юноша! Я понимаю ваши чувства и даже разделяю их, но я не могу себе представить, чтобы рыцарь, каким вы мне представляетесь, не внял просьбе дамы. Отпустите его. Он виноват. Это мы все видели, и все на вашей стороне, — умоляла графиня с родинкой.

Шапелль, подойдя к Савиньону, шепнул:

— Довольно, друг, с него хватит!

Просьбы дамы и друга сделали свое дело.

Сирано отпустил барона. Тот стоял растерянный, с покрасневшим, отекшим и мокрым носом и беспомощно чихал, не в силах остановиться. Да он и не знал, что делать. Молокосос не вызвал его на поединок, как рассчитывал маркиз, а нанес ему сам неслыханное оскорбление.

Маркиз нырнул между смеющимся Сирано и чихающим капитаном, стремясь скорее прийти на помощь барону.

— Надеюсь, господин Сирано де Бержерак, — высокопарно начал он, — вы понимаете, что нанесенное вами барону оскорбление смывается только кровью?

— Вы собираетесь для этого предоставить собственную кровь? — насмешливо осведомился Сирано.

— Боже упаси! Я говорю от имени оскорбленного барона де Ловелета, капитана армии герцога Анжуйского.

— Но, кроме чихания, я от него ничего не слышу, господин маркиз. К тому же, как всем заметно, нос его припух и почти сравнялся по размерам с моим, что меня удовлетворяет.

Маркиз умоляюще посмотрел на еще недавно столь бравого солдата. И только после этого, умерив чихание,

капитан смог промямлить, что удовлетворения потребует он, а не кто-нибудь другой.

— Что ж, — сказал Сирано, — вызов на поединок сделан не мною, пеняйте на себя, господин капитан. Если вы действительно выберете себе в секунданты господина маркиза, то он может договориться с моим другом графом Шапеллем де Луилье о месте и времени встречи.

Поединок состоялся у той же монастырской стены, как и первая дуэль, и с тем же составом секундантов.

Но бой был значительно короче, чем сражение с графом де Вальвером. Результат же его был несколько неожиданным.

Старый солдат к началу боя уже пришел в себя и преисполнен был благородной ярости, решив хорошенько проучить юного нахала.

Со свирепым криком бросился он на тоненького по сравнению с ним юношу и сделал выпад, чтобы пронзить грудь противника, но... шпага его, словно по ней стукнули у рукоятки тяжелым молотом, вылетела из его руки и брякнулась о монастырскую стену.

Взбешенный капитан бросился за нею, чтобы продолжить бой, однако Сирано не стал ждать, пока он снова вооружится, как делал это с графом де Вальвером, а, едва капитан со шпагою в руке обернулся, приставил острие своей шпаги к его сердцу, потребовав, чтобы тот немедленно покаялся или перед ним, или перед господом богом.

Старый солдат выронил подобранную шпагу и решил, что лучше найти смерть на поле боя во славу герцога или короля, чем от этого наверняка прошедшего выучку у самого дьявола юнца.

— Приношу такие же извинения, какие выслушал однажды от самого маршала Франции, не стану называть его фамилии, — пролаял бедный капитан. — Вам чертовски везет, господин де Бержерак, и вы наверняка славный парень! Я взял бы вас в свою роту.

— Благодарю, капитан. Но пока я воздерживаюсь от военной службы, интересуясь науками и поэзией.

— Прискорбно, — вздохнул капитан. — А я, признаться, ударяю больше по другой части.

— Господа! — вмешался прыткий маркиз, смакуя свои будущие рассказы о происшедшем. — Поскольку

дело разрешилось миром, то и указ короля можно считать ненарушенным, что я и предлагаю отметить, за мой счет разумеется, в лучшем трактире Латинского квартала. Согласны ли бывшие противники?

— У солдата таких вещей не спрашивают, — отозвался капитан и разразился заразительным хохотом, похожим на лай престарелого пса.

Из-за раннего часа маркиз поднял трактирщика с постели, и тот обслуживал нежданных гостей в ночном колпаке, не желая упустить изрядной выручки.

Подвыпивший капитан стал умолять Сирано научить его своему волшебному приему, вполголоса добавив:

— Если вы не получили это ценой, о которой не говорят даже шепотом.

— Охотно научу вас, барон, если вы мне дадите слово дворянина, что будете с его помощью лишь разоружать противников, не нанося им ранений.

— За такой прием готов пообещать постричься хоть в монахи или пойти евнухом в гарем турецкого султана, предварительно повышибав шпаги у десятка-другого чистоплюев в кружевах! — пьяным голосом пообещал капитан и полез обниматься с былым своим противником. — Я в своей жизни проиграл только два боя! Тебе, молодой мой друг, и... как бы ты думал? Девчонке! — И он захихикал. — Но какой! В кастраты к папе можно пойти! Не девчонка — факел! Об нее можно было обжечься! Вот я и обжегся. Испугался за свое здоровье, как сегодня, когда ты пощекотал меня у сердца острием шпаги. Словом, каюсь, струсил первый раз в жизни! С тобой второй! — И он снова захохотал своим необычным хохотом.

Так закончился второй поединок Сирано де Бержерака, на миг появившегося в высшем парижском свете. Однако испытания его для вступления в это высшее общество не кончились.

Заботой маркиза де Шампань, графа де Вальвера, преследовавших свои собственные цели, Сирано не раз приглашали, но всякий раз ради нового скандала.

Оскорбления, притом взаимные, следовали одно за другим и всякий раз заканчивались вызовом на поединок «оскорбителя», каковым неизменно оказывался более острый на язык, чем любой аристократ, Сирано де Бержерак.

Надо сказать, что дуэли эти так же неизменно вы-

игрывались «оскорбителем» или вышибанием шпаги из рук противника, или его несмертельным ранением.

Слава скандалиста за Сирано закрепилась, а ко двору его не приглашали. И ни одна из прекрасных дам не ответила ему нежным взглядом на его зовущий пламенный взор.

Жажда любви была у него подобна жажде путника в пустыне, а сознание собственного безобразия граничило с тем отчаянием, которое овладевает таким путником, сознающим свою обреченность.

И эти чувства Сирано пытался скрыть за внешней веселостью, непомерной гордостью и язвительностью ко всем, кто скрывал свою безобразную внутреннюю сущность.

### Глава пятая

## ЗНАНИЕ СИЛОЙ

*Знание беспредельно. Оно совершенно противоположно вере.*

Гёте

Трудно представить себе более прелестное местечко, чем небольшое, утопающее в зелени имение почтенного графа Жермона де Луилье, ибо только в сердце Франции встречаются такие затянутые полупрозрачной дымкой уголки (какие мне приводилось видеть только там!) с извилистым ручейком, протекающим через парк, с изящными дугами мостиков, где так хочется задержаться, любуясь плавающими в тихой заводи кувшинками со сверкающими на солнце стрекозами над ними и раскинутыми вокруг по уснувшей воде влажными листьями, даже с приютившейся на каком-нибудь из них забавной лягушкой.

Все дышало в парке графа де Луилье тишиной, отдохновением и близостью к природе, аллея, берущая начало от аккуратного шато на пригорке, спускалась к пруду, заботливо обсаженная выросшими за столетья деревьями и оттеняющими их величественность кустами роз, которые цвели здесь все лето, как бы олицетворяя собой жизнь человеческую, распускаясь из бутона королевами белого, красного, даже черного (гордость Жермона де Луилье!) цвета, насыщая воздух душистым

ароматом, чтобы, увядая затем, уступить место в живом букете красоты новым бутонам, нетерпеливо набухающим, жаждущим своей нежной пышности, столь чудесной и недолгой.

По этой аллее, вдыхая запахи благословенной земли, шли отец с сыном.

— Шапелль, — говорил граф Жермон де Луилье, вельможа старого закала, который сохранил с былых времен не только гордую осанку и аристократическую властность горбоносого гладко выбритого лица с двумя энергичными складками по углам губ, но и не утратил своего влияния при дворе сменяющихся королей, с чем приходилось считаться даже всесильному кардиналу Ришелье, — мне не хотелось встретить тебя словами упрека, — продолжал отец, — но сейчас, когда ты отдохнул от тряски в почтовой карете, я намерен объяснить тебе, почему вызвал тебя из Парижа.

— Я боялся вашего недомогания!

— Слава богу, я здоров, и если у меня есть боль, то вызвана она тревогой за тебя, родовитого дворянина и обещающего поэта. Я гордился и твоими стихами и твоим пребыванием в Сорбонне, так как образование — это храм знания, построенный на фундаменте воспитания, какое я тебе дал. Так почему же я слышу вдруг о попойках, кутежах, интрижках с женщинами, наконец, о дуэлях, в которых ты принимаешь участие?

— Клянусь, я не дрался ни разу!

— Вот как! — воскликнул вельможа, ударяя своей палкой о землю с такой силой, что едва не вонзил ее в дорожку. — Был только секундантом?

— Совершенно верно, отец! Только секундантом и у весьма порядочного человека.

— Вот как! — почти в гневе повторил отец. — И ты считаешь первого скандалиста Парижа столь порядочным человеком?

— Если вы имеете в виду моего друга Савиньона Сирано де Бержерака, то это именно так.

— Именно так! Я имею в виду господина Сирано де Бержерака, в котором мне не нравится все, начиная с его гасконского имени, присвоенного его отцом, отталкивающей внешности и кончая непристойным поведением в светском обществе! Эти непрекращающиеся дуэли, пренебрежение указом его величества, наконец, дерзкие стишки, порочащие дворянство, и даже комедия — пасквиль с осмеянием не только своего коллежа, но и свя-

щеннослужителей, даже самой Церкви, все это мне претит!

— Но, отец, вы же не читали его сочинений!

— Мне достаточно слышать о них, чтобы позаботиться о пресечении твоего общения с ним.

Шапелль поник головой, покорно слушая отца. А тот продолжал:

— Вот так! Для того я и вызвал тебя сюда.

— А как же Сорбонна, лекции, профессора, экзамены? — робко спросил сын, добавив: — Но я счастлив быть подле вас.

— Экзамены, степень бакалавра! Я подумал об этом! Вас там слишком сушат догмами господ профессоров, которые еще не очнулись от былого спора, сколько чертей можно уместить на острие иголки. Я не против вольнодумства, даже твоего Сирано, порицая лишь его поведение. Но торжество догм едва ли не хуже! Я убежден, что в наше время нужно мыслить шире, как умели еще в Древней Греции, а не засыхать на корню без поливки свежими идеями, без чего я не вырастил бы ни старых, ни новых сортов роз, которыми мы любуемся с тобой.

— Они прекрасны, как и ваши мысли, отец!

— Твой умасливающий тон убеждает меня в моей правоте. Но чтобы ты не потерял драгоценное для обогащения ума время, ты, гость в нашем имении, вместе с наиболее близкими тебе товарищами, которых я позаботился пригласить сюда, прослушаешь приватный курс лекций по философии, не той мертвечины, которой пичкают ваши головы в Сорбонне в угоду всяким мантиям, а живой, обогащающей философией, растущей из античного веселия ума.

— Кто же прочтет здесь такой курс лекций?

— О! Ты и твои друзья не пожалеете! Пьер Гассенди!

— Гассенди?

— Да, тот самый Гассенди, который после заведования коллежем в Дине, где защитил докторскую диссертацию, преподавал философию в Эксе, обогащая ее жизнелюбивыми идеями Эпикура и развивая их в части понимания сущности вещей, за что подвергся гонению со стороны отцов-иезуитов, что для меня служит высшей рекомендацией ему, и я рад, что он принял мое приглашение на прочтение лекций для тебя и твоих друзей.

— А вот, кажется, идет один из них! — воскликнул Шапелль. — Да это Жан Поклен! Как я рад, отец, твоему выбору!

— Да, это обещающий юноша! Когда-нибудь он станет видным артистом и сочинителем пьес, имея в виду его теперешнюю склонность к сценическому искусству, с чем я имел возможность познакомиться, прежде чем пригласить его учиться в нашем доме у самого Гассенди *.

К отцу с сыном впереди группы молодых людей быстрым шагом подошел стройный юноша с волосами до плеч, с выразительным, быстро меняющим выражение лицом.

Он раскланялся с графом Жермоном де Луилье, выказав ему все знаки высшего уважения в стиле и традициях испанских грандов, великолепно скопированных им, а потом обнялся с Шапеллем.

— Я так благодарен графу Жермону де Луилье за приглашение слушать Гассенди рядом с тобой, Шапелль, что не знаю, как это выразить.

— Стихами, друг мой, стихами в одной из задуманных тобой пьес, — посоветовал господин Жермон.

— О если бы мои стихи зазвучали когда-нибудь со сцены! — вздохнул юноша.

— Наблюдай жизнь и пиши о ней! — напутствовал мудрый вельможа и пошел принять выражение почтения и от остальных прибывших «студентов его приватного университета».

— Не подъезжает ли сам профессор? — забеспокоился хозяин.

— Мы обогнали карету, у которой чинили в дороге колесо. С нашей стороны это в высшей степени неучтиво, если в ней ехал сам Гассенди, — сказал Жан Поклен.

— В таком случае я выеду встречать его, — решил господин Жермон.

Однако этого не понадобилось. Пока закладывали его карету, во двор усадьбы въехал запыленный экипаж, доставивший опального профессора из Экса.

Господин Жермон и молодые люди спешили к карете, но Жан Поклен успел раньше других и, открыв ее

---

* Жан Батист Поклен получил впоследствии всемирную известность под псевдонимом Мольер. *(Прим. авт.)*

дверцу и опустив подножку, почтительно протянул руку приехавшему.

Пьер Гассенди, опираясь на нее, сошел с подножки.

Низенького роста, лет уже за сорок, склонный к полноте, в наглухо застегнутом камзоле с вертикальным рядом маленьких пуговок, доходящих до подбородка, с вдумчивым и удивительно спокойным бритым лицом, он снял шляпу перед встречающими, обнажив свой огромный лоб, увеличенный из-за отступивших на полголовы коротко стриженных волос, и приветливо и чуть застенчиво улыбнулся.

Граф Жермон де Луилье вышел вперед и произнес:

— Рады приветствовать вас, ваше преподобие господин профессор, в этом скромном замке, где нет ни башен, ни рвов, ни подъемных мостов, но где вас ожидают устремленные вверх, подобно башням, порывы ваших учеников, жаждущих глубоких, как крепостные рвы, знаний, к которым вы перебросите для них желанные мосты высокой мысли.

— Если вы, уважаемый граф Жермон де Луилье, удостаиваете меня чести читать здесь приватный курс философии, то курс риторики вам надлежало бы с вашим красноречием прочитать молодым людям самому, — почтительно поклонился радушному хозяину гонимый братьями-иезуитами вольнодумный философ.

Занятия начались на следующий день утром после общего завтрака, на котором присутствовал и сам господин Жермон со своей тоненькой, как тростиночка, болезненной супругой, графиней Розой де Луилье, которой муж с любовью посвящал выводимые им сорта удивительных роз.

Для учеников профессора в зале замка на высоких козлах был сооружен из длинных досок стол, у которого они могли писать и читать стоя. Профессор должен был занять место у козел с краю стола.

Но прежде чем он прошел на свое место, его задержал в дверях Шапелль.

— Ваше преподобие господин профессор, могу ли я просить вас об одном одолжении?

— Пожалуйста, сын мой, я рад быть вам полезным.

— Речь идет о непреклонности моего отца в отношении одного из моих друзей, который был бы счастлив слушать ваши лекции.

— Знаю ли я этого стремящегося к знанию юношу?

— Это Савиньон Сирано де Бержерак, окончивший коллеж де Бове в Париже.

— Бог мой! Даже в Эксе слышал о буйствах этого молодого человека, и я должен признаться, что разделяю мнение вашего почтенного родителя, ибо такой слушатель моего приватного курса лекций по философии едва ли поможет их усвоению остальными моими учениками.

Шапелль поник головой, потеряв всякую надежду переубедить своего отца с помощью Гассенди, на что он, как на последнюю надежду, рассчитывал.

Пыль на дороге взметнулась облачком и, превращаясь в длинный шлейф, долго оседала на землю. Одинокий всадник мчался галопом, не переходя на рысь. Лошадь покрылась разводами пены на взмокшей шерсти. Казалось, долго ей не выдержать.

Но цель была близка.

На всем скаку конь влетел на двор замка де Луилье, распугивая кур, разлетевшихся в разные стороны, как водяные брызги от брошенного в лужу камня.

Всадник соскочил с коня, почуявшего родную конюшню: конь принадлежал Шапеллю. Небрежно кинув подбежавшему слуге поводья, приехавший, не оглядываясь, бегом направился к крыльцу. Дорогу ему загородил другой слуга, но был отброшен в сторону столь неожиданным движением руки, что, оказавшись на земле, ничего не мог понять, тупо озираясь вокруг.

Порывисто открыв дверь, прибывший столкнулся лицом к лицу с хозяином замка.

— С кем имею честь? — спросил граф Жермон де Луилье.

Молодой человек в запыленной одежде вежливо поклонился.

— Друг вашего сына, ваше сиятельство, почтительно просит вызвать его, если почему-нибудь неудобно незваному гостю войти в дом.

— Именно так. Вызвать сына крайне неудобно, — заметил граф Жермон де Луилье, — хотя б у вас и были на то веские причины.

— Причина более чем веская, ваше сиятельство, поскольку вам, как никому другому, дорога дворянская честь.

— Вот как? У кого же она затронута, молодой человек?

— У меня, ваше сиятельство. Ваш сын должен немедленно мчаться со мной в Париж.

— Но это невозможно, заверяю вас.

— Это вопрос чести и моей и его. У меня нет другого секунданта.

— Опять дуэль, запрещенная королем и его высокопреосвященством господином кардиналом? Если не ошибаюсь, то я вижу перед собой неукротимого дуэлянта Сирано де Бержерака?

— Ваш слуга и друг вашего сына Шапелля Савиньон перед вами, ваше сиятельство, он вызван на дуэль юным герцогом Анжуйским, братом обольстительной Генриэтты, удочеренной его отцом. Он отозвался о ней неучтиво в моем присутствии, как о прижитой отцом на стороне, чем пробудил мой гнев, в ответ на что он вызвал меня на поединок. Мог ли я, судите сами, ваше сиятельство, не принять такого вызова и слыть трусом? А кроме Шапелля, секунданта мне не найти.

— Вот как! А не слишком ли часто вам приходится их искать, дорогой мой Сирано де Бержерак?

— Не чаще, чем меня вызывают на дуэль, ваше сиятельство.

— Я понимаю вашу готовность защищать свою честь и не слыть трусом, но Шапелля с вами не отпущу! Вот так!

— Ваше сиятельство, почтительно склоняя голову перед вами, я не рискнул бы вызвать вас на дуэль, но этот вызов придется принять вашему сыну, если он тотчас не поедет со мной, сохранив тем и нашу дружбу, и свою честь.

— Вы дерзки, молодой человек. В былое время я ответил бы вам согласием драться с вами, но сейчас я не позволю сделать это даже сыну, который слишком занят.

— Хотел бы я знать, что это за занятие?

— Охотно объясню, рассчитывая на ваше уважение к знаниям. Слыхали ль вы о философе Гассенди?

— Гассенди! Ну еще бы! Я преклоняюсь перед ним.

— Так вот, ради этого уважения к нему вам придется отложить все мысли о дуэлях. Гассенди читает лекции по философии Шапеллю и его друзьям.

— О, боже, что я слышу! Вы говорите не просто о занятиях, ваша светлость, а о предательстве, которого

я не мог ожидать от друга! Чтоб Шапелль смог втайне от меня учиться... у Гассенди!

— Скажу по правде, Бержерак, я вызвал сына с друзьями сюда, чтобы прервать ваше с ним знакомство. Вот так!

— О нет! Прервать знакомство, даже нашу дружбу могу лишь только я! Прошу простить меня, я невменяем и даже неучтив, но вынужден пройти в ваш дом. Я просто не могу, поверьте, остаться в стороне и не слушать мудрых лекций сторонника воззрений Демокрита! Не слушать вместе с Шапеллем!

— Я уступаю не столько силе, сколько благородной жажде знаний, — неожиданно сказал граф Жермон, что-то уловив в лице и голосе гостя. — С условием, что дуэли не будет, — добавил он.

— Конечно! Я извинюсь перед герцогом, ведь он тоже мой друг! — И с этими словами Сирано ворвался в зал.

Там несколько молодых людей стояли чинно за столом на козлах. Прилежные ученики Гассенди уже услышали шум и насторожились. Удивленный философ прервал начатую речь.

Ворвавшийся в зал молодой человек с огромным носом и обнаженной шпагой с размаху ударил ею по столу, разметав листки с записями ученого, и воскликнул:

— Граф Шапелль де Луилье! Ты был мне друг, а теперь я должен считать тебя предателем! Как мог ты позабыть обо мне и не позвать сюда, чтобы вместе слушать Гассенди, которому я спешу воздать хвалу и уважение.

— А как прикажете мне, неизвестный молодой человек, отнестись к столь грубому вашему вторжению и учиненной помехе в чтении моей лекции? К размахиванию вами шпагой?

— Шпага Бержерака направлена лишь против зла, предательства и лжи!

— Тогда позвольте, господин де Бержерак, выступить в защиту господина Шапелля. Перед началом лекции он просил меня включить и вас в число моих учеников.

— Тогда другое дело! Мы будем с ним по-прежнему дружить! Клянусь, еще не ошибалась моя шпага, готовая служить и вам!

— Вы не дослушали меня, молодой человек. Вашему другу Шапеллю, так просившему за вас, я ответил решительным отказом, ибо считаю, что знание и насилие, к которому вы постоянно прибегаете, несовместимы.

— Ах вот как, господин аббат! Вы оскорбили мою шпагу!

И Сирано взмахнул своим оружием, отчего листки на столе вновь разлетелись.

— Послушай, Савиньон! Неужели ты поднимешь сталь против каноника кафедрального собора в Эксе? — вскричал Жан Поклен, становясь между Сирано и Гассенди.

— Ах, это ты, Поклен! Ты тоже здесь? Нет, нет! Кюре я уважаю с детства, но сан, однако, для педанта не защита. И ты ведь одобрял мою комедию, и сам такую хотел написать.

— Комедия тогда остра, как шпага, когда представит жизнь. Но шпага, молодой человек, не заменит в жизни морали, — заметил Гассенди.

— Я прочту вам, если позволите, свою комедию, — предложил Сирано.

— Вы могли бы это сделать, мой поэт, если бы вам разрешили здесь остаться, — усмехнулся философ.

— Тогда, умоляю, примите меня в число своих учеников, профессор! — пылко и почти по-детски попросил Сирано. — Пусть и я буду среди счастливцев!

— Счастливцев? — повторил Гассенди, тронутый тоном Сирано, и задумался: «Что это за человек, дерзость которого равна искренности? Владелец замка стоит в дверях и ждет от философа мудрости. Как поступил бы здесь Сократ? Конечно, стал бы выявлять вопросами сокровенную суть человека. Вопросами?»

— Ну что ж, — вслух сказал Гассенди. — Уж если в этом вы видите счастье и готовы позабыть обо всем..

— Готов! Готов! — горячо прервал Сирано.

— То я могу вам предложить, как в древности, три испытания. Ответами вы сами все решите.

— Я решу!

— Извольте. Объясните, как вяжется со знанием угроза силы, с которой вы сюда пришли?

— Профессор, я поэт, позвольте отвечать в стихах.

Гассенди улыбнулся, взглянул на старого графа Жермона и заметил у того тоже легкую улыбку на губах: «Ну, если он забыл о поединке, то...» И граф кивнул.

— Я прошу простить, господин профессор, что отвечу вам заготовленным каламбуром. Ведь всякий экспромт тогда хорош, когда старательно подготовлен.

Гассенди пожал плечами.

— Отвечайте как сможете.

Сирано начал чуть печально, а кончил с усмешкой и даже с вызовом:

Увы, но полюбить
Нельзя нас сильно!
Увы, но полюбить
Нельзя насильно!

Кто жизни не любил,
Тот сердце нежил,
Кто в жизни не любил,
Тот сердцем не жил!

С умом коль ты живешь,
То знанье — сила!
С умом хоть наживешь
То знанье силой!

— Браво! — воскликнул Жан Поклен.

Гассенди внимательно посмотрел на Сирано.

— Я вижу, что ваш ответ вы действительно составили задолго до того, как вам задан мой вопрос. Но, видимо, у вас не так легко на душе, как легки ваши слова, которыми вы играете. Но коль скоро вы собираетесь «наживать знания» не только силой, но и умом, проявите его, поведайте, из чего состоит, на ваш взгляд, мир?

— Из атомов и пустоты, ваше преподобие господин профессор. Недавно сочинил оду о пустоте и начну с одной ее строчки:

Она вещественна бы вроде...
На чувства надо нам пенять!
Не все, что в мире происходит,
Способны мы пока понять.

Виденья, призраки, приметы —
Увы, невежества поток!
Нет ничего на божьем свете,
Чего бы ум понять не мог!

И снова задумался Гассенди над третьим вопросом. «Юноша видит не только сущность мироздания, но и мироощущение человека. А как он свяжет разум и чувства?» И он спросил об этом Сирано.

Сирано задумался на миг и ответил:

УМ И СЕРДЦЕ

Все пять сочетаний
Из двух только слов.

Вы спросите сами,
Ответ мой готов.

— Безумное сердце?
— Бездумны дела!
— А ум как без сердца?
— Исчадие зла!

— Как умное сердце?
— И лед и расчет!
— Сольется ум с сердцем?
— К добру приведет!

— Ума нет и сердца?
— То пропасть без дна!
Где в зной не согреться,
Где тень не видна!

Умом не поверить,
А сердцем вовек!
Но хуже нет зверя,
Чем зверь-человек!

— Не могу отказать в глубине и верности ваших суждений. Если бы вы всегда заменяли шпагу этой стороной своего ума, ни у кого не возникло бы сомнений в вашем участии в наших занятиях.

— Я вкладываю шпагу в ножны, дабы отныне внимать каждому вашему слову.

— Я смею надеяться, что граф Жермон де Луилье внемлет моей просьбе и дозволит другу его сына Сирано де Бержераку, прошедшему три испытания, быть в числе моих учеников, — обратился Гассенди к хозяину дома. — Хотя я допускаю, что не избежать с ним спора во имя истины.

Граф Жермон де Луилье уже оценил своего незваного гостя, отметив удивительное сочетание в нем болезненного честолюбия, быть может, рожденного его физическим недостатком, с несомненной одаренностью, и он увидел в нем не просто бретера, а чем-то глубоко несчастного человека, который хочет казаться другим. И он кратко сказал:

— Вольнодумец Сирано мне больше по душе, чем парижский скандалист.

— Ваша светлость! — воскликнул просиявший Сирано. — Дозвольте мне вручить вам свою шпагу.

— Сави́! Иди сюда, становись рядом со мной! — позвал Шапелль.

— А я по другую его руку встану! — заявил Жан Поклен, перебираясь с противоположного конца стола.

— Позволь мне воспользоваться твоими строчками о любви в моей комедии? — прошептал он.

— Я дам тебе еще, — пообещал Сирано.

Ученики подобрали с полу листки и заняли свои места. Гассенди переглянулся с графом Жермоном де Луилье и стал продолжать лекцию, словно она не прерывалась.

— Итак, Аристотель учил... *

Для Сирано развитие Пьером Гассенди учения его любимого Демокрита, одного из первых материалистов древности, стало откровением. И не было среди учеников в поместье графов де Луилье более страстного последователя Гассенди, чем неукротимый Сирано де Бержерак.

Жан Поклен старательно записывал рассыпаемые Сирано экспромты, восхищаясь его сарказмом и чувством формы.

По окончании приватного курса лекций Пьера Гассенди Шапелль и Сирано де Бержерак снова появились в Париже.

Как всегда в высшем свете, куда-то пропавший Сирано был уже позабыт, но его появление вернуло ему славу скандалиста с чуть ли не ежедневными злыми

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Свои взгляды философ-материалист Пьер Гассенди излагал, начиная с учения Аристотеля, особо подчеркивая его искажение святой католической церковью, сделав учение в таком виде своей догмой. Из учения великого древнегреческого философа в основу католического богословия была взята логика Аристотеля и та часть его учения, которая была переработана испанскими арабами и евреями, выродившись в схоластику, чему и обучали католические пастыри. Сама же основа аристотелевского учения, охватившего все виды современного ему знания, оставалась в тени. Важен был лишь принцип неподвижности логических построений, неизменности известного. Так, Аристотель, воспитатель Александра Македонского, колебавшийся между материализмом и идеализмом, создатель метафизики, с понятием неотделимости движущих сил от вещей, с «вечным и неподвижным умом», источником движения и неизменчивого бытия (перводвигатель), с представлением лучшей формы государства в виде монархии, аристократии и умеренной демократии, отрицавший тиранию и олигархию, был не нужен церкви. Но последовательный материалист Гассенди, изложив учение Аристотеля, как его знали в то время, безжалостно опровергал и высмеивал выращенные из его учения «догмы».

эпиграммами и удачными дуэлями, которым, казалось, нет конца.

Единственный человек, который услышал его извинения, был школьный товарищ Савиньона юный герцог Анжуйский.

Однако жажда любви молодого поэта так и осталась неутоленной, любовные стихи не сложились, горечь же от этого была глубоко запрятана под внешним видом весельчака, едкого и злоязычного скандалиста, хватающегося за шпагу, таясь рядом с детским чувством жалости к пойманной рыбке и ненависти к коту, сожравшему птенцов у беспечно свившей гнездо на земле птички.

### Глава шестая

## ЧЕСТЬ И КОВАРСТВО

*Мужество — это презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, грозящими нам. Вызывает их на бой и сокрушает.*

Л. Сенека

Король считал, что путь в высшее общество прокладывается шпагой, и прекрасно знал, что кардинал уважает тех, кого несет на своих крыльях Удача. К тому же искусники фехтования, к которым без достаточных оснований причислял себя и король, настоятельно требовались Франции, поскольку скорого окончания войны не предвиделось.

Ришелье отлично понимал, что преданность — дитя личной выгоды, потому был так же щедр к тем, кто верно служил ему, как беспощаден к врагам, впрочем, всегда готовый привлечь их на свою сторону.

Кардинальский дворец на площади, куда вливалась улица Сан-Оноре, стал пристанищем тех, кто добился милости всесильного кардинала, карабкаясь по лестнице благополучия.

В богатых залах толпились и пропахшие потом суровые воины с торчащими усами, в пыльных камзолах и грязных ботфортах, и искушенные в дворцовых интригах, надушенные аристократы в богатых одеждах с кружевными панталонами.

Грубая сила сочеталась здесь с искусством лести,

солдатские шутки с кичливостью и изяществом манер вельмож.

Среди этой пестрой толпы бесшумными тенями сновали скромные монахи с опущенными глазами, в сутанах, опоясанных вервием, при их отрешенности от всего суетного, мирского, излишне внимательные ко всему, что говорилось вокруг.

По настоятельному совету своего неизменного помощника и итальянского проныры Мазарини кардинал Ришелье решил пополнить ряды своих сторонников из числа отменных дуэлянтов. Ему надоели насмешки короля за вечерней шахматной игрой по поводу очередных побед мушкетеров над гвардейцами в поединках, которые не наказывались королем. Потому и потребовались теперь его высокопреосвященству сорвиголовы, не менее отважные, чем служили в роте мушкетеров.

Мазарини всегда угадывал желания кардинала и позаботился представить ему столь же бездумных, как и отчаянных, дворян, у которых владение шпагой заменяло все остальные забытые достоинства.

Немало бравых забияк, сознающих свои грешки, со страхом, какого не испытывали при скрещении шпаг, побывали в библиотеке среди книг и рыцарских доспехов, «представ пред орлиные очи рыцаря креста и шпаги» герцога Армана Жана дю Плесси, кардинала де Ришелье, который предлагал им выбор между безоглядным служением ему и Бастилией с маячившим за нею эшафотом.

Надо ли говорить, что эти его посетители без колебаний предпочитали шпагу в руках во славу кардинала и Франции, чем петлю на шее за нарушение указа короля.

И вот одним из таких посетителей, которому предстояло сделать подобный выбор, в кабинете Ришелье оказался однажды и самонадеянный юноша, снискавший славу необыкновенного дуэлянта, Савиньон Сирано де Бержерак, «бешеный гасконец», гордо прошедший сквозь толпу гвардейцев в приемной кардинала, уже знавших, что прокатываться на счет носа гасконца небезопасно, ибо он обладал не только этим «украшением» лица, но еще и ядовитым языком, так жалящим дворянское самолюбие, что вызов «оскорбителя» на дуэль становился необходимостью, а результат поединка при его неподражаемом владении шпагой предрешенным.

Мазарини считал, что приглашенный им на этот раз бретер может оказаться весьма полезным, скажем, в роте гасконцев господина де Карбон-де-Костел-Жалу, могущих достойно противостоять не столько враждебным Франции армиям испанцев или англичан, сколько мушкетерам капитана де Тревиля. Знал это и кардинал Ришелье.

Кардиналу Ришелье перевалило за пятьдесят, но он выглядел крепким, бодрым, полным энергии и властолюбия.

Сирано де Бержерак предстал перед всесильным кардиналом, оглядывая убранство кабинета, принадлежащего скорее ученому, чем государственному деятелю, он явственно ощущал на себе испытующий взгляд его высокопреосвященства, облаченного в кардинальскую мантию пурпурного цвета. Лицо первого министра Франции было еще красиво, с подкрученными усами и острой бородкой воина, на груди его красовалась золотая цепь с крестом.

— Сударь, — начал кардинал, опуская веки, — мне горестно напомнить вам, что нарушителям указа короля, запретившего дуэли, уготовано место в Бастилии.

— Воля короля и вашего высокопреосвященства для тех, кто готов отдать жизнь за Францию, священна.

— Не лучше ли отдать ее на поле брани, чем на эшафоте, сын мой? Будем откровенны. Сколько дуэлей на вашем счету?

— Сто, монсиньор, — вставил находившийся тут же, незаметный в серой сутане, но подражающий в своей внешности Ришелье, Мазарини.

— Сто? — переспросил кардинал, сверкнув глазами, что приводило в ужас многих, но не стоявшего перед ним бойца.

— На моем счету нет ни одного вызова на поединок, ваше высокопреосвященство, — сказал, гордо вскинув голову, Савиньон Сирано де Бержерак.

— Как так? Перед отцом церкви и первым министром короля вы утверждаете, что ни разу никого не вызвали на дуэль?

— Ни разу, ваша светлость!

— Но вы участвовали в поединках, нарушив тем волю короля!

— Разве его величеству более угодны трусы, бегающие от противника и пятнающие дворянскую честь? — вместо ответа с задором спросил Сирано.

— Не скрою, господин де Бержерак, дворянская честь дорога королю, как и мне, его слуге. А у вас, как мне кажется, репутация в отношении защиты чести завидная. По части же острословия я и сам убедился в том, задав вам, как припоминаю, несколько вопросов на выпускных экзаменах коллежа де Бове.

— Я готов служить Франции всем, на что способен, если вы того пожелаете, ваше высокопреосвященство.

— Кому, кому служить? — нахмурился кардинал. Он привык слышать готовность служить ему или хотя бы королю.

— Франции, ваше высокопреосвященство.

— Франции? Это похвально, — недовольно заметил кардинал. — Но служить надобно и Церкви, во имя которой десятилетиями льется кровь истинно верующих.

— Я готов стоять с ними рядом, пока мыслю и существую.

— Если не ошибаюсь, это формула философа Декарта?

— Совершенно так, ваше высокопреосвященство. Декарт считает, что мир познается через наши чувства, и душа человека в соединении с его телом позволяет ему обрести способность мыслить, а следовательно, и существовать.

— Не кажется ли вам, молодой человек, что наша святая вера учит нас иному?

— По мнению Декарта, слепая вера слепа, а он своим учением помогает людям прозреть.

— И вы придерживаетесь этого лжеучения?

— Не вполне, ваше высокопреосвященство, ибо Декарт не объясняет всего многообразия мира, но тем не менее я преисполнен уважения к этому титану мысли.

— А известно ли вам, что святейший престол осудил его творения?

— Я не святейший пастырь, чтобы осуждать Декарта, ваше высокопреосвященство, но уважать его считаю за честь.

— Считаете за честь?

— Как и его предшественника Томмазо Кампанеллу, который, будучи предан богу, учит людей жить справедливо и честно.

— Уж не «Город Солнца» ранил вашу буйную голову, которую вы готовы сложить за Францию?

— За Францию и за свои убеждения, ваша светлость.

— Не хотите ли вы также сказать, что убеждены в своей готовности защищать неугодного папе Декарта или Фому Кампанеллу, приговоренного за ересь к пожизненному заключению?

— Готов в равной степени защищать убеждения обоих этих мыслителей, как свои собственные.

— Тогда вам полезно узнать, сын мой, что на основании буллы святого папы римского, запретившего еретические книги Декарта, эти сочинения будут преданы огню сегодня ночью в присутствии истинных католиков вблизи Нельской башни.

— Это недопустимо, ваша светлость!

— Что вы хотите этим сказать? Уж не решитесь ли вы помешать этому благому делу?

— Сочту это своим святым долгом, ваше высокопреосвященство!

— Интересно, как вы это сделаете? — спросил кардинал с усмешкой, откидываясь на спинку кресла. — Готов биться об заклад, что это вам не удастся! Один против целой толпы?

— Вот видите, ваше высокопреосвященство, вы сами ставите меня в такое положение, когда я не смогу не принять ваш вызов, чтобы не слыть трусом!

— Мой вызов? — сделал удивленный вид кардинал.

— Конечно, ваша светлость! Вы только что предложили мне побиться с вами об заклад, что мне не защитить книг уважаемого мной мыслителя Декарта от какой-то там толпы.

— И вооруженных стражников, — добавил кардинал.

— И вооруженных стражников, — согласился Сирано.

— И против всех вы будете в одиночестве?

— Нет, почему же, ваша светлость! Со мной будет моя шпага!

— За меньшие проступки и дерзость я мог бы отправить вас в Бастилию, но я имел неосторожность обмолвиться, что готов побиться с вами об заклад, — сказал кардинал. — А мое слово — слово Председателя Королевского Совета, не уступает королевскому.

— Это известно всей Франции! И буду рад служить тому доказательством!

— Итак, бьемся об заклад? — со скрытым коварством спросил Ришелье. — Что же вы ставите, сударь?

— Свою голову, ваше высокопреосвященство, и завещание, передающее вам мою долю отцовского наследства.

— Благородно, но не густо! — с нескрываемой насмешкой произнес кардинал. — Или вы слишком высоко цените свою голову?

— Даром я ее не отдам, во всяком случае.

Кардинал, будучи в душе игроком, увлекся игрой и, предвидя ее исход, забавлялся с молодым человеком, как кошка с мышкой, подобно его любимому коту, который нацеливался прыгнуть ему на колени.

— В случае моего выигрыша, надо думать, ваша голова не достанется мне (за ненадобностью!), но ваша доля из отцовского наследства, переданная мной одному из монастырей, послужит богу. Так пишите, господин Сирано де Бержерак!

Мазарини по знаку кардинала подвинул Сирано письменные принадлежности. Сирано взял гусиное перо с пышным оперением и попробовал его остроту на язык.

— Пишите, — стал диктовать Ришелье. — «Если я, Сирано де Бержерак, гасконский дворянин, не смогу защитить от толпы сторонников святой католической церкви предназначенных для сожжения книг лжефилософа...»

— Простите, ваше высокопреосвященство, — почтительно перебил Сирано, — но закладную записку пишу я, и в ней недопустим паралогизм.

— Как? Как? — изумился кардинал.

— Противоречия и несоответствия, ваша светлость. Потому, с вашего позволения, поскольку я не могу отстаивать книг лжефилософа, я напишу «философа».

— Пишите хоть дьявола! — гневно воскликнул Ришелье. — У кого вы учились после коллежа де Бове?

— У замечательного философа Пьера Гассенди, ваше высокопреосвященство.

— У того, кто опровергает Аристотеля, опору теологов святой католической церкви?

— Именно у него.

— И все его ученики так же задиристы, как вы?

— Каждый по-своему, ваше высокопреосвященство, например, мой товарищ Жан Поклен под именем Мольера ставит свои едкие комедии.

— Скажи мне, кто твои учителя и товарищи, и я скажу, кто ты, — мудро заметил Ришелье, поморщась при упоминании Мольера.

Мазарини тем временем неслышно покинул кабинет и, войдя в приемную, поманил к себе одного из монахов в сутане с капюшоном на спине.

Он что-то пошептал ему, тот кивнул и, смиренно наклонив голову, стал пробираться к выходу через блестящую толпу посетителей, ждавших окончания важного разговора кардинала.

Мазарини вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь.

— Каюсь, ваше высокопреосвященство, — говорил меж тем Сирано, — некоторых из своих учителей мне пришлось высмеять в комедии «Проученный педант».

— Я знаком с этой вашей комедией, — с неожиданной улыбкой произнес Ришелье, — и мне хотелось бы, сын мой, направить ваш поэтический талант на более благородную стезю, если бы вы согласились остаться поэтом при мне.

— Никогда, ваша светлость! В ответ я прочту вам единственные строчки, которые в состоянии посвятить вам:

Как дикий конь, брыкаясь в поле,
Не станет слушать острых шпор,
Так не пойдет поэт в неволю,
Чтобы писать придворный вздор!

Кардинал вскипел и даже вскочил на ноги, сбросив с колен забравшегося туда кота:

— Довольно! Ваши несчетные дарования равны лишь вашей дерзости, которую вам придется защищать со шпагой в руке, как вы это делали в отношении других своих особенностей.

— Каждый из нас, ваше высокопреосвященство, в закладе, на который мы бьемся, будет защищать не столько свое лицо, сколько свою честь.

— Решусь заметить вам, молодой... слишком молодой человек, что язык ваш — враг ваш!

— Не спорю, враги появляются у меня из-за моего языка, но я усмиряю их. И так же намерен поступать и впредь.

— Усмиряете? — Кардинал сделал несколько шагов за столом. — Усмиряют и диких коней в поле, сколько бы они ни брыкались.

— Насколько я вас понял, ваша светлость, вам нужны не усмиренные, а бешеные кони, которым вы, как

наездник, всегда отдавали предпочтение. И я надеюсь на свои «копыта».

— Всякая надежда хороша, кроме самонадеянности. Но мы слишком отвлеклись, сын мой. Вы не подписали закладную записку.

— Извольте, я заканчиваю, рассчитывая получить такую же закладную записку от вас, ваша светлость, как от защитника высшей дворянской чести прославленного герцога Армана Жана дю Плесси, не только первого министра Франции, но и ее первого генералиссимуса, кардинала де Ришелье! Заклад так заклад!

— Я никогда не откажусь от своего слова, сказанного хотя бы лишь в присутствии одного Мазарини.

Мазарини, успевший вернуться, поклонился.

— Я поставил свою жизнь и отцовское завещание, теперь очередь за вами, ваша светлость! — сказал Сирано, передавая записку Ришелье.

— Надеюсь, этого перстня окажется достаточно? — И кардинал повертел на пальце тяжелый бриллиантовый перстень.

— Я не ношу перстней, не будучи слишком богатым, и не торгую бриллиантами, будучи слишком гордым. Против моей жизни и моего посмертного наследства я просил бы вас, ваше высокопреосвященство, поставить другую жизнь и пенсию.

Ришелье искренне удивился. Что за дьявол сидит в этом большеносом юнце, позволяющем себе так говорить с ним? Но он скрыл свое возмущение за каменным выражением лица.

— Вот как? — с притворным изумлением произнес он. — Чья же жизнь и чья пенсия вас настолько интересует, что вы готовы прозакладывать свою голову?

— Если я ее сохраню, не допустив глумления над творениями философа Декарта, то вы, ваше высокопреосвященство, воспользуетесь своим влиянием при папском дворе и испросите у святейшего папы Урбана VIII освобождения из темницы предшественника Декарта Томмазо Кампанеллы, проведшего там почти тридцать лет.

— Вы с ума сошли, Сирано де Бержерак! Чтобы кардинал Ришелье, посвятивший себя борьбе с бунтарями, стал вызволять из тюрьмы осужденного на пожизненное заключение монаха, написавшего там трактат «Город Солнца»?

— И еще десяток трактатов по философии, медици-

не, политике, астрономии, а также канцоны, мадригалы и сонеты!

— Одумайтесь, Сирано! О чем вы просите?

— Я вовсе не прошу, ваша светлость. Я называю вашу ставку против своей, если вам угодно будет на нее согласиться.

Кардинал вышел из-за стола и стал расхаживать по кабинету.

Монах, получивший распоряжение Мазарини, прошел от дворца кардинала мимо Лувра, перебрался по мосту на другую сторону Сены, где возвышалась Нельская башня с воротами, и остановился около людей, приготовлявших по приказу кардинала по случаю дня святого Эльма вечерний костер перед нею, огонь которого должен отразиться в реке и быть видным из окон королевского дворца, позабавив тем короля и придворных.

Другой монах, руководивший приготовлениями к этой ночной иллюминации, выслушав переданное ему распоряжение, кивнул и куда-то поспешил, отдав оставшимся распоряжения.

Кардинал же не мог прийти в себя от упоминания о Кампанелле.

— Город Солнца! — гневно воскликнул он. — Вот чему учил вас этот Гассенди! Недаром преследуют его братья-иезуиты! Город, где будто бы не будет ни знатности, ни собственности! Все общее! Даже... дети.

— Они принадлежат государству и воспитываются им. Во главе же государства стоят ученые и священнослужители, как и у нас теперь во Франции, где в лице вашего высокопреосвященства воплощено и то и другое. Позволю себе напомнить, что Кампанелла попал в тюрьму тридцать лет назад за организацию заговора против испанского владычества в Южной Италии, безусловно, вам враждебного. И вы могли бы напомнить святейшему папе Урбану VIII, что, предоставив Кампанелле свободу, он обретет знатнейшего астролога.

Ришелье задумался.

— Астролога? — переспросил он. — А его не винит за это католическая церковь?

— Католическая церковь не может преследовать

астрологов, если они пользовались вниманием не только вашего высокопреосвященства, но и святого папы Павла V и самого Урбана VIII.

— Однако вы осведомлены о многом, слишком о многом, — сердито заметил Ришелье. — Пойдет ли это вам на пользу? Впрочем, пишите, Мазарини, — приказал он.

Тот устроился у стола, взяв у Сирано гусиное перо.

— Боюсь, моя закладная записка не доставит удовольствия испанскому королю, — вслух размышлял Ришелье.

— Клянусь вручить ее только вам, ваше высокопреосвященство. И ради одного этого остаться в живых!

— «Уполномочиваю гвардейца гасконской роты королевской гвардии господина Савиньона Сирано де Бержерака оказать отцу Фоме Кампанелле, по прибытии его во Францию, в чем содействовать ему, гостеприимство от имени французского правительства, заверив отца Фому, что он получит достойное его убежище, уважение...»

— И пенсию, — добавил Сирано.

— И пенсию, — многозначительно повторил Ришелье.

Мазарини передал ему бумагу, и кардинал поставил под нею размашистую подпись.

Вручив записку Сирано, он движением ладони отпустил его.

Сирано почтительно раскланялся и направился к двери, стараясь не задеть концом своей длинной шпаги за столики с книгами и развернутыми картами.

Уже вслед ему кардинал заметил:

— Помните, господин де Бержерак, что в гасконскую роту королевской гвардии принимают только живых.

Сирано обернулся.

— Обещаю, ваше высокопреосвященство, после усмирения толпы у костра близ Нельской башни вступить в роту благородного господина де Карбон-де-Кастель-Жалу, благодаря вас за оказанную мне честь.

Ришелье, сидя в кресле, величественно наклонил голову, пряча злорадную усмешку.

Когда Сирано вышел, Ришелье деловито сказал Мазарини:

— Постарайтесь, друг мой, чтобы толпа у костра близ Нельских ворот была не меньше...

— ...ста человек, — подхватил Мазарини. — Я уже распорядился.

— Вы, как всегда, угадываете мои мысли!

— Даже сам сатана не поможет ему этой ночью, — мрачно заверил Мазарини.

— Да, да! И позаботьтесь, чтобы записку взяли там... Завтра она должна лежать на моем столе.

Пожелание кардинала Ришелье исполнилось. На другой день утром сгоряча написанная им записка действительно оказалась на его столе.

### Глава седьмая

## КОСТЕР У НЕЛЬСКОЙ БАШНИ

*Безумству храбрых поем мы славу!..*
М. Горький

Не надо думать, что двадцатилетний Сирано де Бержерак покидал кардинальский дворец победителем. Напротив, мгновенный подъем духа, овладевший им перед лицом могущественного кардинала, сменился упадком, и он горько размышлял о своем дерзком отказе от благ приближенного к Ришелье поэта и о рискованном мальчишеском споре с ним об заклад, объясняемых непомерной гордостью, которая скорее прикрывала его слабость, нежели отражала силу. Его гордыня заставила его отказаться от обеспеченности придворного поэта, оставшись вместе со своей свободой творчества в прежней бедности, не оставляющей ему надежд ни на удачу, ни на любовь.

Франция XVII века виделась Савиньону совсем не такой, какой выглядит из нашего времени, триста с лишним лет спустя. Быть может, великий романист, блистательный Дюма-отец, остривший, что для него «история — гвоздь, на который он вешает свою картину», живописуя на ней дворцовые интриги, любовные похождения и скрещенные шпаги, все-таки ближе был к пониманию молодым Сирано де Бержераком его времени, хотя тот и ощущал чутьем духовную пустоту вокруг себя, клокотавшую несправедливостью, ханжеством, непрерывной борьбой французов против французов, или сводящих между собой мелкие счеты, или защищающих чуждые им интересы враждующих вельмож, а то и на-

правляемых друг на друга пастырями церкви, принуждающими молиться лишь по-своему.

В ту пору Сирано де Бержерак никак не предвидел, что проложит когда-нибудь путь великим французским гуманистам, таким, как Жан-Жак Руссо, Вольтер, или даже живший до него Рабле, подготовившим умы людей к вулкану французской революции.

У Савиньона же даже его детское воспоминание о поджоге отцовского шато никак не связывалось с полыхавшими по всей Франции крестьянскими бунтами, жестоко подавляемыми тем же Ришелье. Зная лишь философов древности и преклоняясь перед современными ему мыслителями — Кампанеллой, Декартом, Гассенди, в отличие от них он становился вольнодумцем, идя дальше проповедуемой Кампанеллой терпимости к любой религии или попытки Декарта при отрицании слепой веры доказать существование бога математически. Сирано, опираясь на материализм Демокрита, развитый Гассенди, готов был вообще отказаться от веры в бога, допускающего на Земле торжество зла, жестокости, изуверства и преступлений, допускаемых сидящими на святом престоле папами. Некоторые из них причастны были и к отравлению неугодных, к ложным обвинениям в ереси, а один раз даже к скандальному обману, когда после смерти очередного папы выяснилось, что он был... женщиной, которой доступ даже в священники был закрыт. Причастны многие папы и к тягчайшим злодеяниям, творимым от их имени святой инквизицией. И бог их, представителем которого, как наместники святого Петра, они себя провозглашали, никогда не приходил на помощь страждущим и несчастным, обещая им избавление от всех бед лишь в загробной жизни. И велись без конца под сенью креста истребительные войны, даже «столетние», несущие смерть, опустошение, горе и бесправие людям.

Сознание всего этого пока лишь зрело в уме отважного дуэлянта, воспринимавшего жизнь с одной лишь стороны, считая, что шпага, которой он виртуозно владел, решает все. Однако он с горечью подумал, что его успехи могут быть названы «удачами неудачника», да, по существу своему, они и были таковыми.

Трезво размышляя, он уже понимал, что вечером, когда враги в неистовой толпе накинутся на него со всех сторон, сталь едва ли окажется лучше перышка.

Шагая по Парижу карет с гербами на дверцах, хра-

пящих, цокающих подковами запряженных цугом лошадей, надменных всадников в шляпах с перьями и подобострастно кланяющихся простолюдинов с унылыми, сытыми или веселыми лицами, толстых, переваливающихся с ноги на ногу матрон и куда-то спешащих хорошеньких парижанок, Савиньон, погруженный в себя, ничего этого не замечал, направляясь прямо в былой свой коллеж, где нашел экзекутора и впервые по собственной воле провел вместе с ним три часа в свободном, к счастью, карцере, после чего уснул мертвым сном.

Кетсаль-Августин еле растормошил его, когда начало смеркаться, заставив проделать упражнения на быстроту движений.

Карета кардинала, запряженная бешеными лошадьми, обогнала Савиньона. Кардинал спешил в Лувр сообщить королю важную весть. Но она не касалась, конечно, ведущихся военных действий, отраженных на разложенных в кабинете Ришелье картах, бесед с послами союзных по Тридцатилетней (как впоследствии ее назвали) войне с обескровленными ею странами, в первую очередь с Испанией и Габсбургской династией. Дело на этот раз для короля было куда более важное, способное привести его величество в хорошее расположение духа, которого он со вчерашнего проигрыша в карты пятисот пистолей был лишен, встретив приехавшего в неурочный час кардинала с самым хмурым видом.

Несмотря на стремление короля Людовика XIII выглядеть всегда величественно, все же ему не удавалось скрыть природной пронырливости и своих порывистых движений, чем-то роднивших его с известным нам уже крысоподобным маркизом де Шампань. Выставленная вперед голова с топорщащимися подкрученными усами, тяжелая бурбонская нижняя часть лица, скрашенная остренькой бородкой, создавали впечатление, что королю все время надо что-то выискивать для себя особо приятное, могущее доставить удовольствие.

— Ваше величество, хочу напомнить вам, что сегодня день святого Эльма, — обратился к нему со смиренным, но многозначительным выражением в голосе кардинал Ришелье.

— Да заступится он за нас перед всевышним, — пробормотал король, добавив: — В нашей стране мы

чтим его наравне со справедливостью, о которой печемся.

— Это известно всей Франции, и потому я и решился сегодня, ваше величество, предоставить вам удовольствие.

— Удовольствие? — насторожился король, поведя выступающим вперед носом. — Охота, бал или что-нибудь менее людное? — со скрытым значением произнес он, улыбаясь и пряча лукавый взор.

— Зрелище, ваше величество! Еще вчера я приказал привезти к Нельской башне и сложить напротив вашего дворца изрядный запас топлива, и сегодня, когда стемнеет, там будет разложен великолепный костер, который волшебно отразится в Сене и даст возможность и вам, ваше величество, и ее величеству, прекраснейшей из королев, и всем вашим приближенным получить наслаждение от редкой, невиданной дотоле иллюминации.

— Как это вам пришло в голову, Ришелье? Вы радуете меня! Я уже думал, что умру от скуки, вы ведь знаете, как она мучает меня!

— Огни, ваше величество, вспыхивающие в грозовые дни божьего гнева на устремленных в небо остриях церкви святого Эльма, навели меня на мысль, что день этого святого, даже вдали от его церкви, надо отмечать огнем. И это будет красиво!

Король оживился:

— Вы истинно государственный человек, кардинал! Ваши предлагаемые мне решения всегда проникнуты высшей мудростью. Мы с вами будем вместе наблюдать за вашей выдумкой, сидя у окна за шахматным столиком. Вчера я так досадно проигрался в карты!

— Вам, несомненно, удастся взять реванш за шахматной доской, ибо я не знаю другого такого мастера этой игры, как ваше величество.

— Можно подумать, что я никогда вам не проигрываю.

— Только из снисхождения, ваше величество.

— В таком случае мы разыграем испанскую партию, хотя вы и терпеть не можете испанского короля.

— Моя задача освободить вас от этих докучливых политических забот, ваше величество.

— Хорошо, кардинал! Я сам объявлю придворным о предстоящем зрелище, уготовленном нам вашей заботой. Пришлите ко мне церемониймейстера двора.

Кардинал величественно поклонился, но не двинулся с места. Лишь когда какой-то вельможа стал раскланиваться с ним, он послал его, как лакея, за церемоний-мейстером.

Король усмехнулся. Ему было приятно хоть чем-нибудь досадить кардиналу.

К вечеру по случаю иллюминации, посвященной святому Эльму, о чем прошел слух по всему Парижу, обитатели Лувра во главе с королем и королевой Анной увидели, что к берегу Сены стали съезжаться богатые экипажи, а в их числе карета с графским гербом на дверцах, в окошке которой виднелось прелестное, уже знакомое нам личико графини с кокетливой родинкой на щеке.

Ее уже ждал сразу при ее появлении спешившийся всадник, по-крысиному ловко юркнувший к открытому окну остановившейся кареты.

— Что нового у вас, маркиз? — жеманно спросила графиня де Ла Морлиер, ответив на церемонное приветствие своего приближенного. — Вы перестали баловать меня пикантными подробностями, а это грозит вам потерей моего расположения.

— Упаси бог, графиня! Лучше мне попасть в клетку смертника. Но я сумею увильнуть от этого, поскольку у меня припасено нечто особенное!

— Что? Что? — почти высунулась из окна прелестная графиня. — Неужели она и он?.. Ах, это просто ужас!

— О нет, мадам! Еще пикантнее!

— Не мучьте меня, я сгораю от нетерпенья!

— Сгорать будете не вы, а нечто совсем другое, графиня!

— Это связано как-нибудь со святым Эльмом? Говорите же!

— Огни святого Эльма возгораются в дни божьего гнева, громыхающего в небесах. Сегодня можно ждать грома.

— Боже мой! Гром в ясном небе? Мне страшно.

— На этот раз гроза будет особенной. Не в небе, а на земле.

— Может быть, здесь небезопасно и нам лучше уехать?

— Вас отделит от нее река! На том берегу, мадам, произойдет это пикантное, я бы сказал, событие,

— Как? У Нельских ворот, у всех на виду? Срам какой! Вы просто невозможны, маркиз.

— Костер, разложенный для всеобщего удовольствия, будет не простым.

— Ну, ясно не простым. В честь святого Эльма. Я уже поминала его в своей утренней молитве.

— На костре будут сожжены книги осужденного святейшим папой Декарта.

— А кто это такой? Еретик? Так почему же его самого не сожгут на этом костре?

— Он успел укрыться в Нидерландах, мадам.

— Какая жалость! Я никогда не видела сожжения людей! Говорят, они кричат. От одной только мысли об этом у меня мурашки бегут по спине.

— Я хотел бы быть одним из этих «мурашек».

— Оставьте вы! У меня замирает сердце!

— Вашему столь дорогому мне сердцу еще придется замереть сегодня, мадам.

— Неужели? Значит, его все-таки поймают и сожгут?

— Если не его, то кое-кого другого вам придется помянуть сегодня в своей вечерней молитве. Вы видите эту карету?

— Конечно! Кто в ней?

— Баронесса де Невильет. Она явилась ради него...

— Боже мой! Она же стара, у нее столько морщин. И все-таки ради кого-то примчалась сюда? Поистине маленькая собачка до старости щенок!

— Графиня! Вы так же прекрасны, как злы! Она приехала ради своего крестника.

— Вот как? Кто это?

— Если вы помните, на вечере у нее нас забавлял стишками молодой скандалист, который потом отделал шпагой бедного графа де Вальвера.

— Этот, с безобразным носом? Вероятно, он не пользуется успехом у дам. И вряд ли может иметь отношение к чему-нибудь пикантному.

— Если не считать пикантным поединок одного человека со многими.

— Сразу несколько поединков! И на глазах у короля, их запретившего! Это действительно пикантно! — И дама залилась звонким хохотом. — Какой же вы шутник, однако! Проказник! — И она ударила веером маркиза де Шампаня по руке, которой он облокотился на окно кареты.

— Король запретил поединки между двумя дворянами, а мы с вами вместе с королем из Лувра посмотрим, как Сирано будет отбиваться от целой толпы простолюдинов, истинных католиков, возмущенных его намерением вопреки воле святейшего папы помешать сожжению книг.

Именно так рассуждал и король Людовик XIII, когда после дебюта начатой с кардиналом шахматной партии тот сообщил ему о дерзком желании Сирано вмешаться в святое дело, порученное монахам, весь день собиравшим по монастырям книги Декарта.

— Конечно, кардинал, мы с вами запрещали только поединки чести между двумя противниками, — говорил король, — но отнюдь не все виды сражений, иначе нам пришлось бы капитулировать даже перед Испанией.

— Это так же не может случиться, ваше величество, как победа одного безумца над ста противниками.

— Но в шахматах, ваше преосвященство, я люблю пожертвовать вам все фигуры, чтобы последней поставить мат.

— Но перед костром у господина Сирано де Бержерака не будет ни одной фигуры для жертв, кроме самого себя.

— Посмотрим, посмотрим, — нетерпеливо завертел выставленной вперед головой король. — Не пора ли закрывать Нельские ворота и зажигать костер?

— Все придет в свое время, если господин Сирано де Бержерак не опомнится и не опоздает.

— Вы допускаете, что он может струсить?

— Это его единственный путь к спасению, но ведущий, увы, в Бастилию, за стократное нарушение вашего запрета на дуэли, ваше величество.

— Неужели стократного! Ну и молодец! — не удержался король от возгласа. — Кстати, не ваши ли это монахи выстроились чуть ли не солдатским строем перед сваленными дровами и хворостом?

— У каждого из них к груди прижато по два-три тома сочинений Декарта.

— Полили ли костер маслом?

— Уже зажгли факелы, ваше величество.

— Кажется, я прозевал вам фигуру, — рассердился король. — Вы заговорили меня. Впрочем, не Сирано ли это там между костром и толпой монахов? Вооруженный против безоружных! Где ж тут равенство сил?

— Но за монахами вы можете увидеть толпу истинных католиков. У них найдется чем сломать даже лучшую шпагу.

— Надеюсь, и шею еретика?

— Да, — задумчиво заметил кардинал, — его действия можно расценить и как еретические, направленные против буллы папы.

Монахи меж тем подошли к просмоленным поленьям и предусмотрительно политому маслом хворосту и подожгли костер.

Пламя взвилось к небу, вызвав вопль восторга у всех, кто находился по обе стороны Сены.

Огонь отразился в воде и заплясал бегущими отсветами и бликами, словно на водную твердь рассыпали воз бриллиантов.

Осьетились мрачные контуры Нельской башни с запертыми на ночь воротами.

— Какая прелесть! — воскликнула графиня де Ла Морлиер. — Маркиз, вы заслуживаете награды!

— Зрелище еще впереди, — пообещал маркиз.

И тогда между столпившимися монахами и костром возникла одинокая фигура стройного, совсем еще юного человека.

Не обнажая шпаги, он громко крикнул так, что его было слышно не только на обоих берегах Сены, но и во дворце с открытыми окнами:

— Всякий, кто приблизится к костру бросать в него книги Декарта, сам окажется в костре, познав гнев огня. Это говорю я, Сирано де Бержерак. Берегитесь!

Замешательство среди монахов было недолгим.

Первый из них, творя крестное знамение и шепча молитвы, приблизился к костру, неся книгу в вытянутой руке.

Никто не мог дать себе отчета, каким образом он вдруг взмахнул своей сутаной, указывая ногами на звезды, и полетел в трескучее пламя костра.

Раздался поросячий визг, и через мгновение живой факел ринулся от костра к группе монахов.

— Какая прелесть! — снова воскликнула графиня с родинкой. — Ведь он, наверное, обжегся, бедненький!

— Кто следующий? — крикнул Сирано.

— Вы заметили, кардинал, он не обнажает шпаги.

— Пока, ваше величество. Я послал туда стражников.

— Тогда другое дело! — И король шмыгнул носом.

Меж тем группа монахов как по команде пришла в движение. Однако нельзя даже передать быстроту происходившего. Руки Сирано от неповторимых по молниеносности движений, да и сам он, мечущийся исчезающим призраком, может быть из-за капризов освещения, становились порой невидимыми, но сутаны, задранные ноги дерзнувших приблизиться к костру монахов мелькали в воздухе, а горящие факелы, вырываясь из костра, отчетливо видные, разбегались от «огня святого Эльма».

В отсветах его пламени виднелись разбросанные по земле книги в кожаных переплетах.

— Несчастные монахи, — заметил король.

— Они страдают за веру, — ответил кардинал.

Тогда на Сирано двинулась толпа, кстати сказать, наспех набранная монахами по трактирам.

Сирано так и не обнажил шпаги, но, если бы индеец Августин мог видеть, как он расправлялся с полупьяными погромщиками, привыкшими к тому, чтобы их боялись, и понятия не имевшими о тех невероятных приемах Сынов Солнца, которые освоил Сирано, угощая каждого, кто приближался к нему, ударами «живой кувалды» в самые болевые места.

Через некоторое время земля была усеяна корчащимися людьми, и берег Сены огласился криками и стонами. Но пьянчужки продолжали лезть на Сирано, отбрасываемые его ударами, падали на уже лежащих.

А над поверженными в позе ягуара, готового к прыжку, стоял ученик индейца из племени майя, готовый отразить любое нападение.

Но теперь в дело вступили стражники со шпагами.

Пришлось и Сирано выхватить шпагу.

— Кажется, дело дошло до настоящего сражения, — заметил король.

— Они убьют его! Столько на одного! — воскликнула графиня де Ла Морлиер.

Баронесса де Невильет, затаив дыхание следившая за всем происходящим, упала в обморок.

В обморок упали и еще две дамы из окружения королевы, но, убедившись, что никто не спешит к ним

на помощь, пришли в себя и бросились снова к окну, где их места были уже заняты другими дамами.

Стражники никак не могли сблизиться с Сирано, им мешали преграждавшие путь стонущие и корчащиеся от боли тела пьянчуг.

Но Сирано сам бросился на противников, и тут пошел в дело его излюбленный прием. В воздух, сверкая в отблесках костра, полетели одна за другой шпаги стражников, которые сразу же обращались в бегство. Пытавшихся оказать ему сопротивление офицеров Сирано неуловимым движением своей разящей шпаги ранил (хотя были и убитые!), отражая с непостижимой сноровкой все направленные на него удары. Впрочем, неверно думать, что он не получил ни одной раны. Камзол его покрылся кровавыми пятнами, но он продолжал биться с противниками, превосходя их в сноровке боя в несколько раз. Если говорить, что бой был неравным, то неравным он был обоюдно. Стражников было больше, но Сирано де Бержерак владел шпагой как никто из них.

В конце концов, исход боя решила паника.

Кто-то крикнул, что сам господь вложил в руку безумца его шпагу, ибо в булле папы не сказано о сожжении книг Декарта.

Монахи стали подбирать и уносить книги, не стараясь больше их сжечь, стражники занялись убитыми и ранеными, число которых точно так и не было установлено, доходя в общей сложности до нескольких десятков, если считать и поверженных пьянчуг.

Полупьяная толпа разбежалась, стражники удалились.

Сирано остался один, готовый отразить новую попытку штурмовать костер святого Эльма.

— Это необыкновенно, маркиз! Я думала, что умру от волнения! — вздохнула графиня с родинкой. — Но я смертельно устала, будто сама билась с этими ничтожествами. Садитесь в карету и отвезите меня домой. Граф уехал с поручением его высокопреосвященства в армию. Садитесь, пока я не передумала и не пригласила этого неистового демона, который, быть может, кое в чем и вам не уступит.

— Как можно, графиня! Уж позвольте мне не допустить до вашей обворожительной родинки его клюв.

— Но все-таки вам придется привезти его ко мне на

следующий же раут. Он совсем недурной поэт. Пока не ревнуйте. Я просто хочу посмотреть на него вблизи.

— Предпочел, чтобы так вы смотрели лишь на меня.

С этими словами маркиз юркнул в карету, поручив свою лошадь слуге графини.

Карета графини поехала следом за каретой баронессы де Невильет, которая после обморока наконец пришла в себя.

Ришелье смешал шахматные фигуры и сказал королю:

— Увы, ваше величество, я проиграл не только вам.

— Но каков молодец! — усмехнулся король. — Впрочем, и мат вы получили изящный.

Невыспавшийся кардинал, войдя в свой кабинет, увидел на столе свою закладную записку, как он того пожелал накануне.

Ее положил Сирано в изорванном и покрытом пятнами камзоле.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

*Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком...*

Д. Дидро

Сражение Сирано де Бержерака со ста противниками кажется невероятным и выглядит легендой. Но ознакомление с подлинными документами и утверждениями как современников Сирано, так и более поздних исследователей, казалось бы, снимало сомнения. Такая невероятная битва действительно имела место у Нельской башни в Париже, и к ней следует отнестись не как к вымыслу, а как к подлинному событию. Расхождения между свидетельствами Э. Ростана в XIX веке и Николая Лебре, современника и друга Сирано, лишь в названном числе убитых и раненых в этой небывалой битве. Ростан допускал, что убитых было восемь, а раненых семнадцать. Николай же Лебре говорил лишь об одном убитом, не называя числа раненых.

Однако во всех свидетельствах приводится смехотворный повод вооруженного столкновения с отрядом в сто человек — видите ли, Сирано хотел заступиться за

своего пьянчужку-приятеля. Надо ли говорить, что такой пьянчужка вряд ли собрал бы против себя целых сто человек. Нет, дело было в ином, что тщательно скрывалось и что интересно было бы понять. Кстати, трудно представить себе и механизм подобного сражения — один против ста!

И здесь на помощь приходит воображение, которое, основываясь на сопоставлении различных совпадений и неясностей, позволяет предложить нарисованную в романе картину, дающую ответ на все недоуменные вопросы. Очевидно, действительность была близка к самому фантастическому вымыслу.

# Часть третья

# КОЛОКОЛ СОЛНЦА

*Власть Зла сразить Мечтой я в мир пришел!*

Кампанелла

## Глава первая

## УДАЧИ НЕУДАЧНИКА

*Служить бы рад,*
*Прислуживаться тошно.*

А. С. Грибоедов

В этот день парижане были удивлены странным прохожим, нетвердой походкой пересекавшим весь город, его видели и близ кардинальского дворца, откуда он, видимо, вышел, и на улице Сан-Оноре, и на набережной Железного Лома, и на улице Могильщиков, бледного от потери крови, в изодранном камзоле, покрытом темными пятнами, слегка покачивающимся от усталости (или от непомерного с утра возлияния, что было неверно!). Сопровождаемый любопытными взглядами, он привлек к себе внимание и городских стражников, заподозривших в нем одного из тех неудачников, которые, потеряв веру во все на свете, начали промышлять разбоем, однако какая-то бумага, показанная стражам порядка, вызвала у них к прохожему столько же уважения, сколько и удивления.

Надо ли говорить, что этим прохожим был наш Савиньон Сирано де Бержерак, получивший от кардинала Ришелье подтвержденное им поручение, суть которого была изложена в закладной записке, в дополнение к которой он получил для доставки в Рим и личное послание кардинала Ришелье к папе Урбану VIII. Ради этого Сирано и пошел на свой невероятный, неправдоподобный, но вошедший в историю как действительно совершенный (правда, якобы по другому, нелепому и незначительному, поводу!) подвиг, ставший легендой, вызывая спустя столетия улыбку.

Однако Савиньону тогда было не до улыбок. Имея в кармане записку кардинала и его письмо в Ватикан, Сирано сознавал, что обязан вступить в роту гасконских гвардейцев капитана де Карбон-де Кастель-Жалу, а для этого ему надлежало явиться в полк на лошади, в полном обмундировании и надлежащим образом вооруженным (по традиции тех времен!), а стоило все это по меньшей мере восемьсот, а то и тысячу ливров. В то же время в кармане у Сирано была та самая пустота, которой он посвятил свою «Оду о пустоте».

Вся надежда оставалась на отца, отношения с которым, говоря уклончиво, у него не сложились, будучи взаимно неприязненными. Скупой отец уже давно отказал ему в деньгах, ссылаясь на то, что в коллеже Савиньон имеет стипендию, а после коллежа должен сам зарабатывать себе на жизнь, поскольку не избрал, по совету отца, подобно старшему брату, духовной карьеры. Савиньон не подчинился и не посвятил себя церкви, как не пошел и в услужение кому бы то ни было, надеясь, что первая его комедия «Проученный педант», принятая к постановке в одном из парижских театров, принесет ему и славу и деньги. На деле получилось совсем иначе. И он был не менее беден, чем крестьянин, которого вышвырнул с земли землевладелец, отказав в аренде.

Д. Дидро скажет впоследствии: «Чем больше человек говорит, тем меньше он знает». О Сирано можно было бы заметить, что чем меньше у него было оснований для хорошего настроения, тем больше владела им веселость, непомерная гордыня и готовность к поединкам. Все это скорее всего скрывало внутренний мир неудачника, ибо даже легендарная шпага не привела его к обильному милостями двору, и если он и был принят в некоторых парижских гостиных, то, пожалуй, как за-

бавный персонаж «с накладным носом», способный острым словом или скандалом развлечь скучающее общество. И все-таки Савиньон продолжал надевать на себя одолженную у друга Шапелля одежду и снова окунаться в осмеянную им пустоту парижского общества.

Эти противоречия терзали Савиньона, который, однако, отверг даже предложение Ришелье остаться при нем дворцовым поэтом. Пожалуй, во всех этих несоответствиях и была необычная сущность Савиньона. И теперь ему не оставалось ничего другого, как явиться к отцу с повинной, ни перед кем не склонявшейся головой. И сделать это он должен был уже не для себя (что он с презрением отверг бы!), а ради освобождения томящегося в темнице любимого философа.

Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак скупо жил на ренту с капитала, вырученного от продажи имения Мовьер, поскольку его деятельность нотариуса, имеющего звание королевского писца, на новом месте не принесла ему желанного дохода. Обыватели не приняли пришлого чужака, предпочитая своих старых нотариусов. Так что ни землевладение, ни нотариальное дело королевского писца, ни переезд в Париж не принесли господину Абелю успеха и не приблизили его к королевскому двору, что осталось его болезненной мечтой.

Потому семья господина Абеля ютилась в убогой квартире, в которую вели показавшиеся Савиньону особенно грязными и обветшалыми ступени (ведь он только что сошел с мраморной лестницы кардинальского дворца!).

В первой же тесной, полутемной комнате Савиньон увидел старшего брата Жозефа. Тот молился.

При виде Савиньона в таком непотребном виде будущий служитель церкви поднялся с колен и воскликнул:

— Умоляю тебя, вольнодумец, уйди, не береди сердце родителя нашего, не убеждай его в том, что окончательно опустился и погиб, дабы гореть в геенне огненной, отрицая божественную благость нашей святой католической церкви!

— Умолкни, ханжа пустопослушная! — огрызнулся Савиньон. — Я не к тебе пришел за благословением, да ты еще и не стал аббатом, хотя по низости и лживости своей уже готов к этому званию.

— Ты остался прежним с кощунством змеиного языка на устах! — смиренно вздохнул Жозеф. — Чего тебе надобно? Уйди, не показывайся хоть святой нашей матери на глаза. Попадешься отцу — он сам тебя выгонит!

— Это мы еще посмотрим! — застенчиво произнес Савиньон, закидывая назад голову, словно намереваясь клюнуть кого-то своим непомерным носом.

В комнату вбежала шестнадцатилетняя Жаннетта, тоненькая, легкая, порывистая, как ласточка, и бросилась Савиньону на шею.

— Ах, Савй! — прошептала она ему на ухо. — У меня такое горе, такое горе! Как хорошо, что ты пришел!

— Что случилось, сестренка? — весело спросил Савиньон.

— Я ухожу, — с угрозой в голосе произнес Жозеф. — Не желаю слышать наветы на нашего благочестивого отца из уст этой девчонки.

— Иди, иди, молись, замаливай грехи! Если не хватит своих, возьми мои! — насмешливо напутствовал его Савиньон.

Возмущенный Жозеф, шепча молитвы, удалился.

— Так что? — спросил Савиньон сестру.

— Отец сказал, что не даст денег мне на приданое и чтобы я не помышляла о замужестве, а готовилась уйти в монастырь.

— Он хочет упечь тебя туда?

Жаннетта кивнула и заплакала, уткнувшись лицом в грудь брата.

На звук голосов в комнату вошла мать.

Время и заботы наложили отпечаток на ее когда-то красивое лицо, побелили черные волосы, наложили вера морщинок у глаз. Но при виде любимого, обиженного судьбой сына она сразу воспрянула и словно помолодела, любовно глядя на Савиньона.

Как и дочь, она бросилась на шею сына, потом отступила на шаг, говоря:

— Савй! Что за вид? Тебе надо переодеться. Ты не ранен? Пойдем ко мне. Голоден? Дать тебе хлеба, сыра? Как я счастлива тебя видеть, хотя, боюсь, не радость привела тебя сюда. О тебе ходят по Парижу такие слухи! Будто ты чуть ли не каждый день дерешься с кем-нибудь на шпагах! Как ты можешь? Ты ли это? — с упреком закончила она, уводя его к себе.

— Мама! Я только защищаюсь от тех, кому моя внешность не дает покоя. Но, поверьте, я никого не убил на дуэли, даже не ранил серьезно. Я остался прежним, каким вы хотели меня видеть.

— Жалеешь пойманных рыбок, выменяваешь их на перочинный ножик?

Савиньон кивнул.

— Вот это приходится тщательно скрывать, впрочем, как и многое другое. — И он усмехнулся.

— Я знаю, я все знаю, что у тебя на сердце, догадываюсь, чего ты жаждешь, — говорила мать, подавая сыну отцовскую одежду.

— От вас я ничего не хотел бы скрыть, и потому позвольте прочесть вам новый сонет.

— Читай, Сави, я так люблю твои стихи и всегда гордилась ими.

— Не знаю, можно ли гордиться мечтой о ЖЕЛАННОМ ЯДЕ, которым я, поверьте, словно весь пропитан.

— Читай, я все пойму.

Савиньон поцеловал матери руку и прочел стихи.

ЖЕЛАННЫЙ ЯД

Как я хотел бы для дуэли
Противника себе найти
И звездной ночью (без дуэньи)
С ним вместо шпаг скрестить пути!

И пусть в мучениях до встречи,
В волненье жгучем буду жить.
Змеиный яд болезни лечит,
Желанный яд кровь освежит.

Придет, как гром, мое мгновенье,
Смогу счастливцем страстным стать
И за одно прикосновенье
Полжизни радостно отдать!

Хочу сраженным быть не сталью,
А приоткрытою вуалью!

Мадлен подошла к сыну и, приподнявшись на носочки, поцеловала его в лоб над бровями, где начиналась у него переносица.

— Лучше о самом своем сокровенном ты и сказать бы не смог! — произнесла она, вытирая передником слезы.

— Я знал, что вы поймете, — сказал Савиньон, снова целуя матери натруженную домашней работой руку.

— А как твоя комедия? Я все ждала, что ты нас пригласишь в театр, хотя не знаю, в чем могла бы пойти.

— Увы! На первом же спектакле по наущению церковного начальства ее освистали.

— Освистали? Не может быть! Я ведь читала и так смеялась от души.

— Душа в театре не нужна, о ней печется церковь, усмотревшая в моей пьесе оскорбление ее уставов. Пастыри не позволили довести представление до конца. О новых спектаклях не могло быть и речи, так же как и об ожидаемых доходах. — И Савиньон горько усмехнулся.

— Что же теперь?

— Я напишу новую пьесу. И так, чтобы зал и смеялся и рыдал!

— Я верю в тебя, но переоденься, не то отец...

Но переодеться Савиньон не успел.

Жозеф уже донес отцу о приходе брата, и господин Абель де Мовьер де Сирано-де-Бержерак, уже тучный и седой, с багровым лицом, словно вырубленным из красного песчаника, ворвался в комнату жены.

— Что это за проходимец? — закричал он. — Лохмотья? Посмел в них явиться сюда после драки, непутевый!

Савиньон, покорно склонив голову, подошел к отцу, чтобы поцеловать ему руку.

— Прочь, нечестивый! — брезгливо отпрянул отец. — Ты можешь вызвать только омерзение! Чего пришел? Бездельник! Тунеядец! Таверны, женщины, вино, дуэли! И вид бродяги! О подвигах беспутных слышал, обливался слезами, которые от гнева высыхали у меня еще на глазах.

— Абель, я умоляю! Ведь это сын наш!

— Молчите, сударыня! Нас этим сыном наказал господь!

— Я старался, отец, не доставлять вам хлопот.

— А теперь решился. Не только камзол, но и совесть износилась?

— Как бы ни изодран камзол, но в нем я только что стоял перед его высокопреосвященством господином кардиналом Ришелье.

— Не лги! — вскипел отец. — Последние лакеи вытолкали бы тебя, спустили с лестницы дворца.

— Сам Ришелье предлагал мне остаться при нем поэтом.

— И ты отказался? Не смеши родителей и Жозефа, который, конечно, подслушивает у дверей.

— Да, отказался, ибо не хочу никому служить.

— Единственные слова правды, которые я слышу: «не хочу служить»! Не хочу зарабатывать деньги.

— Я не отказываюсь от службы, я не хотел лишь бить при этом поклоны. Но когда кардинал предложил мне вступить в полк, я согласился.

— Опять вранье? Сам кардинал!.. Ха-ха! Да как ты до него добрался?

— Решение его высокопреосвященства и привело меня к вам, почтенный мой отец. Я в самом деле зачислен в роту гасконских гвардейцев.

— К капитану де Карбону? Не верю!

— Тогда, пожалуйста, взгляните на этот документ. Быть может, глаза нотариуса не откажут вам?

И Савиньон вынул из кармана рваного камзола заветную записку кардинала.

— Жозеф! Очки! — крикнул господин Абель.

Жозеф тихо открыл дверь, за которой он действительно стоял, и передал отцу очки в железной оправе. Тот напялил их на нос.

— Что вижу! — вне себя от изумления воскликнул господин Абель. — Сам Ришелье, письмо к папе, какой-то Кампанелла! Рука самого кардинала, сомнений нет! Но как это поручение досталось тебе?

— Быть может, кардинал объяснит это вам при личной встрече.

— При личной встрече? И ты можешь устроить это мне? О боже! Неужели обо мне могут вспомнить только из-за этого бретера, моего сына?

— Вы сами же спросили, могу ли я устроить вам встречу с кардиналом.

— Жозеф! Ты слышишь, он вхож туда!.. О боже!

— Я вхож, как видите, но теперь лишь как гвардеец роты капитана де Карбон-де-Костель-Жалу.

— Но ведь это же конь, мундир, вооружение! Не меньше тысячи ливров!..

— Но иначе мне не выполнить поручение кардинала, а следовательно, не явиться снова к нему, как вы в том заинтересованы.

— Это уже совсем другое дело! Но ты разоряешь меня! Я вынужден буду затронуть основной капитал, уменьшить ренту.

— Я возмещу затраты, как только театр заплатит мне за принятую пьесу.

— Ее освистали и денег не заплатят, — тихо вставил Жозеф.

— Снимай скорей эти лохмотья, они мне выворачивают душу. Но подпись кардинала! Лишь она заставит меня помочь тебе для вступления на военную службу. По крайней мере, все-таки будешь служить. Но кому? Кардиналу или королю?

— Франции!

— Отец, неужели вы решитесь разорить нас всех? — спросил Жозеф.

— Молчи! — прервал отец. — Не понимаешь, чего стоит эта подпись!

Так королевскому писцу господину Абелю де Сирано-де-Мовьер-де-Бержераку пришлось согласиться на трату части основного капитала, кстати сказать, полученного им в приданое за женой.

Савиньон, почувствовал, что он выиграл сражение, попробовал было «развить наступление» и оговорить интересы сестренки, но, услышав лишь первые слова Савиньона, господин Абель сердито замахал руками.

— Нет, нет! И слышать не хочу. Ты — на войну, а эти двое, — он махнул рукой в сторону Жозефа, — в монастырь!

Сирано ошибся бы, думая, что его отец согласился дать деньги ему. Нет, потомком Жан-Жака де Сирано, королевского егеря при Людовике Безумном, владела идея использовать привилегию, дарованную его предку больным королем, и только ради этого, чтобы приблизиться пусть хоть через нелюбимого сына ко двору, быть принятым там и когда-нибудь показать всем придворным, что он, простой королевский писец, кое в чем превосходит всех графов и герцогов, согласен был господин Абель на расточительную трату.

Как бы то ни было, но коня и снаряжение гвардейца Савиньон получил.

Мать заботливо собрала его в дальний путь.

На восточных границах Франции, в особенности близ города Музона, шла война с испанцами, которых следовало избежать.

Савиньон, пробыв у матери несколько дней, полностью оправился и готов был к любым испытаниям, которые не заставили себя ждать.

### Глава вторая

## ЗАКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

*Не помогает счастье нерадивым.*
Софокл

Всадник на усталом, еле передвигающем ноги коне, оставив позади не одну сотню миль, остановился у ватиканских ворот. Конь поник головой, готовый упасть. Всадник соскочил на землю и любовно похлопал его по взмыленной шее.

Граубинденец с длинной шпагой на боку направился к приехавшему с наглым, угрожающим видом.

— Пакет! Его святейшеству папе! — по-французски произнес путник.

— Чего бормочешь, будто сопли нос забили, — грубо по-немецки крикнул граубинденец.

Приехавший не знаком был с этим языком, а страж, видимо, хоть и знал французский, как все швейцарцы, не желал на нем говорить.

— Немедленно пропусти меня к его святейшеству, я — гонец самого его высокопреосвященства кардинала Ришелье.

— А что мне твой Ришелье? — заявил страж, протягивая руку для приема обычного подношения, пусть и не слишком тяжелого кошелька, но приезжий или не понимал этого, или не желал понять.

Запыленный, усталый с дороги, он не хотел терять времени и, считая, что упоминание кардинала Ришелье служит достаточным аргументом, отодвинул стража в сторону, чтобы пройти в ворота в ватиканской стене, но страж вздыбил усы, оскалил желтые зубы, прокричал немецкое ругательство и обнажил шпагу.

Происшедшее затем надолго запомнилось граубинденцу. Шпага его неведомо как вылетела из его руки и взвилась к небу, потом со звоном ударилась о камень дороги.

Испуганный страж, уверенный, что сейчас его про-

ткнет шпагой проклятый француз, бросился бежать, взывая о помощи.

К нему уже спешили два граубинденца, на ходу выхватывая шпаги.

Приехавший тем же непостижимым приемом выбил одну за другой шпаги поочередно вступивших с ним в бой стражников, но не ранил ни одного из них. Теперь к нему с алебардами наперевес бежало еще несколько наемников.

Но властный голос остановил их.

К приехавшему направился офицер-швейцарец, командовавший охраной ватиканского дворца.

Он видел необычайное искусство гонца и, имея на это свои виды, почтительно приветствовал его:

— Прошу извинения, синьор, за доставленное вам беспокойство моими солдатами, но надо учесть, что именно за это им выплачивают жалованье из ватиканской казны. Так о чем вы не смогли договориться с моими молодцами, заставив теперь меня наложить на них серьезные взыскания? Денежные, конечно, ибо все мы работаем за деньги, и они служат нам и средством существования, и дисциплинарного воздействия. Какой смысл сажать их на гауптвахту и бесплатно кормить? Не лучше ли за неуменье фехтовать оштрафовать? Не так ли, синьор?

Офицер говорил на французском языке с швейцарским акцентом, вставляя некоторые итальянские слова, когда дело касалось обращения к собеседнику.

Приехавший сообщил, что привез срочное послание святейшему папе от кардинала Ришелье.

— Из Франции? И вы проделали такой путь на этом бедняге коне?

— Увы, я не мог менять лошадей, как это делают обычные гонцы. У меня поручение личное.

— Мы договоримся с вами об этом, синьор. Я проведу вас в папские хоромы, при одном условии, однако, — если вы обучите меня своему превосходному приему обезоруживания противника.

— Охотно, приятель! — согласился приехавший. — Где мы можем заняться уроком фехтования?

— Во дворе за крепостной стеной, синьор, если это вас не слишком затруднит.

— Лишь бы не затратить на это излишне много времени, господин офицер.

— Я постараюсь быть прилежным учеником.

Стражи-граубинденцы изумленно смотрели, как их офицер провел приехавшего, который, безусловно, не передал ему кошелька с монетами, они за этим следили, чтобы не прозевать своей доли. Оба прошли через приоткрытые для них ворота и сразу же обнажили шпаги.

Граубинденцы, свободные от караула, сбежались посмотреть, что это будет за дуэль.

Но дуэли, оказывается, не предполагалось. Офицер был обезоружен при первом же скрещении шпаг.

Затем началось скрупулезное обучение приему. Офицер прикрикнул на своих подчиненных, чтобы они, несмотря на святое место, убирались ко всем чертям. Он не собирался приобщать их к секрету, которым хотел овладеть.

Офицер оказался смышленым. Впрочем, выбить шпагу из железной руки своего учителя он все же не смог, но, подозвав к себе одного из своих солдат, разоружил его, едва тот выхватил по его приказу шпагу.

Учитель похвалил своего ученика и дал ему еще несколько советов, после чего они вдвоем поднялись в ватиканский дворец.

— Меня зовут Вильгельм Бернард, я пока служу его святейшеству, чтобы войти в наследство. Буду владеть заемной конторой. Если вам понадобится взаймы некоторая сумма, буду к вашим услугам.

— Я благодарю вас, господин лейтенант. Я слишком беден, чтобы отдавать долги, и слишком горд, чтобы брать взаймы без отдачи.

— Как? Разве кардинал Ришелье мало платит вам?

— Он ничего не платит мне, дорогой Бернард, хотя я и выполняю его поручение как гвардеец роты гасконцев господина де Карбон-де-Кастель-Жалу, куда обязан явиться после выполнения поручения кардинала. И солдатского жалованья пока не получал.

— Обратите внимание, дорогой гвардеец, на эту мозаику, я сказал бы, замечательного мастера, которому не зря доверили дело украшения дворца. Его имя Микеланджело, говорят, веселый был человек и вместе с тем неуживчивый. Разные у людей характеры, не правда ли? Вот я сразу увидел в вас человека достойного, едва вы вышибли шпаги у троих моих солдат. Я решил, что иметь дело с вами выгодно. Не правда ли?

— Где же я смогу вручить святейшему папе Урбану VIII послание его высокопреосвященства кардинала Ришелье?

— Кардинал Ришелье высок у вас во Франции. Святой престол по высоте своей недосягаем, дорогой гвардеец. Я проведу вас тоже к его высокопреосвященству, такому же, как и ваш Ришелье, монсиньору кардиналу Антонию Спадавелли, состоящему при особе святейшего папы.

— Но я должен передать послание в руки самого папы.

— Надеюсь, вас не снабдили посланием к самому господу богу? Верьте, я знаю, что делаю, ведя вас к монсиньору Спадавелли.

Комната, в которую ввел офицер приезжего, казалась тесной по сравнению с пройденными ими богатыми залами и отличалась скромным убранством.

— Монсиньор, — обратился к сгорбленному старику швейцарец. — К вам прибыл с письмом к его святейшеству гонец от кардинала Ришелье.

— Ришелье? Вот как? — удивился кардинал. — Давайте. Как вас зовут, гонец?

— Сирано де Бержерак, ваше высокопреосвященство. Но послание я обязан передать из рук в руки его святейшеству.

— Вы внушаете мне уважение и доверие, господин Сирано де Бержерак. Хотел бы, чтобы вы ответили мне тем же. Послание кардинала Ришелье будет доведено до сведения его святейшества немедленно.

— Я верю вам, ваше высокопреосвященство, — на прекрасной латыни произнес Сирано, передавая запечатанный личной печатью Ришелье пакет.

Кардинал Спадавелли вскрыл его, пробежал глазами и не мог подавить своего волнения.

— Прошу простить меня, сын мой, — обратился тоже по-латыни кардинал к Сирано, — но содержание этого письма настолько касается и меня лично, что я не могу не выразить вам особой благодарности. Однако я опасаюсь за вашу безопасность. Увы, но в Папской области слишком много испанских войск, а ваша Франция вступила в войну на стороне государств, противостоящих Испании и Габсбургам.

— Любому, кто заинтересуется мной из числа испанских солдат или офицеров, придется посчитаться с моей шпагой! — запальчиво воскликнул Сирано.

— Нет, сын мой, — перешел на французский язык кардинал. — Для вашей же безопасности я попрошу вас передать свою шпагу вот этому славному офицеру, ко-

торому я поручу препроводить вас, как задержанного папской охраной, до дома французского посланника господина Ноаля. Ждите меня там. Вам понятна ваша задача, господин лейтенант Бернард?

— Совершенно ясна, монсиньор! — отозвался швейцарец. — Я бережно доставлю в сопровождении моих солдат гонца кардинала Ришелье до резиденции французского посланника. Ни один испанец не заинтересуется, что мы делаем.

— Поверьте, ваше высокопреосвященство, — снова перешел на латынь Сирано, — это совершенно не похоже на меня, но я вверяюсь вам.

— Это не останется безответным, — произнес кардинал, жестом руки отпуская обоих.

— Давайте вашу шпагу, дорогой де Бержерак. Пусть она будет залогом нашей дружбы, — предложил лейтенант Бернард.

Сирано без всякой охоты отдал шпагу вместе с перевязью своему новому знакомому и ученику, который лет на десять был старше его.

Уже через несколько минут оба они ехали рядом на лошадях, сопровождаемые эскортом ватиканских стражников в двухцветной форме.

— Знаете, де Бержерак, я решил не служить больше в наемниках по двум причинам.

— Буду рад узнать, — отозвался Сирано.

— Я получил наследство, а к тому же прочитал сонет, написанный каким-то узником и доставленный мне тюремным стражем из нашего кантона, который многое изменил в моих взглядах. Я вам прочту: сонет ШВЕЙЦАРЦАМ И ГРАУБИНДЕНЦАМ.

Не только Альпы вознесли вас в небо,
Раз вольность там людьми обретена.
Зачем нужна чужая им война,
Коль в той стране никто из них и не был?

Тиран заплатит, хоть народ без хлеба,
За кровь вам — золото, а честь бедна.
Копнешься в совести — она черна.
Молю, чтоб торг собой отвергли все бы!

Не лучше ли добившимся свобод
Освободиться дома от господ?
Мальтийский крест не ждет их на чужбине.

Свергайте же паучий тяжкий гнет
Всех тех, кто труд ваш жадно продает,
В пороках, в роскоши погряз, как в тине.

— Что за узник?

— Не то Канапелли, не то Кампанелла.

Сирано невольно пришпорил коня, и тот, забыв про усталость, взбрыкнул.

— Что это с ним? Или отдохнул? За такие сонеты упрятывают в темницу, да он уже в ней находится пожизненно. Пишет сонеты, взывая к нашей совести, а она, поверьте, у нас есть. Меня, во всяком случае, он разбередил. К тому же он составляет гороскопы. У меня растет сын, и я просил раз своего земляка составить на Анри гороскоп. И оказывается, сын мой пойдет по военной части, станет генералом и погибнет со славой в бою.

— Я бы не стал заказывать свой гороскоп, — заметил Сирано, — уверен, он не осветил бы моего будущего. Я вольнодумец даже в суеверии.

Вместе с новым приятелем он благополучно доехал до дома французского посланника в Риме господина Ноаля, получил обратно свою шпагу, заверения в дружбе, благодарность за обучение фехтованию и вошел в дом.

Посланник Ноаль, тонкий дипломат, видом своим напоминал маркиза с фарфоровой вазы королевского дворца, в парике и кружевах, с утонченным изяществом манер. Едва узнав, что гость — гонец самого кардинала Ришелье, он стал рассыпаться перед ним в любезностях, предложив откушать и отдохнуть с дороги.

За еду Сирано принялся с завидным аппетитом, позаботясь и о том, чтобы слуги хозяина не забыли о его коне, но от предложенной постели отказался, ожидая, что кардинал Спадавелли выполнит обещание и скоро будет здесь.

И вновь из тяжелых, открытых граубинденцами ворот выехала кардинальская карета на огромных колесах, и снова толпа верующих выстроилась по обочинам дороги, жадно подбирая звонкие символы кардинальской щедрости.

И, как незадолго до того, карета снова свернула с моста и поехала вдоль Тибра, достигнув тюремных стен.

Всадник не был послан вперед, потому у ворот получилась заминка, пока сам суетливый и подобострастный начальник тюрьмы синьор Парца не выбежал навстречу, не зная, как выразить свое почтение к приближенному святейшего папы Урбана VIII.

Тюремные ворота открылись, карета въехала во двор, распахнулась ее дверца, спущена была подножка, и престарелый кардинал сошел на камни тюремного двора. Опоздавший тюремный священник, невзирая на годы, бежал навстречу монсиньору, а тот, опираясь на посох, в сопровождении полусогнутого в поклоне синьора Парца шел уже знакомой дорогой к камере пожизненного узника.

Загремели ключи, открылась дверь.

Ошеломленный синьор Парца с врученной ему бумагою папского двора в руке поспешно удалился, а кардинал вошел в полутемный каземат.

Томмазо радостно поднялся, узнав учителя.

— Ваш гороскоп готов, — сказал он после приветствия.

— Пока не нужен гороскоп. Вот здесь адресованное кардиналу Ришелье письмо от папы, святейшего из пап. Ты свободен, мой Джованни!

Ошеломленный Кампанелла смотрел на Спадавелли, не веря ушам.

— Ты отвезешь письмо от папы в Париж.

— О, боже! — воскликнул вечный узник. — Так вот каков тот Ришелье, о котором так несправедливо болтают! — Он встал на колени и поцеловал письмо в руке кардинала. — Благословенны будут имя папы и кардинала Ришелье, — растроганно произнес он.

— Вставай, Томмазо. Я отвезу тебя к посланнику Франции Ноалю. Там ждет тебя гонец из Франции.

— Тогда зачем же ехать во Францию мне самому, учитель? Уж если не Неаполь, не Калабрия родная, то хоть Венеция! Позвольте!

— Молчи, сын мой! Ты ничего не знаешь. Папа даровал тебе свободу, но Папская область наводнена испанцами, и я не знаю, понравится ли им твое освобождение. Собирайся.

— Багаж мой прост, одни бумаги. Быть может, удастся на свободе издать собрание сочинений.

— Аминь!

Карета кардинала выехала из тюремных ворот и направилась через вечный город к дому французского посланника.

Вчерашний узник не мог сдержаться. Он почти наполовину высунулся из окна кареты и наслаждался вper-

вые почти за тридцать лет видом домов, прохожих, синим небом, ярким солнцем! Сердце его, вынесшее в неволе такие испытания, сейчас готово было разорваться от счастья! Он свободен, он подобен всем людям, может жить, дышать, творить для них!

При виде кардинальского экипажа верующие выстраивались по обе стороны улицы, и кардинал Антонио Спадавелли, верный своим традициям, выбрасывал в толпу пригоршни монет.

Кампанелла поморщился, заметив, как борются истовые католики из-за кардинальской милостыни.

— А все-таки, учитель, — сказал он, — подлинное счастье людей будет не в деньгах, а в отмене их.

— Твой предшественник Томас Мор остроумно назвал свою вымышленную страну Утопией, что в переводе, как ты знаешь, означает «Нигдейя». Он сам как бы предвещал, что нигде на Земле не осуществиться ни его, ни твоим мечтам.

— Как знать, учитель. Христианство при тиранах казалось тоже невозможным.

— Не будем спорить, сын мой, насладимся счастьем твоего освобождения.

— Благодарение богу, светлейшему папе Урбану VIII и кардиналу Ришелье. И вам, учитель. Без вас не сделать мне и шага за пределами тюремных стен.

— Ну почему!..

— Хотя бы потому, что я отвык ходить под синим небом.

Карета остановилась. Кардинал и Кампанелла вышли из нее. Их встречал, помогая обоим выйти, французский посланник господин Ноаль в парике, в камзоле и панталонах с кружевами, в туфлях на высоких каблуках с красивыми бантами.

— О, ваше высокопреосвященство господин кардинал, как мне благодарить за высокую честь, которая вами оказана мне вашим посещением!

— Цель моего посещения, синьор, передать вам из рук в руки бесценного философа, прошедшего все бездны ада, Томмазо Кампанеллу.

— Прошу войти в мой дом, он будет освящен пребыванием в нем таких людей.

— У вас ли гонец кардинала?

— Он здесь, монсиньор, поел, спать лечь не захотел, но за столом уснул. Почти совсем ведь мальчик.

— Представьте нам его.

Посланник и его гости вошли в дом. Сирано, до плеча которого коснулся друг Ноаля французский писатель Ноде, толстенький благодушный француз с веселыми глазами, вскочил, хватаясь за шпагу.

При виде Кампанеллы и кардинала он бросился на колени.

— Встань, сын мой, — сказал кардинал.

— Нет, ваше высокопреосвященство, я на коленях перед тем, кто воплощает для меня и тьму темниц, и солнца свет.

Кампанелла ласково положил ему руку на плечо.

— Я не хотел бы принять эти поэтические слова на свой счет, юноша. Для меня вы не только посланник, но и избранник высокого и далекого друга, которого я так ошибочно корил, монсиньора Ришелье.

— Вот, отец мой, его записка. Я должен проводить вас к нему во Францию.

«Уполномочиваю гвардейца гасконской роты королевской гвардии господина Сирано де Бержерака оказать отцу Фоме Кампанелле по прибытии его во Францию содействие, гостеприимство от имени французского правительства, заверив отца Фому, что он получит достойное его убежище, уважение и пенсию.

Ришелье».

Кампанелла, отлично владея и французским языком, дважды перечитал эту «закладную записку».

Потом передал ее кардиналу Спадавелли, который тоже с интересом ознакомился с ней.

— Вот видишь, Томмазо. Сам Ришелье ждет тебя, назначив сопровождающим этого славного гвардейца.

— Я, право, не пойму, учитель. Ведь я недавно снова провинился, встав на защиту Галилея.

— Да, ты хотел быть большим католиком, чем сам папа. Взялся защищать право Галилея высказывать ересь о вращении Земли вокруг Солнца, а он, Галилей, сам же от этой пагубной выдумки Коперника отказался.

— За каждым, мой учитель, нужно признать право на высказывание в науке любой мысли и отказа от нее.

— Итак, молодой человек, вручаю вам, как пожелал того сам Ришелье, заботу о Томмазо Кампанелле. Я вынужден покинуть вас.

— Надеюсь, все устроится, монсиньор, — сказал Ноаль. — Мой дом, как дом посланника, неприкосновенен.

— Мой юный друг, — обратился Кампанелла к Сирано. — Я хотел бы вас поздравить с доверием, оказанным вам Ришелье, его забота о моей судьбе несказанно меня волнует.

Сирано де Бержерак ему не сказал, что записка Ришелье была «закладной», продиктованной им, и право воспользоваться ею было отвоевано в бою со ста противниками. Он лишь почтительно смотрел на Кампанеллу, который был для него живой легендой.

### Глава третья

## ДВА ГРОБА

*Яд предательства хуже змеиного.*
Восточная мудрость

Синьор Бенито Парца, начальник тюрьмы, едва из ее ворот выехала карета кардинала с «вечным узником», засеменил через улицу к стоявшему неподалеку каменному дому с колоннами, где разместился командир испанского гарнизона в вечном городе Педро Гарсиа, недавно смещенный испанским королем с поста губернатора Новой Испании, впав в немилость из-за неспособности выкачивать из колонии прежние потоки золота. Пониженный в должности и уязвленный этим, генерал Гарсиа готов был выместить свое настроение на местных жителях, которые в его глазах ничем не были лучше заокеанских индейцев, хоть и выглядели белолицыми и считались католиками. К испанским войскам, во всяком случае, они должного почтения, как и индейцы, не проявляли, оскорбляя тем испанскую корону.

Бенито Парца так настойчиво добивался свидания с генералом, что обозлил дежурного офицера, каковым оказался знакомый нам уже капитан Лопес, взятый бывшим губернатором с собой как наиболее преданный человек. Правда, его надо было держать подальше от Андалусии и Генуи, где герою Новой Испании все еще угрожали былые вынесенные ему приговоры уголовного суда. Но, раздраженный подобострастным итальяшкой, Лопес все же понял, что речь идет об антииспанском заговоре, в котором принимает участие когда-то брошенный в тюрьму по тому же поводу узник и освобо-

дивший его кардинал Спадавелли. Пришлось допустить доносчика к генералу.

Тучный генерал Гарсиа готовился обедать и скорчил недовольную гримасу на своем оплывшем лице, услышав, что ему предстоит заняться делами на голодный желудок. Желая скорее отделаться от назойливого итальянца, он приказал ввести его.

— О, синьор генерал! Да продлятся ваши дни, как и дни его величества короля Испании, самого католического из всех королей! — заискивающе начал Парца.

— Дальше, дальше! — не отвечая на приветствие, буркнул генерал, плохо разобравшись в испорченной испанской речи Парца.

Капитан Лопес, долго живший в Генуе, где оставил уже известный нам след, взялся переводить невнятную болтовню начальника тюрьмы.

Оказывается, в его тюрьме под видом посещения вечного узника, монаха Кампанеллы, еще тридцать лет назад готовившего восстание против испанской короны и приговоренного к пожизненному заключению, побывали посетители, опять же заговорщики против благодетельных испанских войск, помогавших святейшему папе поддерживать в его области порядок. Но эти заговорщики вовлекли в свой заговор даже кардинала Спадавелли, приближенного к самому папе, и этот кардинал умудрился обманом выцарапать у доверчивого святейшего отца всей католической церкви помилование закоренелому заговорщику, который вместе с коварным монсиньором Спадавелли покинул теперь тюрьму, чтобы поднять восстание в Папской области против испанцев.

Генерал Педро Гарсиа отличался вспыльчивостью. Сообщение Бенито Парца вывело его из себя, и у него даже разлилась желчь, что сказалось на пожелтевшем от ярости лице.

— Капитан Лопес! — хрипло скомандовал он. — Тотчас узнай, куда монсиньор кардинал запрятал преступника, обманувшего самого папу. Наш долг — оказать святейшему папе услугу и тотчас пресечь все подлые замыслы заговорщиков.

— Они собирались у него в камере, синьор генерал, под видом составления запрещенных святой церковью гороскопов. Это близко к колдовству, а за него, как известно, карают не тюрьмой, а костром, синьор генерал.

— Пусть перестанет болтать, — крикнул генерал

Лопесу. — Вели ему сказать, куда спрятали монаха.

— Мне удалось подслушать, как кардинал приказал кучеру кареты ехать к французскому посланнику.

— Ага! — воскликнул генерал, так надуваясь от ярости, что мундир затрещал на животе. — Запрятать негодяя в логовище исконного врага Испании, которая ведет с Францией войну! Капитан Лопес, приказываю взять солдат не только со шпагами, но и с мушкетами и без лишних разговоров ворваться в дом, где засел преступник. При сопротивлении действовать как в Мексике. Ты понял?

— Понял все, мой генерал!

Гарсиа, поморщившись, бросил Парца кошелек, из которого переложил в карман половину монет. Начальник тюрьмы, низко кланяясь и пятясь, стал удаляться, бормоча благодарность от имени всех своих тринадцати детей.

Генерал сел обедать, повязал салфетку, но аппетит пропал от одной только мысли, что надо сообщить святейшему папе о принятых мерах, упомянув притом имя кардинала Спадавелли. Но как это сделать, он решить не мог, ибо не привык в Новой Испании к дипломатическим уверткам, действуя лишь по своему усмотрению.

— Эй, Лопес! Ты не ушел? На случай, если придется извиняться перед папой, учти, что монах не должен быть «схвачен».

— Как? — удивился заглянувший вновь к генералу Лопес.

— Ты вконец оглупел! Как расправлялся ты со жрецами?

— Понял все, — поклонился Лопес, помахав перед собой шляпой с пером, и вышел.

Конный отряд испанцев под командованием капитана Лопеса в составе десяти человек промчался по улицам Рима, разгоняя испуганных прохожих и переходящих местами улицу гусей, которые, как известно, когда-то спасли Рим.

Сейчас они сами, подобно осаждавшим тогда Рим варварам, обращались в бегство, раскрывая крылья и громко гогоча.

У дома французского посланника отряд остановился и спешился.

Лопес размещал солдат группами. Увидев заросли кустарника напротив дома, он приказал там засесть двоим солдатам с мушкетами и взять на прицел дверь

и окна, если преступник попытается спастись бегством.

Сам Лопес в шляпе со свисающими полями, которые защищали его от тропического солнца в Америке, с цветастым пером птицы кетсаль из сельвы, резко отличающим его от всех остальных испанских воинов, решительно взошел на крыльцо и постучал в дверь ногой, встав к ней спиной.

Он не успел среагировать на мгновенно открытые створки и не увернулся от весьма чувствительного пинка, который он получил ниже спины.

Капитан невольно пробежал, теряя равновесие, несколько шагов, пересчитав ступеньки крыльца, и растянулся в пыли под громкий хохот не только вышедшего на крыльцо человека, но и своих же собственных солдат.

Вне себя от ярости, капитан вскочил на ноги, обнажил шпагу и бросился к обидчику, который тоже с обнаженной шпагой стоял в проеме открытой двери.

— Прочь с дороги! — заорал Лопес. — Именем испанского короля я требую выдачи преступного монаха Кампанеллы.

— Эта территория, сеньор испанец, по международным законам, принадлежит не испанскому, а французскому королю, именем которого я предлагаю вам убраться отсюда к дьяволу.

— Мне плевать на твои международные законы. По велению моего короля я и мои солдаты войдем в дом, кому бы он ни принадлежал, и выволочем оттуда заговорщика.

— Вам придется убедиться в своей неспособности пройти мимо меня, сеньор! — на приличном испанском языке заметил незнакомец.

— Кто ты такой, — заорал Лопес, — чтобы вставать у меня на дороге?

— Тот самый камень, о которой вы споткнетесь, сеньор.

Сзади защитника дома показался французский посланник.

— Сеньоры! — воскликнул он тоже по-испански, ибо, как дипломат, знал несколько языков. — Умоляю вас не прибегать к силе оружия. Все мы одинаково чтим власть святейшего папы Урбана VIII, и я честью дворянина заверяю вас, что в моем доме нет никого, появившегося там помимо воли святейшего папы.

— А я тебе покажу, где ожидают тебя и твой папа, и твоя мама, которые наверняка уже сдохли! — закричал Лопес, одновременно давая сигнал солдатам штурмовать дверь.

Сам он ринулся на защитника дома вперед всех и первый получил отпор, сам не понимая, что произошло. Он стоял перед молодым французом без шпаги в руке, которой он только что собирался проткнуть наглеца.

Лопес непроизвольно отскочил в сторону, давая солдатам дорогу к противнику.

Но противник сам перешел в атаку и уже не применял своего излюбленного приема, с которого когда-то начал в Париже свою блистательную карьеру дуэлянта.

Первого же солдата молниеносным, неуловимым движением он сразил ударом в грудь, и тот со стоном повалился к его ногам.

Второй солдат был также поражен ударом шпаги, получив тяжелое ранение. Третий упал рядом.

Четвертый, пятый, шестой полегли следом за ними.

Лопес меж тем подобрал свою шпагу, не решаясь ринуться в бой. Мексиканский сподвижник Лопеса капрал Педро Карраско, державший лошадей, был последним, если не считать двух засевших в засаде солдат, и также не решился, несмотря на свою былую карьеру тореадора, сразиться со страшным противником.

Капитан Лопес оглянулся на кусты и дал сигнал.

Раздались почти одновременно два выстрела, дымки ружей слились в один, а стоящий на крыльце Сирано де Бержерак с пронзенной навылет грудью замертво повалился назад на французского посланника, который вежливо посторонился, дав ему упасть навзничь.

— Вперед! За монахом! — крикнул Лопес и ринулся в дом, оттолкнув изящного французского посланника.

Капрал Карраско ворвался в дверь следом за капитаном.

По улице вскачь неслись запряженные цугом кони, карета, громыхая огромными колесами, подпрыгивала на неровных камнях.

Трудно было поверить, что столь старый кардинал может распахнуть дверцу и на ходу выскочить из кареты и, держа крест в поднятой руке, взбежать на крыльцо.

— Господом богом заклинаю от имени святейшего папы Урбана VIII прекратить насилие!

Как ни был Лопес воспитан в духе силы, жестокости и произвола, но вид старца с поднятым крестом, в развевающейся мантии с алой подкладкой остановил его.

Он крикнул, чтобы капрал вернулся.

— Монсиньор! Мы только защищались. Видите — шесть убитых. Мы лишь воздали должное убийце, — говорил Лопес, кланяясь кардиналу, как он привык делать в церкви перед мексиканским епископом.

Смущенный капрал вышел из дома и, прежде чем вложить шпагу в ножны, вытер ее о край камзола.

Капитан переглянулся с ним.

Сидевшие в засаде солдаты с мушкетами вышли, не успев перезарядить ружья. Они стали за ноги стаскивать к коням убитых, хотя двое подавали признаки жизни, и перебрасывали их через седла лошадей, на которых недавно прискакали сюда.

Капрал Карраско подвел капитану его коня.

— Дело сделано, — сказал Лопес, — скачем к генералу Гарсиа.

— Вашему генералу придется явиться на аудиенцию к святейшему папе Урбану VIII, которую он назначает ему завтра в восемь часов утра, сеньор капитан! — тоном приказа произнес кардинал.

Лопес поклонился, хотя с большим удовольствием пронзил бы и этого дряхлого жреца своей доброй шпагой, но, кто знает, как это может обернуться. Здесь все-таки не славная Америка, где знаешь, как надо себя вести.

Солдаты повезли павших на поле боя, а капитан Лопес помчался к тюрьме, напротив которой квартировал генерал Педро Гарсиа, не предвидя с его стороны особых похвал, хотя собирался доложить ему, что «дело сделано», с монахом покончено. По крайней мере, он так понял своего побывавшего в доме капрала Карраско, с кем вместе они захватили когда-то сына вождя племени майя Августина-Кетсаля.

Когда Лопес докладывал генералу о сражении, то единственный защитник дома у него превратился в засевший там отряд отборных французских солдат, которых удалось одолеть благодаря его военной хитрости, связанной с засадой и применением мушкетов, взять которые мудро приказал генерал.

— Все-таки пуля, мой генерал, сильнее шпаги, — закончил он свой доклад, в котором упомянул, что все

защитники дома, а также заговорщик-монах, бежавший из тюрьмы, уничтожены.

Появление кардинала он изобразил как Злой Рок, помешавший ему из боязни за его превосходительство генерала Педро Гарсиа должным образом отметить победу.

На следующее утро в восемь часов страдающему одышкой генералу Гарсиа пришлось подняться по лестнице ватиканского дворца и, сдерживая тяжелое дыхание, выслушать стоя наставительные упреки святейшего папы Урбана VIII, на аудиенцию которого он в других условиях и не смел рассчитывать.

Вернувшись от папы, генерал Гарсиа слег, он был почти уверен, что ватиканский гонец уже скачет в Испанию с посланием папы к королю.

И был прав. Гонец в двухцветной форме скакал, меняя лошадей, чтобы не морским, а сухопутным путем, через Апеннины, добраться до Испании.

Пока скакал гонец в одном направлении и другой гонец с ответом испанского короля и приказом по испанскому гарнизону в вечном городе еще не выехал на каравелле, в Риме, по его улицам, двигалась печальная процессия.

Ее возглавлял сам кардинал Спадавелли, правда, почему-то не в полном облачении, подобающем в таком случае, и не пешком, а в карете, за которой двигались профессиональные плакальщицы, оглашая улицы вечного города отработанными рыданиями, затем граубинденцы во главе с лейтенантом Вильгельмом Бернардом несли два гроба. Процессию замыкали ехавшие в карете французский посланник Ноаль в самой парадной форме с черной повязкой на рукаве камзола, отороченной черными кружевами, и его друг писатель Ноде, роль которого в двигающейся по улицам Рима процессии была отнюдь не последней.

Похоронная процессия, как могло со стороны показаться, направлялась не на кладбище, а вышла на Аппиеву дорогу, которая была знаменита не только своей древностью, впервые вымощенная камнем во времена Аппия Клавдия, но и тем, что после подавления восстания рабов и гладиаторов на всем ее протяжении расставлены были столбы с распятыми на них соратниками Спартака. Она вела куда-то до Капуи и дальше до древней Брундизии. Однако процессия, миновав старинные мраморные виллы, перед пересечением с вто-

ростепенной, уже современной дорогой остановилась. Плакальщицы были отпущены, карета кардинала, выполнившая свой долг, заставляя встречных испанских солдат сторониться, вернулась назад к Ватикану, а граубинденцы вместе со своим лейтенантом, сопровождаемые каретой французского посланника, свернули на запад, выйдя к Тибру. Дальше странная процессия двигалась вдоль его берега до самого устья, где еще задолго до порта остановилась перед невзрачной египетской фелюгой.

Здесь господин Ноде, очевидно уже знавший владельца фелюги, старого египтянина, командовавшего двумя темнокожими матросами, возможно продолжавшими считать себя его невольниками, вступил с египтянином в громкий, переходящий в крик разговор, который больше всего напоминал торг. Речь шла о том, чтобы достивить два гроба с усопшими в сопровождении господина Ноде в Тулон.

К первоначально назначенной сумме в тысячу пистолей египтянин, вспоминая о трех своих сварливых женах и несметном числе принесенных ему ими детей, просил надбавки «за запах», который будет исходить от гробов во время пути.

Ноде, весело поблескивая озорными глазами, склонный к шуткам, несмотря на взятую на себя печальную обязанность, договорился с египтянином, что надбавит к назначенной сумме еще столько же, если аллах подскажет тому то же, что и его обоняние.

Гробы были водружены на фелюгу, господин Ноде перешел на борт суденышка, негры-матросы поставили паруса, а посланник Франции в Папской области господин Ноаль еще долго стоял на берегу Тибра, почти у самого его устья, наблюдая, как становятся все меньше и меньше косой и четырехугольный, оба паруса фелюги.

Лейтенант Вильгельм Бернард с непроницаемым лицом ждал, когда господин посланник перестанет махать кружевным платком и сядет в карету, чтобы с отрядом граубинденцев проводить его обратно в Рим во избежание новых столкновений с недружелюбными Франции испанцами.

Карете Ноаля пришлось ехать шагом, ибо только у лейтенанта Бернарда была лошадь, остальные же граубинденцы были пешими.

Спустя несколько дней в порт в устье Тибра, ловко лавируя, вошла испанская каравелла. С фелюгой она разминулась, очевидно, далеко в море.

На ней прибыл вместе со своим конем гонец его католического величества короля Испании с приказом о смещении генерала Гарсиа с поста начальника испанского гарнизона в Папской области и переводе его в действующую армию в районе Арраса, где ему придется вступить в военные действия с французами.

Генерал Педро Гарсиа, проклиная тот миг, когда к нему явился этот доносчик из римской тюрьмы, потребовал к себе капитана Лопеса и объявил тому, что тот будет сопровождать его в этот проклятый Аррас, где придется столкнуться с противником более опасным, чем ничтожные индейцы его любимой Мексики, готовые признать их за сынов божьих. Эти французишки скорее сочтут их, испанцев, исчадиями ада, куда рады будут их всех отправить.

Капитан Лопес без всякого энтузиазма пошел собираться в дальний путь, решив взять с собой своего верного капрала Карраско. Все-таки тот умел, когда надо, использовать свою шпагу не только против быков.

Об отправке двух гробов во Францию Лопес уже знал и успел сообщить об этом со слов доносчиков генералу Гарсиа, но того даже это сообщение мало утешило, хотя подтверждало успех проведенной по его приказу операции против заговорщиков.

### Глава четвертая

## БОГ ТОТ, ПОКРОВИТЕЛЬ НАУК

*Наука помогает нам в борьбе с фанатизмом в любом его проявлении, она помогает нам создать собственный идеал справедливости, ничего не заимствуя из ошибочных систем варварских традиций.*

А. Франс

Жозеф Ноде, французский писатель, стоял на борту фелюги, качаясь на волнах, и побаивался приступов морской болезни. Толстенький, благообразный, склонный, как истый француз, к юмору, он как бы противостоял самому себе, ибо расположен был к домашнему

уюту, покою, а никак не к приключениям собственных героев, что теперь ему предстояло претерпеть самому.

Берег Италии скрывался за горизонтом, когда хозяин фелюги, правоверный египтянин, почтительно приблизился к сопровождавшему печальный груз французу.

Писатель Ноде, страдая морской болезнью, не любовался красотами моря, как некогда стоявший на этой же палубе молодой бакалавр Пьер Ферма, прославивший Францию своими математическими открытиями. Ему виделись нависшие тучи над бегущими с бычьей яростью седогривыми холмами, грозящими разнести в щепы суденышко.

А хозяин этого суденышка, вспоминая, как он много лет назад вез на фелюге тоже французов (Пьера Ферма с отцом и Рене Декарта), с ухмылкой поглядел на полного француза, направляясь к нему с затаенной надеждой, и на недурном французском языке с поклоном обратился к нему, единственному своему живому пассажиру:

— Да продлит аллах благословенную жизнь почтенного господина и да увеличит он его щедрость, чтобы сравнялась она с милостью, каковую по Корану надлежит проявить к несчастному моряку, изнемогающему от трех старых и сварливых жен, от требований детей, столь же наглых, сколь и неблагодарных, не считая милых просьб толпы внуков!

— Не слишком ли красочно, почтенный последователь Корана, живописуешь ты свои невзгоды?

— Я лишь решаюсь напомнить почтенному господину о нашей договоренности: сам аллах услышал не только мои мольбы, но и ощущения моего носа, вынужденного мириться с почитаемыми мною гробами, еще не преданными земле.

— В таком случае проверим тебя на запах и поднимем крышку гроба, если испанские корабли достаточно далеко.

Несколько удивленный шкипер крикнул седого негра-матроса, свободного от вахты у руля, и вместе с ним приподнял крышку ближнего гроба.

«Покойник» в монашеской одежде открыл агатовые, пронизывающие, жгучие глаза и оперся на локоть.

— Можно подняться? — спросил он.

Египтянин пал на колени, негр отскочил в сторону.

— Как ваша рана, отец Фома? — спросил Ноде.

— Царапина, синьор, сущая царапина!

— Однако вы искусно упали, отец Фома. Не только этот негодяй, хвалившийся, что был тореадором, но даже я подумал, что он сразил вас.

— На месте быка я поднял бы его на рога. Но как наш защитник?

И они перешли к другому гробу. Негр в суеверном страхе спрятался за парус. Крышку подняли без него, но из гроба никто не встал. Пришлось Ноде, монаху и шкиперу втроем поднять оттуда молодого человека без чувств и перенести его в единственную каюту.

Монах расстегнул на нем камзол.

— Сквозное ранение в грудь, большая потеря крови, несмотря на сделанную мной еще в доме посланника перевязку. Надо ее менять. Видно, недаром я писал в темнице медицинский трактат.

И Кампанелла принялся старательно ухаживать за раненым Сирано де Бержераком.

Египтянин с хитрецой заметил Ноде, когда тот вышел из каюты:

— Аллах все видит, почтенный господин! И если мне нельзя доплатить за непослушный мой нос, которому ничего не удалось учуять, то сам аллах велит заплатить за послушный мой язык, которому есть что рассказать.

Ноде расхохотался, ибо был смешлив по натуре.

— Хорошо, я добавлю тебе пятьсот пистолей, чтобы твой язык не произнес излишнего, как твой нос не учуял необычного.

Египтянин хитровато посмотрел на гробы и низко поклонился.

Маленькая фелюга ловко шныряла между высокими бортами стоящих на рейде каравелл, шхун, бригов, барок и гордо проплывала мимо мелких по сравнению с нею рыбачьих лодок, заполнявших подступы к набережной Тулона. Многие из них были вытащены на берег, лишь задеваемые набегающей пенной волной. Египетская фелюга завершила наконец свое плавание, проскользнув в открытом море мимо всех испанских кораблей, и покойно застыла теперь, закрепленная к медному кольцу мола просмоленным канатом.

Господин Ноде, оставив раненого на попечении монаха-лекаря и египтянина, отправился за телегой для

перевозки раненого на постоялый двор, прежде чем отправиться в более далекий путь.

Господину Ноде пришлось проталкиваться через толпы слоняющихся в поисках найма матросов, подвыпивших после плавания моряков, хрипло предлагающих заманчивую любовь женщин, назойливых продавцов овощей и фруктов. Он пробирался между ящиками, тюками, плетеными корзинами или сваленными в беспорядке грузами, вдыхая всевозможные запахи: смолы, ворвани, чеснока, человеческого пота, живой и жареной рыбы, душистых апельсинов, дурманящих цветов, разрезанных дынь и арбузов. Он был оглушен разноязычным говором, его истолкали, намяли ему бока, не раз наступили на любимые мозоли, прежде чем он достиг знакомого трактира «Пьяный шкипер».

Добраться в нанятой им телеге до мола, где пришвартовалась фелюга, можно было, лишь имея невероятный запас изощренных ругательств, которыми виртуозно владел нанявшийся усатый возница из бывших солдат, хлестая кнутом не только свою клячу, но и толпу, мешающую проехать.

С большими предосторожностями Сирано де Бержерак был перенесен в телегу и проделал, лежа в таком экипаже, путь по Тулону из порта до трактира «Пьяный шкипер», где ему пришлось задержаться, пока его лекарь-монах не дал наконец согласия отправиться всем вместе в далекий путь.

К этому времени предприимчивый Ноде уже сыскал нужную карету.

Случилось так, что Мазарини, выполняя указание Ришелье, приобрел для пребывания во Франции Кампанеллы построенный на пепелище поместья Мовьер домик, куда и прибыла карета путешественников из Тулона.

Сирано узнал свои родные места, и это обрадовало и взбодрило его, он даже пытался сам войти в сложенный из камней домик, появившийся на месте их старенького деревянного шато, сгоревшего в огне крестьянского гнева.

Приехавших уже ждали: философ Декарт со своим другом-противником, советником тулузского парламента Пьером Ферма и профессор-философ Пьер Гассенди. Кардинал Ришелье решил продемонстрировать

свою заботу об освобожденном узнике и позаботился пригласить в его убежище во Франции людей, ближе всего стоящих по своим взглядам к Кампанелле, который должен был оказаться здесь в кругу друзей. Ришелье никогда ничего не делал без умысла.

Рене Декарт, приглашенный Ришелье вернуться во Францию для встречи с Кампанеллой, был в плаще, прикрывающем мундир нидерландской армии, где он, воюя против Испании, служил, укрывшись от гонений католической церкви. Был он горделив, представителен, с лицом не столь красивым, сколь мужественным, полным энергии и благородства, но идущего не от знатности, которую он отвергал, а от глубокого, самобытного ума, оставившего след и спустя три столетия в сознании его последователей, картезианцев.

Его противоположностью, при той же остроте ума, выглядел юрист, поэт и математик Пьер Ферма, спокойный, дружелюбный, с полноватым, чисто выбритым лицом, с блуждающей улыбкой в уголках чуть насмешливых губ и еще темными волосами до плеч.

И наконец, Пьер Гассенди, которого мы помним по приватным занятиям с молодыми людьми, в числе которых наряду с Жаном Покленом Мольером был и Сирано де Бержерак.

Сирано, узнав, что, кроме обрадовавшего его своим присутствием Гассенди, здесь и сам Рене Декарт, книги которого он защищал от костра у Нельских ворот, и загадочный Пьер Ферма, делающий, как говорят, удивительные математические открытия, не указывая путей к ним, а предлагая современникам самим их найти, сразу почувствовал себя лучше, предвкушая беседы с такими людьми.

Жозеф Ноде, как бы захлопнув исписанную им страницу очередной книги, любезно улыбаясь, распрощался со всеми и укатил в Париж в той же карете, чтобы известить его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье о прибытии сопровождаемых Ноде по поручению посланника Франции при папском дворе Ноаля лиц, имеющих на руках письмо самого святейшего папы Урбана VIII для передачи его кардиналу Ришелье.

Сирано был помещен в отдельную комнату и не принял участия, как о том мечтал, в беседе философов с Кампанеллой. Однако огорчение Сирано смягчилось

появлением местного кюре, его первого учителя, в сопровождении друга детства Кола Лебре.

Они вошли к Сирано, когда тот полулежал в кресле, пытаясь при виде их встать.

Кюре движением руки остановил его. Лебре расплылся в добродушной сияющей улыбке и, подойдя к давнему другу, обнял его за плечи.

— Сави, дружище! Как же я рад тебя видеть!

— Сын мой, я горжусь, что сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье в своей мудрой милости поручил тебе сопровождать сюда вызволенного им из заключения мученика философа Фому Кампанеллу, он найдет здесь, во Франции, много расположенных к нему сердец, пробуждая в них надежду на светлое будущее людей на земле.

— Ах, кюре! Друг мой, Кола! Вы для меня будете здесь лучше всех лекарств. Отец Фома — изумительный лекарь. Я бы совсем встал на ноги, если бы решился принять его предложенную им мне кровь взамен моей потерянной при бесчестном, предательском пулевом ранении из-за угла.

— А что значит, Сави, принять его кровь? — наивно спросил Лебре.

— Наши лекари лечат многие болезни, «отворяя кровь», выпуская дурную, но ничего не оставляя взамен. Тело должно само восполнить потерю. Отец Фома Кампанелла, перенеся тяжкие мучения, как никто другой, познал, что такое потеря крови, и, находясь в темнице, написал медицинский трактат на опыте лечения самого себя, что позволило ему выжить. В этом трактате наряду с другими способами лечения он высказал мысль, что кровь другого здорового человека с успехом восполнит потерянную кровь больного. Но применить этот свой способ, отдав мне собственную кровь, отцу Фоме не удалось, ибо я не мог принять его жертвы, поскольку он для всего мира во много раз важнее, чем я, ничем не прославившийся, кроме вызывающих драк.

— Ты сурово судишь себя, сын мой, — заметил кюре. — Это и хорошо и плохо. Не всем в твои годы удалось написать пусть злую, но призывающую людей к исправлению комедию о педанте.

— Вы читали ее, отец мой? Я рад! Но ведь ее никто не издал.

— Пока мне попалась она в списках. И то, что ее прилежно переписывают, говорит в ее пользу.

— А ведь отцы иезуиты подослали в театр людей, чтобы ее освистали.

— Подождите! — прервал что-то надумавший Кола Лебре. — Если тебе нужна кровь здорового человека, то здоровее меня не найдешь во всей деревне. Давай попросим отца Фому Кампанеллу «отворить» мне кровь и перелить ее, как он того хотел, в твои жилы.

— Что ты, Кола! Я и так поправлюсь.

— Да таких, как ты, в гроб кладут.

Сирано загадочно усмехнулся, но о гробах ничего не рассказал, связанный взятым с него Ноалем словом дворянина.

После первой встречи с почтившими его приезд философами Кампанелла, придя к своему подопечному Сирано, узнал о готовности его друга детства предоставить ему свою кровь. Превратившись в лекаря, философ вооружился острым ножом и необрезанным бычьим пузырем, за которыми сбегал в свою лавочку Кола Лебре. С помощью кюре, который оказался не только способным художником, но и прекрасным ассистентом, Кампанелла артистически проделал неизвестную до той поры операцию. «Отворив» обычным способом кровь Лебре, он направил ее по отросткам, бычьего пузыря, как по трубке, во вскрытую вену Сирано, расположив Лебре выше его друга, чтобы кровь к нему шла самотеком. Тогда, конечно, еще не знали, что не всякую кровь можно переливать любому человеку, но кровь Лебре и Сирано, к счастью, оказалась, как ныне сказали бы, одной группы. Изрядно пополневший со времени наследования отцовской лавочки здоровяк Кола Лебре даже не почувствовал потери своей «избыточной», как он сам сказал, крови, которую полезно для него спустить. И он был искренне рад помочь старому другу.

Результат сказался быстро, щеки Сирано порозовели. Кюре смотрел на Фому Кампанеллу как на волшебника.

— Я преклоняюсь перед вашим искусством, святой отец, как преклонялся перед вашим трактатом о Городе Солнца, — сказал кюре.

— Это всего лишь долг человека, друг мой, — от-

ветил Кампанелла. — Лечение человека и лечение человечества.

После чего они вместе тактично оставили Сирано и Лебре вдвоем, дав им вдоволь наговориться: «А ты помнишь?», «А как тогда было?»

Когда кюре вернулся, они вспоминали как раз его козу, которая перешла сперва к соседу-крестьянину, а потом была отобрана солдатами сборщика податей.

— Мог ли кто-нибудь из нас тогда думать, — воскликнул кюре, — что мудрый философ, указавший на зло собственности, сам будет у нас в Мовьере! Поистине господь руководит нашими поступками и сводит воедино неисповедимые пути!

— Это не совсем так, дорогой учитель, — отозвался Сирано. — В том, что Фома Кампанелла здесь, виновны прежде всего вы, кюре. Если бы вы не внушили тогда мне, мальчишке, святость его идей отрицания такого зла, как собственность, кардиналу Ришелье не пришлось бы содействовать его освобождению... — На этом Сирано оборвал себя, и кюре так и не понял, каким образом тот причастен к освобождению Кампанеллы, как не понимали этого в течение столетий историки Франции, ибо те, кто это знал, не обмолвились и словом, а кардинал Ришелье сумел повернуть приезд Кампанеллы во Францию в выгодную для себя сторону.

Меж тем новые друзья Кампанеллы решили дать тому отдохнуть после дороги, беседы с ними и диковинного лечения.

Рене Декарт и Пьер Гассенди вышли в сад и завели между собой учтивый философский спор о сущности материи.

Гассенди во всем видел только материальную суть мира, Декарт же настаивал, что материальная основа становится человеком лишь при ее совмещении с душой, превращающей неодушевленное тело в мыслящее существо. Однако оба сходились на том, что мир воспринять можно, лишь наблюдая его с помощью реальных чувств, а не слепо представляя по канонам веры.

Пьер же Ферма направился к раненому молодому человеку, внешность которого навела его на некоторые мысли, о которых он хотел говорить с ним лишь наедине. Случилось это на другой день.

Умный кюре понял Ферма с полуслова, решив, что беседа с таким человеком, как этот юрист, поэт и математик, будет целительной для Сирано, и он увел с со-

бой ничего не понимающего Лебре, который никак не хотел оставлять друга.

Пьер Ферма сел у кресла Сирано.

— Друг мой, — начал он, — ваша особенность лица, насколько я понимаю, приносила вам до сих пор лишь одни огорчения, а я зашел к вам именно потому, что отныне ваше «отличие» от всех нас, «приземленных», должно направить вашу жизнь совершенно иному.

Сирано при одном лишь намеке на свой нос насторожился, но ласковый и убежденный тон математика, о котором он столько слышал, по возрасту своему годившегося ему в отцы, успокоил его.

— Я хочу рассказать вам, молодой человек, что в вашем возрасте мне привелось совершить путешествие в Египет и побывать в подземном храме бога Тота, покровителя наук и мудрецов, принесшего людям знания с далекой звезды Сириус *. Я заговорил с вами об этом потому, что этот бог древних, как мне кажется, имеет к вам некоторое отношение. Его называли «Носатым» и изображали с клювом птицы ибиса, начинавшимся выше бровей, как у вас.

Сирано улыбнулся.

— Мне придется удивить вас, уважаемый господин Ферма, но о моем «родстве» с языческими «богами», якобы прилетевшими со звезды, мне приходилось слышать еще в коллежские годы от одного индейца племени майя.

— В пользу правдивости легенды о боге Тоте, прилетевшем с Сириуса, говорит, например, то, — спокойно продолжал Ферма, — что древние египетские календари почему-то были связаны с Сириусом и периодом обращения этой двойной звезды в пятьдесят лет.

— Признаться, господин Ферма, я ничего не слышал о древнеегипетском боге Тоте. Однако я пытался возразить индейцу, доказывая, что мои предки не могли до Колумба побывать за океаном. И, представьте, он привел мне цитату из Библии, хотя и был неграмотным, указав место, где говорится о сынах неба, которые входили к дочерям человеческим (очевидно, не будучи сынами человеческими) и те рожали им гигантов.

— Весьма важное дополнение. Я — математик. Ис-

---

* См. роман «Острее шпаги» этого тома.

тина, если она такова, доказывается разными путями. Я рад, что различные доказательства о возможном вашем родстве с небожителями, как условно назовем их, сходятся и «гипотеза» о «звездных жителях» доказуема, как теорема. Кстати, эти «небожители», по мнению мыслителя Джордано Бруно, должны существовать у многих звезд, подобных нашему Солнцу. Даже на костре инквизиции он не отказался от этой дерзкой мысли. Позвольте же мне эту гениальную догадку ученого-мученика доказать вам.

— Как так? — удивился Сирано.

— Фактами, ибо нет ничего достовернее факта. Дело в том, дорогой Сирано, что такими фактами обладает один «сын Солнца», как он себя называет. (Впрочем, все мы «сыны Солнца».) И он крайне заинтересован встретиться с вами.

— Кто же это? Почему я о нем ничего не знаю?

— Потому что он живет в Англии и пишет приключенческие романы. Зовут его Тристан Лоремет.

— Где я могу увидеть его?

— Это не так легко, имея в виду непрекращающуюся враждебность между Францией и Англией. Однако это необходимо. Я имею о вас некоторое представление, побеседовав с местным кюре, который не только учил вас в детстве латыни, но и следил потом за вашей судьбой. Мне кажется, что вы могли бы на правах «ищущего» вступить в «общество доброносцев».

— Я? В такое общество? Я же буян и вольнодумец!

— Вы — вольнодумец, поклоняющийся Добру, и это сближает вас с доброносцами, объединенными в тайное общество.

— Но ведь они противостоят государственной власти!

— Это не так. Носители добра помимо, а порой и вопреки государственной власти в любой стране содействуют благу людей, как стремился к ней, скажем, Сократ. Я не случайно упомянул имя этого древнего философа. Вам еще придется столкнуться с ним.

— С Сократом? Мне? Вы шутите, метр Ферма!

— Ничуть. Но я не имею права забегать вперед. Помимо того, это связано с весьма сложными математическими представлениями. Я убежден, что вам, прирожденному бойцу, надлежит коренным образом изме-

нить свой жизненный путь, если вы хотите посвятить себя служению Добру.

— Я склонен скорее к служению против Зла.

— Это тождественно, говоря математическим языком. Цветок и Весы. Два символа: Красоты и Справедливости. Или Жизни и Искупления во имя Добра. В обществе доброносцев, не знающих ни государственных, ни религиозных границ, вы сможете встретиться с Тристаном Лореметом, прославленным англичанином-чудаком, который, как все считают, скрывая некий изъян лица, всегда носит полумаску. Но для вас он ее снимет, чтобы вы выглядели, стоя рядом, как братья, два сына Солнца, а это позволит вам узнать многое.

— Но кто меня примет в «общество доброносцев»? У меня дурная слава.

— Ваш подвиг с освобождением Кампанеллы говорит за вас, ваша защита книг Декарта от сожжения говорит за вас, ваша сатирическая комедия против ханжей-педантов говорит за вас. Я мог бы стать вашим поручителем...

В доме послышался шум. Во двор въехала карета. Захлопали двери. В комнату вслед за Кампанеллой вошел Мазарини в скромной серой сутане, с опущенными глазами, но решительными движениями.

— Его высокопреосвященство, — жестко заговорил он, — господин кардинал Ришелье, осведомленный о вашем прибытии, господин Сирано де Бержерак, выражает вам благодарность за выполнение его поручения и, как главнокомандующий французскими войсками, приказывает вам немедленно отправиться в полк, в роту гасконцев господина де Карбон-де-Кастель-Жалу и принять участие в боевых действиях против испанцев близ Арраса. Кстати, имейте в виду, что пулевая рана получена вами в нашей действующей армии, а не в Италии, где вы, слышите ли, никогда не были.

— Монсиньор, — обратился к Мазарини Кампанелла, — я тревожусь за состояние здоровья своего пациента, которому едва ли следует садиться в седло и брать шпагу.

— У его высокопреосвященства, отец Фома, иное мнение, суть которого мной изложена. Что же касается вас и письма святейшего папы Урбана VIII, каковое вам надлежит вручить его высокопреосвященству господину кардиналу Ришелье, то он позаботился о том, чтобы это было сделано в подобающей обстановке в

Лувре, где его величество король Людовик XIII даст вам особую аудиенцию в присутствии его двора.

Сирано вскочил:

— Я готов оказаться в рядах гасконцев и посчитаться с испанцами, которым я не намерен простить пущенной в меня из-за угла пули в вечном городе.

— Не забывайте, Бержерак, не там, а «на восточной границе Франции», — перебил Мазарини. — В боях близ Музона.

— К востоку от Франции, — повторил Сирано. — За Музоном.

— Решено! — внезапно воскликнул появившийся Лебре. — Мы едем вместе. Я вступаю в роту гасконцев вместе с тобой!

### Глава пятая

## ГАСКОНЦЫ

*Нет, лучше бурей силы мерить,*
*Последний миг борьбе отдать,*
*Чем выбраться на тихий берег*
*И раны горестно считать.*

Адам Мицкевич

Испанцы крепко держались за завоеванную ими часть Нидерландов. Одной из важнейших крепостей был Аррас.

Высокие каменные стены с зубцами и выступающими за ними красными черепичными крышами поднимались над равниной, представ перед Сирано и Лебре, когда они подъезжали к району осады на приобретенных Лебре для их похода конях.

На переднем плане виднелись французские, огибавшие город лагерем войска, целый город палаток белых, серых, голубых, повозки маркитанток с полукруглым цветастым верхом, кухни, источающие дымные ароматы костров и солдатской пищи. От лагеря к крепостным стенам тянулись свеженасыпанные валы, а на стенах крепости нет-нет да и появлялись дымки, после чего перед французским лагерем вздымался столб черного дыма от упавшего ядра, и лишь после этого доносился звук выстрела и грохот взрыва. В ответ начинали грохотать и французские пушки на колесах, выкаченные на

край поля, изрытого почти до крепости осадными работами: траншеями, валами, подкопами и ямами от пушечных ядер, словом, перепаханное мертвящей сохой войны.

Гасконцев капитана де Карбон-де-Кастель-Жалу удалось найти не сразу. Всадники долго ехали мимо колесных пушек, еще не выдвинутых для стрельбы, дымящихся костров, зачем-то марширующих то в одну, то в другую сторону солдат в мундирах разных полков, коновязей с унылыми, опустившими головы лошадьми. Хорошенькие маркитантки зазывали всадников в свои повозки, обещая отменное угощение, перебрасываясь при этом с солдатами вольными шутками.

Наконец какой-то часовой на валу окрикнул всадников с характерным беарнским акцентом, несказанно обрадовав друзей.

— Свои, друг, свои! — закричал Лебре. — Господин Савиньон Сирано де Бержерак, первая шпага Парижа, и его старый друг Кола Лебре спешат пополнить ваши гасконские ряды славных гвардейцев.

— Проезжайте, — указал часовой. — Вот в той палатке найдете капитана. — И часовой с интересом стал рассматривать необычное лицо де Бержерака, о скандальных подвигах которого наслышался от своих товарищей, из-за фамилии считавших его гасконцем.

Капитан де Карбон-де-Кастель-Жалу, лихой рубака с двумя шрамами, крест-накрест пересекавшими лицо бравого воина, превыше всего после короля и кардинала ставил своих гасконцев и, узнав, что к нему в отряд прибыл сам Сирано де Бержерак, искренне обрадовался.

— Браво, господа! Именно вас и не хватало в этом лагерном болоте, где мухи на лету дохнут от скуки И особенно не хватало вас испанцам, которые, несомненно, мечтают испробовать на себе прославленную шпагу знаменитого де Бержерака. Входите в палатку, прошу вас, господа гвардейцы! Я полагаю, вам не повредит подкрепиться с дороги?

— Добрая фляга вина, а то и две всегда к месту, высокочтимый наш капитан, — заверил и за себя и за друга Кола Лебре, с трудом и нескрываемым удовольствием сползая с коня на землю. — Скажу вам откровенно, господин капитан, что между стулом и седлом предпочтение охотнее всего я отдал бы креслу.

Старый вояка, взявшись за бока, оглушительно захохотал.

— Не судите строго добряка Лебре, господин капитан, — сказал Сирано. — Он решил вступить в ваш отряд, чтобы сопровождать меня, беспокоясь за мою пустяковую рану пулей навылет, которую я не собираюсь прощать испанцам.

— Сирано де Бержерак, да еще обозленный на испанцев! Это немалое для нас приобретение! Но... я позволю себе вспомнить, что имею дело не только с отважным бойцом, о котором не смолкает слава, но и с поэтом-острословом. Нашим гасконцам, вернее теперь сказать, в а ш и м гасконцам, очень не хватает собственной песни, с которой они могли бы пойти рядом с вами в бой, господин Сирано де Бержерак.

— Вы хотите, капитан, чтобы я сочинил такую песню?

— Это будет вашим первым боевым ударом по враждебным вам испанцам! — с надеждой глядя на Сирано, сказал капитан.

— Идет! — весело отозвался Сирано. — Песня будет завтра же к утру. И мы вместе будем петь ее, идя на штурм!

— Браво, новый гвардеец! У вас есть чему поучиться, словно вы не ранены пулей, как о том сказали.

— Из-за угла, капитан.

— При осаде Музона, как я слышал?

— Восточнее, — неопределенно ответил Сирано.

Капитан щедро подливал вина в кружки. Кола Лебре раскраснелся и что-то пьяно напевал, а Сирано заметил:

— Скажу вам, капитан, что не вижу особой разницы в непомерной дозе вина и отмеренной дозе мышьяка.

— О! Вы, как всегда, острите, Сирано! Но, клянусь вам, перед боем остаться без вина — это все равно, что без него отобедать!

На следующее утро Сирано и Лебре явились в палатку капитана.

— Господин капитан де Карбон-де-Кастель-Жалу! — торжественно объявил Лебре. — Мой друг Сирано с присущим ему талантом поэта выполнил ваше поручение, я же, склонный в некотором роде к музыке, осмелился положить его зажигающие слова на известный мне простенький деревенский мотивчик, чтобы господа гвардейцы могли бы распевать песню, идя в бой.

Капитан, полусонный, вскочил, протер глаза, подкрутил усы и, напяливая ботфорты, потребовал, чтобы

друзья немедленно пропели ему «гимн гасконцев», как назвал он их совместное творение.

И ранним утром, едва осветило солнце остроконечные крыши города за крепостной стеной Арраса, из палатки капитана донеслось пение, сразу привлекшее внимание не только гасконских гвардейцев, но и встревоженных испанцев, появившихся на крепостной стене, чтобы понять, в чем дело.

А из палатки слышалась исполняемая в два голоса

ПЕСНЯ ГАСКОНЦЕВ

Наша родина — Гасконь!
Пусть сестрой нам станет шпага,
Нашим братом — чуткий конь,
Нашей матерью — отвага!

Жарким солнцем кровь полна,
Закипает у всех вместе.
Вдвое больше нам цена,
Если драться будем с песней!

Мы, гасконцы, не зверье,
Обменяться можно с нами.
У врагов сердца берем,
А свое подарим даме.

Мы сыны твои, Гасконь!
Нам сестрой надежной — шпага,
Добрым братом — быстрый конь!
Строгой матерью — отвага!

Строем едут трубачи,
Собирают птичек стаю.
Поздно ночью у свечи
Птички те на нас гадают.

А наутро грянет бой!
Рубим слева, колем справа!
Рвем косу у смерти злой!
Гром побед, гасконцам слава!

Стал отцом нам край Гасконь
И сестрою ловкой — шпага,
Ратным братом — верный конь,
Гордой матерью — отвага!
Шпага, конь, Гасконь, отвага!

Капитан обнял Сирано, потом Лебре, затем распахнул полог палатки.

— Петь, всем петь, господа гвардейцы! — скомандовал он.

И зазвучала песня, слова которой подсказывал Сирано, а запевалой стал, закатывая от усердия глаза, Кола Лебре.

Наша родина — Гасконь!
Пусть сестрой нам будет шпага!..

И конец песни, казалось, поет уже весь лагерь гасконцев.

Шпага, конь, Гасконь, отвага!

Однако уже на следующий день положение во французском стане внезапно осложнилось.

Свежие испанские войска под командованием инфанта, наследника габсбургского престола, зашли французам в тыл и отрезали осаждающих от Франции. Получилось своеобразных три кольца: крепостных, осажденных французами стен Арраса, кольцевого лагеря осаждающих и внешнего кольца испанских сил, в свою очередь, осадивших французские войска.

Подвоз боеприпасов, доставка пополнений и провианта для людей и лошадей прекратились. Повозки маркитанток опустели, и сами они как бы увяли, утратив весь свой задор и кажущуюся доступность. Голодные воины роптали, ибо солдатская храбрость, как известно, в желудке. Дух осаждающих и одновременно осажденных войск Франции грозил упасть.

Бежавшие к французам местные крестьяне донесли, что позади гасконцев капитана де Карбона расположились превосходящие их по численности войска генерала Гарсиа.

В час общего уныния Сирано де Бержерак явился в палатку капитана де Карбон-де-Кастель-Жалу.

— Господин капитан! Наши гасконцы готовятся есть собственные ботфорты, имеющие иное назначение, что вызывает у меня отвращение и, как мне кажется, не вяжется с хорошим воспитанием господ гвардейцев.

— А что ж нам делать с их крестьянским или дворянским происхождением? — развел руками капитан. — На такой чертовой пахоте, — и он указал рукой на изуродованное у крепостных стен поле все в черных полосах вырытой земли и язвах от пушечных ядер, — только человеческие кости вырастают!

— Прежде чем штурмовать стены Арраса, мне кажется, капитан, надо пробить кольцо блокады.

— А что! Мысль, право, недурна! — оживился ка-

питан. — Только вот у генерала Гарсиа людей втрое больше, чем у нас.

— Зато храбрости втрое меньше, притом испанцы на чужой земле, а она всегда горит под ногами!

— Я пошлю гонца к маршалу. Если он даст согласие, то включу вас, де Бержерак, в ударный отряд, который пойдет в бой с вашей песней.

— Благодарю, капитан, — поклонился Сирано. — Интересно, не тот ли это генерал Гарсиа, который командовал испанцами в Папской области?

— Я не представляю, господин де Бержерак, кто бы мог его там видеть, — отозвался де Карбон.

— Зато я знаю тех, кто встречался с его стрелками.

— У вас, надеюсь, будут все основания в этом удостовериться. Во всяком случае, если генерал Гарсиа со своим войском переброшен сюда из Италии, то, надо думать, дела Испании в затяжной войне нельзя считать блестящими, — сделал глубокомысленный вывод господин де Карбон.

— Я постараюсь, капитан, получить ответ на эти вопросы из первых уст, — снова поклонился Сирано де Бержерак и, церемонно сняв шляпу, удалился, произнеся обычное: — Ваш слуга!

Гонец гасконцев тотчас отправился верхом вдоль кольца осаждавших, чтобы получить у маршала разрешение на вылазку гасконцев.

Он вернулся только к вечеру, с простреленной шляпой, измученный и голодный, даже у маршала его ничем не угостили. Гонцом этим был Лебре.

Несмотря на усталость, он бодро воскликнул, оказавшись среди гасконцев:

— Виват! — Лицо его, всегда круглое и приветливое, сейчас хоть и осунулось, но в улыбку расплылось, как прежде, в добродушную и сияющую. — Разрешение на вылазку дано! Если бы у меня кто-нибудь спросил совета, то я приурочил бы наше нападение на испанцев ко времени их обеда. Мне очень хочется пообедать у их стола, даже не будучи приглашенным, ибо я обожаю испанскую кухню. У нас дома держали кухарку-испанку. Как она готовила! Как готовила! Усы проглотишь!

— Замолчи ты, сирена мифическая, только не в море плавающая, а в курином бульоне.

— Не говори при мне о курином бульоне! — вздохнул Кола.

Капитану де Карбону предложение Лебре показалось заманчивым.

— Клянусь своей шпагой, наши гасконцы уподобятся голодным львам, их в бой толкнет не только отвага и песня, но и желание пообедать. Готовьтесь, я сам завтра поведу вас всех!

Сигналом для прорыва блокады, как ни странно это покажется, стал не звук трубы или барабанный бой, а запах испанской кухни, доносимый ветром до изголодавшихся гасконцев.

С криком «Наша родина— Гасконь!» они бросились на расположение испанцев, которые действительно были заняты поглощением вкусно приготовленного обеда.

Генерал Гарсиа, бывший губернатор Мексики, разделял свою трапезу с неизменным своим помощником капитаном Диего Лопесом.

На столе, накрытом вышитой индейскими рукодельницами скатертью, заманчиво дымились зовущие к себе яства. Бывший губернатор ценил удобства и всюду располагался согласно укоренившимся привычкам. Так, на стене дома изгнанного крестьянина висел отнятый у индейцев майя и преподнесенный ему Лопесом ковер из птичьих перьев, вывезенный из сельвы, а на ковре красовался кривой и острый индейский нож мачете, без которого невозможно пробиться в дремучей чаще лиан, годившийся, кстати сказать, и в качестве метательного оружия. Так, капитан Диего Лопес так искусно метал его, что разрезал птицу на лету.

Не успели генерал с капитаном прикоснуться к блюдам, внесенным преданным капралом Карраско, как снаружи донеслась бравурная и незнакомая песня, шум, гам, а вслед за тем дверь в квартиру генерала распахнулась, и в нее ворвался Сирано де Бержерак.

— Шпага, конь, Гасконь, отвага! — крикнул он, грозя оружием.

Бывший тореадор Карраско во второй раз в жизни оказался безоружным перед «разъяренным быком», который на этот раз не поднял его на рога, а пронзил сталью.

Мгновенья было достаточно Диего Лопесу, чтобы выскочить из-за стола и обнажить шпагу.

В суеверном страхе он узнал в нападающем носатого защитника дома французского посланника в Риме. И этот французишка, несмотря на собственные похоро-



ны, снова жив и здоров! И он бросился на привидение как на исчадие ада, воплотившегося во врага, но шпага его, как от удара тяжелым рыцарским мечом у самой рукоятки, вырвалась из его руки и, со звоном разбив стекло, вылетела в окно.

Лопес проворно отскочил в сторону, подставив под удар своего генерала, который успел подняться и выхватить клинок.

Его шпагу Сирано не стал выбивать, он сразил тучного генерала прямым ударом в грудь.

Лопес же схватил с ковра из перьев мачете, которым так ловко владел в Америке, и метнул его в Сирано.

Реакция Сирано была молниеносной, он отклонился от смертельного удара, но острый изогнутый на конце мачете, с жужжанием вращаясь, все же скользнул по его лицу, начисто срезав на лбу, выше бровей выступающую часть носа. Кровь залила Сирано глаза. Он видел противника сквозь кровавую пелену.

Однако она не помешала ему нанести разящий удар, положивший конец преступной жизни Диего Лопеса, по которому плакал топор андалузского палача и кандалы каторжника в Генуе, не говоря уже о проклятиях коренных жителей Америки за его гнусные деяния, которые губернатором Мексики Педро Гарсиа преступлениями не считались.

В дверях показался Лебре.

Сирано сорвал с груди убитого генерала салфетку и приложил ее к своему изуродованному лбу.

— Надо остановить кровь! — закричал Кола. — У меня есть отличная мазь, этот бальзам приготовляла кухарка, которая, возможно, была испанской ведьмой. Помнишь, еще в детстве мазь останавливала кровь, когда мы разбивали носы?

Лебре выхватил из кармана склянку с бальзамом и проворно сделал повязку Сирано, которая почти закрыла ему глаза.

Все же он не захотел остаться в доме, когда снаружи доносился шум еще не кончившегося боя.

Он выскочил наружу и вместе с гасконцами стал теснить расстроенные ряды испанцев.

Потеряв командиров, не получая приказов, те все больше терялись, стали отходить и наконец обратились в бегство.

Тем временем и другие французские части пришли на помощь гасконцам, расширяя прорыв.

Французы захватили много пленных, обходясь с ними по-рыцарски, в особенности с поварами, которым отдавали должное за их поварское искусство, оставив их трудиться у захваченных кухонь.

Лебре повел Сирано, держа его за руку, поскольку повязка сползла ему на глаза, в «генеральскую хижину».

— Обед ждет нас, Сави, он может остынуть, — убеждал он. — Ты завоевал его в честном бою и обрел на него неоспоримое право! «Наше право, наша слава!» — пропел он.

И оба приятеля, несмотря на рану Сирано, сели за стол. Голод оказался сильнее боли, а запах пряных блюд действовал, как ныне сказали бы, подобно обезболивающим средствам.

Снаружи доносилась песня гасконцев:

Стал отцом нам край Гасконь!
И сестрою ловкой — шпага,
Ратным братом — верный конь,
Гордой матерью — отвага!

— Шпага, конь, Гасконь, отвага! — крикнул Лебре, поднимая налитый еще генералом Гарсиа бокал доброго испанского вина.

Через разбитое вылетевшей наружу шпагой Лопеса окно было видно, как проезжали маркитантки в повозках с полукруглым верхом из цветных полос, везя во французский лагерь долгожданное продовольствие.

### Глава шестая

## ШЛЯПА КОРОЛЯ

*Хитрость порой может заменить ум, но хитрость даже вместе с умом никогда не станет мудростью.*

По Сократу

За день до появления Мазарини в Мовьере, едва Жозеф Ноде добрался до дворца кардинала Ришелье и был незамедлительно принят им, между ними произошел многозначительный разговор.

Ришелье выслушал сообщение Ноде о том, как он выполнил поручение господина Ноаля и доставил во Францию синьора Кампанеллу и сопровождающего его тяжело раненного испанской пулей господина Сирано де Бержерака.

Когда же речь зашла о том, что Кампанелла и раненый юноша путь по Папской области до устья Тибра проделали в гробах, крышки с которых сняли лишь в открытом море, кардинал Ришелье нахмурился, встал из-за стола, сбросив привычно примостившегося у него на коленях кота, и стал расхаживать по кабинету так, что полы его пурпурной мантии стали развеваться.

— Весьма скверные новости привезли вы мне из Италии, господин Ноде, — сказал он, выслушав доклад. — В ваших книгах, которые мне привелось читать, все устраивалось много лучше, чем получилось у вас на деле.

— Но, ваше высокопреосвященство, — забормотал смущенный Ноде, — оба беглеца благополучно прибыли во Францию, и синьор Кампанелла привез с собой письмо святейшего папы Урбана VIII, адресованное вам лично, которое обязан вам вручить он сам, как повелел папа.

— Прискорбно, что я не имею на руках этого письма, — опять недовольно заметил Ришелье. — Однако цепь логических построений позволяет мне прочесть его на расстоянии.

— Ваше высокопреосвященство! Такое деяние доступно лишь вашему высокому уму.

— Какой же вы писатель, господин Ноде, если не сможете представить себе, что МОГ написать святейший папа, направляя мне письмо с освобожденным узником после его тридцатилетнего заключения?

— Увы, ваше высокопреосвященство, я должен признаться, что моего воображения недостаточно.

— Здесь требуется отнюдь не воображение, почтенный Ноде. Во всяком случае, я благодарю вас за выполнение поручения нашего посланника в Папской области господина Ноаля, который получит повышение и, — он обернулся к стоявшему за его креслом Мазарини с опущенными вниз глазами, — ПЕРЕВОДИТСЯ ОТНЫНЕ в далекую Россию французским послом при московском царе, притом со всем штатом нашего представительства в Риме. Чтобы ни одного человека из бывших при Ноале там не осталось.

— Слушаю, ваше высокопреосвященство, — поклонился Мазарини.

— А вас, господин Ноде, я тоже хочу наградить направлением в качестве советника к губернатору Новой Франции, где вам, надеюсь, удастся написать книгу по нашему заказу о тамошних краснокожих аборигенах, с кем мы имеем военный союз в борьбе против английских колоний.

Ноде поник головой. Мало того, что ему придется пересечь океан, отправляясь на край света, именуемый Новой Францией, претерпеть в пути все ужасы морской болезни и, увы, не скоро вернуться к домашнему уюту. Словом, будучи в достаточной мере проницательным, он не без юмора поставил себя рядом с египетским владельцем фелюги, который получил дополнительно 500 пистолей за молчание, а он, Ноде, — горькую милость всесильного кардинала.

И бедный Жозеф Ноде рассыпался в благодарностях за полученное новое поручение, которое проклинал в душе.

Но, отнюдь не лишенный писательского воображения, вопреки замечанию Ришелье, он догадался, что кардинала, видимо, устроило бы не благополучное возвращение во Францию Сирано де Бержерака в сопровождении Кампанеллы, а их гибель в пути...

Но умный Ноде о такой своей проницательности не подал и виду, расплываясь в почтительной улыбке на своем полном и добродушном лице.

Ничего не поделаешь, придется плыть через океан к индейцам и захудалому губернатору колоний.

Ришелье, отпустив незадачливого писателя, призвал Мазарини и срочно направил его в Мовьер для уже известного нам поручения, а сам приказал подать себе карету для поездки в Лувр к королю, чтобы застать его там раньше, чем он отправится на охоту с ловчими птицами.

Король не слишком обрадовался непредвиденному появлению кардинала, он вышел к нему в охотничьем костюме, с недовольной физиономией, вытянув вперед шею.

— Рад вас видеть, кардинал, — сказал он. — Надеюсь, у вас хорошие новости, а не надоевшие мне жалобы на моих мушкетеров, умеющих держать шпаги в руках. Или вы в чем-то сомневаетесь?

— Я никогда не сомневаюсь, имея дело с вами, ваше величество, — низко поклонился Ришелье.

Такие слова и тон кардинала польстили Людовику XIII, но одновременно и насторожили его.

— Так что у вас там приключилось, если нужно задерживать меня перед выездом на охоту, которая развеет мою несносную скуку?

— Ваше величество! Я никогда не решился бы напрасно обеспокоить вас. Тем более когда речь идет о вымирающем искусстве охоты с ловчими птицами.

— Что верно, то верно, Ришелье. Не думаю, что меня в этом деле мог бы заменить кто-нибудь из здравствующих ныне государей.

— Ваше величество! Не только государи, никто на свете из ныне живущих не сравняется в столь славном деле с вашим величеством.

— Ну, кардинал, не иначе как кого-то из ваших гвардейцев проткнули шпагой. Говорите — кого и кто. Прикажу повесить.

— Нет, ваше величество, на этот раз дело идет лишь о пышной церемонии в вашем дворце.

— Это уже интересно. Пышной, говорите? И это может развлечь?

— Несомненно, ваше величество, если вы согласитесь дать большую аудиенцию в присутствии всего двора и всех иностранных послов посланцу самого святейшего папы Урбана VIII.

— Вот как? С чем же папа прислал его к нам?

— Он привез важнейшее письмо. Будучи сам пожизненным узником, еще тридцать лет назад готовившим восстание против испанской короны...

— Опять Испания? Она уже надоела мне. Война с ней ваше дело, кардинал, на то вы и генералиссимус.

— Но речь идет не просто об Испании, ваше величество, а о признании в вашем лице первого из всех католических королей.

— Вот как? Кто нас признал таковым?

— Сам святейший папа Урбан VIII, освободив вдохновителя антииспанского заговора и прислав его со своим личным посланием во Францию.

— Сколько же просидел в темнице этот гонец?

— Около тридцати лет, ваше величество. И перенес из-за испанцев необыкновенные мучения. Это святой монах Кампанелла.

— Никогда не слыхал. Но папе виднее. Если он его освободил в пику испанскому королю, хоть тот и родственник нашей супруги Анны Австрийской, все равно это нам приятно.

— Ради лишь этого чувства, ваше величество, я рекомендую вам дать этому гонцу святейшего папы большую аудиенцию.

— А это не задержит моей охоты?

— Что вы, обо всем позабочусь я сам, во дворец будут приглашены все вассалы, и преданные, и строптивые, даже пользующиеся дарованными им шляпными привилегиями на приемах.

— Вам непременно нужно, чтобы кто-то остался при мне с необнаженной головой?

— Ваше величество, я просто хочу поставить их в самое для них затруднительное положение.

— Как это вы сделаете?

— Об этом я могу лишь шепнуть вам на ухо, — сказал Ришелье. Оглянувшись, он подошел к королю и произнес шепотом несколько слов, потом добавил уже громко: — А что им останется после этого делать?

Людовик XIII расхохотался:

— Вы неоценимый человек, кардинал! Я не знаю, чем вас наградить за такую выдумку. Эвоэ! Виват! Хорошо, готовьте торжественную аудиенцию. Посмотрим на этого бедного монаха. Вот удивится-то! Да и не он один! — И король опять захохотал.

Ришелье был доволен. Все оборачивалось так, как он хотел.

Он даже без своей обычной осуждающей улыбки наблюдал в окно, как со двора выехала кавалькада королевской охоты с сокольничими, держащими на кожаных перчатках с крагами хищных птиц с колпачками на головах.

Король тоже надел такую перчатку, и ему передали самого крупного и ловкого из соколов.

В назначенный Ришелье день, когда Мазарини должен был привезти Кампанеллу в Лувр, во дворце собирались даже издалека приехавшие вассалы, не говоря уже о придворной знати, обретавшейся в Париже.

Приемный зал наполнился роскошно одетыми вельможами и прекрасными дамами в самых модных туалетах со сверкающими драгоценностями, а перья на муж-

ских шляпах соперничали с ними в пышности и яркости.

По условию приема все были в шляпах. Очевидно, это связывалось с какой-то особенностью великосветского сборища, устроенного кардиналом с согласия короля.

Королева в сопровождении приближенных к ней дам, опять же по предусмотренному кардиналом ритуалу, вышла раньше супруга и сразу осветила своей необыкновенной красотой, оттененной простотой и изяществом наряда, весь зал.

Вельможи зашушукались, приветствуя королеву снимание шляп.

Наконец наступила торжественная минута, ждали выхода короля. Но он задерживался, ибо не было сигнала о приближении кареты с Мазарини и римским гостем.

Мазарини сидел в карете рядом с Кампанеллой и вел с ним многозначительную беседу.

— Отец Фома! Великий кардинал Ришелье предоставил вам убежище во Франции в надежде, что вы ему ответите признательностью и послушанием.

— Признательность моя исходит от сердца, монсиньор, но что вы имеете в виду под послушанием?

— Мне кажется, что не все ваши произведения восхищают его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье. Быть может, в последующих своих сочинениях, которые вы напишете здесь на свободе, не зная забот и трудностей существования, вы разъясните некоторые положения, высказанные вами в трактате о «Городе Солнца»?

— Что там требует разъяснения на ваш взгляд, синьор Мазарини?

— Его светлость, как высший блюститель нравов, обеспокоен толкованием предложенной вами «общности» жен в вашем Городе.

— Ах, боже мой! Конечно, в том моя вина! Неверно толковать употребленное мной слово «общность» как использование одной жены несколькими мужчинами. Это вульгаризация, монсиньор! Я лишь предоставляю свободу выбора в равной степени и мужчинам и женщинам, а вовсе не узакониваю распущенность. Напро-

тив, нравы должны быть строгими, но в то же время не исходить из вечного права собственности супругов друг на друга, освященного церковью.

— Вы восстаете против брака, начало которому господь положил еще с Адама и Евы.

— Если вы обращаетесь к священному писанию, то можете вспомнить, что господь допустил после гибели Содома и Гоморры, чтобы род человеческий был продлен с помощью дочерей, а не жены спасенного Лота, превращенной в соляной столб. Как известно, они, подпоив отца, поочередно соблазняли его, чтобы понести от него и не дать человеческому роду прекратиться.

— Ну знаете, отец Фома, на вашем месте я не приводил бы таких примеров, — возмутился Мазарини.

— Но разве не более цинично восприятие «общности», то есть «непринадлежности» жен, как призыва к распутству? Очевидно, нужно какое-то другое слово, которое исключило бы всякое иное толкование, кроме истинного.

— Вам предоставится возможность найти любые слова, чтобы разъяснить, что в Городе Солнца вы имеете в виду отнюдь не общность всего имущества, что противоречит всем законам — и человеческим и божеским.

— Общность имущества (здесь не надо искать другого слова!) должна быть полной, монсиньор. Беда, если дом или конь, поле, колесница или лодка могут принадлежать одному, а не другому, зарождая в нем зависть. Не должно существовать понятий: «это твое», «это мое»! Человеку может принадлежать только то, что на нем в условиях природы. Иначе зародыши «зла собственности» расцветут бесправием и тягой к преступности, к нищете и богатству, к праздности и страданиям и сведут на нет преимущества жизни в подлинно свободном от всех зол обществе.

— Мне трудно переубедить вас, отец Фома. Но я хотел бы предупредить вас, что не эти обреченные мечты, а заслуги противоборца испанской тирании вывели вас из темницы и вводят сейчас в королевский дворец Франции.

— Вы огорчаете меня, синьор Мазарини. Я надеялся, что монсиньор Ришелье разделяет мои убеждения, если просил папу о моем освобождении.

— Вы глубоко заблуждаетесь, отец Фома. Кардинал Ришелье не обращался к святейшему папе с такой

просьбой. Папа Урбан VIII освободил вас по своей великой милости, из сострадания. Что же касается молодого человека, защищавшего вас, то он был прислан в Рим, поскольку кардинал Ришелье предвидел ваше освобождение. И если вам будут оказаны какие-либо знаки внимания, то отнесите их не к своим необузданным мечтам, а только лично к себе.

— Мудрейший синьор Мазарини, я должен признаться вам, что эти мечтания и составляют мою сущность. По крайней мере, так понимает меня господин Сирано де Бержерак, которого монсиньор Ришелье нашел нужным прислать за мной.

— Ничего не значащее совпадение. Этот молодой человек известен в Париже как крайне необразованный и тупой буян. Он мог вам наговорить немало глупостей, забывая, что он только солдат со шпагой, не больше.

— Как странно, — заметил Кампанелла. — Он произвел на меня иное впечатление.

— Первое впечатление всегда обманчиво, отец Фома.

— Я привык думать наоборот, монсиньор.

— Вам придется отказаться от многих своих былых привычек.

— Но, обретя теперь свободу в вашей прекрасной стране...

— Мы с вами земляки, синьор Кампанелла. Эта страна действительно прекрасна, если к ней должным образом относиться.

— Я хочу лишь воспользоваться ее гостеприимством, чтобы издать свое собрание сочинений.

Мазарини пожал плечами и загадочно произнес:

— Сколько успеете, отец Фома. Долгой вам жизни на свободе *.

Карета въезжала в Лувр.

Мечта господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака неожиданно осуществилась. Его в убогой квартирке на окраине Парижа нашел посланец Мазарини и пригласил присутствовать «в шляпе» (как было сказано в письменном приглашении) на большой аудиенции в Лувре. (Оказывается, Ришелье наперечет

* Прожив свои последние годы во Франции, Кампанелла успел издать лишь первые тома своего задуманного собрания сочинений.

знал тех, кому дарована безумным королем «английская привилегия»!)

Это вызвало необычайное оживление в доме господина Абеля. Он пошел на немалые траты, чтобы приобрести (из основного капитала!) нарядную одежду, особо крикливую шляпу с перьями, вызвать портных, которые сбивались с ног, прилаживая новые камзол с шитьем и кружевные панталоны на грузную фигуру бывшего «владетельного сеньора». Его багровое, словно высеченное из красного песчаника, квадратное лицо было оживлено, и бедная Мадлен, а также дети, старший сын и дочь, издергались из-за капризов господина Абеля за эти предшествующие его «восшествию в Лувр» дни.

Конечно, понадобилась и стоившая уйму денег шпага, которую «королевский писец», пожалуй, впервые в жизни взял в руки.

В таком виде, провожаемый всей семьей, и отправился он (для экономии) пешком через весь город в Лувр, делая вид, что он прогуливается.

Конечно, в числе приглашенных туда на торжественный акт большой аудиенции были граф и графиня де Ла Морлиер и состоящий при них маркиз де Шампань.

Предок мужа графини Мишеля де ла Морлиер получил в тяжелое для Франции время по прихоти угодного англичанам безумного короля Карла VI право не снимать шляпы перед французским королем в знак заслуг перед английской короной.

Сам Мазарини письменно от имени кардинала Ришелье напомнил графу о возможности показать перед всеми себя как особо привилегированного по сравнению с другими дворянами, и потому он был сегодня особенно напыщен и чем-то напоминал индейского петуха из числа тех, которые недавно появились во Франции, вывезенные из заморских колоний в Америке.

Был он тучен до невозможности и по сравнению с маркизом де Шампань казался горой рядом с мышью. При его завидном росте шляпа, украшенная отборными перьями, возвышалась над всеми. И головные уборы других вельмож, обладающих подобной же «шляпной привилегией», тонули в толпе. Их и не было видно.

— Ну, мадам, — шептал маркиз де Шампань, — сегодня и на вас, а следовательно, и на меня падет сияющая тень не снятой перед королем шляпы вашего достойного супруга.

— Ах, маркиз, я умираю от любопытства, чем все это вызвано?

— Ах боже! Это уже известно всему Парижу, я был в двух или трех салонах, где об этом только и говорят.

— Что же там говорят, почему вы молчите?

— Я не могу молчать, графиня, я никогда не молчу, в этом моя особенность, мой дар и мое несчастье, если хотите!

— Я хочу, чтобы вы не молчали. Именно этого хочу.

— Извольте. Весь парижский свет говорит о причуде его высокопреосвященства, который представит королю человека, желающего отменить браки и сделать всех дам доступными любым мужчинам.

— Боже, какой ужас! — воскликнула графиня. — Впрочем, в этом что-то есть.

— Конечно, есть, графиня, все с вожделением ждут такого указа короля. Однако общими должны стать и дворцы, и сундуки с золотом, земли и замки — словом, все, чем вы обладаете, как никто другой.

— Я обладаю и еще кое-чем.

— Это останется при вас, а вот имущество...

— Ах оставьте, маркиз! Я могла бы еще подумать, чтобы стать «общей» для избранных, но не нищей же!..

— Предвижу смуту, сударыня.

— Неужели король примет подобного смутьяна?

— Примет и, как видите, у всех на глазах.

— Мне кажется, я потеряю сознание.

— Я поддержу вас, положитесь на меня.

— Мне уже душно, где мой веер?

— Он у вас в руке, мадам. А я — рядом.

И тут открылись парадные двери зала, в них показался торжественный церемониймейстер двора с посохом, увенчанным тремя лилиями.

— Его величество король Людовик XIII, — громогласно провозгласил он.

В нарядной шляпе, украшенной перьями, вошел король обычной своей порывистой походкой, вытянув вперед шею.

И как по мановению незримой силы множество шляп первых вельмож Франции, даже приехавших к этому дню издалека, взвились вверх и опустились к самым ногам, чтобы проделать замысловатые, заимствованные, кстати сказать, у испанцев движения.

Король гордо шел в своей вызывающе пышной шляпе, зорко поглядывая по сторонам, чтобы убедиться, все ли обнажили перед ним головы.

Только три человека остались в шляпах: потомок егеря, спасшего в пору английских завоеваний безумного короля на охоте, полузабытый дворянин Абель де Сирано, герцог Анжуйский, чьи предки отстояли это право при присоединении Анжу к Франции, и граф де Ла Морлиер, похожий на башню, увенчанную вместо крыши головным убором, столь же аляповатым, как и у господина Абеля-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака.

Придворные состязались друг перед другом в изяществе поклона перед королем, все, кроме упомянутых вельмож, которые ограничились лишь сотрясанием перьев на шляпах.

Через зал была проложена ковровая дорожка, по которой и шествовал король, сопровождаемый присоединившейся к супругу королевой и кардиналом Ришелье. Закинув голову, тот ястребиным взором окидывал все вокруг.

Не дошел король и до половины зала между расступившимися придворными, как открылись противоположные двери, и там появились два монаха в серых сутанах, смиренный будущий кардинал Мазарини и на шаг впереди него тревожно озирающийся, полуослепленный дворцовым блеском, недавний вечный узник Кампанелла.

И тут произошло невероятное.

Король обнажил голову перед скромным монахом, выражая тем самое высокое уважение, которое, если верить истории, короли вообще никому не оказывали.

Получилась невероятная ситуация. Весь зал, весь цвет французской знати стоял перед былым вечным узником, итальянским монахом с обнаженными головами, все, все, кроме... трех вельмож, имевших привилегии не обнажать головы перед королем. Перед королем! А если сам король обнажил?

— Снимайте шляпу, ваше сиятельство, — зашипел мужу своей любовницы маркиз де Шампань. — Делайте, как король!

Граф де Ла Морлиер не обладал быстротой соображения. Пока до его ума дошли слова маркиза, герцог Анжуйский, бывший в шляпе при выходе короля, об-

нажил голову. Теперь и графу де Ла Морлиер не оставалось ничего другого, как последовать его примеру.

Кардинал Ришелье, хоть и смотрел на Кампанеллу, все же заметил замешательство обладателей вредной «шляпной привилегии», запоздавших обнажить в конце концов свои головы. Последним с видимой неохотой снял так дорого стоившую ему шляпу обескураженный господин Абель-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак.

Кампанелла меж тем подошел к Людовику XIII и выразил ему свою величайшую преданность и признательность, затем он попросил разрешения передать монсиньору кардиналу Ришелье письмо святейшего папы Урбана VIII.

Ришелье взял пакет, благословив монаха, вскрыл печати и быстро пробежал папское послание.

— Так и есть, ваше величество, волею господа я предугадал содержание послания наместника св. Петра. Святейший папа не ошибся, выбрав Францию местом своего доверия.

Так французский монарх вместе с жесточайшим правителем Франции кардиналом Ришелье и всей французской знатью, оплотом реакции и абсолютизма, встречали с обнаженными головами первого коммуниста Европы Томмазо (Фому) Кампанеллу, автора великого «Города Солнца», послужившего столетия спустя одной из вех при разработке путей в коммунистическое завтра человечества.

Ришелье же утвердился в глазах всех как лицо, пользующееся особым вниманием папского престола. Вся эта задуманная им церемония дала ему повод отменить во имя королевского величия устаревшую, заимствованную у англичан «шляпную привилегию», унижавшую королевское достоинство. Отмена эта способствовала еще большему утверждению абсолютизма, впоследствии забытая историками из-за своей незначительности.

Что же касается королевского писца господина Абеля-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака, то он, хотя и осуществил свою заветную мечту не снять шляпу перед королем, в Лувр больше никогда не приглашался.



# ЭПИЛОГ

*Коварство может обмануть ум, но не заменить его.*

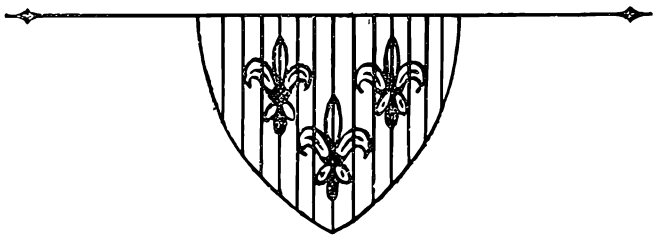
Сократ

Франция тем временем, участвуя в Тридцатилетней войне, как ее впоследствии назвали, обретала среди истощенных ею стран «европейскую гегемонию», что приписал себе в заслугу кардинал Ришелье, достигнув высшей власти и всеобщего почитания, хотя до конца войны было еще далеко. Тенью на этой славе он считал лишь вынужденное наглым де Бержераком его участие в освобождении Кампанеллы, взгляды которого, выраженные в «Городе Солнца», возмущали апологета абсолютизма. И он сделал все возможное, чтобы требуемое молчание знающих, включая самого Сирано, позволило бы современникам поверить, будто освобождение вечного узника исходило только от папы Урбана VIII, вызванное его антииспанскими настроениями. Однако Ришелье допускал, что истина может стать известной в будущем. Мазарини подсказал ему надежный способ исключить это. Он затребовал в порядке ватиканской ревизии церковные книги местечка Мовьер, где приходским священником был знакомый нам кюре. Тот не сразу заметил подмену в возвращенных книгах записи о рождении и крещении Савиньона, сына господина Абеля-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака, а, обнаружив ее, встревожился, хотя не видел никакого практического смысла в этой ошибке. Он оставил эту неверную запись в церковной книге без последствий, не желая привлекать внимания Ришелье и Мазарини к ложе доброносцев, где кюре считался мастером. Путаница с крещением Сирано выяснилась лишь после его кончины, когда его друг детства Кола Лебре готовил предисловие к его посмертному изданию «Иного света», обнаружив по документам, что, всю жизнь бывший его сверстником, Сирано по записи на пять лет его моложе! Сирано во время своей бурной жизни, конечно, не подозревал о способе сделать его участие в освобождении Кампанеллы невозможным из-за якобы слишком юного его тогда возраста. Сказаться это, как рассчитал Мазарини, могло лишь на последующих историках, которым истинная роль Сирано не будет понятна.

*Конец второй книги*

# *Книга третья*

# ИНОЖИТЕЛЬ



НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН-ГИПОТЕЗА
В ТРЕХ ЧАСТЯХ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ
О НЕВЕРОЯТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ЛИХОГО ДУЭЛЯНТА
В ФИЛОСОФА И ПИСАТЕЛЯ,
ОБЛАДАЮЩЕГО ЗАГАДОЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ ГРЯДУЩЕГО

•

*Природа не знает мифов, но мифы воспевают природу.*

Сократ

# ПРОЛОГ

*Воображение — вот крылья, поднимающие человека над обыденностью.*

Сирано де Бержерак

Когда мой роман о юном Сирано де Бержераке был уже завершен и я готовился перейти к следующему роману о нем, мне позвонили по телефону из Союза писателей, а потом из Общества «Франция — СССР» по поводу того, что со мной хочет встретиться французский журналист, сотрудник журнала, органа общества.

Свидание наше должно было состояться в Доме дружбы, причудливый фасад которого виден с Арбатской площади.

Я люблю старую Москву и, направляясь к Арбату, намеренно шел по староарбатским переулкам, еще сохранившим домишки «о трех окнах», всегда так привлекающие внимание наших зарубежных гостей. Ведь великолепные многоэтажные «здания под облака» они видят и у себя на Западе, а домики, сделанные целиком из дерева, поражают их, как видения из старой сказки.

Старой сказкой показался мне в свое время и Париж, когда четверть века назад я бродил по нему, как бы прикасаясь к истории, и когда мои французские друзья подсказали мне мысль написать о Сирано де Бержераке.

И сейчас я шел на свидание с французом уже в Москве в предвкушении новых подробностей из жизни удивительного человека, который словно побывал в нашем времени, а потом снова вернулся в эпоху жестоких кардиналов-правителей, бездумных королей, дворцовой роскоши и крестьянской нищеты.

Имя Сирано де Бержерака взял для своей героической комедии Эдмон Ростан, а в дни гитлеровской оккупации Франции оно появилось в заголовке подпольной газеты бойцов Сопротивления.

Такова притягательная сила неистового современника д'Артаньяна, прославившегося не только шпагой, как тот, но и остротой своих поэтических произведений и философских мыслей. Я мысленно видел их скачущими рядом на конях.

Наш французский гость сразу расположил меня к себе, склонный к юмору, невысокого роста, подвижный, черноволосый, с темными горящими глазами, с веселой белозубой улыбкой и быстро меняющимся выражением продолговатого лица.

Полушутливо он сообщил, что его зовут почти как Жюля Верна — Жюль де Вернон, и это непременно должно расположить меня, фантаста, к нему, как расположен он сам ко мне из-за своей жены, русской француженки, правнучки бывшего князя Шаховского Елены Шаховской, имя которой (как он знает!) я использовал в своем романе «Льды возвращаются».

— К сожалению, льды вернулись в международные отношения, — заметил он. — Суть вашей фантазии в том, что льды эти действительно должны вернуться, но на свои прежние места, как во времена потепления. Я хочу верить в это, ибо «безумию разума» невозможно восторжествовать. Человечество не должно следовать примеру несчастных китов, которые порой все вместе выбрасываются неведомо отчего на сушу, чтобы сообща погибнуть.

С присущей ему манерой перескакивать в разговоре с одной темы на другую он вспомнил, что первая русская летчица тоже была Шаховская, а потом спросил:

— Но как вы угадали ее, мсье Алекс?

— Кого? Летчицу?

— Нет! Мою жену! Неужели повидались с нею в Париже?

Он сносно говорил по-русски, с милым мягким акцентом, объяснив, что изучил этот язык, влюбленный в свою будущую супругу.

— Нет, мне не привелось столкнуться с вашей супругой. Я лишь встретился там с такими людьми, как Жак Бержье, Эме Мишель, рассказавшими о Сирано де Бержераке. Они натолкнули меня на мысль написать о нем и помогли впоследствии еще больше узнать о нем.

— Ба! — воскликнул француз. — Как вы могли о нем узнать, когда никто о нем ничего толком не знает! А, догадываюсь, мсье Алекс! Вам способствует свойство моего великого «почти тезки», кажется, так правильно сказать по-русски?

— Если вы имеете в виду воображение, которое отличало вашего великого французского фантаста, то без этого дара действительно не написать романа, как и нельзя представить себе то, чего нет, или создать нечто новое. Ведь воображение и отличает человека от всего остального животного мира.

Жюль предложил мне пройтись по вечерней Москве, признавшись с улыбкой, что он страстный пешеход и дома не может успокоиться, если не пройдется по парижским бульварам и не посидит за вынесенным из кафе столиком.

Мы оделись и вышли на Арбатскую площадь. Предвидя интерес к старым московским домикам, я предложил Жюлю наши бульвары и старинные переулки.

— О нет, нет! — неожиданно возразил наш гость. — Покажите лучше мне ту вашу улицу, которая называется «Сделанная телега», «Сверкающая колесница», «Новая арба», которая проламывает путь из прошлого в будущее.

Я не сразу понял его, но наконец догадался, что французу нужен Новый Арбат — проспект Калинина с его огромными домами-книгами, как назвал их Жюль, «со строчками окон, по которым можно читать о будущем». Говоря так, он рассмеялся, обнажив белые зубы под черными усиками.

— Это восхитительно! — энергично жестикулировал он руками. — Смотрите! Прошлое и будущее существуют у вас рядом. Эти дома-громады вытесняют старые каменные мешки своими многоэтажными плечами, а бывшие великаны упираются, не хотят уходить в забвение. Эта улица должна особенно привлекать вас, мсье Алекс.

— Почему? — удивился я.

— О-о! — погрозил он мне пальцем. — Вы совсем не зря обратились к истории. Вы хотите, чтобы ваша фантазия работала и на будущее и на прошлое. Правильно, мой друг! Что такое история? Это фантазия, обращенная назад! Каждый видит ее по-своему, поскольку «машины времени» для путешествия в прошлое нет, иначе я был бы Сирано де Бержераком, посетившим вас.

— Вы правы, Жюль. Прошлое дает пищу для фантазии не меньшую, чем будущее. Роль же «машины времени» играет воображение. Кстати, вы знакомы с каратэ?

— О-о! Еще бы, иначе я не был бы чемпионом Франции по фехтованию.

— На саблях?

— Нет, что вы! Конечно, на шпагах!

— А не потому ли Сирано так искусно владел шпагой, что знал, как и вы, приемы, сходные с каратэ?

— Браво! Может быть, может быть! На все надо смотреть с высоты. И потому вам придется провести меня сейчас через вашу Сену по мосту.

— Через Москву-реку.

— О да, конечно! У вас Москва-река! А Сена — это «Париж-река»! — И он засмеялся. — О-о! Я узнаю этот отель! «Украина»! Я в нем остановился. Моя жена так велела. Она тоже здесь останавливалась. Может быть, вы с ней здесь виделись?

— Уверяю вас, мьсе Жюль. Имена моей героини и вашей супруги чистое совпадение.

— Ну может быть, может быть! Она отдает свой голос коммунистам, а я — социалистам. Мы ссоримся.

— Ссоритесь?

— О да, конечно! Настоящее семейное счастье — это 80 процентов терпения, 10 процентов ссор и 10 процентов безоблачного счастья! А совсем без облаков не будет дождя, засуха. Тоже плохо. Не правда ли? Я вас весьма замучаю прогулкой на ту самую горку, откуда Москва видна, как Париж с Эйфелевой башни.

— Вы имеете в виду площадку на Ленинских горах напротив нового университета?

— О да, конечно! И вы не пожалеете, показав мне такой вид. В оплату вашей любезности я расскажу вам кое-что о себе, вернее о Сирано, поскольку у меня тоже есть фантазия, позволяющая путешествовать в прошлое... и обратно, — загадочно добавил он.

— И он так близок вам, Сирано де Бержерак?

— Конечно! Я даже влюблен в свою русскую княжну именно так, как мог влюбиться только Сирано де Бержерак. «Когда ты входишь, солнце меркнет!..» — продекламировал он.

— Вы имеете в виду ростановского Сирано, стихи Ростана?

— О нет! Совсем нет! Я имею в виду самого Сирано

де Бержерака, «стихи влюбленного поэта». Если вы будете рассказывать о нем, то должны передать его страстное желание любить.

— И он любил?

— О да, конечно! Иначе не могло быть! Я, как никакой другой, очень хорошо его понимаю. Больше, чем знаю.

— Это любопытно. Больше понимать, чем знать?

— Конечно, я ведь могу признаться, куда он исчезал один или два раза из парижского общества.

— Один или два раза? Из-за болезни или ран?

— Может быть, может быть. Но он каждый раз возвращался другим, совсем другим. Вот это надо понять! О нем пишут столько нагромождений, столько противоречностей... Я, кажется, не так сказал?

— Противоречий?

— О да, конечно! Противоречий! Так правильно. Один биограф утверждает, что он был кутила и дамник, то есть бабник, простите, я так говорю? Другой, а это его друг детства Никола́ Лебре, вспоминает, что Сирано вино сравнивал с мышьяком, которым люди отравливают себя, и чуждался женщин из-за своей внешности.

— Но все-таки, может быть, Ростан был прав, угадав в нем натуру страстную и бескорыстную.

— О да, может быть, может быть, если учесть и другие стороны его характера, желание служить добру и людям, а не только утоление своих желаний. Вам надо искать понимание его жизни в нем самом, в том, что он оставил после себя людям. О эти загадочные трактаты или сонет «Философу Солнца» с последней строчкой «Мне — ничего, а все, что есть, — другим!». Мы с вами, русский и француз, в равном положении. Его сочинения нужно одинаково переводить со старофранцузского языка. А это у нас, увы, не сделано полностью. В особенности в отношении стихов, а вам нельзя обойтись без них! Они его суть. Как вы поступите, мсье Алекс?

— Очевидно, так же, как ваш Ростан. Придется мысленно воплотиться в своего героя и говорить за него.

— О, это будет трудно — спорить с самим Ростаном!

— Нет, почему же спорить? Идти его путем. Конечно, не подражая, но с той же свободой творчества. К то-

му же, я располагаю собственноручно написанными стихами Сирано под его портретом.

— О-о! Это прекрасно! Я сам буду потом переводить угаданные вами стихи Сирано на современный французский язык.

— Конечно, Сирано — это его стихи, но есть еще его загадочные знания, о которых говорится в статье Эме Мишеля в журнале «Сьянс э ви» *.

— Я знаю эту статью, читал с улыбкой.

— Почему с улыбкой?

— Потому что могу объяснить, откуда Сирано все это узнал.

Жюль с загадочным видом смотрел на огни, рассыпанные на другой стороне излучины реки. Они казались волшебным отражением звездного небосвода в исполинском, лежащем у нас под ногами зеркале.

— И вы можете объяснить мне? — почему-то шепотом спросил я и стал перечислять: — Как Сирано мог знать 350 лет назад многоступенчатые ракеты для межпланетных путешествий, явление невесомости, парашютирующий спуск, электрические лампы, радиоприемники, телевидение, звукозапись, но не с помощью наших кассет с магнитными лентами, а в виде сережек, начинающих нашептывать нужную главу по мысленному приказу.

— О-о! Теперь это говорят «от биотоков мозга». Но если вспомнить о биотоках и биологии, то Сирано говорил еще и о клеточном строении организма, даже о микробах.

— Которые были открыты лишь двести лет спустя!

— О, конечно, конечно! Но не только о микробах, мсье Алекс, не и об антителах в нашей крови, как мы ныне знаем, которые борются с враждебными бактериями, как он утверждал, правда, образами, доступными пониманию в XVII веке.

— Да, да, все это сообщено в «Сьянс э ви», но не имеет объяснений.

— Я объясню, я открою вам эту тайну. Огни вечерней Москвы располагают меня к этому. Я хочу, чтобы они горели так каждый вечер и не тушились из предосторожности или по какой-нибудь еще причине. Так пожелал бы и Сирано де Бержерак, уверяю вас.

И наш французский гость стал рассказывать мне в

* «Наука и жизнь».

этот вечерний час столь необычные вещи, что я слушал его затаив дыхание, не веря ушам, с замиранием сердца. Передо мной как бы стоял живой Сирано де Бержерак, повествующий о том, чего никто не мог знать, кроме него. И я как бы услышал из первых уст разгадку тайн удивительного человека, живого, яркого, страстного, мудрого, ищущего блага для людей, пережившего страстные взлеты и горькие разочарования, оставив после себя память в веках.

Некоторое время мы молчали, глядя на россыпь московских огней, потом Жюль снова заговорил:

— А его огромный нос! Легенда о нем бесспорна, но в портретах, нарисованных художниками с натуры, легенда не подтверждается. И никакой переносицы, которая у Сирано якобы была выше бровей, нет, как и шрама на ее месте.

— Вероятно, портреты писались уже после его ранения?

— О да, конечно! Чтобы в те времена художники взялись писать портрет, нужно было иметь много денег и некоторые известия...

— Некоторую известность?

— О да, конечно! Хотя бы стать если не графом, то писателем или математиком, как Пьер Ферма, или философом, как Декарт.

— Значит, ранение Сирано от сабельного удара не оставило следа на его лице? Или, напротив, стерло одну особенность?

— О да, мсье Алекс! Мне это не приходило на ум.

— Но то, что пришло вам на ум, мсье Жюль, для объяснения невероятных знаний Сирано, требует по меньшей мере путешествия на триста с лишним лет вперед и возвращения обратно? Неужели Сирано был способен на это?

— Вы желаете спросить, где моя шляпа с пером и шпага? Или хотите со мной обратно в XVII век? Не советую. Правда, ядерной угрозы тогда не было, но несправедливость и зло торжествовали. Давайте лучше искать такой путь, который не вел бы назад.

— А что вы скажете, если идти только вперед?

— Земля круглая. А время? — лукаво спросил мой спутник.

Берет на нем держался лишь на одном ухе. Я поймал себя на том, что пытаюсь представить его себе в шляпе с пером и со шпагой на боку.

Обмениваясь шутками, мы весело дошли до метро, потом доехали поездом до Киевского вокзала, откуда я проводил его до гостиницы «Украина».

А оттуда до Арбатской площади, до Дома дружбы, было рукой подать (если сравнить это с только что проделанной прогулкой!).

Дом дружбы многих поражает своим необычным фасадом в мавританском стиле (былой владелец особняка Савва Морозов отличался экстравагантностью вкусов и поступков, даже помогал революционерам. Особняк этот он выстроил, «протестуя против всего обычного»).

В вестибюле меня ожидал представитель Общества «Франция — СССР», чтобы принести извинения за французского журналиста, не смогшего прилететь в Москву и просившего отложить нашу беседу до его предстоящего приезда.

Но воображаемая встреча с ним в моем подсознании *состоялась*. И никакая сила не могла меня в том переубедить. Я теперь знал тайны Сирано, как и представлял его страстную натуру, стремление любить и вместе с тем беззаветно служить всеобщему благу. Француз прочитал первую строчку его любовного сонета и последнюю философского, так пусть же сонет Сирано, посвященный «Философу Солнца», откроет завершающий роман о дуэлянте, поэте, писателе и философе Сирано де Бержераке, каким фантаст представил его себе.

ФИЛОСОФУ СОЛНЦА

Сонет

*Кампанелле*

История страны — поток убийств
Во имя короля иль бога.
Велик лишь тот, кто совестью нечист
И золота награбил много.

Добра искатель ходит в чудаках,
Мыслителям грозят кострами.
Ползи, лижи — не будешь в дураках,
Найдешь благословенье в храме.

Но Солнца свет не в пустоте ночей!
Откроем ум и сердце людям
И мириадами живых свечей
Единым пламенем мы будем.

Мир станет общим. Каждый побратим:
«Мне — ничего, а все, что есть, — другим!»



# Часть первая

# МИССИЯ УМА И СЕРДЦА

*Познал я горесть всю земную*
*И к небу обращаю взор,*
*К Луне и Солнцу, в даль пустую,*
*Богов где вижу и простор.*

*Собственноручная подпись Сирано де Бержерака под его портретом.*

(Перевод здесь и дальше автора.)

**Глава первая**

## ИЩУЩИЙ

*Искать и найти — большое счастье.*
*Найти и потерять — великое горе.*

Сократ

Шло третье десятилетие Тридцатилетней войны.

Париж был в счастливом отдалении от мест кровавых схваток «во имя короля иль бога». В Европе неистовствовала реакция, утверждая неограниченную власть королей — абсолютизм. После Реформации, пробудившей надежды угнетенных народов на избавление от гнета церковного монарха, сидящего на «святом престоле», католицизм перешел в наступление со знаменем нерушимых догм. И при этом властители Европы под видом служения папе римскому или освобождения от клерикального гнета пытались прежде всего утвердить собственную власть. И противостояли друг другу в неутолимой вражде с одной стороны — Священная Римская империя, представляемая Габсбургами, и с другой — протестантская коалиция во главе с удачливым швед-

ским королем Густавом-Адольфом, непокорные курфюрсты, Нидерланды, Дания, Швеция. К этой воинствующей группе, к которой, помимо религиозной отступницы Англии с ее англиканской церковью, кромвелевской революцией и казнью собственного короля, в удобный момент примкнула и католическая Франция. Ее правитель кардинал Ришелье, близкий к папскому нунцию *, вступая в нескончаемую войну, помышлял не столько об интересах папы римского, сколько о собственной гегемонии в Европе.

И вписывались в летопись сражений имена полководцев, затемнявших один другого, среди которых после Толли особенно прославился Валленштейн. Воспитанный иезуитами, а потом возненавидевший их, он расчетливо женился на родственнице императора и сразу удивил всех сначала небывалой щедростью и роскошными пирами, а вслед за тем редкими способностями в военном деле. Как военачальник, он умудрялся малыми силами побеждать целые армии, а при пустоте императорской казны знал, как обходиться без нее. Он считал, что «армия в двадцать тысяч человек останется голодной, а в сорок тысяч будет сыта» и довольна. И там, где проходили его войска, оставалась выжженная земля, покрываемая потом новыми лесами с волками и медведями или болотами с коварными топями. За армией тащились, по численности людей превосходя ее, обозы. Ехали на скрипучих телегах и солдатские семьи, и всевозможные проходимцы, тунеядцы, чужеземцы, преступники. На отнятых у крестьян подводах везли также скарб, награбленный у жителей этих мест, «не так, как надо, молившихся», словом, все то, что, по замыслу полководца, могло прокормить армию, а также поднять ее боевой дух, который не держится в голодном теле.

И так двадцать с лишним лет! С переменным успехом для враждующих сторон. Вожди их погибали или в бою, или на плахе (в том числе и непобедимый Валленштейн). Их сменяли другие, продолжая отвратительное преступление против человечества, опустошая цветущие края, растаптывая все христианские заповеди морали, за которые якобы боролись.

Историки спустя двести с лишним лет после завершения этого позора цивилизации (по словам Виктора Гюго) так живописали воспроизведенную ими по документам отталкивающую картину:

* Послу Ватикана. *(Примеч. авт.)*

«...то, чего не могла сожрать или поднять с собой эта саранча, то истреблялось. И оставался за армией хвост из «свиноловов» или «братьев-разбойников», которые не давали спуску ни врагам, ни союзникам, а потом на попойках при дележе добычи резались между собой».

Земские чины Саксонии жаловались:

«Императорские войска явили невиданный даже у турок пример безжалостного истребления всей земли огнем и мечом. Они рубили все, что попало, отрезали языки, носы и уши, выкалывали глаза, вбивали гвозди в голову и ноги, вливали в уши, нос и рот расплавленную смолу, олово и свинец; больно мучили разными инструментами; связывали попарно и ставили в виде мишеней для стрельбы или прикручивали к хвостам коней. Женщин позорили всех, без различия возраста и звания, и отрезали им груди. Как звери набрасывались на детей, рубили, накалывали их на вертелы, жарили в печах; церкви и школы превращали в клоаки. Умалчиваем о других варварских злодеяниях, пером не описать всех».

По свидетельству историка XIX века, «особенно свирепствовала «испанская уния», но немногим лучше были и французы. Немецкая молодежь была перебита, уцелевшие по лесам и болотам падали жертвами заразы и особенно голода, не только питались трупами, но резали друг друга, даже матери жарили и ели собственных детей... Из семнадцати миллионов в живых осталось лишь четыре миллиона» *.

Конечно, летописец, писавший эти содрогающие любого читателя строки сто лет назад, не подозревал, что в той же Европе или Южной Америке век спустя (то есть в наше столетие!) другие историки должны написать подобные же строки, но о своем собственном времени. И еще более *страшные,* но уже не о Тридцатилетней, а всего лишь о *тридцатиминутной войне,* висящей жуткой угрозой над всем человечеством, последствия которой могут быть губительнее всех минувших войн, вместе взятых.

Конечно, этого не могли даже вообразить себе двое молодых людей, вкусивших первые плоды войны и шествовавших теперь по парижским улицам: один в на-

---

* Профессор Александр Трачевский. Новая история, Санкт-Петербург, 1889.

двинутой на глаза шляпе, с черной повязкой на лбу, прикрывающей брови, бледный, очевидно, от перенесенной потери крови, но мускулистый, худощавый; другой — розовощекий здоровяк, покинувший гасконскую роту гвардейских наемников не из-за ран, как его спутник, а из отвращения к виду крови. Солдатом тогда был лишь получавший за это жалованье. Ведь «sold» и означает жалованье, от которого всегда, как и от военной службы, можно отказаться.

Но потрепанных гвардейских мундиров молодые люди снять не успели, шагая среди куда-то спешащих, суетливых, пестро одетых парижан.

Кареты с гербами на дверцах, запряженные попарно цугом подобранными по масти лошадьми, проносились по ухабистым мостовым. Всадники в шляпах с перьями без стеснения пускали коней вскачь, заставляя прохожих испуганно жаться к стенам, снимая на всякий случай шляпы.

Приятели были слишком горды, чтобы унижаться перед надменными кавалерами, но уступать им дорогу приходилось.

Наконец они достигли своей цели и были ошеломлены представшей перед ними картиной: особняк герцога д'Ашперона, который был им нужен, обнесенный каменной стеной, как крепость в центре Парижа, словно был взят штурмом. Во всяком случае, несколько каменщиков в перепачканных фартуках пробивали в стене проем, а плотники сооружали мостик через канаву, знаменующую крепостной ров под стеной.

— Похоже, что его светлость господин герцог попал в немилость, — сказал розовощекий.

— Напротив, — усмехнулся его спутник с черной повязкой на лбу, — как бы это не знаменовало особое внимание высокой особы к нашему герцогу.

Молодые люди, решившие не торопить события, смешались с толпой, тоже заинтересованной происходящим.

Через каких-нибудь полчаса проем в стене был пробит, деревянный мостик возведен, и рабочие скрылись за стеной.

Розовощекий, толкнув приятеля в бок, кивнул вдоль улицы.

Там появился отряд гвардейцев личной охраны его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье.

Горожане толпились у стен домов и низко кланя-

лись. Дюжие гвардейцы несли на плечах жерди носилок, на которых покоилось кресло. На нем гордо восседал в пурпурной мантии, бессильно свесив парализованные руки и ноги, кардинал Ришелье.

Он поворачивал голову на тонкой шее из стороны в сторону и ястребиным колким взором оглядывал все вокруг, являя собой несокрушимую силу, презревшую собственную немощь.

Многие падали перед ним на колени, протягивали руки, стараясь коснуться пальцами свисавшей с носилок пурпурной мантии.

Впереди шел герольд со звонкой трубой, украшенной цветными лентами, вслед за ним и позади носилок шествовали вооруженные гвардейцы, которые грубо отталкивали ботфортами тянущиеся к властителю Франции руки.

Процессия остановилась перед мостиком и прошла по нему в пробитую в стене брешь, скрывшись во дворе герцога д'Ашперона.

Стоявшему в толпе молодому человеку с повязкой на лбу показалось, что немощный, но могучий кардинал, встретясь с ним взглядом, сверкнул глазами. Это заметил и его розовощекий приятель.

— Он узнал тебя, Сави! — прошептал он.

— Не думаю. Что я для него? Дуэлянт, скандалист.

— Не скажи! А кто выиграл у него заклад о том, что не допустит сожжения книг Декарта?

— Этого он забыть не мог! — с многозначительной улыбкой непоследовательно отозвался Сирано де Бержерак. И, помрачнев, добавил: — Как и я никогда не забуду Кампанеллу!

Прожив последние годы в приютившей его Франции, перенесший тридцатилетнее заключение философ недавно умер в предоставленном ему Ришелье убежище под Парижем — в местечке Мовьер, где родились оба молодых человека, наблюдавшие сейчас многозначительное посещение всесильным кардиналом Ришелье наверняка трепещущего перед ним герцога д'Ашперона.

— Надеюсь, носилки кардинала удалось внести в замок без выламывания парадных дверей? — не без иронии заметил Сирано.

— Тише, ты! Здесь всюду шпионы кардинала, — зашипел Лебре, друг детства Сирано и соратник в бою.

— Совершенно с тобой согласен, но все же думаю, что его высокопреосвященство предпочтет беседу с его светлостью без нашего с тобой участия, дорогой Колá.

— Не могу этого отрицать, Сави. И будь у нас иная цель, я предпочел бы находиться где-нибудь подальше.

— Нет, зачем же? — возразил Сирано. — Отсюда мы увидим, как пышная процессия проследует обратно. Тогда настанет наш черед.

Друзьям не пришлось ждать долго. Очевидно, высокий визит носил предупредительно-символический характер и его высокопреосвященство не удостоил герцога продолжительной беседой, и, может быть, главным в этом посещении была пробитая брешь в стене замка излишне влиятельного вассала. Герцогу предоставлялась возможность поразмыслить над тем, что кардинал не пожелал пару раз завернуть за угол, чтобы пройти через главные ворота, а приказал нести себя напрямик. Он никогда ничего не делал без задней мысли. Может быть, такая мысль пришла к нему на этот раз от воспоминания о выпускном акте в коллеже де Бове, когда наказанный выпускник Савиньон Сирано де Бержерак выломал наскоро сложенную в актовом зале стенку карцера, чтобы отвечать на вопросы его высокопреосвященства.

Через некоторое время толпа наблюдала, как в проеме показался герольд с украшенной лентами трубой, возвещающей о появлении повелителя Франции. Затем группа солдат с носилками на плечах вынесла покойное кресло с беспокойным, хотя и недвижным, кардиналом в пурпурной мантии.

На улице толпящиеся парижане, бросаясь на колени, кричали славу кардиналу.

Когда толпа за процессией замкнулась, наполнив улицу шумным говором, в проеме стены показался герцог д'Ашперон. Величавый, с белой эспаньолкой и озабоченным лицом, он вышел вслед за кардиналом без шляпы, и ветер развевал его длинные седые волосы. Он стал деловито распоряжаться вновь появившимися каменщиками и плотниками, приказав разобрать мостик и заделать стену камнями.

Лебре подошел к его светлости и как-то по-особенному сложил пальцы рук.

Герцог кивнул, жестом предлагая следовать за ним.

— А не служит ли работа этих каменщиков, ваша

светлость, неким символом Добра? — вполголоса спросил Лебре.

— Лишь бы не стала символом отнюдь не добра причина, призвавшая каменщиков сюда, — сумрачно отозвался герцог.

Сирано де Бержерак молча шел следом, привычно придерживая локтем рукоятку шпаги, создавшей ему легендарную славу в более чем ста удачных дуэлях, неизвестно как сошедших ему с рук.

Герцог с двумя друзьями поднялся по винтовой, но широкой мраморной лестнице и провел их анфиладой роскошных комнат. Хрустальные люстры, ценные картины, вазы тончайшей работы, фарфоровые безделушки из далеких стран, оружие со сверкающими ножнами и рукоятками, украшавшее стены там, где не было цветных панно.

Богатые комнаты кончились, хозяин особняка повел друзей по невзрачной крутой лестнице вниз, очевидно, в подвальное помещение.

Сирано, привычно усмехнувшись, подумал про себя: «Здесь гвардейцам с носилками его высокопреосвященства не удалось бы развернуться. Очевидно, прием кардинала и двух скромных солдат намечался в разных по убранству комнатах».

Герцог пропустил Сирано вперед, а сам вместе с Лебре задержался на ступеньках лестницы.

Спустившись, Сирано оглянулся и увидел, что оба его спутника оказались в белых замшевых запонах, передниках. Головы их накрылись белыми капюшонами с прорезями для глаз. Он не сразу понял, кто герцог, а кто Колá. Он узнал друга лишь по грузноватой фигуре, а герцога по величавой осанке.

— Ищущий себя в братстве доброносцев, — торжественно обратился к Сирано скрытый капюшоном герцог, — тебе предстоит пройти испытания, прежде чем ты предстанешь перед Вершителем Добра. Как скромный здешний надзиратель, я передаю тебя в руки назначенного тебе ритора.

И тут Сирано увидел подле себя еще одну фигуру в белом запоне и капюшоне, скрывавшем лицо.

— Сэр, прошу прощения, но вам придется довериться мне, — с акцентом произнес незнакомец и протянул руку.

Меж тем герцог-надзиратель надел на голову Сирано капюшон, но без прорезей для глаз, и он ощутил себя

беспомощным слепцом. Однако ритор-англичанин держал его руку.

— Плиз, сэр. Прошу вас, — предложил он.

Сирано, доверяясь своему поводырю, двинулся вперед, но вскоре споткнулся, пол ушел из-под ног, и он, оступившись в яму, едва удержался стоя. Ритор помог ему выбраться оттуда, и они снова двинулись вперед И опять ощутились неровности пола. Теперь Сирано уже не терял равновесия, нащупывал ногой, куда ступить.

— Сожалею о неудобствах вашего вступления в наше общество, но здесь все для яркости, но скорее для неясности, построено на символах, о которых нам еще предстоит побеседовать. Сейчас вы испытываете символические превратности судьбы и крепкую руку брата, готового прийти вам на помощь.

— Мерси боку, — ответил Сирано по-французски и повторил по-английски: — Сенкью вери мач.

— Не сомневаюсь, друг мой, что мы найдем с вами общий язык. Уэлл? Верно?

— Найдем, — решительно заверил Сирано.

— Теперь будем стучать в дверь, — сказал ритор и ударил трижды с интервалами в оказавшуюся, очевидно, перед ними дверь.

— Кто стучит? — отозвался из-за преграды знакомый Сирано голос.

— Достопочтенный Вершитель Добра, это явился назначенный вами ритор в сопровождении ищущего блага людям и дорогу в руководимое вами благочестивое общество.

— Отомкните дверь! — услышал Сирано тот же голос. — Объявляю заседание общества доброносцев открытым!

Сирано ощутил, что они с сопровождающим вошли в просторное помещение, в котором гулко отдавались их шаги.

— Ваше проходное слово? — раздался неведомо кем заданный вопрос.

— Габаон, — ответил ритор и громко возвестил: — Сообщаю братьям доброносцам и достопочтенному Вершителю Добра: новоявленный ищущий под именем Савиньона де Бержерака достоин быть принятым в наше благочестивое общество для Великого Дела борьбы со Злом.

— Кто поручается за него? — послышался голос Вершителя Добра.

— Почтенный магистр и Поборник Добра, советник парламента в Тулузе, поэт и математик, метр Пьер Ферма; занятый делами в парламенте, он не смог прибыть в Париж на это заседание (сожалею об этом), но по нашему уставу поручительство может быть заочным. Вери уэлл! Я кончил.

— Очень хорошо, — словно перевел его последние слова Вершитель Добра. — Сообщение ритора принято. Откройте глаза ищущему.

Ритор не стал снимать с головы Сирано капюшон, а лишь повернул его прорезями для глаз вперед (они были до того на затылке), что позволило ему увидеть дюжину шпаг, направленных присутствующими доброносцами в капюшонах ему в грудь.

— Оцени, ищущий, что шпаги эти лишь видимым образом устремлены к твоему сердцу, которое отныне ты отдаешь Добру. Эти шпаги доброносцев всегда будут за вас, пока вы сообща с нами будете служить делам общества, противостоя разгулу Лжи и Насилия во всем Свете. Но горе вам, если вы измените клятвам, которые сейчас принесете. У нас всюду глаза и уши, по их сигналу эти шпаги пронзят неверное сердце.

— Уэлл! — возгласил ритор. — Заверяю, что шпагам этим не придется пролить кровь ищущего, которого по поручению Вершителя Добра я наставлю на должный путь, как того требует наш устав.

Сирано оглядел подземное помещение без окон со сводчатым потолком.

На полу лежал ковер, расшитый узорами. На алтаре со свечами раскрытая книга. Сирано чисто внешне воспринимал торжественную обстановку подземелья.

— Там, на востоке, где восходит светило, дающее жизнь всему живому, место Вершителя Добра. Место же доброносцев — на западе. Оно знаменует их долг и готовность повиноваться Вершителю Добра в делах, которые не знают границ между государствами, оскверняющими мораль нескончаемыми войнами и религиозными распрями, питающими ненависть. Все мы объединены здесь единой целью сотворения Добра, — громко поучал ищущего ритор. — Готов ли ты объединиться с нами?

— Готов, — ответил Сирано, — и надеюсь, что Добром будет и защита права на жизнь каждого из живущих.

— Ритор! Твой «ищущий» произнес благие слова, — отозвался Вершитель Добра. И только сейчас Сирано узнал старческий голос своего бывшего учителя, деревенского кюре из Мовьера, перед которым сейчас почтительно стояли доброносцы в капюшонах, а среди них «местный надзиратель» — герцог д'Ашперон рядом с сыном лавочника Кола Лебре.

— Ищущий Савиньон Сирано де Бержерак, — провозгласил Вершитель Добра — кюре, протягивая Сирано бумагу, — прочти и подпиши кровью эту клятву, которую даешь перед будущими соратниками по обществу, которое в современном мире Зла и Несправедливости вынуждено быть тайным.

Сирано прочел:

— «Я, ищущий блага людям Савиньон Сирано де Бержерак, клянусь перед господом богом, перед светлым разумом человечества и перед братьями доброносцами, что с нерушимой верностью употреблю все свои силы, а если потребуется, отдам жизнь для достижения мира и согласия между людьми всех стран, и да поможет мне в этом мой разум и совесть, которые объединю с разумом и совестью всех людей, живущих на Земле, без различия званий, рас и убеждений. Аминь».

Ритор протянул острием вперед свою шпагу, и Сирано уколол о нее палец правой руки, а потом, когда выступила алая капелька, подписал кровью письменную клятву.

— Поздравляю тебя, сын мой, который стал отныне доброносцем, — торжественно сказал старый Вершитель Добра. — Дела твои теперь станут нашим общим делом, в котором нуждается несчастное человечество, вот уже более двух десятилетий терзаемое кровопролитной войной ханжей и властолюбцев. Что можешь сказать ты, новый доброносец, своим собратьям по обществу?

Сирано задумался лишь на мгновенье, а потом решился прочесть свой сонет, выражавший его сокровенные помыслы, посвященный Томмазо Кампанелле, которого он поместит впоследствии в своем трактате в страну мудрецов на иной планете, названной им «Солнце».

ФИЛОСОФУ СОЛНЦА

История страны — поток убийств
Во имя короля иль бога.
Велик лишь тот, кто совестью нечист
И золота награбил много.

Добра искатель ходит в чудаках.
Мыслителям грозят кострами.
Ползи, лижи — не будешь в дураках,
Найдешь благословенье в храме.

Но Солнца свет не в пустоте ночей!
Откроем ум и сердце людям
И мириадами живых свечей
Единым пламенем мы будем!

Мир станет общим, каждый — побратим,
«Мне — ничего, а все, что есть, — другим!»

Молчание воцарилось под сводами подвала, стало слышно потрескивание одного из светильников над алтарем да скрип ботфортов от переступания с ноги на ногу кого-то из присутствующих.

Наконец Вершитель Добра произнес:

— Верно сказано сердцем твоим, достойный доброносец. Так пусть же эти твои стихи, поэт, станут путеводной звездой для тебя вместе со словами, внушенными тебе Кампанеллой: «Все, что есть, — другим!» Иди с ритором, да наставит он тебя на путь добра.

И снова взял ритор уже зрячего Сирано за руку, предварительно надев на него белый запон. Сирано ощутил мягкое прикосновение нежной замши. Ритор повел его из подвального зала в другую комнату, где должна была состояться их тайная беседа.

Они прошли коридорами с низкими сводчатыми потолками, пока не очутились в тесной келье. Ритор тщательно запер дверь и, протянув руку, зажег неведомый светильник в стеклянном баллоне без видимых поступлений в него горючего, а свечу, с которой они шли, потушил.

— Итак, брат добра, можешь снять капюшон, чтобы легче дышалось, ибо разговор наш будет долгим. Уэлл?

Сирано с удовольствием освободился от капюшона, наблюдая, как то же самое делает и его ритор. Однако, сняв белый капюшон, англичанин остался в черной полумаске, прикрывающей верхнюю часть лица.

— Мы почти в равном положении. Уэлл? Если иметь в виду вашу черную повязку, сэр, — сказал ритор. —

Впрочем, оставим вашу повязку на ране в покое, я же позволю себе в знак нашей дружбы снять свою маску, чего не делаю никогда, известный в Англии своим чудачеством или желанием скрыть дефект лица, — писатель Тристан Лоремет к вашим услугам, сэр!

С этими словами ритор снял маску и заставил Сирано окаменеть от изумления. Он видел перед собой свое собственное лицо, каким обладал до ранения и которое из-за носа, начинающегося выше бровей, доставило ему в жизни столько боли, послужив причиной и его славы скандалиста-дуэлянта, и несчастий урода.

— Как видите, если не считать разницы в возрасте, мы похожи, как близнецы, — произнес Тристан. — И первое, что я хочу тайно открыть вам или тебе, брат мой по добру, что истинное наше братство надо считать по крови.

— По крови? — изумился Сирано.

— Да, по нашей общей прародине и прапредкам, посетившим когда-то Землю с «Миссией Ума и Сердца» от другой звезды, — окончательно ошеломил Савиньона Тристан.

### Глава вторая

## ДЕМОНИЙ СОКРАТА

*Вы, люди, воображаете, будто то, чего вы не понимаете, имеет духовную природу или вообще не существует.*

Демоний Сократа —
Сирано де Бержераку

Герцог д'Ашперон как радушный хозяин и «местный надзиратель» простился с доброносцами и проводил их всех, после чего с озабоченным видом проверил, восстановлена ли стена, хорошо ли заперты ворота, потом вызвал всех своих людей, раздал оружие, расставил по местам и даже послал «смотровых» на соседние улицы.

Вероятно, «посещение с проломом стены» его высокопреосвященства и состоявшийся без свидетелей разговор с ним не без оснований насторожили герцога.

В подземелье замка остался лишь ритор и только что принятый в общество доброносцев Сирано де Бержерак.

Сирано не пришел еще в себя от признания Триста-

на в его с ним внеземном родстве. А тот как ни в чем не бывало продолжал наставительную беседу с новообращенным:

— Твой сонет, друг Сирано, убедил меня, что ты мыслишь не так, как все. Вери найс! Превосходно! И ты пробудил во мне некоторые воспоминания, которыми я хотел бы поделиться со своим братом по добру и по крови.

— Признаюсь вам, ритор, слова ваши о нашем родстве волнуют меня, ибо мне уже приводилось слышать намеки на мое якобы внеземное происхождение. Так говорил индеец-майя, рассказывая о белых богах, прилетавших тысячи лет назад на полуостров Юкатан, что за океаном. По его словам, они запрещали не только человеческие жертвоприношения, но и любые убийства, учили отказу от войн, обязательному для всех труду, презрению к богатству, всеобщему равенству людей без различия каст, знатности и принадлежащих им владений. Но такое учение якобы не понравилось белым вождям и жрецам, отвергнувшим пришельцев, и те, разочаровавшись в неразумных людях, улетели, оставив после себя жен, которых брали из числа местных женщин, и потомство с наследственным признаком — носом, начинавшимся выше бровей, как у меня и у вас, ритор.

— Узнаю участников нашего первого межзвездного похода «Миссии Ума и Сердца»! Они действовали от всего сердца, но слишком прямолинейно. И не только на заокеанском материке, в Америке.

— Да, ритор, из некоторых библейских текстов следует, что «сыны неба входили к дочерям человеческим и те рожали им гигантов».

— Это все тот же межзвездный поход. Главный корабль находился между Землей и Луной, посылая малые небесные шлюпы во все места Земли, где можно было оказать помощь людям, содействовать их процветанию. Это и записано в вашей Библии. В отдельных своих частях она является хроникой древних событий и заслуживает там доверия, как и древнеегипетские сказания о боге Тоте Носатом.

— О нем говорил со мной метр Пьер Ферма, мой поручитель, рассказав о своем посещении Египта и знакомстве с культом бога Тота, покровителя ученых и мудрости, открывшего людям многие знания и будто прилетевшего с Сириуса.

— Названия небесных тел условны, друг мой, — пе-

ребил Тристан. — Могу ли я говорить с тобой на древнегреческом языке?

— Я изучал его и пойму вас, но отвечать предпочту по-французски, чтобы не истерзать ваш слух своим произношением.

— Я, конечно, привык к безупречной и сладкозвучной лексике древних, но наш двуязычный диалог состоится. Итак, нашу с тобой прародину я назову на древнем языке Солярией, а ее обитателей соляриями.

— Как в «Городе Солнца» Кампанеллы?

— Именно потому я и употребил эти латинские названия, более близкие твоему сознанию, чем истинные наименования, трудно воспринимаемые земным ухом.

— Все это поражает меня, брат Тристан. Если я твой брат по прародине в межзвездной бездне, то что значит по сравнению с этим мой сонет с мыслями, хорошо известными Томмазо Кампанелле, которому посвящен сонет.

— Это говорит лишь о том, что Томмазо Кампанелла, чьим убежденным последователем ты стал, мыслил не так, как другие. А великий Сократ говорил мне в одну из наших с ним встреч: «Думать не так, как другие, вполне достойно, если это служит благу людей».

Сирано недоуменно посмотрел на ритора и переспросил:

— Сократ? Встреча с Сократом? Я не ослышался?

— Конечно, Сократ! Замечательный, простой и мудрый человек с лицом фавна и трепетным, отзывчивым сердцем. Я расскажу о первой нашей встрече с ним.

— Зачем ты шутишь, брат Тристан! Или испытываешь меня?

— Испытания ты уже прошел. Я должен направить тебя на твой путь, как сделал это и в отношении Сократа в свое время.

— В свое время?

Сирано едва сдерживал овладевшее им бешенство. Что это? Неужели англичанин, владеющий древним языком, издевается над ним? Внезапно пронзительная мысль охватила Сирано. Нет, нет! Скорее всего он имеет дело с умалишенным! И бред того о богах-соляриях так же достоверен, как и его «бессмертие», позволившее ему «в свое время», две с лишним тысячи лет назад, общаться с Сократом.

Жгучую горесть и жалость ощутил Сирано. Многое

бы он отдал, чтобы вернуть недавнее состояние готовности бороться вместе с доброносцами против зла, добиваясь торжества справедливости! И Сирано отвернулся, чтобы скрыть выступившие у него на глазах слезы, не прерывая «больного».

А «безумный» Тристан как ни в чем не бывало предавался воспоминаниям:

— Это было во времена великого зодчего Фидия и его друга Перикла, правителя Афин, созидавших великолепный храм Афины-Девы на холме над городом. Дороги шествий еще не было. Я всегда имел склонность к лазанию по скалам, закаляя характер, потому не воспользовался подъездными путями для доставки наверх мрамора, а по крутой горной тропке поднялся прямо на площадку, где уже красовался почти законченный Парфенон. Как красивы были его мраморные колонны на фоне удивительно синего неба! Великолепная гармония пропорций! Солярии могли бы позавидовать, если бы знали такое чувство! Но мне хотелось не только любоваться истинной красотой, создаваемой людьми, но увидеться с молодым скульптором, сыном каменотеса, всю жизнь высекавшего из глыб «божества». Этому молодому человеку Фидий поручил украсить храм изображением богинь, носительниц зла, а Сократ, так звали ваятеля, самовольно заменил мрачные фигуры светлыми изображениями богинь добра и сделал это так впечатляюще, что разъяренный было самовольством подмастерья Фидий в восхищении от увиденного признал решение юноши лучшим, чем его прежний замысел. Мне же казалось, что художник, вооруженный идеями добра, воплотивший их силой искусства в благородный камень, может оказаться тем самым соратником по «Миссии Ума и Сердца», которого я тщетно искал по всей Элладе.

Кто знает, может быть, скульптор Сократ, не будь моего вмешательства, обрел бы не меньшую известность, чем философ, искатель блага, каким он стал после наших бесед. Ценя их и прислушиваясь к моим советам, он оставил мрамор и свой шелковый хитон с нарядными сандалиями, бродя среди народа босой, едва ли не в рубище и беседуя с людьми о жизни, дабы направить каждого по светлому пути. Так он стал признанным первым мудрецом Эллады.

— Уж не хочешь ли ты сказать, — прервал наконец Тристана Сирано, полный не столько сострадания, сколько возмущения и сарказма, — что был тем самым

Демонием Сократа, о котором тот говорил как о неизменном своем советчике?

— Именно так, брат мой по крови, Демоний Сократа — твой слуга! Как принято говорить в ваше время.

И здесь самообладание Сирано изменило ему. Перед ним, бесспорно, не умалишенный, а англичанин-насмешник, решивший унизить французика, снискавшего славу дуэлянта, оскорбив и обезоружив его издевательским обрядом. Неужели же все произошедшее в подвальном зале, шпаги, направленные ему в грудь, кровью подписанная клятва, все это лишь жалкое балаганное представление, разыгранное для того, чтобы развенчать Сирано?

Скачки настроения и противоположных выводов были характерны для вспыльчивого и резкого Сирано де Бержерака. Оскорбленный и уязвленный, он потерял над собой власть и, ухватившись за шпагу, сквозь зубы процедил:

— Да было бы вам известно, мистер Лоремет, что я провел более ста дуэлей, хотя ни разу не вызывал своего противника на поединок. Они сами после моего словесного отпора обидчикам вызывали меня. Но ваши речи, сэр, оскорбляют не только меня, но и великих мыслителей, которых я чту. Вы решились глумиться над Сократом и Кампанеллой, и вам придется в таком случае скрестить со мной оружие!

— Что я слышу? Не хочу верить ушам! Вери бед! Скверно! Не ты ли, брат Савиньон, подписал клятву кровью?

— Я не преступлю клятвы, защищая свою честь и доброе имя философов, и не позволю никому, как не допустил сожжения книг Декарта у Нельских ворот, слышите, никому, даже назвавшемуся моим ритором, водить меня за нос, как бы он ни был велик, с помощью басен и сказок о внеземных существах или собственном «бессмертии».

Тристан Лоремет расхохотался, и смех его был таким искренним и заразительным, что подействовал отрезвляюще на Сирано, который не знал, как этот смех воспринять, и совершенно смутился.

— Брат мой Савиньон! — перешел на французский язык Лоремет. — Я не сомневаюсь, что тебе ничего не стоило бы с помощью своей шпаги доказать, что я вовсе не бессмертен. Признаю твою правоту. Приношу свои извинения. Прошу пощады и согласия выслушать меня.

Мне легко если не доказать, то показать, что, не отличаясь от людей продолжительностью жизни, я действительно встречался с Сократом.

— Как это может быть? — хмуро спросил Сирано.

— Только такому острому уму, как твой, я берусь объяснить это. Согласись лишь выслушать меня.

— Я должен не только согласиться, но и понять.

— Это уже моя забота. Так слушай, вспыльчивый мой друг. Наша прародина Солярия, как я назвал ее для тебя, находится у другого солнца, пусть его назвали когда-то Сириусом или как-нибудь по-другому. Расстояние до нее так огромно, что даже свет идет оттуда до Земли годы и годы. Понятно? Еще больше, чем свету, нужно затратить времени межзвездному кораблю, чтобы преодолеть это расстояние, как приходилось нам, солярим, в своем стремлении добраться до вашей Земли. И беда, если б природа не пришла нам на помощь!

— Чем же можно помочь в преодолении бездны небесной? Что может сравниться со скоростью распространения света, о которой ты говоришь и которую мы воспринимаем как мгновенное сверканье луча?

— Мгновенное? Нет и нет! Природа, наоборот, поставила предел достижимой скорости. Ничто не может перемещаться быстрее, чем распространяется свет! Вам, людям, этот простой закон пока еще неизвестен, однако он непреложен. С приближением летящего тела к этой скорости для него меняется течение времени. Оно уже иное для улетевших на корабле к звездам, чем у оставшихся на месте.

— Время иное? Как это понять?

— Очень просто! В природе есть немало примеров, заложенных в нее ограничений. Нельзя, например, разделив камень на части, получить вес частей больше, чем имел сам камень.

— И что же?

— Изволь. Найдешь ли ты что-либо центральнее центра окружности?

— Разумеется, нет, ибо окружность строится из центра.

— Вери уэлл! Считай, что из «центра» образовалась и наша Вселенная, для которой время течет с момента ее возникновения, а в ее центре оно стоит и всегда стояло. В этом разгадка вечности, друг мой. Вселенная потому и существовала всегда, что в центре ее время оставалось и остается недвижимым.

— Допустим. Значит, чтобы время стояло не только в центре Вселенной, пришлось бы всему веществу ее, уподобившись лучу света, мчаться с предельной скоростью?

— Ты неплохой ученик, брат мой. Ты угадал, что стоянию времени соответствует перемещение тел в пространстве именно с такой, назовем ее центральной, скоростью. Центральной, поскольку нет ничего центральнее центра окружности. И теперь тебе станет понятным некий образ: представь себе стрелку вселенских часов, где протекшее время отмечается не углом поворота стрелки, а длиной дуги, описанной или ее концом, или любой точкой на ней, вплоть до оси вращения. Представь еще, что конец стрелки вселенских часов отмечает время для тел, находящихся в покое, а перемещение точки от конца стрелки к ее центру вращения отражает скорость, обретенную телом. Дуги, описываемые точкой по мере ее приближения к оси вращения, окажутся тем короче, чем меньше станет радиус описываемой ею дуги. А в центре вращения дуга превратится в нуль и время остановится. Понятно?

Сирано наморщил лоб и произнес:

— Следовательно, если мысленно перенестись на луч света, то распространяется он в любое место Вселенной мгновенно, раз время у него стоит.

— Ты понял самую суть! Все именно так! Для луча света или тела, достигшего скорости распространения луча, время стоит. Но для остального мира, для всех его тел, в зависимости от скоростей, с которыми они движутся и находятся в покое, время протекает по-прежнему. Это ты уяснил?

— Видимо, так.

— Вот и открытие тайны моего «псевдобессмертия»! Просто после пережитого мною несчастья на Земле, где я оказался неспособным предотвратить вероломную казнь лучшего из людей, великого философа Сократа, добившись лишь его посмертной реабилитации, я, готовый сам выпить предназначенную Сократу чашу яда, счел необходимым вернуться на Солярию, чтобы сообщить о своей несостоятельности. Летя туда со скоростью, близкой к скорости света, как бы приближаясь умозрительно к оси вращения стрелки вселенских часов, я обогнал земные тысячелетия, отмечаемые концом этой стрелки. И когда, найдя на Солярии успокоение и поняв свой долг продолжать выполнение «Миссии Ума и Серд-

ца», я вернулся на Землю, для меня минуло двадцать лет, ровно на столько я и постарел, а на твоей Земле прошло, как ты уже представил себе, два тысячелетия. И вместо Сократа я нашел Сирано де Бержерака. Ты мог бы теперь считать меня своим Демонием, если бы сам не был сравнительно близким потомком соляриев. Нам обоим надлежит вместе продолжить великое Дело «Миссии Ума и Сердца», которому на службу я пытаюсь поставить тайное общество, поскольку оно может быть противопоставлено государственным и церковным войнам и античеловеческому произволу, хотя в грядущем всегда надо предвидеть возможность недостойного использования подобных обществ в совершенно противоположных целях *. И все же нельзя ныне бездействовать, видя неисчислимые несчастья наших братьев на Земле.

— Ты считаешь уже всех людей своими братьями?

— Так же, как и тебя — братьями по крови! Правда, если охватить мыслью миллионы лет, которые прошли со времени прилета сюда первых соляриев-колонистов.

— Где же они, эти носолобые?

— И у нас на Солярии, друг мой, живут многие народы и, подобно земным, имеют свои характерные черты лица. Разные расы в различное время достигали там вершин цивилизации.

— Ну, если не наследственные признаки, то куда же делась на Земле привнесенная на нее цивилизация?

— Считай, брат мой, что ваши мифические Адам и Ева были соляриями, но «райскую цивилизацию» покинутой планеты удержать им было не под силу. Ведь цивилизация — это не только сумма знаний, передаваемая поколениями с помощью обучения, книг и предметов культурного обихода. Понятно? Это еще и мастерские, надлежащим образом оборудованные, с умелыми руками, способными подобные предметы воспроизводить. Требовалось и сырье, которое надо было найти в незнакомых недрах, научиться использовать. А потомки первых колонистов, оказавшись среди богатой земной природы, должны были бороться за существование, когда грубая сила и ловкость в борьбе с земными зверями оказались нужнее книжных знаний культурных предков.

* Это и произошло спустя 300 лет, когда тайные общества (масонские ложи) стали служить интересам международных монополий, фашизму, сионизму и крайней реакции. *(Примеч. авт.)*

И увы, за первые десятки тысячелетий, а быть может, и много быстрее, первые колонисты с Солярии одичали, превратившись из соляриев в людей, дав начало роду человеческому, когда охота, то есть убийство живых тварей, стала основой существования.

— Но почему в памяти людской не осталось ничего о нашей прародине?

— Почему же не осталось? Вспомни детские сны, ощущение полета без всяких усилий.

— Допустим, и я помню такие ощущения. И что же?

— Так ведь это ощущения ваших пращуров, которые испытывали потерю веса при преодолении звездных бездн.

— Ты хочешь сказать, что не бог создал на Земле человека, а он прилетел со звезд?

— Именно это, ибо нет у вас на планете самостоятельно развившегося на ней разумного существа и нет у человека здесь сородичей. О подлинных же своих братьях земной человек забыл. Но на Солярии вспомнили тех, кто покинул когда-то наш мир, чтобы заселить иной. И пусть спустя непостижимо долгое время и смену несчетных поколений, благодаря сделанным историками Солярии находкам удалось возродить память об улетевших братьях. Уклад нашего общества к тому времени уже стал таков, что посылка «Миссии Ума и Сердца» к древней земной колонии соляриев стала нашей потребностью, хотя участие в ней, связанной с межзвездным полетом, требовало от миссионеров отказа от личного счастья, от родных и близких, которые не могли уже дождаться их возвращения на Солярию. У вас это назвали бы подвигом. У нас — велением сердца. Ты все понял?

— «Мне ничего, а все, что есть, — другим!»

— Ты угадал в своем сонете наш завет. Потому я и обращаюсь к тебе, рассчитывая на твое участие в «Миссии Ума и Сердца», в которой так нуждается человечество.

— Лоремет! Я всей душой готов поверить тебе! К сожалению, даже впечатляющая история одичания наших земных предков — еще не доказательство достоверности тобой рассказанного, ибо приведено писателем Тристаном Лореметом, отличающимся смелой выдумкой, столкнувшей меня с «живым Демонием Сократа».

— Выдумкой? — впервые возмущенно воскликнул ритор. — Вы, люди, воображаете, будто то, чего вы не

понимаете, имеет духовную природу или вообще не существует.

— Ты прав, Тристан. Наши лжемудрецы порой считают, что того, чего они не знают, быть не может. Как вольнодумец, я отрицаю их догмы, но я и у призрака, явившегося мне, готов потребовать доказательств его существования.

— Вери уэлл! Я представлю их тебе... Устроит ли тебя, если я...

Лоремет был прерван громким условным стуком в дверь. Тристан открыл ее и увидел на пороге встревоженного герцога д'Ашперона.

— Скорее! Гвардейцы кардинала штурмуют замок. Они требуют выдачи английского шпиона Лоремета, который, по сообщениям доносчиков кардинала, вошел в замок, не выйдя оттуда с остальными гостями.

Тристан Лоремет совсем по-мальчишески присвистнул, хотя по внешности ему было лет под семьдесят, и подмигнул Сирано, надевая свою черную маску.

— Я буду защищать вас своей шпагой! — запальчиво предложил Сирано.

— Нет, — возразил герцог. — Вы возьмете двух коней и вместе покинете Париж.

— А вы, ваша светлость, останетесь заложником? Я не могу этого допустить! — протестовал Сирано.

— Отнюдь нет. Я открою ворота и предложу гвардейцам обыскать замок, конюшни, помещения для слуг.

— А мы? — удивился Сирано.

— Вы будете скакать по одной из ведущих из Парижа дорог. Следуйте за мной, — с присущей ему краткостью речи предложил герцог.

Лоремет в неизменной своей маске и Савиньон Сирано де Бержерак с черной повязкой на лбу двинулись за седовласым величественным герцогом, который повел их по коридору, отпер замыкающую его дверь и пропустил вперед, сам освещая сзади дорогу факелом, который держал в руках.

Пахнуло сыростью. Они двигались в подземелье, однако вскоре ощутился запах конюшни. Они действительно оказались рядом со стойлами, где их ждала пара уже оседланных коней.

— Берите поводья, — скомандовал герцог, — ведите коней за собой. Я буду освещать путь впереди.

Тайный подземный ход вел куда-то из замка д'Аш-

перона, предусмотрительно сооруженный, видимо, еще предками герцога. Кони, бывшие всегда наготове, составляли с подземным ходом неотъемлемую часть защиты хозяина замка, жившего в беспокойную эпоху смут и сражений народа с солдатами, католиков с гугенотами, короля с вассалами, хотя бы находившимися у него под боком в Париже.

— Куда, ваша светлость, ведет этот ход? — спросил Сирано.

— Он выведет на берег Сены, где, я думаю, ваша прославленная шпага, господин де Бержерак, не понадобится. Надеюсь, вы не откажете вернуться в мой замок в качестве должным образом обеспеченного мной поэта?

Сирано было вспыхнул. Ведь он не раз отвергал подобные предложения и даже сделанное самим кардиналом Ришелье. Однако сдержал себя, вспомнив о подписанной им клятве, поняв, что герцог делает это предложение, исходя из интересов тайного общества, помимо того, Сирано вспомнил, что, отказавшись от солдатского жалованья, он лишен всяких средств к существованию, ибо обратиться за ними к отцу господину Абелю-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержераку он не мог. Тот слишком потратился на экипировку сына в гвардейцы короля, чтобы при своей скупости давать теперь еще деньги на его содержание *.

Обо всем этом думал Сирано, замыкая шествие, где впереди с факелом величественно шествовал герцог, словно не в подземелье, а по дворцовому ковру, направляясь на свидание с монархом. Следом шел Тристан, ведя в поводу лошадь, которая храпела, когда мимо проносились, хлопая крыльями, встревоженные летучие мыши.

Ведомый Сирано конь, более смирный, чем у Тристана, замыкал шествие. Сесть в седло, пока они находились в подземелье, было невозможно.

Шли долго, очень долго. Савиньон подумал о легендах, повествующих о подземных лабиринтах, скрытых под Парижем. Впоследствии о них будет писать Виктор Гюго, когда горожане используют их как сточные канавы растущего города. Но в описываемое время подземный ход оставался сравнительно сухим, хотя стены, как несколько раз ощутил Сирано, местами были влажными.

Наконец под ногами стала хлюпать вода. Пахнуло

---

* Исторически известно, что предложение это потом будет принято Сирано де Бержераком. *(Примеч. авт.)*

свежестью, видимо, близко была уже и желанная река.

Герцог остановился у решетки, замыкающей ход. Снаружи никто не мог бы попасть сюда. Сочившаяся со стен подземного хода влага собиралась теперь в ручеек, по которому ступали люди и лошади. Он выливался сквозь решетку, стекая в Сену. Очевидно, снаружи это выглядело обычной сточной канавой.

Выход из «канавы» был низким, чтобы не выдать размером решетки истинного назначения коридора.

Герцог отпер внутренний замок, откинул решетку. Обученные лошади проползли через низкий выход.

Герцог д'Ашперон, стоя с внутренней стороны решетки, запер ее изнутри; успокоенный тем, что его план спасения Тристана и Сирано удался, он готов был уже повернуться и уйти, когда услышал снаружи крики.

Он недооценил хитрости и коварства кардинала Ришелье. Тот, конечно, имел достаточно шпионов, чтобы проведать о старинном тайном ходе из замка, и за решеткой гостей герцога ждала засада.

Герцог не осмелился выйти. Он лишь слышал звон шпаг, крики, стоны, потом лошадиный топот.

Он не знал, что случилось с Тристаном и Сирано. С тяжелым чувством он побрел обратно в замок, чтобы впустить туда гвардейцев.

### Глава третья

## ПОГОНЯ

*Что бы ни случилось, не теряй бодрости.*

Л. Н. Толстой

К вечеру, когда жара стала спадать и с полей от прикрытой купами деревьев Сены потянуло свежестью, стражники парижской заставы оставили свои алебарды и мушкеты, позволив себе прилечь на жухлую траву. По дороге никто уже не вздымал клубы пыли, скоро предстояло загородить въезд в город на ночь.

Но не успели стражники поведать друг другу очередные страсти о призраках и проделках врага человеческого, как барабанно-копытная дробь по булыжной мостовой заставила их вскочить. Мимо пронеслись два всадника, очевидно, спеша засветло покинуть Париж.

Все же их приметная внешность не осталась незамеченной. Странно испачканные в такую сушь свежей грязью плащи развевались за спинами, подобно недобрым птичьим крыльям. Края шляп с перьями у одного на английский манер, а у другого по-гасконски все же не скрывали черную полумаску и черную повязку, выглядевших на всадниках сходными знаками.

Никем не предупрежденные стражи заставы не могли, конечно, знать, что промчавшиеся мимо них господа незадолго перед тем разгромили (вернее, это сделал лишь один из них!) отряд гвардейцев кардинала, засевших на берегу Сены у решетки одной из сточных канав, откуда внезапно появились замаскированные люди со своими почти ползущими на брюхе конями. И что потом, при скрещении шпаг, полдюжина гвардейцев неизвестно как осталась без оружия, а другая полдюжина получила более или менее серьезные ранения. Невольно припоминалась невероятная победа, одержанная здесь, в Париже, неким забиякой Сирано де Бержераком над ста противниками, правда, в большинстве своем пьяным сбродом и трусливыми монахами, пытавшимися сжечь книги философа Декарта. Но у повергнутых на берегу Сены слуг кардинала, надо думать, память отшибло.

Хотя, справедливости ради, надо признать, что, потерпев такое поражение от по меньшей мере самого дьявола, воплотившегося в человека в испачканном камзоле с черной повязкой на лбу, они все же не отказались от погони, правда, побуждаемые к этому своим усердным лейтенантом, уберегшимся от ран, господином де Морье, который, может быть, не столько стремился догнать неугодных его высокопреосвященству несомненно опасных господ, сколько самому ускакать подальше от куда более опасного в гневе кардинала Ришелье.

Для того чтобы расспросить стражников на всех парижских заставах у дорог, ведущих в разные стороны из столицы, гвардейцам понадобилось немало времени, и когда они допытались, наконец, в каком направлении умчались беглецы, те были уже далеко.

Сирано де Бержерак и Тристан Лоремет, не имея возможности переговариваться на всем скаку, каждый в отдельности мог подумать, что опасность миновала.

Во всяком случае, с наступлением ночи, добравшись до одинокого постоялого двора с заманчивым названием «Не откажись от угощения», они решили дать коням отдых.

Сирано не знал планов Тристана и был удивлен, что они скачут на восток, вместо того чтобы добраться до пролива Ла-Манш и переправиться в Англию, где Лоремет окажется в безопасности. Сам же Сирано не знал за собой вины и готов был вернуться в Париж.

Но пока они оставались во Франции и его старшему другу (а может быть, действительно «звездному брату»!) грозила опасность, мысль покинуть его не могла даже прийти Сирано в голову.

Хмурый пожилой трактирщик с торчащими седыми космами молча взял взмыленных лошадей, подозрительно оглядев всадников, прибывших без слуг и багажа.

В проеме освещенной изнутри двери Сирано почудилось видение, заставившее быстрее забиться его сердце. Фигурка женщины показалась нашему поэту чарующе прелестной. Гибкий, охваченный корсажем стан, лебединая шея, очаровательный силуэт головки с кокетливо взбитыми волосами разожгли его фантазию.

Когда же он вошел в трактир и увидел пленительную женскую улыбку, о которой тщетно мечтал с ранней своей юности, его даже зазнобило. Все необыкновенное, до того приключившееся с ним, сразу потускнело в его сознании.

Несомненно, причина была в том, что теперь его уже не уродовал безобразный нос, всегда отвращавший представительниц прекрасного пола. А он так жаждал любви, наш Сирано, готовый увлечься кем угодно, кому он не покажется столь безобразным, как прежде.

Однако появление Тристана помогло Сирано сразу прийти в себя. Он вспомнил о своем долге, о данной клятве и устыдился готового овладеть им чувства.

Если пара жгучих глазок может оказаться сильнее дюжины гвардейских шпаг кардинала, то чего стоит готовность Сирано служить добру?

— Хотят ли проезжие господа поужинать, принести ли им бургундского вина? — спросила юная трактирщица, может быть, дочь встретившего их мрачного старика или — о боже мой! — угнетаемая им жена?

Сирано вопрошающе взглянул в глаза прелестнице и сразу получил ответ на все заданные им мысленно вопросы. Но каковы эти ответы, он не смог бы, пожалуй, сам себе повторить. Важно то, что они говорили взглядами друг другу нечто очень значительное.

«Добрая фея постоялого двора» принесла им волшебных жареных цыплят, кувшин сказочного вина и по-

просила разрешения присесть к их столу, колдовски подперев подбородок ладонью. И столько было природной грации в ее позе, что Сирано пожалел, что он не скульптор, и дал себе слово, что дар ваятеля заменит страстностью поэта.

Все заметивший Тристан тихо шепнул:

— Если бы не усталые наши кони, мы уже мчались бы дальше к цели, ждущей нас обоих, ни о чем другом не думая.

Сирано вспыхнул и с горячностью заговорил:

— Конечно, я знаю, тебе пришлось отказаться от всего личного, от родных и близких, от собственных чувств...

— Ты прав, — кратко заметил Тристан.

Сирано принял это как упрек.

— Не думаешь ли ты, что у нас на Земле на обет безбрачия способны лишь попы и кардиналы?

— Во всяком случае, это потребует железной воли и несгибаемой преданности делу. Уэлл? — И Тристан поднял на Сирано глаза.

— У тебя нет оснований сомневаться во мне, Демоний Сократа!

— Не только Сократа, но и твой, Сирано, — примирительным тоном сказал Тристан, поправляя свои спадавшие на плечи полуседые волосы.

— О почтенные господа! Почему вы так плохо кушаете, говоря о возвышенном? Или я не угодила вам своей стряпней?

— Вы не можете не угодить смертному, мадонна! — пылко воскликнул Сирано.

— Я хотела бы, чтобы вы повторяли мне это... еще и еще раз, — опустив глаза, не без кокетства произнесла деревенская красавица.

«Вот что может сделать один вражеский удар летящим ножом! Благодарю тебя, злой враг, за устранение моего природного уродства! Прости, что моя шпага действовала быстрее рассудка!» — мысленно шептал Сирано. Но тотчас оборвал себя. «Впрочем, это уже не имеет значения!»

Он повернулся к Тристану и встретил его предостерегающий взгляд.

— Ах, господа! — продолжала трактирщица. — Я вижу, что вы так дружны, и должна огорчить вас. У меня всего две свободные кровати, и, как назло, они

в разных комнатах. Если вы задержитесь у нас еще на день, то я завтра же прикажу работникам снести их вместе.

— Вери найс, прелестно, миледи! — вежливо произнес Тристан. — Отведите нас в эти, надеюсь, уютные комнаты. Гуд найт, спокойной ночи.

Молодая женщина шла по лестнице впереди со свечой в поднятой руке. Когда она полуоборачивалась, Сирано любовался ее профилем.

Хозяйка показала заботливо разобранные умелой рукой постели, пожелала постояльцам спокойной ночи и, как почудилось Сирано, намеренно не спешила уйти из его комнаты.

Ему стоило немалого труда смирить себя, думая о находящемся за перегородкой Тристане, госте с чужих звезд.

Но фея так нежно взглянула на него перед уходом! Нет! Он просто вообразил себе все это, еще менее вероятное, чем судьба Демония, друга Сократа, и ему, Сирано, связавшему себя с ним, земные женщины еще недоступнее, чем далекие звезды!

С этой мыслью он провалился в глубокий сон.

Разбудила его Она.

Нежная рука ласково коснулась его щеки. Он по-солдатски разом проснулся и резко сел на кровати.

В полутьме он увидел молодую хозяйку, поставившую свечу позади себя на стул. Просвечивающая ночная рубашка делала ее похожей на призрак в полупрозрачном одеянии. И эта ночная нимфа была еще прекраснее, чем деревенская мадонна в платье с корсажем. Волосы ее волнами спускались по плечам и источали дурманящий аромат.

Она пришла к нему! Сама пришла... А как же старый трактирщик?

А нимфа, словно отвечая на его мысли, прошептала:

— Он донес на вас, гвардейцы сейчас ворвутся сюда. Спасайтесь! Я не знаю вас, но... — Остальное договорил ее взгляд.

Мгновение понадобилось Сирано, чтобы натянуть ботфорты, прицепить шпагу. Теперь он готов был пройти через любой вооруженный строй.

Женщина с восхищением смотрела на него.

— Вам придется прыгать в окно. Ваш друг уже там, с лошадьми. — И она открыла раму.

Снизу из трактира доносились грубые мужские голоса.

Сирано посмотрел в черноту ночи, привлек к себе свою спасительницу и запечатлел на ее ищущих влажных губах, быть может, не просто благодарный поцелуй. Потом прыгнул в темноту.

Ноги ушли во что-то мягкое, вскопанную грядку или кучу навоза. Остро запахло дегтем, конюшней и конским потом.

Лошади были уже оседланы, а совсем близко за углом хрипели другие кони, ночью ворвавшиеся с гвардейцами на постоялый двор.

Она свесилась из окна.

— Туда! — показала она свечой в руке. — Там огороды, кони сами перепрыгнут через ограду!

Сирано и Тристан не заставили себя ждать. Последнее, что успел увидеть Сирано, это силуэт мадонны в освещенном окне. Кто-то оттянул ее назад.

Кони действительно сами, невзирая на темноту, с привычной легкостью преодолев преграду, вынесли всадников в поле.

Сирано сначала удивился сметливости «подземных коней» герцога д'Ашперона, но потом понял, что это местные кони, свежие, которых на всякий случай еще с вечера оседлала прелестная хозяйка, неведомо каким чутьем угадавшая грозящую ее гостям опасность.

То, что кони оказались свежими, дало беглецам неоспоримое преимущество. Гвардейцы, обнаружив их бегство, не смогут на своих утомленных за дорогу от Парижа лошадях угнаться за ними.

Весь день с утра до самого вечера Тристан и Сирано скакали на восток.

Еще один придорожный трактир дал им возможность сменить лошадей, но помогла им на этот раз не «добрая фея с постоялого двора», а тощий трактирщик с жадно бегающими глазами, получивший от Тристана кошелек с пистолями.

Казалось, беглецам уже ничто не угрожает. Кардинальские слуги остались далеко позади.

Однако Сирано и Тристан не учли безграничного влияния кардинала Ришелье в любом уголке Франции.

Усердный лейтенант де Морье, первоначально спешивший сам поскорее ускакать подальше от Парижа, понял, что вернуться туда с пустыми руками, упустив государственных преступников, это все равно, что взой-

ти на эшафот. Поэтому энергия его мало сказать что удесятерилась. Он спасал свою жизнь, которую ценил, впрочем, как и многие другие, выше всего на свете.

Ему пришла благотворная мысль мобилизовать для погони именем всесильного кардинала Ришелье свободные от боевых действий воинские части, которые могут встретиться на пути.

И он так красноречиво объяснил капитану кавалерийского полка графу де Пасси необходимость поймать врагов кардинала, расписав ему выгоду, славу или расправу в случае удачи или неудачи, что бравый офицер решил сам отправиться во главе сильного отряда по направлению к альпийской границе Франции, к которой, по-видимому, устремились беглецы.

Ничего не подозревая об этом, наши герои, сберегая силы коней, расположились на мирной лужайке, где паслись коровы, дополняя чисто французский пейзаж, прикрытый почти неприметной дымкой, которую живописцы научились с поразительным искусством передавать. Под этой нежной вуалью природа выглядела особенно привлекательной.

— Солярия — сестра Земли, — сказал Тристан. — Но нигде на ней я не видел такой отдохновенной красоты, как здесь, даже в милой моему сердцу сократовской Греции.

— Там слишком жарко, — заметил Сирано.

— Ты прав.

— Ты замечаешь нашу французскую дымку? Я обожаю ее с детства, проведенного в местечке Мовьер близ Парижа. Мы с моим другом Кола Лебре ловили рыбок в Сене, а я умолял его отпустить их обратно в воду.

— Дымка, говоришь ты? — спросил Тристан, приподнимаясь на локте, чтобы посмотреть на пасущихся лошадей. — Вери бед! Скверно! Не находишь ли ты, что дымка там, вдали на дороге, слишком густа?

— Это, несомненно, пыль, Тристан. Ее могут поднять только скачущие кони.

— Упорству твоих землян могут позавидовать наши солярии. Вперед! Граница недалеко!

— Ты думаешь, Тристан, что граница с Граубинденом остановит моих соотечественников?

— Не думаю. Я знаю, сколько крови пролито за обладание этой маленькой швейцарской провинцией из-за ключевых ущелий, проходящих по ней.

— Но в этих ущельях мы будем зажаты, Тристан. Не повернуть ли на юг?

— Нет, мой друг. Именно в горах мы найдем убежище.

Сирано не спорил. Поймав своего коня, он вскочил в седло и полетел вслед за уже скачущим Тристаном.

Погоня была близко, притом на свежих армейских лошадях. И как это слуги кардинала выследили их, снявших заметные черные знаки?

Но золото кошелька, оставшегося у тощего трактирщика, вместе с его страхом перед солдатами кардинала оказалось прекрасным следом, по которому помчались конные воины графа де Пасси.

Тристан и Сирано оборачивались, видя, как, несмотря на усилия их усталых лошадок, грозное пыльное облако неотвратимо приближается. И оно представлялось им серой сутаной того, кто, прикрыв ее кардинальской мантией, таил под нею злость и ненависть, жестокость и коварство, с помощью которых управлял Францией, навязывая свою волю истощенным нескончаемой войной европейским странам, в числе которых не было лишь близкой путникам Швейцарии, остававшейся в стороне от сражений.

Граубинден! Альпийская провинция, родина отважных горцев, добившихся независимости, отказавшаяся от войн и посылавшая за золото своих солдат для охраны европейских монархов.

Сирано уже сталкивался с ними, охранявшими папский дворец в Ватикане. Но тогда они были союзниками против испанцев, а сейчас? Как они встретят беглецов, если за ними гонятся французы самого Ришелье, с которым едва ли захотят ссориться граубинденцы!

Но всадники миновали границу без всяких затруднений. Она попросту не охранялась. Война бушевала вдали отсюда, и власти кантона не хотели нести расходов по охране не нужной пока никому границы.

Но если не было граубинденцев, то за спиной беглецов, сокращая расстояние, скакали французы.

Долина между горными склонами то расширялась, то сужалась. Дорога делала изгибы, копируя текущую здесь речку, берущую начало в альпийских высотах.

В одном месте скалистые бастионы так сжали дорогу, что она узкой лентой едва протискивалась между ними.

Тристан скакал впереди, словно знал здесь любой камень.

За скалой, почти перегородившей ущелье, он неожиданно повернул налево, вброд перебрался через речку и стал углубляться в зеленую чащу, заставляя лошадь карабкаться по круче.

Сирано решил, что он, чувствуя погоню за спиной, пытается уйти в сторону, пользуясь тем, что скала закрывала на время их от преследователей. Однако Сирано ошибся. У Тристана было совершенно иное на уме.

Но не ошибся лейтенант де Морье. Предвидя, что преследование может продолжиться и в горной местности, он захватил с собой из полка графа де Пасси опытного горца-следопыта.

Потеряв из виду преследуемых, отряд остановился у скалы, и усатый солдат-швейцарец, соскочив с седла, стал внимательно всматриваться в пыльную дорогу.

Ему не составило большого труда разгадать план беглецов именно так, как представил его себе Сирано.

Отряд вброд перешел речку, где вода доходила лишь до брюха лошадей, и солдаты с гиком стали погонять коней, понуждая их взбираться по склону.

Тристан и Сирано находились уже много выше. Им хорошо было видно сверху, как многочисленные преследователи, немного поплутав, нашли верный путь и идут по их следам.

— Оставим лошадей, — предложил Тристан. — Надо пожалеть бедных животных. Ты ведь жалел рыбок из Сены. Уэлл?

— Вери уэлл! — в тон Тристану ответил Сирано, соскакивая с седла. — Ты хочешь сдаться? Вряд ли с нами поступят так, как я с пойманными рыбками.

Тристан улыбнулся, бросив свое обычное:

— Ты прав.

Он направился к скале и с завидной ловкостью для его возраста стал взбираться по почти вертикальной каменной стене.

Сирано не мог надивиться на его силу и ловкость. Сам он никогда не лазил по горам, но тренировки, которые он провел под руководством индейца племени майя в коллеже де Бове, помогли ему сейчас, и он старался ни в чем не уступить своему старшему брату и руководителю.

— В Солярии тоже есть горы? — крикнул он снизу.

— В Солярии есть все, что встречается на Земле, кроме ненависти, зла и несправедливости.

— Как бы я хотел увидеть такой край, — отозвался Сирано.

— Кто знает! Может быть! — загадочно ответил сверху Тристан.

Солдаты нашли брошенных внизу коней и заметили взбирающихся по скалам беглецов.

Началась беспорядочная стрельба из мушкетов. Впрочем, пули расплющивались о камни много ниже, чем находились два доброносца.

Среди солдат нашлись скалолазы, которые по приказу лейтенанта полезли по той же стене, проводник же, граубинденец, повел отряд в обход, заверив, что они прискачут наверх чуть ли не раньше, чем там появятся беглецы.

Но доброносцы поднялись все же прежде. Действительно, они оказались снова на тропке, на которой в любую минуту могли появиться конные преследователи.

И тут Тристан вдруг повел Сирано резко вниз, чтобы снова, как подумалось тому, сбить с толку преследователей. И он опять ошибся.

Чаща деревьев разом оборвалась, открыв вид на круглую впадину, похожую на кратер когда-то действовавшего вулкана. Посередине поднималось странное сооружение, напоминающее одинокую крепостную башню.

Крепость здесь, в непроходимых горах? Ее не достроил какой-нибудь суверен? Сирано не успел спросить об этом Тристана, поняв, что тот устремляется к странному строению.

Но эту башню, в которой, очевидно, хотели укрыться беглецы, увидели и преследователи. Может быть, о ней знал и проводник.

Она была совершенно круглой, поднимаясь выше самых высоких деревьев, поблескивая на солнце своими боками, словно покрытая броней от пуль. Сирано отметил это, прыгая с камня на камень в попытке не отстать от ловкого Тристана.

Он слышал за собой крики тоже спускавшихся солдат. О чем думает Тристан? На что рассчитывает?

Почти задыхаясь, догнал он Лоремета, в изнеможении упавшего у основания загадочной башни.

— Помоги мне, брат, — прохрипел он. — Здесь дверь, люк...

Глава четвертая

## АУТОДАФЕ* В ГОРАХ

Из тьмы невежества
К звезде познания
Стремится ум.

Сирано де Бержерак

Солдаты графа де Пасси и гвардейцы кардинала со своим лейтенантом де Морье по всем правилам военной науки тех времен осадили странную башню, из которой беглецам уже не уйти.

Офицеры, надменно сидя на камне, допрашивали усатого солдата-граубинденца о том, что это за башня...

— У нее дурная слава, ваши светлости, спаси меня бог! — бормотал проводник. — Ее зовут в горах чертовой башней. Но, во всяком случае, они никуда от нас не уйдут, ваше сиятельство. Мы возьмем их голыми руками. Пить и есть им понадобится. Вот мы их и накормим и напоим. И сами сыты будем, — заверил лейтенант.

Капитан расхохотался:

— Вы шутник, лейтенант! Накормить рубленым свинцом без спаржи? Напоить расплавленной смолой вместо вина?

— Боже упаси, ваше сиятельство! Его высокопреосвященство непременно пожелает побеседовать с ними.

— Побеседовать? С ними сперва я «побеседую». Не знаю, что господину кардиналу после этого останется.

Лейтенант вспыхнул, вскочил, подтянулся:

— Ваше сиятельство, можете надеяться, что я не слышал ваших слов.

— Ладно, — примирительно заметил капитан. — Прикажите, чтобы вместе со священником нам доставили сюда вина, и пусть солдаты разобьют для нас с вами палатку. Осада так осада! — и он скверно и витиевато выругался, поминая коней, их помет, гулящих красавиц и обманутых мужей.

Солдаты разожгли костры, варили пищу и располагались на долгий срок.

Наконец появился священник. Офицеры обрадова-

* Изуверское показное действие инквизиции, завершаемое преданием огню опозоренных еретиков и даже извлеченных из могил их останков. *(Примеч. авт.)*

лись, главным образом вину, которое одновременно принесли крестьяне близкой деревушки. Священника позвали в палатку. Это был тощий молоденький служитель церкви с молитвенником, как ему приказали, в руках. Французских офицеров он боялся, будучи протестантом, в то время как во Франции правил католический кардинал Ришелье.

— Вот что, ваше юное преподобие или как вас там, — объявил граф де Пасси, не предлагая священнику сесть. — У нас нет времени ждать у этой чертовой башни, пока укрывшиеся в ней еретики подохнут с голоду. Видите, солдаты разожгли костры. Вам это ничего не подсказывает?

— Ничего, ваша светлость. Очевидно, пища в горячем виде полезнее сухарей.

— А вы скрипите мозгами, как философ, ваше молоденькое преподобие. Я упомянул о еретиках, намекнул вам о кострах, а вы мне закладываете уши рассуждениями о горячей пище. Этому вас учили в семинарии?

— Ваше сиятельство, меня учили бояться бога.

— А черта? Вас не учили бояться черта?

— Упаси меня всевышний! — истово зашептал священник.

— Так ответьте мне, если вы сами не еретик, чего заслуживают еретики по законам святой католической церкви?

— У меня протестантский приход, ваша светлость.

— Эй, малый! Кого ты нам приволок? Думаешь, нам мало засевших в башне еретиков?

— Ваша светлость, дозвольте обратиться к беглецам с проповедью. Может быть, сердца их еще не окаменели.

— Это огнем проверять надо, святенький отец мой, огнем!

— Огнем? — ужаснулся протестантский священник.

— Именно огнем. Вас я приказал привести, чтобы устроить аутодафе по всей форме. Так мы с лейтенантом решили.

— Умоляю о прощении, ваша светлость. Я не вмешиваюсь в священнодействия католической церкви и чту ее, но мы находимся на территории страны, не участвующей в войне за веру. В нашем кантоне аутодафе не помнят.

— Лейтенант, гоните в шею этого лжесвятошу, пока я окончательно не рассвирепел. Пусть найдут нам

настоящего католического священника, хоть из Франции доставят. Не какого-нибудь кюре, а аббата позловреднее, из монастыря, где ему наскучило. Аутодафе так аутодафе! Огнепредставление! По всей форме. Тут без святых отцов никак нельзя.

Протестантский священник, низко кланяясь, удалился по кратчайшему, но отвесному пути, оказавшись отличным скалолазом. Глядя вниз, он с ужасом думал о зверском замысле французских офицеров.

Направленный во Францию за нужным аббатом, посланец уже скакал прочь от разбитого вокруг странной башни военного лагеря.

Сирано втащил обессилевшего Тристана в круглое отверстие внизу башни, которое тот назвал люком, и по его указанию плотно закрыл его, вращая слева направо. После этого он потащил космического пришельца по крутой винтовой лестнице. Она вела по извилистой щели, образованной внутренней стенкой башни и сооруженной для чего-то внутри ее более тонкой башней.

Лестница закончилась, когда они поднялись уже выше деревьев, судя по числу ступенек, ибо окон в башне не было и подниматься пришлось в полной темноте.

На последней ступеньке Тристан коснулся рукой перил, и мягкий свет из невидимого источника залил круглую комнату, в которой они очутились. По стенам шли широкие окна, сквозь которые минуту назад дневной свет не проникал в помещение. А теперь через них Сирано увидел солнечную поляну с выбежавшими на нее солдатами. Из стволов их мушкетов поднимались облачка дыма, но звуки выстрелов не доносились.

— Поберегитесь, Тристан. Лучше лечь на пол, чтобы пуля, пробив стекло, не достала тебя.

— Это не окна, брат мой, это... как бы тебе сказать, нечто вроде зеркал, где ты видишь не подлинные предметы, а их изображения. Я потом объясню тебе. Подожди, — продолжал Тристан, задыхаясь, — я проглочу целительную крупинку, а то начинаю себя чувствовать, как Сократ после выпитой чаши цикуты.

— Что с тобой, учитель? — Сирано впервые назвал так Лоремета.

Тот печально улыбнулся:

— Усталое сердце, брат мой, последователь и наследник Долга. Впервые оно схватило меня, когда я вместе с родными и друзьями прощался с Сократом

в темнице. Ведь, по тогдашним порядкам, он выпивал чашу яда и умирал в присутствии близких под наблюдением палача. Осушив чашу, приговоренный должен был ходить у ложа, чтобы яд подействовал быстрее. И у него сначала немели ноги. Тогда он ложился, и они отнимались. Паралич поднимался все выше, пока не достиг груди. Но яд коснулся не только его отданного людям сердца, избавив палача от омерзительной процедуры удушения смертника, яд тронул и мое несчастное сердце. Видишь, вот еще одно доказательство, что твой и Сократа Демоний вовсе не бессмертен.

— Ты проявил при восхождении на скалу такую удивительную силу и выносливость!

— Увы, переоценив себя, но иначе мы не спаслись бы...

— Ты думаешь, мы отсидимся в этой башне, столь странной и снаружи и внутри? Зачем здесь так много часов со стрелками? Я видел подобную коллекцию только во дворце кардинала, когда Ришелье вызвал меня.

Тристан, почувствовав себя после проглоченной крупинки лучше, усмехнулся и мягко пояснил:

— Это вовсе не часы, друг мой, а механические глаза и уши, которые дают знать, как работают машинные устройства звездного корабля, на котором я прилетел не так давно с Солярии.

— Это корабль? — удивился Сирано. — До чего же не похож на морское судно! Скорее напоминает пушку.

— Он и есть в какой-то степени пушка. Ты верно подметил. Отдача выстрелов толкает ее, заставляя подниматься с земли. На значительной высоте нижняя часть пушки отваливается, а верхняя, все еще «стреляя» пламенем, но не выбрасывая ядер, продолжает разгоняться. И корабль, выйдя за пределы земного тяготения, окончательно освобождается от «пушечного устройства», направляя свой полет к звездам. Вы, люди, пользуетесь ракетами лишь в увеселительных целях во время фейерверков.

— Кто же этого не видел! Но вряд ли многие осознали.

— Все просто, друг мой, когда понято.

— Понять, как поднимается твой корабль, проще, чем объяснить вот эти окна-зеркала, которые, по-видимому, не выходят наружу.

— В таких зеркалах у нас на Солярии наблюдаются события, происходящие на огромных расстояниях или

произошедшие когда-то и записанные на особых лентах, вроде как у вас печатают мысли в книгах. Ты мог бы увидеть все это сам, если бы согласился отправиться сейчас вместе со мной на Солярию.

— На Солярию? Через звездные бездны, «съедающие» тысячелетия? — в ужасе переспросил Сирано.

— Да, на твою прародину, в мой покинутый дом, к соляриям, где ты можешь увидеть не только дальновидящие зеркала, но и «говорящие» книги, которые нужно закрепить в виде сережки, какие носят у вас прекрасные дамы, и слушать по своему мысленному приказу интересующую тебя главу *.

— Зачем? Зачем мне видеть все это? Я люблю свою Францию со всеми ее красотами и уродствами, величием и низостью. В твоем присутствии я поклялся служить добру, искореняя зло, от которого так страдают люди. Зачем ты требуешь нарушения этой клятвы?

— Успокойся. Сейчас лучше всего перекусить после утомительной скачки. В корабле осталось достаточно запасов для обратного путешествия. Как видишь, на экранах, так назовем эти скрытые окна, солдаты взяли нас в форменную осаду, рассчитывая, что голод и жажда принудят нас к сдаче, но жестоко ошибаются. Мы могли бы прожить здесь года три-четыре. Никакая осада не продлится так долго. Солдаты уйдут, сочтя нас погибшими. Но не лучше ли нам с пользой провести это время?

— Что ты имеешь в виду?

— Посетить нам вместе Солярию. Мы сможем слетать в этот мир двух лун. У нас там две луны. И ты увидишь не только «экранные окна», но и многое другое, а главное, постигнешь, как могут жить люди, ибо солярии те же люди, но лишь разумно содружествуют между собой, вместо того чтобы по-земному враждовать.

Сирано наблюдал на экране, как к палатке привезли священника с молитвенником в руках и как он скрылся за мягким пологом.

— Клянусь, учитель, — обернулся он к Лорему, — видимо, я в чем-то не понял тебя. Что ты обещаешь мне на Солярии? Свет, который я увижу, поки-

* Все это: и многоступенчатые ракеты для межпланетных сообщений, и звукозаписывающие аппараты, и телевидение, а также многое другое подробно описано Сирано де Бержераком в его трактатах «Иной свет, или Комическая история империи Луны» и «Государства Солнца». *(Примеч. авт.)*

нув мрак невежества? Общественное устройство, которое предвидел наш философ Кампанелла? Мир, где, быть может, все наоборот?

— Вери уэлл! Ты хорошо сказал. Именно все наоборот. Это надо видеть своими глазами.

— Зачем?

— Чтобы вернуться во всеоружии знаний, чтобы продолжить со мной, а потом и после меня, «Миссию Ума и Сердца» на твоей родной планете, помочь ей догнать в развитии Солярию.

— Что ты говоришь, Тристан? Или ты считаешь меня безнадежным учеником, который не усвоил ничего из тобою сказанного?

— Нет, почему же? Считая тебя способным, я и хочу перенести тебя в мир знаний, которые ты сможешь усвоить, в мир мудрости.

— Перенести в иной мир? — Сирано горько усмехнулся. — Неужели ты думаешь, что я способен на предательство?

— О каком предательстве ты говоришь?

— Не ты ли объяснял мне, что был Демонием Сократа и скоротал тысячелетия, перемещаясь в пространстве с предельной скоростью?

— Вижу, ты усвоил урок.

— Более чем усвоил! Настолько понял этот удивительный закон, что не могу улететь с тобой с Земли, хотя бы и на сказочную Солярию, увидеть там «золотой век» и вернуться на Землю через две тысячи лет, когда здесь люди без какой-либо моей помощи сами преодолеют свои заблуждения, построят себе дальновидящие зеркала, шепчущие книги и не знаю, что еще, а главное, откажутся от угнетения, несправедливости и распространения зла. Зачем я буду им? Чтобы дивиться на меня, как на звероподобного предка, просвещенного чужим умом?

— Ты говоришь страстно и верно. Мне стыдно за себя. Видишь, я не только не бессмертен, но и не слишком мудр. Ай эм сорри. Прости, должно быть, мое усталое сердце слишком скупо питало кровью мой мозг, и я упустил сказать тебе главное.

— Если ты хочешь снова говорить о бегстве с Земли, я не стану тебя слушать. Я лучше выйду из закручивающегося внизу люка со шпагой в руке, чтобы принять смерть от своих современников, чем покину их ради собственного спасения.

— И все-таки тебе надо выслушать меня. Ни о каком предательстве твоих современников речи не будет.

— Но ты говорил о полете к звездам длительностью в две тысячи лет!

— Я все объясню. Для всех планет есть общий закон: «Чтобы думать, надо есть». — И Тристан достал какие-то металлические банки, которые после его манипуляций с ними нагрелись и сами открылись, источая приятный аромат.

Тристан передал Сирано банку с удобной палочкой и сам принялся с аппетитом есть, начав свои объяснения. Сирано последовал его примеру, с напряженным удивлением слушая его.

— Я говорил о своем первом полете, занявшем тысячелетия, но не успел сказать, что ко времени моего возвращения на Солярию звездоведы там уже знали, что Вселенная представляет собой замкнутую область, сравнимую с исполинским цилиндрическим кольцом, внутреннее отверстие которого так сузилось, что радиус его превратился в нуль.

— Какое же это кольцо без внутреннего отверстия? — перебил Сирано.

— Ты споришь, значит, пытаешься представить это сжавшееся кольцо. Я помогу тебе. Вообрази себе исполинскую змею, удава непостижимой толщины, который свернется вокруг тончайшей иглы. Возьмем лишь одно кольцо его тела и сочтем, что оно срослось. Если мы разрежем его поперек, то получим...

— Две примыкающие друг к другу окружности.

— Браво! А если разрежем вдоль змеиного тела, свернувшегося вокруг тончайшей иглы?

Сирано задумался на мгновение.

— Пытаюсь представить. Видимо, будет одна окружность с точкой центра посередине, оставшейся от иглы *.

— Теперь пойми, что, поскольку Вселенная изогну-

* Такое представление о «ТОРОИДЕ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ» как о модели элементарной частицы выдвинуто советскими физиками И. Л. Герловиным, автором ТЕОРИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПОЛЯ, и заслуженным деятелем науки профессором М. М. Протодьяконовым, автором теории электронных оболочек. Академик-секретарь отделения ядерной физики Академии наук СССР академик М. А. Марков в беседе с автором высказал мысль о подобии строения элементарных частиц и всей Вселенной, математически обосновывая это в одной из своих статей в докладах Академии наук СССР. *(Примеч. авт.)*

та кольцом, то лучи света там идут не по прямым, а по кривым линиям, притом не по окружности сечения Кольца Вселенной, а с удаленным от полюса перегибом.

— И что же?

— А то, что между двумя точками-планетами, находящимися в разных частях кольца, но близко к его внутренней поверхности, свет идет, огибая невыразимо длинную дугу. В то же время не по кривой, а по прямой, проведенной через нулевую точку соприкосновения внутренней поверхности кольца, через «полюс Вселенной» расстояние между теми же планетами ничтожно! Вот и получалось, что корабли, летя по лучу света, преодолевали ненужные расстояния через звездные бездны и на оставленных ими планетах проходили тысячелетия. А по прямой, отклоняющейся от пути луча и соединяющей точки через «полюс Вселенной», то есть через место соприкосновения кожи свернувшегося бесконечно толстого удава, лететь нужно совсем недолго.

— Значит, ты летел сюда с Солярии уже по кратчайшему пути?

— Именно так. Провел десяток лет по солярийскому счету дома. Но долг участника «Миссии Ума и Сердца», а также знатока земных условий повел меня снова к вам, чтобы встретить тебя.

— Теперь я понял! Ты хочешь вернуть меня на Землю еще при жизни кардинала Ришелье.

— Превратив за это время тебя в человека даже более образованного, чем он, знатока еще недоступных людям знаний.

— Смотри, Тристан! Офицеры прогнали священника, он полез на скалу. И зачем солдаты везут на лошадях хворост и даже бревна?

— Боюсь, что им нужен католический священник, а не местный. И не вижу ничего для нас хорошего.

— А что, если нам подняться на твоей летающей башне из кольца осады и перелететь в другое место Земли, чтобы не откладывать дело добра? Пусть сложатся твои знания и моя сила!

— Куда ты предлагаешь перелететь?

— Хотя бы в Новую Францию. Пусть через океан, но там есть безлюдные места, где легко спрятать в горах твой корабль. Это на севере того континента, где обитает индейское племя майя, к которому принадлежал мой тайный воспитатель в коллеже де Бове.

— Признавший в тебе потомка сынов Неба, дав-

ших людям законы, по которым невежественные дикари не пожелали жить?

— И по которым не желают жить мои просвещенные, но властолюбивые современники.

— Новая Франция? — задумчиво произнес Тристан.

— Случилось так, что я знаю советника вице-короля, губернатора Новой Франции, писателя Ноде, с которым вместе мы освободили Кампанеллу. Он поможет нам вернуться во Францию морским путем.

— Так ты решительно не хочешь насытиться на Солярии мудростью ваших будущих веков?

— Позволь мне ответить, учитель, стихами. Это свойственно мне.

— Уэлл. Уважаю в тебе поэта.

К духовной свежести,
В полет мечтания,
В мир странных лун.

Из тьмы невежества
К звезде познания
Стремится ум.

Но даль безбрежности
Земного знамени
Долг тяжких дум?

Тристан долго размышлял, произнес:

— Ты прав. — И добавил: — Но...

Аббат Жозеф Марли, фанатик из монастыря святого Августина, детство свое провел в Испании, где воспитывался, не имея родителей, иезуитом, отцом Филиппом. После его кончины он постригся в монахи уже во Франции и, став потом прославленным в усердии аббатом, не мог не вспоминать потрясшее его детское существо пышное аутодафе в Испании. Не раз он просыпался в келье, весь дрожа и словно наяву ощущая запах дыма и горелого мяса, слыша предсмертные крики и ликование толпы, издевающейся над провозимыми мимо нее в дурацких колпаках вчера еще могущественными грандами. И будучи во Франции монастырским аббатом, проклиная отступников-гугенотов, он думал о былых очистительных кострах, на которых в священном пламени сгорали не только живые, но и когда-то жившие еретики, останки которых вырывали из земли, что-

бы предать огню, дабы спасти заблудшие и погибшие души. Отец Жозеф видел в аутодафе акт величайшего милосердия и заботы о душах грешников, которые через огонь святого костра обретали бессмертие праведников.

Но никогда не думал аббат Марли, что ему в условиях современной Франции, при излишней гуманности ее правителя кардинала Ришелье, чрезмерно потворствующего гугенотам-еретикам, посчастливится не только присутствовать, но и руководить настоящим аутодафе.

И теперь на глазах у графа де Пасси и лейтенанта де Морье он деятельно распоряжался разведением костра под сатанинской башней.

Подобного костра не видывал никто из присутствующих. Когда загорелись смолистые ели, прислоненные к корпусу башни (рогу сатаны!), могучий поток огня превратил ее в столб пламени.

Аббат Марли, несмотря на свой преклонный возраст, ликовал. Сердце его сжималось в сладострастном, фанатическом экстазе, губы запеклись, но шептали молитвы.

Граф де Пасси заметил лейтенанту:

— Ему бы маршалом Франции быть, а не попом. Видит бог, при его помощи мы выиграем эту осаду.

— Лишь бы не изжарить господ преступников, ваше сиятельство, раньше, чем с ними побеседует его высокопреосвященство господин кардинал.

— Они дадут ему отчет, будьте покойны. Хотя бы на небе. Ведь поп обещал им спасение душ через огонь, а кардинал сам туда торопится.

И тут произошло событие, которое способствовало впоследствии «спасению» многих душ и потере многих голов.

На глазах у отца Жозефа, офицеров и перепуганных солдат из-под огненной колонны вдруг повалил черный дым, и огонь сразу удесятерился в своей мощи, а черная туча стала расползаться по поляне, заставляя людей чихать, кашлять, задыхаться. Они или падали наземь, или спасались бегством. Однако многие из них видели, как чертова башня, этот клык сатаны, с оглушительным грохотом, воспринятым как адский хохот, приподнялась на огненном столбе и сначала медленно, потом все быстрее стала взмывать вверх, рыча и изрыгая драконово пламя из хвоста, и скрылась

в синем небе, по которому прокатывался без дождя отдающийся в горах гром.

Очевидцев этого невероятного события оказалось много, но для них лучше было бы не быть очевидцами...

### Глава пятая

## «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

*Как думать могу я,*
*Что сны только сны!*

Из японской поэзии

Когда стих ужасающий грохот за стенками башни, взлетевшей из разведенного под ней костра, Сирано ощутил необычайную легкость, знакомую лишь по детским снам, когда, проснувшись, Савиньон прибегал к матери в восторге от того, что только что летал.

Сирано как будто парил над полом башни, понимая рассудком, что такого не может быть и все это лишь грезится ему во сне. И неправдоподобность всего вслед за тем произошедшего мешала признать его реальность.

Тристан парил рядом. Но в отличие от беспомощно висевшего над креслом Сирано, держался смело и непринужденно. Он умело подплыл к нему. Потом он предложил ему надеть вместе с ним под камзол и панталоны тугое одеяние, пронизанное металлическими нитями. После включения «магнитного действия» такое «белье» потянет вниз, как былой вес, и они станут чувствовать себя как обычно на Земле, а их мышцы, находясь в постоянном напряжении, не ослабнут за время долгого путешествия.

Сирано послушно выполнил указания Тристана, а когда после включения «магнитного действия» снова обрел свой вес, то пожалел об утраченной сказочной легкости, дарившей ни с чем не сравнимое наслаждение.

Меж тем на зеркале-экране появилась огромная, чуть затемненная сбоку луна, словно завернутая в причудливый туманный полог.

Сирано удивился, столь скорому сближению со спутницей Земли, но Тристан объяснил, что он видит перед собой не луну, а покинутую ими Землю, прикрытую облаками.

Сирано оживился, стараясь угадать, где Франция, а где Новая Франция, куда они могли бы приземлиться.

— Увы, Сирано! Вери бед! Наш поспешный отлет, напоминавший бегство, не позволил мне направить корабль в облет Земли, чтобы опуститься, как ты предлагал, в Канаде. Ай эм сорри! К сожалению, у нас уже нет выбора. Аппарат настроен так, чтобы вынести нас сначала на орбиту вокруг Солнца, когда мы не будем ощущать своего веса, а потом в подходящий момент, нагрузив нас привычным весом, направится прямо к «черной дыре», первые две ракетные ступени, отработав, уже упали обратно на Землю.

— О какой «черной дыре» говоришь ты, учитель?

— Когда-нибудь земные астрономы, идя по следам Галилея с его телескопом, обнаружат в небосводе «черные дыры», скорее всего объяснив их присутствием там столь огромных небесных тел, что вызванная ими тяжесть удержит у себя даже световые и другие магнитные лучи, а потому тела эти покажутся «черными дырами», на самом деле будучи совсем не дырами и вовсе не черными.

— Ты хочешь, чтобы наш корабль попал в объятия такой тяжести и никогда уже не вернулся обратно?

— Конечно, нет! Дыра, к которой мы направляемся, подлинно *черная* и на самом деле *«дыра»,* притом *всеобщая.* Она черна не из-за сверхсильной тяжести межзвездного тела, а потому что является той самой *нулевой точкой, полюсом Вселенной,* о чем я говорил тебе.

— Кольцо с внутренним отверстием, превратившимся в точку?

— Ты отличный ученик и, конечно, понял, что все до единого поперечные сечения Вселенной, представляющие окружности с бесконечным радиусом, соприкасаются в общей для всех *нулевой точке,* как витки свернутой вокруг иглы спиральной пружины. Правда, тебе нужно сделать еще одно усилие мысли, чтобы понять, что мы, живя в трехмерном пространстве, так же ограничены в своих восприятиях, как были бы безнадежны в своих попытках понять сферичность поверхности некие двухмерные существа, обитающие на этой поверхности, считая ее плоскостью.

— Трудно представить себя ничтожным трехмерником.

— Тем не менее лучи света, не подчиняясь пред-

ставлениям трехмерников, движутся на самом деле по кривым линиям, сходясь у оси изогнутого в четвертом измерении Вселенского Кольца, минуя всегда нулевую точку. Вот она и выглядит абсолютно черной, являясь в то же время подлинной и «всеобщей дырой», через которую с одинаковой легкостью можно проникнуть в любую область Вселенной. Потому только эта «черная дыра» и нужна нам. Через нее мы выйдем, если усталое сердце не откажет мне совсем, на противоположную часть дуги Вселенского Кольца, где нас ждут иное солнце с сестрой Земли — планетой Солярией, которые, к счастью, как Солнце с Землей, расположены, как мы уже говорили, недалеко друг от друга по кратчайшему пути.

— И потому мы достигнем цели не через две тысячи лет?

— По кратчайшему пути и в кратчайший срок, отнюдь не приближаясь к световой скорости, чтобы не обогнать своих современников, и не тратя на это год разгона и год торможения. Не будь Солярия и Земля так близко к Полюсу Вселенной, нам не удалось бы наше путешествие с обычной космической скоростью, с которой мы улетим от Солнца. И у нас, подчеркиваю, у нас, мой дорогой, не было другого выхода. И я обеспокоен лишь тем, что осаждающие гвардейцы, захватив местность вокруг ракеты, лишили нас возможности дать весть о своем прилете с помощью силовой связи *.

— Что значит «силовая связь»?

— Я объясню тебе. Луч света ограничен скоростью своего распространения. Воспользовавшись им или магнитным лучом, мы получили бы на Солярии собственный сигнал через две тысячи лет после своего прибытия. Силовой же сигнал, сходный с силой тяжести, распространяется почти мгновенно. Если бы мы смогли воспользоваться оставленными на Земле аппаратами, на Солярии уже ждали бы нас. Ясно?

— Если нас ждут где-нибудь, учитель, то доброносцы на Земле.

— Ол райт! Верно сказано. Но мы летим к Солярии, чтобы вернуться к ним на Землю.

— А что ждет тебя на Солярии, учитель?

---

* Речь идет о передаче сигналов не с помощью радиоизлучений, а гравитационными волнами, распространение которых, еще по подсчетам Лапласа, превосходит скорость света в 50 миллионов раз, а по современным оценкам много больше. *(Примеч. авт.)*

Ничто так не сближает людей, как совместное путешествие. Еще недавно не знавшие друг друга Сирано и Лоремет, одинокие в непостижимо огромной межзвездной бездне, оказались теперь самыми близкими друг другу. Откровенность Тристана представилась Сирано естественной.

— К сожалению, меня никто там не должен был бы ждать. Так думал я и в прошлый раз, возвращаясь на Солярию, чтобы найти вновь себя и набраться сил после потери такого ученика, как великий Сократ. Но случилось невероятное. И только тебе, ставшему как бы частью меня самого, твой Демоний может рассказать о своем первом возвращении. Уэлл?

— Я слушаю тебя, учитель.

— Я покинул свою родную планету, отказавшись от всего: от родных и близких, от возможной подруги и детей, решив посвятить себя благу других, мне неизвестных существ, но несомненно нуждающихся в помощи более разумных братьев с их прародины.

— Я тоже как бы дал обет безбрачия, посвятив себя идеям доброносцев.

— Потому я и хочу насытить тебя на Солярии силой знания, которая поможет тебе заменить на Земле меня.

— Как заменить?

— Ты уже почувствовал мое усталое сердце. Видишь, я опять глотаю целительную крупинку, ибо не хочу оставить тебя одного на пути к «черной дыре». Я должен провести через нее корабль и доставить тебя на Солярию.

— Где тебя никто не ждет?

— Ты затрагиваешь самое мое больное место. Сердце мое не было еще усталым, хотя и раненным кончиной Сократа, когда я возвращался на Солярию длинным путем. На Солярии прошли тысячелетия. Память обо мне и других моих соратниках, оставшихся на Земле, сохранилась лишь в мифах и преданиях, как у вас об эре Сократа. Кто мог ожидать возврата никому не известного предка, который даже не оставил прямого потомства? И все же...

Тристан замолчал. Сирано не торопил, видя, чего стоит Тристану это откровение.

— Надо знать соляриев, чтобы понять, что нашлась среди них удивительная натура солярессы Ольды, которая, едва был получен на подходе к Солярии магнит-

ный сигнал о моем возвращении, отыскала мое изображение на камне и, представь, решила, что любит меня, никогда не видев живым, и станет моей подругой.

— Женщины всегда были для меня загадкой, а соляреccы тем более.

— Разгадка заключалась в том, что, оказавшись в числе встречающих меня, она сразу поразила меня своим сходством с божествами современников Сократа. Они высекали их изображения из камня и создавали шедевры красоты. И я, еще находясь во власти земных представлений, увидел на Солярии живую богиню моих землян! Если встречавшие меня солярии интересовались мной как посланцем прошлого, к тому же знатока чужого звездного мира, который может обогатить науку Солярии, то она, Ольда, видела во мне «героя», подругой которого намеревалась стать.

— И стала?

— Конечно! Разве ты, Сирано, устоял бы?

— Не знаю, Тристан, мне бы пришлось выдержать борьбу с самим собой. Я помню, когда меня вызвал к себе во дворец кардинал Ришелье, я залюбовался древней статуей в одном из его залов. Я увлекался античными философами, преклонялся перед античностью вообще, но эта античная богиня являлась потом ко мне во сне живой и зовущей.

— Тогда ты поймешь меня! Мы прожили с Ольдой десять солярийских лет, познав безоблачное счастье, хотя и находились среди облаков...

Сирано понял значение этих слов лишь много позднее, а сейчас слушал не перебивая.

— К концу моего пребывания на Солярии у нас родилась дочь Эльда. Мы любовно песговали ее всего лишь один наш год (два земных), чтобы передать потом на воспитание «ваятелям сердец», лучшим умам планеты, которые подготавливали юных соляриев к восприятию знаний, дабы знания эти никогда не могли бы быть использованы во зло.

— И ты расстался со своей богиней? — осторожно спросил Сирано.

— Выше счастья, выше жизни у нас, соляриев, долг, мой молодой друг. Долг знаком и тебе. Но, к счастью, тебе еще не знакома та невыразимо острая боль внутренней борьбы, когда я должен был лететь к Земле, как ее знаток и участник «Миссии Ума и Сердца», и оставить на Солярии подругу свободной, чтобы она мо-

гла избрать себе спутника жизни из числа достойнейших соляриев. Теперь ты поймешь, что значит для меня, после скитаний по Франции и Англии в годы вашей чудовищной религиозной войны, найти на Земле тебя, чтобы стать твоим Демонием.

— Я оценил тебя, учитель, и понимаю твое состояние в ожидании близкого прибытия на Солярию.

— Порой мне хочется, Сирано, чтобы все это было бы только моим сном.

— Тристан! Именно такое состояние я и ощущаю все время. И, к счастью, не могу проснуться.

На Солярии действительно никто не ждал прилетевших...

Из непривычного тумана в незнакомом Сирано разноцветье выступало покрытое чужой травой поле.

Укоротившаяся башня из альпийского ущелья прочно стояла на инопланетном лугу.

— Нас скоро заметят, — уверял Тристан, видя настороженное отношение земного спутника ко всему инопланетному.

Каково было Сирано де Бержераку, современнику д'Артаньяна, еще недавно сторонившемуся в Париже карет с гербами, запряженных лошадьми попарно цугом, увидеть на лугу карету (без гербов), катящуюся по ровному полю, как под горку, без всякой упряжки!

Возничий, похожий на Тристана, только много моложе, вышел из кареты, оживленно заговорив с ним на непонятном языке, деликатно стараясь не выдавать своего интереса к его спутнику.

Он повез прибывших в своей самодвижущейся карете без лошадей в город, где дома стояли не рядом, как в земных городах, а один на другом, уходя несчетными ярусами в розовые полупрозрачные облака.

И вдруг Сирано, казалось бы, совсем недавно проскакавший верхом половину Франции, увидел, как по улице, образованной местными вавилонскими башнями, между двух аллей с пахучими в цветенье деревьями, заставляющими вспомнить Париж и Тюильри, в самокатящейся открытой карете ехала стоя... лошадь!

Обыкновенная земная лошадь без седла!

Может ли такое присниться!

Или Тристан действительно привез сюда в прошлый прилет жеребят из Древней Греции, которые родились

две тысячи лет назад, но время для них в продолжение почти всего полета стояло!

Тристан, отгадав мысли Сирано, утвердительно кивнул. Он был непривычно взволнован, снова проглотив целительную крупинку.

Самокатящаяся карета остановилась около одной из башен.

Прохожие в развевающихся одеяниях, явно недоумевая, разглядывали Сирано в его, вероятно, кажущемся им нелепым костюме.

У Тристана тряслись руки, когда он оперся на локоть Сирано, сказав ему, что теперь им придется подняться в его дом под самые облака. Они приехали не к знатокам знания или вождям планеты, а именно к его бывшему дому.

Сирано встревоженно взглянул на учителя. На нем лица не было, казалось, он только что забрался к Сирано в спасительную башню, преодолев немыслимый подъем по скалам. Ведь у него усталое сердце. Как же можно подниматься под облака?

— Я понесу тебя! — предложил Сирано.

Тристан улыбнулся, молча указав глазами на обыкновенную земную лестницу, круто поднимавшуюся вверх снаружи «вавилонской башни», уходившей в самое небо, ибо дожди здесь, как узнал потом Сирано, были только искусственными.

День, очевидно, более короткий, чем земной, клонился к вечеру. Еще не зашедшее местное светило казалось, как и на Земле при заходе, сплющенным, но обладало короной из колеблющихся языков пламени. А в фиалковом небе появились сразу две луны. Одна полнолунным шаром висела над башнями, а другая, маленькая, бледная и ущербная, виднелась в самой выси небосвода, проглядывая сквозь облака, как месяц в последней четверти.

Вот к ней-то и надо было подняться Сирано с Тристаном по крутой лестнице, которую, конечно, не преодолеть с усталым сердцем.

Но все опять получилось не так, как наяву.

Едва они вступили на первые «ступеньки, выяснилось, что по ним здесь не поднимаются, а они сами двинулись вверх, унося вставших на них все выше и выше.

Через каждые несколько ярусов приходилось переходить с лестницы на лестницу, чтобы подниматься и дальше к розовым облакам.

Башни казались исполинскими колоннами, подпиравшими небо, а лес у их основания — кустарником, в который слились сады и парки, разделенные просеками улиц. На них виднелись игрушечные самокатящиеся кареты и точки пешеходов. На васильковых водоемах кто-то плавал — не то ручные животные, не то прирученные птицы.

Сирано мысленно старался себе представить Ольду, былую подругу Тристана. Как она встретит солярия, оставившего ее ради Долга?

Женщины Земли таких вещей не прощают. А солярессы?

Сирано смотрел с высоты на раскинувшийся перед ним простор и жалел, что в этом сне на этот раз ему не дарована легкость невесомости, он не может броситься с лестницы и пронестись над парками, улицами, водоемами.

Сирано только крепче сжал руку подавленного предстоящей встречей Тристана, стараясь вселить в него бодрость.

И вот на балконе, перед которым внизу словно расстилался весь мир, распахнулась дверь, и на пороге ее застыла Ольда.

Сирано воспринял ее как воплощение строгой и совершенной красоты, заслоняющей возраст, она была ожившей статуей, которой он грезил после посещения кардинальского дворца. Да, именно ожившей, ибо неповторимо прекрасна была не только ее очерченная легким одеянием фигура, лицо с прямым носом, продолжающим линию лба, невыразимо прекрасно было выражение испуга, радости, счастья, отразившееся на этом лице, когда расширились ее васильковые глаза, когда в непосредственном порыве, не замечая столь необычного для Солярия гостя, она бросилась к Тристану и совсем по-земному заплакала, зарыдала у него на груди. Это были слезы радости, столь человечной, понятной Сирано, что ему ничего не надо было объяснять о верности подруги герою, улетевшему для выполнения Долга. Все ясно было и Тристану.

Он изменился, помолодел сразу лет на десять, если не больше, улыбался, сиял, но молчал, не в силах вымолвить и слова.

А когда он заговорил, то на древнегреческом языке, объясняя, что его сопровождает житель далекой планеты Земля.

Ольда приветствовала Сирано тоже по-гречески. Оказывается, она изучила земной язык и все проведенные вместе годы Тристан и Ольда говорили между собой только на этом языке.

Но более того...

Сирано, сняв свою нелепую здесь земную шляпу с пером, смущенно, отойдя чуть в сторону, любовался счастьем учителя. И вдруг ощутил на себе чей-то внимательный взгляд.

На него смотрела застывшая в проеме двери тоненькая соляресса. Ее темные спадающие волнами на плечи волосы обрамляли бледное лицо, чем-то напоминающее материнское, но более подвижное, меняющееся, полное радостного восторга и любопытства, совсем еще юное, но поистине неземное, какое только и может привидеться во сне.

— «Долго как длилось утро и день возрастал светоносный!» — сказала, вернее, пропела она строку из «Илиады» Гомера.

Значит, и она, Эльда, дочь Тристана и Ольды, тоже знала земной язык, очевидно общаясь на нем с матерью, вернувшись к ней после общественного воспитания и ощущая как бы рядом отца.

Сирано был поэтом и оценил тонкость чувств солярiев.

Ольда перестала плакать, теперь глаза ее сияли.

Тристан взял за обе руки Эльду и радостным и изучающим взглядом рассматривал дочь.

А Эльда подошла потом к Сирано и, в свою очередь, взяла в свои маленькие нежные ладони его руки и, смотря в него, именно «в него», а не на него, своими бездонно-черными глазами, опять сказала по-древнегречески, в подражание земным поэтам, соблюдая гекзаметр:

— Пусть счастье и радость встречавших коснется и гостя с Земли.

Сирано, чувствуя, как сильно забилось его сердце, смущенно склонил голову, поправив черную повязку на лбу.

И словно ожгло его воспоминание об индейской легенде и библейские строки о том, как «сыны неба входили к дочерям человеческим...».

А он для солярiев был «сыном неба»! Но может ли он мечтать о чем-либо подобном, не познав на Земле восторгов любви?

Глава шестая

## МИР МУДРОСТИ

*Если бы мне предложили высшую мудрость с непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался.*

Сенека

Открывшийся Сирано де Бержераку мир Солярии был столь благоустроен, прекрасен, справедлив и многогранен, что знакомство с ним напоминало Сирано соединение его собственных грез с учениями любимых философов.

Он был принят соляриями как равный, к нему относились почтительно и старались не утомлять любознательностью.

Живя в доме учителя, семья которого говорила на земном языке эллинов, к счастью, изученном Сирано еще в коллеже де Бове, он, естественно, познавал новый для него мир через Тристана, Ольду и особенно через юную Эльду.

Она, посвятившая себя воспитанию самых маленьких соляриев, взяла землянина на правах «несмышленыша» под свою опеку.

Став его первой наставницей, она стремилась показать ему свое знакомство с культурой далекой Земли, а потому говорила с ним на древнегреческом языке только «гекзаметра размеренными строками», подражая изученным ею поэтам Эллады.

Выходило это у нее так естественно и мило, что придавало ее речи особый, волнующий колорит.

— Нет в мире достойнее долга, чем воспитание соляриев малых, — певуче говорила она. — Они, как птенцы, что у вас на Земле или в древнюю пору у нас на Солярии. В сердцах, как забьются они, еще нет ничего. Расцвести они могут цветком доброты или черной гирляндой злодейства. И лишь воспитанье насытит их чувством и радостью братства.

— Ты совершенно уверена, Эльда, что все мы появились на свет неразличимо одинаковыми и природа продолжала создавать нас неизменными?

— Ты мыслью своей пронизаешь насквозь. Конечно, права я отчасти, но все же... Вспомни, у вас на Земле каждый живет ценой жизни другого. Смерть съедобных

питает нас всех. Убийство вам же подобных приносит желанные блага. В несчетных веках на Солярии нашей не знали убийств, «кровавая склонность» изжилась сама. От мысли одной, чтобы жизни лишить, здесь каждый из нас содрогнется. И если теперь я о том говорю, то лишь ради тебя в том себя принуждаю.

— Спасибо тебе, наставница, которую у нас на Земле сочли бы обитательницей Олимпа. Но как же вы обходитесь без убийств «съедобных», ради поддержания своей жизни? Ведь вы же не боги Олимпа, чтоб питаться лучами светила!

— Пропитанье соляриям нашим дает вечно враждебный нам мир.

— Что это за мир? — удивился Сирано.

— Невидимый нам без хитрейших устройств. Ничтожные злобные звери стремятся проникнуть к нам в кровь и вызвать недуги. «Хранители жизни», такие, как мать, незримо помогут нам выиграть сраженье в крови и победить там болезни.

— У нас для этого «отворяли кровь».

— Бесконечно давно и у нас так лечили, не зная того, что органы наши, кровь восполняя, «друзьями здоровья» ее насыщают, мельчайшими стражами тела, способными злобных врагов уничтожить *, возвращая больному и радость и силу, все то, что во мне так вскипает и рвется наружу. Прости.

И мудрая наставница Сирано де Бержерака начинала танцевать, кружилась, взлетала в воздух, быстро меняла грациозные позы, невыразимо женственная и, застыв, подобно статуе, достойной античного резца, всматривалась в него бездонными в своей черноте глазами. Потом порывисто начинала кружиться, заливалась смехом. Наконец, утомленная, садилась в волнующей близости к Сирано и, переводя дух, сразу начинала рассказывать. О том, что злобное невидимое зверье размножается с непостижимой быстротой в специально создаваемых для этого условиях под влиянием минеральной питательной среды и животворных лучей светила. В своей слившейся массе они представляют то

---

* Описание мира микробов, открытых спустя двести с лишним лет после Сирано де Бержерака, приведено им в его трактатах. Он говорил там и об уничтожении этих зловредных существ, несущих болезни, «защитниками организма», обитающими в крови, за триста лет предвосхищая современные знания об антителах, находящихся в крови. *(Примеч. авт.)*

необходимое питательное вещество, которое в былое время выращивалось древними соляриями в почве планеты. Получая питательную массу от невидимых своих врагов, солярии ныне научились приготовлять из нее самые изысканные и вкусные блюда.

Сирано слушал, дивился, сам не зная, чему больше: изобретательности соляриев, сумевших отказаться от всех видов убийств, или столь резким, но очаровательным переходам в поведении Эльды.

Эти переходы и восхищали, и вместе с тем смущали Сирано.

Ему трудно было сосредоточить внимание на том, что Эльда снова говорила на певучем языке эллинов. И она учила, как не смог бы учить никто на Земле. Однажды она решила превратиться в ученицу, пожелав непременно овладеть родным для Сирано французским языком. Ей нравилось его звучание, и она с радостным упоением воспроизводила каждую услышанную фразу, сразу усвоив произношение.

Это были непередаваемо прекрасные для Сирано взаимные уроки!

Эльда делала поражавшие Сирано успехи в освоении второго, и даже более любимого, по ее словам, земного языка.

Во время очередного урока она спросила, как истая парижанка:

— Зачем ты носишь эту уродливую черную повязку на лбу? Я хочу видеть тебя таким, каков ты есть.

Сирано, смутившись, рассказал и о своем прирожденном уродстве (искренне удивив этим Эльду, привыкшую к носолобым соляриям), и о своем ранении, когда брошенный врагом острый нож-мачете снес ему верхнюю часть носа, оставив безобразный шрам.

Эльда захлопала в ладоши совсем по-земному (чему научил ее сам же Сирано), заявив, что теперь дело за ее матерью Ольдой, недаром она уже не «дочь» и даже не «сестра», а прославленная «мать здоровья».

Величественная Ольда по просьбе дочери явилась к землянину:

— Я могу избавить тебя, Сирано, от твоего нежелательного шрама, остатка невежественного лечения после ранения твоего.

— Что же ты хочешь сделать, «мать здоровья»?

— Пусть не беспокоит тебя мной задуманное. Это не будет связано ни с каким кровопролитием, как в былые

времена у нас и ныне на вашей прекрасной, по словам Тристана, планете.

— Прости меня, «мать здоровья», но я не из тех, кто боится крови.

— О, речь идет не о том, чтобы щадить тебя, а скорее о том, чтобы приобщить тебя к нашим знаниям живого организма.

— Я преклоняюсь перед знаниями соляриев и радуюсь всякой возможности обогатиться ими.

— Тристан уже поведал тебе жизненный уклад соляриев. Все вместе мы составляем наше неделимое общество, и каждый из нас представляет живую ячейку, могущую существовать лишь в содружестве с другими ячейками, стремясь сделать все, на что способен каждый для других.

— «Мне ничего, а все, что есть, — другим!» — перевел Сирано на древнегреческий язык последнюю строчку своего сонета, посвященного философу Кампанелле.

— Я знаю этот стих. Тристан, запомнив, читал его мне. Твой философ предвосхищал некоторые черты нашего общества, в основе которого лежит стремление каждого служить всем. Представь теперь, что живой организм подобен нашему обществу, состоящему из несметного числа живых ячеек, которые не способны обходиться друг без друга, не служа своим существованием всему организму*. Операции, которые у нас делают, вторгаясь внутрь тела для его исправления, как я хочу это сделать с твоим лбом, не нарушают целостность кровяных протоков, а лишь раздвигают по граням раздела живые ячейки (клетки), не повреждая их, и внутрь тела можно проникать легко и безболезненно, исправляя в нем неладное и позволяя потом вновь соприкоснувшимся живым ячейкам снова быстро срастись неповрежденными краями.

— Ты должна, «мать здоровья», так же ловко владеть ножом, как мне привелось на Земле пользоваться длинным клинком — шпагой.

— О нет, землянин. Любое острие слишком грубо для нежного обращения с составляющими наш организм ячейками. Я делаю это пальцами.

— Пальцами? — удивился Сирано, разглядывая тон-

* Клеточное строение человеческого организма Сирано описал потом в одном из своих трактатов задолго до того, как к этой мысли пришли ученые Земли. *(Примеч. авт.)*

кие и нежные пальцы соляресс Ольды, которые восхитили бы античных ваятелей.

— Да. Пальцы мои служат направляющими особого излучения, которое с нужной чуткостью раздвигает живые ячейки, не повреждая их. Посмотри, — и она показала, что в тени ее пальцы заметно светились.

То, что произошло в дальнейшем, конечно, скорее всего могло бы привидеться Сирано во сне, если бы не изменившаяся его внешность, когда надобность в черной повязке начисто отпала, что отражено было впоследствии земным художником.

Как в тумане вспоминались Сирано мгновения, когда Ольда попросила его оголить бедро, откуда она, нежно прикасаясь пальцами, совершенно безболезненно взяла кусок кожи и перенесла его на лоб и часть носа Сирано, сделав это с неподражаемым искусством ваятельницы, предварительно сняв оттуда поврежденный шрамом покров. Перенесенная кожа, словно всегда была на этом месте, с непонятной быстротой прижилась, преобразив лицо Сирано, а шрам с былого переносья прирос на бедре.

Он был по-мальчишески рад своему новому облику, робко помышлял о том, какое впечатление произведет он теперь на Эльду.

Эльда же радовалась результату операции матери как девочка: смеялась, прыгала, шутила. Потом обняла Сирано и «по-земному», как научил отец, поцеловала в лоб.

От этого инопланетного поцелуя Сирано бросило в жар. Он не удержался и прочел своей ученице посвященный ей сонет на французском языке.

На тихой праведной планете
Ты для меня земной огонь,
Луч ослепительного света.
Нежна, но жжет твоя ладонь!

Дитя Мечты и Вдохновенья *,
В словах и мыслях ты вольна,
Весны пьянящее цветенье,
Прибоя звонкая волна!

* Автор допускает, что строчка «Дитя Мечты и Вдохновенья» из приведенного сонета может послужить исследователям аргументом в пользу того, что Сирано де Бержерак никогда не бывал на другой планете и все написанное об этом — плод «Мечты и Вдохновенья». Однако познания Сирано о вершинах цивилизации говорят об обратном, если не допустить, конечно, что эти сведения переданы ему гостем из космоса, что нисколько не более вероятно. *(Примеч. авт.)*

Веселье, смех, влекущий танец,
В движеньях острых — ураган.
Тревог неясных миг настанет —
Вскипит страстей твоих вулкан!

И в лаву превратит тот пламень
Земной инопланетный камень.

Эльда притихла, ушла в себя, потом смущенно сказала:

— Я хотела бы слышать это еще и еще раз...

Пораженный Сирано понял, что она неведомо как повторила слова деревенской красавицы с постоялого двора, спасшей жизнь ему и Тристану.

— А что такое вулкан? — робко спросила Эльда.

— Это огнедышащая гора. Такие горы прежде существовали на Солярии, а на Земле они *дремлют и даже действуют.*

— А что значит «вскипит страстей твоих вулкан»?

— Это когда в тебе пробудится женщина или когда извергающая пламя гора губит все вокруг.

— Я не хочу ничьей гибели, но... я вскипаю...

И она, совсем по-земному покраснев, убежала.

К Тристану приходили знатоки знаний, чтобы просветить гостя с Земли, поскольку Тристан, будучи их переводчиком, ручался за его нравственные устои.

Сирано узнавал убедительные, неизвестные на Земле вещи, вроде тайны светящихся без огня баллонов (очевидно, электрических ламп!), шепчущих книг (звукозаписи!), экранов-зеркал с отражением на них отдаленных предметов (телевидение!), а главное, великих и непреложных для всей Вселенной законов природы, которые позволили ему в понятной для современников форме на языке XVII века написать неожиданно для всех, знавших его лишь как забияку-дуэлянта, трактат по физике, затронув в нем математику.

Знакомясь с откровениями соляриев, он был несколько удивлен явными пробелами их знаний и, казалось бы, намеренными ограничениями.

— Видишь ли, гость Солярии, — переводил Тристан, — они просят объяснить тебе, что наше общество здесь может существовать лишь на основе одного из первых законов, ставших непререкаемой традицией — это *самоограничение.* Никто не позволит себе потребить больше того, что необходимо для поддержания его жизнеспособности. Ты понял? Вери найс! Но эта традиция с веками распространялась на некоторые зна-

ния. Знатоки его намеренно ограничивали себя, не позволяя проникать в области, признанные запретными. Так, в тайны строения вещества наши знатоки проникать не желают. Клиэ? Ясно? Эти опасные знания поставили когда-то нашу планету на край всеобщей гибели. Тогда и бежали с нее желавшие уцелеть и одичавшие потом на вашей Земле первые звездные переселенцы. Подобная опасность всеобщей гибели будет грозить в грядущих столетиях и вашей Земле, если не позаботиться об ее отвращении заранее. Иначе вери бед, будет очень скверно! Наши знатоки, пришедшие к тебе, в равной степени хотят убедить тебя, что не меньшая опасность заключена в попытке воздействовать на наследственность не воспитанием, условиями жизни, примером, а вмешательством в механизм наследования, хотя это сулило бы на первый взгляд такие выгоды, как исправление врожденных пороков или улучшение рода. Однако, владея подобными тайнами, возможно искусственно вырастить неполноценных соляриев (или людей), которых легко угнетать, удалив из их сознания все то, что возвышает разумное существо над всем остальным миром. «Амен!», как сказали бы по-латыни земные попы.

— Я понял, Тристан. Поблагодари своих знатоков знания за этот урок. Никогда мои сородичи на Земле не услышат от меня о том, что может повредить их будущим поколениям.

— Уэлл! Знатоки знания одобряют тебя, — закончил Тристан.

А Сирано уже ждала Эльда.

— Я хотела спросить тебя, землянин, что значит «сыны неба входили к дочерям человеческим. И пошло с тех пор племя гигантов»?

Сирано ужаснулся. Откуда это юное инопланетное существо знает продолженную цитату из земной библии, которую он, Сирано, мысленно вспоминал при первой встрече с Эльдой?

— Можешь не отвечать, — сказала Эльда, угадав мысли Сирано. — Мне рассказал об этом отец. Я спросила тебя только для того, чтобы ты выслушал мое желание.

— Твое? Оно для меня закон.

— На Солярии закон — непреложность действия. А ты на Солярии, землянин, — и она шутливо погрозила пальцем.

— Я счастлив здесь, прелестнейшая соляресса! Так что ты желаешь?

— Я хочу превратить в лаву инопланетный камень.

— Вот как? — поднял брови и наморщил свой новый гладкий лоб Сирано.

— Ты не все понял? — запальчиво спросила Эльда.

— Я боюсь это понять.

— Не бойся, я приняла решение за тебя. Моя мать хотела стать подругой прилетевшего с Земли. Я буду такой же!

— Но здесь пока никого не ждут оттуда.

— Отец прилетел не один.

Теперь Сирано готов был покраснеть и спастись бегством, но смог лишь невнятно выговорить:

— Но... но я, прекрасная Эльда, не могу не улететь обратно на Землю, оставив здесь свою подругу.

— Я полечу с тобой! — решительно заявила она.

Поистине на этой планете «все наоборот»! Начиная с лошади, едущей в самокатящейся карете, лестницы, уносящей ввысь, кончая подругой, которая первой избирает себе желанного!

Если сказать, что Сирано де Бержерак, так жаждавший женской любви на Земле, отказался от этого счастья на Солярии, то это было бы неправдой, которую автор не хотел бы допустить ни в какой из частей своего романа.

Не решение, а вывод, что на Землю полетят трое, был сделан на Солярии с той же естественностью, с какой был включен в сообщество соляриев гость Земли.

В назначенный день на знакомом лугу в новое его разноцветье, появившееся спустя прошедший солярийский год, в корабле, напоминающем снова выросшую крепостную башню в Альпах, уже находились Тристан и Сирано, овладевший обращением с аппаратурой управления. По солярийским традициям никаких торжественных (или горестных) проводов (как и встреч!) не было. Недоставало лишь Эльды, опоздание которой для соляриев казалось невозможным.

Но вот по ровному лугу, как под горку, покатилась карета без упряжки. Из нее на ходу ловко выскочила проворная Эльда. Однако она не была одета для путешествия. Ее нарядное полупрозрачное одеяние развевалось от быстрого бега.

Остановившись у подножия корабля-башни, она звонко крикнула:

— Отец! Я не могу лететь с вами. Я жду нашего с Сирано ребенка. На Земле я буду только обузой, а здесь принесу дитя с кровью «сына неба» в сердце. И от него пойдет на Солярии *«племя гигантов»*. И я всегда буду любить его отца, как моя мать любила тебя.

С Солярии звездный корабль запускался остающимися на ней устройствами, но поднятый при его взлете ветер заставил трепетать на Эльде ее одеяние, подчеркивая рельефный рисунок ее тонкой и гибкой фигуры. А она, единственная провожающая посланцев «Миссии Ума и Сердца» в полет к далекой Земле, недвижно стояла, запрокинув голову, смотрела в небо и плакала, неизвестно, от горя или от счастья...

### Глава седьмая

## ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ

*Нет большего подвига, чем отдавать себя людям.*

Сократ

Тристан, как и предложил после аутодафе в горах Сирано, мягко посадил свой звездный корабль в Новой Франции, к северу от реки Святого Лаврентия. Так назвал ее французский мореплаватель Картье, водрузивший на этой земле французский флаг. В безлюдном месте, в горах, «крепостная башня» могла бы оставаться незамеченной годами.

Но покинуть свое «звездное убежище» Тристану с Сирано не удалось.

Усталое сердце Тристана сказалось. Подъем по скалам все-таки не прошел для него даром.

Бледный, изможденный, лежал он недвижно на ложе в круглом помещении с экранами и циферблатами.

— Друг мой, — обратился он к ухаживающему за ним Сирано. — Я не ошибся, остановив свой выбор на тебе, как на своем преемнике. Силы покидают меня, словно и мне привелось выпить свою чашу цикуты. Теперь ты должен действовать в служении добру один.

— Учитель, не пугай меня. Такая потеря слишком много значила бы для меня.

Тристан горько улыбнулся.

— О нет, нет! Я не стану называть по именам тех, кого оставил, не называй и ты никогда моего имени, но помни меня и мои советы всегда, как помнил их великий Сократ. Уэлл?

— Не равняй меня с ним, учитель! Под твоим мудрым руководством он учил людей благу.

— Ол райт! Ты тоже должен их учить. Вот об этом я и хочу говорить с тобой, пока еще мыслю и, как сказал ваш великий философ, существую.

— «Когито эрго сум» — Декарт! Я защищал его книги от сожжения изуверами.

— Я помню этот подвиг. Но шпагу тебе придется вложить в ножны *навсегда,* чтобы отныне служить добру только пером.

— Я склонен к этому, учитель. Писал стихи и даже комедию.

— Твое оружие — смех. Ты должен высмеивать зло, несправедливость, жестокость власти.

— И церкви!

— Уэлл, и церкви, изуверов, но... Здесь ты должен быть так же осторожен, как при скрещивании шпаг. Нет! Более осторожен, ибо требуется иное уменье, чем владение клинком. Церковники могут наложить запрет на твои сочинения, если ты не заключишь их в кольчугу.

— Кольчугу? Какую? Я всегда дрался без нее.

— Ты был только дуэлянт, остряк и балагур. Так останься и в сочинениях своих остряком, балагуром, весельчаком. Вот тебе маска, равная кольчуге, маска вроде той, что пригодилась мне в почтенной Англии, чтобы скрывать свое «инопланетное уродство»!

— А я всем выставлял его напоказ. И мучился, и дрался за него — и не добился ничего.

— Ты не пробился во дворец, но вызволил из заточения Кампанеллу, которого с почетом усыновила бы Солярия. За это да простится тебе сотня твоих драк.

— Я готов служить добру пером и расскажу людям все то, что знаю о Солярии, именем которой назвал свой «Город Солнца» Кампанелла.

— Это я воспользовался его словом, говоря о своей планете. Но тебе придется писать по-иному. Если отец Кампанелла учил, рисуя идеальное, как он считал, устройство жизни, то ты рази земные уродства, показы-

вай их через телескоп, в какой Галилей смотрел на звезды. Пусть люди увидят в твоих сочинениях самих себя и нелепые, сложившиеся между ними на Земле отношения.

— Я для контраста расскажу о всех чудесах твоей планеты.

— Остерегись, дорогой мой! Тебе никто не поверит, обзовут обманщиком, лгуном или сумасшедшим и все твои благие советы выбросят вместе с книгой, если ее даже и не успеют запретить.

— Но как же быть, учитель?

— Дай мне лечебную крупицу. Когда мне станет лучше, мы продолжим разговор.

Тристан заметно слабел, у Сирано уже не оставалось надежды, что они вместе вернутся во Францию. Скрепя сердце, спустя час, когда Тристану как будто полегчало, Сирано слушал мудрые наставления, жадно впитывая их, чтобы в предстоящие годы всегда чувствовать подле себя своего Демония.

— Ты спрашивал, как же быть? — с трудом возобновил беседу Тристан. — Как сделать, чтобы тебя не сочли лгуном или безумцем? Говори еще более безумные вещи, чем кажущиеся безумными. Рассыпь известные тебе чудеса счастливой Солярии между самыми глупыми нелепицами. Вери найс! Прелестно! Пусть читатели твои сочтут, что все эти «выдумки» одинаково смешны и глупы. Но через сотни лет, когда люди сравняются с соляриями в своих познаниях, они сумеют разобраться, где ты шутил, а где вещал. Но главное, пусть люди ныне знают, как жить нельзя! Ты понял?

— Понял. Шутить и «прятать жемчуг в камни»?

— Хотя бы так! Но камни эти должны лететь в намеченную цель, крушить несправедливость, власть, злодейство!

— Я напишу трагедию, пойду поэтом к герцогу д'Ашперону.

— Да, да! Он предложил тебе. Ол райт! Ты прав! Поступишь верно, хотя и отказался от предложения кардинала Ришелье.

— Д'Ашперон — наш доброносец. Я пойду к нему, чтобы служить не чванству кардинала, а вместе с герцогом нашему общему делу.

— Потому я тебя и одобряю. Уэлл, уэлл! А теперь иди, оставь меня и отдохни. Я, кажется, усну. И, может быть, проснусь. Вери найс!

Но солярий Тристан, Демоний Сократа и Сирано

де Бержерака, современник Фидия, Перикла, Кромвеля и Ришелье, не проснулся... В неописуемом горе стоял над его холодным телом Сирано де Бержерак, размышляя о своем последнем долге учителю, отдавшему свою жизнь людям чужой планеты.

И Сирано принял неожиданное решение. Он покинул ракету. Сами собой заработали ракетные устройства, и они подняли к небу гигантскую башню с единственным своим мертвым пассажиром, оказавшимся совсем не бессмертным Демонием, чтобы унести в межзвездное пространство и навсегда сохранить нетленным того, кто служил умом и сердцем неизвестным ему прежде людям.

Ракета растворилась, исчезла в синем небе, заглохли раскаты грома в горах, где не прошло дождя.

Сирано почувствовал полное и безнадежное одиночество. Он упал на землю, готовый грызть ее, и зарыдал, зная, что его никто не видит. Он рыл пальцами землю у корней могучих сосен, окружавших его со всех сторон. Безутешное горе и сознание безысходного одиночества терзали его, отнимая последние силы.

Он не знал, какое время пролежал на земле, царапая ее пальцами, но когда повернул мокрое от слез лицо, то не поверил глазам.

У скалы недвижно застыла словно каменная фигура индейца со скрещенными на груди руками.

Он был в мягких мокасинах, в кожаных брюках с бахромой по шву, в куртке, расшитой такой же бахромой, и в шапке с ярким пером. У правого бедра висел колчан со стрелами, у левого — томагавк, боевой топорик, а за спиной виднелся огромный лук.

Индеец, конечно, давно мог бы сразить Сирано стрелой, однако, видимо, ждал, когда он придет в себя, став свидетелем его горя. Сирано вскочил одним движением и взглянул в узкие темные глаза, наблюдавшие за ним с холодным спокойствием. Тогда Сирано снял висевшую у него на перевязи шпагу, положил ее у ног и протянул индейцу обе руки ладонями вперед.

— Франция! Квебек! — произнес Сирано, надеясь, что здесь все-таки Новая Франция и французские слова могут быть знакомы аборигену.

Индеец молчал, никак не реагируя ни на слова, ни на жесты чужеземца.

Тогда Сирано улыбнулся, приветливо, сердечно.

Вероятно, из всех видов общения людей друг с другом улыбка самое общепонятное и действенное средство передачи мыслей и желаний, способное преодолеть барьеры и языковые, и даже порожденные враждой.

Индеец, не меняя каменного выражения лица, сказал несколько французских слов:

— Колдун. Аббат. Костер.

Для Сирано этого было достаточно, чтобы понять, что индеец видел запуск ракетного корабля, совершенный, как он понял, Сирано. И он, конечно, в его представлении — «колдун». А у аббата такого колдуна ждет костер. Очевидно, индейцу были знакомы нравы служителей святой католической церкви.

Сирано, превозмогая головокружение, коснулся рукой сердца:

— Квебек. Франция. Друг, — выговорил он, показав жестом на себя и индейца.

Тот с достоинством кивнул. Рука его протянулась к томагавку. Сирано, пересиливая овладевшую им слабость, напрягся, готовый применить узнанные от другого индейца приемы борьбы без оружия.

Индеец взял боевой топор и доверчиво положил его рядом со шпагой Сирано на землю.

И как только Сирано понял, что абориген мирно принял его, силы вдруг совсем оставили его. На него накатился мрак, вызванный горем и всем им перенесенным, он без сознания повалился на землю.

Он не знал, как очутился в вигваме племени, обитавшем в соседнем каньоне, ошибочно принятом Сирано и Тристаном за безлюдный.

Долгое время Сирано находился между жизнью и смертью, даже не воспринимая трогательного ухода за собой семьи Медвежьего Когтя, принесшего его сюда.

Все племя приняло участие в судьбе «колдуна», своей волей отправившего в небо круглую скалу и, очевидно, отдавшего для этого слишком много жизненных сил, вызвав в горах гром без дождя.

Простодушные обитатели вигвама, видя, как мечется в бреду их гость, произнося непонятные слова, не догадывались о его видениях, которые или были повторением пережитого, или подменяли собой реальность, будучи бредовыми грезами. Даже сам Сирано, начав приходить в себя, не мог провести грань между реально происшедшим и пригрезившимся во время болезни.

Он мучительно старался восстановить цепь событий: неистовая погоня по дорогам Франции, в альпийском ущелье; подъем под пулями гвардейцев, подорвавший усталое сердце учителя; диковинная башня и люк, у которого упал учитель; круглое помещение с окнами, не выходящими наружу; аутодафе, из пламени которого взлетела ракета Тристана, которую Сирано предложил опустить в Новой Франции; и наконец приземление ее именно в Новой Франции и потом раздирающее душу горе потери учителя с так и не оправившимся усталым сердцем!

Но было ли на самом деле все, что «привиделось» Сирано между взлетом и посадкой ракеты?

Лежа в вигваме, Сирано не в состоянии был это решить. Но он и не мог отказаться от воспоминаний о пейзажах Солярии, о мудрой Ольде, о горячо и нежно любимой Эльде! Но... если они с Тристаном побывали там, разве та же Ольда не исцелила бы его усталое сердце? Разве отпустила бы его с Сирано на Землю, чтобы он сразу погиб бы там?

Мучимый этими вопросами, Сирано выздоравливал, не зная, как ему отблагодарить приютивших его индейцев.

Случай помог ему оказать услугу Медвежьему Когтю, как звали его спасителя, который едва сам не погиб от когтей медведя во время охоты. Его принесли в вигвам истекающим кровью. И Сирано отдал ему свою кровь, перелив ее в его жилы так, как сделал это, спасая когда-то Сирано, Кампанелла. Сирано повторил усвоенные им приемы, которые вечный узник описал в своем медицинском трактате, еще находясь в темнице.

Спасение Медвежьего Когтя «колдуном» еще больше расположило к нему индейцев.

Он еще долго прожил с ними, пока окончательно поправился, знакомясь с их немудреным бытом. И ему казалось, что он действительно имеет дело с одичавшими за миллион лет соляриями, но сохранившими если не достижения былой цивилизации, то твердые устои справедливого уклада общества.

И эти дети теперь земной природы были куда ближе к сказочным, пусть даже привидевшимся ему соляриям, чем его европейские сородичи, убивающие друг друга за золото, за власть, за иные верования, когда главным правом в жизни служит насилие.

То, что Сирано колдун, стало у всех индейцев пле-

мени непреложным, но он обрел славу доброго колдуна.

И к нему приходили с маленькими своими нуждами простодушные обитатели вигвамов, а Сирано узнавал их жизнь и обычаи.

Индейцы не знали собственности, которую ценой любой крови защищали власть имущие во всех европейских государствах. Правда, индейцы в отличие от солярисов охотились, но добытая ими дичь становилась общей для всего племени.

Дети воспитывались сообща женщинами, преданными этому делу, умеющими внушить малышам чувство достоинства, взаимовыручки, преданности каждого всем.

Потом мальчиков учили владению оружием и приемам охоты или защиты племени от любых нападений, а девочек — женскому делу: выделыванию кож, шитью одежды, приготовлению пищи и поддержанию очагов и, конечно, уходу за детьми.

Все это восхищало Сирано.

Когда к нему привыкли, он стал расспрашивать, где же Квебек и как он мог бы добраться до него.

Старейший из индейцев, с оливковым цветом лица, привел его на край ущелья и показал рукой, сказав на местном языке:

— Кана — да! — и добавил по-французски: — Там! *

И Сирано дали спутника, проводника, который мог вывести его к Квебеку.

Тяжел был путь. Индейцы здесь не знали лошадей, они всегда рассчитывали лишь на свои ноги.

И ноги Сирано наконец привели его в Квебек, столицу Новой Франции.

Здесь, среди убогих домишек, воздвигнутых переселенцами, по преимуществу скупавшими у индейцев шкуры зверей, он встретился наконец с французами.

К сожалению, его поношенный солдатский камзол внушил тем подозрение, которое не рассеивалось даже дворянской шпагой на боку.

Сирано де Бержераку пришлось на первых порах выдать себя за человека, потерпевшего кораблекрушение и вынужденного добираться до реки Святого Лаврентия почти через всю страну.

Ему верили и не верили. Но когда он назвал имя

* Это слово «канада» (там!) и стало впоследствии названием всей страны, в направлении которой показывали рукой индейцы заморским пришельцам. *(Примеч. авт.)*

советника губернатора господина Ноде, отношения к нему смягчилось.

Его провели во «дворец».

Более насмешливого названия нельзя было присвоить хижине, где властвовал мальтийский рыцарь Шарль де Монманьи, назначенный наместником короля в колонии, превышающей площадью Францию, но где надо было начинать все с голого места.

Основную власть здесь имели торговые компании, промышляющие пушниной и скупкой у индейцев ценного сырья, губернатор же представлял короля.

Ноде холодно принял Сирано.

— Прошу извинить, почтенный господин, — сказал он, услышав имя Сирано де Бержерака, — но я имел честь встречаться с названным вами дворянином и, признаться, не нахожу слишком большого сходства между вами.

— Я напомню вам, господин Ноде, что вы оказали мне неоценимую услугу, переправив меня в гробу на фелюгу.

— Гм, — удивился Ноде. — Вы в самом деле кое в чем осведомлены о судьбе милого юноши, которого я знал, но который едва ли остался жив.

— Однако он перед вами, господин Ноде! Что же касается изменившего очертания моего носа, который наверняка запомнился вам как верх уродства, то я получил ранение в бою под Аррасом и благодаря судьбе, забросившей меня в чужие страны, с помощью тамошних лекарей свел следы ранения.

— Я рад бы был поверить вам, что у индейцев есть такие колдуны, которые умеют заживлять подобные раны, но не раньше, чем вы сведете меня с ними.

Сирано был в отчаянии. Как убедить этого подвижного толстяка в том, что представший перед ним бродяга и есть Сирано де Бержерак, которого тот доставил в гробу на фелюгу, а потом перевез в карете в Мовьер.

«Мовьер! Кюре! Вершитель Добра! Доброносцы!» — мелькнуло в мыслях у Сирано. И, подчиняясь невольному порыву, он сделал тайный знак пальцами, которому научил его ритор тайного общества покойный Тристан.

Этот знак вызвал удивление, потом радость Ноде. Он ответил Сирано таким же знаком.

— О молодой мой друг! Все рассказанное вами так необычно, что вы должны извинить меня за мое недоверие. Но теперь я вижу в вас не только смелого юношу,

сражавшегося за нашего Кампанеллу, но и брата по выбранному в жизни пути. Я готов всем, чем могу, содействовать вам. Но прежде всего вам нужно надеть достойный костюм. У меня есть кое-что. Я прикажу служанке перешить вам по фигуре.

— Наконец-то я могу поблагодарить вас, брат Ноде, не только за оказываемую мне любезность здесь, но и за заботу о милой нашей Франции, куда сейчас стремлюсь, надеясь на вашу помощь.

— Мы ждем корабля в ближайшие недели. Но чтобы попасть на него, вам нужно очаровать вице-короля и губернатора рыцаря мальтийского ордена Шарля де Монманьи.

— Я готов, если вы окажетесь настолько любезны, что представите меня ему.

— Но как вы объясните ему свое пребывание здесь?

— Я признаюсь ему, как и вам, что вынужден был бежать вместе с ритором доброносцев в звездном корабле, который и приземлился в Новой Франции.

— О боже мой! Одно лишь упоминание о доброносцах вызовет у благородного рыцаря мальтийского ордена такой гнев, что мне уже не спасти вас с помощью пустого гроба. Губернатор заполнит его вашим телом навечно.

— Поверьте, это не устроит меня. Но что я должен сказать рыцарю мальтийского ордена?

— Самое нелепое, что только сможете придумать, но только не правду. Представляемый им орден, созданный еще крестоносцами пятьсот лет назад, перекочевавший из Палестины на Мальту, пользовался в Париже излишним, по мнению его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье, влиянием, и он нашел лучшим удалить господина Шарля де Монманьи подальше, возведя его в высокий ранг. Та же судьба постигла и меня после участия в освобождении Кампанеллы. Став советником рыцаря, я узнал его нрав и наставляю вас: чем нелепее будет ваша выдумка, объясняющая ваше появление здесь, тем она покажется вице-королю и губернатору достовернее.

Сирано задумался и, пока ему готовили платье для официального приема губернатором, выдумывал самое невероятное и глупое путешествие, которое он якобы совершил. Он вспомнил совет Тристана и был готов для высокой беседы.

Она состоялась во «дворце», то есть в хижине пере-

селенцев, отведенной наместнику короля, пока каменный дом для него будет возведен.

Рыцарь мальтийского ордена Шарль де Монманьи оказался надутым и важным вельможей, считающим себя мудрецом и философом, способным к возвышенным мыслям.

Вице-король любезно расспросил Сирано, из какой он страны, каково его имя и как он попал сюда.

Сирано де Бержерак представился, заметив, что его отец пользуется наследственной привилегией не снимать шляпу в присутствии короля. Это произвело на вице-короля благоприятное впечатление. Когда же Сирано поведал ему, что совершил путешествие сюда по воздуху, привязав вокруг себя множество склянок с росой, и поскольку роса притягивается солнцем, то и поднялся вместе с нею над землей. Земля же, очевидно, вращается, ибо начав спуск, Бержерак обнаружил, что у него под ногами вместо окрестностей Парижа оказалась Новая Франция.

Вице-король, несмотря на свое рыцарство, был человеком весьма воспитанным. Он или поверил Сирано, или сделал вид, что поверил, наговорил массу любезностей и даже отвел ему комнату-клетушку в своем дворце, а ночью явился к нему со словами.

— Вам, совершившему столь отважное путешествие, не пристало уставать, и я осмелюсь передать вам мнение отцов иезуитов с которыми я совещался по вашему поводу. Представьте, любезнейший, отцы иезуиты настаивают, что вы колдун, и самое меньшее снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это сойти за обманщика. Меня же лично в вашем рассказе смутило то обстоятельство, что свой путь от Парижа, где вы были лишь вчера, вы могли бы совершить с помощью притягивающего росу солнца даже и в том случае, если бы Земля и не вращалась, что наиболее спорно.

Сирано, быстро приведя себя в порядок и усевшись рядом с вице-королем на узкой койке, постарался доказать доступными тому способами, что Земля все-таки вращается и что отцы иезуиты напрасно в этом сомневаются. Он вспомнил о Тристане, и его Демоний, словно находясь подле него, подсказал ему нужные слова.

— Ваша светлость, государь мой, вице-король и губернатор! Я буду крайне счастлив, узнав о вашей победе в богословском споре с отцами иезуитами, уважение

к которым спешу выразить. И вы, несомненно, выйдете блестящим победителем в диспуте, если напомните отцам иезуитам, что утверждение, будто Солнце вращается вокруг Земли, как видят то наши глаза и как утверждал язычник Птолемей, обманчиво и противоречит здравому смыслу, ибо Солнце — центр Вселенского государства, коему дарит свое тепло. И оно подобно его величеству королю этого государства, и ему, светилу, не пристало бегать вокруг одного из своих подданных, чего не станет делать ни одна коронованная особа.

Губернатор ответил:

— Ваш довод весьма остроумен, я приведу его в дальнейшем споре с отцами иезуитами и хотел бы добавить к вашей мысли еще и доказательство в вашу пользу одного из почтенных отцов церкви: «Земля вращается, но не по причине, которую приводит Коперник, а потому, что огонь ада заключен в центре Земли и души осужденных на вечные времена, спасаясь от страшного пламени, карабкаются по внутренней полости грешной Земли, заставляя тем ее вращаться, подобно белке в колесе» *. И теперь я вижу, — закончил вице-король и рыцарь мальтийского ордена, — что святой отец был прав, и вы своим отважным путешествием доказали существование ада и усилий грешников избавиться от адского пламени. Однако вернуться во Францию таким путем вам, господин Сирано де Бержерак, не представляется возможным, ибо, даже поднявшись вновь при помощи банок с росой в воздух, при вращении Земли в ту же сторону вас отнесет еще дальше от милой нашей Франции, но пусть вас, почтенный наш гость, не удручает это непоправимое обстоятельство, ибо в ближайшее время во Францию отправится корабль, где вы можете найти для себя достойное место рядом со знающим вас еще по Франции господином Ноде, который возвращается в Париж, желая посетить могилу почившего его высокопреосвященства кардинала Ришелье. — С этими словами вице-король покинул клетушку своего столь странно явившегося к нему гостя, чтобы разъяснить отцам иезуитам их заблуждения, втайне надеясь, что в скором времени ему самому удастся совершить захватывающее путешествие по воздуху с помощью банок с росой.

---

* Свидание и беседа с вице-королем господином Шарлем де Монманьи подробно пересказана самим Сирано в его трактате «Иной свет, или Государства и империи Луны» *(Примеч. авт.)*.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

*Никто так не врет, как очевидцы.*

Народная поговорка

За время отсутствия Сирано во Франции произошло немало событий. Одним из них еще до кончины Ришелье была его расправа с «очевидцами» необыкновенного вознесения на небо дьявольской башни. Совершенно ясно, что это было неумное вранье графа де Пасси и лейтенанта де Морье, старавшихся прикрыть выдумкой свое нерадение в поимке важного государственного преступника, несомненного сообщника английского смутьяна Оливера Кромвеля, посягнувшего на священную власть короля, став во главе организованной им армии английского парламента. Так или иначе, но подозреваемый англичанин Тристан Лоремет исчез и уж, конечно, не вознесся на небо в крепостной башне, как уверяли «очевидцы». Поистине, никто так не врет, как они! И по приказу кардинала граф де Пасси и лейтенант де Морье закончили жизнь на эшафоте. Что же касается солдат и гвардейцев, то они направлены были в войсковые части, брошенные в бой после вступления Франции в нескончаемую войну, и там в большинстве своем полегли. Лишь некоторым удалось постричься в монахи, где они уподобились отцу Жозефу Марли, вернувшемуся в монастырь св. Августина после неудавшегося аутодафе в горах, подвергнув себя тяжкому покаянию: не произносить в оставшейся жизни ни слова, став во искупление своих грехов «молчальником», добровольным немым. Также и новые монахи из бывших солдат, если и не остались немыми, то о башне в горах предпочитали молчать. Вскоре после этой последней расправы кардинал Ришелье скончался, твердо уверенный в том, что никакой летающей крепостной башни не было, а его воины плохо служили ему.

Через полгода после кончины всесильного кардинала умер и бессильный король Людовик XIII, назначив регентшей при своем пятилетнем сыне Людовике XIV его мать, королеву Анну Австрийскую. Правителем же Франции стал преемник Ришелье, молодой и красивый кардинал Мазарини.

*Конец первой части*



# Часть вторая

# ПОЖАР СТРАСТЕЙ

*Как гибельны страсти! Это ветры, надувающие паруса корабля, они его иногда топят, но без них он не может плавать.*

Вольтер

## Глава первая

## «ДЕНЬ БАРРИКАД»

*В смиренной серенькой сутане*
*С подкладкою кроваво-алой*
*Невежда мудрым вдруг не станет,*
*Как камердинер — кардиналом.*

Мазаринада

В этот день кардинал Мазарини, первый министр Франции, в обычной своей серой сутане, подкладку которой он еще при жизни Ришелье приказал сделать алой, чтобы не надевать пурпурной мантии, подобно своему патрону, протащившему его в кардиналы, в тревоге стоял в Лувре у окна против Нельской башни на другом берегу Сены и вспоминал последние минуты жизни Ришелье.

Немощный духом и телом король Людовик XIII, превозмогая очередной недужный приступ, приехал тогда во дворец кардинала проститься со своей яркой исполинской тенью, всегда ненавистной ему, но могучей и неотвратимой.

Король связал себя с ней, когда королева-мать Ма-

рия Медичи подняла мятеж знати против сына. Коронованный юноша во имя обретения наконец подлинной королевской власти приказал заколоть любимца королевы-матери «комнатного маршала» д'Акра, бездарно правившего от имени регентши страной, не желая уступать власть королю. Вслед за тем была казнена и жена маршала Кончини, горничная королевы, признанная ведьмой, сумевшей подчинить себе Марию Медичи уменьем причесывать ее волосы. Духовник же королевы, друг папского нунция (посла Ватикана во Франции), епископ Люсонский, герцог Жан Арман дю Плесси де Ришелье сумел примирить мать с сыном, положив конец кровопролитной родственной распре, что удалось ему сделать благодаря любовной связи с королевой, чему он обязан также и возведением его в сан кардинала и назначением министром короля.

А через два года он стал и первым министром, подлинным правителем и даже генералиссимусом Франции.

Это возвышение, впрочем, не помешало ему впоследствии способствовать изгнанию бывшей своей возлюбленной в Кёльн, где Мария Медичи и умерла в бедности, горестно вспоминая былую власть, раболепие вельмож и неверную кардинальскую любовь.

Еще в Риме в свиту нунция проник проныра монах Мазарини, сменивший ливрею камердинера сначала на солдатский мундир, а потом на монашескую рясу. В Париже он проявил себя неоценимым помощником в темных делах, требующих интриг, коварства и умения убрать противника или переманить его на свою сторону. Там он и стал личным секретарем Ришелье, в нужное время возведенный с его помощью в кардиналы.

Людовик XIII, тяжело дыша от ходьбы по паркетным залам и не решаясь сесть, стоял перед широкой кроватью с балдахином, где утопала в подушках голова кардинала с торчащей седеющей эспаньолкой. Король старался не пропустить ни слова из того, что в назидание ему шептал Ришелье.

— Я передаю в дар вашему величеству свой дворец *, заверяя при этом, что нет у вас лучшего слуги и продолжателя моего дела, чем кардинал Мазарини, которого сам папа возвел в равное моему звание, дабы и впредь защищать абсолютную власть французской короны.

---

* Ныне парижский «Пале-Рояль». *(Примеч. авт.)*

Мазарини стоял рядом, стройный, окаменевший, почувствовав на себе мельком брошенный острый взгляд короля.

— Враги вашего величества, пользуясь родством с испанским королем ее величества королевы Анны, ни с кем не сравнимой по своей красоте, замышляли заговоры против меня, а тем самым против вас. Я уйду из мира раньше вашего величества. Но если господь всемогущий призовет вслед за мной и Людовика Справедливого, то умоляю не передавать всей власти в руки королевы-регентши, ибо наследнику вашему всего пять лет, а высокомерные вассалы в своей неукротимой жажде властвовать сделают все, чтобы притеснять его, поставив под сомнение ваше отцовство.

Людовик XIII кивнул и неприязненно поморщился. Он не любил напоминаний о наследовании его власти. Промолчав, он закашлялся, повернулся и ушел, не взглянув на умирающего.

Когда же Ришелье скончался, король, узнав об этом в Лувре, холодно заметил:

— Умер «великий политик», — вложив в эти слова все свое презрение к политике, которой никогда не занимался, и не выразив никакого сожаления по поводу понесенной утраты, впрочем, как и все присутствующие при этом придворные.

Никто не пожалел страшившего всех при жизни неистового политика, реформатора, философа, драматурга, коварного интригана, мягкого и жестокого правителя, не останавливавшегося ни перед чем ради укрепления абсолютизма французской короны.

Однако последний завет Ришелье Людовик XIII, впрочем, как и всегда, все-таки выполнил: Мазарини стал первым министром, наследовав власть Ришелье, а когда через полгода король сам прощался с жизнью, он назначил королеву Анну регентшей при своем малолетнем сыне Людовике XIV, но... подчинил ее регентскому совету.

Величавая надменная красавица Анна Австрийская была вне себя от негодования. Она сломала бесценный веер, разбила редкую фарфоровую чашку и, окруженная толпой раболепствующих фрейлин, бессильно опустившись в атласное кресло, почувствовала себя обреченно одинокой в кругу злобствующих врагов.

И тогда на ее половину вошел стройный, но смирен-

ный красавец кардинал с расчетливыми движениями и вкрадчивым голосом.

Конечно, отнюдь не бескорыстно он взялся снять с Анны опеку регентского совета с помощью созыва по указу королевы парламента, коему надлежит «служить обществу и переустроить государство» (по примеру парламента английского).

Королева Анна доверилась кардиналу-искусителю и подписала указ.

Мазарини умело взялся за дело, созвав от имени королевы парламент. Каждому из членов он польстил его правом на «переустройство» правления в стране вплоть до влияния на престолонаследие». Обуреваемые жаждой возможной выгоды, «королевские люди» собрались в Париже и на первом же заседании парламента освободили прелестнейшую королеву Анну от опеки регентского совета, распустив его. Но едва королева Анна стала формально полновластной, она тотчас же, по замыслу Мазарини, распустила и сам парламент, не успевший сделать и шага в направлении «служения обществу и переустройству государства». Озадаченные члены парламента разъезжались, уверенные первым министром, что им ничего не грозит.

Однако «чванливые» и высокомерные аристократы, если не грозили им, начинали грозить сами. Еще недавно объединяясь с королевой Анной против Ришелье, они теперь повели наступление на нее, которую сами же только что облекли высшей властью. Наглостью, которой не переносила Анна, угрозами и буйством они вынудили регентшу поделиться властью с ними. Настала мрачная пора «кабалы чванливых», как выражались в народе. Они утопали в роскоши, предаваясь пьянству, распутству, всячески унижая королеву-регентшу. Однако это царство разгула и беспутства не смогло продолжаться больше четырех месяцев.

Пришла очередь Мазарини, и он показал, что может разогнать «чванливых», не считаясь с их высокомерием, некоторых даже упрятав в тюрьму. Он не останавливался перед тем, чтобы оскорблять знать, нанося аристократам самые болезненные раны. Но он поступал так и в отношении магистрата и восстановил против себя и, особенно против своего приятеля и помощника, заправлявшего финансами, флорентийца Эмери, как крестьян, так и горожан.

И вот теперь на улицах Парижа за Нельской баш-

ней, на которую смотрел из окна Лувра кардинал Мазарини, неистовствовала толпа.

Два всадника, приобретшие лошадей в Гавре, куда их доставил корабль из Новой Франции, с трудом пробирались по улицам Парижа сквозь возбужденную, негодующую толпу, не представляя, что здесь происходит.

Все лавки были закрыты, улицы перегорожены цепями и загромождены пустыми бочками, мешками с землей, досками, вытащенной из домов мебелью, словом, непроходимым валом.

— Кажется, повторяется «день баррикад», — заметил, слезая с коня, Ноде.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Сирано де Бержерак, последовав его примеру.

— Все, как в 1588 году, как я и писал в одном из своих романов, не думая, что мне придется пережить свое творение самому. Во всяком случае, на конях нам дальше не пробраться. Я вижу здесь кабачок. Попросим хозяина подержать у себя наших лошадей, а сами отправимся пешком.

«Не откажись от угощения», — прочел Сирано вывеску.

Они постучали в запертую дверь. Пока трактирщик открывал ее с видимой неохотой, Ноде рассказывал Сирано о былом «дне баррикад».

— Тогда горожане перегородили улицы, чтобы помешать королевским войскам войти в Париж, где обосновался герцог Генрих Гиз, по прозвищу Рубчатый. В ту пору воевали три Генриха: король Генрих III Валуа, Генрих Наваррский Бурбон и Генрих Гиз, «король Парижа», сумевший снискать расположение простолюдинов, но, как глава католической лиги, для достижения власти он заручился поддержкой Испании, которой распродавал Францию по частям.

— Как же вы описали его конец, дорогой Ноде?

— Именно так, как произошло. Генрих III, изучавший Макиавелли, внезапно признал «короля Парижа» Генриха Гиза, утвердил все его распоряжения и дружески пригласил к себе. Самонадеянный Гиз, суливший фанатикам повторение Варфоломеевской ночи, отважно явился к королю и был заколот на пороге его кабинета.

— Неужели после того, что мы видели по дороге сюда, здесь произойдет нечто подобное?

— О, друг Сирано! Поистине, с вами не умрешь от скуки! То вы ввергаете меня в плаванье на фелюге

с двумя гробами, откуда восстаете и вы, и отец Кампанелла, ради которых приходится избегать испанских кораблей, как пиратов, в результате чего я был выдворен с почетом в Новую Францию; то вы же перелетаете туда неведомым способом, по убеждению вице-короля, с помощью стеклянных банок с росой, притягиваемой солнцем; то сейчас заставляете меня пережить мной же описанный «день баррикад».

Сирано искренне смеялся шутке своего неунывающего толстяка.

Сонный старый трактирщик с торчащими седыми космами отпер дверь, подозрительно оглядывая гостей.

— Лошадей, конечно, я могу поставить во двор, если будет заплачено за корм, который нынче вздорожал, почтенные господа. Но где же ваши слуги и багаж, без которого не путешествуют? — произнес он отнюдь не приветливым голосом.

Сирано почудилось, что он уже слышал это как-то раз. Ноде отчаянно торговался с бессовестным кабатчиком. Наконец они договорились о цене, и трактирщик, открыв ворота, увел коней во двор, а путники отправились по парижским улицам пешком.

Еще по дороге в Париж они увидели бедствующую Францию, опустошенную поборами, как набегами врагов. Крестьяне, ограбленные сборщиками податей, питались кореньями, лишенные скота, порой вынужденные сами впрягаться в плуг, терпели негодуя. И у всех на устах виновник общих бед Мазарини. Его имя слышалось вперемежку с проклятиями и на улицах Парижа, где слилось недовольство и знати и простолюдинов. Брожение в столице уже складывалось в мощное движение Фронды (что означало — шутка, детская игра в лапту), которая отнюдь не в шутку грозила королевскому двору.

В толпе Сирано и Ноде слышали крики: «Свобода!»

Оказывается, Мазарини вчера арестовал трех членов парламента и народ требовал свободы им и свободу себе.

Возбужденные парижане стекались к баррикадам.

Путники вынуждены были задержаться около одной, где в образованный всякой всячиной вал рядом с опрокинутыми столами и стульями, старой телегой и лестницей попала лакированная карета, из которой не

выпрягли даже лошадей, две пары редкой белой масти в яблоках.

На крыше кареты стоял оратор в епископском облачении и держал перед столпившимися горожанами зажигательную речь.

— Кто это? Кто? — спрашивали окружающих Сирано и Ноде.

— Герцог Рец, архиепископ парижский, разве не узнаете? Или вы гугеноты? — отвечали им соседи по толпе, награждая их косыми взглядами.

— Сколько можно терпеть у руля нашей Франции невежду, корыстолюбца, превзошедшего в тщеславии и алчности самого почившего кардинала Ришелье! Народ стонет под его игом, несчетные поборы губят вас, многих пускают по миру. Он, Мазарини, призвал откупщиков, так называемых «партизан», взимая с них причитающуюся по налогам сумму вперед и предоставляя им право сдирать с вас, простых людей, прежде всего крестьян, сумму вчетверо большую. Ему выгоднее иметь дело с несколькими наживающимися на разорении народа бессовестными «партизанами-откупщиками», чем с самим народом. Но народ в вашем лице, горожане Парижа, должен сказать свое слово! Если временщик заточил вчера в тюрьму трех уважаемых членов парламента, вручивших власть королеве-регентше, то все вы вправе потребовать свободу узникам и свободу себе! Надо положить конец узурпатору власти, вчерашнему камердинеру, надевшему кардинальскую сутану и ослепившему королеву. На баррикады! На баррикады!

— Однако,— заметил Сирано,— речь архиепископа мало напоминает церковную проповедь.

— С тем же успехом проповедью можно назвать рычание льва,— отозвался Ноде и добавил: — Герцог Рец! Я знал его, он из флорентийцев свиты зловещей Екатерины Медичи. Еще в юности он изучал заговоры, и сам Ришелье, прочтя его памфлет о заговоре Фьески против генуэзского деспота Дория, заметил об авторе: «Вот опасный ум». И кажется, он действительно опасен кое-кому в Лувре.

Толпа ринулась к дворцу, увлекая с собой двух доброносцев от баррикады к баррикаде.

На одной из них Сирано с замиранием сердца уви-

дел вдали силуэт женщины с простертой вперед рукой. Но в ней была не свеча, как когда-то, а знамя.

— Свобода! Свобода! — кричали вокруг, быть может, повторяя ее возглас.

Сирано попытался пробиться к ней, но бегущая толпа повлекла его дальше к Лувру.

Уже вблизи дворца толпа задержалась еще около одной баррикады, где на опрокинутой бочке стоял другой оратор. Его длинные русые кудри струились по плечам, одухотворенное лицо с тонкими, почти женственными чертами, пылало, бархатный голос гремел.

— Это герцог Бофор, незаконный внук Генриха IV! — воскликнул Ноде.

— Ну да, Бофор! Наш Бофор! — отозвался благообразный горожанин.— Мало найдется милашек, которые отвернутся от такого молодца! Недаром его прозвали «королем торговок», а торговки в наше время — сила! Вы только послушайте его!

— Горожанки и горожане, дорогие моему сердцу парижанки и парижане! — и гремел, и вкрадчиво проникал в души слушателей красивый вибрирующий голос.— Настало время потребовать ответа от коварного псевдосвятоши, нарушившего обет безбрачия, не вступая в брак, поскольку под рясой у бывшего камердинера нет и капли королевской крови. Но зачем ему узы брака, когда можно наслаждаться его радостями без всяких уз, налагаемых церковью и совестью?

Хохот пронесся по толпе. Больше всех хохотал, тряся жирными подбородками, сытый горожанин, стоявший подле Сирано и Ноде.

— Ни для кого не секрет,— продолжал как бы на ушко, даже наклонившись к толпе, Бофор,— что этот «кардинал», кокетливо показывая алую подкладку своей подобранной сутаны, проникает по ночам в спальню «мамаши» и, надо думать, не для напутствия ее в качестве духовника, а принося ей скорее не духовную, а плотскую пищу, куда более сладостную!

И снова хохот в толпе.

— Наслаждаясь плотскими радостями по ночам, они загубили нашего малолетнего короля. Его наверняка уже нет в живых!

— В Лувр! В Лувр! К королю! К нашему маленькому королю! — закричали в толпе.

Еще в юности, слоняясь по парижским салонам, участвуя в несчетных дуэлях, которые, казалось, могли бы

открыть Сирано де Бержераку путь в Лувр, он так и не добился тогда заветной цели.

И вот теперь, став иным, стремясь не к своей выгоде, а посвятив себя борьбе со злом, вместе с толпой Сирано, потеряв своего спутника Ноде, ворвался в королевский дворец.

Сотни ног топтали зеркальный паркетный пол роскошных беломраморных залов с лепными украшениями в простенках и на потолке.

И Сирано увидел перед собой прославленную красотой королеву Анну. Она вышла к толпе, ведя за плечи хилого сына, Людовика XIV, который через четверть века стал олицетворением безграничной королевской власти, основанной на прихоти, самодурстве, бессмысленном этикете.

Но сейчас рядом с неестественно бледной, но величавой королевой стоял перепуганный худенький мальчик в роскошном, видимо, стесняющем его костюме и расширенными глазенками смотрел на возбужденные лица ворвавшихся во дворец людей.

Анна сказала:

— Я приказала освободить трех арестованных членов парламента и строго взыщу со своего первого министра за его самовольство. Занимавшийся нашими финансами Эмери мной уже отстранен. Кроме того, я обещаю выполнить ваши желания, которые изложат мне выбранные вами представители и которые не пойдут во вред стране и короне.

Сирано отметил про себя, что французский язык королевы Франции желал бы лучшего. Во всяком случае, соляресса Эльда, изучавшая его на невообразимом расстоянии от Франции, успела в произношении куда больше.

Ноде так и исчез, и Сирано решил идти к доброносцу герцогу Ашперону один.

Он шел знакомыми улицами, по которым проходил когда-то вместе с другом детства Кола Лебре, но вспоминал почему-то не виденные ими вместе дома, которые встречались теперь ему, а исполинские башни, сложенные из поставленных друг на друга дворцов, уходившие в розовые полупрозрачные облака, куда поднимали чудесные самодвижущиеся ступеньки лестниц.

Впрочем, было ли все это на самом деле? Не мечта, а грубая реальность с баррикадами и негодующей тол-

пой окружала теперь его. И как не похожи эти люди на соляриев!

С этими мыслями Сирано оказался перед стеной замка, в которой виднелся сравнительно свежий заделанный в ней проем. Тот самый, через который проник на носилках в замок герцога д'Ашперона немощный, но всевластный кардинал Ришелье, наследника которого поносят теперь на улицах Парижа.

Мог бы это представить себе Ришелье?

Но доброносец Сирано де Бержерак не только представил себе это, но и слился с негодующей толпой, заразясь от нее ненавистью к угнетателю французов, к невежественному монаху-итальянцу в кардинальской сутане (даже не мантии), который душит французский народ.

Сирано вернулся в Париж другим человеком, чем тот, который покинул его вскачь, летя вместе с незабвенным учителем на измазанных грязью конях из подземной конюшни герцога д'Ашперона.

Герцог д'Ашперон, когда к нему привели Сирано, долго испытующим взглядом смотрел на него.

Даже знаков тайного общества, которыми они обменялись при встрече, видимо, было недостаточно для герцога-доброносца, чтобы признать Сирано де Бержерака.

— Прошу простить меня,— сказал, откинув седые длинные волосы, спадавшие ему на плечи, герцог д'Ашперон. — Я действительно знал господина Савиньона Сирано де Бержерака, но... его так долго не было в Париже, кроме того, я провожал его в путь не одного... Право, достойный гость мой, мне трудно признать его в вас, как бы вы ни напоминали мне его своей наружностью.

— Ваша светлость, вы приняли на себя скромное звание местного надзирателя Дома добра. Перед нашим расставанием вы предложили мне быть поэтом при вашей особе. И надо думать, не для восхваления вашего имени и знаменитого рода, а для целей, в которых мы объединены с вами общим обрядом...

— Я готов повторить свое предложение Сирано де Бержераку, как только удостоверюсь, что он передо мной.

— Сирано де Бержерак, которого вы вспоминаете, был признанным дуэлянтом, но я дал клятву не вынимать шпагу из ножен, дал клятву тому, кого вы, ваша

светлость, провожали в подземном ходе перед решеткой вместе со мной и которого, увы, уже нет в живых.

— Вот видите, вы отказываетесь признать Сирано де Бержерака в главном, чем он был знаменит, в его искусстве владения шпагой!

— Простите, ваша светлость, но вы предложили ему быть при вас поэтом. Значит, была еще сторона Сирано, которую вы отмечали.

— Разумеется.

— Так разрешите мне доказать вам, что я — это я.

— Извольте. Каким образом?

— Позвольте считать, что я уже служу вам, и предложить для борьбы со злом то, что вы вправе ожидать от меня.

— Охотно позволяю, если вы на это способны.

— Тогда я прочту вам памфлет, который сочинил сегодня, находясь на баррикадах, перегородивших улицы Парижа.

— Памфлет? Против кого?

— Против врага добра, врага народа.

— Читайте. Сирано де Бержерака я считал на это способным.

И Сирано прочитал герцогу д'Ашперону свой первый памфлет, которым после издания его герцогом д'Ашпероном было положено начало знаменитой «Мазаринаде», составившей усилиями лучших умов Франции целых сто томов.

«СЕРЫЙ»

«Что значит «серый»? Серых много!
У каждого своя дорога.
Есть мышь и заяц, есть и волки,
И серых книг полно на полке.

Есть серость темная невежд,
Есть серость наглая невеж!»

— Недурное начало! — заметил герцог. — Прошу вас дальше.

Сирано поклонился:

Народ на ярмарке хохочет,
Смеяться хоть совсем не хочет.
Там куклы жизнь играют злую:
Кого убьют, кого надуют.
Где правды нет — ликует ложь.
Нет милосердия, есть нож.

Растоптана и Справедливость,
Притом с изяществом, «красиво»!
Все продадут и в Рим и в Лондон,
Расправиться бы только с Фрондой!
Всех неугодных скрутят в жгут.
А усомнившихся — сожгут.

В стране под видом «балагана»
Все происходит «без обмана»,
Как будто бы само собою,
Без всяких ниток, но... не скрою:
Я в щель взглянул и угадал:
Их дергал «серый кардинал».

В смиренной серенькой сутане
С подкладкою кроваво-алой
Невежда мудрым вдруг не станет,
Как камердинер — кардиналом.
Он сер, как заяц, сер, как волк,
Как змей, укутан в серый шелк!

Доброносец герцог д'Ашперон молча подошел и обнял Сирано.

— С возвращением, брат мой, с оружием, которое острее шпаги.

В ту же ночь кардинал Мазарини тайно бежал из Лувра в Кёльн.

### Глава вторая

## ШКОЛА ВЛАСТИ

*Каждый видит, чем ты кажешься;*
*Немногие чувствуют, что ты есть.*

Макиавелли

Рейн! Могучая полноводная река, словно хранящая былое величие Священной Римской империи немецкой нации *, низведенной Вестфальским мирным договором до положения стоячего болота, в какие превратились некоторые пострадавшие в Тридцатилетнюю войну раздробленные владения фюрстов и рыцарские земли, гра-

* Существовала как завоевание Германией ряда европейских стран и большей части Италии с Римом и папой, начиная с 962 года. С 1648 года превратилась в конгломерат самостоятельных и непокорных германских государств уже без Италии. Прекратила существование при Наполеоне I в 1806 году. *(Примеч. авт.)*

ницы которых порой сужались до одного лье, с ютящейся внутри их сотней-другой подданных.

Рейн, конечно, всегда оставался равнодушным к нескончаемым войнам на его берегах между патентантами * Кёльна и Пфальца из-за сооружений, которые одними строились, а другими разрушались. Безразличная к ручейкам человеческой крови светлая река несла свои чистые тогда воды **, рождая множество легенд и красивых сказок, которые слагались о ее берегах.

Город Кёльн на одном из них являл собой отнюдь не процветающий центр: множество полуразвалившихся, заброшенных домов, пустые улицы, давным-давно начатый строительством, гениально задуманный собор походил на безобразный скелет, одетый в забытые людьми строительные леса, и далеко не напоминал тот всплеск ажурного камня к небу, который создаст столетия спустя мировую славу готической архитектуре.

По безлюдным улицам мчалась карета, запряженная попарно цугом восьмеркой золотисто-рыжих лошадей. По обе стороны кареты и позади нее скакал отряд королевских мушкетеров во главе с их капитаном, имя которого впоследствии будет прославлено несравненным Александром Дюма-отцом.

Капитан этот в шляпе с развевающимися перьями держался рядом с дверцей кареты, где виднелся в окне прелестный профиль дамы.

С бравым капитаном ехали отважные и надежные друзья, способные постоять за французского короля (пусть пока малолетнего), который вместе с матерью, королевой Анной, направлялся к ее первому министру, отсюда, из Кёльна, управлявшему Францией, поскольку Париж был захвачен Фрондой.

Карета остановилась около замка фюрста, вынужденного уступить его кардиналу Мазарини, имевшему права по Вестфальскому мирному договору, завершившему Тридцатилетнюю войну, распоряжаться в раздробленных германских государствах как у себя дома и нашедшего удобным отсюда, из Германии, вести французские дела.

Королева Анна, учтиво поддержанная под руку капитаном мушкетеров, сошла с подножки кареты, одарив галантного капитана, помня былые его услуги, теп-

* Имеющие патент императора на правление. *(Примеч. авт.)*

** Ныне Рейн так загрязнен, что в нем нельзя даже купаться. *(Примеч. авт.)*

лым и ясным взглядом, и величественно прошла по каменным ступеням сквозь толпу гонцов, ожидающих приема кардинала, не просто расступившуюся перед нею, а распавшуюся на согнувшихся в подобострастном поклоне людей.

Анна властно распахнула двери кабинета, где за грубым столом сидел в своей рабочей сутане, подбитой алой материей, кардинал Мазарини. При виде королевы он вскочил, сделав знак рукой гонцу. Тот, низко кланяясь, пятясь, удалился из кабинета.

Анна, величественная, гневно-надменная, свысока смотрела на Мазарини, потом бросила ему на стол скомканную бумажку.

— Извольте, кардинал, прочесть этот гнусный пасквиль, касающийся не только вас, священнослужителя и министра, но и меня, облеченную парламентом Франции высшей властью. Я не терплю непристойностей.

Мазарини, не говоря ни слова, лишь благословил королеву Анну поднятой рукой, в ответ на что она чуть заметно присела в полуреверансе, взял бумагу, тщательно расправил ее и стал читать.

Робкий мальчик-король вошел вслед за матерью и с любопытством рассматривал комнату, украшенную рогами и многими кабаньими головами.

«И что их так к свиньям тянет», — поморщился Людовик XIV.

Мазарини читал напечатанный в Париже листок.

Сирано де Бержерак

У СПАЛЬНИ КОРОЛЕВЫ (памфлет)

Что скажет «серый кардинал»,
Когда кивнет сама Мадам?
Что он никак не ожидал
К себе вниманья знатных дам?

Нет! Мимо спальни не пройдет
«Святой» пронырливый прелат!
Таких на свете нет пройдох!
Таким пройдохам нет преград!

Не умерщвлять же клятвой плоть!
Не гнать же радость жизни прочь,
Когда попы, до папы вплоть,
Вкусить запретное не прочь!

Забыть безбрачия обет,
Известно, не для всех ведь грех!
В день постный съесть мясной обед —
Вот это тяжкий грех для всех!

Наследник жалкий Ришелье,
Не выше ты его колен!
Несчетно шаг твой мельче лье,
Ты так же мелок, Мазарен! *

Мазарини прочитал листок и побледнел. Анна почти с ненавистью смотрела на него.

— Надеюсь, вы мужчина, кардинал?

— У вас есть повод для сомнений, ваше величество?

— Надеюсь, если бы вы находились в Париже, автор пасквиля был бы в Бастилии?

— О нет, ваше величество! — поправил Мазарини. — На эшафоте! Но, позволю себе заметить, что эшафот не единственное средство возмездия. Я знаю этого Сирано де Бержерака, забияку и драчуна. Вижу, он сменил шпагу на колкий стих. Но меня он не проколет.

— Зато меня гнусно ранил клинком, отравленным непристойностью.

Кардинал опустил глаза.

— Можете поверить мне, ваше величество. Я могу переманить на свою сторону врага, но я не умею прощать, хотя все стерплю.

— Стерпите? И вы, первый министр, будете утверждать, что остаетесь мужчиной?

— Я постараюсь это доказать, ваше величество. Терпение — мое оружие, которым мало кто владеет. Я хочу, чтобы это слышал и король. Меня нельзя пронять оскорблением, но это не значит, что я его спущу. Моя стратегия: «Время и я!» Рано или поздно, но беру свое.

— Если у вас так много терпения, то попрошу заменить меня и заняться королем, которого я вверяю вашей заботе. Пусть он посмотрит, как вы воюете за него с помощью своего терпения, которое так на руку разнузданной Фронде.

— Я внимательно слежу за нею, ваше величество.

— Следить надо за модой. Пусть мне скучны государственные дела и я прежде всего дама, потому не могу снести, чтобы множество людей хихикало, читая эти неприличности.

— Кто сегодня хихикает, завтра заплачет. Что значит множество людей, ваше величество, по сравнению с теми, кто ими правит! Я постараюсь объяснить это королю.

* Французское произношение имени Мазарини. *(Примеч. авт.)*

— Мушкетеры будут ежедневно сопровождать его к вам, как к наставнику.

— Я постараюсь доказать, что я «выше колен» Ришелье.

— Я надеюсь, — бросила Анна и, величественно кивнув, удалилась.

Мальчик-король остался с Мазарини.

— Ваше величество, не угодно ли будет вам занять этот жесткий табурет, который подготовит вас к высокому трону?

Людовик XIV, помня внушения матери, повиновался.

— Эта бумажка, ваше величество, читать которую вам нет нужды, могла бы вывести из себя властителя, чем и обессилила бы его. Я хочу передать вам те секреты, которые доступны были самым изощренным умам, правившим или помогавшим править в Европе.

Мальчик кивнул. Ему было очень интересно узнать, что так разозлило его мать, но он рано научился внешне сдерживать себя.

— Я буду прилежным учеником вашего преосвященства, — заверил он.

— Я упомянул про эшафот, как вы слышали, ваше величество. Но эшафот — завершение возмездия. В основе же возмездия всегда должна лежать жестокость, нужная не сама по себе, а лишь постольку, поскольку вызывает страх, какой надлежит внушать всем подданным.

Мальчик любил разорять птичьи гнезда и не видел в этом особой жестокости, натравливал собак на кошек, топил щенят и забавлялся всем этим вполне невинно, по-детски. То, что должен был раскрыть сейчас перед ним кардинал, поднимало его в собственных глазах, делало более взрослым, чего так жаждут все в его возрасте.

— Вы можете убить ударом ладони комара, который намеревался или укусил вас, — продолжал Мазарини. — То же самое вы вправе сделать с каждым своим подданным, от мужика до герцога. Запомните: «Лучше, чтобы все боялись вас, чем любили, ибо любовь преходяща и от вас не зависит, а страх, внушаемый вами, неистребим».

Мальчик кивнул.

— Вот сейчас при вас, ваше величество, я подписываю от вашего имени смертные приговоры вельможам, которые, предавая вас, примыкают к Фронде в провин-

циях. Но разве это жестокость? Я не хочу напоминать вам о пытках, по Римскому праву сопутствующих следствию, о разных приспособлениях, вызывающих болевые страдания, о дробящих кости «испанских сапогах» или объятиях «железной девы» с лезвиями кинжалов внутри. Вам, властителю французов, нет нужды вникать в такие подробности. Затмите их блеском двора и этикетом. Однако одну историю я просил бы вас выслушать, дабы знать, что есть страдания, превышающие все боли, вместе взятые.

Мальчик наклонил голову. Он любил занятные истории.

Подписав несколько бумаг о казни крамольных вассалов короля, Мазарини откинулся на спинку кресла и начал:

— Драма эта завершилась лишь полвека назад у нас в Италии, которую зовут родиной коварства. Граф Франческо Ченчи из старинного итальянского рода содержал шайку наемных «брадн» и разбойничал, позорил семью, погубил трех своих старших детей. Оставались еще два сына и пятнадцатилетняя красавица дочь с легендарными светлыми кудрями, Беатриче. Отец, гнусно домогаясь ее, заточил дочь в замок, о чем мне, отцу церкви, и вам, королю, блюстителю высокой нравственности нации, и вспоминать не пристало, но... Однажды изверг Франческо был найден заколотым в постели с забитыми в глаза гвоздями. В его смерти по велению герцога обвинили жену и детей. Графиня с сыновьями не выдержали и сознались, но невинная Беатриче молчала даже под пытками и приняла на себя вину только перед казнью, наивно стараясь спасти свои кудри, но их вопреки данным обещаниям срезали, чтобы не мешали палачу. Истязатели знали, как мучить сильнее боли, медленно убивая мать и брата у нее на глазах.

— Зачем же, зачем так терзали знатных людей, ваше преосвященство? — возмутился король-мальчик.

— Для острастки, ваше величество. Чтобы никому не было повадно чинить суд и расправу, посягая на исключительное право властителя, сила которого опиралась на страх.

Мальчик передернул плечами, представив себе рассказанное наставником, которому вверила его мать-королева.

— Мне жаль бедную Беатриче, я бы помиловал ее, — сказал он.

— Милость тоже нужна властелину, но лишь как украшение. Если вы позволите, ваше величество, я приму в вашем присутствии гонцов из Парижа, чтобы узнать, что там происходит.

И Мазарини позвонил в колокольчик.

Угрюмый монах в капюшоне показался в дверях и по сделанному ему знаку ввел в кабинет запыленного гонца, который по-испански стал размахивать снятой шляпой с перьями над полом, выражая почтение.

— Принц Конде, приславший меня к вам, ваше преосвященство, прежде всего просил передать свою преданность королю, — произнес он с заметным испанским акцентом.

— Эта преданность нам известна, — хмуро заметил Мазарини. — Чем командует такой прославленный военачальник, как отважный принц Конде, ныне служащий Фронде?

— Он сожалеет, ваше преосвященство, что парижское ополчение — это «извозчичья кавалерия», а пехота, украшенная лентами, как девицы на гуляньях, каламбурит по кабакам и показывает спину и все, что ниже, противнику при первом же выстреле.

— Вы имели в виду пятки, надеюсь? — заметил кардинал, косясь на ухмыляющегося короля.

— Конечно, и пятки, — согласился гонец.

— Чего же хочет принц Конде?

— Войска, настоящего войска, могущего служить королю. И избавления от интриг Тюрена, который по сравнению со славным и отважным принцем Конде прячет свою трусость и нерешительность за якобы расчетливой медлительностью военного маневра.

— Передайте принцу Конде, что сам король выслушал ваши заверения в преданности принца и будет решать его судьбу. Можете идти.

Следующий урок Мазарини дал малолетнему королю, когда тот снова явился к нему в кабинет, сопровождаемый недовольным капитаном мушкетеров, жаждавшим сражений, а не роли няньки.

Глядя на мужественного капитана, Мазарини подумал, что стоило бы свести этого непобедимого рубаку в поединке с наглым Сирано де Бержераком, и пожалел, что, по сообщениям шпионов, Сирано больше не принимает вызовов на дуэли. Видимо, чтобы воздать ему за содеянное, нужен более тонкий план, который уже зрел в голове кардинала, вытекая из того урока,

который он собирался преподать сейчас Людовику XIV.

— Речь пойдет о коварстве, — начал он, оставшись с королем наедине, — о великой силе, ведущей к победе над любым врагом. Я позволю себе привести высказывания турок по этому поводу: «Слова христиан пишутся на снегу, слова султана на мраморе». На это я отвечу, что снег превращается в мчащиеся с гор потоки, а мрамор идет ко дну. Турки правы, признавая за христианами высшую силу достижения цели. Орден иезуитов особенно преуспел в этом, считая, что «религия — в воспитании» и что для достижения цели все средства хороши: от молитвы до кинжала. Великий теоретик коварства Макиавелли вовсе не был коварным злодеем. Напротив, он снискал славу образованнейшего и гуманного человека, блистательного поэта и патриота Италии, которого ставили рядом с Данте. Он служил на высоком посту республике во Флоренции, но мечтал о единой итальянской монархии, видя путь к ней через средства, описанные им в книге «Государь», которые он отнюдь не изобрел, отражая лишь свое время и нравы общества. Умер он в бедности, изгнанный из республики, днем слоняясь по кабакам, а ночью, надев былой мундир, садился за свое бессмертное творение о коварстве, живописуя, по существу, такого властителя, как Чезаре Борджиа. В надежде найти монарха для единой Италии он преподнес, как средство для достижения этого, свое сочинение Лоренцо Медичи, дочь которого, кровавой памяти Екатерина Медичи, читала уже изданную книгу Макиавелли своим детям перед Варфоломеевской ночью, зная о предстоящем истреблении гугенотов.

— Я тоже буду читать эту книгу?

— Конечно, ваше величество. Это необходимо для того, чтобы уметь властвовать над людьми. Вы узнаете о надежных способах устранения противников с помощью яств, духов, перчаток, не говоря уже о таком грубом средстве, как кинжал, впрочем, весьма действенном. Однако прибегать ко всему этому надо лишь, когда нельзя купить врага деньгами, владениями, должностями или обещаниями, которые вовсе не нужно всегда выполнять. Если вам придется завоевать новую область, то прежде всего истребите весь род былых властителей, иначе они прикончат вас. Крутые меры нужно проводить сразу и быстро, благодеяния же делать исподволь, растягивая на годы, дабы они создавали впечат-

ление о вас как о мудром благодетеле, затмив вынужденную и быстро забываемую жестокость. Однако помните, что одна добродетель без силы выглядит в реальной политике смешной и говорит о слабости, однако видимость ее так же необходима, как одежда, без которой не обойтись.

Беседа кардинала с королем была прервана все тем же сумрачным доминиканцем, принесшим весьма срочное известие.

Мазарини прочитал донесение и помрачнел, встал из-за стола и прошелся перед смирно сидящим на табурете монархом Франции.

— Я не хочу вас испугать, ваше величество, но должен воспитать в вас необходимое властителю мужество. Ваш современник, английский король Карл I, казнен революционным сбродом в Лондоне.

Мальчик вздрогнул.

— Чтобы вы уяснили, как вести себя в таком положении, когда казнят соседнего венценосца, я ознакомлю вас с письмом, которое направляю в Англию Оливеру Кромвелю, вождю супостатов.

— Вы выражаете ему мой гнев? — спросил покрасневший король.

— Напротив, ваше величество. Я добиваюсь совместных с ним усилий против Испании, в чем мы крайне заинтересованы.

— Вы ищете союзников среди английских цареубийц?

— Именно так, ваше величество, как учит, сам того не подозревая, все тот же Макиавелли.

Людовик XIV вздохнул. Ему стало душно, захотелось на воздух, в сад, поиграть в лапту («фронду») с мальчишками, убежать от всех этих страшных дел, в которые посвящал его угодный матери кардинал.

— Я хотел бы, ваше величество, чтобы вы ушли от меня с сознанием того, что «каждый видит, чем ты кажешься, и лишь немногие почувствуют, что ты есть».

Капитан мушкетеров уже скучающе ждал короля, чтобы проводить его в сад, где для него собрали местных мальчишек.

Людовик XIV выглядел обыкновенным их сверстником. Кто мог догадаться, что уже заложено в него и как выразится со временем?

А Мазарини занялся текущими делами. Ему нужно было золото не только потому, что он был ростов-

щически скуп, а для того также, чтобы сколотить армию, во главе которой он собирался поставить готового изменить Фронде Тюрена, соперника принца Конде.

В приемной кардинала ждало несколько откупщиков («партизан»), привезших Мазарини столь нужные ему деньги в счет тех податей, которые он позволил им собирать с крестьян. И еще там сидели три чопорные молоденькие итальянки, племянницы Мазарини, приехавшие просить для всех их, семерых, приданое, в надежде, что при своей скупости он их не обидит.

Правя страной, Мазарини не забывал себя.

Еще больше, чем Ришелье, ввергнув страну в неоплатные долги, сумма которых в современном исчислении достигала свыше полутора миллиардов франков, не менее 400 миллионов он оставил в своем кармане, не считая приданого, которое он обеспечил-таки всем своим семерым племянницам.

Чтобы сколотить такое состояние, он не брезговал ничем: ни ссудой денег в рост под ростовщический процент, ни продажей должностей. Когда Фронда назначила крупную сумму за его голову, выручив ее от продажи его библиотеки, он невозмутимо заметил, что «это обойдется им куда дороже».

Казалось, для того, чтобы переполнить его многотрудный день, после ухода короля ему принесли пачку листков, распространенных Фрондой. Мазарини перебирал их, пока не остановился на памфлете опять же Сирано де Бержерака, который становился поистине невыносимым. Расхаживая по кабинету так, что полы его сутаны развевались, обнажая алую подкладку, он перечитывал злые разящие строки.

Крестьянин трудится как вол,
Но на чужой роскошный стол,
Конечно, он и нищ и гол.

Но на беднягу гнев низринет
Правитель алчный Мазарини,
В интригах что погряз, как в тине,

Виновник наших бед и зол,
Без платья совести он гол,
С душой темнее черных смол.

Мазарини задумался. Этот Сирано де Бержерак заслуживает кары не меньшей, чем понесла несчастная Беатриче.

Глава третья

## ДАМЫ ФРОНДЫ

*Когда ты входишь, солнце меркнет.*

Сирано де Бержерак

Последствия Тридцатилетней войны в Германии, где пребывал Мазарини, были ужасны. Обезлюдевшие города, покинутые деревни, невозделанные поля — упавшие цены на крестьянские продукты повлекли за собой уход людей с насиженных земель. По стране бродили преступные шайки нищих и разбойников, цыганские таборы, итальянские «артисты» с верблюдами, медведями, обезьянами или голодные бродяги, готовые на все. От военных обозов остались, ища себе «работу», целые цехи «веселых женщин», набранных из неудачниц разных национальностей и любых сословий (даже высших!), потерявших близких и родной кров, забывших мораль и воспитание, повинуясь на немецкий лад «фельдфебелицам», столь же властным, как и развратным.

Самая древняя профессия становилась единственным прибежищем этих обездоленных женщин, у которых не оставалось ничего, кроме самих себя. И они перекочевали из армейских обозов в города.

По-иному складывались судьбы блистательных дам Парижа в годы торжества Фронды. Многие прелестницы (по словам историка), столь же честолюбивые и отважные, как и не умеющие краснеть, стали занимать в движении Фронды заметное место. Первой среди них считалась бывшая приятельница королевы Анны герцогиня де Шеврез, устоявшая даже от гонений Ришелье, вынужденного уничтожать ее хотя бы насмешками в своих комедиях. С нею соперничали во влиянии «генерал-роза» Фронды, неистовая дочь Гастона Орлеанского (бывшего до рождения Людовика XIV престолонаследником) принцесса Монпасье и очаровательная мадам Лонгвиль, сестра молодого, но прославленного в войну принца Конде, которого обожали солдаты, сравнивая его с самим Густавом-Адольфом, шведским королем. Красота и обаяние сестры героя покоряли даже противников Фронды.

Сам Людовик II Конде рассматривал Фронду как средство для познания радостей жизни, которые виделись ему в кутежах и буйстве, веселье и наслаждении. Королева Анна пока еще находилась в Париже, была весьма чувствительна к нарушениям этикета, чем принц Конде пренебрегал, и мучительно страдала от этого, так же, как и от приятелей принца, петимеров (франтов), превращавших королевский дворец в посмешище. Конде распоряжался там как султан (по выражению современников), живя на более широкую ногу, чем король. Основной заботой его было интриговать против соперника в военной славе Тюрена, с которым ему пришлось впоследствии сразиться на поле боя в пригороде св. Антония, когда Тюрен изменил Фронде.

Но всему этому еще предстояло произойти, а пока вожаки Фронды наслаждались успехом, достигнутым народом на баррикадах, нимало не заботясь о простолюдинах и крестьянах, не задумываясь о переустройстве государства по примеру английской революции, приведшей к казни короля. Фронда, крича о верности короне, растратила собранные деньги на роскошь, пьянство и излишества, сколотив лишь «скоморошное ополчение» с «извозчичьей конницей» и ополченцами в лентах, оравших по кабакам о своей доблести.

Лучшие же умы столицы, все еще стремясь вдохнуть энергию в движение против деспотизма, создавали памфлеты, разоблачающие кардинала Мазарини, пополняя ими знаменитую «Мазаринаду».

Разрозненная в своих стремлениях Фронда, рожденная недовольством народа своей жизнью и знатью, жаждущей большей власти и выгод, не сумела ослабить влияния первого министра в провинциях, где губернаторы играли вторую роль после поставленных там Мазарини «государственных секретарей», не создала в Париже новых органов власти. Однако шумела.

Одна из первых дам Фронды графиня де Ла Морлиер в сопровождении маркиза де Шампань, своего неизменного, но несколько полысевшего и потускневшего «чичисбея», как говорили когда-то в Италии *, запросто,

* Чичисбей — состоящий при даме молодой человек, пользующийся правами друга дома и выполняющий любые прихоти своей повелительницы, как принято было когда-то в Италии. *(Примеч. авт.)*

без засланного вперед для предупреждения о визите гонца, приехала к герцогу д'Ашперону.

Герцог принял ее в мрачноватом зале с узкими окнами, украшенном рыцарскими латами, оружием и портретами предков.

— Как это прелестно, ваша светлость, — щебетала графиня, — чувствовать себя в вашем замке не на скользком паркетном полу, а на прочном каменном, как бы переносясь в славное рыцарское время, когда так почитали дам!

— Позвольте, графиня, выразить вам свои рыцарские чувства, — раскланялся величественный герцог, тряхнув своей седой гривой волос.

— О, в таком случае вам предстоит выполнить желание посетившей вас дамы, которую маркиз согласился сопровождать.

— Если это даже и превысит мои силы, то все равно любое ваше желание в этом замке — закон.

— О, пустое, ваша светлость! — вмешался маркиз де Шампань, поводя, словно принюхиваясь, своим крысиным носом. — При вас в поэтах, как говорят, состоит наш старый знакомый господин Сирано де Бержерак. Графине хотелось бы увидеть его.

— Нет ничего проще угодить даме! — поклонился герцог и приказал бесшумно появившемуся слуге в ливрее пригласить в зал Сирано де Бержерака.

Сирано появился здесь, вежливо раскланявшись с гостями герцога.

— О боже! — всплеснула ручками графиня с родинкой. — Так измениться к лучшему! Возможно ли! Уверяю вас, господин де Бержерак, вы будете пользоваться необычайным успехом у дам, если согласитесь в знак нашего давнего знакомства посетить меня. Мне так хотелось бы послушать вместе со всеми, кто почтит меня своим присутствием, ваши изумительные по остроумию памфлеты и трогающие душу сонеты!

— Графиня хотела бы напомнить вам, дорогой Сирано, что вы помогли ей в свое время ввести в парижскую моду поэтические дуэли, — вставил пожухлый чичисбей.

Сирано бросил быстрый взгляд на герцога д'Ашперона, тот в ответ незаметно сделал пальцами знак доброносцев.

Сирано понял, что патрон советует ему воспользо-

ваться предоставляемой ему трибуной для применения оружия, которое назвал более острым, чем шпага.

Сирано поклонился графине.

— Я буду счастлив, ваше сиятельство, вновь оказаться в числе ваших гостей.

— Ах, это так мило с вашей стороны! Обещаю вам припасенный мной для очередного вечера сюрприз! Я даже немного боюсь за вас!

— Я не принимаю больше вызовов на дуэли, графиня.

— О, уверяю вас, от такой дуэли уклониться невозможно! — И, кокетливо прикрывшись веером, графиня грациозно подала руку своему спутнику, чтобы тот проводил ее в карету.

Герцог сопровождал их до мраморной лестницы, заменившей былую винтовую с перилами, выкованными из одного куска железа, потом вернулся к Сирано.

— Благодарю, друг мой, что вы без слов поняли меня. Ваше поприще — разить зло острым словом.

— Я готов, — отозвался Сирано.

— Я думаю, что вы не откажетесь от сопровождения вас вашим другом Ноде в салон графини де Ла Морлиер.

Ноде, потерявший Сирано в толпе в «день баррикад», нашел потом тайный Дом добра, надзирателем которого считался среди доброносцев герцог д'Ашперон.

Когда Сирано вместе с надушенным, утопавшим в кружевах Ноде появился в гостиной графини де Ла Морлиер, свидетельницы того, как он когда-то участвовал впервые в «поэтической дуэли» и тоже впервые был вызван на поединок, графиня с родинкой встретила вошедших радостным возгласом.

Благо, былого противника Сирано здесь не оказалось. Может быть, он не примыкал к сторонникам Фронды.

Но сторонники, вернее, сторонницы Фронды ослепили Сирано, как и предупреждала графиня де Ла Морлиер.

С радушной улыбкой подводила она его поочередно к «звездам Фронды», как называла она прелестных дам, приехавших к ней в сопровождении видных, но молчаливых спутников.

— Герцогиня де Шеврез! — с придыханием возвещала она и продолжала, обращаясь к гостье: — Ваша

светлость, позвольте представить вам поэта Сирано де Бержерака, о котором вы не могли не слышать!

— Я рада, что вижу первого парижского рыцаря шпаги в числе друзей Фронды, — царственно произнесла пожилая красавица, протягивая Сирано надушенную руку для поцелуя.

Ноде, почтительно переминаясь с ноги на ногу, раскланивался за спиной у Сирано.

— Надеюсь, — продолжала герцогиня, — ваши обещанные нам памфлеты окажутся более действенными, чем неучтивые комедийные стрелы покойного кардинала, которые он направлял в нашу сторону.

— Подобные стрелы могли лишь обуглиться в сиянии вашей красоты, ваша светлость, — поклонился Сирано. — Мои же стрелы направляются во мрак невежества и коварства.

— Вы находчивы, — поощрительно улыбнулась герцогиня де Шеврез.

К ним порывисто, словно вызывая ветер, подошла блестящая принцесса Монпансье.

— Не разочаровывайте меня, господин де Бержерак! — звонко воскликнула она. — Не уверяйте, что не поднимете больше шпаги, которую обнажили даже против ста человек!

— Шпагой, ваше высочество, действительно можно сдержать сто человек, но для привлечения на правую сторону миллионов людей нужно уже другое оружие.

— Но и шпага ваша может понадобиться, господин де Бержерак, если дело дойдет до осады Бастилии, где вы, надеюсь, окажетесь рядом со мной.

— Я всегда избегал Бастилии, ваше высочество, никак не допуская, что могу там встретиться с принцессой.

Принцесса Монпансье расхохоталась:

— В Бастилии внучку Генриха IV вы бы не встретили, но на стенах крепости у пушек можете найти.

— Я буду подносить ядра, начиненные памфлетами.

Графиня де Ла Морлиер увлекла Сирано и Ноде вместе с ним дальше.

— А вот и сама сестра легендарного Конде, мадам де Лонгвиль, скорее зажмурьтесь, мой Бержерак!

— Это было бы преступлением, ваше сиятельство! — воскликнул Сирано. — Конечно, людям приходится жму-

риться, глядя на солнце, но они не могут обойтись без его живительных лучей!

— Вы милы, Бержерак, — сказала госпожа де Лонгвиль. — Я расскажу о вас брату, он пригласит вас в Лувр немного повеселиться.

— А теперь, — воскликнула графиня де Ла Морлиер, оглядываясь на маркиза де Шампань и делая ему какой-то знак, — мы попросим нашего поэта прочесть свои памфлеты, направленные против чудовища в рясе, который держит в плену нашу прелестную королеву Анну и ее малолетнего сына, нашего любимого короля.

Маркиз де Шампань исчез из гостиной и незаметно вернулся уже не один.

Сирано же увлеченно читал свои памфлеты, которые так взбесили кардинала Мазарини, готовившего их автору ни с чем не сравнимую по жестокости месть.

Памфлет «У королевской спальни», болезненно уязвивший королеву Анну, произвел в гостиной графини подлинный фурор. Дамы повскакивали с кресел, рукоплеща поэту. Сопровождающие их кавалеры молча ухмылялись в усы и переговаривались между собой.

— Какая прелесть! — восклицали дамы. — Как изысканно, тонко и вместе с тем зло! Но это святая злость, равная доброте!

— Лучше об этом адюльтере не сказать и в самом язвительном дамском обществе, — заметила герцогиня де Шеврез.

— Даже в таком, где не умеют краснеть! — подтвердила принцесса Монпансье.

— Вас поблагодарят за эти памфлеты не только крестьяне, — с обворожительной улыбкой произнесла госпожа де Лонгвиль.

— Прелестные дамы! — возвестил, вмешавшись в дамские голоса, маркиз де Шампань. — В нашем кругу появилось еще одно светило, баронесса де Тассили, неся с собой знойное дуновение юга Испании. Об этом светиле, уверен, скоро заговорит весь Париж! Баронесса Лаура обращается с просьбой к нашему поэту прочесть вслед за памфлетами и свои сонеты о любви, ибо любовь — непобедимое оружие наших дам. Надеюсь, эту просьбу поддержат все.

— Конечно! — воскликнула хозяйка дома, предвкушая впечатление, которое произведет на гостей приготовленный ею для сегодняшнего вечера сюрприз.

Сирано оглянулся и почувствовал, что теряет сознание, как во время встречи с индейцами в канадских горах.

Ослепленный, ошеломленный, смотрел он перед собой на чудо или новую игру его воображения. Что это? Награда за его терзания или воплощение несбыточной мечты о женщине-совершенстве, воплотившейся не в небесную, а в земную плоть?

Он не мог отвести глаз от волшебного облика его Эльды со звездной Солярии, неведомо как оказавшейся здесь, черноволосой, смуглой и яркой, воздушно легкой, грациозной и в то же время стремительной в движениях.

Смотря на него так знакомым ему бездонным в черноте глаз взглядом, она сказала по-французски с едва заметным и милым чужеземным акцентом:

— Я была бы счастлива услышать слова, которыми вы воспеваете любовь и женщину.

Соляресса Эльда, его звездная наставница и ученица, говорила почти так же, быть может, чуть более чисто. Но она могла сказать эту фразу и так.

И тогда Сирано, повинуясь непосредственному чувству, пожелал проверить, не соляресса ли Эльда догнала его на Земле, чтобы участвовать в «Миссии Ума и Сердца» вместе с ним, но не дает пока повода открыться перед людьми. Если это так, то она должна понять, что он читает посвященный ей на Солярии сонет, правда, из внушенной Тристаном предосторожности, в несколько измененном, «земном» виде:

На злой, измученной планете
Ты для меня живой огонь!
Луч ослепительного света!
Нежна, но жжет твоя ладонь.

Твоей звезды всего лишь тень я,
Повелевать ты мной вольна,
Весны пьянящее цветенье,
Прибоя звонкая волна!

Веселье, смех, влекущий танец.
В движеньях острых — ураган.
Я жду, я знаю: миг настанет —
Вскипит страстей твоих вулкан!

И в лаву обратит тот пламень
Мой лед надежд и сердца камень.

Затаив дыхание, Сирано ждал. Среди восторженных слов в свой адрес он страстно хотел услышать знакомый вопрос: «А что такое вулкан?» Это было бы паролем, с помощью которого он узнал бы здесь, на Земле, свою Эльду.

Он не дождался этого вопроса, впрочем, может быть, и не вправе был его ждать. Ну хотя бы любой другой намек!

Баронесса Лаура де Тассили обожгла его взглядом, быть может, чуть неестественно блестевших глаз и, поражая удивительно ярким, отнюдь не застенчивым румянцем щек, сказала:

— Дома в Испании я любила танцевать. У нас танцуют даже при дворе. Пусть мой танец здесь, у вас, с дозволения графини де Ла Морлиер, послужит моим ответом вам, поэт, поскольку о танце сказано у вас в сонете.

Для гостиной графини де Ла Морлиер это было совершенной неожиданностью. Если дамы здесь и танцевали, то лишь жеманные светские танцы с изысканно учтивыми кавалерами и под слащавую музыку.

А здесь музыки не было совсем. Ее заменяли оказавшиеся в руках гостьи из Испании кастаньеты.

Поистине, преобразившись в огненном танце, она подтвердила данное ей в Париже имя Лауры-пламя.

Нет! Это не был танец соляресс Эльды! Это было нечто совершенно иное, действительно пламенное и чувственное.

Но что же это значит? Может ли быть такое совпадение? Или в самом деле все путешествие на Солярию лишь горячечный бред больного воображения, ищущей мечты о совершенном в людях, в обществе, в жизни? Как же это могло вдруг воплотиться в светском салоне знатных дам? В мире, который он называл клокочущей пустотой!

Сирано не мог прийти в себя. Ноде, ничего, конечно, не поняв, все же почувствовал неладное и пристроился рядом с Сирано, но тот сделал ему знак, что хотел бы остаться среди гостей в одиночестве.

Когда пламенный танец испанки закончился, Лаура подсела к Сирано и, задыхаясь от приступа кашля, прошептала:

— Вы довольны моей благодарностью?

— О да, баронесса! Но я не знаю, как, в свою очередь, выразить благодарность вам!

— О, очень просто! Признаться, что прочитанный вами сонет посвящен мне.

— Вам? Вы знали его? — с надеждой спросил Сирано.

— Что вы, Бержерак! Конечно, нет! Но мне достаточно впервые услышать его, чтобы понять, что и сонет, и его автор принадлежат мне.

Сирано вглядывался в прекрасную молодую женщину, так волнующую его своей внешностью и словами.

— Я люблю поэзию, мой Бержерак, — продолжала все с тем же очаровательным акцентом Лаура. — Я в девичестве зачитывалась сонетами Петрарки, посвященными Лауре, мечтая, что и мне, тоже Лауре, когда-нибудь другой великий поэт будет посвящать подобные сонеты. И, кажется, я дождалась этого. Не правда ли?

Нет лучшего способа найти путь к сердцу поэта, как признать его поэзию, сравнить его с великими предшественниками. А тут еще невероятное сходство! Сходство с сокровенной мечтой поэта!

Впрочем, вглядываясь в свою пленительную собеседницу, Сирано находил не только сходство, но и отличия от воображаемой Эльды. Да, он мысленно произнес «воображаемой», готовый уже счесть свое путешествие с Тристаном на Солярию грезой, рожденной беседами с учителем и последующей горячкой.

Лицо Лауры было прекрасно, почти такое же, каким представлял себе Сирано свою Эльду. Вот только неестественный блеск глаз и нездоровый румянец лица. Впрочем, это можно объяснить возбуждением огненного танца.

— «Твоей звезды всего лишь тень я, повелевать ты мной вольна!» — продекламировала тихим голосом Лаура. — Это ведь про нас с вами, сеньор де Бержерак! Я хочу слушать это еще и еще раз...

Сирано похолодел, потом его бросило в жар.

Все-таки она сказала заветное слово! Впрочем, соляресса повторила то, что произнесла перед тем на Земле юная трактирщица, а сейчас так же случайно их повторила Лаура-пламя. Знак это ему или совпадение?

— У меня особняк в Сен-Жерменском предместье. Я буду счастлива видеть вас у себя... даже без сопровождающего, — вкрадчиво добавила она.

Сирано был окончательно повергнут.

Он внутренне убеждал себя, что должен пойти ей навстречу, в надежде, что наедине она признается ему в своем участии в «Миссии Ума и Сердца» с Солярии, в своем служении Земле.

И он согласился, радостно согласился!

Справедливости ради надо сказать, что, не будь даже такого внутреннего оправдания принятию приглашения, он все равно бы согласился, всю жизнь так жаждавший женской любви, ослепленный сейчас красотой Лауры, польщенный ее похвалой, увлеченный этой женщиной своей мечты, которая невольно заслонила волнующей реальностью, ощутимой близостью неясный, призрачный облик Эльды.

Если сама судьба возвращает ему Эльду, хотя бы и так, как это произошло, то как он может пройти мимо нее?

Но мимо Сирано с лукавой понимающей улыбкой прошла графиня де Ла Морлиер и, наклонясь к нему, прикрывшись веером, заговорщически шепнула:

— Не я ли говорила, что вы будете пользоваться успехом у дам? Поздравляю вас! Кстати, муж нашей гостьи, отважный барон де Тассили, недавно погиб в бою. Какая жалость! Бедная Лаура! — притворно вздохнула графиня и протянула руку подоспевшему маркизу де Шампань.

Лаура-пламя еще некоторое время побыла в салоне, а потом маркиз де Шампань, очевидно, как было условлено, проводил ее из гостиной и, вероятно, увез в карете, потому что появился у графини только к концу вечера.

Дамы еще долго занимались Сирано де Бержераком, говоря ему множество лестных слов, но... произошло чудо. Все светские звезды поблекли в его глазах, утратив недавний блеск и красоту.

Он не мог ни о ком думать, кроме Лауры, которая перед уходом шепнула, что ждет его с новым, посвященным ей сонетом.

И этот рвущийся из сердца сонет уже зрел в его поэтической мечте.

Глава четвертая

## КИНЖАЛ ЛЮБВИ

*Любовь и страдание, как рукоять и лезвие кинжала в драгоценных ножнах.*

Восточная мудрость

Герцог д'Ашперон посетил утром отведенную поэту комнату в замке, застав Сирано уже одетым, готовым к отъезду.

Расчесывая перед зеркалом свои густые, ниспадающие на плечи волосы, он обрадовался приходу герцога, вскочил со стула, приветствуя хозяина и предлагая ему сесть.

— Я уже знаю со слов нашего друга Ноде о вашем успехе, — сказал герцог, опираясь о спинку стула. — А вы, я вижу, уже куда-то спешите? И без него?

— О да, ваша светлость! Одна из вчерашних прекрасных дам почтила меня приглашением посетить ее особняк. У меня есть надежда на ее помощь в нашем деле.

— Противостоять кардиналу Мазарини стало, мой друг, модным у наших дам.

— Я рассчитываю не только на моду, — заверил Сирано.

Он говорил совершенно искренне, надеясь, что еще сегодня, оставшись с Лаурой-Эльдой наедине, позволит ей открыться ему и как возлюбленной подруге, и как тайной участнице «Миссии Ума и Сердца», и, наконец, как матери их ребенка, которому предстоит положить начало «племени гигантов» на Солярии! Очевидно, он оставлен там на воспитание «ваятелям сердец», подобным самой Эльде.

Герцог распорядился подать Сирано его коня, купленного при помощи Ноде еще в Гавре. От смотрителя Дома добра не ускользнуло прикрываемое долгом доброносца неистовое чувство Сирано, влекущее его к женщине, вчера еще ему неизвестной. И герцог с тревогой провожал его взглядом, стоя в рыцарском зале, когда Сирано выезжал из ворот.

Новый особняк, названный Лаурой в Сен-Жерменском предместье Парижа, Сирано нашел без труда, подъехав к нему одновременно с подводой, груженной

роскошной мебелью. На ней виднелись упакованные атласные кресла с гнутыми ножками и закругленными спинками и зеркала в золоченых рамах, переложенные соломой. Все это начали сгружать с криками и руганью, пока Сирано привязывал коня к решетке.

Обгоняя слуг, тащивших поклажу, Сирано вошел в вестибюль, показавшийся ему совершенно нежилым из-за сваленных там вещей, часть которых только что привезли.

К гостю вышел угрюмый монах, судя по капюшону за его спиной, не из числа мавристов (конгрегации св. Мавра, ордена бенедиктинцев, с центром в этом предместье Парижа), а капуцин.

Смерив Сирано недружелюбным взглядом, он молчаливым жестом пригласил его следовать за собой.

Они прошли анфиладой еще не обставленных комнат.

На пороге одной из них им встретилась отвратительная старуха с провалившимся носом.

Гнусавым голосом она спросила:

— Чего сказать-то Лауре?

Она не назвала Лауру даже баронессой, удивив этим и раздражив Сирано. Он подчеркнуто произнес:

— Доложи, любезная, баронессе Лауре де Тассили, что по ее приглашению приехал засвидетельствовать ей свое почтение Савиньон Сирано де Бержерак.

Ведьма, видимо, вкусившая когда-то и сладость и горечь разврата, забормотала, глупо играя словами:

— Почтение... почтение... под чтение... пот чтения... Врешь не врешь — платья не сошьешь... — И ушла.

Сирано остался в гостиной, где ковер еще не постлан был на пол, скатанный валиком у дивана, рассчитанного на интимную беседу, представляя собой два повернутых друг к другу кресла с одной общей ручкой.

Сирано взволнованно ждал появления хозяйки, заранее предвкушая теплый прием, который она окажет ему.

Но все получилось наоборот (словно на Солярии!). Кто-то глухо закашлял за дверью, потом все замолкло.

Лаура показалась в дверях, сделав к Сирано несколько замедленных шагов. Ее удивительно бледное теперь лицо казалось не то холодным, не то усталым, не то надменным. Сирано невольно вспомнил о грандецце, о которой столько слышал, напыщенном величии, свойственном испанским грандам.

— Ах, это вы, поэт, застали мой особняк неодетым? — разочарованно произнесла Лаура. — Что же вы не поторопились захватить с собой своего старичка в кружевах? Как же вы рискнули приехать без него?

Сирано не верил ушам. Не она ли просила приехать его одного с посвященным ей сонетом? Или это игра скрывающейся солярессы?

Лаура пожала плечами, указав гостю на замеченный им диван.

Сидя на серебристом атласе, Сирано всматривался в так знакомое и вместе с тем совершенно чужое лицо Лауры, стараясь узнать свою Эльду.

Конечно, сходство с ней ощущалось, поскольку Сирано страстно этого желал. Если бы не болезненная бледность и блеск глаз, лицо Лауры было бы вполне неземным, но... быть может, соляресса намеренно сделала эти признаки, чтобы не отличаться от людей, будучи слишком прекрасной для них?!

Сирано не знал, с чего начать. Лаура молчала и никак не шла ему навстречу, смотря на него изучающим взглядом.

«Нет! Она не только не Эльда, она и не Лаура, какой была вчера!» — подумал Сирано и решился выяснить все сразу:

— «Долго так длилося утро...» — начал он на древнегреческом языке строчку из «Илиады» Гомера, которую прочитала ему Эльда при их первой встрече на Солярии.

— «...и день возрастал светоносный!» — к величайшей радости Сирано, закончила за него Лаура.

Сирано уже готов был броситься к ней, овладеть ее маленькими ладонями, как всегда делал на Солярии, но она уже по-французски и совсем другим тоном добавила:

— Вот не гадала, что вы можете по-эллински. Меня обучал так капеллан в Новой Испании, когда мой покойный отец дон Альварес де Гарсиа дель Пополо Валенсе был там вице-королем.

Надменный тон, каким это было сказано, и упоминание имени Гарсиа неприятно напомнили Бержераку не вице-короля, а разгромленного под Аррасом испанского генерала и тяжелое свое ранение в лицо.

Ах, если бы услышать теперь так ожидаемые «гекзаметром размеренные строки», какими любила гово-

рить Эльда! Но... вместо них Лаура холодно заметила:

— Какие пышно возвышенные стихи у этих греков. Уж лучше Вергилий. — И она, к величайшему удивлению Сирано, прочитала стихи великого поэта на великолепной латыни, и это совершенно убило Сирано.

Эльда не могла знать латинского языка!

К ужасу своему, Сирано понял, что, не найдя Эльду на Земле, он все же не потерял влечения к непонятной загадочной Лауре.

Но ему хотелось теперь увидеть ее такой, какой она была вчера, и он сказал:

— Ваш танец с кастаньетами поистине достоин королей.

Лаура загадочно усмехнулась.

Через гостиную прошла омерзительная старуха, поджавши запавшие губы.

— Как вы терпите, баронесса, подле себя такое уродство? — не выдержал Сирано.

— Ах, это Марта из Пфальца! Я ей речью обязана, — непонятно сказала Лаура и приложила палец к губам. Потом ответила гостю: — Танец? Вчера имелось другое настроение.

Она говорила не только с акцентом, но и не совсем правильно.

Они помолчали.

В гостиную вошел мрачный капуцин и остановился у двери.

— Это мой духовник, отец Витторио. Пора идти молиться за упокой души мужа.

— Когда же, баронесса, будет у вас другое настроение?

Лаура пожала плечами:

— Не знаю, может быть, всегда не будет. Или никогда.

Сирано, покраснев от стыда перед самим собой, встал:

— Сожалею, сударыня, что, неверно поняв вас вчера, так некстати явился сюда явно не вовремя.

— Нет, отчего же, — вдруг переменилась Лаура. — Вы нужны, так же, как и ваш толстячок, и особенно его светлость герцог д'Ашперон. Надо помогать сделать мой салон модным в Париже.

Теперь Сирано побледнел. Так вот зачем он нужен капризной красавице, к несчастью, так похожей на его мечту!

— Я позову вас, господин поэт, как только закончу туалет своего особняка. Позову вас, и непременно не одного, — утешила она его, словно он только и мечтал видеть ее при посторонних.

Или все это тонко рассчитанное кокетство?

Как бы то ни было, но Сирано возвращался в замок д'Ашперона совершенно расстроенный. Он готов был рвать на себе камзол, где на груди хранился ненужный сонет, а в него была вложена частичка его самого!

Зачем не Эльду, не Лауру-пламя, а Лауру-холод встретил он сегодня себе на беду! Уезжая, он ничего не видел вокруг.

Упав в отведенной ему комнате на кровать, зарывшись лицом в подушку, разметав по ней волосы, бедный Сирано скрежетал зубами, стараясь найти в себе силы побороть гложущее его чувство, на которое он не имел права, дав клятву доброносцам, и которое никому не было нужно!

Искрометный испанский танец с кастаньетами едва ли мог исполняться светской дамой при дворе католического короля. Недаром она так усмехнулась. Разве что в дикой Новой Испании?

И Сирано снова и снова вспоминал танцовщицу, обжигавшую зрителей как румянцем, так и движением, грациозную, вкрадчивую и неистовую. Лучше бы никогда не видеть ее, не искать в ней благородную Эльду с ее ласковостью и мудростью. Но Лаура, заслоняя собой образ Эльды, стояла перед его глазами.

Если он мог видеть в горячечном бреду во всех деталях межзвездное путешествие, зримо ощущать инопланетную обстановку, полюбить чутких, справедливых соляриев, то как ему теперь избавиться от нового наваждения, уже не в бреду, не во сне, а наяву? Видно, не напрасно он, так жаждавший любви, писал когда-то в своем давнем сонете:

Хочу сраженным быть не сталью,
А приоткрытою вуалью.

Она танцевала без мантильи... Он не обнажил клинка...

И поэтическая мысль ожгла Сирано.

Вскочив с кровати, он бросился к столу, сломал одно гусиное перо, схватил другое и стал писать сам собой родившийся сонет.

КИНЖАЛ ЛЮБВИ

Брильянтами сверкают ножны,
Сияют звезды и кресты.
Казалось бы, ослепнуть можно
От переливной красоты.

Объятьем жарким с лаской нежной
Ладонь сжимает рукоять.
В резьбе на кости белоснежной
Могу ли счастье угадать?

Но вместо радости страданья
Сулит стальное острие.
Им раненный, плачу вам дань я
И сердце отдаю свое!

Меня к себе ты позови
И обнажи кинжал любви!

Едва закончил Сирано свое творение, как раздался стук в дверь. И в комнате вновь появился герцог д'Ашперон.

Заметив свежую рукопись стихов, он спросил:

— Новый памфлет против Мазарини?

Смущенный Сирано вскочил со стула, предлагая его герцогу.

— О нет, ваша светлость. Это дань настроению.

— К сожалению, — продолжал герцог, опускаясь на предложенный стул, — я вынужден испортить вам его, явясь сюда гонцом вестей печальных.

Сирано насторожился.

— Скончался наш великий Вершитель Добра, который с детства знал вас в Мовьере, — объявил герцог.

— Как? Возможно ли? Наш кюре?

— Да, брат мой, он, скромный приходской священник, но Истинный Служитель Добра, а не просто церкви. Тяжелый недуг унес его от нас. Долг доброносцев почтить его прах при погребении, но, к сожалению, мое появление там выдаст наше тайное общество с головой, ибо до того меня в Мовьере не видели и мое присутствие там будет истолковано как принадлежность вместе с покойным к одному сообществу, нетрудно будет догадаться, тайному... со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые не замедлит низринуть на доброносцев враг добра кардинал Мазарини.

— Я понял вас, ваша светлость. Долг доброносцев смогут отдать от их имени те люди, которые знали кю-

ре при жизни в Мовьере, будучи там людьми не новыми.

— Именно так, брат мой. И с таким поручением от имени нашего тайного общества я и пришел к вам.

— Я тотчас отправлюсь в Мовьер, где найду еще одного члена нашего общества.

— Николя Лебре? Я рассчитывал на это. Мой дар, который я вручу вам, вы передадите тем беднякам, которым всегда помогал на правах кюре наш Вершитель Добра.

И вот по дороге вдоль извилистой Сены, затененной купами деревьев, ехал в родной Мовьер Савиньон Сирано де Бержерак. Когда-то в противоположном направлении проезжал здесь в Париж, чтобы завоевать его, удачливый герой, мечтавший о мушкетерском плаще, ныне состоящий при малолетнем короле капитаном отряда мушкетеров.

В том месте, где в детстве Савиньон и Кола ловили рыбу и за ними наблюдал будущий мушкетер, теперь через Сену был переброшен мост, и Сирано мог проехать по нему прямо в деревню Мовьер, не заезжая в поместье, прежде принадлежавшее его отцу.

Воспоминание о тех временах, о пожаре шато отца, из которого Савиньон вынес на руках сестренку, а отец — мать, всколыхнули чувства Сирано.

И тем горше было ему снова думать о разрыве с отцом, когда после ранения под Аррасом он пришел в отчий дом. Отец, неудержимый в гневе и упрямстве, был разъярен неудачами никудышного, как он считал, сына, не пожелавшего стать по примеру старшего брата аббатом. И он, скупец и деспот, не мог простить ему своих трат на его экипировку при отправке в отряд гасконцев капитана Карбон-де-Костель-Жалу по приказу его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье. И вместо военной добычи, золота и парчи, чинов и наград сын явился с изуродованным и без того безобразным лицом, без связей, с дурной славой драчуна, а главное, без всяких доходов. Отец отказал Савиньону в приюте, не позволил даже увидеться с матерью (сестра из-за отца уже постриглась в монахини), а брат Жозеф торжествующе присутствовал при изгнании Савиньона из дома с отказом ему в какой-нибудь денежной помощи, передаваемой отныне полностью ханже Жозефу.

Тогда-то Савиньон, познав весь холод одиночества, и решился идти к доброносцам, чтобы искоренять зло, воплощение которого видел и в отце.

Вот и сейчас ему не с кем было поделиться своим горем утраты первого своего учителя, кюре. Некому было и поведать тайну овладевшей им страсти к Лауре-пламя.

Оставался только Кола Лебре, но разве он поймет все, слишком расчетливый в жизни, каким только и может быть деревенский лавочник, но все-таки это был его первый друг, и Сирано завернул по старой знакомой деревенской улочке к старенькой лавке.

Выскочивший навстречу всаднику Кола Лебре был вне себя от радости. Он столько времени ничего не слышал о Сирано, не знал, жив ли он!

Сирано соскочил с коня и сердечно обнял верного друга.

Потом лица обоих стали печальными. Их общий учитель, кюре, ушел от них.

Сирано передал Лебре кошелек с золотом, врученный ему герцогом, чтобы Кола раздал его бедным крестьянам.

— Надо это сделать так, чтобы сборщики податей не пронюхали, что у крестьян что-то завелось. Те ведь сами впрягаются в плуги. Купим им лошадей и кое-какой скот, — вслух размышлял Лебре, — и сделаем это от имени почившего кюре.

Потом Лебре спохватился. Приглашая Сирано войти в лавку, он спросил:

— Был ли ты дома, у матери?

Узнав, что Сирано не отлучался из замка герцога, сочиняя памфлеты для «Мазаринады», Лебре снова сделал свое круглое розовое лицо с намечающимися подбородками печальным.

— У меня недобрые вести для тебя, Сави. Ты столько лет не был в Париже. За это время сначала умер твой брат Жозеф.

— Он выхлопотал себе местечко в раю, — заметил Савиньон.

— А недавно скончался и твой отец. Мать в отчаянии, она боится, что остаток семейного имущества растащат, если не появишься ты, могущий взять под опеку и мать, и младшего брата.

Сирано нахмурился.

— Как бы ни относился ко мне отец, я ценю его за

то, что он всю жизнь любил мою мать, хотя она и натерпелась от него. К матери я приду, как только договорюсь с герцогом, что я оставлю службу у него. Но как умер отец?

— Я знаю только, что перед смертью он приказал надеть на себя шляпу. Так он и умер в шляпе, в которой стоял, ее не снявши, перед королем во время приема освобожденного тобой Кампанеллы.

— Мир праху отца, он был рабом прошлого, которое достаточно сурово отнеслось к нему. В своей последней минуте он отразил и самого себя, и ушедшие времена.

На скромном деревенском кладбище с покосившимися надгробиями хоронить своего доброго кюре пришли все крестьяне деревни с детьми и даже жившие после кончины Кампанеллы в новом шато господа. Они покосились на Сирано, о котором, конечно, слышали, но который не засвидетельствовал им почтения.

Новый кюре, заблаговременно присланный помощником старого, истовый католик, мечтающий о епископской митре, шумно служил на кладбище последнюю для старого кюре церковную службу. Мальчики-служки в белых одеяниях старательно помогали ему. Толпящиеся крестьяне кланялись и утирали слезы.

Сирано и Лебре стояли в стороне, мысленно вспоминая те клятвы, которые принимал при их вступлении в тайное общество доброносцев Вершитель Добра, великий среди тайно знавших его, и любимый простым деревенским людом, не подозревавшим, кем он был в действительности.

Прямо с кладбища Сирано поехал к матери.

Он надеялся, что заботы о родных заслонят зародившуюся в нем страсть к загадочной Лауре.

Но он ошибся.

Ни материнские слезы при виде живого вернувшегося сына, о котором она и думать боялась, ни радость подростка при виде блистательного, как ему казалось, старшего брата в «богатом камзоле» со шпагой на боку, не могли затмить колдовского образа Лауры-пламя.

Поэтому, пообещав, что он скоро переедет к матери, оставив службу у герцога д'Ашперона, Сирано опять помчался в замок в надежде, что его ждет приглашение к баронессе Лауре де Тассили.

Но Лаура не давала о себе вестей.

Глава пятая

## СЕРДЦА ЖАР

*В чем счастье любви? Во взаимности?*

Из японской поэзии

Шли дни за днями, а Сирано не покидал герцога д'Ашперона, не переезжал к матери, тщетно ожидая зова Лауры.

Разгульная жизнь вельмож Фронды продолжалась. По-прежнему бражничали они на пирах, обжираясь и распутничая, по-прежнему никто из них не заботился о простолюдинах и крестьянах, с которых прежде всего драли подати и Мазарини «для короля», и церковь для папы, владетельные сеньоры для себя, а теперь еще и Фронда «во имя служения королю», все одинаково нуждаясь в средствах.

Процветали и великосветские салоны Фронды. Сирано получал приглашения на званые вечера и к герцогине де Шеврез, и к принцессе Монпансье, но всякий раз находил предлог отказаться, хотя, быть может, мог там встретить Лауру.

Но нет! Он гордо желал увидеть ее в знакомом особняке, непременно одну, как она сама предложила ему волнующим шепотом у графини де Ла Морлиер.

Однако вестей от баронессы де Тассили все не было!

Сирано не находил себе места, но гордость не позволяла ему искать салонной встречи с Лаурой.

Ноде, часто навещая его, только покачивал головой.

По его настоянию Сирано задумал трагедию «Смерть Агриппы», поставить которую на сцене пообещал помочь деньгами герцог д'Ашперон. Без помощи мецената об успехе и мечтать не приходилось, хотя сцена в ту пору, когда и газет-то не было, служила всенародным рупором, и пьесы играли повсюду, порой без актеров, своими силами и во дворцах, и в замках, даже в деревенских сараях. Недаром сам Ришелье сочинял в политических целях свои комедии.

Сирано де Бержерак знал об удачах модных тогда Корнеля и былого своего друга по занятиям с Гассенди Жана Поклена, взявшего себе сценическое имя Мольера. Беспечно уверенный в себе, Бержерак намеревался

не уступить им в сценическом искусстве, хотя имел за плечами лишь юношескую комедию «Проученный педант» и скандальную славу ее провала, вызванного гневом церкви. Остерегаясь теперь этого, он выбрал события столетней давности, рассчитывая при показе их бичевать невежество современной церкви, бесконечно далекой от истинной науки, ибо попы не способны ее понять!

Трагедия обещала быть крайне острой, но Сирано надеялся приобрести после ее постановки славу не меньшую, чем принесла ему острая шпага, ржавеющая теперь в ножнах.

Задумывался он и об осмеянии современного ему зла и нашел себе единомышленника в лице того же Мольера, с которым и поделился наброском едко-шутливых сцен, названных им «Проделки Скапена»*. Былых друзей вновь объединило общее неприятие пороков современности и смелость их осуждения.

Но все эти замыслы Сирано потускнели, едва герцог передал ему письменное приглашение на твердой глянцевой бумаге с виньетками: «Баронесса Лаура де Тассили обращается с покорнейшей просьбой к герцогу д'Ашперону, поэту Сирано де Бержераку и писателю Ноде почтить своим посещением ее особняк в Сен-Жерменском предместье во второй вторник августа текущего года за два часа до захода солнца, заранее извинив за скромность предлагаемого вечера».

Это означало пышный ужин и всяческие развлечения.

Сирано уже ни о чем не мог думать и снова отложил поездку к матери, которая горячо ждала сына, не понимая причин его задержки.

Да и сам Сирано не мог объяснить собственных действий, он просто не в состоянии был поступить иначе.

С самого утра долгожданного вторника он занялся туалетом, чего с ним никогда не случалось, начав с великолепных своих волос, уложив их спадающими кудрями на плечи, подстриг усики, начисто выбрил подбородок и долго разглядывал в зеркало лоб над переносицей, пытаясь вспомнить, прикладывали ли к нему индейцы свои снадобья, пока он болел, и не потому ли такая гладкая у него там кожа? Потом стал примерять нарядные костюмы, которыми снабдил герцог своего

* С согласия Сирано они были поставлены на сцене под именем Мольера. *(Примеч. авт.)*

поэта; затем, предвидя возможное желание баронессы, старательно переписал на лучшей бумаге сочиненный им еще после их первой встречи сонет, который, как он считал, передавал всю глубину и пылкость его чувств.

Взволнованно расхаживая по комнате, Сирано не мог дождаться Ноде, чтобы вместе с ним отправиться к герцогу, давшему согласие ехать к баронессе, сделав исключение, ради любимого поэта, поскольку других приглашений не принимал.

И вот к назначенному времени карета, запряженная четверкой вороных коней попарно цугом, подкатила под свод главного подъезда замка.

Седовласый герцог был одет скромнее всех. Если Сирано выглядел молодым щеголем, то Ноде снова утопал в своих брюссельских кружевах, весело поблескивая глазами-бусинками.

— Обожаю званые вечера у прелестных дам, ваша светлость, — оправдывался он перед критически оглядевшим его величественным герцогом. — Мужчина, право же, должен хотя бы выглядеть пышно, если лишен павлиньего хвоста.

Карета тронулась к Сен-Жерменскому предместью. Все время пути три доброносца молчали.

Кто ведает, о чем думали герцог, новый Вершитель Добра тайного общества, и писатель Ноде, мечтавший описать историю освобождения Кампанеллы, но у Сирано де Бержерака в душе бушевали противоречивые чувства. Радость предстоящей встречи омрачалась угрызениями совести. Он проклинал себя, стараясь разобраться в самом себе.

Что он за человек, потомок «богов» или «соляриев», ученик Демония Сократа, казалось бы, способный на подвижничество?

Так ли это, хотя он и рисковал собой, вызволяя Кампанеллу, хотя и уверовал твердо в его коммунистические принципы и видел их воплощенными на Солярии или воочию, или в горячечном бреду, быть может, под влиянием рассказов Тристана или Отца «Города Солнца».

Да, он подписал кровью клятву доброносцев, но отказался ли он во имя добра от всех мирских страстей? Зачем он ищет встречи с пламенной женщиной, способной сжечь его? Он, воитель против клокочущей пустоты, сам готов оступиться в эту пропасть. Не он ли забыл свой сыновний долг и не оказывает помощи матери?

Какое может он найти у самого себя, строжайшего из всех судей, оправдание?

С горечью вспомнилось, как после свидания с кардиналом Ришелье он размышлял о своих успехах, оценив их всего лишь как удачи неудачника.

Что ждет его впереди? Неудачная удача?

Поистине, бывают минуты, когда человек теряет самого себя. Именно их и переживал под тревожно предупреждающий стук колес Сирано, готовый выпрыгнуть из кареты, но остававшийся в ней.

Впрочем, может быть, потому, что сидел там рядом с герцогом, теперешним Вершителем Добра их тайного общества, и, пока сопровождает его, как состоящий при нем поэт, не нарушает своей клятвы?

Этот довод помог Сирано заглушить его терзания. О том, что ждет его после встречи с Лаурой-пламя, он думать боялся, хотя страстно жаждал этого, чем и обрек себя на все последующее.

Однако приближался он к особняку с твердо принятым намерением заглушить в себе всякое проявление страстей.

Но знакомого особняка он не узнал.

Фасад его был украшен неведомо как успевшими здесь вырасти вьющимися растениями с распустившимися диковинными цветами.

В красочно убранном вестибюле пахнуло запахом роз. Видимо, ковры были щедро умащены розовым маслом, ценящимся дороже золота.

Вместо безобразной старухи гостей приветливыми улыбками встречали миловидные служанки, старавшиеся угадать всякое желание прибывших.

Так же изменились и внутренние комнаты. В каждой был свой аромат заморских благовоний, сочетающийся с цветом обивки изящной и дорогой мебели. Шаги заглушались мягкими персидскими коврами, стены были украшены причудливой бронзой и драгоценной живописью. В углах комнат стояли древние беломраморные скульптуры римлян и греков.

Все говорило о богатстве, щедрости и вкусе хозяйки особняка. Она, яркая, оживленная, счастливая, встречала гостей на пороге знакомой Сирано комнаты, где он виделся с нею последний раз.

Там сидели уже приехавшие в сопровождении своих спутников знатные дамы: герцогиня де Шеврез, величественная, не тускнеющая красавица, спорящая с нею

своей искрящейся молодостью принцесса Монпансье, графиня де Ла Морлиер с неизменным своим крысоподобным чичисбеем, маркизом де Шампань, и какие-то важные вельможи, среди которых выделялась новая пурпурная мантия вновь назначенного кардинала Реца, недавнего парижского архиепископа, и балагурящего среди дам герцога Бюфона, которого Сирано запомнил стоящим на бочке одной из баррикад и произносящим пламенную речь перед толпой.

Баронесса Лаура де Тассили затмила собой всех. Сирано смотрел на нее, чувствуя, как испаряется его твердое намерение не поддаваться страсти.

Прежде всего он заметил, что неестественных румянца или бледности, отличавших Лауру от его Эльды, больше нет.

Но, странно, исчезновение особенностей вовсе не сблизило их облики, а наоборот, сделало их совершенно непохожими, хотя и не менее прекрасными. Сирано смотрел и не верил глазам.

Лаура же, улыбаясь всем, нашла миг, чтобы одним лишь взглядом агатовых глаз сказать Сирано нечто такое, что повергло его в полную растерянность, а она еще и «добила» его окончательно, шепнув:

— Я жду обещанного сонета, мой поэт! И не отпущу вас отсюда раньше, чем взойдет солнце.

— Я готов остановить светило! — ответил ей с поклоном Сирано.

— Смотрите, — погрозила ему пальцем Лаура, — если не солнце, то часы можно останавливать.

И в голосе ее опять прозвучал столь милый акцент и неуловимая неправильность речи.

Вечер у баронессы де Тассили носил несколько фривольный характер. Так, для развлечения гостей в особняк были допущены не только цыгане из кочующего повсюду цыганского табора, но и итальянские комедианты, фокусники и акробаты с обезьянками, к счастью, без медведя, но с украденными детьми, приученными завязывать тело узлом и улыбаться. Все они были одеты в пестрые курточки и войлочные шляпы, «которые якобы не снимались даже перед королем».

Цыганки пели «горячие» песни и плясали под них зажигательные танцы, шелестя вздымавшимися юбками и призывно вибрируя плечами.

Вспоминался танец с кастаньетами Лауры-пламя, но

у себя дома она танцевать не стала, предоставив это цыганкам. Те ушли не сразу, приставая к гостям, чтобы погадать по руке или раскинуть карты.

Лаура спросила Сирано, не хочет ли он узнать свою судьбу?

— Я неисправимый вольнодумец, баронесса, — ответил он. — Не верю ни попам, ни колдунам и не считаю, что жизнь кем-то предопределена. Каждый сам делает свою судьбу.

— О-о! — протянула Лаура. — В таком случае, может быть, не только свою? — И загадочно засмеялась.

Цыганки наконец ушли, но не раньше, чем им «позолотили ручки».

Гости перешли обратно в гостиную, где Бержераку, «самому делающему свою судьбу», привелось пережить неприятные минуты.

Два блистательных гостя, принц Конде и герцог Бюфон с кудрями, не уступающими бержераковским, наперебой стали ухаживать за прекрасной хозяйкой, оказывая ей всевозможные знаки внимания. Она охотно принимала это и смеялась до кашля.

Сирано вспомнил о своем первом посещении великосветского раута, когда он, ощутив вокруг себя «клокочущую пустоту», обрушился на знать сонетом «Ода пустоте».

Стараясь овладеть собой, Сирано примкнул к группе гостей, окруживших герцогиню де Шеврез, которая обращалась к кардиналу Рецу:

— Измена Тюрена, перешедшего на сторону Мазарини, ставит его вне святой католической церкви рядом с вероотступниками, гугенотами.

— Да будет низложен, ваша светлость, такой католический кардинал, как Мазарини, когда нас, кардиналов, призовут в Рим к святейшему престолу, — запальчиво отозвался кардинал Рец.

— Такие слова вашего преосвященства убеждают меня, что не напрасно папа в Риме возвел вас в высший священный сан. Этот Мазарини, подобно ушедшему Ришелье, не брезгует привлечением на свою сторону вероотступников, лишь бы усилить свою власть.

— Такая власть противна богу, ваша светлость, и собранное Фрондой ополчение в 10 тысяч человек под командованием непобедимого принца Конде сумеет доказать это с освященным церковью оружием в руках.

Принц Конде тем временем изощрялся в комплимен-

тах Лауре, стремясь выйти и здесь, как на поле боя, победителем в соперничестве с герцогом Бюфоном.

— Нет жемчужин испанской короны, которая сравнилась бы с сиянием Сен-Жерменского алмаза, обнаруженного нами сегодня здесь, баронесса! — И принц Конде церемонно раскланялся перед Лаурой.

Герцог Бюфон не желал ему уступить.

— Сам вице-король Новой Испании, прославленный генерал дон Альварес де Гарсиа дель Пополо Валенсе, смертью храбрых погибший в бою под Аррасом, воплотил весь блеск своей славы в красоте любимой дочери! — по-испански расшаркался перед испанкой Бюфон.

Та ослепительно улыбнулась в ответ, а Сирано похолодел, страшась верить ушам. Неужели отец Лауры и тот чванливый испанский генерал, с которым ему пришлось свести счеты под Аррасом, припомнив преследование Кампанеллы в Риме, одно лицо! Знает ли Лаура, от чьего удара пал ее отец?

Но Лаура, видимо, ничего не знала. Она мило улыбалась кавалерам, осыпавшим ее комплиментами, и смотрела в сторону Сирано.

— Сколь ни поэтичны ваши слова, доблестные рыцари, но я намереваюсь надеяться, что приглашенный нами поэт не останется у вас в долгу.

И она подошла к Сирано.

— Написан ли вами, мой поэт, заказанный вам моим сердцем сонет, который отразил бы ваше отношение к нему?

— О да, баронесса! — прошептал Сирано.

— Тогда прочтите его всем. У меня на родине не делают секрета из сонетов и серенад. Надеюсь, что дамы Фронды, борясь за свободу, станут понимать меня.

— Читайте, мой друг, читайте, знаю, ведь сонет вами написан, — поддержал Сирано стоявший рядом Ноде, улыбаясь Лауре из своих кружев.

Сирано, тряхнув гривой волос, вышел на середину гостиной.

— «Богине буйных грез», — возвестил он.

Гости зашептались, находя название сонета смелым и интригующим.

Сирано продолжал, как от искр загораясь с каждой строчкой:

Когда ты входишь, солнце меркнет.
Дохнешь — благоуханье роз!

Тебе молюсь в любовной церкви,
Моя богиня буйных грез!

Твой взгляд слепит сверканьем молний,
Твой ум — ключи Добра и Зла!
С тобой я — парус, ветром полный!
Один я — лодка без весла!

Хочу в безумье быть счастливым!
И не гасить страстей своих!
Весенним яростным разливом
Кипеть, бурлить у ног твоих!

Твое лишь имя повторю
И весь дрожу, огнем горю!

Лаура расцвела.

— О, мой поэт заслуживает награды, и пусть его место за нашим столом оказывается рядом с моим.

Принц Конде и герцог Бюфон смотрели на счастливца, готовые растерзать его, но зная, что тот уже не принимает вызовов на поединки, спрятали свои кривые улыбки в усы.

Ноде шепнул Сирано:

— Друг мой, вы превзошли в этом сонете самого себя, но, умоляю вас, будьте осторожны. Мне не нравятся некоторые косые взгляды в вашу сторону.

— Вы испытанный друг, Ноде, благодарю вас, — ответил Сирано.

За ужином вино лилось рекой. Не только спутники прелестных дам, но и сами дамы не уступали им в этом.

Подвыпившая принцесса Монпансье, желая отомстить принцу Конде за расточавшиеся тем комплименты в адрес Лауры, звонко выкрикнула:

В сражении я к пушке встать готова,
Но если бы сонет был мой,
Я без гостей его прослушала бы снова!

— Сама истина глаголет устами младенца или женщины, вкусившей опьянение, — шепнула Лаура Сирано. — А истине надо отплачивать дань. Не так ли? — И она подлила в бокал Сирано вина.

— Вино, клянусь вам, баронесса, подобно мышьяку, которым люди травят сами себя.

— О-о! Но это же испанское вино из погребов отца! Оно придает смелости в бою и дерзость при свидании с дамой! — И она звонко засмеялась, потом не без лукавства спросила: — И вы не хотите, чтобы я вас отравливала? Нет, не мышьяком, конечно!

Сирано сам не знал, что отвечал.

В особняке в Сен-Жерменском предместье в этот вечер не осталось места для салонной чопорности, баронесса собственным примером общения с Сирано освободила гостей от всех светских условностей. Ведь это было во времена Фронды, когда слово «свобода» использовалась каждым по собственному усмотрению. И после ужина гости веселились напропалую.

Герцог д'Ашперон, явно недовольный атмосферой, в которой оказался, сделал знак Сирано и Ноде о своем намерении уехать.

Баронесса Лаура, перехватив сигнал, превратилась в разъяренную тигрицу, у которой хотят отнять добычу.

— Ваша светлость, — обратилась она к д'Ашперону, — боюсь оказаться застенчиво-дерзкой, но в моем доме, как и в вашем замке, дверь для уезжающих открывается только после моего пожелания.

Герцог церемонно поклонился:

— Может быть, вы сделаете исключение, баронесса, для людей преклонного возраста и прикажете все-таки «поднять мост через ров»?

— Конечно, ваша светлость, если вы признаете, что не все, с вами приехавшие, успели состариться.

— Пусть паролем на выход будет наша седина, — заключил герцог, откланиваясь, беря под руку Ноде и оглядываясь на Сирано.

Сирано застыл, колеблясь. Сомнения снова охватили его, но колдовская близость Лауры лишила его воли и ясности ума. Он знал, что не должен, не может остаться... и все-таки остался!

Они вместе с баронессой провожали в конце вечера гостей, с понимающими улыбками прощавшихся с ними.

Под утро уже пешком, без кареты, возвращался Сирано в Париж, переживая минуты познанного счастья. Ему хотелось петь, кричать от радости, временами переходить на бег, словно спасаясь от кого-то. Ему казалось, что бочка водовоза, выехавшего поутру развозить воду по домам парижан, катится впереди сама собой (лошади из-за бочки не было видно), и он готов был вообразить, что бочка и есть лошадь, едущая в самокатящейся карете.

Все встречные улыбались ему, как вчера итальянские комедианты и цыганки, как сама Лаура.

Он был бы беспечно счастлив, если бы не вспоминал сказанные ему Лаурой загадочные слова:

— Вы — мое божество, Бержерак! Если у нас будет ребенок, он будет сыном неба и от него пойдут гиганты. Я правильно вспомнила Библию?

Что это? Опять совпадение, наваждение, предупреждение?

«Нет! Это просто вершина счастья! — бездумно обрывал сам себя Сирано. — Как бы то ни было, но познанное счастье выше всего на свете!» — И он переходил на шаг вприпрыжку.

Ранние прохожие оглядывались на него.

### Глава шестая

## ХУЖЕ СМЕРТИ

*И хоть мой ужас будет скрыт*
*От осуждающего взора,*
*Но сердце гложет жгучий стыд*
*И боль несмытого позора!*

Сирано де Бержерак

Предвкушая каждую вечернюю встречу с Лаурой, Сирано подолгу просиживал перед зеркалом, стараясь своей внешностью порадовать подругу.

Последнее время его раздражал досадный кашель, мешавший встречам с Лаурой. Непонятно почему, он тревожился. И когда, как обычно, к нему зашел добродушный Ноде, он не постеснялся, правда с шуточкой, показать свой платок со следами крови, сказав:

— Открываются старые раны. Это от избытка счастья.

Ноде отнесся к этому «пустячку» с неоправданной, как показалось Сирано, серьезностью.

— Друг мой, я старше вас и многое успел повидать. Мне бы очень хотелось познакомить вас с чудесным человеком, доктором Пигу, стремящимся, кстати сказать, вступить в наше тайное общество, ибо вся его деятельность посвящена добру.

Сирано не имел ничего против, удивившись лишь поспешности, с какой Ноде сразу же отправился в карете за Пигу. Доктор оказался высоким и худым человеком с длинным лицом и крючковатым носом, словом, ничуть

не напоминающим воплощение добра, каким готов был представить его себе Сирано.

Когда они втроем сидели в одной из комнат замка в ожидании еще не вышедшего из своих покоев герцога, Сирано был неприятно поражен внимательным и сверлящим взглядом долговязого доктора, смотревшего на него во время приступа несносного кашля.

— Господин де Бержерак, — обратился к Сирано доктор Пигу, — я столько слышал о вас, что мне хотелось бы поддерживать с вами самые дружеские отношения.

— Я не вижу препятствий этому, — отозвался Сирано.

— Тогда в качестве первой дружеской услуги позвольте мне серьезно огорчить вас.

— Огорчить? — удивился Сирано.

— Ваш платок испачкан кровью.

— Какой пустяк! Я просто чуть простыл. Если бы вы видели, сколько потерял я крови из-за пронзившей меня насквозь пули, вы бы поняли, что старая рана может открыться.

— Уверяю вас, такой опасности, как сейчас, вы в жизни еще не подвергались.

Сирано насторожился.

— У вас несомненный признак страшной болезни, которой вы заразились от человека столь же несчастного, как и вы, старая рана лишь способствовала этому. Боюсь, вы неосторожно выбирали себе для общения друзей или подруг.

Сирано побледнел.

— Доктор Пигу! Я готов был к дружбе с вами, но... лишь то обстоятельство, что я не вынимаю больше шпаги из ножен, спасает вашу жизнь.

— Спасать надо не мою, а вашу жизнь, дорогой де Бержерак.

Сирано похолодел.

Он столько слышал ужасов о чахотке, которая поражала, делая беспомощными вчера еще могучих людей. В солдатской среде гасконцев презирали этих несчастных «кашлюг», неспособных по-мужски противостоять болезни слабых. Но сейчас он подумал не о себе, а о Лауре. По-иному выглядел ее кашель после танца, то румяное, то бледное лицо и блестевшие глаза.

— Я предлагаю вам, дорогой Бержерак, незамедлительно лечь ко мне в больницу. К сожалению, мы, ле-

кари, пока бессильны против этого злокозненного недуга. Увы, он неизлечим. Однако мы в состоянии, я надеюсь, избежать его скоротечности.

— Скоротечная чахотка? — машинально произнес Сирано. — Я слышал об этом заболевании. Но мне, надеюсь, это не грозит?

— От вашей болезни былые богатыри чахнут, теряют силы, волю, вянут, как сорванные цветы без воды. Я рассказал вам о недугах своих несчастных пациентов потому, что изобрел для их спасения ртутные препараты, способные если не победить тот и другой недуги совсем, то замедлить их развитие. К сожалению, препараты не всеми воспринимаются безболезненно. Поражая источник болезни, который нам неизвестен, мы вместе с тем вынуждены задеть и сам организм. Но тем не менее лечение необходимо, и уже сейчас, — закончил Пигу, остро смотря на Сирано.

— Да, да, доктор! Я признателен вам и скорее всего обращусь к вам за помощью. — Говоря это, Сирано снова думал не столько о себе, сколько о Лауре. — Надеюсь, вы простите, что я оставлю вас с почтенным Ноде, поскольку сам должен спешить.

Доктор понимающе улыбнулся.

— Вы, несомненно, намерены поступить достойно, — заметил он, обмениваясь с Ноде многозначительным взглядом.

Сирано помчался на конюшню, где попросил оседлать своего коня.

Когда он приближался в Сен-Жерменском предместье к заветному особняку, сердце его отчаянно стучало.

Как он скажет своей возлюбленной Лауре, что они оба несчастнейшие люди на Земле? И в своей беде он должен винить ее, ни о чем не подозревающую? А если она возмутится и обвинит, в свою очередь, его? Полно! Кашель и болезненный румянец на ее лице были еще до встречи с ним на вечере у графини де Ла Морлиер, до зажигательного танца там, до памятного первого раута вот в этом особняке!

При виде особняка его неприятно поразили стоящие у решетки, как и в первый его приезд, подводы. Их загружали знакомой Сирано мебелью: атласные кресла с гнутыми ножками и закругленными спинками, зеркала в золоченой оправе.

Что случилось?

Сирано боялся подумать о том, что причина проис-

ходящего кроется в той же самой болезни, которой пугал его доктор Пигу.

В довершение всего он заметил на одной из подвод безобразную старуху Марту с провалившимся носом, которой Лаура якобы обязана почему-то своей речью.

Она увидела его и затряслась в отвратительном смехе.

Сирано не стал заговаривать с ней и бросился к особняку.

Странная перемена произошла в нем за несколько дней его отсутствия. Вьющиеся растения завяли и свисали мертвыми плетьми, как веревки.

Вестибюль был завален принесенной сюда мебелью. Очевидно, хозяйка уезжала.

Спросить было некого. Слуги, таскавшие мебель, недружелюбно поглядывали на Сирано и на вопросы не отвечали.

Он вошел в знакомые комнаты.

Они встретили его пустотой и холодом. Лауры не было!

Тогда он выбежал из особняка, вскочил на коня и пустился догонять подводу с безобразной старухой. Она-то знает!

При виде всадника старуха усмехнулась.

— Где баронесса де Тассили, что с ней? — спросил Сирано, наклоняясь в седле.

Старуха замотала головой и что-то прогнусавила.

Тогда Сирано достал кошелек и бросил в жадно подхватившие его руки.

— Не больна ли баронесса Лаура?

— Лаура-то? А как же... больна... больна! Боль на! Бери кто хочет, что бык, что кочет. — И она противно хихикнула.

— Марта! Если ты не скажешь, что случилось, я тебя проткну шпагой, как индюшку на вертеле.

— Что вы, что вы, ваша светлость! Погостили, только и всего! Надо и честь знать! Знать надо знать, ваша светлость, — гнусаво болтала старуха.

Сирано старался объяснить произошедшее по-своему.

Очевидно, Лаура, как и он сегодня, обнаружила беспощадность своего страшного недуга и в ужасе бежала из Парижа, быть может, чтобы начать лечение. Но почему она даже не предупредила его, своего возлюбленного? Конечно, растерялась!

Спрашивать было не у кого.

В полном отчаянии Сирано помчался в Париж, сам не зная куда, и опомнился только у знакомого трактира в Латинском квартале. Сам Великий Случай привел его сюда, чтобы залить горе вином!

Запах плохой кухни, разлитого вина и неопрятных посетителей охватил Сирано, едва он вошел в таверну, где не бывал несколько лет.

Но тем не менее кто-то из давних знакомых позвал его к столу. Сирано не без труда узнал старого капитана, с которым когда-то дрался на дуэли, а потом подружился в трактире и даже обучал своим приемам вышибания шпаги из рук противника.

— Учитель! Мой благородный и несравненный учитель! — кричал старый вояка, вскочив со своего места и кинувшись к Сирано с раскрытыми объятиями.

Сирано осторожно отстранился, но все-таки сел на предложенное за столиком место.

— Как я рад тебя снова увидеть! — продолжал капитан. — А я, признаться, думал, что тебя укокошили таки в одной из ста твоих дуэлей, хотя слава о тебе густая, как это вино, которое непременно тебе придется отведать в знак давней дружбы!

Сирано молча принялся пить кружку за кружкой. Капитан едва успевал ему подливать, правда, и сам от него не отставая. Однако, начав еще до приезда Сирано, он быстро захмелел.

— Когда я дрался на дуэли с маршалом... да я, наверное, тебе об этом рассказывал... я всем рассказываю...

— С генералиссимусом, господин барон, — мрачно поправил Сирано.

— Э, нет! Чего нет, того нет! Капитан де Ловелет никогда не привирает, ему и без этого есть о чем рассказать!

И он принялся пьяным голосом расписывать свои подвиги во время последней нескончаемой войны. Когда он заговорил о том, что принимал участие в операции под Аррасом, Сирано насторожился, решив одернуть болтуна, если тот заврется.

— Ты знаешь, дружище Сирано, наши французские войска осадили Аррас, а испанцы под командованием инфанта, в свою очередь, окружили осаждающих.

— Еще бы не знать! — хмуро подтвердил Сирано.

— Какие-то смельчаки, кажется, гасконцы, отчаянные головы, прорвали окружение, разгромив отряд генерала Гарсиа, да и его самого прикончили, — продолжал, выкатив глаза, барон де Ловелет. — Ну а мы вместе с подоспевшим войском союзного нам курфюрста ударили по испанцам с тылу! Вот была каша, похлебка, бульон! Поверишь ли, мне, бывалому солдату, такой потехи видеть не приходилось!

— Да, жаркое было дело, — неохотно подтвердил Сирано, вспоминая, что тогда погиб отец Лауры, которая, к счастью, не знает, от чьей руки.

— У этих испанцев оказался богатый обоз и даже с девочками! Мы с немцами и захватили его как общую добычу. Но, знаешь, эти девочки куда опаснее самих испанцев. От тех хоть знаешь, что получишь. А у этих... я всегда берегусь! Был у меня один случай в Тулоне! Пламень-девка! Сойти с ума можно! Я уже заплатил за ее любовь...

— Знаю, знаю, барон, — прервал Сирано. — Имел честь слышать.

— Как? Я рассказывал еще при первой встрече? А какая была встреча! Прекрасная встреча! Какому ты приему меня обучил, век не забуду! Готов бочку вина вместе выпить! Словом, я, который самого черта в бою не боится, девок страшусь. И тебе советую... А как нам быть, изголодавшимся солдатам? Как, я тебя спрашиваю? Я тебе скажу. Нам отчаянно повезло тогда! Пей! Такое слушать надо, крепко запивая. Понимаешь? Карета! А в ней две цыпочки! Обе красавицы! И из благородных! Немцы первыми захватили их. Они, признаться тебе, все-таки подлые собаки, эти пфальцы и прочее... Когда старшая упиралась, применили ножички у дочки на глазах. Ну, груди там у старшей порезали или отрезали. Они, немцы, любители такой кулинарии. Старшая потом не выдержала, прикончила себя кинжалом. Спрятан у нее был. Что ни говори, испанка! А дочь припугнули. Тут, признаться, и я не оплошал тоже. И про меня вспомнили, как-никак капитан! Страху-то нет! Не заразишься. Дамы-то знатные. Зря генерал испанский свое семейство в обозе таскал. Вот и дотаскался!

Сирано побледнел.

— Имя! Как звали генерала?

— Да откуда я знаю! В этих случаях я у девочек имени не спрашиваю. Пей, а то не дослушаешь.

Сирано вскочил.

— И вы, барон, считаете себя благородным человеком?

— А что? — удивился капитан. — Женщины всегда были военной добычей. Мы еще две бочки превосходного испанского вина захватили. Что ж мы, пить его не должны были?

Сирано опрокинул на стол недопитую кружку, вино растеклось, как лужа крови, стало стекать на пол.

— Что случилось с младшей?

— Ничего особенного. Жива осталась. Немцы даже отправили ее в обоз. Там у них был «цех веселых женщин». Их фельдфебелица ее всему, чему надо, обучила. В этом цехе у них все на военный лад, строго! Фельдфебелица — зверь в юбке! Я, признаться, вздумал отыскать ее, повидать еще разок. Уж больно хороша. Да фельдфебелица с проваленным носом напугала меня. С тоски ли, от унижения или еще от чего вроде заболела она чем-то. Ну я и махнул рукой. Побоялся заразиться.

Сирано стало душно. Не попрощавшись со старым воякой-пьяницей, он вышел на улицу.

Все было мрачно вокруг. Хмурые злые лица, затянутое тучами небо, накрапывал дождь. Сирано воспринимал это как отвечающее состоянию его души.

Он ехал шагом, свесившись с седла на один бок. Горькие мысли терзали его.

Какие ужасные совпадения! Или это не случайность? Что, если Лаура, дочь убитого им генерала де Гарсиа, намеренно отыскала его, Сирано де Бержерака, чтобы отомстить ему лютой местью за отца? Заразить чахоткой!

Но как она могла оказаться в Париже, блистая роскошью, под именем баронессы де Тассили, и быть принятой в свете? Какая рука поддерживала и направляла ее?

Мысль, что он стал жертвой мести, ожгла Сирано. Неужели женщине свойственно такое коварство — использовать для мести любовь? Превратить прославленного рубаку в чахлое существо, жалкое и презренное!

Он передернул плечами. Нет! Не может этого быть! Отец Лауры пал от шпаги Сирано в бою, за это не мстят так коварно!

Месть любовью! Месть, осуществленная посред-

ством Любви? Что может быть ужаснее? Разве что только последствия этого притворного чувства!

Совершенно удрученный, вернулся Сирано в замок д'Ашперона. Соскочив с коня и отдав поводья слуге, он поднялся по лестнице.

Его ждал с многообещающим видом Ноде.

— Друг мой, — встретил он Сирано. — Верьте, что я не оставлю вас в беде. Но прежде, чем вы согласитесь, чтобы я отвез вас в больницу к нашему другу Пигу, я должен вам сообщить нечто неожиданное.

— Что именно? — мрачно осведомился Сирано.

— Мне удалось установить, несчастный друг мой, что в книгах знатных фамилий барон де Тассили не числится. Очевидно, его никогда не было, ибо, судя по названию его имений «Тассили», их надо искать где-то в пустынях Африки. Словом, ни в каких сражениях он не участвовал, в бою не погибал и, надо думать, никогда не был женат на женщине, получившей в Париже прозвище Лаура-пламя.

Ошеломленный Сирано сел на подвернувшийся стул.

— Вы убиваете меня, Ноде, хотя я почти ожидал этого. Но дочь вице-короля Новой Испании дона Альвареса де Гарсиа дель Пополо Валенсе Лаура существует? Или она призрак?

— Вам виднее, призрак она или нет. Но в парижский свет эта дама проникла под явно вымышленным именем баронессы де Тассили, ошеломляя своей красотой и богатством.

— Но откуда у нее это богатство, Ноде? Особняк, карета, лошади, лакеи! Роскошные приемы! — воскликнул Сирано. — Ей оставил такие средства отец?

— Не думаю. Едва ли ей что-либо перепало от отца, поскольку ее сочли погибшей вместе с матерью после разгрома испанских войск под Аррасом, где она оказалась в обозе. Имущество отца растащили, как шакалы, испанские родственники.

— Так откуда же у нее оказались такие средства, скажите мне, Ноде? Откуда она могла их взять, да и зачем ей было их тратить попусту?

— Это еще вопрос, «попусту» ли! Я вам сообщаю, друг мой, лишь то, что мне удалось установить. А это, надо думать, далеко не все! Но мне известно, что все роскошное убранство особняка, где мы с вами побывали, как и сам особняк псевдобаронессы де Тассили принадлежит...

Сирано испытующе смотрел на Ноде.

— ...кардиналу Мазарини. Это он не пожалел ни денег, ни выдумки, чтобы рассчитаться с вами за памфлеты «Мазаринады». Наградить вас бесславной чахлостью, смять, унизить, сделать бессильным. Такова кардинальская месть, мой друг. Должно быть, он отыскал несчастную чахоточную Лауру в Кёльне и снарядил с ее помощью «миссию мести» в Париже.

Сирано, пошатываясь, совершенно убитый услышанным, направился в свою комнату.

Так вот откуда получил он смертельный удар отравленным кинжалом любви! А ранним утром на столе лежал сонет, последний, как он считал, сонет в жизни несчастного поэта.

ОТЧАЯНИЕ

Вчера лишь радужной зарей
Цветы надежд сулило «Завтра».
Сегодня — горестной порой,
К земле поникнув, вянет астра.

Исхода нет! Все горше гнет!
Взывать о помощи напрасно!
И солнце утром не взойдет,
И все созвездия погаснут!

И хоть мой ужас будет скрыт
От осуждающего взора,
Но сердце гложет жгучий стыд
И боль несмытого позора!

Когда Любовью движет Месть,
Ликует Зло, зарыта Честь!

На следующий день Ноде в карете опечаленного герцога д'Ашперона увез больного Сирано де Бержерака в загородную больницу доктора Пигу.

— Нет! Лучше смерть найти в сраженье, чем чахнуть в горьком сожаленье! — сказал, уезжая, Сирано.

Но именно на этом и строил тонкую свою месть лукавый кардинал.

Горестно закрылась страница жизни былого весельчака, острослова, дуэлянта, которому пригрезился звездный полет к иной планете, где он, может быть, никогда и не был, но на которой он якобы приобщился к вершинам не снившейся его современникам цивилизации. И все эти знания, вероятно, переданные ему его Демо-

нием Тристаном, казалось, останутся сокрытыми в памяти несостоявшегося доброносца Савиньона Сирано де Бержерака, несчастнейшего из людей.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Кардинал Мазарини при всей своей скупости не пожалел даже собственных средств, чтобы собрать достаточно войск и двинуть их на Париж для окончательного разгрома загнившей уже Фронды. Но он не забывал и мелочей. Шпионы кардинала донесли ему, что так называемая баронесса де Тассили, пользовавшаяся в Париже принадлежавшим Мазарини особняком в Сен-Жерменском предместье, выполнив данное ей кардиналом поручение, покинула Париж. Перед отъездом ей была вручена доверенным лицом кардинала оговоренная сумма в золотых монетах и сверх того драгоценности, принадлежавшие жене погибшего под Аррасом генерала дона Альвареса де Гарсиа дель Пополо Валенсе.

Дальнейшая судьба Лауры, а тем более ее лечение от болезни, остановившей на ней выбор Мазарини, его нисколько не интересовали, занятого делами более значимыми, с такой мелочью просто несравнимыми: прежде всего обессиливания Испании с помощью Англии во главе с Кромвелем и возвеличивания при этом Франции, и окончательного сокрушения противостоящей Мазарини Фронды, где, как было известно кардиналу, нет единодушия и торжествуют не какие-то высокие принципы, а разгулявшиеся страсти чванливой знати.

В этих условиях удача мести кардинала зазнавшемуся писаке с помощью «отравленного кинжала любви» лишь на мгновение вызвала улыбку на озабоченном лице кардинала. Впрочем, узнав, что Сирано де Бержерак попал в больницу доктора Пигу, кардинал заметил:

— Теперь надо дать волю злословию *.

Мазарини делал историю Франции и ни в одном из своих дел не стеснялся в выборе средств.

*Конец второй части*

* Это злословье и ввело в заблуждение историков о якобы «дурной» болезни Сирано. *(Прим. авт.)*



# Часть третья

# ФИЛОСОФ

Оптимист — не тот, кто не знал отчаянья, а тот, кто победил его.

А. Н. Скрябин

## Глава первая

## ВОЛЯ СКЕЛЕТА

*Пусть в жизни потерял я все,*
*Подавлен горький стон мой!*
*Пусть дух мой срамом потрясен,*
*Но все же я не сломлен!*

Сирано де Бержерак

Судьба Фронды, по свидетельству историков, решалась в сражении в парижском предместье св. Антония.

Кардинал Мазарини, находясь в Кёльне, сумел собрать достаточно войск и двинул их на Париж. Во главе он поставил Тюрена, сурового и скромного гугенота, отца нового военного искусства, хладнокровного до медлительности, умеющего побеждать более сильного противника малыми силами с помощью хитрых маршей и верно выбранных позиций.

На этот раз ему противостоял всего лишь с ополчением Фронды, меньшим его армии, молодой Людовик II Конде, образец былой рыцарской отваги, беззаветный боец, отважный до безрассудности, считавший, что сра-

жения выигрываются личным примером участия военачальника в схватке.

Король Людовик XIV, уже юноша, наблюдал за сражением с холма, стоя рядом с Тюреном, издали руководившим боем, в то время как королева Анна возносила молитвы за успех Тюрена.

Сам же Тюрен, уверенный и невозмутимый, отдавая дань своему противнику Конде, недавнему сопернику в борьбе за власть во Фронде, говорил, что «покрытый кровью и пылью принц Конде носился по полю сражения с пистолетами в руках, как бог войны Марс». «Я видел не одного, а дюжину Конде», — замечал он не без иронии, имея в виду безуспешность этой рыцарской отваги, побежденной холодным военным расчетом.

Над вытоптанными крестьянскими посевами стоял дым от мушкетных и пистолетных выстрелов, конные сшибались в рукопашной сече, пешие стреляли, били, кололи, рубили друг друга. Зелень местами алела, усеянная телами людей, меньше всего заинтересованных в исходе войны и бездумно отдававших свою кровь и жизни за солдатское жалованье во имя безразличных им приказов крушить все равно какого врага.

За дымовой стеной последнего сражения стоял Париж Фронды, четыре года излучавший молнии язвительных памфлетов «Мазаринады», служа прибежищем противоестественного, лишенного единства союза ненавидящих друг друга сторон: знати, магистрата и народа.

«Колесница междоусобной войны» грохотала, словно катясь по усыпанной камнями дороге.

Жители предместья в ужасе бежали.

Хитроумный Тюрен, тесня ополчение, продвигался вперед.

Со стен неприступной крепости Бастилии вздымались дымки не только мушкетных выстрелов.

Верная своему обещанию, столь же дерзкая, как и обворожительная, принцесса Монпансье, стоя у пушки, сама наводила ее на наступающие королевские войска и подносила огонь к запальному фитилю, торжествующе взвизгивая при каждом ухающем громовом ударе пушечного выстрела и потом восторженно следя за полетом ядра и его падением среди неприятелей. Ядро некоторое время крутилось на земле, прежде чем взорваться, разя окружающих.

И глядя со стен Бастилии на разорванные ее ядра-

ми тела вражеских солдат, которые тоже были французами, принцесса Монпансье ликовала, требуя, чтобы ей подносили все новые и новые ядра.

Но вместо очередного канонира с ядром перед нею предстал запыленный гонец с черным измученным лицом.

— Ваше высочество! Принц Конде прислал меня к вам с известием, что битва в предместье св. Антония проиграна, и, если ему не откроют сейчас ворота Парижа, где он мог бы укрыться, его ждет позор и эшафот!

Принцесса Монпансье всплеснула руками. Дерзкая воительница, она все-таки прежде всего была женщиной, притом неистово влюбленной в своего Конде.

— Где отец? — крикнула она.

Бывший до рождения Людовика XIV престолонаследником, Гастон Орлеанский находился здесь же, в Бастилии.

Он тоже принимал гонца, но не от командующего войсками Фронды Конде, а от его противника Тюрена, вернее, от Мазарини, только что выговорив условия капитуляции, предав при этом всех своих соратников и добившись для себя права почетного удаления в провинцию с сохранением богатств и званий.

Вялый, уже безразличный ко всему, стоял Гастон Орлеанский, сгорбясь, как от непосильной ноши. И вдруг почувствовал запах гари и пороха. Подняв голову, увидел влетевшую к нему дочь, которая бросилась на колени к его ногам.

— Отец мой! Спасите Конде! Я люблю его!

— Но, дитя мое, — протянул руки Гастон, чтобы поднять дочь, — я оговорил милость короля к нашей семье... — продолжал он, не признаваясь, однако, какой ценой он эту милость получил.

Принцесса Монпансье была умна и знала отца, прекрасно поняв все, что не успел или не хотел он сказать.

— Только впустить, а потом тайно выпустить из Парижа Конде! Только это! Я умоляю! Потом я сама готова отдать себя в руки Тюрена!

— Если б Тюрена! — вздохнул Гастон Орлеанский. — Ты забываешь, дочь моя, кто стоит за его гугенотской спиной.

— Король-католик? Я сумею умолить его. Пойду во всем ему навстречу.

— Конечно, король не устоял бы против доводов дамы, но... Мазарини!

— Этот изверг в сутане?

— Увы, не столько король, сколько он войдет в Париж с карающим мечом. Я не могу защитить Конде.

— Я все беру на себя, мой мудрый отец, которому по несомненному праву принадлежит французская корона, поскольку королева Анна со своим немощным супругом слишком долго были бесплодными и «наследник» вполне мог быть сыном не короля, а кардинала! И я знаю, что вы, истинный престолонаследник, лишь из любви к французам не ввергли их в войну за престол!

Принцесса Монпансье отлично знала, как воздействовать на своего тщеславного отца.

— Хорошо, — после мгновенного раздумья произнес Гастон Орлеанский. — Впервые я сожалею, что не правлю Францией как ее законный король. Только из-за угаданного тобой моего желания прекратить междоусобицу я приказываю сдать Париж, ворота которого на миг откроются, чтобы впустить Конде, а потом распахнутся перед королем Людовиком XIV, моим племянником (надеюсь!). И больше я ни о чем знать не хочу!

Гастон Орлеанский действительно больше ничего не хотел знать ни о своих былых соратниках, схваченных людьми Мазарини и брошенных в Бастилию, на стенах которой не остыла еще пушка принцессы Монпансье, ни о верно служившем Гастону, но проигравшем последнее сражение принце Конде.

Но дочь его знала о своем возлюбленном все!

Она встретила его у парижских ворот, когда он спешился с боевого коня и сел в ее карету.

В этой карете со спущенными шторами на окнах бесстрашный рыцарь, обожаемый солдатами за удаль и товарищество в бою, не слишком стесняясь присутствием дамы, снял с себя перепачканный кровью, запыленный костюм и тяжелые ботфорты со шпорами, облачась в приготовленное ему нарядное платье... испанки и дамские туфельки, шитые бисером. Его юное миловидное лицо после поспешного удаления эспаньолки вполне могло сойти за женское, но для надежности принцесса позаботилась о мантилье.

И, промчавшись через весь Париж, принцесса Монпансье вывезла свою «спутницу» в предместье Мовьер. Стража на заставе, уже поставленная там Тюреном, позубоскалила насчет того, что пора бы карать дам за не-

христианские обычаи скрывать смазливые мордашки за чадрами, мантильями и вуалями.

На первом же постоялом дворе, не доезжая Мовьера, с названием «Подкова счастья», прелестную «испанку» ждала приготовленная для нее лошадь с дамским седлом. Довольно неумело усевшись в него, новая амазонка помчалась к границам Фландрии, где предполагала предложить себя в качестве военачальника испанцам.

Тем временем в другие ворота Парижа торжественно вступил юный король Людовик XIV, прошедший школу власти у кардинала Мазарини и намеренный усердным трудом монарха утвердить свое безраздельное могущество, обеспеченное ему стараниями двух кардиналов, Ришелье и Мазарини, что позволит впоследствии королю Солнцу сказать ставшую знаменитой фразу: «Государство — это я!»

Невольным свидетелем скачущей в одиночестве загадочной амазонки стал некий путник, бредущий по той же дороге в Париж, не пожелав заглянуть поблизости в родные места и не оповестив друзей о своем возвращении после долгого вынужденного отсутствия.

Амазонка на всем скаку обернулась на странную фигуру и едва не вывалилась из дамского седла. Что-то знакомое и вместе с тем невероятно непохожее почудилось в одиноком путнике.

Будь это ночью и вблизи кладбища, его можно было принять за призрак, за мертвеца, за скелет, поднявшийся из могилы.

Тоненькие ноги едва несли хилое до нелепости тело с опущенными плечами и поникшей головой. Когда он из уважения к даме снял шляпу, обнажился почти лишенный волос череп.

Конечно же, принц Конде не мог узнать в этом жалком прохожем задорного поэта, лишь мельком увиденного им в салоне некой вскоре исчезнувшей баронессы де Тассили.

Однако это был он, несчастный Сирано де Бержерак, не столько набравшийся здоровья в больнице доктора Пигу, сколько растерявший его там в уплату за избавление от грозивших ему страшных последствий неизлечимого недуга.

Трудно было узнать в этом бредущем «скелете» непобедимого дуэлянта, беспримерного храбреца, сражав-

шегося против ста противников, бесстрашного посланца Франции, вырвавшего из рук испанцев философа Кампанеллу, гасконца, отличившегося в боях под Аррасом, когда его земляки шли в бой с песней Сирано и когда он получил тяжелое ранение в лицо.

Но ртутный препарат медицины с нанесенным им увечьем не шел ни в какое сравнение ни с испанской пулей, сразившей де Бержерака в Риме, ни с острым индейским ножом мачете, который метнул в него своим последним в жизни движением преступный капитан Диего Лопес.

Горестный вид Сирано де Бержерака послужил ему пропуском на заставе. Никому в голову не пришло задержать этого слабого больного человека как опасного врага, отнюдь не заподозрив в нем язвительного памфлетиста, с которым так жаждал расплатиться кардинал Мазарини. Впрочем, пожалуй, уже расплатившийся с ним.

Надо ли говорить о переполнивших материнское сердце чувствах, когда Мадлен-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак увидела своего сына Савиньона.

Она плакала на его груди, но это были материнские слезы одновременно и жалости и радости. Она не могла без слез смотреть на изменившегося сына, которого с младенческих лет преследовала его внешность, она плакала и от счастья, ибо была почти уверена, что исчезнувший так надолго Савиньон, несомненно, погиб, снова ввязавшись в какой-нибудь поединок.

Но он был жив, пусть больной, несчастный, но живой, вернувшийся в родной дом.

— Ах, боже мой, — говорила она, любовно глядя на усталого Савиньона, — ты и не знаешь, какие у нас тут, в Париже, творятся дела. Гастон Орлеанский заточен в провинции вместе с дочерью принцессой Монпансье, кардинал Рец, ты подумай только, — кардинал! — брошен Мазарини, другим кардиналом, в тюрьму! И в Бастилии оказался и герцог Бюфон. А как его любили в народе.

— Знаю, — отозвался Савиньон. — Слышал его на баррикаде.

— Я очень боюсь за тебя. Не был ли ты связан с ними?

— Только как автор памфлетов «Мазаринады».

— Ах, это ужасно! Теперь, когда ты дома, нужно вести себя «не колебля пламени свечи».

— Может быть, совсем не дыша? — не без иронии спросил Сирано.

— Затаиться, затаиться, сынок! Мы спрячем тебя на чердаке, никто не узнает, что ты вернулся. Именно здесь тебя искать не станут.

— Пожалуй, — согласился Сирано.

— Ты должен дать слово матери, что ничего не будешь делать.

— Нет, почему же! Я буду писать.

— О мой бог! Опять памфлеты!

— Нет, трагедию, которую обещал помочь поставить на сцене герцог д'Ашперон. Кстати, что слышно о нем?

— Ничего не слышала о притеснении герцога. Очень уважаемый человек в Париже.

— Немного приду в себя, наведаюсь к нему.

— Нет, нет! Ты не должен показываться на улице, чтобы никто не узнал тебя!

— Я думаю, мало найдется таких, которые смогли бы меня узнать, — горько усмехнулся Савиньон.

— Берегущегося оберегает сам господь бог! Будь горестно к слову сказано, но вспомним скончавшегося нашего деревенского кюре. Он так говорил.

— Я был на его похоронах.

— Какое золотое было сердце!

— Великий Вершитель Добра!

— Именно так: вершитель добра. Как ты хорошо про него сказал.

Беседу матери с сыном прервал поспешный приход монахов из монастыря св. Иеронима, где умер старший брат Савиньона Жозеф.

Это были два сытых монаха с лоснящимися лицами, с узкими губами и выпуклыми глазами, казначей монастыря и его помощник. Они были так похожи друг на друга, что выглядели близнецами, хотя и не состояли в родстве, отличаясь к тому же и возрастом.

— Спаси вас господь! — елейно начал старший. — Мы рады разделить ваше семейное счастье по случаю возвращения блудного сына.

Сирано нахмурился:

— Как вы об этом пронюхали, отец мой?

Младший монах поморщился и произнес укоризненным басом:

— Не следует говорить так о слугах господних, до-

стойный Сирано де Бержерак. Мы с отцом Максимилианом, в отличие от меня, старшим, давно ждем вашего возвращения, о чем нам поведал наш послушник.

— Надеюсь, отцы мои Максимилианы, вы не причисляете безмерное удивление к числу смертных грехов?

— Все безмерное грешно, сын мой, — тоненьким голосом отозвался отец Максимилиан-старший. — Боюсь лишь, что у вас других грехов без меры.

— Тогда, чтобы умерить этот мой «грех удивления», признайтесь, отцы мои Максимилианы, что за причина заставила вас так жадно ждать моего возвращения из дальних стран?

— Говорить об ожидании, к тому же жадном, неуместно, — назидательно поднял палец казначей монастыря, — ибо монастырь наш заинтересован, господин Сирано де Бержерак, чтобы все наследники вашего почившего отца, да примет господь его душу, были в сборе при разделе наследства.

— Наследство? А какое отношение вы к нему имеете?

— Прямое, — гулким басом вставил теперь младший монах, — ибо монастырь наш, причисленный к ордену Иисуса нашего Христа, представляет усопшего в его стенах и постригшегося там Жозефа Сирано де Бержерака, внезапно скончавшегося.

— Мы пришли с миром от имени нашего ордена, господин Савиньон. Мы не хотим доводить дело до рассмотрения в парламенте, — елейно продолжал старший иезуит. — Это будет слишком обременительно для вас. Знаете, какие эти судейские! Им все время надо платить!

— Какое дело? До какого разбирательства в парламенте?

— Мы уповаем, — еще более тоненьким голосом заговорил казначей, — что вы в благости господней, печалясь о потере старшего брата, отдадите монастырю св. Иеронима всю долю братского наследства. Мы уже говорили с вашей почтенной матушкой, но она убедила нас подождать вашего возвращения, и вы видите, мы, как служители господни, пошли ей навстречу, зная о ее безутешном горе.

— Вы, иезуиты, претендуете на наследство человека, умершего раньше отца, — еле сдерживаясь, произнес Савиньон, — не имея притом его волеизъявления!

— Для вас, господин де Бержерак, если вы доста-

точно благочестивы и, надеемся, отреклись от былого вольнодумства, брат ваш всегда должен жить в нашей памяти, и вам надлежит, — поучал старший монах, — делиться с ним всем своим достоянием, как с живым, ибо он жив в думах монастыря, коему надлежит представлять его и после кончины.

— Слушайте, вы, разбойники в рясах! Не думайте, что, запугав мою покорную мать зловещей тенью своего ордена, вы сможете в моем присутствии грабить ее семью!

— Ваш жалкий вид, почтенный господин де Бержерак, — ехидно заметил Максимилиан-старший, — не говорит в пользу того, что господь бог благоволит к вам и простил ваши прегрешения. И потому пристало ли вам, вольнодумцу и противнику церкви, после ниспосланного вам возмездия так говорить с ее служителями?

— Вон отсюда! — заревел Савиньон. — Я дал клятву не вынимать шпаги из ножен, но я отделаю вас обоих шпагой в ножнах, уподобив ее палке! Вон отсюда! Или вы забыли, как я угостил монастырских крыс у костра близ Нельских ворот?

Монахи в страхе вскочили, подбирая сутаны. Вид разгневанного скелета был ужасен. Казалось, выходец с того света грозит им, или, что еще хуже, пособник сатаны!

— Знайте, жадные стервятники, прижившиеся под монастырской крышей, что никогда вам не видеть ни раскаявшегося вольнодумца, ни единого отцовского пистоля. А вот отцовский пистолет вы можете узреть, благо клятва моя распространяется только на шпагу, а не на пистолеты!

«Жадные монастырские крысы», бормоча проклятья и грозя сокрушающим гневом ордена Иисуса против закоренелого атеиста, вновь проявившего себя в своей адской сущности, поспешили убраться из дома де Бержераков, твердо намереваясь, однако, «по-иезуитски» с жестокой справедливостью рассчитаться с безбожником, припомнив ему все его «злодеяния».

Мать восхищенно смотрела на Савиньона:

— Я думаю, что не узнаю тебя, увидев, во что ты превратился. А ты, оказывается, прежний!

— Поверь, матушка, ничто не в состоянии сломить твоего с виду немощного сына! Ничто! Я читал тебе когда-то сонет о том, что терзало меня когда-то в ожи-

дании желанного яда. Сейчас, чтобы понять меня, им отравившегося, выслушай несколько строчек, которые я сочинил по дороге сюда:

Пусть в жизни потерял я все,
Подавлен горький стон мой!
Пусть дух мой срамом потрясен,
Но все же я не сломлен!

— Не сломлен! Не сломлен! — воскликнула мать.

В дверях стоял восхищенный юноша, младший брат Савиньона. Он прибежал при известии о возвращении брата и видел бегство монахов.

### Глава вторая

## ПОДМОСТКИ

*Гениальное — всегда чуждо современникам. Великий физик XX века Макс Планк говорил: «Новые идеи никогда не принимаются. Они или опровергаются, или вымирают их противники».*

Савиньон Сирано де Бержерак, оправившийся заботами матери от пагубных последствий лечения и уж не столь похожий на живого мертвеца, даже снова с густой шевелюрой, правда, принадлежащей теперь парику, какие стали входить в моду после полысения Людовика XIII, появился в так знакомом ему трактире Латинского квартала.

Дубовая стойка и за ней все тот же, казалось, нестареющий трактирщик в заношенном белом переднике, с тараканьими усами на длинном, как перевернутая бутылка, лице; грубо сколоченные из досок столы и такие же скамьи при них; шумные посетители, преимущественно студенты, художники, поэты, как и во времена, когда Сирано разыскивал среди них своего первого секунданта Шапелля или после дуэли пил со своим противником, старым капитаном де Лонгвилем, вино за этим же столом, а потом встретился с ним еще раз здесь, потрясенный своим несчастьем, и выслушал от него омерзительную историю пленения двух испанских дам.

Сирано невольно передернул плечами. Волна пере-

житого накатилась на него. Но он пересилил себя. Нет! Не для того он явился сюда, чтобы снова впасть в отчаянье! Он не просто член тайного общества доброносцев, жизнь его отныне должна быть посвящена выполнению долга, завещанного незабвенным учителем, Демонием Тристаном! Сирано привычно тряхнул кудрями (на этот раз парика!), оглядывая помещение.

Кисло пахло пролитым вином, дешевой кухней и неряшливой толпой. Кто-то из посетителей читал стихи или пел, кто-то спорил, а то и просто горланил.

Сирано сел за свободный столик. Официант в кожаном переднике, ловкий малый с наглыми глазами, плавным картинным движением поставил перед ним кувшин вина и, как было заказано, две кружки, очевидно, еще для одного посетителя.

А вот и он!

Старый приятель Савиньона, войдя в трактир, печальными глазами искал Сирано.

Этот взор как-то не вязался с элегантной видной фигурой человека со свободными манерами, присущими странствующему актеру, способному играть сегодня разбойника, а завтра вельможу или коронованную особу.

Мольер увидел Сирано, машущего ему рукой, и подошел к нему.

Они обнялись и сели за стол.

Сирано внимательно оглядывал былого соученика.

— Я думал, ты веселее, — заметил он.

— Я веселю других своей печалью, — ответил Мольер.

— Печалью?

— Да, грущу о судьбах горестных людей! Но не во мне дело.

— Начнем с тебя, поскольку успех мной задуманного зависит от благополучия твоего.

Мольер пожал плечами:

— Играю, как комедиант, пишу комедии, как поэт, а вернее, как живописец с окружающей меня натуры

— Как? Без греческих богов, без римских матрон? Без всем знакомых масок?

— Стремлюсь не смешить людей, а выставлять на посмешище их пороки... Ведь люди готовы прослыть скорее дурными, чем казаться смешными.

— Согласен с тобой, Жан, и сам готов идти таким путем.

— Я помню, как ты высмеял в своей юношеской

комедии педантов, уродовавших воспитанием молодых людей.

— Меня освистали церковные приспешники.

— Церковь — это крепость зла. Ее непросто взять штурмом. Я в своей комедии о лицемерах принужден прикрыться поклоном в сторону «монарха — врага обмана»! * Как не быть мне печальным, веселя других, если я предвижу, что попы постараются лишить меня даже гроба **. Ведь нас, актеров, как бы ни был популярен театр во Франции, не считают за людей и хоронить готовы, как собак.

— Но окружают вниманием даже при дворе.

— Вниманием, а не уважением. Что я для них, для знатных? Мольер? Сын придворного камердинера Поклена? Не граф и не маркиз, способный становиться ими лишь на сцене!

— Чтобы они увидели в тебе самих себя.

— Нет! Только не себя! Скорее своего соседа по театральному креслу, чтоб посмеяться вдоволь над ним, но никак не над собой! Однако перейдем к тебе. Ты пострадал от медицины?

— Пожалуй, да.

— Они у меня на прицеле, невежественные каннибалы, именуемые лекарями, первые помощники смерти! *** Они даже не знают строения человеческого организма. Попы запрещают им резать трупы, и врачам достаются или казненные, или покойники, похищенные с кладбищ. Немудрено, что студентов-медиков вместо понятий о человеческом теле учат проведению диспутов о том, сколько раз в месяц полезно напиваться до скотского состояния.

— Ты зол на лекарей?

— Не больше, чем на других невежд.

— Как раз на них я и хочу обрушиться, но не комедией на этот раз, а трагедией, поставить которую в театре и прошу тебя помочь.

— Трагедией? Вот как? Я знаю твои ядовитые памфлеты и ждал от тебя чего-нибудь в этом роде. Тебе

---

* В комедии, названной впоследствии «Тартюф». *(Примеч. авт.)*

** Церковь не простила Мольеру «Тартюфа» и, когда Мольер умер на сцене «без покаяния и причастия», всячески препятствовала его похоронам. *(Примеч. авт.)*

*** Мольер высмеял современных ему медиков в комедиях «Мнимый больной» и «Лекарь поневоле». *(Примеч. авт.)*

так удались «Проделки Скапена». Хочешь трагедией высмеивать невежд?

— Нет! Показывать их во весь их «исторический рост»!

— История?

— Да, столетняя, «Смерть Агриппы».

— Этого чародея, колдуна, как принято считать?

— Ученого, еще в прошлом веке поднявшегося выше всех, осмелившегося признать за женщиной права, равные мужским, получившего в своих колбах вещества, никому дотоле не известные!

— Но не золото же!

— Он получил нечто более ценное, заложив основы науки будущего, которая в грядущем перевернет весь мир! *

— Ты замахнулся на невежество, но средоточие его — все та же церковь. Берегись!

— Прямо я ее не затрону. Мой Агриппа, правда, преследуемый монахами, светлый гуманист Корнелиус Генрих Неттесгеймский, профессор, врач, философ, потрясший всех трактатом «о недостоверности и тщете наук»!

— Он отрицал науки?

— Нет! Лжемудрецов, которые считают, что то, чего они не знают, существовать не может! И будто не результат опыта достоверен, а лишь мнение авторитета! Вот это я и покажу со сцены, чтоб у людей сердца заныли!

— Браво! Но, берясь за трагедию, ты вступаешь в соперничество с самим Корнелем.

— Сирано, как ты знаешь, не страшился никого! Предвидя критику адептов, я заранее парирую возможные удары, соблюдая все три единства: места, действия и времени, уложив все события в двадцать четыре часа.

— Твоей трагедии не хватает еще одного единства.

— Какого?

— Денег. Без них, мой друг, трагедии не поставишь.

— У меня есть меценат, герцог д'Ашперон. Он обещал помочь.

— Тогда другое дело! Но ты откройся мне. Когда я

* Сирано был прав, поскольку алхимики действительно заложили основу современной химии, о чем он мог догадываться лишь благодаря своим представлениям о мире Солярии. *(Примеч. авт.)*

обличаю пороки, я их вижу вокруг. А ты? Веришь ли ты, подобно своему герою, в «недостоверность и тщету наук»?

— Еще бы! — усмехнулся Сирано, подумав о Солярии и той высоте знаний, с которой современные ему научные взгляды кажутся непроходимым невежеством. Сирано было нелегко выбрать способ осуждения этого невежества, помня заветы Тристана.

— Так ты веришь утверждению Агриппы? — спрашивал Мольер.

— Верить можно в бога, что я предоставляю делать попам и их прихожанам. Я же — знаю! Знаю, почему Агриппа был на голову выше всех наших знатоков знаний *.

— Знатоков знаний? — удивился Мольер. — Как ты странно сказал!

Сирано спохватился. Совсем не нужно упоминать на Земле понятия, принятые на Солярии. Тристан не одобрил бы этого.

— Итак, дружище, решено! Пусть герцог д'Ашперон поможет золотом, которое, к сожалению, не успел сделать Агриппа, а театр я беру на себя. Горе невеждам! Передай мне рукопись трагедии.

— Она со мной.

— Тем лучше. Можно сразу начать репетиции. Лишь бы твои памфлеты из «Мазаринады» не помешали нам!

Строительство Версаля, которому предстояло стать примером подлинно королевской роскоши для всей Европы, способствовало тому, чтобы трагедия Сирано де Бержерака «Смерть Агриппы» была поставлена в театре, которым увлекалась тогда вся знать Парижа.

Сирано де Бержерак непривычно волновался, ожидая последней репетиции перед премьерой.

Он пригласил друзей, которые помнили его.

К сожалению, времена Фронды отличались обилием бессмысленных дуэлей, в которых Сирано, к счастью, не принимал участия. За четыре года на поединках было убито около тысячи вельмож. Несмотря на то, что поединки по-прежнему считались запрещенными, на дуэли дрались не только два противника, но и их секун-

* В своем трактате «Иной свет...» Сирано де Бержерак прямо указывает на общение Агриппы с Демонием Сократа. *(Примеч. авт.)*

данты. И многих из своих былых товарищей не смог теперь пригласить Сирано на последнюю репетицию, а потом на премьеру.

Он рассчитывал на успех, ибо театральные знатоки не скупились на похвалы.

Сирано встречал в вестибюле театра герцога д'Ашперона, прибывшего вместе с Ноде, как всегда, утопавшем в брюссельских кружевах; приехал из деревни и приодевшийся Кола Лебре; из имения недавно скончавшегося отца прискакал граф Шапелль де Луилье, прихватив с собой еще несколько сотоварищей, слушавших приватный курс лекций профессора Гассенди, и, что особенно обрадовало Сирано, явился и сам профессор Гассенди, пожелавший увидеть творение своего ученика. Пришел и бравый старый вояка капитан барон де Ловелет, которого сопровождали, к удивлению Сирано, графиня де Ла Морлиер, конечно, вместе со своим крысоподобным чичисбеем маркизом де Шампань.

Почтила репетицию своим величавым присутствием и герцогиня де Шеврез, привезя с собой толпу театралов с едва пробившимися усиками.

Словом, последняя репетиция напоминала премьеру, правда, без проданных билетов. Но слава могла начаться с нее, а Сирано весьма рассчитывал на это.

Последней он встретил свою мать, скромно одетую, сопровождаемую младшим сыном, у которого глаза горели от волнения, восхищения и надежды на торжество Савиньона, перед которым он преклонялся.

Мольер, сам не участвуя в представлении, обходил гостей вместе с Сирано, радушно рассаживал их в креслах, успевал каждому сказать какую-нибудь остроту, а даме комплимент.

Когда все гости уже расселись, Сирано заметил, что в зал прошмыгнули два монаха, показавшиеся ему знакомыми.

Администратор театра, к которому Сирано обратился с вопросом об этих странных для театра гостях, глубокомысленно ответил, что не мог отказать настоятелю монастыря св. Иеронима, который прислал двух своих братьев, получивших на то специальное соизволение от епископа.

Сирано встревожился и поделился своими опасениями с Мольером.

— Ты знаешь, Сирано, как я опасаюсь церкви, но у нас серьезная защита в лице самого церковного цензо-

ра, разрешившего твою трагедию к постановке. Что значат тонзуры против цензуры! — сострил он и расхохотался. Но глаза его оставались если не печальными, то серьезными.

Репетиция прошла как подлинное представление и с необычайным успехом.

Автора поздравляли. Сама герцогиня де Шеврез пригласила его в ложу и сказала, что передаст королю свое восхищение трагедией, которая, конечно же, не уступает творениям гордеца Корнеля.

Графиня де Ла Морлиер, в свою очередь, добавила:

— Я никогда не думала, что женщины могут быть равноправными с мужчинами. Я совершенно не согласна с вашим профессором Агриппой. Может быть, он и очень умен, но, поверьте женщине, я никогда бы не согласилась на такое равноправие. Наша женская сила в нашем неравноправии. Не правда ли, маркиз?

Маркиз де Шампань поспешил заверить свою повелительницу, что она совершенно права, ибо женское неравноправие и дает женщине ни с чем не сравнимые права властвовать над мужчинами.

Кола Лебре обнимал Сирано с мокрыми глазами.

— Веришь ли, Сави, я плакал, когда умер Агриппа, я почувствовал потерю, которую как бы понес сам.

— Это так и есть, дорогой Кола, — отозвался Сирано. — Все мы потеряли в его лице величайшего мудреца, который видел вперед на века.

— Ах, Сави. Я знаю еще только одного такого же человека, но я не скажу тебе, кто он.

Сирано рассмеялся. Этот Кола по дружбе слишком переоценивает его, но даже ему он не мог признаться ни в чем, что касалось Солярии.

Перед премьерой трагедии Сирано де Бержерака «Смерть Агриппы» к церковному цензору аббату Монсье по поручению генерала ордена иезуитов явились два монаха из монастыря св. Иеронима.

Аббат Монсье был высокообразованным и добродушным человеком. Связанный с бывшим архиепископом парижским, кардиналом Рецем, во времена Фронды он следил за тем, чтобы пасквили и памфлеты, направленные против кардинала Мазарини, как-нибудь не задели святой католической церкви. Он никогда не злоупотреблял своим правом запрета, но в Ватикане

были им довольны, ибо за все скандальное время Фронды не было ни одного театрального скандала, задевающего церковь.

Иезуитов аббат Монсье не любил, зная, что они для достижения своих целей не стесняются в средствах, а сам аббат Монсье в этом отношении был человеком прежде всего гуманным. Но гостей из монастыря св. Иеронима ему пришлось принять.

— Ваше преподобие, господин аббат, — жидким тенорком начал старший Максимилиан, — по велению генерала нашего святого ордена Иисуса мы с моим младшим братом по монастырю, тоже Максимилианом, вынуждены были зреть богопротивное представление готовящейся к постановке трагедии, сочиненной грязным памфлетистом и греховным дуэлянтом господином Савиньоном Сирано де Бержераком, и мы просим вашего соизволения, ваше преподобие, господин аббат, еще раз обсудить вопрос о запрете намеченной премьеры этого бездарного, еретического ярмарочного представления, которое лишь позорит театр Парижа, столицы французских королей.

— Не вижу причин для такого запрета, братья Максимилианы. Передайте генералу вашего ордена, который я чту, что мне привелось присутствовать на последней репетиции, изучив перед тем рукопись трагедии и не усмотрев в ней каких-либо выпадов против святой католической церкви. В отношении же бездарности этого творения, то позволю себе заметить, что трагедия эта, несомненно, ни в чем не уступает трагедиям господина Корнеля, которого ценят при дворе его величества Людовика XIV.

— А «Мазаринада»? — гулким басом вмешался младший Максимилиан.

— Не только авторы сатирических стишков, но даже принц Конде, сражавшийся со своей армией против войск короля, допущены ныне в Париж и будут приняты в Версале, как только его завершат отделкой и двор переедет туда. В свою очередь я, как служитель церкви, хотел бы задать вопрос вам, монахам. Пристало ли вам, отцы мои, проникать на светское представление, не совершив при этом тяжкого греха?

— Вы правы, ваше преподобие, господин аббат! Но лишь ради интересов нашего святого ордена мы решились на этот грех, заранее оговорив, какую епитимью в тысячу семьсот три поклона, назначенную самим епи-

скопом нашим, мы должны понести за это греховное деяние.

Аббат Монсье лишь покачал головой, не сочтя нужным вступать в спор с этими иезуитами, для которых достижение цели не грех.

Монахи ушли от цензора, яростно сжимая кулаки, и направились прямо к генералу своего ордена.

Аббат Монсье был прав, от них можно было ожидать чего угодно.

Дни перед премьерой были сплошным праздником для Сирано.

Мольер прибегал к нему с сообщением о необычайном ажиотаже у билетной кассы.

Вероятно, благодаря отзывам герцогини де Шеврез и графини де Ла Морлиер весь парижский свет стремился на этот спектакль. О трагедии говорили в салонах, не побывать на премьере могло бы выглядеть плохим тоном, но, кроме билетов для привилегированных, и все остальные места были нарасхват. Появились даже перекупщики, как показалось вначале театральным завсегдатаям. Однако перед самым спектаклем барышников у театрального подъезда не оказалось. Билеты словно были заранее скуплены кем-то даже у них.

Первый акт трагедии прошел благополучно, и публика, видимо, была довольна.

Но во время второго акта, когда зашла речь о невеждах, противящихся всему новому, что отнюдь не было направлено в адрес священнослужителей, однако отцы церкви вполне могли бы узнать в представленных на сцене невеждах себя, в зале поднялся необычайный гвалт. Какие-то люди вскакивали с мест, бросали на сцену гнилые яблоки, тухлые яйца, свистели и кричали, требуя прекратить святотатственное представление.

Надо ли говорить, что крикуны были достаточно пьяны и, видимо, набирались по кабакам. Снова Сирано оказался перед пьяной толпой в сотню человек, потерпев на этот раз поражение.

Продолжать спектакль не было никакой возможности.

Монахов, конечно, никто не видел, а крикуны стали требовать деньги обратно.

Тогда разгневанный Сирано, которому касса уже вручила выручку, тут же в зале стал раздавать свои

деньги в обмен на клятву тянущих за ними руки пьянчуг, что они никогда больше не посетят ни одного из его представлений.

Но представлений трагедии «Смерть Агриппы» больше не состоялось.

Какая-то сила принудила церковного цензора, аббата Монсье запретить дальнейшую ее постановку.

Сирано де Бержерак снова потерпел полный крах.

Люди, его современники, не желали слышать о своем невежестве, хотя бы говорилось о делах столетней давности.

Мольер негодовал.

Друзья Сирано не решались даже утешать его.

Мать его, госпожа Мадлен де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, украдкой плакала, а младший Бержерак готов был подраться с кем-нибудь, но не решался из-за старшего брата.

К Сирано подошел профессор Гассенди.

Он сильно постарел, полысел, но не носил парика, и взгляд его был острым, как прежде.

— Друг мой, — сказал он. — Когда-то вы убедили меня в своем таланте и энергии. Увидев вашу трагедию еще на репетиции, я понял ваш замысел, который не устраивает псевдомудрых святош. Но помните, если актеров, произносящих ваши слова с подмостков, можно заглушить свистом, то написанного пером никогда еще не удавалось даже полностью сжечь. Что-нибудь да оставалось, что можно размножить. Мысль, воплощенная в трактат, неистребима.

— Благодарю вас, профессор. Я по-прежнему ваш ученик. Я верю, что написать на бумаге надежнее, чем вырубить в камне.

— Тогда вы знаете, как вам поступить, — закончил Гассенди.

Герцог д'Ашперон, бывший свидетелем раздачи Сирано всех своих денег, предложил поэту снова вернуться к нему на службу, но Сирано отказался, он дал слово жить с матерью и не мог нарушить его.

Герцог ответил, что уважает его решение.

Ноде протянул Сирано свой кошелек, но не решился настаивать, едва увидел, с каким лицом Сирано вернул ему его обратно.

Кола Лебре нашел минуту, чтобы шепнуть Сирано:

— Если бы жив был наш кюре, он аплодировал бы твоей трагедии. Найдешь денек, приезжай ко мне в Мо-

вьер, мы половим с тобой рыбу в Сене. Вечерами бывает прекрасный клев.

Сирано молча обнял друга.

Старый капитан, поглаживая седые усы, сказал на прощанье:

— Жаль, отказались вы от шпаги, господин де Бержерак! Было бы совсем неплохо проткнуть кое-кого в назиданье.

Стоявший тут же молодой граф Шапелль де Луилье добавил:

— Твой первый секундант был бы рад, если бы ты оказал ему такую честь еще раз!

Герцогиня де Шеврез и графиня де Ла Морлиер уехали, не простясь с освистанным автором злополучной трагедии.

### Глава третья

## ИНОЙ СВЕТ

*На Луне, на ином свете,*
*Себя увидим в ином свете.*

Сирано де Бержерак

Нужно было обладать редкой волей и одержимостью, чтобы, потерпев фиаско с трагедией «Смерть Агриппы», не пасть духом и снова взяться за перо.

Поселившись в доме у матери, бережно расходуя скудные, оставшиеся от отца средства, Сирано де Бержерак принялся за работу.

В общей комнате, где на полках посуда потеснилась ради нужных Сирано книг, он сидел за покрытым скатертью столом с поставленным на нем переносным пюпитром, освобождая место в часы трапез.

Одетый в дешевый халат, прикрыв «комнатной шляпой» облысевшую голову, без надоевшего парика, он писал страницу за страницей, откидывался на высокую спинку кресла, перечитывал их, порой заливаясь громким хохотом, и снова писал.

Для него это был поединок с толпой врагов добра, среди которых видное место занимали церковники. Требовались особые приемы, чтобы не дать им повода наложить на его новое творение запрет, как на злополучную трагедию.

И, как былой опытный боец, он наносил противнику удары «шпагой слова», парировал «встречные выпады», применяя обезоруживающий, разоблачающий прием, переходя в наступление, чтобы сразить зло.

Мысленно советуясь с Тристаном, он тщательно продумал всю стратегию «литературного боя», выбрал для поединка «место» (тему), вызвал на поле «секундантов» (ценителей), толпу же зрителей (читателей) привлек событиями интригующе невероятными, чему, однако, можно и поверить.

Тристан, Тристан! Ты предостерегал от всего правдивого, что сочтут за бред умалишенного! Людей, воспитанных на бездумной вере, нелепое способно позабавить, но не отвратить от книги. Чтобы сделать ее для них достоверной, надо перемешать забавный вздор с тем, что уже есть на Солярии и когда-нибудь будет на Земле!

Так пусть же все начнется с этой планеты, мой незабвенный Демоний! Неважно, был ли я там вместе с тобой или только слышал от тебя о ней! Волей моей фантазии читатель полетит со мной на другую планету! Впрочем, не на Солярию, куда надо проникать через «черную дыру», проходя «полюс Вселенной», бесконечной, но замыкающейся в одной этой точке, что так убедительно показано тобой и чего, увы, не понять не только верным католикам, но даже и вольнодумцам!

В межзвездной пустоте сомневался сам великий Декарт, чьи книги пришлось защищать от необузданной толпы у разожженного костра. Небосвод представлялся философу жидким, а небесные светила на нем — вихрями! Как же поверить в бездонную пустоту, разделяющую планеты! Придется выбрать цель более близкую — как бы висящую в воздухе над нашей головой Луну, всем знакомую и, казалось бы, доступную!

Если на Солярии существует иной мир, то пусть на Луне перед читателем предстанет «иной свет», где все как бы «наоборот», «вверх ногами», как в зеркале с увеличительным стеклом телескопа Галилея. И пусть этот «телескоп воображения» позволит под видом «Иного Света» посмеяться над злосчастным земным миром!

Выбрав литературное оружие, Сирано вступил в поединок со злом.

Он начал с путешествия в Новую Францию, однако из предосторожности избегая упоминаний об аутодафе в горах и поднявшейся из костра башне, что уже было

признано ересью, Сирано решил посмешнее рассказать о невинных банках с росой, которую будто бы притягивает Солнце, как поверил тому в Квебеке губернатор Канады, вице-король и мальтийский рыцарь Монманьи. Мудрый читатель посмеется, глупец же, обладающий правом запрета, не додумается им воспользоваться.

А вот из Новой Франции на Луну Сирано отправился точно так, как взлетал в межзвездном корабле вместе с Тристаном, с помощью многоступенчатых ракет, собранных в пакеты по шесть штук, воспламеняющихся последовательно ряд за рядом. И опять-таки ради маскировки он приписал установку ракет на предназначенном для полета сооружении безответственным солдатам. (Какой с них спрос!)

Однако лишь читатель конца двадцатого века, когда человечество выйдет в космос, в состоянии оценить точность и реальность описанного способа путешествия в межпланетном пространстве.

Не упустил Сирано момента, когда путешественник теряет свой вес из-за ослабления земного притяжения по мере удаления от Земли, предвосхитив закон, сформулированный столетием позднее великим Ньютоном!

Сирано не слишком заботился о правдоподобии «прилунения», сразу ошеломив читателя тем, что на Луне он якобы попал в «земной рай», где до изгнания жили Адам и Ева. В чудесном месте и прилунение могло быть вполне чудесным!

В «земном раю» на Луне Сирано сталкивается с библейскими персонажами, скрыто насмехаясь над тем, что они якобы взяты «живыми на небо».

Озорная склонность юного Сирано, потешавшегося на выпускном экзамене над самим кардиналом Ришелье, проснулась в нем вновь, и он издевательски представляет колесницу Илии-пророка, катящуюся с громом по небу, в виде железной повозки, поднимаемой в небо подбрасываемым с нее вверх магнитом. Отлично понимая, что не может человек поднять сам себя за волосы, приписав Илие-пророку нечто подобное (как впоследствии расскажет барон Мюнхгаузен, якобы вытащивший себя за волосы вместе с конем из болота!), Сирано осмеивает церковные легенды, предоставляя попам непосильную задачу разобраться в предложенной им нелепице, чего не смог сделать даже сам кардинал Ришелье.

Вскоре Сирано — герой рассказа допускает бо-

гохульную шутку, за что изгоняется из рая и попадает в «иной свет», в государство разумных существ, напоминающих людей, но у которых все устроено не так, как на Земле.

Ходят они не на двух, а на четырех конечностях, что, на их взгляд, более устойчиво и богоприятно, ибо опущенная вниз голова позволяет любоваться дарованными свыше благами, а не вымаливать их, вечно взирая на небо, как делают уродливо двуногие и несмышленые животные, вроде страусов.

С едкой иронией сообщает Сирано, что у лунян знать и простолюдины говорят на разных языках: первые общаются музыкальными фразами, иной раз с помощью оглушительной трубы, а чернь вообще лишена голоса, объясняясь лишь жестами (как глухонемые!). Так выглядит в саркастическом зеркале де Бержерака земное неравенство, когда крестьяне и простой люд практически лишены голоса.

Религиозную нетерпимость земной католической церкви Сирано-насмешник представил в лунных диспутах по поводу того, признать ли человека Земли разумным существом, если он в чем-то мыслит по-иному, чем здесь принято?

И совсем «по-земному» тупые лунные жрецы, голословно отвергая всякую возможность жизни на Земле, служащей в их небе луной, в своих декретах строго требуют не признавать разумным любое разумное высказывание «маленького животного» (как там именуют Сирано), хотя оно и освоило, подобно попугаям, разумную речь.

Важное место в «лунном памфлете» Сирано отводит своему учителю Тристану, Демонию Сократа, якобы встретившись с ним на Луне. Однако главное для автора показать роль инопланетянина на Земле, где тот общался с разными людьми после Сократа, покинув Землю из-за глупости и грубости людей, впрочем, потом возвратившись туда.

Чтобы объяснить читателю XVII века, как мог Демоний прожить две тысячи лет после сократовских времен, Сирано не пытается познакомить современников с тайнами парадокса времени, открытых ему Тристаном, которые будут сочтены за бред, а предпочитает объяснить все вполне «достоверным» и привычным способом с помощью переселения душ», когда Демоний выбирает для себя более молодое человеческое тело. Здесь

не требуется убеждающих доказательств. Вполне достаточно одной лишь веры.

Сирано приписывает своему Демонию те встречи с людьми, которые вместо него имели его соплеменники, просвещавшие людей (во время отсутствия Тристана, вернувшегося на Солярию). В числе этих «учеников» Сирано назвал и близких его сердцу Агриппу, Кампанеллу, а также членов тайного общества, которым посланец солнечного племени (с Солярии!) открыл многие тайны, сделав их магами. Недаром хрустальные самосветящиеся (без огня) баллоны, которые Сирано видел в подвале замка герцога д'Ашперона, луняне применяют как обычные источники света. (Надо думать, электрического!)

Не удержался Сирано от сердечных строк в адрес своего Демония:

«...Переезжая в Англию, чтобы изучить нравы ее обитателей, я встретил человека... он весь сердце, весь ум: сказать, что он обладает в полной мере этими качествами, из которых одного было бы достаточно, чтобы сделаться героем, это значит назвать Тристана л'Ермит».

Сирано лишь ничтожно изменил имя своего Демония, выполнявшего на Земле «Миссию Ума и Сердца» Солярии.

Выставляя на посмешище приверженность католической церкви приспособленному для нее теологами учению Аристотеля, Сирано живописует «лунный суд» с уничтожающей критикой «маленького животного», цепляющегося за непогрешимость земного философа, который «...очевидно, прилаживал свою философию к принципам вместо того, чтобы выводить принципы из философии. Во всяком случае он должен был бы доказать, что его принципы более разумны, чем принципы других сект». Убедившись, что «маленькому животному» запрещено спорить с критиками Аристотеля, луняне вынесли решение, что «маленькое животное» — не человек, а разновидность неразумного страуса. Так разделывается Сирано на Луне с одной из догм церкви, выступить против которой на Земле ему не дали бы.

Позволяя обитателям «иного мира» высказывать их философские взгляды, резко расходящиеся с принятыми на Земле, Сирано рискованно, явно под влиянием бесед с Тристаном, повествует о таких вопросах, как вечность и безграничность Вселенной, ставя под сомнение единый акт творения как начало существования мира, ко-

торый, будучи вечным, начала не имеет и не будет иметь конца.

Вчерашний забияка с оскорбительной улыбкой и обнаженной шпагой в руке оказывался теперь отнюдь не меньшим задирой с гусиным пером за ухом и саркастической улыбкой на изможденном лице.

Однако глубокие мысли непременно нужно было перемежать со смешными и нелепостями, чтобы истинно мудрое не слишком выделялось, сходя за выдумки, также несерьезные и смехотворные. Поэтому Сирано с завидной изобретательностью стремился показать в лунном «ином мире» все «наоборот»: города он делает подвижными и передвигает их столь же глупым образом, как поднимался в небо с помощью магнита Илия-пророк. Лунные горожане, заводя пружины, заставляют спрятанные в стенах домов мехи дуть на паруса, приделанные к поставленному на колеса дому. Это все равно, что пытаться сдвинуть с места лодку, сидя в ней и дуя на ее парус, без взаимодействия с окружающей водой.

Вкушение пищи Сирано заменяет на Луне вдыханием запахов. Лечение — предотвращением болезней, более того! — утверждает, что «воображение человека может способствовать его излечению» (на сотни лет предвосхищая психотерапию!). А вместо денежного обращения он допускает расплату «стихами»!

Вместе с тем, может быть, из желания подчеркнуть реальность ракет, доставивших его на Луну, Сирано осмеивает иные способы, которыми якобы пользовались другие люди, достигшие, по преданиям или в воображении писателей, Луны.

Так, библейский Енох, «взятый из-за своей святости живым на небо», вознесся на него с помощью металлических шаров, наполненных дымом жертвенного костра. Как известно, дым стремится вверх и потому смог унести Еноха. Этим Сирано шутя предвосхищает на столетия изобретение братьев Монгольфье, спустя сто пятьдесят лет после Бержерака открывших эру воздухоплавания (разумеется, в воздухе!).

Но веселый забавник Сирано, используя привычные представления обывателей о том, что воздух распространяется до самого неба и Луна плавает в нем, рассказывает, что наполненные горячим дымом сосуды подняли Еноха до самой Луны и он, освободившись от них над райским садом, куда стремился, непременно

разбился бы при падении, если бы ветер не раздувал при опускании его одежду. И опять шутник подсказал человечеству идею парашютирующего спуска, как перед тем в случае собственного полета — явление невесомости.

Вспомнил он и всемирный потоп, и Ноев ковчег у него плавает над Землей у самой Луны, куда отважная дочь Ноя Ахов якобы высадилась с отцовского космического ковчега в шлюпке (в «космическом модуле», по современной терминологии!).

Однако главным для Сирано в его работе было столкновение философских взглядов, которые он приписывал встреченным на Луне персонажам, включая испанца Гонсалеса из современной ему книги, англичанина Годвина. Особенно интересны представления о пустоте, отрицаемой современниками Сирано, придумавшими, что «природа не терпит пустоты!».

Уместно вспомнить юношескую озорную оду Сирано де Бержерака «О пустоте», которую он прочитал при первом своем появлении в светском обществе. Теперь пустота стала для него не только символом, обличающим нравы общества, но и философским понятием, почерпнутым из его представлений о полете к Солярии через межзвездную пустоту *.

Издевательски и в то же время глубоко гуманистически звучат страницы трактата Сирано де Бержерака, посвященные войне. Трудно представить себе более язвительный показ всей нелепицы национальной вражды на Земле, сатирически отраженной в лунных войнах, где якобы луняне следуют довольно забавному принципу «спор допускается только между равными». Во имя этого силы каждой стороны уравниваются неким третейским судом. Здесь Сирано не удержался от того, чтобы ввести в свое повествование неназванную им инопланетянку (возлюбленную его Эльду!), которая готова была последовать за ним на Землю, а на родной своей планете с присущей ей глубиной ума разоблачала противоестественность земных войн, когда враждующие короли допускают, чтобы «пробивались головы четырем миллионам людей, которые стóят гораздо больше, чем

* Эти понятия Сирано перекликаются с самыми современными, вытекающими из теории фундаментального поля И. Л. Герловина (см.: Протодьяконов М. М., Герловин И. Л. Электронное строение и физические свойства кристаллов. М., Наука, 1975). *(Примеч. авт.)*

они (короли!), в то время как сами сидят у себя в кабинетах, посмеиваются, рассуждая об обстоятельствах, при которых происходит избиение этих простаков; однако не следует мне (инопланетянке) порицать доблесть ваших добрых собратьев. Дело такое важное быть вассалом короля, который носит широкий воротник, или того, который носит брыжжи» *.

Поэтому в смехотворной войне «иного света» строго уравненные противники встречаются: раненые с искалеченными, великаны с колоссами, немощные со слабыми, ловкие с проворными, доблестные с отважными, нездоровые с больными, крепкие с сильными... «И если кому-нибудь вздумается ударить другого, а не указанного ему врага, он осуждается, как трус, если только не будет доказано, что это произошло по ошибке».

Потом определяются потери и, если они равны, — бросается жребий и по вытянутой соломинке определяется победитель, но и это еще не решает исход «войны», предстоят еще диспуты: ученых с умными, знатоков со знающими, рассудительных с размышляющими. И эти победы ценятся втрое против военных. После окончательно определенной победы «народ-победитель» избирает своим королем или своего собственного короля или короля своих врагов». Выходит, и воевать было нечего!

В изобилующую подводными течениями, намеками, двусмысленностями ткань трактата Сирано рассыпал те удивительные вещи, которые спустя три с половиной столетия поставят в тупик изучающих его творчество. Но он-то знал, что все, о чем он пишет, наряду с шутками, на самом деле уже существует на Солярии и когда-нибудь появится на Земле поумневших людей, овладевших и зеркалами-экранами, и звукохранящими устройствами (которые можно подвешивать к уху, как сережку, «напоминающую», — как он писал, — разрезанную пополам жемчужину, с передвигающейся стрелкой настройки»), и светящиеся (электрические!) колбы, и многое другое, воспринимаемое людьми будущего, для Сирано нашего столетия как удивительные предвидения.

---

* Через столетие Джонатан Свифт повторит этот сарказм, живописуя войну лилипутов из-за того, как разбивать яйца: с тупого или острого конца. *(Примеч. авт.)*

Сирано воспользовался гостеприимством герцога д'Ашперона, чтобы собрать у него в замке своих друзей и прочитать свое новое произведение.

Он хотел, чтобы его послушали и философы, встречавшие в Мовьере Кампанеллу: Декарт, Пьер Ферма, Гассенди. Но Декарт жил в изгнании, появляясь в Париже лишь тайно, подвергая себя преследованиям не только церкви.

К счастью, Гассенди и Пьер Ферма приехали. У герцога д'Ашперона встретились преследуемый иезуитами естествоиспытатель, философ — противник переделанного церковниками Аристотеля и прославленный юрист, поражающий мир своими математическими исследованиями.

Приехал и скромный мовьерский лавочник, преданный друг и соратник Кола Лебре.

Парижане: граф Шапелль де Луилье, писатель Ноде и кое-кто из былых товарищей Сирано явились все скопом прямо из какой-то таверны.

Появился и нарядный Мольер со своей царственной походкой и печальными глазами.

Оживленно беседуя, все ждали, чем поразит их на этот раз неугомонный Сирано.

Ему было важно услышать не только дружеские похвалы, поэтому он не возражал против того, что в таверне за графом Шапеллем де Луильи увязался оказавшийся там случайно маркиз де Шампань (на этот раз, конечно, без графини де Ла Морлиер!).

Чтение состоялось в темноватом рыцарском зале замка, где через узкие окна светлыми перегородками проникали скупые лучи дневного светила. К одной из этих светящихся полос и придвинули стол чтеца.

Слушатели расположились на принесенных слугами лавках, и только подтянутый Мольер остался стоять у стены, словно наблюдая за сценическим действием из-за кулис.

Герцог, Гассенди и Пьер Ферма уселись в креслах напротив стола, за которым сидел волнующийся автор.

Но едва он начал читать и первый взрыв хохота потряс холодный зал, он сразу успокоился, читая с бóльшим, как определил Мольер, искусством скрытой, но яркой, разящей насмешки.

Больше всех хохотал Ноде, едва услышав знакомую ему историю с полетом в Новую Францию с помощью банок с росой, а потом — рассуждения губернатора

Квебека, мальтийского рыцаря Монманьи о том, как грешные души, карабкаясь по внутренней полости земного шара, чтобы избежать адского пламени, заставляют тем якобы, подобно беличьему колесу, вращаться Землю.

Его круглое добродушное лицо тряслось, обрамленное и тройным подбородком, и брюссельскими кружевами.

Смеялись все при чтении многих мест рукописи.

Восторг Пьера Ферма вызвал полет Илии-пророка с помощью подбрасываемого им же самим магнита.

— Клянусь, дорогой Бержерак! — воскликнул маститый математик и юрист из Тулузы. — Вы, право же, неплохой физик, воспользовавшийся «доказательством от противного», применяемого до сих пор лишь в математике!

— Я хотел бы, метр, познакомить вас со своим трактатом по физике, — отозвался Сирано, несколько удивив слушателей.

— Вот как! — воскликнул маркиз де Шампань, покрысиному поводя носом. — Хотелось бы узнать мнение уважаемого метра если не о всем упомянутом трактате, то хотя бы об этом новом для физики методе? И что доказывает им наш остроумный автор?

— Доказывает, что не все библейские сказания опираются на опыт естествознания, господин маркиз, — ответил Пьер Ферма.

— Ответ, достойный Рене Декарта, не снискавшего благоволения церкви, — заметил маркиз.

— Да, пожалуй. Впрочем, с Рене мы немало спорили, но уважаем друг друга, — ответил Ферма.

— Но будут ли уважать нашего автора критики его взглядов, споря с ним? И что разумеет он под «иным светом» на Луне? — допытывался маркиз.

— Спорить, может быть, и будут, если смех не заглушит неприятие каких-либо мыслей, — с подчеркнутым спокойствием вставил профессор Гассенди, обменявшись взглядами с былым своим учеником Мольером.

— Однако вернемся все же к нашему де Бержераку, — предложил герцог д'Ашперон. — Надо думать, шутник еще посмешит нас, — и он улыбнулся автору.

Сирано стал читать дальше.

Смех вспыхивал снова и снова, однако смеялись теперь не все. Кое-кто задумывался и горько улыбался.

После осуждения лунянкой земных войн маркиз де Шампань заметил:

— Боюсь, дорогой Сирано де Бержерак, быть может, вы и не угодили в чем-то маршалам Франции или коронованным особам Европы, но... обещаю вам сочувствие наших дам, которые оценят остроумие вашей лунной избранницы.

При этих словах Сирано почему-то густо покраснел. Но ведь не мог же кто-либо из присутствующих заподозрить, что у него действительно была инопланетная избранница!

В том месте, где Сирано говорил о клеточном строении человеческого организма, о «ничтожно малых и злобных животных», которые несут людям болезни, и о столь же крохотных друзьях человека, стерегущих врагов у него в крови, герцог д'Ашперон, чтобы дать отдохнуть чтецу, прервал его:

— Ваши предположения о строении человеческого тела, несомненно, будут признаны нашими лекарями дерзкими и ни на чем не основанными. Если бы вы доказали, что чума передается невидимыми нам врагами, а не зловредными испарениями, вы стали бы спасителем человечества.

Мог ли знать Вершитель Добра тайного общества доброносцев, что в его родной стране спустя двести лет великий ученый Пастер откроет мир микробов, борьба с которыми положит конец многим эпидемиям.

— Вы еще упомянули в рукописи о лечении воображением, как бы вас не обвинили в почитании колдовства, — сказал маркиз.

Сирано презрительно пожал плечами и возобновил чтение.

Но вскоре сам же маркиз де Шампань прервал его рукоплесканиями:

— Браво! Браво! Именно непристойности, как острой приправы к чудесному блюду, и не хватало в вашем трактате. Теперь им будут зачитываться! — И маркиз даже вскочил от восторга. — Каково! Господа, каково! Награжденные люди на его «ином свете» носят не шпагу на поясе, а изображение... детородного органа! — и он прыснул со смеха.

— Позвольте мне, как юристу, возразить, — вмешался Пьер Ферма. — Прежде чем обвинить автора в непристойности, обратим внимание на возмущение, ко-

торое вырвалось у героя-рассказчика по поводу этого лунного обыкновения. Прочтите нам еще раз это место.

— «Этот обычай представляется мне весьма странным, возразил я, ибо в нашем мире признаком благородства является ношение шпаги». Но хозяин, нисколько не смутившись, ответил: «О, мой маленький человечек! Как! Знатные люди вашей страны там стремятся выставить напоказ орудие, которое служит признаком палача... Несчастная страна, где позорно то, что напоминает о рождении, и почетно то, что говорит об уничтожении».

— Браво! — снова прервал маркиз де Шампань. — Наш метр Ферма добился бы вашего оправдания в суде, в особенности если когда-нибудь судейские мантии наденут дамы!

Сирано попросили читать дальше.

Он закончил богопротивным высказыванием лунного безбожника, которого явившийся дьявол повлек с собой (вместе с автором-рассказчиком, слушавшим богопротивные речи) прямо в ад, находящийся, как известно, в центре Земли. И незадачливый герой рассказа на этот раз с помощью нечистой силы нежданно вернулся на родную планету.

Сирано захлопнул папку из свиной кожи, содержавшую рукопись.

Все глубоко задумались, и уже никто не смеялся.

Пьер Ферма первый высказал общую мысль о церковной цензуре, которая вряд ли пропустит столько крамольных мест.

— Разве мало был наказан безбожник «иного мира» за свои кощунственные речи, схваченный и увлеченный в ад самим дьяволом? — спросил Сирано.

— В парламенте, если бы я защищал вас перед ним, мне удалось бы доказать вашу невиновность. Но вот как отцы иезуиты? — ответил Ферма.

Слушатели молча качали головами.

Мольер подошел к Сирано и с улыбкой произнес:

— Спасибо тебе, друг, за сцену пышных похорон в наказание нечестивцу. А я-то беспокоился, найдется ли мне место у попов на кладбище. Теперь мне полегчало.

Сирано печально улыбнулся.

— Все можно смягчить, все спасти, — сказал подошедший к Сирано Кола Лебре *. — Когда ты читал о

* Именно Лебре удалось после кончины Сирано издать в несколько отредактированном виде его трактат. *(Примеч. авт.)*

семьях на Луне, где власть переходит от выживших из ума стариков к молодым энергичным сыновьям, которые наказывают нерадивых отцов, избивая их изображения, я вспомнил Мовьер и порку, которую устроил тебе твой отец. Я вижу, ты ему этого не простил.

— Я не умею прощать, — отозвался Сирано. — В особенности когда речь идет не только обо мне, а о мрачных наших обычаях, которые надо искоренять.

Гости герцога д'Ашперона разъехались.

Шапелль де Луилье, Лебре и Сирано отправились в трактир Латинского квартала, Гассенди и Пьер Ферма, договорившийся с Сирано о важной для них обоих встрече, в предоставленной д'Аширероном карете отправились на постоялый двор, где остановился Ферма.

Маркиз же де Шампань приказал кучеру своей кареты ехать прямо в монастырь св. Иеронима, где его уже ждали отцы Максимилианы.

### Глава четвертая

## СТРАНА МУДРЕЦОВ

*Истинной мудрости не уместиться на Земле, она даже в пламени костра поднимает ум к звездам!*

Демоний Сократа —
Сирано де Бержераку

В условленный с Пьером Ферма день, еще в замке герцога д'Ашперона передав метру для ознакомления свою рукопись трактата по физике, Сирано с некоторым волнением отыскивал на улице Медников постоялый двор «Не откажись от угощения!».

«Какое забавное название! И чем-то знакомое! Ба! Да это ведь тот самый трактир, где они с Ноде, прибыв в Париж в «день баррикад», оставили купленных в Гавре лошадей. Еще тогда ему подумалось, что где-то он видел подобную вывеску. Подумал и забыл. А теперь...

Ну конечно! Бешеная скачка с Тристаном из Парижа на восток. Одинокий постоялый двор у дороги. Призывная надпись: «Остановись и угостись!» То и другое

было так необходимо! Отдых — полузагнанным коням, угощенье — путникам!»

Его поднесла им «Фея постоялого двора» в ярком крестьянском платье с корсажем, с лицом мадонны и фигурой нимфы. Потом, ночью, она явилась просвечивающим призраком, но не соблазнить, а спасти гостей от ворвавшихся в трактир гвардейцев кардинала. Прощальный, чуть затянувшийся поцелуй... и перемахнувшие через ограду свежие кони!..

А годы спустя почудившийся на баррикаде знакомый женский силуэт со знаменем в руке.

И вот теперь невдалеке от того места эта вывеска: «НЕ ОТКАЖИСЬ ОТ УГОЩЕНЬЯ!» Так могла придумать только женщина!

И когда Сирано вошел в трактир, чтобы спросить комнату остановившегося здесь метра Ферма, он даже не удивился, увидев за стойкой расцветшую с годами, но по-прежнему прекрасную «Фею постоялого двора». Не удивился, но встревожился...

— Ах, какая жалость! — всплеснула она руками, выслушав Сирано. — Метр Ферма только что вышел проводить своего почтенного гостя, аббата Гассенди.

— Ах вот как! — сокрушенно отозвался Сирано, почему-то краснея.

— Не откажитесь от угощения, почтенный господин! Я предложу вам кружку славного вина. Оно просветляет голову и освещает память. Ради этого, пожалуй, я и сама выпью с вами за столиком, если позволите.

— Ну конечно! — охотно согласился Сирано, оправдывая себя тем, что ему все равно предстояло дожидаться.

Прелестная хозяйка, приобретя ныне горделивую осанку и плавность движений, принесла кувшин вина, подсела к столику напротив Сирано и наполнила две кружки, все время пристально вглядываясь в его лицо.

Извинившись, она на минуту исчезла, вернувшись с черной лентой в руках.

— Дозвольте мне приложить эту ленту к вашему высокому лбу, — вкрадчиво попросила она и, не дождавшись ответа, грациозным движением приставила ленту к его переносице чуть выше бровей. — Как я счастлива, дорогой мой господин! — воскликнула она, откидываясь назад и как бы любуясь гостем. — Наконец-то я вполне узнала вас! Святая дева, благодарю тебя! Если бы вы только догадались, как я пережива-

ла тогда за вас. Да и потом тревожилась, ничего о вас не зная. Я и мысли не допускала о вашей гибели. Все молилась, молилась! И вот дождалась-таки!

— Я, право, не знаю, сударыня, что вы имеете в виду... — пролепетал Сирано.

— Ба! — лихо подбоченилась хозяйка трактира. — Вы не знаете, что я имею в виду! Да хотя бы коней, которых я вам подменила, чтобы они унесли вас с приятелем подальше от гвардейской погони!

— Я все помню, сударыня, — опустив глаза, произнес Сирано. — Не считайте меня неблагодарным, мне просто не хотелось быть узнанным.

— Но почему, почему?! — обиженно прошептала хозяйка. — Разве я так уж состарилась?

— Вы прежняя мадонна для меня!

— Ах оставьте, — не без кокетства ответила привыкшая к ухаживаниям трактирщица. — Оказывается, он не изменился! Все такой же женский угодник! — И снова понизив голос, спросила с заботой и укором: — Где вы были так долго?

— Очень далеко. За океаном, если не дальше. Но после возвращения я побывал в вашем заведении...

— Святая мадонна! Быть не может! Вы раните меня вот в эту грудь!

— Я не видел вас здесь, но мне показалось, что я видел кое-кого на баррикаде.

— Вот как? Вы тоже сражались вместе с народом?

— Я был среди парижан, оставив вместе с другом своих лошадей вашему хозяину.

— Он скончался, да примет господь его душу.

— Когда мы с другом забирали лошадей, вас тоже не было здесь.

— Ах, как рассказать вам, любезный гость мой! Он держал меня взаперти в чулане с самого «дня баррикад». Он хотел быть в стороне. Когда надо — с Фрондой, когда надо — с кардиналом. А я... я убегала через окошко в кладовке, чтобы петь с народом песни, верила, что народ скажет свое слово. Вы читали «Мазаринаду»?

— Не только читал.

— Как вас понять?

— Писал.

— Тсс! — испуганно приложила палец к губам трактирщица. — Я готова дать вам снова свежих коней.

— Милая мадонна! Мне ничто не грозит.

— Меня зовут Франсуаза.

— Прекрасное имя! Дочь Франции! Поверьте, великие ее художники станут изображать вас как символ родины, как образ Свободы!

— Я знаю уже, вы можете увлечь любую бедную женщину своими словами.

— Но я хотел бы совершенно обратного!

— Неужели вы как все мужчины! Говорят одно, а добиваются совсем другого!

— Я постараюсь объяснить, даже показать, — и Сирано коснулся спускавшихся на плечи локонов.

К счастью для него, его беседа с Франсуазой прервалась возвращением Пьера Ферма.

Благодушный, начавший полнеть, он вошел, отдуваясь от быстрой ходьбы. Привычно проведя рукой по своим тоже спадавшим на плечи волосам и кивнув Франсуазе, он с улыбкой подошел к Сирано.

— Рад приветствовать вас, дорогой друг. Простите, что заставил вас ждать.

— А как я рад приветствовать вас, метр Ферма, своего поручителя в известном вам деле!

— Судя по тому, что я слышал в замке герцога д'Ашперона, вы оправдываете мои ожидания и, надеюсь, не сожалеете о принятых на себя обязательствах.

И опять Сирано густо покраснел.

— Я сожалею лишь о том, что не застал вашего гостя, которому хотел бы выразить свое почтение.

— Профессора Гассенди?

— Моего учителя, метр.

— Я передам ему ваши слова не позже чем завтра, а сейчас предлагаю подняться ко мне. Вы не против, если госпожа Франсуаза принесет нам вина?

— С вашего позволения, метр, я откажусь. Госпожа Франсуаза уже угостила меня. А мне хочется сохранить для нашей беседы голову ясной.

С этими словами Сирано, покосившись на стойку, за которой стояла хозяйка, снял с головы парик, обнажив облысевший череп с лоснящейся кожей.

Пораженный Ферма поднял брови, но промолчал.

Сирано показалось, что кто-то вскрикнул у него за спиной, но он, поднимаясь вслед за Ферма по лестнице, не позволил себе обернуться, чтобы узнать, достиг ли он желаемого результата, сумел ли разочаровать в себе Франсуазу и самому уберечься от искушения. Встреча с Ферма казалась ему спасением.

В маленькой комнатушке, называемой здесь апартаментами для почетных гостей, с постелью под балдахином (гордостью перебравшегося в столицу трактирщика!) и даже с тазом и кувшином для умывания в углу Пьер Ферма усадил гостя на табурет, сам устроившись на краю громоздкой кровати с резными голубками на спинке.

— Вы удивили меня не столько своим памфлетом о Луне, сколько трактатом по физике. Я сам попутно со службой занимаюсь науками по душевной склонности, преимущественно математикой, но, однако, не чужд и естествознания, требующего опытов. Но какие опыты могли вы поставить, затрагивая глубочайшие вопросы о существе Вселенной, веществе, пустоте?

Сирано понурил голову. Мог ли он рассказать своему поручителю по тайному обществу доброносцев о встрече там с Тристаном, общение с которым заменило ему все мыслимые опыты по естествознанию, мог ли говорить о «посещении» иной планеты Солярии или грезах о ней?

Ферма сам пришел ему на помощь, не требуя ответов на свои вопросы, а предложив Сирано послушать некоторые места из его собственной рукописи, чтобы обсудить высказанные там идеи.

— Я буду читать, а вы послушайте со стороны и постарайтесь воспринять услышанное с точки зрения своих читателей, воспитанных на общепринятых догмах.

Сирано кивнул. Ферма стал читать.

— «Мне остается доказать, что в бесконечном мире заключаются бесконечные миры». Опасное, я бы сказал, утверждение, — заметил Ферма, отрываясь от рукописи, и продолжал: — «Представьте себе Вселенную в виде огромного животного; представьте, что звезды являются мирами, пребывающими в этом огромном животном тоже как огромные животные, служащие, в свою очередь, мирами для различных народов, вроде нас... а мы также представляем собой миры по отношению к мелким животным, которые неизмеримо меньше нас».

Ферма прервал чтение, подняв на Сирано внимательные глаза.

— Как к подобной «ереси» отнесутся отцы церкви и в особенности братья иезуиты?

— Со «святым орденом Иисуса» у меня, признаться, метр, несколько испорченные «денежные отношения».

Но отцы церкви не смогут отрицать существования, скажем, блох, от укусов которых сами страдают и чешутся. И не так уж давно даже при королевском дворе не считалось нарушением этикета равно как обмахиваться веером при духоте, так и почесывать изящной палочкой с бантиком укушенные несносными насекомыми места. А ведь каждое из этих несносных тварей, как бы ни было оно мало по сравнению с телом, на котором гнездится, — это все-таки целый мир! Не так ли, метр?

Ферма расхохотался.

— И у блох могут быть свои блохи, еще меньшие, а у тех еще меньшие!

— Я знаком, метр, с вашим математическим «методом спуска» *, где вы мыслью своей от малых величин переноситесь к еще меньшим. И так до бесконечности. Я использую ваш математический метод в общефилософском смысле, допуская существование вокруг и внутри нас целого мира мельчайших и враждебных нам тварей, наносящих нам вред **.

— Браво, молодой человек! Я недаром поручался за вас. Вы превосходите дерзостью самого Джордано Бруно, который ограничивался лишь крамольным утверждением о населенности людьми иных миров. Вы же «математически» опускаетесь до непостижимо глубоких уровней природы.

— Я только считал, что без математики нельзя познать мир, — скромно заметил Сирано.

— Прекрасно! Итак, математика в ваших устах становится сестрой философии. Так вернемся к вашему «философскому спуску». Вы пишете: «...между ничто и хотя бы атомом такое бесконечное множество градаций, что и самому острому уму не проникнуть в них. Чтобы выйти из необъяснимого лабиринта, надо допустить наличие наравне с богом вечной материи (а тогда нет надобности в понятии бога, поскольку мир мог

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* «Метод спуска» изложен П. Ферма в 45-м замечании к «Арифметике» Диофанта и приведен в авторском примечании «для особо интересующихся» в последней главе романа «Острее шпаги», первого в завершаемой здесь трилогии «Клокочущая пустота» («Гиганты»).

** В Европе в те времена еще не забыли ужасов опустошительных эпидемий чумы, не подозревая, что ее возбудители, невидимые чумные бактерии, разносятся блохами на крысах. Лишь спустя 200 лет будет открыт мир микробов, предсказанный Сирано де Бержераком. *(Примеч. авт.)*

возникнуть без него)... как же мог хаос сам собой организоваться?» Друг мой, вы задаете здесь отцам церкви поистине коварный вопрос! А они, надо вам сказать, не любят, когда их ставят в безвыходное положение, и начинают искать выход «с факелами в руках».

— Я вас понял, метр. Но страшиться их костров — это перестать мыслить.

— В этом вас не упрекнешь, молодой философ! Вы пишете дальше: «Нужно представить себе, что бесконечная Вселенная состоит из бесконечных атомов — весьма простых и в то же время нетленных... все действует по-разному, соответственно своим очертаниям...» Я полагаю, свойствам?

— Да, свойства, определяемые «очертаниями» или «строением» изначальных элементов, которые, в свою очередь, состоят... и так далее, соответственно вашему «методу спуска» *.

— Следовательно, как принято говорить в математике, - резюмировал Пьер Ферма, — человека, по-вашему, нельзя считать центром мироздания?

— Позвольте процитировать самого себя из трактата «Иной свет»: «Неужели только потому, что солнце отмеривает наши дни и годы, можно утверждать, что оно создано для того, чтобы мы не натыкались лбами на стенку?»

— И этот вопрос, дорогой мой философ, кое-кто сочтет за «еретический».

— Так что же нееретично, метр?

— Если не считать Библии в церковном толковании, то, пожалуй, что одна математика, да и то до тех пор, пока мой друг Рене Декарт не взялся доказывать математически существование бога. А в это надлежит верить бездоказательно!

---

* *Примечание автора для особо интересующихся.* Как ныне известно, все атомы состоят из элементарных частиц, лишь небольшое число которых «долгоживущие». Однако по теории фундаментального поля И. Л. Герловина (см.: Протодьяконов М. М., Герловин И. Л. Электронное строение и физические свойства кристаллов. М., Наука, 1975), все виды элементарных частиц, расположенных в таблице по примеру менделеевской, являются модификациями единой первочастицы. Ее предвидел академик М. А. Марков, академик-секретарь отделения ядерной физики Академии наук СССР, назвав ее в своей работе, опубликованной в докладах АН СССР, «фридмоном». По ТФП, и эта первочастица состоит, в свою очередь, из возмущений материального фундаментального поля. Связь этих современных научных представлений с образами Сирано де Бержерака примечательна!

Сирано сокрушенно вздохнул. Ферма вопросительно посмотрел на него.

— Я вспоминаю крушение своей трагедии «Смерть Агриппы», где я ополчился на бездумные верования, — объяснил Сирано.

— Конечно, восстала церковь! Рене Декарт тоже поплатился, попав в немилость к его святейшеству. Впрочем, не вы ли защищали со шпагой в руке творения Декарта от костра изуверов?

— Я уже больше не беру шпаги в руки, заменив ее пером.

— Но перо у вас не менее разящее и куда более опасное, чем былая шпага, судя по уже написанным памфлетам и трактатам.

— Я уже задумал новый трактат.

— Не будет ли он столь же еретичным?

— Разве так уж против истинной веры показать рядом два общества: одно, похожее на наше, земное, где царит несправедливость, и в противовес ему — страну мудрецов, руководимых только благом людей?

— Тогда учтите, что *«несправедливость — обратная стороны выгоды»*.

— Спасибо, метр, за прекрасную мысль!

— Я, как юрист, хотел бы уберечь вас от гонений и запретов, что следует ожидать со стороны церкви и сильных мира сего, оберегающих свою выгоду.

— О метр! Я потерял лучшего друга и советника, с которым вы свели меня в тайном обществе доброносцев, теперь я чувствую замену в вашем лице!

— Я всего лишь даю вам «юридические советы», как избежать осложнений. Живописуя царство несправедливости, представьте его хотя бы «царством птиц», что ли, дабы люди формально не могли быть на вас в претензии.

— Царство птиц? Как в басне! Прекрасная мысль! Благодарю вас, метр! Вы наставляете меня, как ритор! Я постараюсь нарисовать такого «царя-орла», который воплотил бы в себе все ужасы земной тирании и деспотии!

— Оставшись при этом неуязвимым, — с хитрецой вставил Пьер Ферма.

— И как контраст с этим злобным «царством птиц», — увлеченно продолжал Сирано, — я нарисую страну мудрецов, руководимых не выгодой, а общим

благом людей. И в их числе я вижу незабвенного Томмазо Кампанеллу.

— Страна мудрецов? Где вы нашли ее?

— На Солнце, дорогой метр.

— Не слишком ли там жарко?

— Зато нет темноты. Это символ, конечно!.. Недаром несравненный Томмазо Кампанелла назвал свой Город «Городом Солнца». У меня же не только страна, а планета, названная «Солнцем», «Солярией»!

— Может быть, среди ваших мудрецов найдется место и для математиков! Их чистую науку нельзя не уважать.

— Разумеется, метр! Тристан, готовя меня стать философом, в первую очередь приобщил своего ученика к математике. И даже был доволен им.

— Прекрасно! Вы открываетесь мне еще с одной стороны. Не дать ли вам, как другим нашим математикам, одну коварную математическую задачу: доказать простенькую с виду теорему. При вашем согласии, разумеется.

— Охотно попытаюсь это сделать, если мои способности окажутся достаточными.

— Обычно я задаю свои математические этюды, зная их решение, как это делают шахматисты в своих красивых шахматных этюдах. Однако сейчас я еще не знаю, как доказать очевидное: *Нельзя разложить в целых числах ни куб, ни квадрато-квадрат и вообще никакую степень больше двух на два числа в той же степени* *. Мне удалось доказать это лишь для квадрато-квадратов.

— Значит, это не так-то просто, метр. Не сломать бы мне зубы об этот орешек.

— Чтобы узнать, что внутри ореха, надо его раскусить. Если вы решаетесь на это, то условимся о встрече здесь через неделю. И очень хотел бы тогда же узнать побольше и о вашей стране мудрецов.

Сирано был рад увидеться с Ферма еще раз. При этом он сам себе не сознавался, что возможная встреча с Франсуазой так же влекла его сюда.

Однако, сейчас, провожаемый по лестнице Пьером Ферма, он задержался на ступеньках, видя, что Франсуаза собирается отлучиться из-за стойки. Он выждал

---

* Великая теорема Ферма.

несколько мгновений и проскользнул к выходу, надевая на ходу шляпу на свой злосчастный парик.

Проводив гостя, Ферма заказал вернувшейся хозяйке жареного цыпленка на обед.

Когда же она, чем-то расстроенная, принесла ему тушеной баранины, он лишь поднял брови и ничего не сказал.

Он по роду своей основной деятельности умел разбираться в человеческих душах, подумав с улыбкой, что решение математической задачи на этот раз, быть может, послужит человеческим чувствам. И не ошибся.

### Глава пятая

## ТАЙНА СТЕПЕНЕЙ

*Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать.*

Народная мудрость

Как известно, после окончания Тридцатилетней войны в Европе по опустошенным странам бродили разбойничьи шайки под видом нищих, бродяг, отслуживших солдат-наемников и странствующих актеров, в том числе и компрачикосов, похищавших или покупавших детей, чтобы, уродуя их, приспособить малышей для привлекающих толпу зрелищ, перепродавая потом уродцев как шутов или «акробатов без костей».

Одной из жертв этих негодяев оказался маленький Жан, худенький, робкий, забитый и изголодавшийся французик из Эльзаса. Его за небольшую мзду продали кочующим «артистам» отчаявшиеся родители, чтобы прокормить остальных шестерых детей.

Изуверы подготовили Жана для удивительного представления в расчете вызвать восторг зрителей. Им объявят о сверхъестественной остроте слуха мальчика, который услышит, несмотря на поднятый зрителями шум, сказанные кем-нибудь из задних рядов шепотом слова, которые услышать невозможно!

Непритязательная толпа шумела, кричала, аплодировала, стучала ногами и скамейками, орала, оглядываясь назад на вставшего в задних рядах и что-то шепчущего шутника. И ликовала, когда мальчонка с птичьим личиком, остреньким носиком и глазами-бусинками,

стоя на подмостках, слово в слово повторял сказанное, порой даже по-чужеземному.

Озорники потешались, ругаясь на языке сарацинов или турок, а то и произнося непристойности по-французски, мальчик, не понимая даже смысла мерзостей, безошибочно их повторял.

Мужчины и женщины валились с лавок, катались по полу в исступленном хохоте.

Балаганщики были довольны, толпы ломились к ним, и мелкие монеты текли звонкими ручьями.

Как-то на диковинное ярмарочное представление забрел любопытствующий монах-иезуит из монастыря св. Иеронима, отец Максимилиан.

Единственный среди простодушных зрителей, он понял, что мальчик вовсе не обладал феноменальным слухом, а попросту совершенно глух.

Прикинувшись разгневанным, хитрый иезуит явился в балаган и срывающимся фальцетом пригрозил обманщикам разоблачением, ибо мальчик, судя по его произношению, со дня рождения слышал, научившись правильно говорить, а слуха был лишен злодейски своими хозяевами, которые хотели заставить его, ставшего глухим, научиться безошибочно различать звуки по движениям губ.

Предводитель шайки струсил при одном упоминании всесильного ордена Иисуса и поспешно согласился уступить за сходную цену мальчика монастырю. (Разумеется, при клятвенном обещании монаха молчать о раскрытой им тайне.)

Так щуплый глухой Жан стал сначала служкой, а потом послушником в монастыре св. Иеронима.

Отец же Максимилиан-старший (к тому времени появился и Максимилиан-младший) возвысился до казначея и у самого генерала ордена был на хорошем счету.

Шло время. Монахи усердно готовили мальчика к предназначенной ему роли, заботясь прежде всего о воспитании в нем фанатически преданного иезуитам католика.

Отец Максимилиан, обладая добродушным лицом и елейным голосом, с завидной артистичностью разыгрывал отеческое отношение к приемышу, окружая его заботой и даже лаской. Неудивительно, что вскоре он стал для него воплощением доброты и святости. Истово верующий юноша готов был на все ради своего спаси-

теля, избавившего его от побоев и унижений в преступной шайке.

Наконец наступила пора применить необыкновенные способности заполученного иезуитами послушника.

Уверенный, что он служит святому делу, глухой послушник старательно караулил у дома матери Сирано де Бержерака. И когда тот появился там, Жан, узнав по описаниям характерный нос, тотчас сообщил о появлении вольнодумца отцам иезуитам.

Дальнейшее поручение следить за каждым шагом безбожника, оскорбившего святой орден и названного отца Жана Максимилиана-старшего, узнавать каждое произнесенное Сирано слово Жан воспринял как выполнение священного долга.

Взамен потерянного слуха у него выработалось некое «шестое чувство», позволявшее ему безошибочно ориентироваться на улицах. Это позволяло ему незаметно всюду следовать на почтительном расстоянии за Сирано.

Однажды, сопровождая так его, он оказался под лесами строящегося дома рядом с трактиром «Не откажись от угощения!».

Прочесть эту вывеску Жан не умел, но то, что Сирано завернул в трактир, заметил и тотчас же проник туда следом, устроившись за дальним столиком так, чтобы видеть губы Сирано и беседующей с ним трактирщицы.

Произнесенное имя Гассенди напомнило Жану, что отец Максимилиан говорил о нем как об изгнанном из Экса иезуитами профессоре, пытавшемся в своих лекциях по философии разлагать студентов идеями язычника Эпикура. Жан сразу насторожился, а когда узнал, что речь идет о бегстве Сирано от гвардейцев его высокопреосвященства, он восхитился прозорливостью отца Максимилиана, угадавшего в Сирано опасного преступника.

Мог ли знать несчастный глухой истинную сущность происшедшего в Париже, а потом в Альпах несколько лет назад!

Появление судейского из Тулузы, метра Ферма, заронило у Жана подозрение, что перед ним заговорщики, замышляющие недоброе против церкви и короля. К великому его сожалению, они вскоре же укрылись в комнате приезжего наверху, и Жан не мог видеть их губ.

Но и того, что Жан успел узнать, было немало. Из беседы Сирано с Франсуазой он понял безнравственность хозяйки, убегавшей через окошко от законного мужа, чтобы бунтовать с чернью на баррикадах, не говоря уже о ее посетителе, бежавшем с ее помощью от преследователей, посланных кардиналом.

Когда «заговорщики» расставались, они произносили скорее всего тайные слова, упоминая какие-то степени.

Отец Максимилиан, выслушав донесения Жана, заметил, что под степенями, несомненно, разумелись титулы владетельных особ, против которых замышлялось злодеяние.

Отец Максимилиан похвалил послушника за усердие и пообещал, что в случае дальнейших успехов он свезет Жана к знаменитому лекарю в Лионе, который сможет вернуть ему слух.

Радости Жана не было границ. Впрочем, его усердие умножать не требовалось.

Через неделю, даже ранее условленного часа, он уже был в трактире Франсуазы и видел, как обрадовалась она заблаговременному, кстати сказать, приходу Сирано де Бержерака.

Она усадила гостя за столик, хорошо видимый Жану, и сказала с укором, который можно было угадать по тому, как складывались ее губы:

— Отчего вы так быстро исчезли в прошлый раз? Или я вам чем-то не угодила? А ведь в былое время, даже очень спеша, вы все же очень хорошо попрощались со мной! Или забыли?

Сирано покраснел, чего Жан объяснить не мог.

— Моя мадонна! Могу признаться вам, что насколько я торопился в прошлый раз покинуть незамеченным ваш дом, настолько теперь я стремился в него, чтобы увидеться с вами.

— Как понять вас, господин? Вы всегда говорите такими загадками.

— Вы, правы Франсуаза, в отношении загадок, ибо все время, пока я ждал желанной встречи с вами, я посвятил решению загадок.

— Ну вот еще! — воскликнула Франсуаза. — Вам придется объяснить мне это попроще. Я ведь из крестьянской семьи, у нас в доме была всегда одна загадка: как прокормить ребятишек, а нас было одиннадцать.

Вот меня и отдали трактирщику, который, спасибо хоть за то ему, перебил меня у бродячих артистов.

Жан вздрогнул при этих словах, но решил, что враг человеческий хочет испытать его готовность служить монастырю и богу.

К величайшей досаде Жана, Франсуаза наклонилась к Сирано, и они стали шептаться так, что их губ не было видно. О чем они могли говорить? Жан поспешно пересел за другой столик и вновь стал понимать их загадочный разговор:

— Как же вы могли подумать, чуткий господин, что число волос на голове определяет счастье человека?

— Простите, милая мадонна, я хотел уберечь вас от своего уродства, от себя во имя вашего же счастья.

— А вы знаете, что такое счастье?

— Хотел бы знать, моя мадонна!

— Так вы хотите знать, в чем счастье? Я отвечу вам, потому что никогда его не имела и лишь мечтала о нем. И узнала.

— Мадонна! Вашими устами заговорит сама истина!

— Это взаправду истинно, что я вам скажу. Я узнала это там, на баррикаде. Счастье — это Свобода, Равенство, Братство, — и совсем тихо для одного лишь Сирано добавила, но Жан все равно уловил, — и Любовь...

— Так вот в чем Счастье! В Свободе, Равенстве и Братстве?

— И в Любви, — теперь уже громко добавила Франсуаза.

— Вы постепенно открываетесь мне во всей своей подлинной красоте, мадонна Франсуаза! Я боюсь стать слишком частым гостем у вас.

— Почему гостем? Почему только гостем? — краснея и опуская глаза, промолвила Франсуаза и отвернулась, так что Жан перестал ее «слышать».

И тут в трактир вошел к назначенному часу метр Ферма и сразу же опять, к досаде Жана, увел Сирано к себе наверх.

Но если бы каким-либо чудом Жан смог перенестись в комнату Ферма, все сказанное там показалось бы ему иносказаниями, а написанное, если бы он даже знал грамоту, — тайнописью!

— Так что вы уяснили, друг мой, за это время?

— То, что все величины в вашей теореме должны отличаться от нуля.

— Ну это само собой разумеется. Что же еще?

— Пока, метр, мне, безусловно, ясно, что квадрат со сторонами в целых числах можно разделить на два квадрата тоже в целых числах, равно как и линию на два отрезка без остатка. В обоих случаях «плоскостных фигур», то есть умещающихся на плоскости. И в том я усматриваю характерное свойство плоскостных фигур. Этими свойствами уже не обладают на куб, ни квадрато-квадрат, ни невообразимые фигуры более высоких степеней, представить которые недоступно человеческому уму.

— Браво! Вы прекрасно выразили свойства «плоскостных мест»! Познали сокровенную красоту чистой математики!

— Математика действительно прекрасная, метр. Именно поэтому она должна обладать и такой особенностью, присущей всему прекрасному, как *симметрия!*

— Что вы имеете в виду? — насторожился Ферма.

— Я убежден, что диофантово уравнение степеней должно иметь целочисленное решение не только для линий и квадратов, но и для степеней минус единица и минус два.

— Убеждены? — с лукавством воскликнул Ферма. — Убежденности мало, математика требует доказательств. — И он пододвинул Сирано лист бумаги, обмакнул гусиное перо в чернильницу и протянул его Сирано. — Доказывайте!

— Я воспользовался уроками моего ритора и кое-что вывел дома. Постараюсь сейчас вспомнить.

И он стал писать на бумаге ряд формул *.

— Так что же вы тут написали, мой друг? — спросил Ферма, беря в руки исписанный листок.

— Мне кажется, — скромно заметил Сирано, — что ваша теорема не потеряет от некоторого уточнения.

— Уточнения? Вы хотите уточнять точную науку?

---

* Г. И. Крылов, преобразовав диофантово уравнение в биномы, получил формулу, поэтически названную им «ЛЮДМИЛОЙ». (Люда + + Мила), $(|x|+|a|)^n + (|x| + |в|)^n = (|x| + |c|)^n$, где $|a| = |z| - |x|$, $|в| = |y| - |x|$ и $|c| = |z| - |x|$, позволившую ему решать уравнения и с положительными, и с отрицательными степенями.

Э, мой молодой друг! Мне на радость и удивление, вам удалось решить мою задачу. Однако, — поднял он палец, — лишь наполовину! Угадали «подводную часть» моего загадочного корабля, а мачты с раздутыми парусами остаются в тумане. И вы не знаете метра Ферма! Этот хитрюга любит озадачивать людей своими математическими этюдами. Он, видите ли, близок к шахматам, играл и с Рене Декартом, и с кардиналом Ришелье, и особую склонность имеет к древним «масубам», шахматным задачам, испытывает наслаждение, решив их. Так вот, он, этот метр Ферма, не хочет лишать наслаждения математиков, которые, самостоятельно найдя открытое и скрытое Пьером Ферма, получат истинную радость открывателей. Разве это так уж худо?

— Напротив, метр! Это прекрасно! Но это означает, что вы знали об отрицательных степенях?

— Разумеется, мой друг! Они *присутствуют в скрытом виде* в моем кратком, *верном* и лаконичном, как все в математике, утверждении о неразлагаемости в целых числах степеней больше квадрата.

— Как же это может быть? Отрицательное скрыто в положительном?

— Это не более сложно, чем только что сделанный вами вывод. Впрочем, продолжим нашу беседу на языке формул. — И он пододвинул к себе лист бумаги с писчими принадлежностями. — Я для вашего удобства тоже воспользуюсь обозначениями Декарта, а не привычными из алгебры Виета. — И на бумаге под его пером стали появляться аккуратно выписанные строчки формул. — Достаточно, мой друг, привести дроби к общему знаменателю и отбросить его.

— Как видите, — продолжал Ферма, — путем несложных преобразований мы снова приходим к исходному выражению с положительными степенями, хотя начали с отрицательных. Не правда ли? К тому самому выражению, когда целое число, возведенное в степень, может разложиться на два целых числа в той же степени, лишь когда степень эта не больше квадрата. Нельзя представить себе ничего более *очевидного,* но как трудно это доказать. Не знаю, когда мне это удастся. Вот и вы пытаетесь в своем трактате доказать *очевидную мудрость* — жить не по праву силы, а по справедливости, противопоставляя «царство хищных птиц» стране мудрецов.

— Поистине, метр, *подлинно очевидное* все же невидимо для закрытых глаз.

— Что ж, открыть на это людям глаза — одна из главных задач доброносцев, вынужденных пока что держать свои намерения в тайне. Однако не продолжить ли нам нашу беседу внизу за трактирным столом? Госпожа Франсуаза обещала мне угостить нас с вами особым обедом, приготовленным с любовью.

— С любовью? — насторожился Сирано.

— Очевидно, она любит готовить вкусные блюда, — с лукавой улыбкой сказал Пьер Ферма и похлопал Сирано по плечу.

Они спустились вниз, где их уже ждала взволнованная Франсуаза.

Жан пристально наблюдал за вернувшимися «заговорщиками», стараясь хоть что-нибудь уловить из оброненных ими слов.

Франсуаза сама прислуживала за столом, обменявшись с Сирано взглядом, она потом, подходя к столу гостей, не поднимала глаз.

— Итак, дорогой мой друг! — начал Ферма, поднимая кружку вина. — Я предлагаю выпить за отрицательные степени!

— За разложение степеней, метр!

— Ваши кушанья, госпожа Франсуаза, заставляют забыть обо всем, даже о том, что особенно нужно помнить толстеющему человеку! — говорил Ферма, уплетая жаркое.

Жан старался уловить тайный смысл даже в этих словах. А когда Сирано, поднимая следующую кружку за Франсуазу, которую сравнил с мадонной, говоря, что она, казалось бы, далекая от математики, открыла ему поразительную по своей точности и выразительности формулу, и повторил ее: «Счастье — это Свобода, Равенство, Братство... и Любовь», Жан понял, что заговорщический разговор с лозунгами черни, бушевавшей на баррикадах, продолжается.

Отец Максимилиан, которому он потом постарался передать все это, заметил:

— Отрицательные степени? Это, надо думать, отнятые мятежниками титулы и состояния у высокородных господ. А формула их счастья — это призыв к мятежу, поползновение на божественные устои власти и государства. Мы на верном пути, мой добрый Жан! Что же еще говорили смутьяны?

— Они прощались, отец мой. Судейский возвращался в Тулузу. А Сирано де Бержерак обещал подготовить и прислать ему письмо с доказательством чего-то, что он надеялся доказать, и с трактатом о государствах солнца.

— Это несомненный памфлет и теперь уже не на кардинала Мазарини, а на самого короля Людовика XIV, которого уже называют Солнцем.

Жан, издали следуя за Сирано, когда он покинул ставший ему таким родным трактир «Не откажись от угощенья!», отметил необычайную задумчивость «заговорщика», шедшего с опущенной головой.

Из-под стропил строящегося рядом с трактиром дома Жан некоторое время наблюдал за Сирано, потом проводил его до самого дома, где Бержерак уединенно жил вместе с матерью и младшим братом.

Что делал, о чем писал Сирано, тень которого виднелась на стене через окно, Жан не знал и узнать не мог.

Не узнали об этом, к несчастью, и ученые всего человечества, напрасно мучившиеся над вопросами, занимавшими в те дни Сирано де Бержерака.

Своими трактатами «Иной свет, или Государства и империи Луны» и «Государства Солнца» (считавшегося незаконченным) Сирано де Бержерак как бы подготовил почву для восприятия лозунгов Великой французской революции.

Ни о чем этом Сирано, конечно, не думал, он искал математическое выражение того, что сказала ему Франсуаза, и живописал жизнь в стране, где все мыслили бы так, как Томмазо Кампанелла.

### Глава шестая

## НЕСКАЗАННОЕ СЛОВО

*Мысль изреченная — есть ложь!*

Тютчев

Кардинал Мазарини, неутомимый и полный энергии красавец, встал с постели, как всегда, рано и после утомительной, но необходимой для его сана молитвы в присутствии прислуживающего ему капуцина направился в свой деловой кабинет для неустанных трудов во имя короля и блага Франции.

Если блистательный «Пале-кардинал» (дворец Ришелье) как бы олицетворял собой яркий, безудержный нрав всесторонне образованного, дерзкого, отважного, коварного и жестокого герцога Жана Армана дю Плесси, кардинала Ришелье, то совершенно иным был дворец его преемника, сына сицилийского мастерового, былого камердинера, солдата, монаха, проникшего в свиту папского нунция. Замеченный Ришелье, став его секретарем и незаменимым помощником, он наследовал вместе с кардинальским титулом и эту власть патрона.

Парадные комнаты его дворца, куда направлялся Мазарини, отличались намеренной простотой и аскетической строгостью, как и он сам, сочетающий щегольство с показной скромностью кардинальской одежды, алая подкладка которой впечатляла не меньше пурпурной мантии его ослепительного предшественника.

Мазарини обычно избирал путь в свой кабинет через роскошные, но для всех закрытые холодные залы, проходя через которые он равнодушно скользил взглядом по золоченым корешкам редких книг своей знаменитой библиотеки, распроданной было Фрондой, но восстановленной теперь ее владельцем, который, умело скрывая свое невежество, никогда не раскрывал дорогих переплетов. С таким же равнодушием проходил он и мимо потускневших от времени бесценных картин великих художников в золоченых рамах, с пошлой бесвкусицей как попало развешанных в галерее, ведшей в просторный зал, заваленный сложенными в штабеля персидскими коврами, между которыми оставлен был лишь узкий проход в небольшую комнату, где Мазарини обычно задерживался, с наслаждением любуясь золотыми украшениями, бельгийскими кружевами и драгоценными камнями, знатоком которых себя считал. Из этой «сокровищницы» он переходил в другую, где на столе стопками красовались сложенные бумаги — закладные записки должников, которых кардинал ссужал деньгами под ростовщические проценты.

Пройдя этим путем и как бы ощутив свое многомиллионное могущество, Мазарини через низкую потайную дверь проник в свой рабочий кабинет, где его должен был навестить для очередных наставлений юный король Людовик XIV, послушно выполнявший волю матери как в изгнании, так и в обретенной вновь столице.

Королю пришлось, морщась от тяжелого воздуха, пройти через тесную приемную, где, как и при Ришелье,

толпились вельможи и солдаты, торговцы и монахи, а также магистратские, судейские и прочие чины, прибывшие за получением из рук кардинала дипломов на свои должности, приготовив для вручения мзду, положенную курьеру, обычно такие дипломы доставлявшему, чем Мазарини отнюдь не брезговал.

Низко кланяющийся капуцин подобострастно ввел в кабинет юного короля, который привычно подошел под благословение своего первого министра и наставника.

— Ваше величество, — звонко начал Мазарини, — вам надлежит подписать ряд указов, почтительно подготовленных мною в расчете привлечения в наш лагерь былых врагов, доблестно разгромленных Тюреном при взятии Парижа.

— Что это? — с опаской спросил Людовик XIV и поморщился. — Опять тюрьмы, казни?

— О нет, — покойно произнес Мазарини. — Всему свое время, ваше величество. Привлеченный на нашу сторону враг стоит десяти казненных, ибо не просто сойдет с нашего пути, а встанет на нем впереди нас, чтобы ради собственной выгоды истреблять былых своих соратников, верно служа отныне вашему престолу.

— Чем же этого можно достигнуть, ваше преосвященство?

— Милостью и всепрощением, ваше величество, прославлением вашего милосердия. И упомянутой мной выгодой, которую извлекут прежние наши противники, перейдя к нам.

— Мои или ваши? — не без хитрецы спросил юноша.

— Посвятив себя величию вашему, я не могу отделить врагов своих от врагов ваших, но хочу и тех и других сделать покорными слугами короны.

— Поистине я не устаю учиться у вас, мой наставник!

— По моему совету вы простили принца Конде, вы позволили бежавшему из тюрьмы кардиналу Рецу вернуться во Францию частным лицом. Пусть пишет мемуары. Принц же Конде станет блюстителем дворцового этикета, который вы жестоко введете для обожествления короля и укрепления трона*. Поэтому нижайше

* Этикет при дворе Людовика XIV, основанный на чинах или рангах, впоследствии достиг чудовищных по нелепости условностей. Каждый царедворец соответственно своему рангу и присвоенному мундиру имел и положенный ему почет. В обязанности этих гал-

прошу ваше величество подписать несколько указов о помиловании и награждении.

— О награждении? — удивился Людовик XIV. — За что? Кого? Опять того же прощенного только что принца Людовика II Конде? Вы не ошиблись, кардинал?

— Так надо, ваше величество. Вы наградите его не

---

стучников, постельных и прочих «счастливцев», допущенных к особе короля, было ловить каждое его слово, угадывать малейшее желание, стоя в почтительном отдалении, ибо лишь подающий королю во время обеда салфетку его брат имел право сесть на кончик стула по приглашению повелителя. Особо сложный и вычурный ритуал соблюдался при пробуждении короля. Королевская опочивальня приравнивалась к церковному алтарю. Дамы туда не допускались. Они должны были преклонять колена, издали глядя на нее. Раздевали и одевали короля лишь особо знатные вельможи или принцы крови. Входя в опочивальню первыми, эти принцы помогали королю надеть шлафрок и туфли. Затем впускались «титулованные», удостоенные королевских синих мундиров на красной подкладке, они подносили королю остальную одежду. Рубашку и принадлежности для умывания подавали снова принцы крови. Затем допускались и остальные «осчастливленные столь желанным выкриком королевского швейцара» придворные вместе с полковниками лейб-гвардии. Затем наступала очередь молитвы, которую король выполнял педантично, без особой веры, впрочем, как и охотился без склонности к этой «страсти венценосцев» или как без нежности и храбрости одинаково выслушивал и музыку и свист пуль. Но, говоря «Государство — это я!», он, сам заменив на посту первого министра своего почившего учителя, трудился, как и он, в поте лица, вникая в любую мелочь, даже сам подписывая паспорта, скопидомничая по поводу медяков, но не ограничивая миллионных трат на превращение своего Версаля в законодательный центр роскоши и мод для всей Европы, служащего обожествлению «короля-Солнца» с помощью задуманного еще Мазарини «этикета», ради которого создана была целая наука манер: как обращаться со шляпой, приседать, говорить комплименты, ввертывать острые словца («бо-мо») или каламбуры, в скольких шагах от двери кланяться. Так кумир абсолютизма, утвержденного ему усилиями кардиналов Ришелье и Мазарини, успешно овладев преподанной ему «наукой власти», поднятый на раболепной волне, величественно играл роль земного Провидения, предаваясь лишь одной наследственной слабости к прекрасному полу и введя при дворе особый ранг «метресс», которым оказывался почет наравне с их детьми от короля. Однако министрам строго указывалось, что при малейшей попытке любой из них вмешаться в политику она будет изгнана из «версальского рая». Людовик XIV стремился быть виртуозом в «королевском мастерстве», начиная с рассчитанно краткой речи с алмазами слов и кончая гладким как зеркало лицом, на котором никогда не отражались единственные доступные ему чувства: тщеславие и властолюбие. Обученный своим наставником, он и в общении с вожделенными дамами придерживался величавой мягкости и очаровательной суровости и, даже играя на бильярде, сохранял вид властителя мира. *(Примеч. авт.)*

столько за его заслуги, сколько для его стараний и нашей пользы.

И тут Людовик XIV хмыкнул и произнес фразу, вошедшую впоследствии в историю, поскольку он повторял ее не раз:

— Награждают *не за* что-нибудь, а *для* чего-нибудь.

— Мудрейшие слова, ваше величество! Они прославят короля Франции в веках!

Юноша усмехнулся, понял, что наставник доволен своим учеником. И, сев в предложенное первым министром кресло за его столом, стал послушно подписывать один за другим указы.

Мазарини стоял за его спиной и забирал обретшие силу бумаги, передавая их капуцину.

— Вот теперь о вас, ваше величество, будут говорить как о милостивейшем из всех государей, — с поклоном произнес Мазарини.

— А о вас как о мудрейшем министре, которому мне никогда не найти замены, — ответил юный король, вставая.

Мазарини проводил его только до дверей кабинета, и юный король вынужден был, снова морщась, идти, чуть ли не проталкиваясь следом за капуцином, раздвигающим впереди него толпу ожидающих приема. И лишь на внешней лестнице он очутился в окружении ожидавшей его свиты.

Через несколько минут королевская карета со скачущими рядом блестящими всадниками загромыхала по булыжной мостовой.

Мазарини стоял у окна, наблюдая за отъездом короля. Какие всходы дадут зерна, брошенные им в душу юного монарха?

Резко отвернувшись от окна, он дал знак стоящему в выжидательной позе капуцину, и тот ввел в кабинет двух скромных монахов из монастыря св. Иеронима, чем-то похожих друг на друга.

Кардинал уже знал, что это иезуиты, всегда стремился поддерживать с этим опасно влиятельным орденом взаимовыгодные отношения.

— Ваше светлое высокопреосвященство! — сладким тенорком начал отец Максимилиан-старший. — Во имя господа нашего всемилостивейшего и его величества короля, опирающегося на мудрость праведных слуг своих мы прибегаем к вашей незамедлительной помощи, как высшего стража короны, дабы пресечь греховные

замыслы врагов государства и церкви, вероотступников и негодяев, известных нашему ордену.

Кардинал принимал монахов стоя, прижав к груди украшенный бриллиантами крест.

— Во имя Христа, спасителя нашего, готов выслушать вас, верные служители святой католической веры.

— Отец Максимилиан поведает вашему светлому высокопреосвященству о делах столь же греховных, сколь и опасных, — мрачным басом присовокупил младший Максимилиан.

— Я внимаю вам, как слову, господом внушенному.

— Нам удалось установить, ваше светлейшее высокопреосвященство, — вступил снова Максимилиан-старший, — кто вероотступник, уже не раз уличенный и остановленный церковью в своих попытках порочить духовный сан служителей церкви или основы их веры, опирающейся на канонизированное учение древнего философа Аристотеля. К греховной насмешке вольнодумец стремился в своей бесстыдной комедии «Проученный педант» и в еретической трагедии «Смерть Агриппы», а также в стишках против вашего светлого высокопреосвященства и даже ее величества королевы-матери, грязных памфлетах, включенных в недостойную «Мазаринаду». Ныне же этот негодный Сирано де Бержерак совместно с приезжим судейским из Тулузы метром Пьером Ферма замышляет недоброе в кабачке «Не откажись от угощения!», как удалось выследить нашему верному послушнику, который, будучи лишен слуха, умеет понимать слова по движениям губ, о чем мы и спешим донести вашему светлому высокопреосвященству как опоре престола и церкви.

— Полагаем необходимым схватить и казнить заговорщиков, — мрачно добавил младший иезуит.

Мазарини не повел и бровью, лишь переложил крест на груди.

— Святой орден Иисуса отличается решительностью своих действий, — задумчиво произнес он, — что нельзя не оценить. Но... сейчас, отцы и братья мои, иное время, чем в год трагедии на улице Медников.

— Время иное, ваше светлое высокопреосвященство, — пробасил Максимилиан-младший, — но место то же, улица Медников.

— Вот как? Та самая, где кинжал иезуита-мученика Равальяка пронзил грудь короля Генриха IV?

— Именно так, ваше светлое высокопреосвящен-

ство. Он вскочил на подножку открытой королевской коляски именно на улице Ферронвери (Медников), где находится и кабачок, место сбора заговорщиков. И в этом надо видеть перст божий! — елейно произнес Максимилиан-старший.

— Перст божий! — задумчиво повторил Мазарини.

— Воистину так! — гулко прозвучал голос Максимилиана-младшего, — ибо приняв все мучения, Равальяк не смог назвать своих сообщников, руководимый лишь перстом божьим. — И добавил многозначительно: — Недаром регентство матери малолетнего Людовика XIII королевы Марии Медичи после удара Равальяка привело к великой деятельности вашего предшественника, его высокопреосвященства кардинала Ришелье, а вслед за ним и вашу высокую и незаменимую для Франции деятельность.

Мазарини мог бы усмехнуться, но лицо его осталось величаво спокойным, даже строгим.

— Не хотите ли вы оправдать в моих глазах злодейское убийство короля?

— Боже упаси, ваше светлое высокопреосвященство! — воскликнул Максимилиан-старший, укоризненно взглянув на своего спутника. — Но если бы вы выслушали все, что рассказывает наш глухой, но божьей волей «слышащий» без звуков, разбойные слова злоумышленников, то пришли бы в священный ужас, подумав о средствах предотвратить готовящееся новое злодеяние на улице Медников.

— Воистину неотвратим перст божий, отцы и братья мои, — сказал наконец кардинал. — Нам известен былой дуэлянт и убийца Сирано де Бержерак, поднявший оружие против мирных монахов у Нельской башни, воспрепятствовав сожжению книг философа Декарта, осужденных буллой папы; нам известны и гнусные памфлеты Сирано де Бержерака, направленные против нас и ее величества благочестивой королевы Анны. Однако, восстановив в Париже справедливость, мы не сочли нужным преследовать его, ибо волей небес он наказан тяжелой и неизлечимой болезнью.

— И все-таки, несмотря на это, ваше светлое высокопреосвященство, — вставил мрачно Максимилиан-младший, — он снова поднимает свою облысевшую в больнице доктора Пигу голову.

— Я вижу, — усмехнулся Мазарини, — что ничто не скрыто от зоркого ока вашего высокого ордена.

— Ничего, ваше светлое высокопреосвященство, — подтвердил старший монах, опустив глаза.

— Потому мы и надеемся, что через вас, служителя короны и церкви, господь обрушит свою кару на обнаруженных нами преступников, — добавил басом младший монах.

— Ценю ваше усердие, братья по вере, — внушительно начал кардинал. — Передайте генералу вашего ордена наше удовлетворение, однако... высшие соображения, которые руководят сейчас его величеством королем Людовиком XIV, не позволяют нам схватить и бросить на эшафот упомянутых вами уже достаточно провинившегося Сирано де Бержерака и ловкого судейского Пьера Ферма, выгородившего убийцу-гугенота в судебном заседании Тулузского парламента и способствовавшего выигрышу иска грязных крестьян против высокородных господ.

Монахи переглянулись.

— Если вашим светлым высокопреосвященством руководят высшие соображения, то можем ли мы сообщить о них генералу нашего ордена? — вкрадчиво спросил казначей монастыря св. Иеронима.

— Передайте брату моему, генералу вашего ордена, что ныне наступила пора милостей короля, которую нельзя омрачать хватаньем кого-либо по указу короля, простившего и даже наградившего только что принца Конде, стоявшего во главе войск, препятствовавших возвращению его величества в Париж. Можно ли снизойти от имени нашего всемилостивейшего короля до подозрений начисто глухого, по вашему признанию, послушника и казнить какого-то стихоплета и судейского из Тулузы?

— Великая мудрость глаголет вашими устами, ваше светлое высокопреосвященство, — закатив вверх глаза, заговорил Максимилиан-старший. — Но что же посоветуете вы делать слугам вашим из нашего ордена, не услышанным в своем рвении предотвратить несчастье, нам, напрасно стоящим у двери, в которую ломятся убийцы.

— Не вы ли, отцы и братья по вере, упомянули о персте божьем? Велика милость святого в своей юности короля, но милость господня еще выше, — и кардинал многозначительно поднял палец. — Будем молить господа о помощи! Ибо вам известно, что все в его высшей власти, все случающееся на земле: будь то в давнюю

Варфоломеевскую ночь или в печальный день на улице Медников, чего, надо думать, он не допустит ныне в Париже в милостивейшие дни Людовика XIV, — предостерегающе заключил кардинал.

Монахи поникли головами.

— Истинно так, ваше светлое высокопреосвященство, — хором произнесли они. — Все в божьей власти.

— Все! — ясным, чуть повышенным голосом подтвердил Мазарини. — Решительно все во власти господней, даже... несчастные случаи в любом месте Франции, даже на той же улице Медников.

Монахи снова переглянулись и, низко кланяясь, не поворачиваясь спинами к кардиналу, пятясь вышли из его кабинета.

Через толпу ожидающих приема они шли уверенными шагами, зная, что надлежит им теперь делать, «услышав» невысказанное слово мудрейшего из мудрых отцов церкви и государства, чего не уловил бы даже глухой послушник Жан.

### Глава седьмая

## ПОСЛЕДНИЙ СОНЕТ

*Если нельзя бросить голову на плаху, можно бросить плаху на голову.*

По Макиавелли

Дни неистовой, вдохновенной работы настали для Сирано де Бержерака после встречи с метром Пьером Ферма.

Он жил как бы в четырех измерениях: как философ, ищущий причины всеобщего зла; как писатель, создающий картину мудрой жизни счастливых людей, противопоставив ее мрачному царству хищных птиц; как поэт, очарованный внешней и внутренней красотой Франсуазы; и наконец, как математик, увлеченный, казалось бы, такой простой, но неразрешимой задачей метра Ферма.

Чтобы понять все четыре грани Сирано, нужно отыскать их общие корни.

Утро он уделял мудрости, завершая свой трактат «Государства Солнца» (считающийся незаконченным!).

С яркостью и сарказмом баснописца наделял он злобных птиц человеческими пороками и позволил коронованному тирану-орлу приговорить автора повествования к лютой казни, счастливо избежав которую тот попадает в страну мудрецов, где находит среди философов незабвенного Томмазо Кампанеллу. И тот показал пришельцу с Земли воплощенную на планете «Солнце» мечту, получившую на Земле, начиная с «Утопии» Томаса Мора, название коммунистической. Для счастливцев, живущих в таком обществе, земные злодеяния так же далеки и чужды, как людям птичьи нравы.

Ежедневный четырехчасовой труд на благо общества стал любому мудрецу необходимым, как дыхание. Свободное время предназначалось самоусовершенствованию, наукам и искусству. Разумное самоограничение позволяло каждому получать бесплатно все, для жизни необходимое. Богатство как избыток потребного потеряло всякий смысл и презиралось бы, стремись хоть кто-нибудь к этим излишкам в условиях всеобщего изобилия и отсутствия ненужного там денежного обращения. И отпали сами собой споры, вражда и войны. Не из-за чего стало воевать и убивать друг друга. Вообще убийство, одна мысль о чем приводила мудрецов в содрогание, противоречило самой сущности людей той страны. Тем более что им удалось найти способ получения пищи и утоления голода без пожирания трупов убитых для этой цели живых существ. (Как на Солярии, для Сирано незабываемой!) И *счастье* всех людей покоилось там на *свободе, равенстве, братстве* и всеобщей *любви* друг к другу. И не поповская лицемерная «любовь к ближнему» внушила Сирано облик мира «Солнца», а формула Франсуазы, простой француженки из крестьянской семьи, мечтавшей со знаменем в руках на баррикаде о всеобщем *счастье* *.

Эта «формула Счастья» воплотилась у Сирано в его светлую мечту, представляясь ему яркой, наполненной внутреннего содержания и вместе с тем строгой и точной, как математическое выражение.

И, отложив последние страницы трактата, он, словно продолжая его, погружался в дремучий лес цифр, отыскивая тропы закономерностей, ведущих к решению хитрой задачи Ферма.

---

* Лишь спустя полтора века слова «Свобода, Равенство, Братство» стали лозунгом Великой французской революции. *(Примеч. авт.)*

Тупик досадных неудач искушал его надменной мыслью, что «задача Ферма» не имеет практического смысла и подобна развлекательным ребусам, какими тешатся в гостиных *.

Однако скоро эти малодушные сомнения вытеснились ощущением близости волнующего открытия!

Если бы удалось восстановить искания Сирано, то они предстали бы аккуратными строками равенств и неравенств, получающихся при сложении двух наименьших чисел в возрастающей степени и сравнения их суммы с ближайшим значением целого числа в той же степени. То есть увидели бы анализ разложения степеней с выявлением получающихся тоже наименьших остатков.

И Сирано рассуждал, подводя итог своим исследованиям: отрезок прямой линии естественно разделится на два меньших отрезка, ибо все целые числа, выражающие размеры отрезка, возведены лишь в первую степень, то есть неизменны.

Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника нацело делится на квадраты катетов (тоже в целых числах) в соответствии с теоремой Пифагора.

Куб же, уже пространственная фигура с размерами в целых числах может разделиться на два куба со сторонами в целых наименьших числах, однако уже с остатком, равным двум! То есть практически он делится не на два, и на *четыре* куба, поскольку два дополнительных кубика со сторонами, равными единице, и уложатся в остаток, равный двум!

А вот квадрато-квадрат, фигура сверхпространственная, в тех же условиях тоже делится нацело, но уже на шесть квадрато-квадратов (при остатке = 64!).

Дальше же еще занимательнее и многозначительнее!

Пятая степень (при остатке = 2002) разлагается нацело на 13 целых чисел в пятой степени!

Шестая (при остатке = 69 264) — на 48 целочисленных слагаемых в шестой степени!

Становится совершенно очевидным, что число членов многочлена, состоящего из целых чисел в той же степени, что и разлагаемое целое число, *растет* вместе

---

* Такое отношение к Великой теореме Ферма, так и не доказанной нашими современниками, высказывается кое-кем и ныне, но уместно вспомнить о «никчемной» (как считали) математической «теории групп», без которой немыслимо развитие ядерной физики. *(Примеч. авт.)*

со степенью и никак не может равняться двум, что и требовалось доказать в предложенной Пьером Ферма теореме!

О каких же двух слагаемых в той же степени, что и их сумма, может идти речь, начиная с куба? Нужны ли еще доказательства?

И Сирано горько пожалел, что метр Ферма далеко в Тулузе, куда ему не добраться без коня и денег!

А нельзя ли вывести для Ферма формулу, которая отразила бы закономерности, полученные при анализе цифр, притом ввести в формулу лишь одну переменную — показатель степени!

С исступленной настойчивостью принялся Сирано за работу! Формула далась не сразу. Лишь после бесчисленных попыток достиг он желанного ее изящества.

К величайшей своей радости, он увидел, что математическая формула как бы совпадает по форме с определением *счастья* Франсуазы. И Сирано назвал свою находку *«Формулой Франсуазы»!*

$$(2n+1)^n = (2n)^n + (2n-1)^n + n\frac{n-1}{3} \cdot (n-2)^n$$

*«Счастье — свобода, равенство, братство, любовь!»* Почему только до четвертой степени верна формула? Какую закономерность Природы она отражает?

Четвертая степень! Если куб — высота, ширина и длина, то квадрато-квадрат требует еще одного пространственного измерения! И тут Сирано вспомнил о Тристане, о его объяснении свернутой в неком четвертом пространственном измерении Вселенной! Эврика! Нежданно, блуждая в лесу степеней, он получил математическое подтверждение существования четырех измерений нашего пространства!

И Сирано вдруг пустился в пляс по комнате, насмерть перепугав вбежавшую мать и удивив появившегося в дверях младшего брата.

Сирано кинулся на шею матери и стал покрывать поцелуями ее уже морщинистое лицо.

— Нашел! Нашел! — вне себя от восторга кричал он, подобно древнему Архимеду, выскочившему из ванны с пониманием закона, названного потом его именем. И он закружил Мадлен по комнате.

— Остановись же, остановись, Сави! У меня сердце разорвется, — умоляла мать.

— Виват! — восклицал Сирано и, обращаясь к бра-

ту, стал говорить, хотя тот и не подготовлен был, чтобы понять его.

— Ведь никто же не удивляется, что замкнутость Вселенной подтверждается математически при сечении конусов, соприкасающихся вершинами на общей оси. Это доказал Ферма, поворачивая секущую плоскость. Когда она параллельна основанию конусов — получаем окружность, повернем немного — и увидим эллипс, поворачивая еще... ну, поворачивай, — тормошил Савиньон юношу.

— Что поворачивать? — спрашивал тот.

— Плоскость! Плоскость! Ну как ты не понимаешь? По мере поворота секущей плоскости на ней появится все удлиняющийся эллипс. А когда плоскость станет параллельной образующей конуса, ось эллипса как бы уйдет в бесконечность и второго закругления эллипса не будет видно. На плоскости останется лишь часть эллипса в виде параболы!

— Я обязательно когда-нибудь пойму это, — пообещал юноша.

— И ты поймешь, что стоит еще немного повернуть секущую плоскость, и эллипс вернется к нам с противоположной стороны, но теперь уже в виде гиперболы! И минус бесконечность оказывается равна плюс бесконечности, которые едины, находясь на противоположной точке исполинской сферы или какой-то другой замкнутой фигуры (он вспомнил объяснение Тристана о кольце Вселенной с внутренним отверстием, равным нулю!).

— Как я бы хотел это понять!

— Не все поймут, не все сразу поймут, но метр Пьер Ферма, конечно, поймет Наш мир, наша Вселенная распространена еще в одном направлении (измерении!), в котором и замыкается! И формула Франсуазы неумолимо утверждает это, иначе она не давала бы для разложения степеней верный результат для всех четырех степеней! Виват! Матушка, не угостишь ли ты нас по этому поводу вином?

Он увидел, как смутилась Мадлен, не имевшая в доме никаких запасов, ее выручил стук в дверь.

— Войдите, — крикнула она, — не заперто!

Но стук повторился.

— Входите, кто бы вы ни были! — закричал Савиньон.

И опять раздался настойчивый стук.

— Что за чертовщина! — воскликнул Савиньон и, подбежав к двери, распахнул ее.

На пороге стоял незнакомый молодой человек с узким лицом, птичьим носиком и поблескивающими черными глазками.

— Мне поручено сказать господину Савиньону Сирано де Бержераку, — пожалуй, слишком громко для комнаты произнес он, — метр Пьер Ферма из Тулузы прибыл в Париж, будет ждать его завтра в полдень в трактире «Не откажись от угощения!», что на улице Медников.

Произнеся это и как бы оборвав себя, незнакомец резко повернулся и зашагал прочь.

— Куда же вы, куда? — закричал Савиньон. — С хорошими вестями гонцы так просто не уходят!

Но незнакомец даже не обернулся.

— Беги, догони его, — сказал Савиньон брату.

Но Мадлен остановила младшего сына.

— У нас нет ни пистоля, чтобы наградить его за известие, как бы оно ни было желанным, Сави.

Савиньон поник головой, еще некоторое время провожая глазами удаляющуюся по улице фигуру.

Внезапно фигура обернулась и крикнула:

— Мне так приказано передать! — И скрылась за углом.

— Прекрасно приказано! — потирая руки, говорил Савиньон. — Прекрасно приказано! Вы великолепно приказали, метр Ферма, и я постараюсь завтра обрадовать вас!

Мать радостно смотрела на старшего сына. Она так хотела ему счастья. Она даже сказала это слово.

Савиньон в ответ воскликнул:

— Счастье? О, я знаю его суть. Мне рассказала об этом несравненная мадонна, которую я завтра увижу.

— Дай-то бог, — промолвила Мадлен, вознося мысленно молитву. — Я так желаю тебе с ней счастья.

Как это матери умеют читать в сердцах детей, хотя бы те и не проговорились о своих чувствах.

— Как ее зовут, Сави? — спросила она.

— Франсуаза! Я посвятил ей математическую формулу, но сегодня ночью посвящу ей сонет!

— Как хорошо. Ты давно не писал сонетов, а они у тебя всегда такие сердечные, за душу трогающие.

— Не знаю, не знаю, чью душу они тронут, но свою душу я в него вложу.

И после бессонной, но радостной ночи Сирано сложил свой сонет, переписав его на лучшей бумаге, подаренной еще герцогом д'Ашпероном.

ДЕНЬ БАРРИКАД

*(Франсуазе)*

Теперь я знаю, что за сила
К тебе магнитами влечет:
Улыбкой солнце ты гасила
И обнажала чуть плечо.

Волшебница, Мадонна, Фея!
Созвездий дальних нежный свет!
Но... ни о чем мечтать не смея,
Пошел я за тобою вслед.

И повстречал на баррикаде,
Вверху, со знаменем в руке.
Народный гнев, свободы ради,
Вздымала ты, как вал в реке.

К чертям всех бар! Бар — в гарь и ад!
Народ, вперед! День баррикад!

Наутро свежий, бодрый, словно и не проведший ночь без сна, Сирано спрятал в сумку свои бумаги с «формулой и сонетом Франсуазы», торопясь выйти из дома, словно до полудня оставались считанные минуты.

Правда, ему предстояло пройти через весь Париж с окраины, где ютились де Бержераки после пожара их шато в Мовьере. Шел Сирано в столь же приподнятом настроении, как и после первой подаренной ему Лаурой ночи неистового счастья. Теперь он снова летел, едва не отрываясь от земли, как при потере веса в ракете Тристана. Припрыгивая при каждом шаге и что-то напевая, он встречал не удивленные, а приветливые взгляды милых, любезных прохожих. Куда только делись озабоченные горожане, сторонившиеся скачущих всадников и карет с гербами. Сирано казалось, что все, все готовы заключить его в объятия, разделить с ним торжество по случаю сделанного открытия и радость предстоящих встреч с метром и с женщиной, обещающей ему счастье и не отвернувшейся от него ни прежде, ни теперь. И с удесятеренной силой готов был Сирано отдавать всего себя служению людям.

Конечно, он доберется до улицы Медников раньше назначенного срока, можно посидеть на берегу Сены, побродить по знакомым улицам, полюбоваться Лувром и Нельской башней, вспомнить былое.

В этот день, как и 45 лет назад, в Париже цвели

каштаны. Сирано вдыхал их пьянящий аромат, и ему казалось, что они расцвели именно для него.

Улица Медников не стала шире с траурного для Франции дня 14 мая 1610 года, когда по ней между повозками едва продвигалась королевская коляска, на подножку которой вскочил натравленный иезуитами на Генриха IV злосчастный Равальяк, ударом кинжала покончивший с неугодным королем. Теснота здесь прежняя, как и почти полвека назад.

Сирано приходилось пробираться у стен домов. Он приближался к трактиру ровно в полдень, решив на этот раз встретиться с Франсуазой уже после того, как метр Ферма узнает о «формуле Франсуазы» и одобрит открытие, и эту победу он поднесет Франсуазе.

Повозки словно нарочно сгрудились здесь, не позволяя Сирано обойти соседний с трактиром строящийся дом. Сирано не мог ждать, пока переругивавшиеся возницы расцепят наконец колеса своих повозок и освободят проход. Он скользнул под строительные леса стройки, где возводили уже крышу.

На улице стоял такой шум и крик, как в Мовьере, когда горел шато отца. Савиньон вспомнил, как пробирался он тогда в горящий дом, чтобы вынести маленькую сестренку. Огненная балка свалилась тогда прямо перед ним, чудом не задев его.

И в то же мгновенье, словно повторяя минувшее, балка, на этот раз не объятая пламенем, однако не менее тяжелая, свалилась с крыши, но не перед Сирано, а расчетливо прямо ему на голову.

Замертво упал философ и поэт на землю. Шляпа, залитый кровью парик и сумка отлетели в сторону.

На улице не сразу заметили происшествие. Однако ругавшиеся возницы вдруг расцепили колеса и разъехались.

Первым к ушибленному Сирано подбежал сердобольный монах и заботливо склонился над ним, зачем-то пододвинув шляпу с париком и оттолкнув сумку с бесценными рукописями.

Как всегда в таких случаях, около потерпевшего собралась толпа зевак. Кто-то грозил кулаком рабочим на крыше, уронившим балку, одни предлагали вызвать лекаря, другие считали, что нужен не лекарь, а священник, чтобы умирающий успел покаяться и не попал в геенну огненную. Монах, первым подоспевший на место происшествия, согласно кивнул головой в капюшоне

и растворился в толпе. Наконец решили попросить убежище для пострадавшего в соседнем трактире.

Через минуту оттуда выбежала встревоженная Франсуаза и, узнав распростершегося на земле Сирано, с рыданьем бросилась к нему, прикрыв его лицо своими распустившимися волосами.

Ее едва оттащили, чтобы перенести тело в трактир.

Франсуаза предложила лучшие апартаменты для приезжающих, где она будет выхаживать пострадавшего. Вносили безжизненного Сирано неуклюже, толкаясь и мешая друг другу. В особенности на лестнице.

Франсуазе сунули в руки шляпу с испачканным кровью париком.

Сумка исчезла.

И никогда ее содержание не стало достоянием людей, так ничего и не узнавших ни о «формуле Франсуазы», ни о четвертом пространственном измерении, ни о последнем сонете Сирано де Бержерака...

Тяжкие дни наступили для безутешной Франсуазы, которая с нерастраченным своим женским чувством пыталась спасти не приходившего в сознание Сирано. Надежды на его выздоровление лекари Франсуазе не оставили.

В своей благостной заботе о душе погибающего в трактир из монастыря св. Иеронима пришел аббат, отец Максимилиан с жирным печальным лицом и опущенными глазами, дабы принять покаяние умирающего.

Бедная женщина, подойдя под благословение иезуита, не подозревала, что вынуждаемое монахом у Сирано покаяние будет последним уничтожающим ударом церкви по вольнодумцу Савиньону Сирано де Бержераку.

Монах с послушником остались в трактире дежурить день и ночь в ожидании, когда несчастный придет в себя, чтобы окончательно быть раздавленным святой католической церковью.

Франсуаза, наивно верующая, воспитанная в почитании священнослужителей, больше всего теперь боялась, что Сирано умрет без покаяния и попадет в ад. Когда он открыл однажды глаза, она обрадовалась за него, словно он встал на ноги.

Два месяца пролежал он без сознания в ее постели, ощущая, но не воспринимая первую в его жизни женскую ласку и заботу.

Франсуаза нагнулась к нему, заметив, что губы его шевельнулись.

— Что со мной? Где метр Ферма? Откуда ты, Франсуаза?

— Я все время с тобой после того, как бревно свалилось с крыши соседнего дома тебе на голову, мой любимый. А метр Ферма обещал приехать только осенью.

— Все ясно! — сказал Сирано и закрыл глаза.

Отец Максимилиан, предвкушая неотвратимую победу над духом вольнодумца, прислал послушника узнать, готов ли больной к исповеди, поскольку услышал, что Франсуаза разговаривает с ним.

Франсуаза склонилась к лицу Сирано, умоляя принести покаяние почтенному аббату из монастыря св. Иеронима.

Послушник ждал его согласия, чтобы позвать отца Максимилиана.

Губы Сирано зашевелились, но Франсуаза не могла уловить ни звука и в отчаянии обернулась к послушнику.

Неведомо как, «очевидно, велением свыше», как подумала бедная Франсуаза, послушник понял, что шепчет Сирано, и громко, излишне громко, так, что даже отец Максимилиан за дверью услышал, повторил, казалось, непроизнесенные слова:

У клира — Пиррова победа!
Не дам попам души своей!
Смертельного добились бреда,
Но смертный смерти все ж сильней!

Франсуаза в ужасе посмотрела на послушника, осмелившегося произнести эти кощунственные слова, а тот, закрыв узенькое лицо ладонями, с рыданьем выбежал из комнаты, столкнувшись в дверях с отцом Максимилианом, жадно ждавшим своего часа.

Но иезуит этого часа не дождался.

Савиньона Сирано де Бержерака не стало...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

*Отрицая бессмертие, обрел его.*

Герцог д'Ашперон,
Великий Вершитель Добра

Сирано де Бержерак заботой друзей, главным образом Кола Лебре, был похоронен в родном местечке Мовьер, рядом с могилой старого кюре, своего первого наставника.

Похороны были скромные. Новый кюре предусмотрительно опоздал на кладбище, боясь мести иезуитов. Шел унылый дождь.

Гроб, украшенный не цветами, а принесенными крестьянами спелыми колосьями нового урожая, опустили в свежую мокрую яму, когда, разбрызгивая лужи, подъехали одна за другой две кареты.

В одной вместе с Ноде прибыл герцог д'Ашперон, а в другой — неизвестная знатная дама.

Поспешивший к ней навстречу галантный Ноде помог ей, как старой знакомой, сойти на землю и, обходя грязь на тропинке, повел ее к могиле, на краю которой стояла Франсуаза.

Платных плакальщиц не нанимали. Две женщины рыдали от всего сердца, заменив разбитую ударом при известии о гибели сына его мать Мадлен-де-Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак. Ее выхаживал младший сын.

Несмотря на слезы, Франсуаза украдкой взглядывала на скрытое мантильей лицо незнакомки, и когда та, чтобы вытереть платком заплаканные глаза, приоткрыла мантилью, успела заметить жаркую красоту испанки, снова скрывшейся за мантильей.

Немногие друзья прямо с кладбища отправились к Кола Лебре, в его лавочку, рассуждая по дороге, кто бы это могла быть. Называли принцессу Монпансье, графиню де Ла Морлиер, старую баронессу де Невильет или даже герцогиню де Шеврез. Для Франсуазы все они были одинаково ненавистны, и она даже на холмик, возникший над могилой, смотрела с неукротимой ревностью.

Незнакомку узнал только один писатель Ноде, который даже герцогу д'Ашперону не сказал об этом, больше того, он не решился бы признаться в том самому Сирано, встань вдруг тот из могилы.

Молча ехали они с герцогом д'Ашпероном в его карете вслед за каретой незнакомки.

— Какой был человек, ваша светлость! — вздохнул Ноде. — Какой человек! Монахам так и не удалось уломать его.

— Сломать его им удалось, — отозвался герцог, — но не сломить. Я помогу Кола Лебре издать его трактат. Тогда о нашем Сирано можно будет сказать: «ОТРИЦАЯ БЕССМЕРТИЕ, ОН ОБРЕЛ ЕГО».

— Как жаль, что его так широко задуманный трактат «Государства Солнца» остался незаконченным.

— Будущие поколения закончат его, — задумчиво произнес Великий Вершитель Добра. — Мечта о светлом непременно осуществится, если человечество не истребит само себя. Однако, друг мой Ноде, вы в своей неисправимой галантности расточаете любезности даже незнакомым дамам, — неожиданно переменил тему разговора герцог д'Ашперон.

— Нет, почему же... — начал было Ноде, но осекся.

Герцог д'Ашперон понимающе улыбнулся и, откинувшись на спинку сиденья, замолчал.

Кареты въехали в Париж.

## ЭПИЛОГ

Умер герой, умер философ, умер поэт!

Молва приписывала ему прежде всего черты забияки-дуэлянта, становясь в тупик перед нежданной переменой, когда он оставил шпагу для науки, литературы, поэзии. По-разному старались это объяснить различные биографы, подчас пренебрегая одной из самых удивительных загадок, связанных с Сирано де Бержераком, его поразительными знаниями достижений нашей цивилизации, так далекой для XVII века. При этом без всякого внимания относились к свидетельствам самого Сирано де Бержерака, уверявшего в своих трактатах, что со всеми удивительными вещами, которые должны были поражать его современников (но поражают и нас три с половиной столетия спустя), его познакомил... инопланетянин!..

В прологе к последнему роману о Сирано я рассказал о своей несостоявшейся встрече с французским журналистом, которую автор с помощью воображения представил себе.

Но я остался бы в долгу перед читателем, если бы не рассказал о подлинной встрече с французским писателем, которая все-таки состоялась, когда роман уже был завершен.

Она состоялась осенью 1984 года в Доме дружбы, но не в самом особняке, принадлежавшем когда-то Савве Морозову, а в примыкающем к нему здании, ставшем филиалом Дома дружбы, в уютной гостиной с располагающей к беседе мягкой мебелью.

Мы вчетвером, три писателя-фантаста и бывший редактор журнала «Изобретатель и рационализатор»,

представитель Союза журналистов СССР Рем Щербаков, ждали приехавшего из Парижа заместителя главного редактора популярного журнала «Сьянс э ви» («Наука и жизнь») господина Жана Рене Жермена.

Французские гости задерживались в Звездном городке, где их радушно принимали космонавты.

По телефону сообщили, что они уже выехали, а их все не было. Один из моих друзей сидел, как на угольях, у него были какие-то дела, и он, увы, ушел, так и не дождавшись французов, вернее, француза и его советского провожатого, служившего ему переводчиком.

Впрочем, переводчика ему даже и не требовалось. По какому-то совпадению или наитию (прошу читателя поверить мне безусловно, что пролог был написан почти за год до этой встречи!) Жан Рене Жермен говорил по-русски (как мой воображаемый Жюль де Вернон из пролога), более того, он тоже был женат на француженке русского происхождения!

Обо всем этом я узнал, когда наш гость уже беседовал с нами: со мной и с представителем Союза журналистов и моим соратником фантастом-философом.

Его особенно интересовал вопрос о внеземных цивилизациях, о возможных контактах гостей из космоса с нами теперь или в древности. Его интересовал еще весьма щекотливый вопрос: верим ли мы, советские фантасты, в то, о чем пишем? То есть допускаем ли мы реальность своих фантастических допущений?

Фантаст-философ, косясь на включенный гостем магнитофон, ответил, что литература есть литература, у которой свои законы вымысла, и он не считает себя больше, чем литератором.

Я ответил, что пишу свои научно-фантастические романы, твердо уверенный в их реалистичности, касаются ли они космических контактов, технических достижений будущего или исторических событий.

Рене Жермен словно ждал этих слов и сразу перешел на Сирано де Бержерака. (Я не говорил нашему французскому гостю, что занят этой романтической фигурой).

— Знаете ли вы, — спросил меня господин Жермен, — что Сирано описал и электрические лампы, и радиоприемник, и даже телевизор? Может быть, не подозревая о назначении описанных вещей, — добавил он.

О нет! Здесь у меня твердое представление о Сирано де Бержераке, весельчаке, насмешнике и провидце.

Смеяться-то он смеялся, однако предвидел будущее для того, чтобы осмеять свою современность (кстати говоря, кое в чем перекликающуюся даже с нашим временем!).

Жан Рене Жермен с гордостью отозвался о французском поэте Эдмоне Ростане, воспевшем в своей знаменитой трагикомедии «Сирано де Бержерак» легендарного героя.

— Впрочем, — заметил он, — Ростан скорее занял для своего романтического персонажа это имя, не претендуя на изображение его точной биографии. А вы? — спросил он меня, уже зная о моей работе.

— Следую примеру вашего классика, господин Жермен. Но вижу своего Сирано де Бержерака не только драчуном с длинным носом, но и философом, писателем, героем своего народа, поэтом, наконец!

— А его загадочные знания?

— Мой роман о Сирано де Бержераке, вернее, два романа о нем, потому и являются научно-фантастическими, что допускают фантастическую гипотезу, объясняющую происхождение этих загадочных знаний, впрочем, не более фантастическую, чем предложил сам Сирано, описывая свою встречу с Демонием Сократа.

— С инопланетянином? — живо спросил Жермен. — Значит, вы действительно верите в инопланетян?

— «Которых... видел д'Артаньян», как пошутила наша газета «Комсомольская правда», дав в 1982 году такой заголовок к беседе со мной.

— Как так д'Артаньян? — удивился француз.

— Так ведь д'Артаньян и Сирано были современниками. И кто знает...

— Ах да! — рассмеялся Жан Рене. — Это очень хорошо звучит по-русски. Как это сказать? В рифму... стихи, которые вы сочиняли за Сирано де Бержерака.

— Но которые мог бы сочинять герой романа, каким представил его себе фантаст.

— И вы верите, что Сирано мог общаться с инопланетянином?

— Не верю, а убежден.

И это правда! Однако в остальном образ Сирано отнюдь не документален, принадлежа гипотетическому персонажу фантастического произведения.

*Конец*

*1982—1985 гг.*
*Москва — Переделкино*

# БОЙ БЕЗ ШПАГИ

## (О трилогии А. П. Казанцева)

Признанный мастер научно-фантастических романов, повестей, рассказов, за свои гипотезы прозванный «генератором идей» и «возмутителем спокойствия», Александр Петрович Казанцев родился в 1906 году в городе Акмолинске (ныне Целиноград), а в 1930 году окончил Томский технологический институт. Он работал инженером, много изобретал, возглавлял созданный им во время Великой Отечественной войны НИИ, победу встретил уполномоченным ГКО СССР в звании полковника.

Широкое признание принес автору его первый роман «Пылающий остров», который печатался не только в «Пионерской правде» (1940 г.), увлекая воображение ребят, помогая некоторым наметить жизненный путь, но и в «Юманите» (1956 г.), явившись острым политическим оружием (памфлет!).

А. Казанцев создал серию романов о великих преобразованиях лика Земли («Мол Северный», «Полярная мечта», «Подводное солнце». Последний вместе с романами «Арктический мост» и «Льды возвращаются» составил трилогию — своеобразный гимн созидательному труду). Завершил писатель и серию произведений, насыщенных космической романтикой (повести «Лунная дорога», «Планета бурь», романы «Сильнее времени», трилогия «Фаэты»). Его перу принадлежат и сборники полярных новелл и рассказов о необыкновенном. В их числе и знаменитый рассказ «Взрыв» (1946 г.) с гипотезой о гибели в 1908 году над тунгусской тайгой инопланетного корабля. Кроме того, будучи международным мастером по шахматной композиции, Казанцев изобрел синтез художественной фантастики и шахматного этюда (книга «Дар Каиссы»). Наведение мостов между Западом и Востоком дало второе дыхание роману «Арктический мост» в новой редакции — книге «Мост дружбы». Интересен роман «Купол надежды», посвященный теме уничтожения голода на Земле с помощью создания искусственной пищи Многие герои Александра Казанцева пополнили ряды положительных героев советской литературы.

Неиссякаемая фантазия влечет фантаста и в прошлое, где он ищет и находит волнующие загадки и вызывающие восхищение образы.

Так появилась трилогия «Клокочущая пустота» («Гиганты»), открываемая романом-гипотезой «ОСТРЕЕ ШПАГИ» (1982—1983 гг.) о магистре Прав, Чисел и Поэзии, великом французском математике Пьере Ферма и его знаменитых современниках.

«Это роман-фантазия о прошлом, об эпохе Ришелье — Мазарини, — говорит Казанцев. — Под влиянием Дюма у многих сложилось представление, что это была эпоха дуэлей и придворных интриг. В действительности это было время борцов за социальную справедливость и великих умов, заложивших основы современной науки. Таких, как Пьер Ферма, отец и сын Паскали, Торричелли, Декарт, Гюйгенс, Мерсенн... Конечно, их пытливая мысль была острее самой острой шпаги».

Образ создателя знаменитой теоремы Ферма — значительное достижение Казанцева, получившего за свой роман премию — «лучшее произведение года» журнала «Молодая гвардия» (1983 г.). Писатель показал оригинального, остро мыслящего человека, в котором доброта и скромность сочетались с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Разносторонне образованный знаток нескольких языков и античности, мира чисел и юриспруденции,

Пьер Ферма был гением своего времени, изящно и просто выводя стройные формулы, постигая глубины математической науки, но не записывая выводов своих находок, а лишь предлагая современникам пройти его путем, что оказалось не всегда осуществимым не только в ту пору, но и по сей день. А для него самого столь же свободно и естественно было как подарить любимой Луизе сонет «Сны — только сны», вдохновенно созданный им, так и обосновать путем математической логики раскрытие преступления. Теория вероятностей, смело примененная Ферма в юридической практике, придает повествованию черты своего рода научного детектива — от латинского «раскрываю, разоблачаю». Трагическая судьба героя, до конца не понятого даже своей женой Луизой, обреченного коварством «серого кардинала» Мазарини на преждевременную смерть, озарена высоким светом научного поиска. Математические идеи Ферма, его так называемые «этюды», практически бессмертны, продолжают тревожить умы.

Автор широко пользуется правом художника на вымысел, создавая новаторскую «гипотетическую» разновидность жанра научно-фантастической литературы.

В романе «Колокол Солнца» Казанцев обращается к годам юности одного из удивительнейших людей XVII века — французского писателя и вольнодумца Сирано де Бержерака, чьи труды содержат совершенно необъяснимые для того времени знания. Его имя не случайно стало символом борьбы за свободу и справедливость и послужило названием газеты французского Сопротивления в период фашистской оккупации, о чем в прологе к роману вспоминает Казанцев. О личности самого Сирано известно не так уж много. В знаменитой героической комедии о нем Э. Ростан нарисовал романтически приподнятый красочный образ поэта и дуэлянта. Советский фантаст, отдавая дань уважения французскому драматургу, по-иному видит характер Сирано де Бержерака и, взяв за основу некоторые штрихи его жизни, восполняет недостающие звенья с помощью воображения. Он неоднократно прибегает к фантастическому допущению, создавая не подлинную биографию героя, а выдвигая свою гипотезу развития событий.

Таким путем идет писатель и в создании образов других персонажей произведения, имеющих исторические прототипы. Особое внимание уделяет он итальянскому философу и поэту Томмазо Кампанелле, провозвестнику утопического коммунизма, который в своем прославленном утопическом трактате «Город Солнца» рассказал об идеальной общине, организованной на коммунистических началах. Кампанелла — в переводе Колокол, и поэтому заглавие романа символично, как и сам этот герой, своей фантазией обогнавший эпоху. Он играет существенную роль в развитии сюжета и в становлении взглядов Сирано, который из лихого дуэлянта и отчаянного спорщика, стихийно протестующего против клокочущей вокруг него пустоты светского салонного быта, становится сознательным борцом за идеалы справедливости и добра.

Зрелая деятельность неистового дуэлянта Сирано де Бержерака, сменившего шпагу на острое перо и активно сражающегося лишь своими произведениями с косностью, жестокостью, деспотизмом властей, мракобесием церковников, освещена в следующем романе-гипотезе «Иноживтель». Казанцев стремится придерживаться правды развития характера, изображая главного героя человеком страстным и бескорыстным, одаренным и искренним, одержимым жаждой знаний и порывами любви, желанием служить добру и людям, переживая яркие взлеты и горькие разочарования. «Мне — ничего, а все, что есть, — другим!» — таков его поэтический девиз.

Если сравнить трилогию «Клокочущая пустота» с предшествующими произведениями автора, то можно заметить в его творчестве своеобразную метаморфозу, подобную той, что произошла с его героем Сирано де Бержераком. Она сказывается не только в обращении к прошлому (были и «Фаэты» с древними майя и инками!), а прежде всего в языке писателя. С первых страниц романа «Острее шпаги» он благодаря изысканно длинным красочным фразам, передающим ощущение чисто французской тонкой иронии и доброго юмора, переносит читателя из телеграфно-лаконичной современности в другую эпоху. Более того, в Казанцеве неожиданно раскрывается одаренный поэт, берущийся рисовать образы давних поэтов через якобы «сочиненные» ими произведения, не просто старомодные (сонеты), но изящные, тонкие и проникновенные, совершенно различные у Пьера Ферма (не только математика, но тоже поэта!), Томмазо Кампанеллы и Сирано де Бержерака, особенно

ярко обрисованного через «собственное» творчество. Кроме того, на страницах литературного произведения автор проявляет себя как недюжинный математик, отдающий собственные исследования своему герою, изобретя (неугомонный изобретатель!) новую форму «примечаний для особо интересующихся» (что не тормозит сюжетного действия). Сразу после первой публикации романа у многих читателей возник взрыв энтузиазма и стремления к собственному творчеству в математике, о чем красноречиво говорит обилие читательских писем и исследований. По существу, Казанцев, опять подобно своему Сирано, бросил вызов и названиями книг своей трилогии («Клокочущая пустота», «Острее шпаги», «Иноживель»), и идеями героев, противостоящими мнениям маститых ученых, поставивших крест на попытках повторить неуловимое доказательство Великой теоремы Ферма, бинома Ферма, таблицы Пифагоровых троек с новой теоремой о них. Вызов литератора брошен также и таким писателям прошлого, как Эдмон Ростан и сам Александр Дюма-отец! Казанцев смелее, а главное, глубже показывает эпоху и внутренний мир ее современников. Легче всего ему было бы сказать, что его герой увлекался математикой и даже нечто сделал в этой области или не был чужд поэзии. Но Казанцев избирает труднейший новаторский прием — показать героев через их «собственное» творчество и в математике, и в поэзии, а также в философской публицистике. Мелькнувшая, но запоминающаяся фигура Мольера подчеркивает причастность Сирано к театральному искусству, которое опять-таки служит его высоким целям.

Строя то или иное предположение, Казанцев верен себе и всегда отталкивается от реального момента — факта истории, документа мемуариста, запечатленного в литературе свидетельства самого персонажа. Эти порой скудные материалы он дополняет творческой фантазией. Дерзновенные гипотезы, выдвигаемые им для раскрытия тайн прошлого, проясняют круг вопросов, которые, несомненно, заинтригуют читателя.

Героев романа окружает живописный мир, воспроизводимый образным словом художника. Достаточно вспомнить, казалось бы, проходные эпизоды морского путешествия турецкой фелюги с двумя гробами, когда герою «виделись нависшие тучи над бегущими с **бычьей яростью седогривыми холмами**, грозящими в щепы разнести суденышко» (подчеркнуто мною. — **И. С.**). Сколько выразительной экспрессии и в «бычьей ярости», и «седогривых холмах»! Запоминается и картина Тулонского порта, где порой одним словом автор создает характерный художественный образ.

Наряду с художественной достоверностью деталей, ощущению правдоподобности произведений помогают казанцевские прологи и эпилоги, где присутствуют реальные люди современности. Нельзя не отметить глубокий смысл, заложенный в блистательно подобранных эпиграфах. Недаром некоторые читатели переписывают их, как откровения тысячелетней мудрости.

Вместе с тем, прочтя романы о Сирано де Бержераке, современнике Ришелье, с удивлением замечаешь, что главный персонаж, хотя и облачен в исторический костюм, но по взглядам, делам и идеалам своим принадлежит к нашему времени, является его героем. И прежде всего героем для молодежи, притом не только для части ее, изверившейся и скучающей в поисках цели и «образца» для подражания, частенько заимствуемого с кумиров эстрады, но и для тех наших молодых людей, которым созвучны романтика и поэзия, героизм и отвага и жадно-ненасытная любовь к знаниям и исканиям, приближающим грядущее, куда так удивительно заглядывал Сирано де Бержерак.

Увлекательно следить за стремительной цепью событий повествования, за яростным столкновением в нем сил добра и зла. В острых перипетиях сюжета выявляются характеры друзей главного героя, его учителей и единомышленников — Лебре, Гассенди, Ферма, Тристана Лоремета. Гуманизмом проникнута «Миссия Ума и Сердца», которую якобы вершит на Земле последний из названных персонажей — посланец далекой планеты Солярии. Здесь уместно упомянуть, что сам Сирано де Бержерак в своем трактате отождествляет его с демонием Сократа, называя его «рожденным на Солнце» (это перекликается с древними южноамериканскими и иными легендами о пришельцах с Неба). Личность во многом фантастическая, Лоремет, однако, становится по-человечески близок и понятен читателю и своей тоской по покинутой родине, и высоко развитым чувством долга, ответственностью за вершимое им дело. Ясны и имеющие совсем иную подоплеку коварные побуждения,

которые движут врагами Сирано — кардиналами Ришелье, Мазарини, отцами-иезуитами Максимилианами, очерченными резко гротескно.

Немалую роль в создании образа жаждущего любви Сирано играют прелестные женщины, покорявшие сердце поэта: Эльда, воплощение гармонии, мечты, то ли действительно встреченная Сирано на далекой планете, где он побывал с Лореметом, то ли пригрезившаяся ему, как и сам этот полет; Лаура-пламя, несчастная красавица, жертва гнусных интриг Мазарини, сделавшего ее орудием своей мести сочинителю язвительных сатир; Франсуаза, в которой для Бержерака слился образ француженки, зовущей на баррикады, и простой женщины из народа, преданной подруги последних дней. Эти и другие лица романа выписаны во всем своеобразии индивидуальных черт, полноте порой противоречивых свойств натуры, в согласии с духом века.

Временами возникает ощущение, что автор сам побывал в изображаемой им эпохе, встречался со своими персонажами. Но здесь Казанцев не оставляет иллюзий, считая необходимым придерживаться рамок возможного.

«У каждого есть своя машина времени — это его воображение. Оно способно перенести и в прошлое, и в будущее, и за тридевять земель», — пишет он в прологе к роману «Острее шпаги». Неистощимая творческая фантазия писателя доставит его читателям еще немало острых переживаний, радостей от встреч с прекрасным, возможностей принять участие в дерзком научном поиске, удовольствия от общения с умным, знающим собеседником.

**И. СЕМИБРАТОВА,**
**кандидат филологических наук**

## СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая
ОСТРЕЕ ШПАГИ
Роман-гипотеза

Пролог . . . . . 5
Часть первая
ЮНОСТИ ПЕРВЫЙ И ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ . . . 13
Часть вторая
ВЕРШИНЫ МАНЯЩАЯ ПРЕЛЕСТЬ . . . . . 81
Часть третья
ИХ ТЕНЬ ДОСТАНЕТ ОБЛАКА . . . . . 147
Эпилог . . . . . 215

Книга вторая
КОЛОКОЛ СОЛНЦА
Роман-гипотеза

Пролог . . . . . 219
Часть первая
ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ . . . . . 227
Часть вторая
ДВЕ ЖИЗНИ . . . . . 287
Часть третья
КОЛОКОЛ СОЛНЦА . . . . . 363
Эпилог . . . . . 421

Книга третья
ИНОЖИТЕЛЬ
Роман-гипотеза

Пролог . . . . . 424
Часть первая
МИССИЯ УМА И СЕРДЦА . . . . . 433
Часть вторая
ПОЖАР СТРАСТЕЙ . . . . . 505
Часть третья
ФИЛОСОФ . . . . . 565
Эпилог . . . . . 632
Бой без шпаги. О трилогии А. П. Казанцева . . . . 635

Казанцев А. П.

К 14 Клокочущая пустота: Три науч.-фантаст. романа-гипотезы о некоторых загадках становления европейской цивилизации. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 637[3] с.

ISBN 5-235-00024-2

В трилогию «Клокочущая пустота» вошло три ранее изданных романа: «Острее шпаги», «Колокол солнца», «Иноземец», где дается широкая панорама событий во Франции XVII века. Главными героями событий являются магистр прав, чисел и поэзии, математик Пьер Ферма, знаменитый писатель и вольнодумец Сирано де Бержерак и другие.

К $\frac{4702010200-148}{078(02)-88}$ 97—88 ББК 84Р7

ИБ № 5442

**Александр Петрович Казанцев**

КЛОКОЧУЩАЯ ПУСТОТА

Заведующий редакцией В. Щербаков
Редактор В. Фалеев
Художник Ю. Макаров
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Т. Кулагина
Корректор В. Назарова

Сдано в набор 06.11.87. Подписано в печать 29.03.88. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6+0,1 вкл. Усл. кр.-отт. 34,12. Учетно-изд. л. 35,8. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 70 к. Заказ 2308.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00024-2

3000



8р. 710к.